

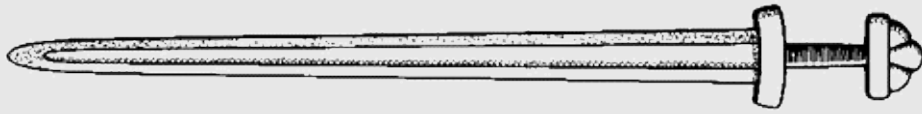
Эта книга является итоговым трудом ученого с мировым именем, ведущего французского медиевиста, профессора средневековой истории в университете Сорбонна, руководителя исследований в Практической школе высших наук, известного своими научными разработками в области исторической антропологии. Предпринятые им изыскания позволили по-новому взглянуть на механизмы, управляющие средневековым обществом, выделить его специфические черты, ускользавшие от внимания историков, занимавшихся этой проблематикой ранее. Не случайно во французской прессе результаты исследований Доминика Бартелеми сравниваются с прорывом, совершенным к середине XX века Марком Блоком. Книга о рыцарстве Доминика Бартелеми мало похожа на традиционные исследования этого феномена средневековой Европы и охватывает период, далеко выходящий за рамки возникновения и дальнейшего существования рыцарского сословия. Французский историк рассматривает рыцарство не только как специфическую военную касту, появившуюся в условиях политических изменений в X-XI веках, но как явление культуры, оказавшее определяющее воздействие на становление цивилизации западноевропейского средневековья. Доминик Бартелеми полагает, что рыцарство было своего рода «столпом» средневекового общества, впитав в себя основные ценности и установки той эпохи. На базе аутентичных источников он подвергает всестороннему анализу разные стороны жизни этого сословия. Ученый обращает внимание как на культурные завоевания рыцарства, так и на безнравственные и безобразные стороны его жизни: среди которых настроенность на военные конфликты, или презрение к труду. Особое место в книге занимает глава о так называемой «рыцарственной» культуре и литературе, ставшими своего рода мостом к литературе Нового времени. Книга будет хорошим подарком для всех изучающих французскую историю и литературу, а также для всех интересующихся рыцарями и рыцарством как культурным феноменом.

- [ДОМИНИК БАРТЕЛЕМИ](#)
 - [ВСТУПЛЕНИЕ](#)
 - [1. ВАРВАРСКИЕ ВОИНЫ](#)
 -
 - [ГАЛЛЫ И ГЕРМАНЦЫ](#)
 - [ГЕРМАНСКИЙ ИДЕАЛ ПО ТАЦИТУ](#)
 - [ПРЕДЕЛЫ НАСИЛИЯ](#)
 - [УСИЛИЯ ВОЖДЕЙ](#)
 - [ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ](#)
 - [КРОВНАЯ МЕСТЬ У ХРИСТИАН](#)
 - [МЕЖДОУСОБНЫЕ ВОЙНЫ ФРАНКОВ](#)
 - [ПОСВЯЩЕНИЕ ХИЛЬДЕБЕРГА II](#)
 - [ВЫЗОВ БЕРТОАЛЬДА](#)
 - [2. КАРОЛИНГСКАЯ ЭЛИТАРНОСТЬ](#)
 -
 - [ВСАДНИКИ ФРАНКИИ](#)
 - [ВОЙНЫ КАРЛА ВЕЛИКОГО](#)
 - [«ПОЭМА» ЭРМОЛЬДА НИГЕЛЛА](#)

- [ИМПЕРАТОР И ДВЕ СЛУЖБЫ](#)
- [ВОЙНА МЕЖДУ БРАТЬЯМИ](#)
- [ЛИЦОМ К ЛИЦУ С НОРМАННАМИ](#)
- [ЗАЧАТКИ ФЕОДАЛЬНОЙ ВОЙНЫ](#)
- [3. ВАССАЛЫ, СЕНЬОРЫ И СВЯТЫЕ](#)
 -
 - [ФЕОДАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК](#)
 - [ЛЕГЕНДЫ О ГЕРОЯХ И ИСТОРИИ О ПРЕДАТЕЛЯХ](#)
 - [ГЕРАЛЬД ОРИЛЬЯКСКИЙ И ЗАЩИТНИКИ ЦЕРКВЕЙ](#)
 - [АКВИТАНСКИЕ ПЛЕННИКИ](#)
 - [БОРЬБА С МАВРАМИ](#)
 - [«БОЖИЙ МИР» И ВОЙНА КНЯЗЕЙ](#)
 - [СРАЖЕНИЯ МЕЖДУ КНЯЗЬЯМИ](#)
- [4. В ОКРУЖЕНИИ ГЕРЦОГОВ НОРМАНДИИ \(1035–1135\)](#)
 -
 - [РАСЦВЕТ ПОСВЯЩЕНИЙ В РЫЦАРИ](#)
 - [УПРАВЛЕНИЕ КНЯЗЕЙ](#)
 - [УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ХРАБРОСТИ](#)
 - [ПОКОРЕННАЯ АНГЛИЯ](#)
 - [КОПЬЕ, ДОСПЕХ И ЭМБЛЕМА](#)
 - [ХОРОШИЕ МАНЕРЫ ТЫСЯЧА СОТОГО ГОДА](#)
 - [ОТ ТАНШБРЕ ДО БРЕМЮЛЯ](#)
 - [РАССКАЗЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН](#)
- [5. НА ПУТИ К БОЛЕЕ ХРИСТИАНСКОМУ РЫЦАРСТВУ?](#)
 -
 - [ЭТАПЫ ГРИГОРИАНСКОЙ РЕФОРМЫ](#)
 - [ГРИГОРИАНЦЫ И ПОСВЯЩЕНИЕ](#)
 - [ДУХОВНЫЕ СРАЖЕНИЯ](#)
 - [БОЖЬЕ ПЕРЕМИРИЕ И СМЯГЧЕНИЕ НРАВОВ РЫЦАРЕЙ](#)
 - [КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И УЖЕСТОЧЕНИЕ НРАВОВ РЫЦАРЕЙ](#)
 - [ПОХВАЛА ТАМПЛИЕРАМ](#)
 - [ВСТРЕЧА С ДРУГИМ РЫЦАРСТВОМ](#)
- [6. ЭПОХА ДВОРОВ И ТУРНИРОВ](#)
 -
 - [РЫЦАРИ И БУРЖУА](#)
 - [ТРАГЕДИЯ ВО ФЛАНДРИИ \(1127–1128\)](#)
 - [ЩЕДРОТЫ КНЯЗЯ И БАРОНА](#)
 - [КУРТУАЗНЫЕ ИГРЫ И ФЕОДАЛЬНЫЕ СТАВКИ](#)
 - [МИЛОСЕРДИЕ ЖОФФРУА ПЛАНТАГЕНЕТА](#)
 - [ГРАФ БААДУИН И ОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРОВ](#)
 - [УСПЕХИ ВИЛЬГЕЛЬМА МАРШАЛА](#)
 - [В СТРАНЕ ТРУБАДУРОВ](#)
 - [ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ](#)
 - [СОГЛАШЕНИЯ С ЦЕРКОВЬЮ](#)
- [7. ВЫМЫСЛЫ XII ВЕКА](#)
 -
 - [МИР «ЖЕСТ»](#)

- [ГЕРОЙ, ПРЕДАТЕЛЬ И САРАЦИНЫ](#)
- [РЫЦАРСКИЕ ЖИВОТЫ](#)
- [ЭПОПЕЯ О МЕСТИ И ПРОЩЕНИИ](#)
- [ВТОРОЙ ВЕК «ЖЕСТ»](#)
- [ИЗОБРЕТЕНИЕ КУРТУАЗНОЙ ЛЮБВИ](#)
- [ДЕБЮТ В БРИТАНИИ](#)
- [КРЮК ЧЕРЕЗ ФИВЫ И ТРОЮ](#)
- [ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ КРЕТЬЕНА ДЕ ТРУА](#)
- [ЛЮБОВЬ, БРАК, СОПЕРНИЧЕСТВО](#)
- [ВЕРНОСТЬ, СМЕЛОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ](#)
- [ПУТЬ ПЕРСЕВАЛЯ](#)
- [МИССИЯ РЫЦАРЕЙ](#)
- [МОРАЛЬ ЭТЬЕНА ДЕ ФУЖЕРА И МОРАЛЬ КРЕТЬЕНА ДЕ ТРУА](#)
- [В ПОИСКАХ ГРААЛЯ](#)
- [ИОАНН СОЛСБЕРИЙСКИЙ И РИМСКАЯ ДИСЦИПЛИНА](#)
- [МЕЧ, ВЗЯТЫЙ НА АЛТАРЕ](#)
- [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
- [ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УПОМЯНУТЫХ СРАЖЕНИЙ](#)
- [УПРОЩЕННАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ](#)
- [ИСТОЧНИКИ И БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)

ДОМИНИК БАРТЕЛЕМИ
Рыцарство от древней Германии до Франции XII века



Филиппу Контамину

Если нужно указать место и время, где изобрели рыцарство, каким его представляет себе современная Европа, то в этом плане внимание привлекает Франция XII в. Это страна, откуда выходило больше всего крестоносцев — рыцарей, которые намеревались смело сражаться за правое дело, вызывая невольное уважение даже у сарацин и затмевая доблестью вспомогательные отряды пехоты. Монахи-хронисты, находившиеся при особе короля Франции или короля Англии, герцога Нормандского, вроде Сугерия или Ордерика Виталия, в 1140-е гг. постоянно писали как о рыцарях-заступниках, князьях, обещавших защищать церкви и бедных, так и о рыцарстве, тяготеющем к спектаклю и зрелищу, о тех знатных юношах, что, служа этим князьям, с упоением бились на поединках, бросали друг другу вызовы, при случае проявляли хорошие манеры в отношении врага. Один фламандский хронист, Гальберт Брюггский, первым упоминает в 1127 г. большие турниры, на которые граф Фландрский недавно отправился во главе рыцарей своего региона. Это было время расцвета настоящих княжеских и баронских дворов, где присутствовали дамы, где любили слушать о геройстве Роланда и подвигах Ланселота. В рассказах о вторых и во всех романах Кретьена де Труа (1170-е гг.) очень высоко ценились хорошие манеры и кодексы правил для рыцарских состязаний, сделавшись отчетливым и новым контрапунктом идеалам воинской суровости, унаследованным от раннего Средневековья, германского или романо-варварского. Не в эту ли эпоху — XII в. — традиционный ритуал вручения меча, *посвящение в рыцари (adoubement)*, принял беспрецедентное значение и окрасился в христианские и куртуазные цвета?

Так что не зря говорили в особых случаях, не зря писали в книгах, что «Франция» — страна рыцарства. В традиционной «истории Франции» есть несколько чисто мифологических сюжетов — таких, как феодальная анархия или страхи тысячного года. Изобретение рыцарства на рубеже тысяча сотого года, напротив, действительно имело место.

Тем не менее тему французского рыцарства, может быть, слишком тесно связывают с представлениями о национальной гордости и идеологическими интересами. И это делали не только задним числом, в Новое время: так иногда поступали и в XII в. В самом деле, «рыцарством» можно назвать почти все, что приносит славу и преимущество благородному конному воину, составляя пестрый набор избыточных или противоречащих друг другу достоинств. Что такое быть рыцарем — значит ли это оставаться неколебимым в защите правого дела или же блистать красивым милосердием в отношении врага, пусть даже обвиняя его в неправоте, но отдавая должное его храбрости? Что было лейтмотивом при посвящении: должен ли рыцарь в первую очередь отстаивать свои права, защищать права чужие (слабых, женщин) или находить верное соотношение между теми и другими? Правду сказать, в XII в. для рыцарей главным было снискать уважение других рыцарей подвигами, которые авторы отдельных «жест» еще и приукрашивали. Это в Новое время станут более систематично усматривать «рыцарство» в умеренности, в справедливости (недостаточно замечая скрытую напряженность в отношениях между этими двумя понятиями). И поэтому тогдашние авторы, как Гизо в 1830 г., смогут рассказывать истории, в которых «усилия Церкви и поэзии» окультуривают варварские нравы — германские или же феодальные, на рубеже тысяча сотого года.

Но неужели франки, а потом феодалы X и XI вв., были не более чем насильниками и в их

обычаях ничто не предвещало классического рыцарства? И, с другой стороны, неужели слово «рыцарство» — это исчерпывающая характеристика рыцарей XII в., всех их действий, от посвящения вплоть до истинно христианской смерти? На самом деле, и довольно часто, эти люди оставались мстительными и высокомерными, особенно в отношении крестьян.

Не отрицая, что между 1060 и 1140 гг. (то есть «в тысяча сотом году» в широком смысле) во Франции произошла настоящая рыцарская мутация (*mutation*), я хотел бы здесь заняться поиском франкских, а еще в большей мере феодальных корней классического рыцарства. Тем более что классическое рыцарство действительно не стоит отделять от того, что называют «феодализмом». Все рыцари тысяча сотого года были феодалами — сеньорами и вассалами. Любовь к подвигам и частые случаи снисходительности в отношении противника у них выражали непокорность своим королям и князьям либо Церкви, требовавшей вести священную войну. Именно зачатки индивидуализма побуждали их выделяться, блистать, соперничать в храбрости, а также ставить условия сеньору в том, что касалось их службы, и ограничивать ее. Ими двигало не строгое принуждение, а, скорей, соображения чести и призывы хранить таковую. Принадлежность к «феодалам» следовала также из их дистанцированности от низших классов, презрения или по меньшей мере снисходительности к ним, даже когда речь шла об их защите. Идея содружества бескорыстных заступников, жаждущих социальной реформы, XII в. была совершенно чужда. Рыцарство — это только один аспект, в числе прочих и после прочих, феодального господства. Хорошо, если рыцарство иногда придавало последнему некоторую умеренность, в определенных отношениях смягчало его. Но лишить рыцарей мистического флёра надо сразу же. Если благородные воины к тысяча сотому году умили стремление к насилию и стали либо пожелали стать более куртуазными, если они превратили демонстрацию храбрости в спектакль, это касалось прежде всего их отношений между собой и отражало не столько рост цивилизованности, сколько укрепление определенного классового сознания.

Почему именно в то время?

Во многих недавних французских исследованиях отвечали: поскольку после того, как в тысячном году произошла феодализация, конные воины, жившие в замках, сформировали новый, поднимающийся класс, место которого в тысяча сотом году и закрепили рыцарская практика и рыцарские идеалы. Однако из этих исследований не ясно, как это класс, родившийся из разгула насилия, мог довольно быстро консолидироваться за счет небывалого смягчения нравов. Во всяком случае я постарался показать, что такой мутации тысячного года не было: социальное верховенство воина, благородного всадника, включенного в феодо-вассальные отношения, возникло раньше. Разве такое верховенство не отмечалось с эпохи Карла Великого?

Конечно, рыцарскую мутацию тысяча сотого года надо объяснять не подъемом рыцарского класса. С учетом всех факторов нам, скорей, следует связать ее с угрозами, нависшими над этим классом, с конкуренцией, и увидеть в этой мутации нечто вроде более активной демонстрации силы, как и стараний рыцарей оправдать свое существование.

А в первой части книги речь идет о германских и франкских воинах, об их жестоких идеалах, сочетающихся с менее жестокой практикой. В самом деле, отмечено, что эти народы очень рано озаботились тем, чтобы оправдывать свои войны (что несколько ограничивало последние) и заключать соглашения между собой. Это хорошо показывают выводы антропологов: несколько снижая драматизм представлений о «мести», они дают хорошее противоядие от наших современных предрассудков о «варварстве» варваров. Разве последние не обратились в VI в. в христианство? Если только само христианство не приноровилось к их нравам... Читатель сможет сам составить для себя представление об этом.

Наши источники недостаточно полны, чтобы мы могли оценить уровень насилия в Галлии в первом тысячелетии (даже для более позднего периода, информация о котором более насыщена, трудно дать оценку, насколько суровыми были войны и социальная жизнь в целом). Скажем только, что худшее случается не всегда: длительное сохранение жестокого идеала может в равной мере и толкать воинов на жестокости, и несколько сдерживать их. Кстати, такой идеал часто уживался с другими, и как раз в каролингские времена существовала модель мира между христианами, возможно, цивилизовавшая нравы франков еще в IX в. и оставившая следы в «первом феодальном веке» (X и XI вв.).

Смягчившийся и в то же время уважаемый воин прекрасного Средневековья — человек знатный, и больше всего он отличается от других тем, что переместился на коня. Поэтому развитие верховой езды, использования конницы в войнах вполне могло совпасть с развитием войны «по правилам», смягченной, войны между людьми из хорошего общества. Связь между рыцарством (*chevalerie*) и конем (*cheval*), пусть ее и нельзя считать прямой, не должна уходить на второй план! Наличие коня действительно связано с закреплением статуса элитного воина (но не обуславливает этот статус), того воина, для которого принадлежность к классическому рыцарству — одна из форм (в числе прочих) осуществления его интересов. Тем не менее во французском языке сохраняется различие между существительными *cavalier* (всадник) и *chevalier* (рыцарь) и даже противоположность между прилагательными *cavaliere* (развязный, дерзкий) и *chevale-resque* (рыцарский), о чем нам не следует забывать.

Однако не останется ли у нас такого впечатления: чем больше оснований называть знатного воина всадником, тем больше у него возможностей выделиться и усвоить рыцарские принципы поведения? В этом можно было бы разобраться, сравнив древнюю Германию или меровингскую Галлию с каролингским миром. В документах 800 г. и IX в. небывалая значимость коня (а также меча) поражает, но нам очень трудно датировать, оценить и подробно описать развитие искусства верховой езды, и Филипп Контамин мастерски продемонстрировал сложность этой задачи, призвав к осторожности при составлении «моделей».

Тем не менее в данном эссе делается попытка в общих чертах сформулировать модель. Прежде всего речь пойдет о древней Германии, то есть об очень ранних временах, так как обычаи тысяча сорокового года, определяемые как обычаи классического рыцарства, которым двигали честь и гордость, очень трудно сравнивать с системой римских институтов, имевшей ярко выраженный этатичный характер. Их истоки, скорей, коренятся в аристократическом режиме, который, как мы увидим, Тацит в какой-то мере обнаруживает в Германии сорокового года. Начав с него, мы, рассматривая несколько разрозненные и случайные источники, обращаясь к хроникам, в отношении которых можно задать вопрос, не выдумывает ли автор (что тоже было бы интересно) и выбирает ли он эпизоды типичные или, наоборот, исключительные, пройдемся по документам всего тысячелетия. И постепенно, пытаясь найти правила и ограничения, перейдем по преимуществу к анализу «междоусобных войн». Хотя это понятие внушает ужас современным людям или набожным католикам, нам не следует отказываться от такого анализа, который порой преподносит сюрпризы.

Но эта книга — не более чем эссе в строгом смысле слова, с уважением и благодарностью посвященное Филиппу Контамину: набор гипотез и приблизительных оценок, дерзкий кавалерийский рейд через века, изобилующие контрастами и мутациями. Я хотел бы, чтобы это эссе побудило образованную публику и студентов по меньшей мере приобрести или вернуть интерес к средневековому прошлому, которое книги Жоржа Дюби сделали столь живым, и чтобы мои учителя и коллеги восприняли этот текст как рабочий документ, который мы — то есть они и я — вправе впоследствии уточнить и развить.

Несколько успокаивает меня тот факт, что это эссе включает некоторое число элементов, которыми оно обязано прежним работам других историков: помимо уже названных — Жана Флори, Мэтью Стрикленда, Джона Джиллингема, Джона Франса и многих других. Помощь и советы я получил тоже от многих. Ключевую роль в его появлении сыграл Дени Мараваль, который предложил мне этот сюжет и с великим постоянством и великим терпением меня поддерживал. Многим обязан я и ряду коллег и студентов, а также своему ближайшему окружению, своей жене, Оливье Грюсси и чрезвычайно деятельному коллективу издательства «Артем Файяр», особенно Натали Ренье-Декрюк.

1. ВАРВАРСКИЕ ВОИНЫ

Рыцари XII в., люди из знатных родов, полагали, что происходят от великих героев-воинов. Разве они не были через франков потомками троянцев — достойных предков римлян и, может быть, турок? Если не заходить так далеко, они знали, что их род восходит к графам Карла Великого, временная удаленность которых (триста лет) позволяла идеализировать их достоинства и подвиги в песнях о Роланде, о Гильоме, о Рауле Камбрейском. Даже если они со своей стороны старались ограничить риск войны, если по-рыцарски щадили друг друга, они этим не особо хвастались. Они, скорее, предпочитали, чтобы их изображали столь же суровыми на справедливой войне, какими были их франкские предки: так делали авторы песен «крестоносного цикла» (например, «Песни об Антиохии»).

Европа Нового времени открыла для них и для Средневековья других предков-воинов — прежде всего обитателей древней Германии, описанной около 100 г. римлянином Тацитом. Со своим ритуалом посвящения в воины и такими достоинствами, как смелость, щедрость, преданность сеньору, они выглядят достойными феодалами у врат приходящей в упадок империи, западную часть которой они вскоре завоюют. Им немного недоставало умения ездить на коне, умеренности и справедливости, чтобы стать уже рыцарями.

Происхождение Средневековья от германцев через посредство франков или других народов, таких как готы, бургунды, лангобарды, англосаксы, вполне правдоподобно — я имею в виду социологический смысл слова «происхождение», отнюдь не этнический. Франки образовались в III в., и в их состав вошли многие германские народы, описанные Тацитом. Став хозяевами Галлии, они ввели или возвратили воинские приемы и обычаи, которых Римская империя не применяла или не сохранила и из которых позже действительно вырастет рыцарство. Сходство между образом жизни германцев и феодальным обществом неоспоримо. Вот почему не только книги XIX в. о Средних веках и рыцарстве, но даже крупные новейшие исследования, как труды Франко Кардини и Жана Флори, начинают с древней Германии или не обходят ее вниманием.

Мне тоже кажется, что без Тацита обойтись нельзя. Однако при условии, чтобы, ссылаясь на него, не делать биологическими или духовными предками средневековой знати одних только древних германцев. Ведь эта знать возникла благодаря слиянию разных родов, германских и римских, галло-римских и галло-германских: хороший пример — генеалогия Карла Великого. С VI в. франкская монархия как политический или социальный режим сама была смесью, результатом слияния разных наследий или, скорее, как в 1875 г. осознал Нью-Дени Фюстель де Куланж, оригинальной и функциональной их разработкой на основе различных элементов. Так что история прелюдий к «рыцарству» рискует оказаться намного сложнее, чем можно ожидать на первый взгляд: речь должна идти не только о дополнениях к «германской системе» и о ее смягчении, надо также понять, как означенная система сумела избежать эрозии за период между сотым и тысяча сотым годами, — или же, может быть, ее разработали заново.

Например, на полдороге от Тацита к Ордерику Виталию один автор приводит довольно негативное свидетельство о франках, — а именно епископ Григорий Турский (573–594) в «Истории франков». Действительно, франкских королей VI в., Хлодвига и его династию, как и их лейдов (аристократию), он часто описывает в черных красках. Такое впечатление, что они не имели ни одного воинского достоинства, ни смелости, ни верности, а были извергами, предателями и деспотами, антиподами рыцарства. И странно, что они христиане.

Какова в этом контрасте доля реальности, связанная с возможным отходом варварского

воина от прежних идеалов под влиянием испорченного римского мира, и что привнесли оба источника? В самом деле, Тацит — это римлянин, который идеализирует варваров из внешнего мира как бы в порицание некоторым представителям мира своего. Григорий же — подданный франкских королей, брюзга или моралист, и видеть истинную «добродетель», высшую силу и справедливость он не желает ни в ком, кроме как в святых — воображаемых существах, живущих в более высоком мире, чем дольний. Не преувеличивает ли каждый из них, притом по-своему?

Их прекрасные тексты, насыщенные или перегруженные — как угодно, доминируют среди документации о германцах и франках, составленной современниками, и предоставили позднейшим историкам материал для создания собственных концепций. Образ древней Германии часто позволял им воскрешать миф о воинской доблести предков. Образ меровингской Галлии, которую после Франсуа Гизо (1846) часто рассматривали как изнанку германской декорации, наконец выявленную Григорием, давал им возможность описывать насилие и хаос, реакцией на которые в конечном счете якобы стало изобретение рыцарства и создание всей французской цивилизации. Присмотримся ко всему этому ближе. И даже не побоимся отправиться дальше в глубь истории, чем во времена Тацита, ведь не он первым воздал хвалу варварской доблести.

ГАЛЛЫ И ГЕРМАНЦЫ

На земле Галлии, как и соседней Германии, с VIII в. до н. э. человек из элиты отличался тем, что владел конем и неким подобием железного меча. Не господствовал ли знатный воин над крестьянином еще с тех пор? Не навязывал ли он, во всяком случае, свой престиж и авторитет простым безлошадным воинам, хуже вооруженным и хуже защищенным, чем он, — настолько хуже, что он мог сделать их своими подручными и данниками?

Об общественных отношениях у «наших предков галлов» известно немного. Археология сообщает о настоящем социальном расслоении и о переменах в облике жилища и в экономике, прежде всего благодаря контактам с марсельскими греками и другими обитателями Средиземноморья. А то, что говорят о галлах их завоеватель Цезарь (с 52 г. до н. э.) и греческий географ Страбон (ок. 18 г. н. э.), скорей, лестно для них, хоть и схематично.

«Было некогда время, — по словам Цезаря, — когда галлы превосходили храбростью (*virtute*) германцев»^{1}. Тогда они основали колонию в одном лесу, за Рейном, — колонию вольков-тектосагов, и этот народ «пользуется большой славой за свою справедливость и военную доблесть». Можно подумать, древние галлы или по меньшей мере их вожди первыми изобрели рыцарство! Правду сказать, Цезарь и Страбон делают его, скорей (если это на самом деле «рыцарство»), в равной мере принадлежностью обеих групп народов, галльских и германских, которая лучше сохранилась у последних.

У греко-римских авторов, писавших о «варварах» Северной Европы, существовало нечто вроде вульгаты. «Все племя, теперь называемое галльским и галатским, помешано на войне, отличается отвагой и быстро бросается в бой; впрочем, оно простодушно и незлобиво»^{2}. Так Страбон начинает знаменитое описание галлов, однако далее уточняет, что «дал это описание на основании древних обычаев» (он писал в 18 г. н. э.), «которые еще сохраняются у германцев до настоящего времени»^{3}. В самом деле, торговля и соседство с греко-римским миром мало-помалу привели к тому, что галлы одрябли и, как отмечал Цезарь в 52 г. до н. э., «даже и сами/не пытаются равняться в храбрости (*virtus*) с германцами». Тем не менее галльская война периодически показывала, что остатки былой храбрости еще сохранились! И сам Цезарь говорил о храбрости жителей тех земель, соседних с Германией, особенно «бельгов» и «гельветов», которые привыкли к войне из-за этого беспокойного соседства. Но после этого присоединение Галлии к империи и те выгоды, которые ее именитые жители получили от римского мира, по-настоящему отрезали ее от Германии.

Интересно, что как Цезарь, так и Страбон склонны связывать эти «германские черты» не только с социальным положением, но и с этнической «природой» — хотя античные историки и географы не умели пользоваться инструментарием нашей современной социологии. Эти германские черты галлов, даже ушедшие в прошлое или лимитрофные, все равно интересовали Страбона. Цезарю галлы сопротивлялись недолго, но «хотя все галаты по натуре воинственный народ, все же они более искусные всадники, чем пехотинцы, и лучшая часть конницы у римлян состоит из этого племени»^{4}.

Впечатление производит и их вооружение, сообразное их большому росту: «длинный меч, висящий на правом боку, длинный прямоугольный щит в соответствии с ростом и “мандарис” — особый род дротика», используемый также на охоте^{4}.

«Государственное устройство у них было в большинстве аристократическим»^{5}. Если они приходили в состояние возбуждения, их было легко одолеть, поскольку они были слишком смелы, когда их вызывали на бой, — в чем проявлялась неорганизованность, а также германские черты, если резюмировать соображения Страбона. Итак, в них была отвага, еще

раз отвага, неизменно отвага... и еще «много глупости и хвастовства, а также страсти к украшению». К их бездумности «присоединяется еще варварский и экзотический обычай, свойственный большинству северных народов», и, как полагает Страбон, этот обычай состоит в том, чтобы, «возвращаясь после битвы, вешать головы врагов на шеи лошадям и, доставив эти трофеи домой, прибывать их гвоздями напоказ перед входом в дом»^{6}.

Это свирепый обычай, даже если речь идет не о настоящем зверстве, а только о трофеях, которые выставляют напоказ.

Картинка Страбона написана яркими и контрастными красками. Пока что кажется, что перед тобой действительно варварская «орда», — и однако «они легко собираются вместе в большом числе, так как отличаются простотой, прямодушием и всегда сочувствуют страданиям тех своих близких, кому, по их мнению, чинят несправедливость»^{7}. Вот и снова они близки к рыцарству!

Их собрания выбирают вождей для войны — и, стало быть, конечно, обсуждают их компетентность. У них есть также друиды, которые служат арбитрами в войнах между этими народами и улаживают частные конфликты, прежде всего разбирая дела об убийстве. Сколько сведений, плохо сочетающихся с несправимой бездумностью! Может быть, представление о варварской ярости — дань стереотипу? Или эту ярость просто намеренно имитировали — как целое течение историков, испытавших влияние антропологии, думает сегодня о феодальной ярости?

Описания галлов у Цезаря (в его шестой книге), как и его рассказы о разделении их на племена и о его собственных походах, подтверждают, что у них был аристократический режим. У них, несомненно, происходили собрания «народов» или «городов», но это не была демократия в том смысле, в каком ее понимаем мы: в самом деле, «в Галлии люди могущественные, а также имеющие средства для содержания наемников, большей частью стремились к захвату царской власти»^{8}. Комендантом оппидума *Бибракт* (близ Лана) был «рем Иккий, человек очень знатный и среди своих популярный»¹⁹¹. Лидеры клик повсюду были важней должностных лиц. Наконец, «у гельветов [еще очень похожих на германцев] первое место по своей знатности и богатству занимал Оргеториг». В 58 г. до н. э. он «вступил в тайное соглашение со знатью и убедил общину» переселиться в другое место, применив оружие. В самом деле, он сказал им, что «гельветы превосходят всех своей храбростью», поэтому они заслуживают господства над всей Галлией или по меньшей мере расширения территории сообразно «их многолюдству, военной славе и храбрости»^{10}. Через десять веков совершение подвига (отныне более индивидуального) станет основанием для получения большего фьефа. Пока что можно задать вопрос: может быть, «несправедливость» такого рода, а не сильных по отношению к слабым, скорей побуждала соседей примыкать к гельветам! Особенно если этот аргумент Оргеторига подкреплялся материальными обещаниями...

Многие комментаторы Нового времени, эрудиты, порой свехосторожные, систематически подозревали римских историков Цезаря, а потом Тацита, что те выдумывали целые пассажи в адрес галлов, а потом германцев (как в X в. будет делать Рихер Реймакий, усердный читатель Цезаря, в отношении посткаролингских графов). Но даже если им действительно приходилось сочинять это, разве они не были воочию знакомы с образом жизни и ценностными системами тех народов, с которыми Рим долго мерялся силами? И разве эти речи не свидетельствуют, что вождь был вынужден убеждать слушателей, мобилизуя свое красноречие?

Галльские аристократы, выведенные Цезарем в книге, обмениваются аргументами на

собраниях. Верцингеториг, в 52 г. до н. э. обвиненный в измене, защищается, после его речи толпа приветствует его криками и потрясает оружием, «что галлы всегда делают в честь оратора, речь которого они одобряют»^[11]. Эта привычка, которую Тацит позже (к 99 г. н. э.) представит как германскую, — обычай народов, которые любят изображать воинственность, но достаточно хорошо умеют смирять свой пыл, чтобы в случае расхождения публики во мнениях собрания не вырождались в массовые драки. Во всяком случае этого не допускает их религия.

Связи внутри клик, отношения верности, клятвенные союзы между аристократами разных народов — все это придает цезаревской Галлии феодальные черты. Это слово мы понимаем в широком смысле, но Цезарь действительно описал в начале своей шестой книги нечто вроде трех сословий посткаролингской Галлии (X и XI вв.). «Во всей Галлии [во времена Цезаря] существуют вообще только два класса людей, которые пользуются известным значением и почетом». Это жрецы, то есть друиды, которые председательствуют на церемониях, улаживают многие споры и освобождены от налогов и военной службы. Проповедуя бессмертие души, они дают лучший стимул воинам, ведь «эта вера устраняет страх смерти и тем возбуждает храбрость». После них есть «другой класс — это всадники (*equites*)»; они все участвуют в войне вместе со своими амбактами и клиентами, численность которых свидетельствует об их богатстве^[12]. Что до народа, людей, которые облагаются налогом и страдают от «обид со стороны сильных», они добровольно подчиняются знатным, и те имеют над ними права господ над рабами^[13]. Но разве эти знатные не имеют социологического облика угнетателей? Разве они в то же время не «рыцари» (*equites*)?^[2] Есть господствующий класс, из которого одновременно выходят угнетатели и защитники слабых и который ничего не делает, чтобы дать слабым защиту, не лишая их свободы.

Если друиды разрешали конфликты при помощи некоего подобия отлучения, неужели они ничего не предпринимали против злоупотреблений сильных? Далее мы увидим, лучше ли поступало средневековое духовенство, и мы, увы, никогда не сможем сравнить его юрисдикцию с юрисдикцией друидов, о которой Цезарь говорит, что она простиралась очень широко.

Принадлежность галлов к друидизму и их связи со Средиземноморьем больше всего отличали их от германцев. Цезарь говорит, что последние были совсем другими — более неотесанными, более доблестными и более воинственными. Но, говоря, что галлы более не рисковали равняться с германцами в храбрости, он явно дает понять, что они придерживались и все еще придерживаются тех же критериев, тех же воинских идеалов.

Этих галльских «рыцарей» ему не приходит в голову сравнивать с «римскими рыцарями» из сословия всадников. В самом деле, последнее не занимало первого места — оно стояло ниже сенаторов. Воинская функция или воинское призвание уже не были обязательными для этого сословия — напротив, в него входили видные граждане, занимавшиеся самыми разными делами. А галло-германскую аристократию (говоря словами Страбона) характеризует то, что это была элита, которую в принципе объединяли одинаковые идеалы. Ее представители проявляли выраженное пристрастие к войне, потому что воинские достоинства были главным критерием, по которому их оценивали. И они постоянно пользовались символикой оружия.

В этой сфере в галльских институтах времен Цезаря были еще очень заметны германские черты. Мы уже сравнили одобрение, выраженное Верцингеторигу слушателями, потрясающими оружием, с голосованием фрамеями в «Германии» Тацита. У Цезаря также можно отметить, что «в остальных своих обычаях они [галлы] отличаются от прочих

народов главным образом тем, что позволяют своим детям подходить к себе при народе не раньше достижения ими совершеннолетия и воинского возраста и считают неприличным, чтобы сын в детском возрасте появлялся на публике при отце»^[14]. Отец имеет право жизни и смерти над женой и малолетними детьми. «Прочие народы» — вероятно, скорее римляне, чем германцы. В самом деле, одна из самых знаменитых страниц «Германии» Тацита — это страница о вручении оружия знатному юноше его отцом, или вождем, или родственником, что означает для него переход из семьи в государство и в итоге дает доступ к тому виду гражданства, каким в Германии был статус воина, с участием в собраниях и военных предприятиях, которые я бы назвал *plaids*^[3] и *остами*^[15].^[4] Эта страница, посвященная вручению оружия, не подтолкнула авторов книг Нового времени назвать древнюю Германию первой страной рыцарства. Но достаточно ли они оценили тот факт, что упомянутый Цезарем галльский закон о публичном ношении оружия, запретного для детей и разрешенного для молодых взрослых, как раз мог обусловить определенную торжественность, какую имела церемония вручения оружия у германцев? Существование германского ритуала посвящения в воины, описанного Тацитом, возможно, объясняется тем законом, о котором Цезарь упомянул у галлов. По справедливости, что здесь наглядно видно, большего и не требовалось бы, чтобы Галлия могла оспаривать у Германии заслугу появления «первых рыцарей», если бы в таком соперничестве был смысл — и если бы фактически речь не шла о первом «подобии рыцарства», обнаруженном с помощью римского историка^[5].

Но рыцарство, заслугу в появлении которого книги Нового времени приписывают Франции XII в., — это прочный сплав воинской доблести со справедливостью и учтивостью. А ведь в древности идеалом, выставляемым напоказ, по-прежнему оставалась свирепая храбрость, и если галлы — мы имеем в виду их аристократию — смягчались, то, по представлению Цезаря, это значило, что они отказываются быть воинами^[6], предпочитая другие виды деятельности и источники богатства.

Так что аристократическую воинскую доблесть надо искать в основном в Германии, за Рейном, в более бедной и грубой среде, где нет ни города, ни настоящей деревни или хутора, настолько эти гордые люди страшатся иметь соседей. «Истинная доблесть в глазах германцев в том и состоит, чтобы соседи, изгнанные из своих земель, уходили дальше и чтобы никто не осмеливался селиться поблизости от них»^[16]. Нелюдимые люди неприветливых лесов! «Вся жизнь их проходит в охоте и в военных занятиях: они с детства приучаются к труду и к суровой жизни»^[17]. Кстати, они остаются целомудренными до двадцати лет. Им не позволяют оседать на одном участке земли из боязни, чтобы они «не променяли интереса к войне на занятия земледелием» и не привыкали замыкаться в себе, из боязни, чтобы постоянная собственность и любовь к деньгам не привели к притеснению слабого сильным и к раздорам. Кроме того, германцы верны и гостеприимны; их прямота и щедрость ярко проявляются в том, что гостей они считают сакральными персонами.

В этом месте Германия выглядит землей утопии, местом, где живет общество-созданное-для-войны^[7]. Оно всячески поощряет доблесть, которой отныне недостает Галлии. Цезарь, во всяком случае, всё здесь одобряет. Так, «разбои вне пределов собственной страны [той территории, где живет данный народ] у них не считаются позорными», потому что германцы «хвалят их как лучшее средство для упражнения молодежи и для устранения праздности». Разве не так же поступают хищники? Цезарь считает, что у них нет внутренних раздоров, князя (*principes*) вершат суд и улаживают споры, каждый в своем секторе (в то время как «магистраты» есть только в военное время).

Термины «город» и «магистратура» в сочетании с воинственностью придают этой

Германии нечто спартанское. Но я подозреваю, что в реальности это было скорее слабое государство (в смысле политической власти). «И когда какой-нибудь князь (*princeps*) предлагает себя в народном собрании в вожди (*dux*) [подобного набега] и вызывает желающих за ним последовать, тогда поднимаются все, кто сочувствует предприятию и личности вождя, и при одобрениях народной массы обещают свою помощь. Но те из них, кто на самом деле не пойдет, считаются дезертирами и изменниками, и после этого им ни в чем не верят»^[18]. Вот что, как считается, демонстрирует престиж воина в Германии как в обществе чести. В то же время, если перечитать эту страницу из «Истории галльской войны» внимательно, разве она не показывает, с какими институтами прежде всего связывается доблесть — или ее отсутствие? Военный вождь может повести за собой только добровольцев, людей, которые ему симпатизируют, которым он, несомненно, обещает добычу или чьему честолюбию льстит. Никто не обязан за ним следовать: некоторые довольствуются тем, что возносят хвалу войне и возвращаются домой. Что же до тех, кто отказывается от своего обещания, нарушает его, на их долю, безусловно, выпадают бесчестие, недоверие, но разве они не могут восстановить свое доброе имя? Ни Рим, ни Спарта не сохраняли жизни своим дезертирам — и даже некоторые галльские «города»^[19].

Иначе говоря, эти воины не обязаны строгим, автоматическим повиновением вождю, государству, достойному этого названия. Конечно, их мобилизации способствовало сильное социальное давление — и скудость некоторых благ как его следствие. Но выступать и воевать они всегда должны были по собственному почину, движимые доблестью, которая целиком является их заслугой и делает им честь. Доблесть воина — идеология обществ, где вожди имеют не то чтобы незначительную, но среднюю власть. И для средневекового «рыцарства», в конечном счете, было более характерно такое германское соперничество в «доблести», чем гражданская или военная дисциплина по образцу римской — когда функция важнее функционера. Разве такое рыцарство — не собирательный идеал аристократии, избегающей гнета строгого закона?

Между тем Цезарь сильно идеализирует Германию. Другие греко-римские авторы все-таки используют стереотип непостоянного и гневливого германца — как самого яркого воплощения варварства. Страбон говорит о роли жриц в разжигании войн. Они следуют за германскими воинами, перерезают горло их пленникам и гадают по вытекающим потокам крови, как авгуры. Германцы ничуть не уступали в жестокости древним галлам. Гневливость равно присуща обеим группам народов: у Страбона она галльская, у Сенеки — германская. Эти авторы верят, что такова природная предрасположенность. Однако мы вправе задаться вопросом: может быть, это скорее неизбежный признак враждебности, и если она приводит к опрометчивым нападениям, то из-за отсутствия дисциплины римского типа, а если быстро утихает, то потому, что варвар устает, и после того, как он захватил какую-то добычу, его ничто не побуждает к дальнейшим действиям.

Наконец, не преуменьшает ли распри среди германцев Цезарь, который завоевал Галлию благодаря раздорам в ней и столкновению по меньшей мере двух больших группировок народов и знати? Тацит, рассказывая в «Анналах» и «Истории» о том, что предпринимал Рим в течение I в. н. э., напротив, показывает, что римские полководцы умели использовать междоусобные войны в Германии и недисциплинированность германцев как преимущество, позволявшее брать добычу.

ГЕРМАНСКИЙ ИДЕАЛ ПО ТАЦИТУ

Через сто пятьдесят лет после Цезаря, создавая книгу «Германия» (около 99 г.), Тацит сдержанней говорил о ее сходстве с Галлией. Последняя была романизирована. Император Клавдий в 47 г. открыл ее видным гражданам доступ ко всем магистратурам Рима, и вскоре появились галльские семейства сенаторов, а также римских «всадников» — не исключено, что из одного из этих семейств и происходил Тацит, мысли которого были заняты лишь судьбой империи и римского мира. В 69 г. элита Галлии в массе своей отказалась примкнуть к восстанию одного германца, батава Цивилиса, друга, а потом врага Рима: она не увидела в этом выгоды^[20]. После этого Рим смог дополнительно укрепиться на юге современной Германии, создав там провинцию Верхняя Германия.

На одной из страниц «Германии» Тацит замечает, что гражданские войны в этой стране — спасение для империи. Разве бруктеры не перебили друг друга на виду у римлян и словно «ради услаждения их глаз», как гладиаторы? «Самое большее, чем может порадовать нас судьба, — это распри между врагами»^[21]. Современные комментаторы знают, что позже все закончилось «германским вторжением» в империю, и делают из этого вывод, что он этого опасался уже тогда — и что, увы, эти разлады лишь отсрочили вторжение. Но Пьер Грималь отметил, что, возможно, Тацит думал, скорей, о возможной аннексии Римом всей Германии. Во всяком случае Тацит, чередуя в этой неоднозначной книге хвалу и хулу, задавался как этим вопросом, так и другими. И в самом деле, по Германии I в. ездили римские купцы, а все вожди (*duces*) или цари пытались заручиться поддержкой Рима, чтобы утвердиться на своем уровне и расширить свою власть. Все это немного похоже на Галлию, какой она была за век до Цезаря. Не напоминала ли Верхняя Германия, где население соседних земель было раздроблено на группировки, тот плацдарм, каким когда-то стала Нарбоннская провинция?

Но Тацит в 99 г. начал с описания германского характера, близкого к тому, каким его изобразил Цезарь, и надо дойти до второй части «Германии», где поочередно представлены разные народы, чтобы обнаружить оттенки. «Ближайшие к нам знают цену золоту и серебру из-за применения их в торговле и разбираются в некоторых наших монетах, отдавая иным из них предпочтение»^[22]. Что касается воинственных херусков, победивших в 9 г. Квинтилия Вара, они в настоящее время весьма миролюбивы^[23]. Можно было бы сказать, что германский идеал у них в какой-то мере выродился. Он жив, скорей, среди хаттов, недавно побежденных Домицианом (83 и 88 гг.). Остается увидеть, до какой степени он внушил тем кровожадность (как жестокие привычки — свебам).

В целом Тацит как будто подтверждает взгляд Цезаря на германцев. Он даже подчеркивает их контраст с галлами, насмехаясь над двумя из галльских народов, их соседями за Рейном, тревирами и нервиями, которые хвалятся «германским происхождением». «Как будто похвальба подобным родством может избавить их от сходства с галлами и присущей тем вялости!»^[24] Если во времена Цезаря соседство с германцами, война с ними на самом деле способствовали сохранению доблести, теперь в Галлии последняя пришла в крайний упадок. Германия Тацита еще более чуждается внешних контактов, чем Германия Цезаря^[25], и почти столь же вынослива, по крайней мере если говорить об основных народах и не иметь в виду труд и стойкость к жаре^[26]...

Германцев воспитывают в строгости, между свободными и рабами в это время различия почти не делается, и приближаться к девушкам им не позволяют. Они привычны к войне, целомудренны, гостеприимны и предпочитают жить в гордой изоляции^[27]. «Возможности для <...> расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо труднее убедить

их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их представлениям, потом добывать то, что может быть приобретено кровью, — лень и малодушие»^{28}. Иными словами, они низко ставят тех, кто в поте лица на них работает, как рабы, посаженные на землю, данники, о которых речь пойдет ниже^{29}, а собственно домашнюю работу предоставляют женщинам и детям^{30}.

Тацит идеализирует их немного меньше, чем Цезарь. Разве он не замечает, очень к месту, что ведут войны они далеко не «всю жизнь»? Когда они не готовятся к войнам, они «много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию». Они, так сказать, впадают в спячку. Так что в них можно отметить «противоречивость природы»: одни и те же люди «так любят безделье и так ненавидят покой»^{31}. Речь идет прежде всего о вождях (*principes*), которым «города» (народы) платят дань, чтобы удовлетворять их нужды. Но нет никаких сомнений, что имеется в виду целый класс воинов, то есть «свободнорожденных». Они растут вместе с рабами в умеренности, пока их не отделит «возраст», «пока их доблесть не получит признания»^{32}. Очевидно, имеется в виду возраст получения оружия.

С этого момента они заняты делами, главные из которых — не только войны и даже не собрания, но не в меньшей степени пиршества, куда они приходят при оружии и где напиваются! В самом деле, вот еще одна черточка, ускользнувшая от внимания Цезаря: «потворствуя их страсти к бражничанью и доставляя им столько хмельного, сколько они пожелают, сломить их пороками было бы не трудней, чем оружием»^{33}.

Таким образом, в страну воинской доблести проникают пьянство и лень. На самом деле, вопреки тому, что утверждал Цезарь, альтернативой были не земледелие и война, а земледелие и праздность в перерыве между войнами. Ведь в эти периоды, как мы видели, эти благородные воины сидели на шее у своих жен, детей и рабов. А проливали пот они только в теплых банях^{34}.

«Германия» Тацита, рисуя гораздо более полную картину, чем труд Цезаря, подтверждает, что воинская доблесть, которую здесь проповедуют как альтернативу строгому послушанию, нуждается в некоторых стимулах.

Цезарь в шестой книге своей «Галльской войны» произносит похвальную речь германцам, сколь горячую, столь и краткую, из которой читатель в конечном итоге не может извлечь по-настоящему ярких образов или запоминающихся описаний. Тацит, напротив, — художник, который умеет добиться всего этого: ему по душе не только лапидарные формулировки, концептуальные противопоставления, но также броские картины и неожиданные повороты.

Например, в войне. Германцы почитают героя и бога, которого римляне интерпретируют как Геркулеса и Марса, «есть у них и такие заклания, возглашением которых, называемым ими “бардит”, они распаляют боевой пыл, и по его звучанию судят о том, каков будет исход предстоящей битвы; ведь они устрашают врага или, напротив, сами трепещут перед ним, смотря по тому, как звучит песнь их войска, причем принимают в расчет не столько голоса воинов, сколько показали ли они себя единомышленными в доблести. Стремятся же они больше всего к резкости звука и при этом ко ртам приближают щиты, дабы голоса, отразившись от них, набирались силы и обретали полнозвучность и мощь»^{35}. Виконт де Шатобриан в 1809 г. заставил трепетать сердца французов, отправив своего героя Эвдора (одного из будущих мучеников) слушать в IV в. бардит франков в устье Рейна. И пророчить их будущую победу при Аустерлице (1805 г.)... не зная о Ватерлоо (1815 г.)!

Далее, «они берут с собой в битву некоторые извлеченные из священных роц

изображения и святыни; но больше всего побуждает их к храбрости то, что конные отряды и боевые клинья состояются у них не по прихоти обстоятельств и не представляют собою случайных скопищ, но состоят из связанных семейными узами и кровным родством; к тому же их близкие находятся рядом с ними, так что им слышны вопли женщин и плач младенцев, и для каждого эти свидетели — самое святое, что у него есть, и их похвала дороже всякой другой; к матерям, к женам несут они свои раны, и те не страшатся считать и осматривать их, и они же доставляют им, дерущимся с неприятелем, пищу и ободрение». И, «как рассказывают, неоднократно бывало, что их уже дрогнувшему и пришедшему в смятение войску не давали рассеяться женщины, неотступно молившие, ударяя себя в обнаженную грудь, не обрекать их на плен»^{36}. Их мужья ни в коем случае не хотели, чтобы те попали в руки врага...

Многое здесь сказано или изображено с той восхитительной лаконичностью, которая столько раз встречается в произведении Тацита. Он противопоставляет армию как таковую типа римской, где боевые части некоторым образом «составляются по прихоти обстоятельств» — и скреплены дисциплиной и жалованьем, — германской армии-народу, где приходит в движение все общество, где сражаются из доблести, которую укрепляют мольбы близких. Присутствие женщин, побуждающих к бою, отмечено и другими греко-римскими авторами (прежде всего Страбоном). Даже если в малых междоусобных войнах между германскими народами женщины таким образом не присутствуют, в этих войнах все равно действуют настоящие социальные группы, которые Тацит описывает то как сборные отряды из ста человек от «округа» (общественный институт), то как дружины военных вождей, где царит дух здорового соперничества в храбрости. Мне кажется, что требуется название, специфический концепт, чтобы противопоставлять такую группу профессиональной или постоянной армии; и поскольку это явление в Средние века часто обнаруживается вновь под названием *ост*, я далее и буду использовать этот термин.

В самом деле, идет ли речь об общественном осте^{37} или о дружине вождя (*princeps*)^{38}, смелость воинам внушают лишь чувство чести и страх бесчестия.

И однако мы видим, как на этой большой сцене, где присутствуют женщины и дети, эти гордые воины приходят в замешательство и нужен голос женщин, чтобы укрепить их мужество. Что касается демонстрации ран, она снова доказывает роль женщин — но в конечном счете имеет неоднозначный характер, ведь матери и супруги тоже вполне могут счесть, что уже довольно сражаться. И так бывало — например, в «Песни о Рауле Камбрейском», сочиненной во Франции в XII в., когда Готье и Бернье достаточно истекли кровью, чтобы героиня, призывавшая к мести, сменила тон и стала проповедовать мир^{39}.

Умение выдержать столько мучительных зрелищ было добродетелью этих свирепых женщин, которые распаляли смелость мужчин. Впрочем, разве в приданое германской супруги не входило оружие? Это мужское приданое, то, что мы называем *douaire*, «и недопустимо, чтобы эти подарки состояли из женских украшений и уборов для новобрачной, но то должны быть быки, взнузданный конь и щит с фрамеей и мечом». Оружие для молодой жены! Не то чтобы она носила его сама, как воительница, достойная амазонок. Эти священные знаки напоминают ей, что она должна жить одной душой с мужем, с вооруженными сыновьями, побуждать их проявлять воинскую доблесть. «Так подобает жить, так подобает погибнуть; она получает то, что в целостности и сохранности отдаст сыновьям, что впоследствии получат ее невестки и что будет отдано, в свою очередь, ее внукам»^{40}.

А если сыновья и внуки при этом не будут иметь очень сильного характера, женщин в

этом упрекнуть будет нельзя. Тацит неопределенно говорит о происхождении оружия, передаваемого во время «посвящения в воины». Когда «в народном собрании (*concilium*) кто-нибудь из старейшин, или отец, или родичи вручают юноше щит и фрему»^{[8],^[41]}, происходит ли это оружие из приданого матери? По меньшей мере в некоторых случаях, если не всегда? Тацит настаивает, что таким образом юношу допускают не только к войне, но вместе с тем и к общественной жизни, ко всем делам. По его словам, это как тога для (знатного) римлянина: «до этого в них видят частицу семьи, после этого — племени». Выше я указывал на сходство этой ситуации с тем, что говорил Цезарь об отцовской власти у галлов, контрастирующей прежде всего с греко-римской системой воспитания. Нужно, чтобы «племя», «город» признали молодого человека способным носить оружие, без которого не ведутся «любые дела — и частные, и общественные».

А во время войны это оружие потерять нельзя. Бросить щит — «величайший позор», и виновный в этом не допускается к религиозным церемониям и даже на «народные собрания»^[42].

Итак, вручение оружия побуждает юношу отличиться на войне. Нет явного следа какого-либо предварительного испытания, тем более «инициации». Если нужны испытания, они происходят *после* вручения оружия, в последовательности, характерной и для средневекового посвящения в рыцари, — и обратной инициационным обычаям. Кстати, очень симптоматично, что Тацит, описав, что отныне молодой человек принадлежит племени, как римлянин, предназначенный в магистраты, сразу же изображает, как этот молодой человек вступает в дружину, которая поразительно напоминает дружину средневековых вассалов.

«Выдающаяся знатность и значительные заслуги предков даже еще совсем юным доставляют достоинство вождя» — или, может быть, «милость вождя»?^[43] «Все прочие собираются возле отличающихся телесной силой и уже проявивших себя на деле, и никому не зазорно состоять их дружинниками».

Точно та же проблема встанет в связи с мешаниной зависимостей и понятий о чести в «феодальном» оммаже. Здесь, правда, ритуала оммажа нет, но есть некое подобие «присяги»^[44], а также «звания» в дружине, которые дает вождь. Только это и помогает нам не спутать сотый год с тысячным^[9].

Отмечено также, что в эти элитные отряды кого попало не допускают. Престиж предков, заслуги отца, то есть признанные достоинства, репутация в обществе — вот критерий отбора. И, несомненно, память о предках в то же время побуждает искать возможности блеснуть. Так что во мнении общества *знатность* и *доблесть* должны ассоциироваться друг с другом^[10]. По крайней мере всё рассчитано на то, чтобы эта ассоциация выглядела естественной либо ее «обнаруживали» в большинстве случаев.

«И если дружинники упорно соревнуются между собой, добиваясь преимущественного благоволения вождя, то вожди — стремясь, чтобы их дружина была наиболее многочисленной и самой отважной»^[45].

Далее, в сражении — или, скорее, в «схватке»^[46]: «Постыдно вождю уступать кому-либо в доблести (*virtus*), постыдно дружине не уподобляться доблестью своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, — бесчестье и позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, — первейшая их обязанность»^[47]. Такой подход сосредоточивает все внимание на вожде (*princeps*) в ходе схваток, во время которых, видимо, их участники успевают замечать и некоторым образом подсчитывать подвиги. Особо отметим, что этот институт дружины, превознося доблесть вождя, предъявляет к нему строго те же самые требования, что и к его «дружинникам». Он

выдерживает испытание в глазах общества и состязается с другими вождями. Именно в этом германское общество особенно отличается от Римской империи, сближается со всеми «ранними» воинскими культурами Америки, Африки и Евразии и предвосхищает средневековое рыцарство.

Итак, стимул для всех — честь. Тем не менее нужны и ощутимые компенсации, чтобы конкретизировать честь или обеспечить получение некоторого удовольствия после совершённых усилий. «Содержать большую дружину можно не иначе, как только насилием и войной; ведь от щедрости своего вождя они требуют боевого коня, той же жаждущей крови и победоносной фрамеи; что же касается их пропитания и хоть простого, но обильного угощения на пирах, то они у них вместо жалованья». В конечном счете «возможности для подобного расточительства доставляют им лишь войны и грабежи»^[48]. Бывает ли, чтобы воинская честь предполагала полное безразличие к материальным благам? Существует ли чистая духовность воина?

Простодушные и грубые, если верить Тациту, эти германцы с того года были ограничены в вооружении. Защита слабая: никакого панциря, кроме щита. Никакого изощренного оружия, кроме копья, которое называли фрамеей, и дротика. И конница у них не имеет решающего значения и чрезмерной мощи — она смешивается с пехотой. Фактически Тацит не говорит ни о каком превосходстве конного над пешим. Оба соседствуют и взаимодействуют в бою. Некоторые народы Германии лучше проявляют себя как кавалеристы, другие — как пехотинцы, и это не прибавляет гордости и славы первым в ущерб вторым^[49]. Конница не имеет столько старших козырей, сколько получит в Средние века: у нее нет стремян, и кони посредственного качества^[50].

Однако находится ли она в небрежении? И не стоит ли особо подчеркнуть, прежде всего для древних галлов (до эпохи Цезаря, когда они еще имели германские черты), а также для их германских кузенов, ее роль и еще в большей мере символическое значение коня, его важность для престижа? Разве знатные «дружинники» вождя, возвращаясь с почетной службы, то есть из боя, не требовали «от щедрости своего вождя <...> боевого коня», а кроме того, «той же жаждущей крови и победоносной фрамеи»^[51]? Это сказано намеками — тем не менее сказано.

Есть, конечно, различия и между народами Германии, и между сведениями Тацита о них. Таким образом, аристократические тенденции могут быть выражены сильнее или слабее. Но было ли время, когда бы они вообще отсутствовали? И с германцами Тацита, и со многими воинственными «варварскими» народами в изображении греко-римских историков, такими как галлы Страбона или, позже, аланы и гунны Аммиана Марцеллина, дело обстоит одинаково: все горят боевым пылом, все воспитаны для войны, то яростные, то доблестные воины, всегда имеющие какой-то зрелищный воинственный обряд или обычай, они всякий раз с первого взгляда кажутся единым социальным телом. А ведь в этом, несомненно, сказывается их идеология, которая превозносит солидарность как принцип или сводит общество к его элите, не замечая тех, кто по преимуществу прислуживает или трудится. И это, бесспорно, общество, где доминирует более или менее многочисленная элита (как точно оценить ее долю?).

Во всяком случае один германский институт имеет откровенно аристократический характер, — это дружина, рассмотренная Тацитом. Многими чертами она напоминает сборный отряд добровольцев, о наборе которых у германцев писал еще Цезарь^[52]. Тем не менее складывается впечатление, что здесь имеются в виду более институциональные и формализованные узы, не столь зависящие от собраний отдельных народов. Есть соблазн

предположить, что это связано с неким новым развитием функций германских вождей, возможно, особо ощутимым у восточных германцев, «князья» которых богатеют на торговле янтарем^{53}.

«Германия» Тацита упоминает о наборе дружинников из разных народов («общин»). Это межэтническая элитарность. «Если община, в которой они родились, закосневает в длительном мире и праздности», — значит, в этой стране, помешанной на войне, бывает и такое, — «множество знатных юношей отправляется к племенам, вовлеченным в какую-нибудь войну»^{54}. Поэтому Тацит снова повторяет: «Потому что покой этому народу не по душе, и <...> среди превратностей битв им легче прославиться». Но, может быть, это прежде всего господствующий класс испытывает или афиширует такую неприязнь к покою?

Особенно для вождей «их величие, их могущество состоит в том, чтобы быть всегда окруженными большой толпой отборных юношей, в мирное время — их гордостью, на войне — опорой. Чья дружина выделяется численностью и доблестью, тому это приносит известность, и он прославляется не только у себя в племени, но и у соседних народов». Самые знаменитые вожди принимают посольства и дары, и молва о них «чаще всего сама по себе предотвращает войны»^{55}.

На основе данных этой страницы можно задаться вопросом, насколько жесткими были этнические границы между разными германскими «народами». Когда эти юноши стекаются к вождям, переходят ли они из одного народа в другой? Народы, без сомнения, не напрасно состязались меж собой в смелости: речь шла об их судьбе, об их привлекательности для отборных благородных воинов.

Такая мобильность тем правдоподобней, что, в конечном счете, общественные институты каждой из этих «общин», которые Тацит называет также «народами», не в полной мере достигают могущества институтов средиземноморских городов, греческих и римских. Они, в сущности, выглядят больше похожими на институты Галлии, где, на взгляд Цезаря, патроны клиентов гораздо важнее должностных лиц и соединяют один город с другим функциональными связями. И, однако, обладают ли они стабильностью этих галльских городов, организующих всю жизнь на своей территории, руководящих сложным комплексом с наличием торговли, ремесла и крепостей, чего в Германии еще нет?

Однако сродство между германским народным собранием (*concilium*) и собранием в Галлии времен Цезаря очевидно. «Когда толпа сочтет, что пора начинать, они рассаживаются вооруженными. Жрецы велят им соблюдать тишину, располагая при этом правом наказывать непокорных. Затем выслушиваются царь и старейшины в зависимости от их возраста, в зависимости от знатности, в зависимости от боевой славы, в зависимости от красноречия, больше воздействуя убеждением, чем располагая властью приказывать». Решения отвергаются ропотом либо санкционируются звоном оружия^{56}.

Точно так же принимается решение о выступлении армии или, скорее, оста на войну, которую решило объявить собрание такого рода^{11}. Вожди воздействуют примером, а не настоящим приказом, они не имеют *imperium'a* типа римского^{57}. Чтобы вести за собой воинов, нужно, чтобы они сражались впереди сами, «скорей увлекая примером и вызывая их восхищение». «Впрочем, ни карать смертью, ни налагать оковы, ни даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме жрецов, да и они это делают как бы в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся»^{58}. Помимо того, в оспе нужны святыни и голоса женщин.

Нельзя сказать, чтобы германские вожди вместе с теми, кто примкнул к ним из-за их достоинств — и, может быть, также благодаря раздаче предметов роскоши, — образовали

частные клики, подрывая единство «общины». Напротив, они, похоже, представляют собой становой хребет таких «общин», чья стабильность и судьба должны во многом зависеть от них^[12].

На «народные собрания» собирался народ, организованный в «области и паги» (Цезарь) или в «округа и селения» (Тацит)^[13]. По мнению Цезаря, эта местная организация имела даже первостепенную важность: в мирное время не было общего магистрата, а только суд старейшин (*principes*) на этом местном уровне. У Тацита народное собрание выглядит уже более сильным, ведь оно вершит суд как по тяжелым обвинениям, так и за мелкие проступки. Это собрание назначает также старейшин и их помощников в количестве ста человек, «из простого народа», чтобы творить правосудие на местном уровне. Несомненно, эти же люди, сто человек, представляют собой базовое подразделение германского оста, которое сражается пешим^[59]. «Сотня» позже появится у народов раннего Средневековья.

Иначе говоря, одни и те же институты и одни и те же люди использовались и для войны, и для суда. Эта особенность будет встречаться также в истории раннего и среднего Средневековья, во всяком случае по XII в., и я думаю, это позволяет мне во всем тексте эссе использовать слово «ост» вместо «армии» и *plaid* вместо того, что было одновременно «собранием» и «судом», — но безо всяких современных коннотаций этих двух терминов.

Оба этих института взаимно дополняют друг друга. С другой стороны, оба они представляют собой не более чем отростки — или, скорей, центры, сильные доли такта — социальной жизни, ведь не было ни профессиональных воинов, ни профессиональных юристов, ни постоянных и замкнутых военных и судебных институтов. Система взаимосвязанных оста и *plaid'a*^[60] образует именно рамку, где формируется германский идеал, который позже будет воспроизведен и развит в виде рыцарского идеала. Или, если угодно, скажем так: эти идеалы могут и должны воплотиться, чтобы выполнить всю свою социальную функцию. Воин — это всегда правитель, и в этом аспекте наглядней всего соединяются война и правосудие, а значит, сила и право.

Но следует ли говорить о настоящем правосудии в отношении общества, которое допускает и поощряет месть?

ПРЕДЕЛЫ НАСИЛИЯ

Для германских народов, по крайней мере для их воинской элиты, характерна определенная свобода. Она, как мы видели, и порождает «доблесть»^[61], понимаемую как стихийное проявление благородства. Тацит все-таки говорит о неудобствах этой системы — вскользь, когда рассказывает о «собраниях», или *plaid'ax*, созываемых на новолуние или полнолуние. «Но из-за их свободы происходит существенная помеха, состоящая в том, что они сходятся не все вместе и не так, как те, кто повинуется приказанию, и из-за медлительности, с какой они прибывают, попусту тратится день, другой, а порой и третий»^[62]. Далее, в «Истории» и «Анналах», он вернется к вопросам недисциплинированности германских воинов и вреда, который некоторым народам наносят раздоры вождей; мало того что между соперниками нет здорового состязания в храбрости, есть ненависть, которая приводит к убийствам.

Как говорится на знаменитой странице «Германии», «разделять ненависть отца и сородичей и приязнь к тем, с кем они в дружбе, — непреложное правило»^[63]. Авторы XIX в. часто приводили этот отрывок, доказывая неизбежность насилия в таком обществе. Но многие опускали продолжение этой фразы: «Впрочем, они не зако sneвают в непримиримости; ведь даже человекоубийство у них искупается определенным количеством быков и овец, и возмещение за него получает весь род, что идет на пользу и всей общине». Если знаменитую фразу Тацита о мести у германцев прочесть до конца, то, оказывается, она говорит, что существует система улаживания конфликтов. Вопреки современным предрассудкам в отношении «мести», такое общество вовсе не обязательно рвет на части импульсивные люди, подверженные мстительному гневу. Участвовать в конфликтах вместе с родичами или по крайней мере декларировать такое участие — это обязанность. После такой декларации вовсе не обязателен переход к действию, дело чаще заканчивается получением выкупа, «композиции» за кражу и побои, вплоть до «цены крови». Это создает систему, которую я во всем тексте эссе буду называть *файдовой (faidal)*, потому что *файдус (faidus)* в салическом законе франков означает *одновременно* мечь и композицию. Так что этот термин позволит во всех случаях иметь в виду то и другое сразу^[14].

То есть у германцев было правосудие, ориентированное на мирное прекращение раздоров, либо на местах (о чем упоминал уже Цезарь), либо на народных собраниях. Очевидно, о нем хотелось бы знать больше. Были ли его решения обязательными для обеих сторон конфликта? Это представляется маловероятным, судя по тому, что известно из других источников об обществах мести. Но выбор стоял не только между судебным институтом и частной войной, бывали и частные примирения — вероятно, в форме дружеского общения.

В самом деле, примирения происходят на пирах, куда приходят с оружием, где вино иногда распяляет страсти и даже остаются раненые и убитые. Но в то же время, если верить Тациту и его источникам, эти моменты, когда непритворно высказывают всё, что лежит на сердце, равно пригодны и для соглашений. И, наконец, почти все пиршества выполняют функции «народного собрания»: там толкуют «о примирении враждующих между собою, о заключении браков, о выдвижении вождей, наконец, о мире и о войне». Или, точнее, — Тацит это отмечает, — тогда начинаются переговоры, а решения их участники принимают на следующий день, когда протрезвеют^[64].

Это во всяком случае делает германцев скорее снисходительными, нежели мстительными. Но немногие историки XIX в. это по-настоящему замечали. В самом деле, глава 21 «Германии» (в издании Бюде) включает в себя полторы строки о ненависти, четыре

— о композиционном правосудии и одиннадцать — о чудесном гостеприимстве, которое германцы оказывают сородичам, приглашали тех или нет, знакомы с ними или нет. Мы вполне догадываемся, что речь идет о воинах из хорошего рода, о мирном времени, ну и что — ведь это вежливость, щедрость, которые вполне могут смягчить их репутацию свирепых людей. И, уходя, гость может попросить что-то еще, и ему это дарят, «впрочем, с такой же легкостью дозволяется попросить что-нибудь взамен отданного». Тацит уверяет: «Они радуются подаркам; не считая своим должником того, кого одарили, они и себя не считают обязанными за то, что ими получено»^[65].

Куда же теперь деть теорию антрополога Марселя Мосса о состязании между сделанным и ответным подарками, со всеми ее аватарами XX в. — на полку с потерянными парадигмами? Не думаю. В архаических обществах — вплоть до нашего — есть нормы поведения, которые, чтобы сделать их эффективными, надлежит изо всех сил отрицать. Расточать щедроты, обязательные и обязывающие партнера (и соперника), изображая непосредственность, — показная добродетель. Говорить другому, что он не обязан делать ответный жест, — не значит ли это фактически бросать ему вызов? Он волен этот вызов не принять, но тогда утратит силу. Так что дармовое гостеприимство представляется не столько идеалом, сколько идеологией.

Что касается поддержки родичей в их ненависти, Тацит хорошо видит ее обязательный характер — и, отмечая это, пусть мимоходом, наносит серьезный удар по римскому мифу о бездумной варварской ярости. Далее, описывая, каким образом германцы все-таки приходят к соглашению, он вполне дает понять, что грозящего насилия обычно можно избежать. Побуждает ли их к этому только сознание гражданского долга? Бьемся о заклад, что и материальные компенсации здесь кое-что значат. Но взять их взамен мести — поступок корыстный, который лучше не афишировать.

Разве европейские путешественники и этнологи, обнаруживающие «рыцарство» у воинских элит бедуинов, ирокезов, других американских индейцев, не покупаются на отказ от расчетливости, от желания доминировать? Они поддаются симпатии к собеседникам, которые ведут себя как «вельможи», несмотря на суровую жизнь. А то и находят трагическое величие в воинах, которых общество якобы подвергает опасностям, при этом запрещая применять силу: так, Пьер Кластр под конец (1977) оплакивает «несчастье последнего дикаря», гуайкуру, видя в нем «подобие рыцарства»^[15]. Клод Леви-Стросс или Пьер Бурдьё так бы не выразились, они не столь романтичны. Может быть, орудя скальпелем структурализма и критической социологии, они упускают из виду человеческую душу? Не знаю.

Тацит идеализирует своих героев меньше, чем Пьер Кластр, и больше, чем Пьер Бурдьё. Благодаря ему можно увидеть сложные взаимодействия в обществе свирепых дикарей. Возможно, это общество не «раздирается насилием», оно только пронизано силовыми отношениями и структурировано сравнительно упорядоченной состязательностью. Подытожим то, что в произведении Тацита позволяет судить о германцах как о племенах, в конечном счете несколько менее жестоких в действиях, чем на словах и в манерах.

Есть периоды мира, чередующиеся с периодами войны. В это время вооруженная свита воинского вождя и само оружие — только декор^[66]. Кстати, если знатные юноши вступают в такую свиту, значит, они покинули «общину, в которой они родились», закосневшую в длительном мире^[67].

Среди народов, перечисленных во второй части «Германии», есть более и менее воинственные. К последним относятся хавки, живущие на северо-западе, явные предки

саксов. «Среди германцев это самый благородный народ, предпочитающий оберегать свое имущество, опираясь только на справедливость. Свободные от жадности и властолюбия, невозмутимые и погруженные только в собственные дела, они не затевают войн и никого не разоряют грабежом и разбоем». Они не совершают несправедливостей — в смысле не осуществляют вооруженной агрессии против других. Просто они постоянно находятся на военном положении и держат в готовности «и войско, и множество воинов и коней». И таким образом, «когда они пребывают в покое, молва о них остается все той же»^[68].

Однако очень похоже, что это некая «хавкская аномалия», потому что надо признать, что воинственность многих других народов способствует укреплению их репутации. Хатты (которые живут немного южнее, среди «предков» франков) дают жестокие и наглядные обеты, отчего становятся «приметными для врагов и почитаемыми своими». Впрочем, «и в мирное время они не стараются придать себе менее дикую внешность»^[69]. У них нет ни дома, ни земли, и питаются они в гостях. Иными словами, они демонстрируют воинственность лишь затем, чтобы верней, по-барски, эксплуатировать труд других. В этом смысле они больше, чем хавки, отвечают воинскому идеалу (или словесному портрету), изображенному в части первой. Они в большей степени германцы, чем другие германцы. Они отличаются «особо крепким телосложением» и «необыкновенной непреклонностью духа».

И, однако, хатты не столь уж соответствуют стереотипу нерассуждающего варвара. «По сравнению с другими германцами хатты чрезвычайно благоразумны и предусмотрительны»: они соблюдают боевое построение, не спешат атаковать, когда не надо, «наконец, что совсем поразительно и принято только у римлян с их воинской дисциплиной, больше полагаются на вождя, чем на войско»^[70]. Так вот кого они взяли за образец, и в самом деле сходство с римлянами очень заметно в том, какую роль они отводят пехоте. В ней «вся их сила», которая, впрочем, сочетается с силой конницы. Они нагружают на пехотинцев «помимо оружия <...> также необходимые для производства работ орудия и продовольствие». Есть с чем предпринимать настоящие походы. И Тацит искусно делает вывод, противопоставляя два понятия: «Если остальные германцы сшибаются в схватках, то о хаттах нужно сказать, что они *воюют*». В общем, подобно римлянам...

Вот противоположный пример — херуски, которые живут «бок о бок с хавками и хаттами». Они славились подвигами во времена Арминия (в 9 г., в 16 г.) и даже Италика, в определенном смысле (в 47 г.). Поскольку с тех пор на них не нападали^[16], они «долгие годы пользовались благами слишком безмятежного и поэтому порождающего расслабленность мира». В этом они неправы, «потому что в окружении хищных и сильных предполагать, что тебя оставят в покое, — ошибочно». Более того, Тацит как настоящий реалист замечает, что умеренность и честность приписываются, скорей, победителю в бою, чем приверженцу мира, — страшная фраза, хоть и сказанная мимоходом, но разоблачающая все будущее рыцарство! «И вот херусков, еще недавно слывших добрыми и справедливыми, теперь называют лентяями и глупцами, а удачу победителей хаттов относят за счет их высокоумия»^[71].

То есть справедливость приводит народ к упадку — в Германии, где чрезмерное благодушие все-таки не одобряют. Несомненно, численность народов-победителей растет за счет присоединения воинов из других народов: все начинается с подражания их обычаям, поскольку длинные волосы, характерные для хаттов, у их соседей становятся признаком личной отваги.

Далее к востоку группа народов, называемая «свебами», пытается отличаться прическами, которые еще у нашей молодежи выражают одновременно кокетство и вызов: они «подбирают волосы наверх и стягивают их узлом». Но это не означает отказа от

воинской этики. «В этом забота свебов о своей внешности, но вполне невинная: ведь они прихорашиваются не из любопытства и желания нравиться, но стараясь придать себе этим убором более величественный и грозный вид, чтобы, отправившись на войну, вселять страх во врагов»^[72]. Пусть так. Но разве это столь же эффективное средство, как подражание римской дисциплине у хаттов?

Побуждает ли религия германцев их к войне или способствует отводу воинственных чувств в другое русло? На этот счет существуют разные мнения.

Есть жрицы, разжигющие воинственность, как Веледа, эмблемы, взятые из священных рощ, боги войны, эпические герои; не стоит забывать и о роли жрецов в обеспечении, путем санкций, минимального порядка в оспе и в наказании за измену. То есть такое язычество по-настоящему поощряет жестокость в жизни и действиях. Пусть даже, четко отметим это, никакое участие жреца, никакие ссылки на богов и героев не окрашивают вручение оружие знатному юноше в цвета языческой сакральности. Так что не стоит предполагать, как это делали некоторые историки Нового времени, что средневековое христианство позже пожелало присвоить этот обряд, чтобы изгнать из него языческие черты. Ношение длинных волос хаттами и их вождями, от которых этот обычай, несомненно, унаследовали Меровинги, тоже не обязательно означает сохранение за этой прической языческого сакрального смысла — напротив, миропомазание 751 г. избавило Каролингов от таких ассоциаций.

В древней Германии, но на севере, «на острове среди Океана», есть также культ Нерты, «матери-земли», со святилищем и святым днем, когда всякое насилие запрещено^[73]. Эрудиты Нового времени иногда хотели видеть в этом предвосхищение Божьего перемирия XI в., забывая, что подобные табу на какие-то места и периоды времени склонны налагать многие религии. А если германская религия и стремится ограничить военные конфликты, то, скорей, за счет частого обращения тацитовских германцев к гаданию: «Нет никого, кто был бы проникнут такою же верою в приметы и гадания с помощью жребия, как они»^[74]. Жрецы общины занимаются этим ради «общественных» интересов, отцы семейств — в «частных» целях. Они используют ветки, ткани, они наблюдают за птицами и лошадьми и слушают их. Они предпочитают гадать дважды, чем раз, прежде чем что-то предпринять.

Значит ли это, что они часто ищут сакральные предлоги, чтобы отказаться от боя? Тацит не говорит этого определенно, кроме как в последнем примере гадания, который приводит. Чтобы «предузнуть исход тяжелой войны», они «сталкивают в единоборстве захваченного ими в любых обстоятельствах пленника из числа тех, с кем ведется война, с каким-нибудь избранным ради этого соплеменником, и те сражаются, каждый применяя отечественное оружие. Победа того или иного воспринимается как предуказание будущего»^[75] (*prae-iudicium*). Это не совсем похоже на средневековый судебный поединок или поединок героев перед боем, поскольку один из его участников — пленный. Но все-таки это один из поединков, которые влекут за собой ограничение военных действий, не компрометируя сам идеал героизма; и самое классическое средневековое рыцарство, рыцарство XII в., в принципе будет придавать таким поединкам величайшее значение^[76]. И, если присмотреться, тут заметен и зачаток и другого характерного рыцарского обычая: похоже, здесь с уважением обращаются с пленником равного ранга и даже используется нечто вроде принципа *fair-play* (честной игры (англ.)).

В той же степени и даже больше, чем «посвящение в воины», на котором часто сосредотачивают внимание, вместе с прической свебов, все это по-настоящему предвосхищает рыцарское Средневековье. Итак, в древней Германии можно найти несколько

его предвестий — даже если крайняя грубость и многие обычаи^[17] составляют существенное различие.

Языческая религия, похоже, в той или иной степени приспособлена к нравам этого «военного общества», где подстрекательство к войне периодически сменяется предложениями для того, чтобы ее отложить и начать переговоры. Надо будет обратить внимание, поведет ли себя менее двусмысленно средневековое христианство с его стремлением к миру и идеей справедливых войн, сыграет ли оно более «цивилизаторскую» роль.

Прежде всего надо будет проследить в ходе этого эссе: воспримет ли Средневековье, франкское, а потом феодальное, жестокий идеал древней Германии целиком. Какие детали и оттенки оно сможет добавить к нему? Какие возьмет из него обычаи в иной контекст, когда короли и сеньоры будут сильнее, а экономика, техника — более развитыми?

Тем временем германские вожди пытались достичь большего могущества в основном при помощи военных походов, приносящих добычу и дань. Но можно ли сказать, что при этом они безусловно следовали идеалу? И не сталкивались ли с серьезными препятствиями?

«История», а потом «Анналы», написанные после «Германии», посвящены событиям I в. н. э. Мы располагаем только фрагментами того и другого текстов, но в обоих уделено внимание германским делам (наряду с другими). Военные вожди и цари германцев пользовались тогда институтами и ценностями, упомянутыми в книге «Германия», но перед нами эти события оживают благодаря орлиному глазу Тацита и даже его поэтическому дару, причем здесь автор проявил больше реализма.

Лексикон власти со времен Цезаря до времен Тацита почти не изменился. Во всех произведениях последнего местный вождь, усмиритель распрей (*princeps*), — это еще и тот человек, который на собрании племени («общины») может проявить себя, только начиная войну, привлекая к себе множество сторонников и тем самым становясь дуксом (*dux*), причем Тацит упоминает и *царей*. Создается впечатление, что это не три разных власти, а скорей, три этапа идеальной карьеры, три этапа пути восхождения.

Казалось бы, существует критерий различия царей и дуксов (военных вождей). «Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных»^{77}. Но знатность и доблесть характерны для одних и тех же лиц^{78}, по крайней мере есть такая тенденция. И Тацит сразу же переходит к общей черте обеих этих властей: они ограничены и не самоуправны, основаны на примере и убеждении. И обе, разумеется, должны учитывать наличие сферы, выделенной жрецам, которые хранят законы, а также гадают и обнародуют предсказания.

Но ведь, несмотря ни на что, резонанс победы над римскими легионами Вара в 9 г. дал военному вождю херусков Арминию беспримерную власть?

Тем не менее в 16 г. Рим попытался отомстить. Германик, близкий родственник Августа и один из приемных сыновей императора Тиберия, возглавил поход на Арминия и его дядю Ингвиомера. Он рассказал римским солдатам о слабостях германских воинов. Защитное вооружение у них плохое: ни панциря, ни шлема, щит слишком тонкий. «И тела их, насколько они страшны с виду и могучи при непродолжительном напряжении, настолько же невыносимы к ранам; германцы, не стыдясь позора, нисколько не думая о своих вождях, бросают их, обращаются в бегство...»^{79} Иначе говоря, они не каждый день находятся на высоте своего идеала — который прежде всего является идеалом их вождей. Нужно было, чтобы Арминий «словом, примером в бою, стойкостью в перенесении ран» поддерживал их мужество. В борьбе с римлянами он воплощал для них альтернативу «свобода или смерть». Но вот их окружили, и Арминий бежал, предприняв огромное усилие и воспользовавшись быстротой своего коня. «Он все же пробился, измазав себе лицо своею кровью, чтобы остаться неузнанным. Некоторые передают, что хавки, сражавшиеся среди римских вспомогательных войск, узнали его, но дали ему ускользнуть. Такая же доблесть или хитрость спасла и Ингвиомера; остальные были перебиты»^{80}.

Арминия чрезвычайно превознесли, под именем Германа, в Германии XIX в. Это победивший Верцингеториг, предтеча кампаний 1813 и 1870 гг. против Франции Бонапартов... Прочтите только надпись на памятнике Герману в Тевтобургском лесу, памятнике, достойном картин Каспара Давида Фридриха! Тем не менее здесь мы видим, что он спасает себе жизнь — конечно, отважно, но оставляя собственный ост на гибель. Все-таки

это не герой эпопеи. Разве бегут так с поля боя в «жестях», вроде песни о Роланде?

В конечном счете Арминий не имел в Германии того авторитета (хоть и не на всей территории, но ощутимого), каким обладал Верцингеториг в Галлии 52 г. до н. э. Однако и римский натиск был несравненно слабей. В 16 г. император Тиберий не пустил Германика в поход и назначил его консулом, чтобы тот оставался в Риме, вместо того чтобы покрывать себя славой.

Поэтому в 17 г. римляне довольствовались тем, что наблюдали за войнами между народами (*gentes*) Германии, причиной которых была «борьба за первенство»^[81]. Арминий возглавил союз противников Маробода, принявшего титул «царя». Этот титул был «ненавистен его соплеменникам», — но, видимо, не всем, коль скоро оба союза имели равные силы. Словно затем, чтобы эти силы уравновесить, родной дядя Арминия, тот самый Ингвиомер, который сражался бок о бок с ним в 16 г., примкнул к Марободу: племянник отодвигал его на задний план.

Так что «войска устремляются в бой», причем время беспорядочных передвижений германцев былых времен прошло. Теперь (в 16 г.) они усвоили кое-какие положения римской дисциплины (в силу «длительной войны с нами»).

Похоже, Арминий вел себя не совсем как римский полководец (*imperator*), который отдает строгие приказы, а после этого наблюдает за сражением, побуждая, если надо, войска к бою, как это делал Германик в прошлом (16-м) году.

Возникает, скорей, ощущение, что он распался эмоции своего оста, добиваясь одобрения — бряцания оружием, как во время *ptaid'a*. Ему полагалось убеждать и подавать пример: он сидит на коне и напоминает о своей доблести, которую доказала его победа в 9 г., а Маробода называет трусом и беглецом, пошедшим на соглашение с римлянами, «предателем родины, заслуживающим, чтобы его отвергли с такой же беспощадностью, с какою они истребляли легионы Квинтилия Вара»^[82]. Но Маробод, в свою очередь, хвалил себя и превозносил прежде всего Ингвиомера, который теперь был на его стороне как воплощение истинной славы херусков, не то что самозванец Арминий...

Самозванец, Верцингеториг наших немецких друзей? В самом деле, начался яростный спор. И яростная война, потому что завязался горячий бой с неясным исходом — однако, не столь уж неясным, коль скоро его прервали. Маробод предпочел не возобновлять бой, а отойти на возвышенность. Там он обнаружил, что дезертирства ослабили его силы. Иными словами, эта междоусобная война не то чтобы оказалась безобидной, но не вызвала и настоящего разгула братоубийственных страстей. Напротив, «Анналы» Тацита не единожды описывают старания военных вождей усилиться с помощью собственной группировки, редко пренебрегая поддержкой Рима и сталкивая одних противников с другими посредством пропаганды и оружия. Стоит одному из них добиться существенных успехов, как против него начинают негодовать, даже в рядах его родичей, и он теряет поддержку Рима, пусть он и пользовался ею поначалу. После чего он обычно бежит, реже его убивают. Соперничество германцев и макиавеллизм империи сдерживают честолюбцев и способствуют сохранению чисто аристократической системы.

Вот еще одна характерная история — 47 г. Молодой херуск царской крови вырос в Риме, где с ним обходились, скорей, как с согражданином, чем как с заложником; он носил имя Италик, «обладал красивой наружностью и хорошо умел управляться с конем и оружием как на отеческий лад, так и по-нашему»^[83]. По отцу он происходил из херусков (был сыном брата-врага Арминия, сторонника римлян), по матери — из хаттов. А херуски как раз «испросили царя из Рима». И это гордые победители Вара! Что же произошло? Об этом подробно не говорится ни у Тацита (в «Анналах» которого есть лакуна между 6 и 11

книгами), ни у других. Похоже, «знать» херусков «была истреблена во время междоусобных войн», и он остался единственным представителем царской крови.

Если это правда, плохо понятно, почему немного позже обнаруживаются вожди клики, которых раздражает его внезапное появление. Несомненно, его хотели сделать внешним арбитром, не связанным ни с какими группировками, настоящим псевдоиностраницем. Не будем воспринимать буквально идею, что «междоусобные войны» — непременно гекатомбы^[18].

Может быть, молодой Италик был уцелевшим потомком виднейшего рода херусков, задним числом объявленного «царским». Хотелось бы знать об этом больше, а также хотелось бы, чтобы Тацит сообщил, было ли Италику на собрании херусков вручено оружие по обычаю, описанному в главе 13 «Германии». Но, правду сказать, ни в «Истории», ни в «Анналах» он никогда не упоминает об этом обряде.

Во всяком случае молодого Италика поначалу приняли приветливо и хорошо. Он приобрел имя. Но его возвращение, по сути прибытие, на родину, где он не родился, вызвало недовольство некоторых херусков, которым были выгодны раздоры. Они скрылись, чтобы искать поддержки у соседних народов. Италик, обвиненный в том, что он ставленник римлян, обратился к своей знати и предложил: «пусть они испытают его доблесть на деле, и он покажет, достоин ли своего дяди Арминия, своего деда Актумера» (хатта, его предка по матери)^[84]. В самом деле, он одержал победу в сражении, но решительную. Он впал в высокомерие, — а как не впасть в него, когда царствуешь за счет примера и убеждения? И его изгнали...

Из истории Италика хорошо видно, какие трудности возникали при попытке стать царем у германцев. Любопытно, что далее сразу же описана неудача римского полководца Корбулона. Это был властный командир, он восстановил былую дисциплину в легионах на Рейне.

Ведь если германцы терзали друг друга, то на римской армии сказывался упадок режима, иногда в ней вспыхивали мятежи. Другая система — другие проблемы. Легионер — не аристократ, в мирное время предающийся праздности; наоборот, в это время ему устраивают учения, принуждают заниматься земляными работами. Его праздности опасаются. А ведь в 47 г. для легионов были характерны расхлябанность, грабежи, неподобающие инициативы. Корбулон отреагировал на это и ввел смертную казнь за мелкие нарушения дисциплины. И он уже был готов идти на германцев.

Но император Клавдий этого не хотел. В империи считали, что если такой человек, как Корбулон, «добьется успеха, [он] станет опасной угрозой для гражданского мира и непосильным бременем для столь вялого принцепса»^[85]. Поэтому Корбулону не дали покрыть себя славой в Германии. И этот человек долга мог только вздохнуть: «О, какими счастливыми были некогда римские полководцы!»^[19] Действительно, в то время вспоминали «образцы доблести и величия, явленные римским характером при былых нравах»^[86]. Но доблесть больше не стояла на повестке дня, так что Корбулон велел отступать и приказал своим легионам прорыть канал от Мааса до Рейна, «чтобы не дать воинам закоснеть в праздности». После этого Клавдий все-таки предоставил ему «триумфальные отличия, хотя и не дозволил вести войну»^[87]. И перевел его на Восток.

Таким образом, цезари 1 в. н. э., руководящие государственным аппаратом, запрещали отборным солдатам отличиться, выказывать доблесть. Может ли могущественный государь допустить, чтобы рядом с ним были знатные люди, имеющие слишком высокий престиж? Так что непохоже, чтобы «средневековое рыцарство» могло иметь римское происхождение,

как недавно заявил Карл Фердинанд Вернер, разве что если дать этому рыцарству иное определение, чем в настоящем эссе. Когда в Средние века, например в царствование Людовика Благочестивого, в тысячном году или в XII в., вдруг возникают римский лексикон и римские идеи о *militia* [воинстве], это, скорей, значит, что власть пытается приручить и ослабить рыцарство, принудить его к покорности.

Однако идеалы римлян и германцев не прямо противоположны: разве отдельные знатные воины, отдельные офицеры-аристократы не набирались храбрости и не изъявляли готовности к реваншу при неудачах? С другой стороны, противостоя друг другу, они неизбежно перенимали друг у друга технику и приемы, так что опыт у них был общий. Мы уже в двух случаях, в отношении херусков и хаттов, обнаруживали, что германцы брали за образец римскую дисциплину.

Впрочем, очень скоро римляне стали использовать германские вспомогательные войска: Цезарь — в галльской войне, Клавдий — в войне за Британию (с 43 г.). И именно батавские ^[20] когорты, то есть германцы из устья Рейна, последовав за вождем, создали в 69 г. серьезную проблему, зафиксированную в «Истории» Тацита.

Этот военачальник принял римское имя Юлий Цивилис — можно было бы сказать «Жюль Сивиль», если бы это не звучало фальшиво. Он служил Риму в Британии, но попытался избавиться от этой службы, воспользовавшись смутами в империи в 69 г. — в году четырех императоров, — когда многих из чистокровных римлян вывели с Рейна. Цивилис поначалу сделал вид, что поддерживает Вителлия, любимца римской солдатни (против Веспасиана, которому симпатизировали офицеры). Но вскорости, как показывает Тацит, Цивилис стал подстрекать батавов к восстанию. И тогда «поставили его на большой щит и подняли на плечи; он стоял, слегка покачиваясь, высоко над головами; это значило, что его выбрали вождем племени» (*dux*) ^[21]. Поскольку в царстве историков сейчас модно отрицать германские черты у франков, то возникновение этого обычая, который прославили страницы Григория Турского, посвященные Хлодвигу ^[88], историки с удовольствием приписали римским армиям — где он действительно отмечен в IV в. Но разве самое первое упоминание — все-таки не здесь? И разве это чисто римский контекст?

Вероятно, батавы Цивилиса, вовлеченные в кампанию за Ла-Маншем, уже усвоили какие-то поверхностные представления о римской дисциплине — позже херусков и раньше хаттов, своих родичей. Но Тацит описывает их, скорей, как свирепых и разнузданных германцев, какими они были издревле.

Цивилис и сам усвоил древний обычай. Он с начала восстания против Рима дал «варварский обет», близкий к обетам хаттов, как они описаны в «Германии» ^[22], отращивать волосы. Он даже окрасил гриву в рыжий цвет и в самом деле остриг ее только после «разгрома» легионов ^[89]. Впрочем, делая такой жест, не намеревался ли он заодно еще раз, под видом жестокости, продемонстрировать аристократическую «свободу» германцев? Дать такой обет — в принципе значит самому выбрать цель, а также момент, когда считать ее достигнутой! Нельзя отрицать и воздействие на противника этих огненных волос, предвещающих пролитие крови. Это было в традиции причесок германцев, которые они делали «не из любострастия и желания нравиться, но стараясь придать себе этим убором более величественный и грозный вид» ^[90].

К тому же Цивилис распустил слух, что отдал маленькому сыну нескольких пленников в качестве мишеней для его детских стрел и дротиков. Он также пользовался поддержкой девственницы-пророчицы Веледы из племени бруктеров.

В этом уборе, пользуясь такой репутацией и такими политическими связями, Цивилис

мог призывать германцев вернуться к обычаям и привычкам отцов. Они обязаны снова взяться за оружие и порвать с теми удовольствиями, которые подчиняют их Риму. «Забудьте о рабстве, станьте опять прямыми и честными, и будете равны другим народам, а может быть, даже добьетесь власти над ними»^[91].

Иными словами, программа Цивилиса для германцев как будто описывает то, что Тацит изобразил как их реальную жизнь через тридцать лет, в «Германии», и то, что римлянин представлял, заново сочиняя эту речь^[23]. Тем не менее на сей раз он дает понять, что «свобода» — не более чем лозунг, и вскрывает истинный смысл слов Цивилиса. Последний действительно не боится призывать к восстанию и галлов. Он им напоминает, что их предки обратились к римлянам, потому что междоусобицы изнурили их и стали смертельно опасными^[92], — подобно херускам в 47 г.^[93] «Почему же галлы не сбросят с себя иго римлян?»^[94] «Разве они не хотят свободы, и они тоже?»^{[24], [95]} Этот призыв встретил слабый отклик, прежде всего потому, что император Клавдий в 48 г. дал галло-римской элите допуск ко всем магистратурам. «Они говорят о свободе и тому подобном, — добавляет Тацит, — но это лишь предлог [для людей типа Цивилиса]; всякий, кто возжелал захватить власть и поработить других, прибегает к громким словам»^[96].

К тому же, правду сказать, «свобода» для окружения Цивилиса — это *фактически* та же германская доблесть, с ее достоинствами и недостатками. Батавы и другие «зарейнские племена» (жители правого, германского берега Рейна) вовсю демонстрируют свою храбрость, «расположившись поодаль друг от друга»^[97], то есть на манер оста. Они сражаются смело, но безрассудно: римский военный опыт наносит поражение германскому неистовству. Впрочем, истинную отвагу вплоть до героического самоотречения проявляют легионеры^[98], а германцы — чрезмерную алчность, теряя первоначальное преимущество потому, что вступают в драку из-за добычи^[99]. Окончания рассказа Тацита о Цивилисе у нас нет. Но то, что говорится в «Германии» о хаттах, вероятно, связано с походами, которые против них вели при Домициане (в 83 и 88 гг.). А это племя, как известно, сочетало свирепые обеты, то есть германский обычай^[25], с элементами римской организации. За этим будущее: позже франки создадут конфедерацию хаттов с другими племенами.

Пока что запомним немного искусственную черту — «неистовство», внешнюю свирепость воинских народов, наследниками которых станут франки и феодалы. Действительно, в шумных угрозах и громком бряцании оружием часто есть что-то двойственное. Показывать свои раны женщинам — не значит ли это одновременно хвалиться стойкостью и неявно испрашивать права не возвращаться в бой? Носить длинные волосы или кольцо бесчестия, как хатты, пока не убьешь врага, значит ждать, — а ведь некоторые доживали с этим кольцом до седин — ив конечном счете желать убить всего одного врага! Жестокость, как и щедрость, всегда имеет в себе нечто показное.

ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ

Социальную и моральную эволюцию Германии после Тацита трудно описать точно. Известно только, что натиск германцев на *лимес* стал явственно ощутимым к концу II в., в эпоху Марка Аврелия. А в 257 г. два больших народа, называемых франками и аламаннами, внезапно напали на Галлию; они принялись ее грабить и вынудили галльские города огородиться, обзавестись укреплениями или снова стать *оппидумами* в кельтском духе, теми большими замками, которыми они останутся практически до самой мутации тысяча сотого года — ее мы рассмотрим позже. Во всяком случае торговля и городская жизнь в империи несколько ослабли, и некоторое упрощение образа жизни в какой-то мере подготовило в Галлии повторную германизацию и способствовало этому процессу.

Повторим: речь идет не об этнических чертах, а, скорее, о состоянии общества, для которого характерен моральный и материальный подъем военной аристократии, и такое бывало на всех континентах, причем у людей с темными кожей и волосами — не реже, чем у краснолицых с белокуроыми гривами! Антропология африканских царств и воинов помогает «правильно понимать» франков на основе источников, до Григория Турского, увы, очень малочисленных.

Название «франки» имеет германское происхождение и означает «свирепый и свободный» (то есть «воин»), судя по корню *frehhr*, как было известно Исидору Севильскому. Однако сочеталось ли образование этого союза (наследника тацитовских гордых хаттов и их соседей) с развитием аристократии, усилением вождей? Так же как формирование его мнимого «близнеца», союза аламаннов (*всех людей*, которые шли в счет, знати и воинов), на территории тацитовских свебов? Трудно сказать. Во всяком случае конница у франков особо высокой роли не играла: в течение всего периода поздней Античности (III—IV вв.) они имели репутацию превосходных воинов, но *пеших*. Что касается аламаннов, их мы знаем лучше благодаря рассказу Аммиана Марцеллина о походах, которые вел против них с 355 по 361 г. на подступах к Рейну цезарь Юлиан (в христианской полемической литературе называемый также Юлианом Отступником). К тому моменту у них были цари, и, похоже, на войну ходили, не обязательно позади последних, также царьки и особы царской крови в составе хрупких коалиций. Очень много аламаннов участвовало в битве при Страсбурге (Аргенторате), и у них имелась конница, но Аммиан, который сам был римским офицером, приводит ценные замечания по ее поводу.

В самом деле, он объясняет, что аламаннская конница не имела заведомого преимущества над римской пехотой. Она спешила, так как аламанны знали, «что конный боец, как бы ни был он ловок, в схватке с нашим клибанарием, держа узду и щит в одной руке и копье на весу в другой, не может причинить вреда нашему закованному в железо воину; а пехотинец в опасную минуту боя, когда все внимание сражающегося сосредоточено на противнике, незаметно подкрадываясь по земле, ударом в бок коню может свалить всадника, если тот не побережется, и без затруднения убить его»^[100]. Иначе говоря, для всадников была необходимой технической поддержка пехоты, какую часто будут иметь и средневековые кавалеристы. Пока что рост значения верховой езды явно сдерживало отсутствие практики либо протесты, которые прозвучали в тот же августовский день 357 г. из уст аламаннских пехотинцев по адресу их царя Хонодомария и других конных вождей: пехота потребовала от своих царевичей сойти с коней и встать рядом с ней, «чтобы, в случае неудачи, нельзя им было покинуть простых людей и легко ускользнуть», как, кстати, сделал Арминий в 16 г.

Аммиан Марцеллин хорошо описывает устрашающую внешность Хонодомария,

соответствующую германской традиции: разве тот не носил на голове пунцовый султан? Он и его люди весь день были воплощением германского неистовства; но все-таки в конце дня он покорно сдался победителю, цезарю Юлиану.

Впрочем, противостоявшая им римская армия цезаря Юлиана была галло-германской, по выражению Гюстава Блока. Она, по Аммиану Марцеллину, состояла по преимуществу из «галлов», которые во всем напоминали в первую очередь франков. Они пели бардит, чтобы в решительный момент придать себе смелости; они «нагоняли страх уже внешним своим видом» (то есть каждая сторона старалась напугать другую) и под конец «издали громкий боевой клич. Начинаясь в пылу боя с тихого ворчанья и постепенно усиливаясь, клич этот достигает силы звука волн, отражающихся от прибрежных скал»^{101}. Вождь этой победоносной галло-германской армии, цезарь Юлиан, был восточным римлянином, не усвоившим свирепой германской манеры поведения и отдававшим приказы; тем не менее в бою он был на высоте и щадил себя не больше, чем в свое время Германик. И его отряд не олицетворял дисциплину былых времен. В 361 г. Юлиан побывал «в Париже, это городок в Германии»^{102}, как пишет грек Зосим: Париж избрал этого военачальника августом, подняв его на щите. Это тот же ритуал, который германские батавы совершили для Цивилиса в 69 г.! За тем только исключением, что солдаты, которые, совершив этот жест, стали мятежниками, восстав против Констанция II, и выдвинули Юлиана в собственных интересах. Тем самым они, возможно, выразили не столько преданность ему, каким бы олицетворением добродетели и справедливости он ни был, сколько отказ идти сражаться на Восток и желание остаться в Галлии.

В целом походы цезаря Юлиана не имели характера особо тотальной и особо свирепой войны. Такая битва, как Страсбургская, — исключение. Аммиан Марцеллин год за годом составлял победные сводки, но порой о победах над очень маленькими народами (как салические франки, впервые покоренные, таким образом, в 356 г.). Что это за победы, кроме настоящей большой битвы с аламаннами при Аргенторате (нынешний Страсбург) в августе 357 г.? Продвижение вперед с занятием территории и грабежами, в то время как германцы отходили в глубь леса, рискуя, что им придется перейти к партизанской войне. Иногда было достаточно простой угрозы, чтобы добиться подчинения по договору, то есть обязательства платить дань, весьма ненадежного (которое данники часто ставили под вопрос). Во всяком случае цезарь Юлиан всегда прощал своих врагов — это он-то, противник Христа! Ведь недостаточное снабжение его армии (из-за налоговых и экономических ограничений) не оставляло ему иного выхода, кроме как сочетать смелость с милосердием. Днем он со своей армией мог вести себя как хозяин, но ночью нуждался в подвигах настоящего воина, Хариеттоца (несомненно франка), с его бандой или, если угодно, — здесь как раз можно это сказать, — франкским корпусом. Не случайно он поручил Хариеттону взять в плен видного аламанна^{103}.

Войска Юлиана получали жалованье и были распределены по полкам. Однако ему было трудно мешать им грабить и убеждать не разбредаться; если он рискнул в августе 357 г. под Аргенторатом (Страсбургом) дать сражение, то потому, что без этого не мог бы удержать их от множества мелких схваток, которые небывалая на сей раз сила противника делала опасными. Его армию финансировала империя (а налог контролировала ее аристократия), но по составу и духу эта армия была очень германской, а это означало «доблесть» и вместе с тем алчность, свободолюбие — и, следовательно, непостоянство...

Грабительские и карательные набеги на дальние земли или на соседние области были важной составной частью таких войн поздней Античности. Их основной целью было добиться от противника дани и даже верности и союзов — это значит, что врагов старались

не истреблять. Очень часто брали пленных или требовали заложников, которым предназначалась ключевая роль в ускорении аккультурации и социальной эволюции. Варварские пленные, взятые римлянами, обрабатывали землю Галлии в качестве колонов; римские пленные, взятые варварами, объединялись в небольшие группы летов — часто грабителей, разношерстные в культурном отношении. Наконец, варварские воинские народы становились федератами, связанными с Римом союзными отношениями; впрочем, случалось, что они возобновляли войну, чтобы добиться более выгодных условий союза. Поэтому были возможны бесчисленные перемены в союзнических отношениях, а римские победы только облегчали проникновение германцев и германского духа в Галлию.

Авторы XIX в. проявляли расовые предрассудки при анализе текстов и даже при интерпретации археологических находок: они считали, что могут распознавать в захоронениях представителей германской расы. Сегодня для археологов франк — это «культурный фациес», характерный для бойцов вспомогательных войск римской армии, которые происходили с севера Галлии, а не из-за Рейна. Здесь наблюдался обычай хоронить в земле (вместо кремации) и помещать рядом с мужчинами оружие — длинные мечи, секиры, копья, стрелы, кинжалы, щиты с умбонами. По мнению Михаила Казанского, «эта новая практика появилась у германцев в Галлии и стала результатом осознания их нового социального статуса, связанного с их военными функциями»^{104}. А франкский элемент, проникший в империю, остановленный в 257 г., но обосновавшийся там по договору в качестве федератов или как-то иначе, должно быть, стал катализирующим ядром, притягивающим к себе галльский элемент. Так появлялись солдаты — защитники Рима в эпоху поздней империи, содержащиеся за счет государственного налога, менее дисциплинированные, чем в классическую эпоху, но (и поэтому) часто добивавшиеся успехов, как, например, при Страсбурге. Аммиан Марцеллин мог назвать галлов Парижского бассейна гордым народом, отличающимся воинской доблестью, потому что это были галло-франки. Данные археологии подтверждают: раз они отказались от кремации, значит, оружие было для них символом статуса (в германском духе), то есть у них была единая элита.

Аммиан даже приписывал этим «галлам» происхождение от троянцев — словно в пику римлянам, потомкам Энея. А ведь такой же миф о происхождении франков будет в ходу в мерovingские времена, судя по так называемой хронике «Фредегара», и историческая критика развенчает его только в XVI в. Этот миф был придуман в интересах людей VII в., но приходится признать, что он содержит и зерно истины, ведь троянские изгнанники в какой-то период играли роль вспомогательных войск Рима, конфликтовали с ним по поводу своих союзных отношений и дани, переходили из империи в Германию и обратно и, наконец, скорее освободились от Рима, чем завоевали его. То есть они добыли оружием аристократическую свободу, и реальная история — это наделе не столько грубое вторжение, сколько постепенное просачивание в римский мир, где государство в конечном счете стало слабей аристократии.

Можно ли сказать, что наполовину романизованные воины, такие как рейнские или салические франки в составе различных «племен», стали адептами более суровой, более радикальной войны, чем та, какую вели тацитовские германцы? Непохоже. Даже если предположить, что они хотели этого, им несколько недоставало возможностей. Сквозь всю позднюю Античность проносятся всевозможные варвары свирепого вида. После 360 г. конные аланы и гунны, примчавшись галопом из степей, добавили к этому образу еще один штрих, экзотическую нотку. Некоторые римляне сами напускали на себя воинственность, как патриций Аэций — на самом деле сын романизованного скифа и римлянки. Другие же из снобизма демонстрировали чрезмерную утонченность и изысканность, как епископ Сидоний

Аполлинарий в 470-е гг. Но это не эпоха разнузданного насилия — картины сумрачного и разоренного мира выглядят сильным преувеличением. Это было, скорей, умеренное насилие.

V в. начался 31 декабря 406 г., когда вандалы перешли *лимес*, (потеснив рейнских франков — защитников империи, и Григорий Турский драматизирует этот факт в своей «Истории франков», словно не было иной альтернативы, кроме как между благой силой святых и смертельной борьбой между людьми. Он сам в своей второй книге делает упор на «чудесных деяниях святых» и на «народных бедствиях». Бедствиях? Даже говоря о знаменитом царе гуннов Аттиле, несомненно, не следует ничего преувеличивать. Народы очень рассчитывали на свою репутацию, чтобы устрашать врага, но Аттила не осаждал города, когда те оказывали ему знаки уважения, и битва на Каталаунских полях не была доведена до логического конца: если гунны и вестготы (король последних Теодорих был убит) бились меж собой упорно, то Аттила и его победитель патриций Аэций, позволивший ему отступить, — недолго. Немногим позже Аттила умер, занимаясь любовью, а не войной.

Сидоний Аполлинарий около 448 г. посвятил салическим франкам впечатляющее полотно — выдержанное в очень экспрессионистическом духе, какой был свойствен уже Аммиану Марцеллину, но стихотворное. Он говорит об их белокурых волосах, бритых лицах, их облегающих одеждах, наконец, о поясах, «лежащих на их узких бедрах». Но это великие спортсмены, мастера в метании копья или Франциски. Бросить это оружие «в безбрежное пространство, наметив точку, которую они уверенно поражают, раскрутить щит — это для них игра, так же как ринуться быстрее брошенных копий и достичь врага раньше них»^{105}. Иначе говоря, они несколько рисуются друг перед другом, они выполняют изощренные воинские упражнения, так же как римлянин Сидоний упражняется в не менее изощренной поэзии — каждый оттачивает те навыки, в которых превосходит других. Франки питали страсть к войне с детства — то есть из них воспитывали отборных воинов. И «если по стечению обстоятельств численность врагов или неудобство боевой позиции сильнее их, только смерть может сразить их, но не страх. Они остаются на месте непобежденными, и их отвага, так сказать, переживет их последний вздох». Да, может быть, бывало и такое, но в завершение своей поэмы Сидоний Аполлинарий славит Майориана — помощника Аэция, который как раз вынудил их капитулировать и присоединиться к себе...

Далее Сидоний по-прежнему изображает их германцами, потомками тех, о ком писал Тацит; в этом духе он описывает и вступление франков в Лион в 470 г. во главе с князем Сигисмером, и складывается впечатление, что это люди из другого мира. Сигисмер идет пешком, а перед ним и за ним ведут парадных и боевых коней^{106}. Далее следуют воины без шлемов, но несущие в руках оружие, в то время как «через плечо у них висят мечи на перевязях». У всех свирепый вид, разбойничьи рожи: «Зрелище царьков и их свиты внушало ужас в самое мирное время»^{107}. Словно читаешь у Тацита рассказ о вождях в сопровождении *комитата*.

Важно было выглядеть как можно более воинственно, а этническое происхождение оружия и даже титулов было не столь важным. Смешение культур хорошо заметно по обнаруженной в Турне в 1655 г. гробнице отца Хлодвига, франкского короля Хильдерика, умершего в 481 г.: оружие и уборы там были римскими, германскими и даже похожими на дунайские, а недавно поблизости от его гробницы нашли захоронение коней, свидетельство погребальной гекатомбы.

Королевскую власть у салических франков в Турне, которую в 481 г. унаследовал от отца Хлодвиг, можно определить как «усиленно» германскую. Германскую потому, что власть эта была военной, ведь Хлодвигу приходилось убеждать франков — взывая к этим «нахрабейшим воинам», народу во многом аристократическому, — следовать за ним, шла

ли речь о войнах или об обращении в другую веру. И потому, что этот народ жил по салическому закону, который ввели, несомненно, в конце царствования Хлодвига и который был посвящен композициям, как в обществе мести; этот закон признавал важность королевского покровительства, но не мог стать опорой для действительно сильной королевской власти. А усилили эту власть установленные с самого начала царствования связи с епископами этой области, которой Хлодвиг «управлял» в качестве преемника и во многом наследника римлян. Его позиция «никейского» христианина (а не еретика-арианина) и союзника империи, сохранившейся в Константинополе, в самом деле могла способствовать его возвышению и осуществлению его замыслов. Но все-таки мы видим, как Хлодвиг колеблется, прежде чем решиться и дать аламаннам сражение при Тольбиаке, судя по рассказу Григория Турского^{108}, чтобы побудить свой народ последовать за собой^{109}; здесь опять-таки можно усмотреть то, что Тацит назвал бы скорей схваткой, чем настоящей битвой, — с перерывами и спорами.

Вот как немного позже греческий историк Прокопий в своей «Войне с готами» выводит на сцену меровингского союзника: он помещает Рону и Рейн, как и устье последнего, «на землю галлов». «Тут большие болота, где в древности жили германцы, племя варварское, с самого начала не заслуживавшее большого внимания, которые теперь называются франками. Рядом с ними жили арборихи, которые издавна наравне с жителями всей остальной Галлии и Испании были подданными Рима». Прокопий упоминает также живущих восточней тюрингов (или тунгров?), аламаннов, бургундов, экспансию вестготов в Испанию. Потом он возвращается к *арборихам*, в которых следует видеть армориканских союзников Рима. «Военную службу для римлян несли тогда арборихи. Желая подчинить их себе как своих соседей и как изменивших своему древнему политическому строю, германцы стали их грабить и, будучи воинственными, всем народом двинулись против них. Но арборихи, проявляя свою доблесть и расположение к римлянам, показали себя в этой войне людьми достойными. Так как франки не могли одолеть их силою, они сочли их достойными стать их товарищами и породниться друг с другом близким родством. Арборихи охотно приняли это предложение. Так как и те и другие были христианами, то они таким образом слились в один народ и стали еще более сильными»^{110}. Возможно, Прокопий смешивает здесь несколько эпизодов, описав характерный метод «завоевания» Галлии Хлодвигом и его сыновьями. В самом деле, как не вспомнить столкновение Хлодвига с Сиагрием, пусть даже к тому моменту (486–487) франки Хлодвига еще не были христианами. Этот рассказ о мире достойных спасает честь галло-римской знати, примкнувшей к Хлодвигу и «франкизированной» в течение его правления. Но разве в то же время он недостаточно ярко характеризует войну между соседними народами, какой она могла быть — с постепенной эскалацией боевых действий и довольно быстрым прекращением боев, чтобы сократить потери знати и способствовать переходу вражды в дружбу и даже в слияние? Это рассказ о некоем подобии *файды*, когда после войны очень быстро настает мир. Это почти рыцарское завоевание Северной Галлии, которую отныне будут называть Франкией (Francie).

Битва при Вуйе в 507 г. была несколько более ожесточенной. В ней Хлодвиг и его многочисленный ост, возможно, численностью в 20 тыс., в который опять входили рейнские франки, противостоял осту вестготского короля Алариха, поддержанному римлянами под командованием Аполлинария, сына Сидония. Хлодвига, отныне христианина, который по пути к полю сражения строго велел воинам чтить владения святого Мартина, Бог ни на миг не оставлял своей помощью. Готы потерпели поражение во фронтальном столкновении, тем не менее после смерти вражеского короля Хлодвиг подвергся ответному нападению — два вражеских воина внезапно с яростью налетели на него и ударили копьями с двух сторон; но

он избежал смерти благодаря панцирю и коню^{111}, иначе говоря, благодаря тому, что на какое-то время отступил, и своей экипировке всадника. Его неуязвимость предвосхищает здесь неуязвимость средневековых рыцарей, которых было трудно пронзить насквозь и которые часто спасались бегством вскачь...

Чтобы завершить захват Галлии^[26], сыновья Хлодвига в 531 г. овладели королевством бургундов при помощи одной клики бургундской аристократии. Таким образом, Франкия включила в себя две аннексированные территории — Аквитанию и Бургундию. Чисто римская, сенаторская аристократия сохранила там больше авторитета и специфических черт, но даже там она старалась носить варварский военный костюм и усваивать некоторые обычаи варваров. Это была аристократия крупных собственников; они порой делали церковную карьеру, прежде всего в качестве епископов вроде Григория Турского, а иногда, без всякого стеснения, служили меровингским королям в качестве патрициев, герцогов, референдариев. В VI в. они будут выглядеть столь же мстительными и воинственными, как и «франки», с которыми их свяжут союзы либо соперничество в зависимости от родственных отношений и принадлежности к группировкам.

Упадок городов и торговли, даже если он не был повсюду одинаковым, превратил мир поздней Античности (III—IV вв.) в мир по преимуществу сельский, несомненно, менее простой и грубый, чем древняя Германия, — но более, чем империя сотого года. Многие марксисты уже к этому времени относят первый период «феодализма»; они правы, даже если такая характеристика несколько схематична, — ведь знать, уже сеньориальная, все больше подчиняла себе более или менее порабощенных крестьян, в то время как городские классы хирели, а государство приходило в некоторый упадок. В этом смысле перед нами мир аристократической «свободы», где не слишком странно было бы встретить какие-то проторыцарские черты.

В поздней империи еще существовали государственные служащие, которых Диоклетиан разделил на две «службы» (*milices*), причем символом обеих служили «перевязь» (или «пояс», *cingulum*) и «меч», обе подчинялись правилам и обе были почитаемы. Некоторые франки делали карьеру на военной службе, становясь командирами, достойными этого названия. Но с V в. римские титулы и инсигнии получали, скорей, вожди и князья народов, оставаясь для своего народа королями оста и *plaid'a*, как сам Хлодвиг. А в VI в. господствующий класс, элита, уже не знал иного разделения функций, кроме как между высшим духовенством и светской аристократией. Итальянский поэт Венанции Фортунат, прибывший в Галлию служить и угождать королям и лейдам, мог около 570 г. сочинить хвалебную песнь в честь герцога Лупа, лейда короля северо-восточных земель (Сигиберта I), превознося его достойную личность. Этот герцог был свежеиспеченным франком, но рассказы Григория Турского явственно показывают, что он прибегал к мести и владел укреплениями, невзирая на свое галло-римское происхождение. Об этом происхождении упоминает Фортунат, вместе с тем давая понять, что Луп, как и другие лейды, по образцу королей располагал властью скорее «общей», полиморфной, неспециализированной и более социальной, чем чисто институциональной — в общем, средневековой, сеньориальной властью. Фортунат не упоминает высших органов управления поздней империи; в Лупе он, скорей, видит знатного человека, «наследника старинного мужества римского племени», и хвалит его: «При оружии вы ведете сражения; в мирное время отправляете власть». И еще: «Победитель, вы покрыты пбтом под грузом кольчуги, и вы мерцаете в облаке пыли»^{112}. В целом Луп воплощает некий германский идеал римлянина.

КРОВНАЯ МЕСТЬ У ХРИСТИАН

Итак, Венанции Фортунат был восприимчив к блеску оружия, но хвалить войны предпочитал в поэмах, написанных на варварском языке (о которых он упоминает, но которых у нас нет). Его регистр — это скорее хвала мудрости, мягкости, справедливости, причем у всех королей и лейдов, у которых он искал милости. Королю Хильперика, внуку Хлодвига, он в 580 г. адресовал длинный дифирамб: «король, славный своим оружием, и потомок великих королей»^[113], «опора отечества, его надежда и покров в боях», вполне достойный своего пророческого имени, которое «на варварском языке» означает «смелый помощник», он — «ужас фризов и свебов» благодаря боевым действиям на границе, правду сказать, достаточно рутинным. «А что сказать, государь, о вашем правосудии?» Только одно: «от вас никто не уходит обделенным, если он просит о том, что справедливо»^[114].

Не забывает Фортунат и Фредегонду, достойную и блестящую, превосходную помощницу своего царственного мужа^[27]. Любопытно сопоставить с этим, как Григорий Турский, кстати, друг Фортуната, в своей «Истории» разоблачает все изъяны этой царственной четы... Но, возможно, поэт Фортунат — не низкий льстец: некоторые похвалы, в конце концов, звучат и как наказания, ловкие напоминания о том, чего общество, Церковь ждет от королей и магнатов. И нельзя сказать, чтобы идеалы историка Григория были совсем непохожи на идеалы Фортуната. У короля Хильперика, которого Григорий слишком хорошо знал, или у лейда Гунтрамна Бозона, который был с ним слишком откровенен, турский епископ подчеркивает поступки, не отвечающие идеалам верности и справедливости, вместе с тем отмечая отдельные проявления мужества. У королей Сигиберта и Гунтрамна, родных братьев (и часто врагов) Хильперика, он находит истинные достоинства: мужество, милосердие и справедливость.

Так что VI в. у франков не был лишен идеалов, и на основании «Истории» Григория Турского не следует его априори считать более испорченным, чем другие века, не нашедшие столь сурового хулителя и описателя, который бы оставил столь многословный (и перегруженный) текст. Кстати, даже в знаменитейшем шаржированном портрете Хильперика, которого автор называет «Нероном и Иродом нашего времени»^[115], приведены ли обвинения по адресу короля, убедительно подтверждающие эту шокирующую формулировку? Он совершал грабежи, «несправедливо» наказывал богачей, боролся с непомерным расширением церковных владений; он говорил правду о некоторых епископах, называя одного «утопающим в роскоши», другого «кутилой» — конечно, невежливо, но с франкской прямоотой, которая может вызвать у нас скорей улыбку, чем содрогание. Григорий Турский высокомерно отзывается о его нескладных латинских стихах и неправильных литургических гимнах, но сам факт, что король их сочинял, показывает, что это не был мужлан, грубый воин, невежественный и бесчувственный по отношению к Богу. Хильперик был неспособен совершить столько зла, как Нерон или Ирод, уже потому, что его королевская власть, несмотря на сохранение остатков римской административной структуры, оставалась слабой по сравнению со «свободой» Церкви и аристократии.

Свидетельства Григория Турского становятся по-настоящему содержательными для периода после смерти Хлодвига (511 г.) и особенно в рассказах о третьем поколении Меровингов, поколении внуков Хлодвига, королей с 561 г., то есть о его собственном времени (он был епископом с 573 по 594 гг.). Его основная заслуга заключается в том, что он при помощи выразительных деталей помогает нам, скорей, охарактеризовать меровингские времена, чем вынести приговор, используя термины «варварство» или «цивилизация» в

глобальном смысле. Ведь в конечном счете наличие у короля и знати идеала мужества и справедливости, «рыцарского» в широком смысле слова, не представляет собой ничего особо оригинального: какая монаршая власть, какая аристократия не претендовала на это в большей или меньшей степени, если не слишком вдаваться в вопрос, что они понимали под справедливостью? Нет ничего исключительного и в расхождении между теорией и практикой — удивляться, скорей, следовало бы обратному... И всё это, несомненно, было еще у страбоновских галлов! Здесь важно увидеть то, в чем могут отразиться изменения со времен галло-германской древности.

Галлы в свое время демонстрировали (по крайней мере на монетах) трофеи, взятые у убитых врагов, — отрубленные головы, подвешенные к конской сбруе. Язычники-свебы давали обет убить врага — хотя в целом германцы умели мирно улаживать некоторые конфликты, по свидетельству Тацита. Разве после обращения Хлод-вига и франков в христианство жестокие идеалы не должны были померкнуть в их глазах, а ранее существовавшие тенденции добросердечия — усилиться? Как случилось, что короли, ленды и даже епископы могли быть кровожадными и не испытывать священного ужаса при мысли об убийстве христианина христианином, ужаса, который мог бы указать им путь к рыцарским обычаям в строгом смысле слова?

Короли и лейды VI в. хоть и были христианами, но вели себя очень сурово по отношению к своим «рабам», продолжая как римскую, так и германскую традицию^{116}: они подвергали тех пыткам, чтобы добиться признания, увечили их, порой погибали от их неожиданных ударов, а во время войн грабили крестьян и захватывали людей в плен, чтобы продать в рабство или по меньшей мере взять за них выкуп. Когда «римлянина» Аттала отдали в заложники, с ним не обходились учтиво, как будут делать во времена феодализма и классического рыцарства: его заставляли работать, обращались с ним как с рабом, пока ему не удалось бежать при помощи слуги из своей семьи, о чем рассказана увлекательная история^{117}. Даже короли и лейды, похоже, не всегда щадили друг друга. Попавших в немилость лейдов короли старались умертвить, иногда ради этого они устраивали настоящую охоту на человека или даже нарушали право убежища, каким обладали храмы. А когда два больших семейства в Турне враждовали из-за кровной мести, Фредегонда их примирила, велев внезапно перебить всех топорами в ходе пира (немногим позже 585 г.). Она и ее соперница Брунгильда без колебаний нанимали сеидов, чтобы убивать королей, — во всяком случае этих женщин в этом обвиняют. В предшествующем поколении король Теодорих хотел умертвить своего брата Хлотаря, устроив знаменитую засаду^{118} — спрятав вооруженных людей за занавесом. А упомянутый Хлотарь, сговорившись со своим братом Хильдебертом, не колеблясь убил, устроив жестокую сцену, обоих своих племянников — еще детей, сыновей Хлодомера^{119}.

Взаимная смертельная ненависть каких-то знатных семейств вообще выглядит в «Истории» Григория привычным атрибутом общественной жизни. Так, друг друга убивали, с одной стороны, его собственные родственники, очень аристократичные и имеющие римское происхождение, с другой — родственники епископа Феликса Нантского, и он неявно подтверждает право своей родни на реванш, оправдывая тем самым вооруженное убийство ими родственника его коллеги^{120}, хотя тот, бесспорно, был с этим не согласен и утверждал, что это преступление, вопиющее к отмщению. Далее Григория обеспокоила кровная месть в собственном диоцезе, разделившая Сихара и Австригизела, а потом Храмнезинда, — ведь сам Григорий однажды призвал к миру во имя заповедей блаженства^{121}. Но его мир по-прежнему остается миром конфликтов, вражды, людей, называющих себя правыми по

отношению к несправедливым врагам, и в этом соотносится с христианством, ориентированным на Ветхий Завет, на Паралипоменон и псалмы.

Если верить хронике «Фредегара» (начало VII в.), рассказ о Страстях Христовых побуждал Хлодвига особенно сожалеть, что там не было его самого и его франков: он мог бы заставить римлян заплатить за страдания Иисуса кровью. И уже рассказы Григория, которые эта хроника воспроизводит (выборочно) и продолжает (в его манере), чтобы они вместе стали единой «Историей франков», показывает Меровингов обращенными воинами — обращенными не к Евангелию и его морали, а к «христианству святылец и реликвий», о котором так хорошо говорит Питер Браун и которое этим воинам — гораздо в большей мере, чем Евангелие как таковое — предлагал поздний Рим. Они могли считать свои частные и внешние войны войнами еврейского народа и праведника из псалмов, на которого нападают враги, то есть они в оправдание своих действий ссылались на необходимость отомстить, обращались к библейским стихам как к предсказаниям оракула и верили, что почитание умерших святых в виде мощей обеспечит им удачу — и напротив, злопамятность последних, если их обидеть, навлечет несчастье.

Стоит упомянуть трагический конец претендента на королевскую власть Гундовальда в 585 г. Преследуемый королем Гунтрамном, на престол которого он претендовал, он был окружен в Сен-Бертран-де-Комменж. Патриций Муммол и еще несколько его сторонников пообещали ему не предавать его, но все равно предали, чтобы Гунтрамн сохранил им жизнь. Гундовальду оставалось только идти на смерть, от меча его защитила кольчуга, но в голову ему угодил камень. Это была христианская смерть, в суровом, беспощадном духе: «О вечный судия и истинный мститель за невинных, Боже, от коего исходит всякая правда, кому негодна ложь, в ком нет никакого лукавства и никакой злой хитрости, тебе вручаю судьбу мою, молю тебя, да не замедлишь отмщением тем, кто меня, неповинного, предал в руки врагов»^{122}. Действительно, патриция Муммола в свою очередь предали: Гунтрамн не сохранил ему жизнь, как тот рассчитывал. Ручаемся, что проклятие Гундовальда услышали и что кто-то придал этим словам огласку, чтобы побудить короля к подобной суровости... Тот, кто поминает «суд Божий», некоторым образом адресуется к общественному мнению, к его чувству справедливости.

Что касается справедливости, то здесь забота о ней пока не предполагает и защиту слабых.

Последняя тема, имеющая довольно специфический иудео-христианский характер, ведет начало от некоторых псалмов и высказываний ветхозаветных пророков. Сам Бог, по словам пророка Исаяи (25: 4), — «убежище бедного, убежище нищего». Он защищает вдову и сироту, их жалобы к Нему разжигают Его гнев: Он убивает их притеснителя. В VI в. подобную форму Божьего рыцарства имитировали христианские епископы, истолковывая к своей выгоде (как на Маконском соборе в 587 г.) эту роль защитников слабых. Они возлагали на Бога и святых задачу, чтобы те посредством мстительных чудес карали смертью притеснителей — имелись в виду исключительно те, кто посягает на их собственные храмы^{123}. Это с VII в. и в каролингском мире мы увидим, что на данную роль защитников притязают короли, графы и что тем самым она переходит в ведение сеньоров, имеющих рыцарский христианнейший облик, — хотя, с другой стороны, убийство христианина христианином тогда стало еще более острой проблемой, чем для королей и лейдов — современников Григория Турского.

Таким образом, «германская» кровная месть в VI в. вполне отмечена, но историков XIX в. она тревожила с некоторым избытком, — а жестокость суда поздней Римской империи, несомненно, тревожила их слишком мало. Ведь, если читать Григория Турского внимательно, некоторые детали в его текстах подтверждают обоснованность той (относительной)

дедраматизации франкского мира, которую совершила антропология, начиная с новаторской статьи Джона Майкла Уоллеса-Хедрилла^{124}.

Самый развернутый эпизод — случай, когда смертельная ненависть, или фэйда, столкнула туренского аристократа Сихара сначала с Австригизелом, которого он убил, а потом с Храмнезиндом, который сначала согласился на мир, но потом в день пира (в очень германской, очень тацитовской атмосфере, на берегах Луары) отпилил ему голову из-за шутки... Эту историю в двух действиях^{125}, развивающуюся в медленном темпе, второй поворот которой был неожиданным, много раз комментировали^{28}. Этот сюжет стал обязательным для всякого уважающего себя автора социологического очерка о вендетте. Здесь показаны одновременно насилие и способы его ограничить — публичные и частные процедуры примирения, а также новый виток конфликта.

Месть в этом меровингском обществе, даже в референтном (самом суровом) случае мести за кровавое преступление, совершаемой с помощью кровных родственников, — не следствие импульса, не проявление ярости и варварства, либо не только это. Это, скорее, следствие социального предписания, стратегического выбора (мстить в таких-то случаях, а не в других) и даже оправдания, сделанного задним числом (представляющего данный акт как месть). Это настоящая социальная практика, подчиненная нормам и предполагающая полностью враждебное окружение, так что это не нарушение порядка и не выплеск насилия.

Тем не менее при мести как системе применение силы все-таки не исключено. Тут всё сильно зависит от общественного веса участвующих лиц, и общество поощряет, предписывает определенное насилие, в то же время в принципе сдерживая его и направляя в безопасное русло. Мы даже встречаем случаи, когда, например, во времена Цезаря и Амбиорига^{126}, вожди мстили друг другу опосредованно, избирая мишенью скорей подданных врага, чем его самого, то есть притесняя слабых, которые зависят от противника.

Тем не менее риск для жизни в конфликте королей и лейдов выглядит, даже с учетом необъективности источника, большим, чем во времена Ордерика Виталия, другого важного очевидца действий средневековой аристократии, более снисходительного, чем Григорий Турский (рубеж XI—XII вв.). В VI в. гораздо чаще, чем в более рыцарскую эпоху, о которой рассказывал Ордерики Виталий, одна из излюбленных форм борьбы с врагом состояла в том, чтобы предать его суду или гневу короля, приведя к последнему пленного вожака противной группировки, захваченного в момент немилости. В таком случае обвинение в римском преступлении оскорбления величества могло стоить последнему жизни^{127} или по меньшей мере обречь на изгнание с конфискацией земель и сокровищ. Так, за Додоном погнались и убили его, предварительно отрубив ноги и руки. В 590 г. сыновья майордома Бургундии Ваддона были арестованы за убийства и грабежи торговцев на большой дороге; они попытались подкупить короля Гунтрамна сокровищами, но против них выступил один граф (Маккон) и поведал об их преступлениях, в результате чего обоих подвергли пыткам и после этого одного казнили, а другого изгнали^{128}. В 578 г. Даккой, покинувший короля Хильперика, был схвачен герцогом Драколеном по прозвищу Усердный, который его связал и привел к королю, пообещав ходатайствовать, чтобы тому сохранили жизнь. Но на деле Драколен представил его в дурном свете, из-за чего король велел убить Даккона. После этого Драколен попытался захватить и герцога Гунтрамна Бозона. Последний напомнил ему о союзе между ними, предложил свое имущество в обмен на свободу, но тот отказался и повел себя вызывающе, показывая веревку, которой его свяжет. Итак, Драколен пришпорил коня и атаковал Гунтрамна Бозона, «но при ударе он промахнулся, копьё сломалось, и наконечник упал на землю. А когда Гунтрамн увидел, что ему грозит смерть, он, призвав имя Господне и

великую благодать блаженного Мартина, поднял копьё, вонзил его в горло Драколена; затем он приподнял Драколена из седла, а один из приближенных Гунтрамна прикончил Драколена»^{129}. Вот истинный героизм герцога Гунтрамна Бозона — с Божьей помощью против смертельного врага.

Итак, вражда проявляла себя в королевских дворцах, на праздниках и пирах, при встречах на большой дороге, и в этих разных обстоятельствах часто едва не происходила, а иногда и происходила трансформация вражды в дружбу с заключением союза — или наоборот, что вызывало многочисленные упреки в изменах и неверности. В 570-е гг. это могло принимать облик мелких частных войн, какую вели в Австразии с одной стороны герцоги Урсион и Бертефред, с другой — Луп. Однажды ост едва не расправился с Лупом, которого спасло только энергичное вмешательство королевы Брунгильды и произнесенная ею речь. Позже Урсион и Бертефред удалились в крепость Вёвр близ одной виллы Урсиона. Урсион в самом деле был настоящим врагом королевы и Лупа, и Брунгильда попыталась отколоть от него Бертефреда, пообещав сохранить ему жизнь^{130}. После этого ост короля Хильдеберта II под командованием герцога Годегизила (зятя Лупа!) отправился разорять земли Урсиона, поджег крепость (бывшую базилику) и вынудил Урсиона выйти, препоясавшись мечом и дорого продав свою жизнь (он убил нескольких осаждающих); однако, едва Урсион умер, как герцог Годегизил велел прекратить бой и дал Бертефреду возможность быстро умчаться на коне. Эта история снова показывает, что в конфликтах между лендами лилась кровь, и что в то же время ненужное кровопролитие пытались пресекать... Это не безрассудная жестокость, и в определенном смысле почти понятно, что это не слишком шокирует Григория Турского и его собратьев-епископов. Опечалила его в конечном счете только ситуация, когда Бертефреда, укрывшегося в церкви, все равно убили (забросав черепицей), потому что Хильдеберт II заявил, что желает его смерти. Ведь христианин не должен убивать христианина в храме, это оскорбление для епископа и святого.

В феодальные времена всё будет обстоять иначе, но все-таки здесь кое-что их предвещает — иногда щадят жизнь благородному человеку и прибегают к косвенной мести, грабя чужие владения.

МЕЖДОУСОБНЫЕ ВОЙНЫ ФРАНКОВ

Если перейти от мести и частной вражды к междоусобным войнам между королями за города и территории и к внешним войнам, окажется, что их атмосфера была даже несколько менее жестокой. Точнее, тут можно обнаружить новые факторы, сдерживающие военное насилие, благодаря которым воинов убивали меньше.

Григорий Турский, не умалчивая о коварстве и жестокостях Хлодвига, с сочувствием повествует о его обращении в никейское христианство и его победе над арианами-вестготами, а потом о победе его сыновей над бургундами. Распри после раздела 511 г. не помешали этим сыновьям вместе завоевать королевство бургундов в 534 г., а последний оставшийся в живых из них, Хлотарь I, в 558 г. воссоединил королевство франков (даром что у него на руках была кровь двух племянников). В 561 г. четыре сына Хлотаря в свою очередь разделили его королевство и периодически конфликтовали между собой, особенно Сигиберт, король Северо-Востока (Австразии), и Хильперик, король Северо-Запада (вскоре Нейстрии), и, соответственно, их супруги, Брунгильда и Фредегонда. После смерти обоих королей (в 575 и 584 гг.) главой рода стал Гунтрамн, король Бургундии, который поддерживал определенное равновесие в отношениях между своими племянниками Хильдебертом II (подростком) и Хлотарем II (младенцем), пытаясь охранить их от ярости женщин-цареубийц, занятых фойдой, каждая из которых была, соответственно, матерью одного и теткой другого. Он пользовался поддержкой Григория Турского, который в то время писал свою «Историю» и в начале пятой книги признается, что ему опостылело рассказывать «о раздорах и междоусобных войнах, которые весьма ослабляют франкский народ и его королевство»^{131}. Он цитирует Малый Апокалипсис (Евангелие от Матфея 24:8) о временах скорбен, когда близкие поднимутся друг на друга. И внезапно становится более требовательным, ему приходит мысль обратиться напрямую: «О если бы и вы, о короли, участвовали в таких сражениях, в каких изрядно потрудились ваши предки, чтобы народы, утраченные вашим согласием, склонились бы перед вашей силой! Вспомните, что сделал Хлодвиг, основоположник ваших побед. Он перебил королей — своих противников, враждебные племена разбил»^{132}.

Вот всё представление Церкви, основанное на Библии, о том, каким должно быть христианское королевство, христианская империя: гражданское согласие, а агрессивность обращена на внешних врагов. Без оттенков: внутри — тотальный мир, вовне — война на уничтожение. Папа Урбан II не скажет ничего нового, когда призовет в Клермоне, в Оверни, 18 ноября 1095 г. к Первому крестовому походу. Разница в том, что епископы меровингской Галлии довольствовались исключительно наказаниями, увещеваниями, они не оказывали настоящего институционального давления, у них не было ни закона о перемирии, ни закона о крестовом походе.

Григорий Турский мог только одобрить (или домыслить) соображения Теодориха I, сына Хлодвига и короля Северо-Востока (511–515), побудившие того начать войну с тюрингами. Это справедливая месть за клятвopреступления их короля, за убийство родичей, за истязания заложников. «Пойдем же с Божией помощью на них», — говорит он франкам, созданным на собрание, и выступает с речью, как истинный германский король. Он призвал на помощь и брата Хлотаря (родственника, действующего заодно, хотя однажды он пытался того убить), «обещая ему... часть добычи», если Бог дарует им победу. И эта месть франков заключалась в избиении тюрингов с пленением Радегунды, дочери их короля, которую Хлотарь сделал своей женой^{133}; что касается ее брата, сначала взятого в плен, то «потом он коварно убил ее

брата, используя для этого преступников».

Совершенно естественно, что междоусобные распри между соседними народами предполагали грабежи, обвинения в предательстве, всевозможные дрязги. Это в любой момент позволяло совершить военный набег ради мести. Еще существовали прочные связи и близость между Франкией (до Рейна) и германскими народами, живущими за Рейном, аристократии которых мало-помалу сближались с франками либо эпизодически противились этому. Было бы преувеличением считать, что франкские воины истребляли целые народы, чего не делали ни Юлиан Цезарь, ни до него Германик или Корбулон, имея больше возможностей. Нигде, ни во внешних войнах, ни в междоусобных — между родами, Меровинги не были непримиримыми.

Король Сигиберт (561–575), принявший власть над Северо-Восточным королевством, — хороший пример почти рыцарских учтивости и милосердия, если верить Григорию Турскому. Последний видит в нем практика сезонной войны, предпринятой против «гуннов», то есть дунайских аваров. В 562 г. «против них выступил Сигиберт и, вступив с ними в бой, победил их и обратил в бегство. Однако позже их король через послов добился дружбы с Сигибертом»^[134]. До слияния, как в свое время с *армориканцами*, дело еще не дошло, но по крайней мере состоялся обмен престижными дарами и вежливостями. Вскоре (в 566 г.) гунны снова взяли за оружие и одержали победу; Сигиберт даже попал бы к ним в руки, если бы не был «ловким и проворным», то есть далеким от всякого «варварского неистовства». «Он подкупил дарами тех, кого он не смог одолеть храбростью в сражении»^[135]. Из этого последовал договор, заключенный с ханом, о пожизненном мире, «и это по праву расценивается скорее как похвала ему, чем бесчестие»^[136]. Под пером Григория отвага и честь короля уравниваются друг друга. В древней Германии Тацит отмечал обмен дарами как явное проявление гостеприимства, теперь вот подарки делаются врагу — получается, что враждебность, умело сдерживаемая, стимулирует торговлю и заключение всевозможных связей.

В отношениях со своим племянником Теодобертом, который сражается против него, Сигиберт выглядит настоящим рыцарем в общепринятом смысле слова: он берет его в плен и не причиняет ему никакого зла — более того, отпускает его, одарив, «но предварительно взяв с него клятву, что он никогда ничего против него не будет предпринимать»^[137]. Далее Теодоберт нарушил эту клятву, но (по этой причине?) был покинут своими людьми; он вступил в бой, имея под началом горстку воинов, и погиб; в его гибели обвинят австралийского герцога Гунтрамна Бозона^[29].

Воинов для междоусобных войн со своим братом Хильпериком Сигиберт набирал среди своих друзей-врагов за Рейном. Итак, во главе оста, лишённого всякой римской дисциплины, он двинулся к Парижу, но устал и не мог помешать своим бойцам грабить, жечь, захватывать пленных. Более того, поскольку сражения не было, «некоторые из этих племен стали роптать на него за то, что он уклонился от битвы. Но Сигиберт, будучи бесстрашным, сел на коня, прискакал к ним и усмирил их вкрадчивыми речами, а впоследствии многих из них он приказал побить камнями»^[138]. На сей раз он раз за разом и в противоречивой форме показал себя «ловким и проворным». Можно было бы добавить — мстительным: в нем есть что-то от его предка, судя по истории с суассонской чашей!

На самом деле пусть Григорий Турский оплакивает эти междоусобные войны^[139], пусть они ранят его сердце, но он же показывает и их пределы. Эти рассказы не опровергают свидетельства византийца Агафия Миринейского: «Случалось, конечно, что короли угрожали друг другу и выдвигали свои армии на боевые позиции. Но, оказавшись друг против друга,

франки всегда предпочитали мирно договориться»^{140}.^{30} И действительно, собственные лейды вынудили Теодориха объединиться с братьями против бургундов в 534 г.; просто мотив действия этих лейдов, по Григорию, — алчность, а не сознание долга. Зато после его смерти они не дали его братьям убить или отеснить его сына Теодоберта I. В другой раз Теодоберта и Хильдеберта, преследовавших Хлотаря, заставила отступить (или дала такую возможность), помимо увещаний престарелой Хродехильды, буря (в качестве предвестия), истолкованная как Божье знамение. В целом войны между братьями в течение двух поколений сводились к грабительским набегам на земли (*pagi*) враждебного короля, к торгу и отдельным умеренным столкновениям (предвестникам конных поединков XII в.), когда осты встречались лицом к лицу. В 582 г., например, ост Хильперика двинулся в королевство Гунтрамна и разорил Берри. Воины Хильперика осадили город Бурж, опустошили его окрестности, убили много жителей в первом сражении. Тогда Гунтрамн, у которого брат явно хотел отобрать право владеть Буржем, пришел на помощь городу: «Но король Гунтрамн с войском выступил против своего брата, возлагая всю надежду на волю Божию. Однажды уже к вечеру он выслал войско и уничтожил большую часть войска своего брата [Хильперика]. Но утром встретились послы и заключили мир, взаимно обещая, что та сторона (то есть король), которая нарушит условия мира, заплатит другой стороне столько, сколько присудят епископы и знатные люди; затем они удалились с миром»^{141}. Григорий Турский преувеличил «избиение», совершенное накануне^{31}; кстати, разве в конце дня начинают решительную битву? Скорей всего, была простая стычка в ожидании большого сражения, которое не состоялось. Но надо было говорить так, как написано, чтобы спасти лицо.

Утверждать, подобно Агафию, что королей от столкновений всегда удерживали лейды, не совсем верно. Роли «голубей» и «ястребов» могли поочередно играть те и другие, причем среди лендов каждого короля часто были соперничающие группировки, одна из которых толкала к войне, а другая выступала за мир.

Как нередко бывает в обществах, которые одушевляет и организует логика фэйды, победа в конфликтах достигалась благодаря социальной работе, то есть переманиванию лейдов брата-врага. В самом деле, многие имели связи и интересы на обеих сторонах и пытались защитить эти интересы. Прежде всего надо иметь в виду, что в меровингском мире было три стороны конфликта, и Бургундия часто переходила от союза с Австразией к союзу с Нейстрией и обратно, рискуя восстановить против себя оба этих королевства, когда она при случае вдруг приобретала гегемонию. Как и в других фэйдовых обществах, все обычно выступали единым фронтом против игрока, вдруг добившегося преимущества, вынуждали его не злоупотреблять своей мощью, неявно ставя пределы его правам. Благодаря такой вязкости политическая система достаточно хорошо могла воспроизводить себя. Это была система упорядоченной анархии. И однажды здесь сможет найти себе место более четкая христианская и рыцарская теория — попутно исключив возможность некоторых слишком вызывающих поступков, таких как убийство сыновей Хлодомера его дядьями (в 524 г.) или же убийства либо покушения на убийства Сигиберта, Хильперика, а позже Хильдеберта II, совершенные нанятыми сеидами в следующем поколении.

С другой стороны, эта социальная система классов так воспроизводилась потому, что знатные воины, короли и лейды, несмотря на еще жестокий образ жизни и определенное количество убийств, старались не слишком часто убивать друг друга. Сезонные грабежи и разорения крестьян воинами, подробно изученные Жоржем Дюби за длительный период^{142}, уже, похоже, стали одним из главных элементов войны.

ПОСВЯЩЕНИЕ ХИЛЬДЕБЕРТА II

Салический закон не дает определения аристократии как таковой, указывая только, что в качестве антрустиона или сотрапезника франк или римлянин пользуется королевским покровительством; убийство такого человека искупить труднее, за это берут повышенную (тройную) цену. У Григория Турского тоже нет родового названия для аристократии, но все его рассказы, подтверждающие свидетельства из «житий святых», подразумевают ее наличие. Это ее престиж и социальное могущество хотят отстоять и превознести многочисленные семейства, прибегая к кровной мести или к войне, домогаясь милости королей и, конечно, проводя некоторых из сыновей в епископы. И в рассказах Григория достаточно разрозненных намеков (всякий раз, когда это необходимо для создания интриги) на красивое оружие, на прекрасных коней: это показывает, что те и другие символизируют статус. В Северной Галлии, которая теперь называлась Франкией, приблизительно до 600 г. оружие и коней еще часто клали с умершим в могилу. И археология вполне подтверждает значение оружия как признака социальной дифференциации.

Конечно, королевская власть, аристократия — во многих отношениях наследники Рима, равно как и Германии. У королей и лейдов были казна и законы, юридические формулировки — как минимум результат вульгаризации римских или их развития. И внуки Хлодвига вполне любили внешние признаки богатства в античном духе. Но стиль взаимодействия и дух институтов, по крайней мере в отношениях королей с крупными собственниками, уже сеньорами и отныне (на севере) исключительно франками, были, надо признать, скорей, германскими (варварскими). Лейды со своими вооруженными силами прибывали в армии, фактически представлявшие собой не что иное, как осты, собирались на общие *plaid'y*, которые, не наследуя напрямую германским собраниям (*concilia*), упомянутым Тацитом^[32], все-таки немного их напоминали. У Меровингов были короли, обязанные убеждать и быть образцовыми воинами, воплощать добродетели господствующего класса, единой элиты^[33], которую характеризовало ее оружие — кроме высшего духовенства^[34].

В наших источниках нет сведений о таком посвящении в воины в VI в., которое бы представляло собой «чистый» ритуал вступления лейда в ряды взрослых мужчин и которое можно было бы состыковать со знаменитыми строками Тацита^[143]. Конечно, нельзя не упомянуть передачу копья юному Хильдеберту II (сыну Сигиберта и Брунгильды) его дядей Гунтрамном, королем Бургундии, в 585 г., хотя это по сути было усыновление по оружию^[35]. Григорий Турский, несомненно, лично присутствовал при этой церемонии. По крайней мере соглашение между двумя мужчинами он принял близко к сердцу и составил о нем рассказ или, скорее, упомянул об этом событии, представив его как обычай, и оно сильно повлияло на ход его «Истории».

В 580 г., когда в силе был Хильперик, его брат Гунтрамн пригласил своего племянника Хильдеберта II, еще ребенка, сына Сигиберта (умершего в 575 г.) и Брунгильды, встретиться на границе их королевств. Не имея детей, Гунтрамн выбрал его наследником, к большой досаде Хильперика и его сторонников. В присутствии вельмож, «посадив его на свой трон, он передал ему все королевство со словами: “Один щит нас защищает, и одно копье нас охраняет”»^[144]. Пока что это только обряд заключения договора между воинами о ненападении и союзе против третьего лица, договора, примеров которых эпоха (но не тацитовская) дает немало, и относятся они не к королям^[145]. Фактически дядя и племянник и, соответственно, их лейды объединились против Хильперика. Не то чтобы они сразу же внезапно атаковали его. Они устроили общий пир, обменялись дарами в атмосфере,

достойной тацитовской Германии, и после этого отправили к Хильперiku послов с требованием «возвратить то, что он отнял из владений их королевства» (Хильдеберта II), «если же он откажет, пусть готовится к сражению»^[146]. Никаких воинских предприятий, даже в виде игр, не было, — только пир и обмен дарами, достойные скорее благодушных германцев Тацита, чем спортивных рыцарей тысяча сотого года. Лишь настоящая ритуализация конфликтов, перенесенных в правовую сферу, без малейшего «варварского неистовства». Ведь Хильперик не обратил внимания на этот ультиматум; можно было бы сказать, что он, со своей стороны, ударился в римскую Античность, так как он тем временем построил в Суассоне и Париже цирки, чтобы «предоставить их народу для зрелищ», и фактически до его смерти в 584 г. вызов остался без последствий.

В тот момент, отнюдь не попытавшись разгромить его вдову Фредегонду и его совсем юного сына Хлотаря II, король Гунтрамн взял обоих под покровительство, что не помешало ему в 585 г. возобновить соглашение с Хильдебертом II^[36] на фоне заговоров группировок магнатов в обоих королевствах. Это тогда перед лицом собрания король Гунтрамн, «вложив в руку короля Хильдеберта копье, сказал: “Это означает, что я передал тебе все мое королевство”»^[147]. Потом он отвел того в сторону, чтобы сообщить имена опасных людей, а «затем, когда все собрались на пиру, король Гунтрамн стал увещевать войско, говоря: “Смотрите, о мужи, как мой сын Хильдеберт уже вырос. Смотрите и остерегайтесь считать его ребенком. Теперь забудьте о своей развращенности и своеволии”».

Далее Григорий Турский излагает (или перетолковывает) речь Гунтрамна, обращенную к его епископам, в похвалу Хильдеберту II как «человеку умному и деятельному», весьма осторожному и энергичному^[148]. «Тогда король добавил: “Правда, мать его, Брунгильда, грозила мне смертью”», но Бог Псалтыря вырывает праведника из рук его врагов. Гунтрамн мог рассчитывать на Него, тем более что эта угроза была не слишком реальной! Важно, что он сам со своими племянниками, он, посвятивший в воины подростка, крестный отец новорожденного (которого тем не менее не решались показать ему, опасаясь, как бы он не убил младенца — этот добрый Гунтрамн!), а также с лендами остались среди людей — как настоящие люди, активно обсуждающие, как отомстить за недавнюю (в 584 г.) смерть своего родича Хильперика^[149].

Так Григорий Турский в очень суггестивной манере излагает воинское (если угодно, германское), христианское (скорей, ветхозаветное) и мачистское политическое заявление Гунтрамна. В свете этого заявления посвящение Хильдеберта имело для последнего сразу два нераздельных аспекта^[37]. Это как подчеркивание связи между обоими королями, так и утверждение взрослого и совершеннолетнего статуса Хильдеберта II, а значит, его правомочности царствовать — правомочности, на которой Гунтрамн настаивает, чтобы добиться признания племянника «общинной», как сказал бы Тацит, то есть, для 585 г., политическим сообществом лейдов и епископов, из которых и состоит реальное общество в королевстве, со своими собраниями и остами.

Значение этого обряда исполнения представляется тем большим, что, когда закончится царствование Дагоберта (умершего в 639 г.), меровингские короли уже будут считаться только *несовершеннолетними*, они будут обречены жить под опекой майордомов, а потом — герцога франков (Карла Мартелла), потомка одного из последних, вплоть до низложения последнего Меровинга (Хильдерика III в 751 г.). После этого в королевских династиях будут проводиться, для наделения наследников правомочностью, помимо обрядов посвящения в воины также обряды избрания и миропомазания.

Как и посвящение в воины у германцев, мимоходом упомянутое Тацитом, эта передача

оружия Хильдеберту II имеет ряд сходных черт с феодальным посвящением в рыцари, тоже важным, как мы увидим далее, как для закрепления связи между посвятителем и посвящаемым, так и для придания последнему статуса взрослого воина. С другой стороны, в XI и XII вв. за посвящением в рыцари, как и в данном случае, последуют какие-либо притязания. Можно будет сказать, что рыцаря скорее создавали эти обряды, чем рыцарство в точном и куртуазном смысле слова; на рубеже тысяча сотого года они часто способствовали сохранению грубого идеала древности и раннего Средневековья, прежде чем их мало-помалу присвоило настоящее рыцарство.

Тем временем, хотя можно говорить и об эволюции римских начал, в меровингские времена происходило и некое становление германского характера. Символика оружия вела к возникновению новых обычаев (захоронения в полном вооружении). К новым обычаям также, по-видимому, относятся упомянутые мимоходом у Григория Турского лишение оружия и вызовы на бой, неведомые в древней Германии, но практикуемые в меровингской Галлии, где судебная система и социальное взаимодействие, несомненно, были сложнее. Король Хильперик в 576 г. велел разоружить своего сына Меровея, который не подчинился его приказам^[38], а в 587 г. в присутствии короля Хильдеберта II отобрали оружие у герцога Гунтрамна Бозона, чтобы временно отрешить его от должности.

За некоторое время до этого тот же персонаж, этот интриган, хорошо знакомый Григорию Турскому, предстал перед королем Гунтрамном в качестве посла Хильдеберта II. Гунтрамн обвинил его в тяжком преступлении — подстрекательстве претендента Гундовальда к узурпации его трона в 585 г. На это Гунтрамн Бозон возразил: «Ты сидишь на королевском троне как король и господин, и никто тебе не смеет перечить. Я же признаюсь, что я невиновен в этом деле. И если есть кто-нибудь, равный мне, кто тайно ставит это преступление мне в вину, пусть теперь выйдет и, не таясь, скажет. Ты же, о благочестивейший король, предоставь это суду Божию, чтобы он решил, когда он увидит нас сражающимися в единоборстве». «Все хранили молчание»^[150]. Насколько мне известно, это первое упоминание о поединке между знатными людьми у франков^[151] — во всяком случае предложенном. Доказывает ли это, что такой обычай был новым, недавним? Нет, потому что ни один источник не отличается насыщенностью той части «Истории франков» Григория Турского, в которой автор рассказывает о своем времени (времени сыновей Хлотаря I, 561–592 гг.). Но это важная веха в истории воинских обычаев, потому что на рубеже тысяча сотого года в поединке, равно как и в посвящении в рыцари, будет в конечном итоге проявляться рыцарский дух как таковой.

ВЫЗОВ БЕРТОАЛЬДА

Немного позже отголосок этого обычая мы найдем на странице так называемой хроники «Фредегара». Итак, игра в три королевства, начатая во времена Григория и отмеченная частыми изменениями союзнических отношений, продолжается, осложненная усилением напряженности между Нейстрией и Австразией, то есть самыми франкскими землями, в то время как одни из магнатов Бургундии объявляют себя «прирожденными франками», другие (живущие южнее) — «римлянами». До самого 613 г. важнейшей фигурой в этой истории была Брунгильда, старая королева Австразии, но она стала одиозной фигурой. Возможно, ее ошибка состояла в том, что она хотела создать сильную монархию с помощью фискальной администрации, как ранее Хильперик и Фредегонда. Если она пообещала «римлянину» Протадию должность майордома Бургундии, то затем, чтобы он восстановил там права королевского фиска, но тем самым он поставил под угрозу ту «свободу» германского типа, ради которой аристократия Севера вся поголовно стала франкской и для которой новые и очень прочные гарантии давала легенда о троянском происхождении^[39], изобретенная или разделяемая Фредегаром. У Протадия, естественно, появился соперник по имени Бертоальд, которому Фредегар приписывает все достоинства. Не обнаружится ли в этом сопернике что-то рыцарское? Этот выходец из франкского рода, майордом короля Теодориха в Бургундии в 603 г., «был осторожен, мудр и благоразумен, отважен в бою, держал слово, кому бы его ни дал»^[152]. Но Брунгильда хотела передать его должность Протадию, будучи любовницей последнего, по утверждению Фредегара. Поэтому в 604 г. Бертоальду поручили очень опасную миссию — собрать налоги в области Орлеана, которая была недавно отнята у Нейстрии Хлотаря II и еще по-настоящему не покорилась власти Брунгильды. Это было нечто вроде провокации по отношению к Нейстрии и ее майордому Ландериху, на которого очень рассчитывали, что он уничтожит Бертоальда и его отряд сопровождения. Тот в самом деле подошел с намного более сильным остом. Бертоальду оставалось только укрыться в Орлеане, куда его впустил епископ. «Ландерих со своей армией окружил Орлеан; он громко потребовал от Бертоальда выйти и принять бой. Бертоальд с высоты стен бросил: “Вступим оба в поединок, если ты согласен меня дожидаться; отведем остальные наши войска подальше и встретимся, чтобы сразиться. Нас рассудит Господь”. Но Ландерих воздержался от того, чтобы так поступить. Тогда Бертоальд сказал: “Раз ты не осмеливаешься, то вскоре наши государи [короли] встретятся для боя из-за ваших злодеяний. Оденемся же поскорее в алое, ты и я, и пойдем впереди прочих, когда начнется сражение. Там смогут увидеть твоё мужество [*utilitas*] и мое, если только мы оба поклянемся перед Богом сдержать это обещание”»^[153].

Но 11 ноября 604 г. под Орлеаном Ландерих не пошел на единоборство. Правду говоря, мы можем это понять, не причисляя его к трусливым или плохим воинам. Ведь он имел численное преимущество, и простой поединок выравнял бы шансы к невыгоде для него. По сути Фредегар умолчал об ответе Ландериха на второе предложение. И не факт, что этот вызов, когда Бертоальд в некотором роде блефовал, породил у обоих взаимную ненависть. Не кроется ли за этим диалогом, как мы увидим в историях такого рода в феодальную и куртуазную эпохи, серия переговоров? Война не была тотальной, Ландерих не бросился на приступ стен Орлеана, шел обмен репликами. Предложение поединка означает согласие соблюдать некие правила и условия, такие как ношение красной одежды, о котором больше не говорится нигде, но которое означает, что некий обычай. «Божьего суда» существовал. Никакой чрезмерной агрессивности не было, поединок можно было бы отменить или

прервать, заключив договор о дружбе, которым Ландерих по сути, может, спас бы жизнь Бертоальду, вырвав его из когтей настоящего врага — Протадия и увезя с собой к королю Нейстрии. И они бы вместе отправились на охоту с ястребом — этот конный спорт был в моде уже во времена Григория.

Поскольку бой военачальников не состоялся, война 604 г. привела к столкновению двух настоящих остов, как и предвидел Бертоальд, погибший в этой битве прекрасной смертью воина.

Интерпретация такого поединка (если бы он произошел) как «Божьего суда», разумеется, была бы невозможной до обращения Хлодвига; но могла иметь место и христианизация более раннего обычая^[40]. В этом вызове есть прежде всего нечто отчетливо «рыцарское», как в его идеологии, так и в его функции: разве воин здесь не намерен сражаться во имя права (пусть даже это его собственное право) и не демонстрирует (или предлагает продемонстрировать) свою доблесть, чтобы не проливать крови близких и подданных? Многие из этих предложений отвергали, но такой отказ не всегда приводил к сражению, как в данном случае: в конце концов, люди той эпохи уже любили легендарные единоборства, как свидетельствует и хроника «Фредегара», описывающая таковые в лангобардской Италии и на Востоке.

Так что в заключение этой вступительной главы есть смысл отвергнуть всякую чрезмерную драматизацию древнего или меровингского «германского духа». У Григория Турского лишь чрезвычайно пристрастные историки Нового времени сумели обнаружить описание девятого вала варварского насилия, накрывшего Галлию, тогда как перед нами, похоже, просто христианин-рассказчик, неутомимо и увлеченно выкладывающий обломки меровингских времен. Кстати, он отказался от античного топоса варварского неистовства, он не выдвигает никаких планов пресечения мести и отнюдь не предлагает своему королю Хильперiku — которому наносит мелкие уколы, полагая, что резко его критикует, — никакой альтернативной модели римской культуры нравов, хоть бы и в христианизированной версии. Все это у него нашли люди Нового времени, тогда как его собственное христианство, сотканное из Божьих судов и возмездий святых, чувствует себя в среде этой военной аристократии как рыба в воде.

Что касается средневекового рыцарства, определение которого будет дано выше со всей возможной строгостью, — но, неизбежно, и с некоторой гибкостью, — то это рыцарство не предстанет антитезой первоначальному варварству. Оно, скорей, будет утонченной версией соглашений между воинами, акцентировкой некоторых обычаев, уже присутствовавших в благородном воинском обществе, — таких как частые старания лучше договориться между собой, чем нести тяжелые потери, или как использование оружия в обрядах и церемониях, чтобы без чрезмерных затруднений представить своего социального персонажа героем. Впрочем, возможно, средневековое рыцарство зашло в этих усилиях или в насаждении этих обычаев слишком далеко только из-за того, что его собственные боевые возможности в период экономического роста (ощутимого после 600 г.) и усиления (связанного с приходом Каролингов) власти королей, графов, сеньоров опасно выросли, — чтобы верней исключить большее потенциальное насилие.

Так что нам не следует в этой книге ссылаться на решительный переход, совершенно однозначный и чисто нравственный, от франкского варварства к французскому рыцарству, как это делал такой автор, как Гизо, в 1830 г., а вместе с ним очень часто и XIX в. Это позволит хотя бы выделить Карлу Великому более значительное и более специфическое место.

2. КАРОЛИНГСКАЯ ЭЛИТАРНОСТЬ

Внешне дело выглядит так, что каролингская эпоха дала франкской аристократии возможность сделать большой скачок в направлении классического рыцарства. В самом деле, в VIII и IX вв. многое показывает, что конница развивалась и отождествлялась со знатью (несмотря на преходящие нюансы). Подлинная социальная логика времени словно бы сознательно ориентировала технический прогресс в вооружении, прежде всего в изготовлении мечей и панцирей, на усиление и защиту знатного всадника. В то же время более строгая мораль резче, чем прежде, настаивала на том, что убийство христианина христианином недопустимо, и побуждала представителей господствующего класса лучше искать репутацию справедливых людей, нежели жестоких — или хотя бы, не отказываясь от франкской воинской гордости, находить в себе склонность к защите церквей и слабых. Кроме того, мораль христианского брака стремилась повысить роль знатной женщины, включала в себя знаки уважения, которое следовало оказывать даме.

Как, сказав все это, я мог бы не раскрыть читателю свои карты? На самом деле классическое «рыцарство», имевшее среднесрочную и долгосрочную перспективы, появится уже в *посткаролингской* Франции.

Тем не менее не будем лишать саспенса настоящее эссе. Лучше отметим, что в некоторых отношениях режим и идеология Каролингов, напротив, могли бы пресечь и смогли замедлить формирование рыцарства, которое казалось столь близким, судя по некоторым страницам Григория Турского и «Фредегара», посвященным междоусобным войнам и войнам по правилам. Ведь Каролинги и мораль их церкви стремились также ограничить аристократическую свободу, индивидуализм знатного воина. Прежде всего тем, что регулярно порицали легкомыслие, игру; далее — тем, что призывали к прекращению междоусобных войн и пытались его добиться. Так что знатному воину предлагалось, скорей, подчиняться королю и графам, даже нести официальную службу, чем откровенно упиваться собственной доблестью. Латинские, очень римские слова *miles* [воин {лат.}] и *militia* [воинство {лат.}] внезапно стали очень популярными в IX в., в тот период, который в царстве историков отныне называют «каролингским возрождением». Они соперничали с вульгарным, латинизированным словом *vassus*, «вассал», и техническим термином *eques* — «всадник». И использовались в речах о верности и службе, произносимых в защиту и прославление вассалитета, то есть института, который сохранял статус знати, но наносил ущерб ее свободе.

К тысячному году, как мы увидим, слова *miles* и *militia* станут самыми расхожими, самыми обычными в латинских хартиях и хрониках, чтобы именовать рыцаря и рыцарство. Так что в ретроспективе есть соблазн поверить, что их широкое распространение прямо свидетельствует о возвышении рыцарства. Но это ловушка для историков: дело обстоит не так просто. В этом эссе нам, напротив, следует уделить внимание проявлениям настоящей моральной и социальной напряженности тех времен, начиная с IX в.

Это был период экспансии при режиме, который теперь проще охарактеризовать как чисто аристократический и христианский, чем режим VI в.

Междоусобные войны и уязвимость Меровингов после 485 г. могли тревожить Григория Турского, вызывать у него сомнения в будущем франков. И его «История» в самом деле создает довольно мрачный образ Галлии VI в., в которую не раз приходила чума, где появлялись самозванные короли и лжепророки.

И, однако, если присмотреться, та же эпоха Григория — это начало нового мира, где уже готовилось царствование Карла Великого. Франкская монархия имела свои регулярные

институты, дворец, *plaid* и ост (одни были созданы по образцу римских, другие — по образцу германских). Короли, лейды и епископы взаимодействовали, следуя единым неписаным нормам (отчасти зафиксированным в Париже в 613 г.), и даже ослабление королевской власти после 639 г., хоть оно и сопровождалось отдельными сигналами о неблагополучии на периферии франкского мира^[154], не сказалось на его центре. В VII в. в силу вошли майордомы; они регулировали поведение аристократии. С одного из них, Пипина Старого (умер в 640 г.), в следующем веке началась династия Карла Великого.

С 614 г. «христианское повиновение» упоминали как нечто необходимое для сплочения франкского королевства, для общества, где христианство укоренялось всё прочней и прочней^[155]. Это был период, когда внедрялось новое покаяние, многократное и тарифицированное, что свидетельствовало одновременно о стремлении сделать общество более нравственным и о допущении многочисленных компромиссов. Так была задана основная тональность средневекового христианства, и мы можем понять, что отныне Церковь предлагала элитам великий нравственный идеал и в то же время фактически соглашалась на многие отклонения от этого идеала. Начиная с царствования Дагоберта (629–639) король и даже его графы считались защитниками церкви и бедных, на этом статусе они основывали свою легитимность, и тем не менее эта «защита», всегда вялая, порой оборачивалась притеснением.

К 600 г. также стал исчезать обычай, более мирской, чем действительно языческий, хоронить знатных покойников с их оружием. Это лишило нас археологических сведений об этом оружии, и придется ждать появления иллюстрированных рукописей IX в., чтобы «увидеть» знатных воинов — и оценить прогресс в развитии верховой езды и усовершенствовании мечей.

Но зато у нас есть дарственные грамоты монастырям, которым поручалось молиться за усопших, тем самым отмаливая их грехи, и эти грамоты дают нам какие-то сведения о сельской сеньории, по которым можно заметить, что тенденция к экономическому и демографическому упадку, по крайней мере во Франкии, сменилась обратной^[41]. Начался долгий средневековый подъем, довольно медленный, но очень уверенный, поскольку он продлится семь веков, почти до тысяча трехсотого года. Начиная с эпохи Карла Великого в результате этого подъема появлялись и росли поселения, включавшие в себя рынки, и главное, что он дал возможность для военного и политического предприятия, которое в 800 г. увенчалось императорской короной.

Жан-Пьер Девроэй недавно подытожил наши познания об этом^[156]. По его данным, во Франкии, то есть на землях к северу от Луары, демографический минимум был достигнут к середине VI в. Природа в этих местах вновь расцвела, разрослись леса, дичи, дров и строевого леса было в обилии, равно как и пастбищ для выпаса свиней, земель для распашки нови, хотя бы периодической. Несмотря на пороки, которые Григорий Турский обличал у королей и элит, последние занимались не только тем, что разоряли земли, и с VII в. наметился новый рост, начала формироваться новая сельская экономика. Когда-то в Северной Галлии выращивали пшеницу и ячмень, обрабатывая землю сохой, которую тащила легкая упряжка. С VII в. началась мутация этой системы, в частности прогресс в разведении овса — кормовой культуры для лошадей. Этот подъем надо связывать с потребностями сеньоров и их конных вассалов^[42], потому что коня использовали не для того, чтобы тянуть плуг.

Состояние этого аграрного мира, уже типично «средневекового», достаточно хорошо освещают как большие полиптихи, написанные между 800 и 880 гг., так и королевские эдикты (капитулярии) и все остальные источники сведений о «каролингском возрождении». Из них можно понять, что развитие техники верховой езды никак не противоречило совершенствованию плуга, который тянули пары быков и который годился для вспашки более тяжелых почв, чем прежде, потому что был снабжен железным лемехом. В обоих случаях требовалось железо, которое успешно выплавляли на лесных кузнечных горнах. Благодаря этому численность скота и людей, живущих в сельской местности, постоянно росла, имелись луга и корма, пригодные для быков и коней всех категорий, широко использовались леса: крестьяне их рубили и корчевали, а рыцари в этих лесах охотились. До тысячного или тысяча сорока года те и другие не слишком мешали друг другу. Это хорошо заметно по полиптихам и капитуляриям: хлебопашество и скотоводство уже к 800 г. были как бы двумя грудями Франции, кормившими монахов, воинов, крестьян, статус которых сильно различался. Кто владел конем, даже если использовал его только для переездов, тот уже принадлежал к элите.

Все это развивалось, конечно, не без противоречий, и эта культура, во многих отношениях аграрная, была во многом ограничена и имела немало узких мест. Некоторые тексты, как, например, послания аббата Лупа Феррьерского, показывают, что всадникам бывало трудно прокормить верховое животное, чем, несомненно, объясняется частая склонность к потравам. Но тем не менее, по расчетам специалистов, около 800 г. Карл Великий мог набрать, по преимуществу во Франкии, и повести за собой 35 тыс. всадников и 100 тыс. пехотинцев. Похоже, эта пропорция сохранилась и во времена Первого крестового похода. В IX в., как отмечает Жан-Пьер Девроэй, из двенадцати жителей сельской местности один — привилегированный — благодаря труду других мог быть всадником или монахом. Согласно одному капитулярию 792 г., служить в качестве конного воина и носить панцирь имел право только владелец двенадцати мансов, в то время как хозяин четырех мансов мог стать пехотинцем — четыре манса представляли собой оптимальное крестьянское владение, какое предусматривалось для содержания приходского священника. Собственником двенадцати мансов мог быть мелкий сеньор, получающий чинш, а также мелкий нотабль, вассал аббата или светского магната, которому он должен был служить в составе вооруженной свиты ради почета и охраны, за что, несомненно, получал в дар оружие и снаряжение в дополнение к тому, что позволяли приобретать его собственные средства. Сходная ситуация, похоже, сохранилась и в посткаролингской Франции. Упоминание

двенадцати мансов или близких цифр обнаруживается в описании некоторых «кольчужных фьефов» (*fiefs de haubert*) XII в., и пусть даже главными центрами притяжения и общения для вассалов тогда стали крупные замки, не редкостью было и принесение оммажа аббатам, и связи воинов с монастырями оставались очень расхожей данностью.

За период между изменениями в области верховой езды около 700 г. и сфере фехтования и боя, произошедший на рубеже тысяча сотого года, воинское снаряжение, похоже, эволюционировало довольно медленно.

Было бы слишком самоуверенно говорить о «революции стремени», как это сделал Линн Уайт, или связывать всю каролингскую экспансию, начиная с битвы при Пуатье (732), с тяжелой конницей. Бернард Бахрах подверг эту идею уничтожающей критике^{157}, а Филиппу Контамину мы обязаны более взвешенным и убедительным ее рассмотрением^{158}. Но в целом всадники в войнах и в жизни общества явно стали занимать более значимое место, чем в меровингские времена: это бросается в глаза, если от Григория Турского перейти сразу к Эрмольду Нигеллу. И не зря часто цитируют то место «Королевских анналов», где говорится, что общий *plaid*, на котором король обычно обосновывал необходимость войны и объявлял сбор оста, с 751 г. несколько раз переносили с марта на май, потому что коням нужен был корм. Лошадей становилось всё больше, и еще один важный симптом я усматриваю в том факте, что «Книга об истории франков», написанная к 721 г., добавляет к истории Хлодвига эпизод, связанный с его конем, где упоминаются шлем, панцирь и конюший короля^{159}. А вскоре, около 800 г., появятся документальные свидетельства о численности королевских табунов^{160}.

Наконец, и прежде всего, надо обратить внимание на восхитительные миниатюры IX в., например, из Санкт-галленской Золотой псалтыри. Персонажи Ветхого Завета изображены там в виде христианских всадников — современников художника, очень достоверно, как доказал Саймон Коупленд, вопреки сомнениям гиперкритиков. Так, там можно видеть стремени, которых не было в меровингских погребениях воинов (VI в.) и которые появились в погребениях только в VII в. в Германии — благодаря контакту со степными народами, перенявшими их в Китае, где они отмечены в V в. Но зачем историкам в своих дебатах фокусироваться на «революции стремени», если в те же каролингские времена наблюдалось примечательное развитие доспеха и меча?

До полного комплекта (наступательного) вооружения, до заковывания всадников в железо с ног до головы и до фехтования на копьях дело еще не дошло. Но использование копья в конной схватке было обычным делом, копьё иногда метали, как дротик, но по преимуществу им наносили удар, направленный кверху или книзу, так, чтобы пронзить врага, как показывают иллюминированные псалтыри. Оно было самым распространенным оружием и у пехотинцев, как и щит — деревянный, обтянутый с обеих сторон кожей. Он был круглым и выпуклым, его можно было повесить на шею, его не пробивал дротик, и он позволял нанести удар острием умбона.

Новшества в каролингском вооружении объясняются тем, что различия между бойцами становились вей сильнее — эти новшества не были нейтральными в социальном смысле, не были случайными. Шлем (*casque, heaume*), вероятно, еще не ковали из одного куска железа, но он приобрел усиление. Эверард упоминает в завещании шлем и кольчугу (*haubert*) (867 г.), Эккехард отличает броню от кольчуги (*haubert'a*, этимологически последнее слово означает «прикрытие шеи»). Роберт Сильный погиб при Бриссарте в 866 г. в конце дня оттого, согласно Регинону Прюмскому, что из-за жары снял шлем и панцирь и не удосужился надеть их снова^{161}.

Вассалы, имеющие двенадцать мансов, носили броню (*brunia, broi-gne*), то есть кожаную одежду, напоминающую кирасу: она была усилена железными бляхами поверх кожаной основы. Распространился железный чешуйчатый доспех, прикрывавший порой также ноги (он продолжался, образуя поножи) и руки (наручами); насколько часто такое встречалось, историку оценить трудно^{162}.

Филипп Контамин отметил, что Рабан Мавр упоминает настоящую кольчугу (*cotte de mailles*)^{163}, то есть одежду из переплетенных железных колец, какую первоначально надевали только на броню. Есть также очень впечатляющая страница у Ноткера Заики, где описан Карл Великий, весь в железе, который подступил к лангобардскому городу и навел страх на его обитателей^{164}. Но ни кольчуга, ни железный человек больше не представлены и не упомянуты ни в одном тексте... Однако разве пустяк, что такие мысли приходили в голову монахам высокого положения, близким к императорам?

Впрочем, железное сердце может стать смелей, если его обладатель закован в защитное вооружение. И примечательно, что авторы обоих рассказов о смерти магнатов в сражении — Роберта Сильного в 866 г. и его сына в 923 г. — сообщают либо придумывают, что те не успели облачиться в латы. Недостатком панциря была его громоздкость, а погибнуть в бою, кроме как случайно, отныне можно было только, если ты действительно слишком нетерпелив и смел либо захвачен врасплох, став жертвой чьей-то личной смертельной ненависти...

Во всяком случае сами франки рассматривали броню как существенное преимущество, коль скоро Карл Великий в Тионвильском капитулярии, а Карл Лысый в Питрском пытались запретить или прекратить вывоз такого доспеха (к викингам) — и это доказывает, что его вывозили.

Тем же они были озабочены в отношении своих мечей, которые тогда заметно усовершенствовались и могли принадлежать только всадникам — причем были не у всех. Короткий меч (или «полумеч», *demi-épée*) из капитуляриев служил до сих пор для боя — легкий, быстрый (65–80 см, однолезвенный), тогда как длинный меч (двулезвенный, 90–100 см, с клинком длиной 75–80 см) использовался прежде всего затем, чтобы прикончить, добить (в случае необходимости) врага. А ведь с прогрессом кузнечной техники, сказавшимся на изготовлении в равной мере оружия, орудий труда, украшений, качество клинков улучшилось. Прежде оба лезвия сходились только у самого острия; теперь клинок в его направлении сужался. Тем самым центр тяжести смещался к навершию эфеса, и меч становился удобней. Его можно было применять во время рукопашного боя совместно с коротким мечом. На клинке иногда можно было прочесть имя оружейника, который его делал. В IX в. лучшие мечи ковал Ульфберт (*Ulfbeht*)^{165}.

Именно меч вручали сыновьям королей в знак достижения ими совершеннолетия и как подтверждение их прав на престол. Он играл роль церемониального оружия, и его в этом качестве держит в руке знатный воин, изображенный ранее 881 г. на стене церкви в Мальсе, в Граубюндене; в завещаниях графов Эверарда Фриульского и Эккехарда Отёнского в составе имущества, которое они передают, описываются по преимуществу мечи^{166}.

Несомненно, большинство всадников не располагало самым полным комплектом наиболее эффективного оружия. Но снаряжение всадника — то есть «вассала», как ясно говорит капитулярий 792–793 гг., — было знаком социального верховенства и в большей степени знаком, нежели прямым средством утверждения такового.

В рассказах о войне пехотинцы оказываются на втором плане, даже если конница нуждалась в их поддержке и эффективность пехоты оставалась высокой. Тотальное

превосходство всадника в бою в любой момент средневековой истории — это миф, с которым энергично борется Джон Франс^[167].

Однако франкских всадников VIII и IX вв., несмотря на весь их престиж, сдерживала более сильная власть, чем «варварских воинов» древней Германии, а также моральный долг. Качество их вооружения было беспрецедентным, как и его стоимость. Чтобы сохранять свое положение, они должны были поддерживать связь с королем или магнатами, которые наилучшим образом управляли экономикой и системой уже несколько усложнившихся институтов.

В книгах «старой школы» историков (по 1950 г.) слишком много внимания уделялось вассальному оммажу и фьефу, и эти труды в основном создавали о них очень наивное и стереотипное представление. Но достаточно ли места отводится им в более новых книгах? По крайней мере в эссе о рыцарстве без них обойтись нельзя. Связь между всадниками и вассалитетом очень отчетлива. Само слово *vassus*, позже на старофранцузском — *vassal*, часто использовали в абсолютном смысле, само по себе, без упоминания о сеньоре: быть вассалом уже значило иметь высокий статус, предполагавший воинскую доблесть и почетный для его обладателя. В то же время каждый вассал был чьим-то вассалом, и ритуалы типа принесения клятвы верности и даже оммажа в руки с точки зрения социологии включали того, кто посредством этих ритуалов выражал подчинение сеньору, в состав элиты: они составляли контраст ритуалам закабаления. Оммаж в руки всегда приносил только всадник, тот, кто не нес трудовой повинности, пусть даже иногда он сам возделывал свою землю.

Но связь между вассалитетом и «рыцарством», сколь бы фундаментально важной она ни была, сложна и неоднозначна. С одной стороны, особая атмосфера отношений между сеньором и вассалом требовала проявлять сдержанность и оправдывать какие-то поступки — и это было необходимой прелюдией к общению между рыцарями: в качестве рыцаря вассал имел право на знаки уважения. С другой стороны, вассальная служба была обязанностью, и пренебрежение ей в принципе влекло за собой тяжелые санкции — смерть либо изгнание, если сеньор был королем, нередко увечье, крупный штраф, публичное лишение чести посредством обряда *harmiscara*^[43]. То есть поведение знатных вассалов контролировалось не только общественным мнением, как поведение германского воина, по Тациту. Идеал преданности сеньору на войне, несомненно, пришел из германских дружин, но почитание вышестоящего лица и пылкая преданность ему стали нормой всей социальной жизни, нормой, которую освящала христианская мораль, а в лесах и болотах древней Германии ничего подобного не было... Все это ограничивало, в первую очередь, безудержную «рыцарскую» свободу воли. От всадника требовалось не столько отличаться на войне, сколько служить.

Вассалитет был важным во многих отношениях институтом каролингского общества и государства. Считалось, что тот, кто приносит оммаж или даже просто клятву верности, дарит себя самого и свое имущество. За сеньором или королем вассалы каролингской эпохи признавали право изъятия своей земли и ее подсудность, как если бы они получили землю в качестве «бенефиция» (в XI в. скажут — «фьефа») или под каким-то другим названием. Однако немало было сделано и для того, чтобы они могли сохранять лицо, и отношения между сеньором и вассалом были некоторым образом сбалансированы в том смысле, что обязанности предполагались взаимными: если надо, сеньор поддерживал вассала и покровительствовал ему. Как и собственно серваж, где обряды закабаления и нормы в IX в. тоже приобретали больше определенности, вассалитет имел свой негласный свод правил, пусть даже довольно размытый и не всегда последовательный, и обе стороны могли выяснять отношения в суде и во всех сферах социальной жизни, взаимно обвиняя друг друга,

что такой-то «ведет себя не так, как вассалу должно вести себя в отношении сеньора» — или наоборот, сеньору в отношении вассала.

Правду сказать, вассальные отношения, несомненно, были прежде всего (к чему понемногу шел и серваж как таковой) поводом публично отстаивать, толковать и оспаривать пределы обязательств, вносить в них поправки, разрабатывать ритуалы и формулы. Вассалитет не предполагал прочного морального единства, жизненной общности, как наивно считала старая школа. Это не был чисто военный институт, во многих отношениях он был также социальным и политическим. Притом вассалитет не определял всю социальную личность вассала; кроме того, он всегда предполагал наличие нескольких человек, целого маленького коллектива. Его форма и импликации варьировались в зависимости от конкретного случая и ситуации. Наконец, конечно, сам по себе он не позволяет дать строгого определения всего политического режима и всей социальной системы. Даже говорить о «феодализме» — значит только использовать удобный ярлык, во многих отношениях произвольный.

Однако каролингская власть и Церковь действительно настаивали на *верности*, которой каждый, и в первую очередь всадники, обязан Богу, королю, родичам, сеньору. Всё это стало содержанием маленького *наставления*, правду говоря, очень теоретического и школярского, почти наивного, которое знатная дама Дуода написала около 840 г. для одного из своих сыновей, направляющегося к императорскому двору. Она не забывает предписать ему быть приятным с «собратьями-вассалами» (*commilitones*), проявлять по отношению к равным общительность, которая уже была качеством почти «рыцарским». К несчастью, она не говорит ему того, о чем нам больше всего хотелось бы узнать: как разрешать конфликты между долгом по отношению к разным сеньорам, как дозировать лояльность и двурушничество, даже неподчинение...

Есть неясные места и в клятвах, которых Карл Великий в отдельные годы (789, 802) требовал от всех, кто годен к военной службе, исходя из «того, чем вассал обязан своему сеньору». Но известно, что в серьезных случаях короли без колебаний требовали подчинения в форме вассалитета. Преимущество этой формы состояло в том, что она содержала полезный сплав зависимости и чести. Это видно по самой истории франкской экспансии.

ВОЙНЫ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Вассальные ритуалы были совместимы с обществом мести — позднейшая эпоха это ясно покажет; бывало, что вассалы кровно мстили сеньору, и очень нередко сеньоры оказывали давление, чтобы уладить конфликты между вассалами. Но в царствование Карла Великого, похоже, сеньоров призывали, скорей, приводить своих вассалов на заседание суда или в войско (ост). И, главное, ссылаясь на христианскую мораль, некоторые капитулярии (789, 806 гг.) резко осуждали убийство христианина христианином и добивались (твердо, но не до конца последовательно) искоренения мести в королевстве, а потом в «империи» франков^[168]. С другой стороны, власть требовала отказа от частных войн и приказывала (правда, эти приказы исполнялись плохо) не держать вооруженных дружин для использования внутри страны.

Пришла пора осуществить коллективную и государственную «месть» за несправедливости, которые франкскому народу чинили соседи. По крайней мере так дело представляла каролингская идеология.

Это значило — войны, но не беспощадные, потому что в файловой системе с местью всегда соседствовала композиция, договор. Таким образом, месть в качестве повода всегда давала Карлу Великому возможность вести переговоры, идти на компромиссы и даже заключать союзы с противниками. У него редко была возможность «истребить» их, что франкскому народу как «новому Израилю» позволяли некоторые стихи из Библии, по крайней мере если эти противники не были христианами; поэтому библейские ссылки франки старались выбирать помилосердней. Ведь вассалитет не обязывал вассала вступить в постоянную армию. И конница в ней не всегда оказывалась решающей силой. Для Карла Великого она была совсем не тем же, чем фаланга для Александра. Для его интерактивной и в этом смысле довольно «германской» монархии война имела иной характер, чем для империи, которая более достойна этого названия, то есть более элитарна, и завоевывает другую империю, занимая ее города. Но в эпоху Карла Великого война была просто сезонной операцией, она включала в себя множество сделок между знатными воинами за счет крестьян.

Многие авторы, в том числе Эйнхард и почти официальные «Королевские анналы», за которыми следуют другие анналы, написанные в аббатствах, славят и оправдывают франкские войны, особенно с момента восхождения Пипина на королевский престол (751 г.). Естественно, написанное ими — не вся правда и даже, несомненно, не только правда о завоеваниях Карла Великого. Их приукрасили, и он выглядел бы настоящим королем-рыцарем, столь он был милосерден, если бы, с другой стороны, когда-либо проявил личную отвагу или совершил какие-то подвиги у всех на глазах, — но чего не было, того не было, и все видели только его наряды и церемониальное оружие.

Что касается его людей, франкская монархия выражала им благодарность в приказе вовсе не за победные геройства, и случаев блеснуть «рыцарской» инициативой как таковой им выпадало не слишком много. Каролингские анналы предпочитали упоминать тех графов, которые, к несчастью, погибли, но чьи имена (как имя Роланда) порой всплывут в героических песнях XII в.

Франкская экспансия VIII в. прежде всего сводилась к восстановлению гегемонии Франкии над областями, прежде зависимыми от Меровингов, такими как Аквитания, которую Карл Мартелл попытался покорить тогда же, когда защитил ее от сарацин (732 г.) в одной плохо известной битве, где роль конницы все-таки нельзя игнорировать^[44], и как Бавария

герцога Тассилона, которую придется защищать от аваров (797 г.). Но экспансия распространилось и на новые территории, такие как Септимания и даже Испания, когда-то принадлежавшая готам, а ныне (с 711 г.) находящаяся в руках сарацин, и особенно такие, как языческие и германские Фризия и Саксония к северу от Франции, которые надо было обратить в христианство и включить в состав христианской империи, наконец, такие как лангобардская Италия, которую папа призывал франкских королей удержать и присоединить.

Принцип всегда был один и тот же. Франкский ост вступал во вражескую страну летом, грабил там земли, осаждал города (на юге, то есть в Испании и Италии — Барселону и Павию) или замки (крепости в германских и славянских землях). Знатные противники, как правило, скрывались, бежали, в конечном счете покорялись или сдавались, обещая дань и союз, а через год или несколько лет нарушали свои обязательства и возобновляли враждебные действия. Характерный пример — герцог баваров Тассилон, несколько раз изменивший Пипину Короткому и Карлу Великому. Всякий раз он обрекал свои земли и своих баваров косвенной мести франков, тогда как сам избегал какого-либо сражения, бежал или подчинялся, и снисходительность к нему Карла Великого можно считать едва ли не удивительной. В 788 г. Тассилона за оскорбление величества поначалу приговорили к смерти, но в конечном счете помиловали и приговорили к пожизненному покаянию в монастыре^[169]. Баварская аристократия явно имела связи с «двором» (дворцом) Карла Великого, и какие-то франки вмешались в дело, оказали давление на власть в поддержку Тассилона. Аннексия Северной Италии в 774 г. тоже совершилась благодаря союзу Карла Великого с группировкой лангобардской знати, после долгой осады Павии франками и капитуляции короля Дезидерия^[170].

Походы в Саксонию были тяжелее: оба противника устраивали побоища и вели настоящие сражения. Но стратегическая, военная и социальная модель почти не изменилась. После грабежей настало время вступить в переговоры со знатными вождями, добиться от некоторых из них крещения и подчинения. Даже знаменитый Видукинд, который в 777 г. предпочел укрыться у датчан, чем являться в Падерборн к франкскому государю, и несколько раз разжигал войну, благополучно закончил жизнь как «верный» и крестник Карла Великого... Рассказ об одном чуде, записанный в IX в., упоминает обращение к святому Вандриллу в объяснение спасения франкского вассала Сигенанда, пленника саксов, который, похоже, сумел переманить на свою сторону одного из последних^[45]. Наконец, во время кампании 778 г. имели место сговоры даже с сарацинами. В отношениях между знатными воинами всегда было время для столкновений и время для соглашений. Франкская экспансия следовала принципу последовательного слияния «народов», то есть аристократий — и слияние франков и саксов пойдет далеко.

Однако именно события франкских войн VIII в. (в большей степени, чем войн IX и X вв.) надолго стали материалом для французских эпикей XII в. (основой для авторского вымысла). «Песнь о Роланде» воспекает графа, погибшего в 778 г. в Пиренеях в бою с сарацинами, «Песнь о Гильоме» — графа, спасшегося в сражении на Орбье в 793 г., и обе придают этим битвам, как мы увидим, очень кровопролитный облик (в обоих случаях это месть аристократии, и в обоих случаях та отличается в бою). Создается впечатление, что не было никакого грабежа, а лишь смертельная борьба между враждебными аристократиями.

Конфронтация с исламом^[171] была жестче войны с лангобардами, но не войны с саксами, и включала в себя те же «ингредиенты». Здесь также имели место переходы из лагеря в лагерь и раскол готской и баскской аристократий на враждующие группировки, одни из которых поддерживали сарацин, другие — франков. Так, в 777 г. мусульманин

(свежеобращенный) Ибн Араби примкнул к Карлу Великому, а потом помогал ему в 778 г. во время испанского похода; тогда Карл подступил к Сарагосе и добился от нее заключения формального союза, потом снес стены Памплоны, принадлежавшей баскам — сторонникам сарацин, после чего повернул обратно в Галлию через пиренейские ущелья: «А в этих горах устроили засады гасконцы [баски]; они напали на арьергард и весьма расстроили всю армию. Смелостью и оружием франки превосходили врага. Но трудные места и непривычный характер боя поставили их в невыгодное положение. Многих придворных, которым король поручил командовать отрядами, в этом бою убили. Обозы были разграблены, и враг, зная эти места, тотчас оторвался от всякого преследования. Воспоминание об этом жестоком поражении весьма удручало Карла Великого»^[172]. Иными словами, терять своих палатинов ему было тяжело; по крайней мере он должен был демонстрировать печаль — тогда как смерть рядовых, обычных бойцов осталась незамеченной, как почти повсюду.

Баски хотели запугать франков, чтобы те не вернулись. И действительно, во франкских «Анналах» ничего не сказано о каком-либо ответном ударе, который можно было истолковать как месть за убитых в этой засаде в Ронсевальском ущелье. «Анналы» ограничиваются безапелляционным утверждением, постулатом, согласно которому франки превосходили врага «смелостью и оружием».

Но разве фактическим реваншем франков не стали «жеста» или же предания, которые она дополнила в XII в.? За эту оскорбительную неудачу, за потери в рядах хорошего общества нужна была воображаемая компенсация. И «жеста» в самом деле восхваляет смелость франков, превращает врагов-басков, сторонников сарацин, в самих сарацин, вводит в действие франка-предателя, «Ганелона» (это имя епископа, который в 858 г. во время междоусобной войны покинул Карла Лысого и перешел на сторону его брата Людовика Немецкого). Натиск на Сарагосу, предшествовавший событиям в Ронсевальском ущелье, преобразился во взятие города после Ронсеваля, став блистательным реваншем.

Неотомщенные, героические смерти, почти сравнимые с мученичествами святых, часто оставляли после себя следы, имена, а последние использовались в «жестах». Вивьен был графом Тура, убитым бретонцами в 851 г. и тоже неотомщенным^[46], прежде чем стать в воображении эпических поэтов XII в. племянником Гильома, великим героем священной войны.

Эти соображения отнюдь не обязывают нас возвращаться к «традиционалистскому» тезису, изображавшему в XIX в. «жесты» настоящими устными преданиями, которые невредимыми дошли с каролингских времен до XII в. В самом деле, вооружение и социальные отношения, отраженные либо придуманные в этих песнях, больше соответствуют реалиям тысяча сорока года, а устная традиция здесь имеет несколько искусственный характер. Тем не менее аристократия XII в. в полной мере была преемницей аристократии каролингского мира, даже если вследствие феодальной (в 900 г.) и рыцарской (с 1050 г.) мутаций стала несколько отличаться от нее. Изображение франкских войн как справедливой мести, сокрытие неблагоприятных подробностей характерны как для каролингских источников, так и для источников феодальных времен, пусть даже последние представляют собой эпопеи скорей о графах, чем о королях.

В позднейшей песни, где гордость Роланда ставит под угрозу исход арьергардного боя, даже отразились извечные проблемы средневековых остов, в том числе оста Карла Великого, раздираемых самомнением вождей или борьбой группировок. Действительно, Роланд отказывается трубить в рог, чтобы не создать впечатления, что он зовет кого-то на помощь, и не запятнать тем самым честь рода — то есть хочет оставить победу, подвиг, только за собой и своими двенадцатью пэрами. А ведь в «Королевских анналах» VIII в. есть рассказ о

поражении, случившемся по той же причине. В 782 г. в Саксонии походом руководит граф Теодорих, родственник Карла Великого. Он сообщает трем палатинам (*ministri regis*) о своем плане. «Те же посовещались меж собой и выразили опасение, что, если они атакуют совместно с Теодорихом, честь победы достанется ему. Они решили атаковать и дать бой без него. Они облачились в доспехи и атаковали не так, как идут на врага, занявшего оборону, а так, словно тот уже бежит». Таким образом, они пошли в бой верхами, и это решение оказалось ошибочным с учетом как свойств местности, так и обстоятельств. «Исход боя был гибельным: саксы [пешие?] окружили франков и перебили почти всех. Те, кто смог спастись, не вернулись в свой лагерь, а направились в лагерь Теодориха на другую сторону от горы. Потери франков были более чувствительными из-за ранга убитых, чем из-за численности последних. Погибли оба палатина, Адальгиз и Гейлон, четыре графа и до двадцати из самых знатных и самых “видных” людей, не считая их дружинников, которые предпочли пасть вместе с ними, нежели остаться в живых»^[173].

Здесь просматривается представление о чести «германского» типа, достойное дружин древних германцев. И эта история тоже могла бы лечь в основу сюжета «жесты». Разве ее дух не эпический? Но победа конницы Карла Юного в 784 г. стала мезьей за оскорбление и поспособствовала его забвению.

Исходным материалом для эпопеи обычно было поражение или по меньшей мере чрезвычайная опасность, грозящая знатному воину. Может быть, у Каролингов были свои эпопеи, на германском языке, или, скорей, эпопеи о предках^[47], ведь героические эпохи редко совпадают с современностью. То, что дошло до нас из поэзии, посвященной их воинам, их триумфам и триумфам их графов, написано на латыни и выдержано в немного иной тональности — это песни о победах, всегда немного льстивые и по содержанию более близкие к собственно рыцарской литературе. В IX в. были эпитафии, похвалы храбрым и справедливым королям и графам (как Эверард Фриульский), где ощущается влияние стихов Венанция Фортуната, написанных тремя веками раньше и посвященных королю Сигиберту и герцогу Лупу. И прежде всего эпические поэмы, написанные воспитанниками каролингской школы — подражателями Вергилия, Овидия или Лукана, такими как Эрмольд Нигелл и Аббон из Сен-Жермен-де-Пре.

Карл Великий хотел, чтобы у него были лучшие школы (*scole*); он оказывал давление как на молодых людей, осваивающих военное искусство, так и на тех, кто учился словесности и пению. Но чтобы усилия по созданию школ принесли плоды, нужно было целое поколение, и первый побег на этом дереве — «Поэма»^[48] Эрмольда, которая между 826 и 828 гг. восславляла императора Людовика Благочестивого, сына Карла Великого. Она состоит из четырех песен, первая из которых рассказывает в основном о взятии Барселоны в 801 г. франко-аквитанским остом, поставленным под командование Людовика, в то время короля Аквитании. Разве не должен он был отличиться юношеской воинственностью, соперничая со своим братом Карлом Юным, победившим саксов в 784 г.?

«ПОЭМА» ЭРМОЛЬДА НИГЕЛЛА

Правда, «Королевские анналы» на сей раз не говорят о нем ни слова. Они упоминают только сарацинского вождя Зата, или Задона, который подчинился Карлу Великому летом 797 г. в Ахене. Но он быстро изменил, коль скоро в 801 г. город был взят после двухлетней осады. Тогда Задона отправили в Ахен, на этот раз как пленника, и Карл Великий по доброте осудил его только на «изгнание»^[174]. Таким образом, барселонское дело в «Королевских анналах» занимает всего два абзаца, тогда как Эрмольд Нигелл посвятил ему длинный рассказ. Что это, вымысел в чистом виде? Его «Поэма» напоминает эпопею без эпических преувеличений, скорей, она отличается льстивой выпендренностью. Она отражает реальность каролингской войны, охватывая тему в целом либо высвечивая отдельные ее избранные аспекты. Автор стилизует свой рассказ, но не выдумывает ни одного эпизода. В этой современной для него истории он строго следует сюжету — он не может сплести интригу или придумать драму, какая была бы нужна, чтобы показать великий героизм или масштабные ценностные конфликты.

Во всяком случае считается, что такая картина нравилась двору Людовика Благочестивого и в ней видны некоторые социологические установки. Эрмольд Нигелл не упоминает о посвящении Людовика в воины — *опоясывании мечом*, которое, несомненно, совершил в 794 г. его отец и о котором сообщает единственный биограф Людовика Благочестивого (тот, кого мы называем Астрономом). Король Людовик делит славу с герцогом Гильомом — который тоже станет одной из крупных фигур феодальной эпопеи, от «Нимской телеги» до «Монашества Гильома» в Желлоне, но к тому времени совершенно затмит бездеятельного и неблагодарного короля.

В «Поэме» Эрмольда война оправдывается точно так же, как в «Королевских анналах». Людовик видит, что франкская земля подвергается набегам мавров, и созывает на совет магнатов своего королевства. Он не может от них ничего потребовать, нужно, чтобы они сами согласились ему помочь. Таким образом, он опять приобретает немного более германский облик: он должен убеждать и в то же время лично сражаться. Правду сказать, его отношения с графами отражают и реалии 820-х гг., когда действовала модель автоматического согласия со всем, что делает император.

Герцоги в «Поэме» Эрмольда не едины во взглядах. Позиции гасконца Лупа Санчо, толкующего о мире, противопоставлена красивая воинская решимость Гильома, который говорит королю то, что тот хочет услышать, и вызывается возглавить экспедицию^[175]. Это уже вассал с верным сердцем, за что он получит награду. Но спор не выливается в перепалку, ведь это сдержанная поэма, которой далеко до пылкости и яростных инвектив «жест». Луп Санчо не изменяет, спор не переходит в кровную месть.

В кампании 801 г. нет правильных сражений: следуя классическому сценарию, мавры заперлись в стенах города в ожидании армии поддержки из Кордовы — которая так и не пришла — и рассчитывая также на плохое снабжение осаждающих, потому что уже до них захватили в этой земле все припасы. Тут не сражаются на мечах лицом к лицу, а бросают в неприятеля копьё, чтобы его пронзить; с этого, несомненно, и начинается стилизация, свойственная Эрмоль-Ду. Противники успевают осмотреться и обменяться репликами, и все взгляды словно устремлены на отдельных людей. Автора блестящего удара, опасного или смертельного, можно ясно опознать, как и его жертву. То есть дело выглядит так, будто все франки и мавры знакомы между собой. Под Барселоной происходят диалоги, пререкания (на каком языке?); на сарказм и иронию мавров франки отвечают вызовами и подвигами. Однако

не вызовами на поединок, как Бертоальд вызывал Ландериха или какие будут практиковаться в крестовых походах. В то время как Задон говорит своим, что уважает франков и боится их, один из его соотечественников, Дурзас, с насмешкой бросает последним с высоты стен: «Непобедимый народ, ты веришь, что одним ударом опрокинешь эти строения, на возведение которых римляне потратили тысячу лет? Беги, свирепый франк, уходи, скройся с наших глаз!»^{176} Ответом на это была не другая реплика, а бросок копья, пронзившего горло насмешнику. «Сей муж упал с высоты стены, и, когда он умер, его кровь забрызгала франков»^{177}. Лей кровь мавров! Ведь франки поражают и других: «Гильом убил Хабирудара, а Лиутхард — Уриза»^{178}, однако, завязать правильный ближний бой им не удастся — мавры на это не решаются. Ручаемся, что этого не так уж жаждали и франки. Пока что осада затягивается.

Тогда король Людовик обращается с речью к своим войскам, «согласно обычаю». Он приносит нечто вроде обета, клятвы не снимать осады, прежде чем Барселона не капитулирует. По другую сторону стены один мавр, слышавший его, бросает реплику: тот никогда не войдет в город. У осажденных съестных припасов куда больше, чем у осаждающих. Вмешивается Гильом: он скорее съест своего коня, чем отступится. Враг ошеломлен, поскольку знает^{49}, до какой степени конь для франка — главный козырь, какую имеет практическую и символическую ценность. И эти слова, если верить Эрмольду, деморализуют противника: они сеют смятение в его рядах, и Задон вынужден собрать мавров и обещать, что попытается лично пробиться через позиции франков, чтобы добраться до Кордовы в поисках подкрепления.

Он терпит неудачу и попадает в плен. Людовик велит Гильому вывести его под стены Барселоны, чтобы тот приказал своим людям сдаться, а в противном случае, и это мавр хорошо понимает, ему грозит смерть. Но Задон достаточно смел: говоря предписанные слова, он в то же время дает понять, чтобы ему не верили, подавая согласованные заранее знаки. Это не ускользает от Гильома, и тот со всего размаха бьет его кулаком, не решаясь убить: ведь «он восхищен мавром, и особенно его хитростью»^{179}. Иначе говоря, хоть и отреагировав таким образом на хитрость мавра, он выражает тому свое восхищение. И, даже ударив Задона и разбив ему лицо в кровь, он сохраняет жизнь этому врагу, которого явно уважает, хоть и не отказывается от борьбы с ним.

После этого сыну Карла Великого остается только нанести решающий удар, метнув свое копье-дротик с удивительной силой. Барселона сдается. И Людовик отправляет верного Бигона в Ахен рассказать об этом своему отцу-императору, посылая прекрасные трофеи в подтверждение своих слов: «щиты и панцири, одежды и косматые шлемы, оседланного коня в золотой сбруе»^{180} и плененного Задона (далее последний пропадает из виду). Но все-таки рапорт Бигона несколько приукрашен: якобы Людовик «победил мавров в яростной сече, самолично, с мечом и щитом в руке»^{181}. Согласимся, что Людовика со свитой видели под стенами Барселоны, но Эрмольд Нигелл сам отмечает, что ближнего боя не было; вождь, самый высокородный всадник, присваивает себе коллективную заслугу...

В целом эта война с неверными не дала ярких примеров фанатизма. Никакое вмешательство церковников, Бога, святых не мешает франкам демонстрировать свойственную им доблесть. Будто читаешь Тацита, когда узнаешь от Эрмольда Нигелла о врожденном пристрастии франков к оружию; германских женщин в качестве зрителей с успехом заменяют сарацины... Они даже лучше — это настоящие партнеры, с которыми, будь они христианами (или хотя бы язычниками, поддающимися обращению), были бы все шансы завязать в будущем дружбу.

Мы видели, как при осаде Барселоны сарацин впечатлил обет Гильома съесть своего коня, то есть то, что ему должно быть дороже всего! Они сами хотят приобрести этих франкских верховых животных, и христиане это знают. Тому свидетельство история Дата, тоже рассказанная в «Поэме» Эрмольда Нигелла. В 793 г. мавры «левой хлынули в Руэрг и опустошили его», или, точнее, разграбили; что касается Дата, они захватили в его доме все имущество и даже мать. Тогда он «оседлал коня, вооружился и отправился со своими соратниками в погоню». Вот он перед укреплением, состоящим из стен и частоколов; он атакует мавров, укрывшихся там с добычей и пленными. Один из мавров саркастично бросает ему: «Мудрый Дат, что привело вас под наши валы, тебя и твоих соратников? Скажи мне, прошу тебя». Он явно знает ответ и завершает свою тираду предложением: «Если ты согласишься на обмен, если ты отдашь мне этого коня, на котором ты сидишь и гарцуешь, я верну тебе мать со всем твоим добром. Если нет, твоя мать умрет у тебя на глазах»^[182]. Но Дат отказывается расстаться со своим конем. Мавр убивает его мать у него на глазах: он отрубает ей груди, а потом голову. Дат трепещет от бешенства, и он в отчаянии, что не в силах отомстить — мешает вал. Этим объясняется его обращение: он отрекается от всего, «берет лучшее оружие» — духовное — и становится отшельником в месте под названием Конк, где его пустынь предвещает появление «будущей крепости монахов»: в 800 г. здесь возник монастырь.

Зная о ценности коня и его значении для социального статуса, может быть, нужно в конечном счете простить Дата. Что касается мавров, они ведь запросили выкуп, прежде чем совершить эту жестокость. Стоит отметить их интерес к верховым животным (и франкскому оружию). В 869 г. они потребовали сто красивых мечей в обмен на Роланда, архиепископа Арльского. И этот эпизод с конем, замком и выкупом уже приобретает зловещий (или прагматический) феодальный облик — тогда как в Аквитании элита осталась римской с манерами V в. и еще нередко будет претендовать на то, что остается таковой, но отныне станет страдать от нападений басков, сарацин и франков: что еще нужно, чтобы возродить германский дух, улетучившийся со времен Луэрна, Битуита и Верцингеторига! С тех пор и по XII в. включительно обитатели этой земли были еще более грубыми и неотесанными, чем жители Франкии.

В Барселоне, взятой в 801 г., ситуация оставалась довольно сложной. «Королевские анналы» отмечают, что в 820 г. многие обвинили графа Бери, гота, в измене Людовику Благочестивому и что в поединке с обвинителем граф был побежден, уличен в оскорблении величества — и помилован^[183]. Это был обычай меровингского происхождения, но на сей раз уточняется, что речь шла о конном бое и что он состоялся, хотя принял неожиданный оборот. Эрмольд Нигелл сумел так рассказать эту историю. Обвинитель — тоже гот, его зовут Санлон, и франки, «по старинному обычаю», выносят решение, что следует провести бой. Но в этом бое для них есть нечто новое, потому что он происходит по-готски. Жаль, что Эрмольд Нигелл не объяснил более внятно, что именно было новым для франков: самый факт конной схватки? или метание дротиков перед сражением на мечах? Во всяком случае Бери, сидя на коне, имеет возможность обратиться в бегство, и противник вынужден его преследовать и поразить мечом, чтобы тот признал себя виновным. Мужички (или «юноши»), уполномоченные императором Людовиком, спешат остановить бой, спасти Бери от смерти и препоручить его милосердию Людовика. Бери даже сохраняет свои владения, без видимого бесчестия — надо ли говорить, что, начав таким образом бой, хоть позже и бежав, он остался при своем графском статусе? Такова империя, где вниз по социальной лестнице, похоже, спускались не чаще, чем поднимались вверх!

Надо также сказать, что знатные воины образовали чрезвычайно закрытый «клуб». В

описанном выше эпизоде Эрмольд Нигелл не замечает никого, кто был бы ниже графов, а в других местах поэмы особую доблесть или решимость смелого Хосла и грубого Дата, происходивших, похоже, из немного менее знатных семейств (но не из «простонародных»), автор отмечает лишь задним числом, после того как герой, соответственно, гибнет или становится отшельником. Возвышение бойца «скромного» происхождения, то есть не принадлежавшего к высшей знати, на повестке дня не стояло. Ничего похожего на то, что «История Аугустов» рассказывает о карьере какого-нибудь Максимиана в римской армии III в. [\[184\]](#) А Ноткер Заика сообщает об отказе Карла Великого допустить к бою двух братьев, запятнанных родством с сервами (эти братья были бастардами) [\[185\]](#). Судя по «Истории лангобардов» Павла Диакона, друга Карла Великого, в лучшем случае за героизм в решительном поединке серва награждали освобождением [\[186\]](#). В каролингской элите, похоже, вопрос возвышения некоторых людей обсуждался отдельно.

Но обычно, как в «Житии святого Эрмеланда», записанном около 800 г., знатность рода влекла собой поступление на военную службу (*militia*) [\[187\]](#).

Впрочем, «Поэма» Эрмольда Нигелла показывает, что знатные воины в целом могли в конечном счете жить, особо не напрягаясь, за счет общеизвестной репутации храбрых франкских предков. В самом деле, получив боевое крещение в пределах империи, они не были обязаны в дальнейшем рисковать жизнью каждый день. Официальный лозунг мира и согласия между христианами, певцом которого стал Эрмольд, позволял, строго говоря, воевать с бретонцами как с дурными христианами, но рекомендовал сдержанность. Он заставил Людовика Благочестивого вовремя прервать поединок между Бери и Санилоном, двумя знатными готами, прежде чем один из бойцов мог погибнуть. Он побуждал идти на переговоры с датчанами, которые в результате присоединения Саксонии с 800 г. стали северными соседями империи, и лучше выжидать, чем сражаться с ними. Разве не вернее привлекать их на сторону христианства дарами, помощью, хорошими манерами, чем войной? Так, например, визиту датского короля Харальда в Ингельхеймский дворец в 826 г., когда произошли его крещение, охота, пир, оммаж, «Поэма» Эрмольда, ее четвертая песнь, обязана одним из лучших кусков, своей фермой. Еще немного, и можно было бы сказать, что у франков больше нет свирепости ни в манере, ни в поступках, а единственно в этимологии!

Это христианство, иными словами, легитимировало и позволяло хвалить соглашения между воинами, которые были вполне традиционными, но прежде редко упоминались в эпосах. И «Поэма» Эрмольда, начавшаяся с описания героизма, вполне смогла завершиться воспеванием роскоши в атмосфере такого христианства, которому свойственны, скорей, дворцовые удобства, чем воинские тяготы. Героизм остался лишь на картинах во дворце и капелле — картинах, посвященных истории и предкам. Нет и тех воинских единоборств и турниров, какие позже будут характеризовать собственно рыцарские времена. Лишь «дачная» жизнь — спорт да празднества, где льется кровь (хоть и рекой) только оленей и ланей, убиваемых франками и датчанами на охоте. В самом деле, они совместно перебили массу животных, прежде всего оленей и вепрей. Самому младшему сыну Людовика всего четыре года — это будущий Карл Лысый. Его воспитывают как положено: у него есть лошадка и оружие, с которыми он играет. Он тоже хочет охотиться, как отец и старший брат. Мать не пускает его, но чуть позже в утешение ему приносят лань, и «тогда он хватает оружие под стать и разит трепещущее животное. Он излучает все очарование детства» [\[188\]](#). Действительно, очень трогательная сцена. Сразу видно, что маленький Карл — будущий христианский король и воин: он понял, чего от него ждут!

ИМПЕРАТОР И ДВЕ СЛУЖБЫ

Двору каролингских императоров доставало блеска, когда придворные ели, охотились и молились во дворцах между Сеной и Рейном, в самой что ни на есть сельской местности. И при Карле Великом двор был центром по-настоящему сильной власти, которая внушала уважение аристократии и которую во всех малых областях (*pagas*) представляли графы, снабженные точными инструкциями и находящиеся под контролем епископов и аббатов, или же прямые вассалы Каролингов (владельцы сотен мансов).

Тем не менее «Жизнь Карла Великого», написанная Эйнхардом тогда же, когда Эрмольд Нигелл славил в стихах его сына, не описывает императорской пышности в античном или византийском духе. Эйнхард отчасти вдохновлялся рассказом Светония об Августе, но прежде всего старался найти в действиях Карла Великого, по аналогии с Августом, старание соблюдать обычаи своего народа. Он ставит в заслугу своему герою, что тот расширил империю франков и не снискал их неодобрения. Восхваляя его, Эйнхард в то же время его оправдывает.

Всю жизнь, кроме как в Риме, Карл Великий скромно и одновременно гордо носил франкский костюм. Эйнхард уверяет, что Карл вел себя довольно непритязательно: «Он постоянно упражнялся в верховой езде и охоте, что было для него, франка, естественным, поскольку едва ли найдется на земле какой-нибудь народ, который в этом искусстве мог бы сравниться с франками». И, добавляет он немного далее, Карл «носил традиционную франкскую одежду»: рубаху и штаны, тунику, онучи на ногах, меховой жилет. Наконец, «поверх он набрасывал сине-зеленый плащ и всегда препоясывался мечом, рукоять и перевязь которого были из золота или из серебра. Иногда он брал меч, украшенный драгоценными камнями [то есть церемониальный, отличавший его от массы франков], однако это случалось только во время особых торжеств». Он никогда не носил костюм других народов, даже более красивый, делая исключение только в Риме по настоянию пап^{189}. Ноткер Заика дает описание в том же стиле, добавив к нему галльскую нотку, словно чтобы верней изгнать призрак императорского величия на римский манер^{190}.

Были, разумеется, королевские церемонии и королевские инсигнии, которые постепенно вошли в обычай в IX в. и отличали королей от аристократии. Но в целом наряд Карла Великого и подвиги Людовика оставались нарядом и подвигами знатных воинов. Эти короли были в некотором роде «эталонными» рыцарями, образцами для других, но именно поэтому им приходилось самым серьезным образом считаться с тем, чего от них ожидают, — то есть следовать тем же социальным и нравственным нормам, что и остальная элита.

Можно ли сказать, что каролингских королей, императоров *посвящали (adoubes) в воины*, как прочих магнатов? Этот вопрос в царстве историков может вызвать споры. Конечно, церемониальный меч представлял собой знак, символ социальной власти, принадлежащей как королям, так и магнатам, те и другие находили для себя панегиристов, готовых латинскими стихами воспевать их доблесть и справедливость; традиции Венанция Фортуната у нас в IX в. соответствовал в частности «Седулий Скотт» и его прекрасные хвалебные стихи в честь Каролингов или графа Эверарда Фриульского^{191}.

Но у нас нет ни одного свидетельства о ритуале первой передачи этим графам их меча по случаю вступления в должность. Следы подобных ритуалов обнаружены *лишь для королей*.

Меч несколько раз передавался сыновьям королей в знак достижения ими совершеннолетия и способности царствовать. Но важность и сам характер этого ритуала

трудно оценить должным образом. О нем упоминает единственный хронист, которого мы называем «Астрономом» по причине его частых ссылок на звезды, то есть склонности к астрологии, — в рассказе о жизни Людовика Благочестивого. Уже в 782 г., в возрасте пяти лет, его героя увенчали диадемой, «опоясали подходящим для его возраста оружием, посадили на коня»^{192}, в точности как его сына Карла Лысого в Ингельхейме в 826 г. Потом, в четырнадцать лет, когда Людовик начал действовать как король, «его опоясали мечом, объявив достигшим юношеского возраста»^{193}, — но была ли при этом проведена церемония, достойная такого названия? Он сам в 838 г. «опоясал своего сына Карла [младшего, в возрасте семнадцати лет] мужским оружием — мечом, увенчал его голову королевской короной»^{194}. В этом случае посвящение было только прелюдией к коронации, как отныне нередко будет у королей. Такая передача меча, еще дважды отмеченная в каролингском семействе в конце IX в., очень напоминает посвящение в рыцари, делающее знатного юношу правомочным принять наследство.

Однако, похоже, самым важным было публичное ношение меча, в обществе и на суде, — его носитель, конечно, участвовал в набегах, но, несомненно, без намерения совершать подвиги, как это будут делать князья в XI и XII вв. И можно ли с уверенностью сказать, что первоначальная передача меча была настоящей церемонией? В каролингских документах, по сути, ничто это не подтверждает.

С другой стороны, если для магнатов ношение меча было столь же важно, как и для королей, почему его им не передавали? Может быть, у них эту церемонию заменял «вассальный» ритуал, клятва верности, оммаж, обеспечивающий их статус и легитимность как совершеннолетних знатных людей? Это тоже неочевидно.

Общим ритуалом для королей и магнатов были, скорей, пострижение и отказ от меча на время покаяния или в случае ухода в монахи.

Каролингская власть в основном опиралась на сильную «имперскую аристократию»^{50}, которую она поддерживала и которая в то же время сдерживала ее саму. Во всяком случае можно сделать такой окончательный вывод, в целом не противоречащий образу Карла Великого, созданному Эйнхардом.

Но не пыталась ли эта власть, опосредованно или постепенно, изменить франкские обычаи и создать более сильную администрацию и суд в своих интересах? Это видно из эдиктов (капитуляриев), ограничивавших месть или осуждавших угнетение бедных сильными. Несколько раз с конца царствования Карла Великого (800–814) графам и их служащим приказывали бороться со злоупотреблениями аристократии. Но поскольку сами графы принадлежали к знати, равно как и *государевы посланцы* (*missi dominici*), надзиравшие за ними, этот приказ ничего не давал. Чтобы провести его в жизнь, понадобилось бы то, что Макс Вебер называет «бюрократическим персоналом» — сильно зависимым от государя и состоящим из людей, которые обязаны ему социальным возвышением и по-настоящему зависят от него в имущественном плане. Возможно, таким типом королевских служащих можно было бы считать крупных *министериалов*, вышедших из сервов, но их насчитывалось не слишком много. У каролингской власти не хватало специализированного персонала, не было вольноотпущенников, занимавших посты высших чиновников и всемогущих интендантов, не было «варваров», включенных в состав армии в качестве профессионалов. Она по преимуществу ограничивалась тем, что давала какие-то импульсы местным властям в лице графов и выступала арбитром в конфликтах между группировками и клиентами аристократов, распределяя между ними должности и «почести».

По окончании походов Карла Великого или одновременно с ними эта власть

предпринимала немаловажные законодательные и религиозные меры, но всегда во взаимодействии с Церковью и аристократией, укрепляя их власть на местах (и тем самым подготавливая следующий период), а не против их воли.

Несколько раз, ссылаясь на волю Бога, Карл Великий пытался провести реформы — прежде всего ограничивая месть и убийства в периоды голода, которые он истолковывал как предостережение творящего возмездие (то есть карающего) Бога. И получал в этом поддержку епископов — на которых, с другой стороны, сам оказывал сильное влияние. Но в целом высшее духовенство, тоже аристократического происхождения^[51], отнюдь не побуждало императоров проводить радикальную социальную реформу. Под «защитой бедных» оно подразумевало прежде всего защиту имущества Церкви (одним из оправданий которой, одним из реальных обычаев была помощь неимущим). Используя ярлык «справедливости» или «согласия», социального «мира», оно регулировало отношения в обществе в очень конформистском духе. Например, в плане брака или серважа. Есть христианский брак — экзогамный, нерасторжимый, в котором осуществляется реальное соединение супругов и подчинение супруги^[195]. Есть христианский серваж, в котором уже нет ничего от рабства, серв имеет подлинные социальные права (родительские, собственности), он почти что «вассал низшего ранга», по выражению Бенжамена Герара (1844 г.), — но все-таки достаточного низкого, обреченного на труд и на грязь. Поэтому женщины и сервы (или крестьяне в целом) естественным образом будут нуждаться в покровителях («рыцарях») и должны повиноваться последним.

Итак, превознесенные в качестве христианских правителей, каролингские короли сделали защиту бедных своей программой, то есть выдвинули ее на первый план в своем политическом послании: эту «рыцарскую» функцию короля хорошо изучил Жан Флори^[196]. Но, посмею сказать, они осуществляли эту христианскую власть «по-германски», таким же образом, каким вели войну германские вожди: подавая пример другим аристократам и убеждая их действовать так же.

Иными словами, каролингские короли делили свои обязанности с «верными» высшего ранга, епископами и аббатами, графами и королевскими вассалами. Это значит, что короли оставляли им добрую часть реальной власти, рискуя ослабить свои возможности защищать слабых.

При Людовике Благочестивом верховная власть убедила себя (или сделала вид, будто в это верит), что графы, королевские вассалы, епископы, аббаты в самом деле имеют естественную склонность защищать бедных. В таком духе составлен красивый «ордонанс» (капитулярий) 823–825 гг.^[197] Он утверждает для королевской власти функцию «служения» (*ministerium*) в соответствии со взглядами папы Григория Великого: короли — служители Бога, этот факт так же легитимирует их власть, как и миропомазание, и точно так же ставит их под усиленный контроль Церкви. Далее Людовик Благочестивый предписывает своим «верным» из обоих сословий, церковного и светского, помочь ему выполнять это «служение», защищать церкви и бедных и тем самым взять на себя долю ответственности, а также полномочий и престижа, и не собирается оценивать их действия. Что это, как не более чем благочестивый обет Людовика Благочестивого, как не отказ бороться с сильными и их злоупотреблениями?

Тем не менее эти «сильные», как и короли, действительно тоже вели работу по регулированию отношений в обществе^[198]. В этом вся постоянная неоднозначность «сеньории», равно как и монархии, двойственность их «рыцарской функции», служившей оправданием для той и другой.

Церковь одновременно принадлежала к каролингскому государству и была его союзницей. Совместно они руководили обществом в целях его спасения. И высшее духовенство добивалось от императоров проведения своих дисциплинарных реформ — издания уставов для его каноников и монахов, запрета всему духовенству носить оружие (816–818 гг.)^[199].

Этим объясняется рост популярности идеи двух служб среди клириков в царствование Людовика Благочестивого. Невозможно на ней ненадолго не остановиться, даже если влияние этого понятия римского происхождения на войны знати представляется ограниченным. Прояснения, скорее, требует его влияние на источники (церковные) и, следовательно, на некоторые толкования истории, сделанные в недавнее время. В самом деле, иногда могло показаться, что Каролинги хотели восстановить римскую службу — с таким постоянством источники с тех пор упоминали «пояс», «перевязь» (*cingulum*). Но под этими двумя службами следует понимать не реформу каролингского государства, а некую теорию церкви — с ее пробелами, неувязками, противоречиями, но и с ее реальным применением.

На самом деле две службы одновременно существовали в поздней Римской империи со времен Диоклетиана. Одна была гражданской, другая — военной, и обеим был присущ один и тот же тип инсигний и дисциплины. В реальности же варвары — франки или готы, несшие вооруженную службу, — поступая на нее, сохраняли верность германским традициям, а служба налагала на них отпечаток лишь частично. Но это была спаянная система IV в., в известной степени еще сохранявшая черты государственности, а около 390 г. начали внушать, что духовенство, имеющее судебные и фискальные привилегии, в империи Феодосия образует как бы третью службу. Впрочем, сама буква посланий святого Павла внушает идею христианского сражения, военной службы Богу (*Deo militare*), усилий и славы (вплоть до мученичества), которые причитаются «воину Христа». Притом, добавляет Павел, «никакой воин [Бога] не связывает себя делами житейскими»^[200].

Однако с тех времен, когда стали почитать мертвых святых (в меньшей степени — живых борцов, кроме аскетов, осаждаемых бесами) и начались войны между остами (даже если их вожди, как Хильдерик, носили знаки различия римской армии), то есть с V в., институт двух римских служб и метафора (христианской) службы третьего типа впали в забвение. Выражения такого рода бесполезно искать в насыщенном труде Григория Турского, и они редко попадают у Венанция Фортуната. Они появились в 810-е гг., то есть в период настоящего каролингского возрождения римской идеи служб.

Или, скорее, в период переосмысления этой идеи. Действительно, в представлениях авторов IX в. гражданская и военная службы были по-прежнему слиты воедино — как и в самой Византийской империи после реформы фем^[52] в VII в. А под двумя службами подразумевались светская и духовная. В период с 800 по 880 г. в теориях и полемике о каролингской культуре и режиме можно найти много вариаций на эту тему, которая, будучи метафоричной, указывает одновременно и на координацию действий церковной элиты с другой элитой, и на их различие. От Карла Великого, который через Алкуина писал папе Льву III, чтобы тот ограничился молитвой и предоставил службу (*militia*) защиты Церкви от неверных ему, Карлу^[201], до епископов и монахов, которые требовали, чтобы духовенство было безоружным; и отказывались платить налог, потому что они молятся. О деталях отношений церковного сословия с королем схема двух служб умалчивает: если земной службой он, бесспорно, повелевает, то его отношения с Церковью неоднозначны — они подразумевают одновременно покровительство и верность, и как в обществе, так и в политической системе некоторые моменты лучше не слишком прояснять — не следует ни

чересчур жестко подчинять духовенство королю, ни сводить роль последнего к руководству второй службой. Тема двух служб, которую часто поднимали до самого XII в., напоминает о том, что между обеими ветвями господствующего класса, представители которых выходили из одних и тех же семейств, было соперничество, но были и симметрия, взаимосвязь, а иногда сговор.

Расцвет этой темы в IX в. побудил клириков говорить о «светском сословии» (Иона Орлеанский, 829 г.) или даже о «воинском сословии» (Агобард Лионский, 833 г.)^{202}, отводя этому сословию функции правосудия, а также войны. Но это не привело ни к распространению знаков различия через посредство официального христианского посвящения в воины, ни к разработке дисциплинарного кодекса для армии, государственной службы или даже для вассалов. Вероятно, с этой интерпретацией вассалитета как службы можно связать только появление *harmiscara* с 830 г. — имеется в виду позорное наказание, заключающееся в том, что вассал-всадник проходил некоторое расстояние с седлом на плечах, то есть изображая лошадь и тем самым инвертируя свое господствующее социальное положение^{203}. Но, коль скоро он на это соглашался сам, такой ритуал не означал долговременного разжалования — в конце концов, самый факт такого унижения показывал, что этот человек исполняет почетную службу: ведь с сервом так не поступали!

Если в IX в. говорилось о воинском поясе (*cingutum militiae*), то лишь в случаях, когда его добровольно снимали или хотя бы соглашались терпеть социальное давление и религиозные предписания, связанные с его ношением. Что касается покаяния, здесь поистине лучший пример — сам Людовик Благочестивый, с 1 октября 833 г. каявшийся шесть месяцев^{204}. Дольше сохранился ритуал расставания с оружием и волосами, сопровождающий уход в монастырь: в Ключи он встречался еще в X в., в Редоне — в XI в.^{205}

Но идея двух служб изначально включала в себя некую диспропорцию. В самом деле, настоящее оружие и подлинная дисциплина не сочетались. Духовное сражение христиан, и прежде всего монахов, со злом и бесом — все-таки не более чем метафора. Под ней понимали не рискованную проповедь и даже не заточение отшельника, а, как бы то ни было, определенный комфорт. Под приверженностью клириков и монахов, по крайней мере по XII в., к представлениям об их мнимом духовном оружии порой крылся комплекс неполноценности, а настоящие рыцари охотно подшучивали над их трусостью и изнеженностью. Может быть, прибегая к этой метафоре, клирики пытались доказать свою мужественность и, уж конечно, пользу для общества: они заслуживают своих доходов и привилегий, потому что участвуют в сражении, находятся на службе. По их мнению, практическая причастность к тому и другому проявлялась в долге повиноваться начальникам. Валафрид Страбон около 840 г. заявил, что аббаты для своих монахов — нечто вроде трибунов^{206}.

Зато «светское сословие» обладало настоящим оружием и не столь очевидно соблюдало дисциплину. Тема двух служб в том виде, в каком ее развивало каролингское возрождение, усилила роль оружия как символа статуса некой единственной элиты и символа ее легитимности. В X и XI вв. в королевских грамотах часто будет говориться о некой службе королевства (*militia regni*), которую возглавляет король и представители которой сопровождают его в ходе Церемоний (особенно миропомазания и похорон). Но это скорее значит, что верх взяло представление о королевстве как общности, о том, что король разделяет свое «королевское служение» с крупными «верными» (в духе капитулярия 823–825 гг.)^{207}. И само слово *militia* сохраняло очень ограниченный смысл, относясь к сеньорам и вассалам, в основном наследовавшим статус и владения, чья военная и судебная «служба»

была связана со знатностью рождения. Они имели *отличия*, должности и прерогативы графов, королевских вассалов, а также бенефиции (в широком смысле — фьефы), яростное соперничество за которые разобщало их — и в связи с этим они объединялись в клики вокруг соперничающих королей и королевских сыновей, особенно с 830 г., но сами не могли навязывать верховной власти выгодные им решения.

Итак, две службы существовали прежде всего в представлении клириков и монахов. Из популярности этой темы в каролингские и посткаролингские времена ни в коем случае нельзя заключать, что «средневековое рыцарство» имело «римское происхождение». В сочинениях и хартиях клириков есть только нечто вроде игры слов (в римской терминологии) по поводу, с одной стороны, франкских обычаев, с другой — христианской дисциплины. Пусть даже в этих обычаях и этой дисциплине и вправду есть элементы нового применения римских реалий — в вассальных клятвах, в церковном праве.

ВОЙНА МЕЖДУ БРАТЬЯМИ

Возможно, Каролингам пригодилась бы настоящая *militia*, чтобы основать устойчивую империю, достойную этого названия. Но, развивая теорию двух служб, ни Иона Орлеанский, ни Агобард Лионский не сделали ничего, чтобы действительно укрепить каролингское государство. Они, скорее, отмежевывались от его интересов ради церковных привилегий.

На самом деле высшее духовенство того времени было склонно участвовать в борьбе группировок, несомненно, усилившейся по мере постепенного прекращения франкской экспансии после 800 г. Оно содействовало этой борьбе «словом», проповедуя и ведя полемику. Царствование Людовика Благочестивого контрастировало с царствованием его отца, Карла Великого, в том отношении, что собрания происходили все чаще (несколько раз в год), а осты собирались все реже и становились все малочисленней. Воинов мобилизовали лишь близ границ, чтобы защищать либо переходить последние. Да и на этот призыв откликалось всё меньше людей. А столь ли позитивным явлением был визит Харальда в Ингельхейм в 826 г., изображенный Эрмольдом Нигеллом как триумф Людовика Благочестивого? Датчанин получил крещение и оружие, вложил свои руки в руки императора, благодаря чему Эрмольд оставил одно из самых ранних описаний оммажа в руки^{208}. Но что дал взамен Харальд? У него не было сил утвердиться в собственной стране и навязать ей обращение в христианскую веру — этого придется ждать два века. Тем не менее одна из датских группировок завязала связи с каролингским дворцом, где сын и племянник Харальда учились обращаться с оружием и усваивали манеру поведения франков. Но на ближайшее время это повлечет лишь одно серьезное последствие: норманны, получив лучшее оружие, узнав о богатствах и слабостях франкского мира, теперь вернутся затем, чтобы совершать набеги. Не говоря уже о том, что дружеские и крестные связи между отдельными людьми, как, например, Лотарем и сыном Харальда, будут использоваться в междоусобных войнах между франками: датский крестник придет разорять землю братьев-врагов Лотаря — по его призыву или с его подразумеваемого согласия...

Один эдикт (названный «Об устройении империи» [*Ordinatio imperii*]), изданный в 817 г., создал непривычную асимметрию в положении трех сыновей Людовика Благочестивого — Лотаря, Пипина и Людовика^{209}; вразрез с франкскими обычаями и на основе представления о христианской империи он предоставлял Лотарю императорский титул и всю Франкию, оставляя обоим младшим сыновьям периферийные владения (Аквитанию и Германию) и в целом превращая их в вассалов. Но рождение четвертого брата Карла в 823 г. побудило Людовика Благочестивого изъять для него кое-что из доли Лотаря, и этот шаг активно поддержали клика и партия клириков-«империалистов». Так мало-помалу начались междоусобные войны, лишь отчасти напомилавшие войны Меровингов.

Действительно, в первые десять лет борьбы сыновья берут в плен еще живого отца, и дело начинается не со столкновений остов, а с ожесточенных споров на *plaid'ax*. Со времен Карла Великого были выдвинуты лозунги справедливого гражданского мира, отказа от мести, преданности (служащих) общественному благу. Каждый или почти каждый год в 830-е гг. во Франкии собирались общие *plaid'ы*. Людовик Благочестивый, не покидая центральной части своей империи, то есть Франкии, переезжал из одного дворца в другой, с одной охоты на другую, с одного *plaid 'a* на другой, в то время как Лотарь и оба его брата, Людовик Немецкий и Пипин Аквитанский, собирали «верных», которые сопровождали их в разъездах и поддерживали на *plaid'ax*, когда братья вступали во Франкию. Это значило чередование набегов, сопровождавшихся «разбоями», от которых страдали крестьяне^{210}, и сделок о

разделе земель и должностей. Сражений и прямых столкновений избегали, случилось лишь несколько мелких стычек, все-таки повлекших за собой жертвы из числа знати^{211}. Боролись и посредством обвинительных речей, составленных клириками, — задача состояла в том, чтобы убедить в своей правоте *plaid*, в какой-то мере дискредитировав побежденного или побежденных; потом официально восстанавливали гражданский мир, произнося определенные формулы и проводя церемонии, и совершалась *harmiscara*. Стороны обвиняли друг друга в клятвопреступлении, то есть в вероломстве, алчности, бесчестном поведении, и от побежденного требовали христианской епитимьи и публичного покаяния. Этот «побежденный» (несколько раз им бывал отец-император) сохранял хорошие шансы через несколько месяцев переломить ситуацию, расколов коалицию трех своих сыновей. Крутые повороты такого рода ради сохранения равновесия, необходимость для победителя на *plaid'e* после этого вести себя, как сказали бы мы, «по-рыцарски», чтобы не восстановить против себя почти всех, характерны именно для «файдового» общества. Тон менялся быстро: стороны обменивались оскорбительными обвинениями, потом мирились, но угли вражды неизменно тлели, готовые вспыхнуть снова.

В 813 г., к примеру, папа Григорий V лично переправился через Альпы, чтобы, по его словам, «примирить» отца с сыновьями, но фактически скорее чтобы поддержать последних. Он процитировал выражение святого Августина, призывающее к милости и прощению: мстить надо только ради блага государства^{212}. Значит, чтобы иметь возможность мстить, следовало ссылаться на благо государства... При этом очевидным было желание избежать любой кровавой битвы: например, 24 июня на поле Люгенфельд (в Эльзасе) ост Людовика Благочестивого встал напротив оста его сыновей, несколько дней шли переговоры, а под конец отец обнаружил, что большая часть его войск перешла на другую сторону... Ему оставалось только сдаться на милость (вынужденную) Лотаря и совершить христианское покаяние в церкви Сен-Медар в Суассоне. Там он 1 октября выслушал обвинения, что извратил религию в целях мести и побудил своих подданных убивать друг друга, и был лишен «воинского пояса»^{213}. Через полгода он получил свое королевство обратно благодаря распре между сыновьями-победителями, — но оно уже было непоправимо ослаблено, и в 840 г. он умер, толком не уладив вопрос наследования.

Последующий период стал сюжетом для очень поучительного повествования, написанного Нитхардом, внуком Карла Великого по матери, родившимся в результате некоего официального сожителства. Он поддерживал и оправдывал Карла Лысого, чьи *plaid'ды* и набеги предпочитает изображать.

История отношений братьев в роде Каролингов была всегда одной и той же, однообразной: войны, или скорее стычки, и *plaid'ды*, или скорее сделки. Сыновья Людовика Благочестивого отличались от сыновей Хлотаря менее свирепым нравом, но большей склонностью к демагогии (благодаря собственным способностям или привлеченным клирикам). В деле они не обязательно вели себя мягче, но совершали несколько иной грех. Они не пытались убить друг друга с помощью сеидов и не резали племянников, еще находящихся в детском возрасте. В этом смысле неприятие убийства христианина христианином (которые все — братья и сестры) было более выраженным. Больше усилий они прилагали, чтобы невыгодные им браки братьев объявлять незаконными, ссылаясь на христианское брачное право (так позже поступят в отношении брака Лотаря II и Вальдрады). Но были и смертельные ловушки, прежде всего обращения к норманнским пиратам, расходы на содержание которых несла родина и настоящих встреч с которыми меровингские времена в конечном счете не знали!

Если верить Нитхарду, сыновья Людовика Благочестивого, конфликтуя, сожалели об этом. Ответственность за разлад они перекидывали друг на друга. Май 841 г.: Людовик Немецкий и Карл Лысый набрали войска и хотят сохранить их, а возможно, и увеличить их численность. Они созывают собрание епископов и магнатов, они отправляют посольство, заклиная брата Лотаря вспомнить о всемогущем Господе, о мире между братьями-христианами. Послы даже должны были «предложить ему всё, что могли найти ценного в лагере, за исключением лошадей и оружия»^[214]. Уступить можно всё, кроме самого главного.

Однако Лотарь тянул время. Он ждал подкреплений от Пипина II Аквитанского. Оба его брата не обманывались на его счет, но, видимо, сочли, что надо пойти на этот риск, — пусть в качестве виновника сражения плохо выглядеть будет Лотарь. Столкновение все-таки произошло 25 июня 841 г., при Фонтенуа-ан-Пюизе. Фактически это сражение состояло из разрозненных стычек: часть оста Лотаря лихо приняла в нем участие, другая уклонилась, стоявший немного Далее со своими силами Бернард Септиманский сохранил нейтралитет. Одержав полную победу, Людовик и Карл решили прекратить преследование из сострадания к побежденным: им было достаточно, что за ними осталось поле боя^[215], где лежало слишком много убитых и уже начинался грабеж. В воскресенье они не тронулись с места и благочестиво похоронили как друзей, так и врагов. Они заявили о прощении беглецов, то есть провозгласили мир с ними, и собрали собор, оповестивший, что эта битва была Божьим судом. Тем самым собор отпустил грехи священникам, которые сражались, а также остальным бойцам, кроме тех, кто на тайной исповеди признается, что действовал по «гневу, ненависти, славолюбию». Для спасения души погибших объявили трехдневный пост. Надо ли говорить, что тем самым эти люди показали себя в большей мере христианами, чем Меровинги VI в.? В том, что касается покаяния, они фактически воплотили в жизнь новое христианство по сравнению с поздней Античностью... С 600 г. утвердилось четкая система тарифицированных и допускающих повторность покаяний и искуплений. Церковь, чтобы сделать средневековое общество более нравственным, ввела настоящую шкалу грехов по степени тяжести, с искуплениями и отпущениями *ad hoc* [на конкретный случай (*лат.*)]. Таким образом она могла способом, наиболее гибким и соответствующим обстоятельствам, влиять на нравы, цивилизуя их... если только не способствовала их очерствению, коль скоро искупить можно всё, заплатив положенную цену! При виде зрелища после битвы при Фонтенуа можно было бы удивиться проявлению столь христианских чувств, а также догадаться, что они были бы еще более христианскими, если бы показали себя утром и не допустили ни сражения, ни смертей. Сразу же возникает подозрение, что средневековое христианство предпочитало проповедовать Евангелие «кстати», чем «некстати», то есть проявляло тенденцию, скорей, формировать мораль на основе нравов знатных воинов (исходя из рациональных поступков, необходимых в их классовых интересах), чем пытаться менять эти нравы. И такое подозрение никогда надолго не покидает историка рыцарства и даже побуждает искать другие исторические факторы, кроме более или менее сильного в целом «давления христианства», которые могли повлиять на эволюцию, описываемую им...

В борьбе братьев-Каролингов сражение при Фонтенуа ничего не решило. Может быть, оно позволило бы Лотарю, если бы победил он, выиграть войну. Но, разбитый, он попытался, что было совершенно естественно, расколоть единый фронт победителей и сделал соответствующие предложения Людовику Немецкому. Однако последний подчеркнул продемонстрировал верность союзным отношениям с Карлом во время знаменитой встречи в Страсбурге 14 февраля 842 г. В то время как старший брат действовал «огнем, грабежом и убийством», как с пристрастным отношением к нему сообщает Нитхард^[53], у обоих других на устах были только любовь к Богу и общее благополучие.

Итак, Людовик Немецкий и Карл Лысый вполне единодушны; они блещут красотой, доблестью и мудростью. Обремененные остами, они не могут организовать обычную охотничью вылазку, как обычно делали магнаты в угодьях, где водилась дичь. Надо занимать и обучать войска большими маневрами, и перед нами разыгрывается нечто вроде батального «спектакля», без ран и оскорблений, пленений и выкупов. Пехотинцы Карла и Людовика поочередно то атакуют, то бегут, как в отрепетированном балете, и всякий раз один из королей и его всадники преследуют бегущих^[216]. Это несколько напоминает будущие большие турниры XII в., но различий больше: это не спектакль, а развлечение в тылу настоящей войны, и конных победителей не награждают ни почестями, ни деньгами, — это не институт турниров, появление которого нам еще предстоит поместить в специфический исторический контекст. Можно ли сказать даже, что это было распространенным обычаем времен Каролингов? Может быть, эту игру придумали для данного случая, и она больше не получила развития — поскольку аналогичных обстоятельств больше не возникло. Но о собственно воинских обычаях каролингских времен мы знаем настолько мало, что этот вопрос надо оставить открытым, как и вопрос о «посвящении» в IX в.^[217].

В следующем году Верденский договор (843 г.) надолго примирил всех троих братьев и разделил между ними каролингский мир поровну — каждому достались часть Франкии и дополнительные земли. И в течение последующего полувека (сорока пяти лет) настоящих войн между братьями было мало. Вторжение Людовика Немецкого через Лотарингию в королевство Карла в 858 г. — не более чем политический набег, которому, кстати, даже поддержка со стороны «Ганелона» Санского (Венилона) не принесла успеха. Настоящая битва произошла только между Карлом и сыновьями Людовика в 876 г. при Андернахе^[54].

Но в 843 г. для Карла Лысого настало время принять во владение свою долю и дать отпор сепаратистам земель, прилегающих к его Западной Франкии, — Аквитании Пипина II (его племянника, о котором в Вердене «забыли»), опирающегося на Гасконь, и Бретани. В то же время королевство Карла Лысого оказалось самым уязвимым для норманнских набегов.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С НОРМАННАМИ

Норманны, казалось, свирепствуют с дозволения Бога. Они поднимались вверх по рекам на своих драккарах, и скоро их экипажи даже стали перемещаться пешком и на конях, группами, которые то соединялись, то рассеивались, грабя страну, а перед ними шло «кровавое видение»^{218}.

Особо знаменит плач монаха Эрментария, перечисляющего ряд взятых и разграбленных городов: «Нет пощады почти ни одному поселению, ни одному монастырю. Все люди бегут, и редко кто-то осмеливается сказать: “Останьтесь, останьтесь, сопротивляйтесь, боритесь за свою страну, за своих детей, за свою семью”. В своем оцепенении, среди внутренних распрей, они выкупают ценой дани то, что должны были бы защищать с оружием в руках, и оставляют королевство христиан на погибель»^{219}.

История Франции, написанная в Новое время, опиралась на Эрментария и драматизировала воздействие норманнов на каролингский мир, тем самым дискредитируя его элиты. Однако эти противники не были абсолютно неизвестными, и нельзя сказать, что на них было никак невозможно повлиять. Недавние исследования выявили факты, которые не вписываются в прежнюю концепцию и ранее оставались незамеченными. Мы уже видели, что Людовик Благочестивый в 826 г. на празднествах в Ингельхейме установил прочную и, может быть, опасную связь с «королем» Харальдом. Действуя в том же духе, его сыновья в 830-е и 840-е гг. приобрели себе друзей и «людей» среди вождей викингов, разбойничавших в империи. В 841 г. у Лотаря вассалом был некий Харольд^{55}, которого он послал разорять земли своих братьев-врагов, Людовика Немецкого и Карла Лысого. Пипин II Аквитанский, его племянник и союзник, был принесен в жертву при Верденском разделе 843 г., дядья практически его обделили, и его обиду можно понять: он призвал себе на помощь против Карла Лысого норманнские ватаги. Последний, конечно, не отставал: так, Джанет Нельсон догадалась, что разоритель Парижского региона в 845 г. по имени Рагнар был не кем иным, как «человеком» Карла, оказавшим здесь яростный нажим затем, чтобы ему заплатили^{220}. Перед лицом опасности король Карл изъявил готовность, подобно германскому вождю былых времен, умереть, чтобы защитить родину, и действительно сказал это в своем политическом заявлении, но ему хватило мудрости ничего не предпринимать и заплатить дань, чтобы шайка Рагнара ушла.

одной из решающих причин норманнских вторжений были междоусобные войны сыновей Людовика Благочестивого — и группировок магнатов вместе с ними. В то же время они поддерживали с этими захватчиками связь, и этот факт заставляет нас считать вывод о *столкновении цивилизаций* (или обществ) лишь относительно верным. Заметно, что очень скоро между франкскими группировками и норманнскими бандами стали заключаться смешанные союзы^{56}. Отсюда — всевозможные уловки, сделки, договоренности, более или менее соблюдаемые сторонами, по классической традиции соглашений между воинами.

Очень скоро норманны стали обращаться в христианство, чтобы поступать на службу к королю, как Веланд, которого Карл Лысый оставил в 862 г. зимовать в Сен-Мор-де-Фоссе, намереваясь бросить его на Мо, где ему противостояли епископ и родной сын Карла (будущий Людовик Заика). После этого «их хищнические действия в этом месте, должно быть, ему не слишком понравились»^{221}, в то время как он сам для большей верности обнес рвами монастырь Сен-Дени, в котором был светским аббатом и которому его юстиция помогала удерживать крестьян или превращать их в сервов.

Ведь при защите страны от норманнов не было речи ни о том, чтобы вооружать

крестьян, которых считали в большей или меньшей степени «сервами», ни даже о том, чтобы позволять им защищаться самостоятельно. В 859 г. крестьяне на Средней Луаре сформировали гильдии самозащиты. Король Карл и граф Роберт Сильный поспешили их разоружить. Карл Лысый в 862 г. защищал бассейн Сены, базируясь в местечке Питр (близ современного Пон-де-л'Арш, выше Руана), где в качестве преграды построил укрепленный мост. Он также собрал там магнатов и свободных людей на собрание по каролингскому обычаю, чтобы напомнить им о своих прерогативах, а именно о своей монополии на публичные укрепления: «крепости» (*fertes*), возведенные самовольно, сооруженные из земли или дерева, следовало снести. Нельзя было допустить, чтобы его подданные имели возможность противиться ему, а не только язычникам.

Если сопротивлялись немногие, то, возможно, потому, что норманны отличались такой свирепостью, о какой здесь уже не имели понятия. Однако жителей сдерживал и правящий класс. Тем не менее Эрментарий был неправ, говоря, что никто не оказывал сопротивления. Были графы, отважно погибшие в бою, как Вивьен Нантский в 851 г. Король и графы осуществляли такую оборону страны, которая была социально коннотирована: они строили свои укрепления, при этом запрещая укрепления «частные», они, чем вести войну не на жизнь, а на смерть, предпочитали вести переговоры с норманнами и платить им за отступление за счет дани, собранной со своих подданных.

То есть элита каролингского мира упорно продолжала вести себя как всегда: в сущности, она предпочитала якшаться с вражеской знатью, с вражеским вождем, чем позволить собственному серву приобрести самостоятельность и перестать от нее отличаться. И поскольку она старалась сохранять угнетение крестьян только за счет их сервильного статуса и ей противостояли объединявшиеся сервы, требуя свободы, то есть менее тяжелых повинностей, то взимание дани или «спасения» (*sauvement*), сборов в обмен на защиту, могло открывать для элиты привлекательные перспективы. Схема трех сословий, придуманная около 875 г., узаконивает требование к крестьянам, объединенным в гильдии самозащиты, разоружиться. Герик Оксерский самое позднее к 875 г. завершил свой рассказ о «Чудесах святого Германа» блестящим финалом, рассчитанным на высокообразованных клириков, к которому справедливо привлек внимание Доминик Ионья-Пра: «Есть кому вести войну, есть другие, что возделывают землю, а вы — вы третье сословие. Бог поселил вас в Своем собственном поместье. Поэтому вы избавлены от физических нагрузок, и тем больше внимания вы можете уделять Его службе; другие люди вынуждены, вместо вас, испытывать тяготы сражения [*militia*] или труда, но зато вы служите им, защищая их своими молитвами и богослужениями»^{222}.

Бесполезно долго выискивать возможные «индоевропейские истоки» этой схемы: она совершенно естественно вытекает из каролингской идеологии, сочетая дуальность элиты с дуальностью «знать — сервы». Это рассуждение оправдывает привилегии духовенства и предписывает ему трудиться в сфере литургии и поддержания дисциплины. Эта идея прямо наследует идее двух служб, которая, как мы видели, пережила расцвет при Людовике Благочестивом. Клирики и монахи, конечно, обладают «лучшим оружием», пусть даже его нельзя видеть; от них нельзя требовать бросаться на норманнов, ведь они борются с бесами. В конце IX в. «Чудеса святого Бертина» упоминают раздел добычи, отнятой у норманнов, в 891 г. в Сент-Омере, где доля выделяется и тем, кто не сражался — людям молитвы и безоружным беднякам, молившим Бога за успех христианского оружия. Но этот текст проводит четкое различие между бойцами двух категорий, «более знатными» и «более скромными»^{223}.

Но бывали ли случаи, чтобы «более скромные» возвысились? На такую мысль могли бы

навести карьеры «посредственного» (*mediocre*) Ингона и лесничего Тертулла, описанные, соответственно, у Рихера Реймского^{224} и в «Истории графов Анжуйских»^{225}, но это нравоучительные рассказы тысячного года и XII в. И опять-таки в случае Ингона Рихер, конечно, имел в виду представителя не низов общества, но, скорей, средней знати; что касается Тертулла, он вышел из старинного знатного рода, однако, пришедшего в упадок, участь которого улучшилась вместе с его участью... Ведь только в позднейшие эпохи придумали миф о «солдатах удачи», вышедших из ничтожества, чтобы защищать Францию от норманнов (или отправиться в крестовый поход).

Роберт Сильный, напротив, был воинственным графом (как и другие из его поколения и из X в., носившие прозвища, которые свидетельствуют о доблести, как Железная Рука — *Bras de Fer*, Гильом Железнуюрукий — *Fier a Bras*, но иногда даны задним числом, когда об их обладателях уже сложились легенды). Этот выходец из имперской аристократии был обласкан, потом попал в опалу и был снова восстановлен в правах королем Карлом Лысым. К несчастью, он погиб в 866 г. в бою под Бриссартом, и это обеспечило ему лестную репутацию защитника страны, отчего выиграл его род. Регинон Прюмский около 900 г. начинает с него список умерших выдающихся людей, «мужей знатного рода [*generose stirpis*], каковые защищали границы отчизны»^{226}. Его сыну Эду удалось в совершеннолетнем возрасте вернуть свои графства и прославиться зимой 885–886 г. во время обороны Парижа, стратегического заслона страны, от сильного флота и оста норманнов. Он отстоял Париж и был сделан герцогом — полагает Регинон. В то время как последний каролингский император, Карл Толстый, заплатил норманнам дань.

Настал час возвышения графов, усилению власти которых способствовали меры Каролингов в сфере законодательства. А норманнские нападения позволили графам называть себя защитниками страны — не только благодаря тому, что они вершили суд, что считалось их обязанностью при Людовике Благочестивом, но и тому, что они были вооруженными защитниками. Набеги норманнов, как позже крестовые походы, стали прекрасной возможностью укрепить героическую репутацию знати, в чем она, похоже, периодически нуждалась.

Однако, если приглядеться, героизм Эда имеет очень прагматическую окраску. Это видно из «Поэмы» Аббона, монаха Сен-Жермен-де-Пре, посвященной защите Парижа его аббатом Эблем, графом Эдом, а также благодаря помощи мертвых святых, Марии или Германа. Заслуга этого воинственного аббата состоит в том, что он не прикрывался какой-нибудь теорией двух служб или трех сословий, а искал подвига, как всадник. А заслуга монаха Аббона, в свою очередь, в том, что он был менее привержен условностям, чем явный царедворец вроде Эрмольда Нигелла: он не скрывает некоторых отклонений от принятых норм в поведении своего героя Эда, графа, а с 888 г. короля^{57}, и показывает отвагу, подвиги воинов, не входящих в число графов, не уточняя их социального положения, хотя, полагаю, самые низкопоставленные из них были вассалами с двенадцатью мансами, носящими броню и бросающими копье.

Резонанс, который имела оборона Парижа, подтверждают многочисленные источники. Как немного нескладно говорят «Ведастинские анналы», в 885 г. норманны «не встречали сопротивления. И франки вновь приготовились к обороне, но не к открытой битве — они соорудили укрепления»^{227}. Одно из них, Понтуаз, «сильно страдало из-за недостатка воды»; оно капитулировало, то есть стороны обменялись заложниками, и защитники ушли. Значит, норманны угрожали этим воинам, вероятно, заставляли заплатить выкуп. Но могли ли короли и графы позволить себе совсем не сражаться и постоянно вести переговоры? К чести Парижа,

он предпочел оказать отпор.

Первая сцена — переговоры. Датский «король» Зигфрид требует от епископа Гозлена и графа Эда пропустить его; он заверяет, что будет уважать город, равно как сеньориальную власть («отличия») обоих. Но император Карл велит им отказать: если они согласятся дать проход, то заслужат смерть и бесчестие — кстати, Зигфрид это понимает.

Зигфрид и норманны сначала пытались разрушить только укрепленный мост между городом и правым берегом. В конце ноября они два дня подряд осаждали башню, которая его защищала, — в районе будущего «Шатле». Они использовали метательные орудия, разводили огонь. Тщетно. Два последующих месяца они патрулировали северную часть реки, во Франкии, и грабили всё, что по ней проходило, для снабжения своего лагеря, расположенного в Сен-Жермен-л'Оксерруа (это место тогда называлось «Круг»). Но блокаду они не устраивали. Более прямому и жестокому штурму они подвергли город с 31 января по 2 февраля 886 г. с помощью осадных машин, убив пленных, чтобы запугать горожан (значит, до сих пор тем сохраняли жизнь). Новая неудача, а потом новый рейд по Франкии, в ходе которого датчане захватили в собственном жилище и убили одного графа, Роберта Колчаноосца. Но, главное, они перешли Сену и заняли, вопреки всякому ожиданию, аббатство Сен-Жермен-де-Пре, которое с тех пор служило им лагерем. Можно было надеяться, что они не посмеют посягнуть на это святое владение! В то же время река снесла мост между городом и левым берегом, и башня, охранявшая вход на него, близ нынешнего фонтана Сен-Мишель, оказалась изолированной. Двенадцать защитников сдались, рассчитывая, что их выкупят и спасут им жизнь; тем не менее их убили. Первая песнь Аббона заканчивается уходом многих норманнов на юг, в Нейстрию, которую они разорили, но не вошли ни в Шартр, ни в Ле-Ман.

Вторая песнь несколько сбивчиво повествует о дальнейшем. В марте граф Генрих, тот самый, который убил Готфрида, неожиданно явился с остом на правый берег, но сражения не произошло; он ночью напал на норманнских коней^[58] в тот самый момент (как интересно), когда граф Эд вел переговоры с Зигфридом. Эд оказался в опасности, датчане его тотчас обвинили в происходящем, и, спасая свою жизнь, он храбро оказал сопротивление, на помощь подоспели его люди, и «его благородное поведение вызвало общее восхищение»^[228]. Не станем отрицать его смелости, но заметим, что в это время он просто-напросто пытался купить отступление Зигфрида за 60 фунтов серебра; то есть его поведение едва ли отличается от поведения Каролингов, — то героев, как покойный Людовик II, победитель под Сокуром, то политиков, как Карл Толстый, который в сходном случае, чтобы закончить дело, купил уход норманнов из Парижского региона за 700 фунтов и обещание «выдать заложников и не ступать на другие берега, кроме берегов Сены».

А ведь, продолжает Аббон в той части текста, на которую в XIX в. обратили слишком мало внимания, «наши откровенно не желали верить, что датчане могут нарушить эту гарантию безопасности [*securum*]. Поэтому на основе договора всё у них стало общим; они повсю общались за пределами города; дома, хлеб, питье, жилища, дороги, ложа — всё они делили друг с другом. Оба народа с воодушевлением перемешивались»^[229]. Если об обидах удалось забыть, значит, осада была не столь уж жестокой. В конце концов, уж не пришла ли некоторым из наших добрых парижских вассалов, столь бравых, в голову мысль воспользоваться этим смешением, прогуляться с новыми Друзьями по сельским дорогам и пограбить? Правда, впоследствии прошел слух, не лишенный основания, что эти друзья, нарушив соглашение, напали на долину Марны. В городе крик, ищут датских заложников, волокут их, и «в этом случае особо блеснул аббат Эбль», воинственный, но предпочитающий сражаться, когда имеет численное и позиционное преимущество. Однако епископ Ансерий

(преемник Гозлена) «отпустил тех, кого держал у себя, вместо того чтобы перебить, как следовало бы»^{230}. Красивый жест, но, может быть, и расчетливость, ведь вскоре в плену у норманнов оказался его родной брат, епископ Мо.

Что касается Карла Толстого, его низложение в 888 г. стало только следствием его изначальной беспомощности. После 877 г. королевская власть очень быстро ослабла; несчастный случай с Карломаном в 884 г. ознаменовал поражение всей центральной власти, утрату всякого контроля дворца над графами, которые набирали силу в регионах. Как и другие королевства, произошедшие от империи, Западная Франкия в феврале 888 г. извлекла короля, Эда, «из собственного нутра».

ЗАЧАТКИ ФЕОДАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Однако Эд был лишь одним из графов, которым за одно-два поколения удалось сосредоточить в своих руках власть и влияние в целом регионе и которые с 877 г. затмили королевскую власть. Его вступление на престол не вернуло последнюю на уровень времен Карла Лысого — он не восстановил центральную власть. Напротив, он дал новый толчок междоусобным войнам, потому что часть влиятельных графов (их назовут феодальными князьями) оспорила его власть.

К тому же новый король получил настоящую проблему в лице Карла Простоватого, посмертного сына Людовика II, следовательно, брата Людовика III и Карломана, которому в 893 г. исполнится пятнадцать лет — возраст принятия мужского оружия.

Этим объясняется странный поворот в царствовании Эда. Еще в июне 888 г. он отличился в настоящем, победоносном сражении с норманнским остом, едва не захватившим его врасплох при Монфоконе, в Аргоннах: Аббон может снова упомянуть его смелость, силу, с какой он трубит в рог, — но делает это сразу, чтобы спасти себе жизнь, без отваги и красивой гордости Роланда из эпопеи^{231}. Он разгромил десять тысяч всадников и девять тысяч пехотинцев, язычники были убиты или бежали: «И государь выиграл трофей победы»^{232}. В другие времена это наглядно подняло бы его авторитет победителя «в германском духе», но «эта победа, увы, не принесла ему отдохновения, ибо он вскоре узнал, что аквитанцы отложились и презрели его власть. В неистовстве он ринулся на них, разоряя и грабя их земли, но лишь сельскую местность»^{233}. Если после Монфокона к нему не примкнули массы сторонников, то потому, что эта победа принесла пользу лишь Парижскому бассейну и что в 880-х гг. происходила «феодальная мутация». В ответ на нее Эд прибегнул к междоусобной войне, можно даже сказать — к *феодальной войне*, социально коннотированной, адаптированной к «защите страны», каковая при всем этом осуществлялась. Замки (или города, суть большие замки) защищали элиту, в то время как «мужланы», «трудящиеся» из третьего функционального сословия, по преимуществу становились жертвами вражды между своими защитниками. На них нападали, чтобы нанести ущерб их сеньору, но наносили ущерб им или почти исключительно им. Впрочем, представители элиты убивали друг друга не так уж и редко: убийство Рауля Камбрейского в ходе фэйды, залившей кровью восемьсот девяностые годы, оставит некоторые следы в людской памяти, которые обнаружатся в одной «жесте», хотя мести не повлечет^{234}.^[59] Тем не менее о каролингском осуждении убийств не забывали, и, должно быть, благодаря опыту языческих вторжений прогрессировала практика выкупов и оказания нажима через пленников и на пленников, поскольку враждебные действия часто выливались в захваты людей и удержание их под стражей. Что касается сельской местности, то в ходе этих войн между князьями или вельможами ее не столько заливали кровью, сколько разоряли и угнетали.

В течение тридцати лет после восшествия Эда на престол подобные проявления феодальной войны, сравнительно недолгие и умеренные, чередовались с новыми норманнскими набегами, а норманны в свою очередь опирались на укрепленные лагеря и временные замки, воздвигнутые с расчетом на осаду. Эти две формы войны отличались разной мерой насилия, судя по оценке Аббона из Сен-Жермен-де-Пре, а потом «Ведастинских анналов».

В 893 г. Карлу Простоватому исполнилось пятнадцать лет; вокруг него объединилась группировка, то есть коалиция территориальных властителей. У него не было графств, не было значительных доменов, он даже не был одним из тех региональных князей («крупных

феодалов», как когда-то говорили), которые составляли противовес королю Эду. Но он обладал легитимностью как внук Карла Лысого и представлял собой удобную и не слишком обременительную ширму для тех, кто хотел помешать усилению Эда и его брата Роберта (получивших в 888 г. отцовские графства). Поэтому подростка поддержали архиепископ Фульк Реймский и несколько магнатов Франкии и Лотарингии. Однако Эд «входит в замки и подавляет мятежи. Одним своим присутствием он обращает в бегство Карла и его сторонников»^{235}, — то есть продвигается, не встречая сопротивления. Кампания заканчивается по-христиански: «Он возвращает свою милость этим некогда спесивым людям, что теперь унижаются»^{236}. Будто вдруг возвращаешься в каролингскую политическую культуру, в дополнение к которой появились замки. Эта война между христианами была менее суровой и кровопролитной, чем войны с норманнами и войны норманнов. Во всяком случае она вынудила Эда в 896 г. оставить без внимания норманнские набеги, которые начались снова. Аббон Сен-Жерменский отмечает это кратко: вот вернулись «жестокое язычники. Они опустошают страну, они убивают ее жителей; во всех вылазках они рыщут вокруг городов, вокруг жилищ короля. Они хватают крестьян, уводят их, отправляют за море. Эд, король, слышит речи обо всем этом. Ему нет до этого дела — вот его ответ»^{237}. Он жестоко разочаровал Аббона, который резко обвиняет его и грозит ему, бичуя латинскими стихами: «Конечно, бес уже раскрыл для тебя свою пасть. Твой дух не заботит паства, которую доверил тебе Христос^[60], но, может статься, и Ему самому отныне не будет дела до твоей чести»^{238}. И поэма заканчивается, потому что прекращаются «подвиги благородного Эда»^{239}.

До самого 892 г. «Ведастинские анналы» (аррасские) год за годом упоминают набеги норманнов. Например, в 885 г.: «Тогда норманны, алкавшие пожаров и смерти, снова начали неистовствовать — они убивали христиан, уводили их в плен и разрушали церкви, не встречая сопротивления. И франки вновь приготовились к обороне, но не к открытой битве — они соорудили укрепления»^{240}. Однако некоторых знатных людей убили, а другие сами убивали норманнов.

Зато в 892 г. последние переправились в Англию: во Франкии, голодающей из-за уничтожения реликвий святого Ведаста, им было нечего больше грабить^{241}. Тогда общее внимание приковали к себе граф Балдуин II Фландрский и его ссора с королем, тем самым Эдом, который происходил из равного рода, но не более знатного и даже более скромного, поскольку Балдуин происходил от Карла Великого по Юдифи, которая была в числе его предков (его матерью?). На сей раз они довольствовались обменом посланиями. В 893 г. этот граф и еще несколько сформировали клику, которая открыто выражала ненависть и враждебность к Эду и разыгрывала карту молодого Карла Простоватого, однако, не желала реального восстановления королевской власти. Оба лагеря мобилизовали войска, но в 894 г. решили прибегнуть к внешнему арбитражу Арнульфа Каринтийского. Потом они встали лицом к лицу, начали переговоры, но ничто так и не разрешило проблемы — ни plaid, ни война, и каждый остался при своих интересах.

Немного позже Эд отправился в погоню за Карлом Простоватым, «намереваясь с помощью оружия положить конец спору. Но Божьим милосердием не было допущено, чтобы спор разрешился кровью»^{242}. Бог, защищавший осты и города от норманнов, не хотел междоусобной войны. Будем понимать это так, что противников сдерживало общество.

В 895 г. группировка Карла «сильно» опустошила бургундские земли, так как их жители стояли за Эда... Но это был только «гол престижа»: группировка, для которой ветер не был попутным, распалась. Одни сторонники Карла ушли к королю Лотарингии Цвентибольду,

другие в 897 г. вступили в переговоры с Эдом о своем подчинении.

Последний умел прощать, и об этом знали. В 895 г. он подошел к замку Сен-Вааст в Аррасе, то есть к укрепленному аббатству, в княжестве маркграфа Фландрии Балдуина, чьи вассалы его охраняли. «Все же из христианского сострадания он не хотел завоевывать его [замок] с помощью оружия. Когда люди Балдуина увидели, что не могут сопротивляться ему, они попросили о мире, дали королю заложников и обратились к своему сеньору с тем, чтобы он указал им, что им следует делать»^{243}. В ожидании их возвращения Эд велел открыть себе церковь и помолился там; по возвращении вассалов Балдуина он вернул им замок, и была назначена дата *plaid'a*.

Феодальная война приобрела облик судебной тяжбы. Она перемежалась многочисленными набегами (896 г.), изобиловала грабежами, а вскоре и осадами замков (реже — городов). Листая страницы «Ведастинских анналов», заканчивающихся на 900 г., а потом Флодоарда, описавшего период с 919 по 966 г., можно проследить, какие аргументы применяли в сердце Франкии конфликтующие стороны — грабительские рейды, недолгие осады, потом прощения, примирения, хотя не без обмена заложниками и не без задних мыслей. Написанное в 930-х гг. «Житие Геральда Орильякского», действие которого происходит в Аквитании с 855 по 909 г., содержит, как мы увидим, ссылки на феодальную войну такого же типа. Это не варварская разнузданность — это практика, ставшая прямым следствием каролингской элитарности. Действительно, от междоусобной войны времен Григория Турского она отличается усилением средств защиты для знатных воинов: к этим средствам относились запасные кони, чтобы можно было бежать, более активное христианское осуждение убийства, а также панцири, которые было трудней пробить, и замки, чтобы укрываться.

Каролингская элитарность значительно повысила статус знатных воинов и повлияла на их поведение. Рыцарство как таковое немислимо ни без каролингской империи, ни без ее внезапного распада.

3. ВАССАЛЫ, СЕНЬОРЫ И СВЯТЫЕ

В конце IX в. произошло то, что можно назвать феодальной мутацией: короли утратили всякий реальный контроль над провинциями, их дворец захирел, и состоялось возвышение графов, а также королевских вассалов и иногда епископов в ранге сеньоров отдельных земель. 888 г. или его преддверие все историки-хронисты тысячного года как раз и считали годом зарождения династий воинственных графов, появления замков, начала раздоров. Умножились войны между соседями, которые их участники, как мы увидим, толковали как возмездие, наказание. Все сеньории были наследственными, и больше никто не мог отобрать их у семейства сеньора, даже в случае какого-либо проступка. Уже в этом отношении можно провести определенные аналогии с крестьянским держанием. Таким образом, термин «феодальное общество» не ошибочен — он только, как всякий ярлык, грешит излишним схематизмом; он не учитывает родственные связи и даже наличие классов, роль христианства, наследие каролингских времен, но по-прежнему полезен как ориентир. Жорж Дюби, позволивший лучше понять X-XII вв., не отверг его напрочь. Он лишь должным образом дистанцировался от него. Он прежде всего внес уточнение: это общество было менее беспокойным, чем утверждали ранее, и я бы сразу же добавил — менее варварским, менее грубым, в меньшей степени порвавшим с ценностями каролингского общества. Некоторые авторы прошлого (Гизо) уже говорили не столько о феодальной анархии, сколько о структурирующей роли вассальных связей, завязанных ради войны, и даже о том, что из феодального сообщества в XI—XII вв. зародилось рыцарство.

Репутация периода безудержной грубости и насилия, какую первый феодальный век (около 880–1040) приобрел под пером историков Нового времени, часто объясняется тем, что они верили, будто он в точности отражен в «жестах». Они это вычитывали в рассказах о мести и междоусобных войнах, отличавшихся агрессивностью, которую можно было только направить в другое русло, на священную войну с неверными, — и якобы единственно к этому и стремилась Церковь XI в., времен Божьего мира и крестовых походов. Однако эта литература возникла позже, и ее нельзя рассматривать как непосредственное «отражение» исторической реальности.

Зато можно использовать хроники, написанные монахами и клириками. Норманнские набеги и смуты времен феодальной мутации могли в конце IX в. помешать их работе, но далее ситуация стабилизировалась: анналы реймского каноника Флодоарда начинаются с 919 г., а святой Одон пишет свое «Житие святого Геральда Орильясского» в девятьсот сороковые годы. Главное, что к тысячному году расцвело, по выражению Пьера Рише, «третье каролингское возрождение», на которое пришли история Рихера Реймского, хроники аквитанца Адемара Шабаннского и бургундца Рауля Глабера, первая история нормандских герцогов, написанная каноником Дудоном Сен-Кантенским, и многочисленные рассказы о чудесах, а также более нарративные и подробные хартии, чем прежде. Во всех этих текстах много говорится о рыцарях. У многих авторов последние были в семействе, и монастырь оставался не чуждым феодальному миру — он жил за счет даров сеньоров, здесь за них молились, сегодня порицали как неудобных и «деспотичных» соседей, говоря о них как о диких зверях, завтра в столь же красноречивых выражениях подтверждали законность их власти... Документы тысячного года, если изучить их как следует, позволяют очень хорошо разобраться в движущих силах динамики феодального мира, который представлял собой не столько анархию, сколько порядок или по крайней мере «упорядоченную анархию»: эта формулировка, позаимствованная из африканистской антропологии, как мне кажется, здесь

очень хорошо подходит.

ФЕОДАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

С 877 по 888 гг. в Западной Франкии произошла не феодальная *революция*, а только феодальная *мутация*, которая не уничтожила ни элиту, ни ценности каролингского мира, но адаптировала их и вынудила измениться. Эта элита очень скоро предпочла вступать в соглашения с норманнами; через какое-то время (в 911 г.) она смогла их интегрировать. Она отказалась поддерживать унитарную империю и приобрела независимость даже от дворца, так что (около 987 г.) Рихер Реймский уже описывал Франкию лишь как ядро королевства, окруженную землями других народов (датчан, на юге — аквитанцев, гасконцев, готов). Но эти сателлиты не отвергали франкской королевской власти и по-прежнему жили (или отныне жили, в случае датчан) каролингскими и феодальными ценностями, иногда на свой лад. Князья приносили королю оммаж — именно в руки, согласно Рихеру Реймскому, потому что это подчеркивало «вассальный» характер их земель по отношению к Франкии.

Новшеством, которое больше всего бросалось в глаза по сравнению с восьмисотым годом, через сто лет стало широкое распространение крепостных стен, укреплений, служащих для междоусобных войн, для которых они были средством и целью. В 900 г. это были по преимуществу городские стены, но уже вошло в обычай строить малые крепости (*ferte*) и палисады (*plessis*), возводить укрепленные поселения (*bourgade*) в ранге замков (с рынками, как во Фландрии). Однако в этом росте не было ничего анархического, и он не означал полной приватизации власти.

Со времен восшествия на престол короля Эда в 888 г. наметились довольно устойчивые региональные княжества, властителями которых были графы. Их усилению изначально способствовали сами каролингские короли. Графы собирали (объединяя прежде разрозненные земли) в своих руках по нескольку графств и часто к титулу графа добавляли другой (тут — маркграф, там — герцог). Это происходило в марках — областях, особо уязвимых для набегов «язычников», как Фландрия и Готия, но также и внутри страны, вдали от внешних угроз: так, граф Овернский приобрел титул герцога Аквитанского (и старшинство над графами Пуатье и Тулузы), граф Отёнский стал герцогом Бургундским, а брат Эда, Роберт, — маркграфом всей Нейстрии. Так теперь назывались земли между Сеной и Луарой, от Анже до Парижа. Тем самым маркграф Роберт подготовил для своего сына Гуго Великого, за неимением королевской власти, титул герцога франков (936–956 гг.), закрепивший за тем в реальности большую социальную власть, чем власть последних каролингских королей, отступивших к Лану и опирающихся на Реймс (898–987 гг.). Норманны вошли в состав этой системы княжеств в 911 г., усвоив из нее много франкских элементов. А вскоре в Парижском бассейне возникли и другие группировки — сначала выделилось Вермандуа, а потом смерть Гуго Великого в 956 г. способствовала возвышению в Нейстрии графов Блуа и Анже, добившихся самостоятельности. Появлялись герцоги, маркграфы, графы, коллекционировавшие города и замки или по крайней мере определенные права на них, которые они оспаривали друг у друга. В то же время некоторые создавали настоящие и сохранившиеся надолго провинции, княжества, задуманные как подобие монархий, такие, как Аквитания и та же Нормандия, ведь действительно герцог там обеспечивал (или старался это делать, или льстил себя мыслью, что обеспечивает) защиту всей территории, внутренний мир и правосудие, на манер короля.

По поводу этой защиты и этого правосудия можно, несомненно, сказать многое. Ведь, во-первых, противником обычно бывало соседнее княжество, возможно, находящееся в сговоре с каким-то мятежным сеньором — так что конфликт был не более чем феодальной

войной, войной замков, для которой, как мы увидим, характерно прежде всего разорение крестьян. Во-вторых, под правосудием понимался всего лишь довольно вялый третейский суд. Когда монахи, клюнийские или другие, оказывали давление на князей в защиту своих владений и привилегий, князья в принципе соглашались, но фактически вынуждали монахов сбавлять требования. Отсюда недовольство монахов, молитвы Богу и святым с просьбами проклясть хищников и тиранов, покарать их смертью, совершив чудо. А когда происходили ссоры между вассалами с применением оружия, князья устраивали мировые соглашения — даже если сами двучично разожгли эти ссоры; они разделяли, чтобы властвовать, как показывает характерный и перегруженный меморандум (называемый нами «*Convention*», соглашение), в котором около 1028 г. один пуатевинский вассал, Гуго «Хилиарх» де Лузиньян, изложил свои претензии к графу Пуатевинскому и герцогу Аквитанскому (Гильому V Великому, 996–1030)^[61].

Однако, возможно, феодальную войну и феодальное правосудие историки Нового времени очернили сверх меры. Их критика проистекала из идеализации каролингского или современного им государства, из невнимания к некоторым местам в текстах, местам, которые соображения антропологии позволяют понять лучше. При том количестве и прежде всего разнообразии письменных источников, какое у нас есть, нам легче, чем для древней Германии или Меровингов, изучить коды и пределы насилия. И даже выявить и отметить некоторые существенные его отличия от насилия у германцев, связанные с влиянием каролингских реалий или с самой обстановкой той эпохи замков, которые были не только плацдармами для наступления, но также местами убежища (для знати), заключения (для пленников), *plaid'ов* и переговоров.

Как и в меровингскую эпоху, месть представляла собой амбивалентное понятие — это было одновременно насилие и его увод в определенное русло, контроль общества над ним. Ее не всегда было легко использовать в военных целях, и с 890-х гг. нередко в надлежащий момент (но не слишком рано) вспоминали о христианстве, чтобы спасти лицо тем, кто заключает мир.

Так же как в меровингскую эпоху, некоторые хронисты (как Рихер Реймский) могли упоминать и порицать «предательства», которые те, кто их совершал, тем не менее пытались оправдывать. Новшеством было большее внимание к вассальной морали, наследию IX в.

Посткаролингская Франция и Аквитания отличались от Галлии Григория Турского по меньшей мере тремя важными чертами. Первая — частые захваты знатных людей в плен либо в сражениях, либо в засадах, когда этих людей старались не убивать. Отныне имелись замки, чтобы держать их там, и давление на них оказывали более или менее изящно. Уже нельзя было рассчитывать на короля, чтобы тот провел процесс о предательстве^[62], но пленники могли быть либо настоящими заложниками, либо едва ли не почетными гостями. Притом — вторая черта — в рассказах феодальных времен, в сценах из жизни замков, знатные женщины внезапно занимают невиданное прежде место, и значение их, возможно, понемногу растет: придется задаться вопросом, что такое служащий рыцарь (*chevalier servant*). Наконец, тот идеал вассальной верности, в котором было нечто христианское и порой римское и который замечен уже в «Наставлении» Дуоды и в теории двух служб, в то время дополняет и иногда перекрывает, даже почти затмевает идеал храбрости. Тем самым после 888 г. каролингская мораль продолжает оказывать свое влияние.

Историки прошлого, несомненно, слишком упрощали феодальное общество, предполагая, что в основе всех обязанностей знати лежал оммаж в руки, а в основе всех крестьянских повинностей — серваж. На самом деле в IX и X вв., похоже, было два ритуала, и Дудон Сен-Кантенский, а также Рихер Реймский вслед за Эрмольдом Нигеллом упоминают

целование вассалами королевской ступни. И, главное, документация в отношении «верных» короля и князей не всегда дает четкий ответ: все ли они приносили оммаж? Может быть, отношения верности были, скорей, взаимными либо некоторые были избавлены от принесения оммажа в пользу более эгалитарной дружбы? Гуго де Лузиньян, изъявляя верность графу Пуатевинскому и принося ему оммаж, рассчитывает, что к нему самому будут относиться с уважением, поддерживать как сеньора замков, и ему претит приносить другой оммаж, хоть бы и за четверть замка, Бернару Маршскому, которого он считает равным себе^{244}. Когда твоим сеньором «делают» человека, равного тебе по рангу, это несколько обидно, потому что ставит тебя на ступеньку ниже него в иерархии знатных семейств. Зато положение непосредственного вассала короля или герцога придает тебе значимость сеньора замков! Наконец, повторим: для всех, кто приносил оммаж в руки, пусть даже это были самые заурядные всадники, этот ритуал означал, что его участник — не серв; большего не требовалось, чтобы его не путали с сервами-министериалами.

Итак, оммаж в руки — это был знак серьезный, и в первом феодальном веке (до середины XI в.), похоже, его так запросто не приносили нескольким сеньорам в одно время. Он создавал солидарность по оружию, обязывал вассала помогать и советовать сеньору, а сеньора — покровительствовать вассалу. Их невозможно было упрекать, что они помогают друг другу, их скорее осуждали, если они этого не делали. Однако историки Нового времени часто не знали контекста и точных границ этого ритуала, этой связи, видя здесь лишь частную сделку, договор найма подручных, тогда как это был, скорей, демонстративный жест, договоренность, заключаемая между знатными воинами на их *plaid'ax*. В самом деле, принесение оммажа часто было знаком и формой примирения. И он позволял делить права на спорное владение. Так, Фульк Нерра, граф Анжуйский, принес оммаж Гильому V Аквитанскому за Сент^{245}. В основе соглашений такого типа лежало представление, что сеньор передает нечто (землю, замок) и взамен получает право контроля над этим владением и службу вассала — по меньшей мере мир с ним. Разве тот же Фульк Нерра не предложил в миг слабости своему главному сопернику Эду Блуаскому принести ему оммаж против всех, «если только это не затронет короля и тех, к кому он привязан особо близким кровным родством»?^{246} А потом отказался от своего предложения, когда король Гуго Капет привел ему подкрепление в двенадцать тысяч человек!

Следовательно, отношения между подобными сеньорами и вассалами были совсем не такими, как между вождем и его соратниками в древней Германии. Похоже, их главная забота состояла не в том, чтобы быть лучшими воинами, признанными как герои, — в общем, не в том, чтобы искать рыцарской славы. А скорей в том, чтобы иметь как можно больше земель, замков. И само слово «честь» (*honneur*) в то время в позитивном смысле обозначало только земли (фьеф или сеньорию), баронства, если угодно. Как моральное понятие честь воспринималась лишь в негативном смысле: хроники хорошо показывают, как графы, сеньоры и рыцари тысячного года боялись бесчестия из-за афферентных рисков, прежде всего лишения наследства. Оммаж приносили не из желания сделать яркую военную карьеру, а из желания верней сохранить за собой замок, сеньорию, часть того или другой. Искали поддержку на случай войны с соседями или судебного процесса, а если такая поддержка оказывалась неэффективной, пытались отказаться от этого оммажа. Феодалы в этом смысле представляли собой *истеблишмент*, для которого собственность была важнее доблести, для которого были характерны, скорей осторожность, чем мужество, скорей хитрость, чем смелость, скорей расчет, чем изящество, — а если изящество, то рассчитанное. Ничто не иллюстрирует их интересы лучше, чем речь, которую произнес перед вассалами Гуго Капета

в 987 г. архиепископ Адальберон Реймский, убеждая избрать Гуго королем^[63]. Это действительно общество наследников, наследных владельцев — и по этой причине часто крючкотворов и сутяг, но без излишнего рвения. Дальше будет видно, придаст ли им рыцарская мутация второго феодального века (после 1050 г.) больше смелости.

При всем том нас не должна смущать вероятность и даже многочисленность войн между сеньором и его вассалом или, еще чаще, между вассалами одного и того же сеньора. Ведь хоть сеньор и вассал в принципе были обязаны помогать друг другу, поддерживать друг друга, любить друг друга, их не всегда удовлетворяло поведение партнера. Они обвиняли друг друга в вероломстве, в недостатке уважения. Здесь надо прочесть пуатевинский «*Conventum*», эту долгую речь Гуго Хилиарха в свою защиту и обвинительную по адресу графа (и герцога) Гильома, где изъявления любви и вассальной верности чередуются с претензиями. Под конец Гуго объявляет войну своему сеньору, уточняя, что будет всячески щадить его город (центр его «чести») и саму его особу; такое заявление означает, что враждебные действия будут направлены против его подданных, вассалов или крестьян, и отражает истинно «рыцарскую» осторожность.

Прочесть надо и письмо (воспроизведенное Рихером Реймским), где Эд I Блуаский изъявляет преданность Гуго Капету, после того как взял Мелён благодаря измене — и избежав боя: «Ведь это предприятие было направлено не против короля, но против его собственного соратника [буквально: «совассала», *commilito*] <...> он не причинил никакого ущерба королю, так как он сам — человек короля, как и тот, у кого он отнял замок; который из них его держит — это ничуть не затрагивает королевского достоинства; у него были законные основания так поступить, ведь он может доказать, что некогда это было владение его предков»^[247].

Иначе говоря, сеньор не может выбирать, какому из его вассалов причитается фьеф, он лишь должен признать право наследника. Сеньор и вассал достаются друг другу по наследству и имитируют избирательное сродство, сердечную привязанность.

На практике конфликты между вассалами были поводом для сеньоров выступить в качестве посредника, арбитра, или же поводом переменить союзнические отношения. И если один из соперников считал, что с ним обращаются дурно, он бросал сеньору вызов, «становился другим сеньором» (да, подобное выражение не редкость), а прежний сеньор в таком случае расценивал это как вероломство (измену)... Отсюда и феодальная анархия? На самом деле контекст фео-вассальных отношений был контекстом общества мести, где можно усмотреть то, что Мишле, проявив блестящую интуицию, назвал «внутренним и глубоким порядком».

Так что не надо преувеличивать слабость этих сеньоров, ведь в вассальных семействах было много соперничающих наследников. Сдерживающим фактором для сеньоров, особенно в отношении крупнейших вассалов, была возможность вмешательства соседнего князя. Это заметно как минимум в течение трех веков, начиная с девятого года: войны между соседями начинались под предлогом помощи обиженному вассалу, угнетаемой церкви, и основное содержание их сводилось к осаде замка, грабежу крестьян его сеньора, его блокаде в течение нескольких недель и его захвату — чаще благодаря измене или переговорам, чем героическому штурму, а фронтального столкновения с силами, пытающимися снять блокаду, обычно избегали. Защитник замка, не получивший помощи от сеньора, имел право на почетную капитуляцию, на заключение мира храбрых, иногда побуждающего рыцарей делать рыцарские жесты в общении друг с другом.

Таким образом, не нужно драматизировать широкое распространение второразрядных сельских укреплений в первом феодальном веке — насыпных холмов (*mottes*), палисадов, небольших оград. Это не обязательно признак роста насилия, а, скорей, отражает его

размывание, маргинализацию. Маленькие отряды всадников совершали в тысячном году марши и контрмарши по лесным опушкам, в то время как большие замки, тем более города, редко подвергались осаде. Гуго де Лузиньян, как мы уже говорили, исключил город Пуатье в качестве театра военных действий против графа.

Итак, войны такого типа не мешали росту аграрного сектора и умножению городов, что чувствуется также по хартиям и хроникам тысячного года. Они только поддерживали давление и верховенство класса феодалов, людей, которые по статусу были рыцарями и формы общения между которыми кое в чем непосредственно подготавливали появление рыцарства как такового.

ЛЕГЕНДЫ О ГЕРОЯХ И ИСТОРИИ О ПРЕДАТЕЛЯХ

Первый феодальный век был не лишен идеала — существовали идеал героического вассала, которому доблесть обеспечивает право на сеньорию, и идеал святого сеньора, которому добрые действия, благие намерения обеспечивают полную легитимность. Тем не менее интересно ненадолго задержаться во Франции (или «Франкии») вместе с Рихером Реймским, знакомясь с рассказами о предательстве и героизме, прежде чем взять курс на юг, чтобы прочесть о поучительной жизни одного королевского вассала девятого века — Геральда Орильясского. Хотя в обоих этих регионах феодальная война в большой мере сводилась к косвенной мести (грабежу крестьян), предательствам или захватам людей в плен, та и другая истории дают возможность понять важность споров и оправданий для того времени.

Рихер был сыном королевского рыцаря и явно старался вести себя осмотрительно, имея дело с сильными мира сего, — Джейсон Гленн показывает, как тот пытался держать нос по ветру, выбирая между Гуго Капетом и Карлом Лотарингским^{248}. Он рассказывает о периоде между 888 и 996 гг., временах раздоров, и приводит детали как исторические, так и легендарные; он вставляет в рассказ и собственные рассуждения, но не надо думать, будто они выглядят чужеродно в феодальном мире, где якобы умели только рубить да колоть, но не говорить. Сами его «измышления» свидетельствуют о заботах знатной христианской общины тысячного года.

Рихер использует некоторые элементы рассказа Цезаря о Галлии, что позволяет ему сообщить о двойственном характере ее воинственных народов: они одновременно храбры и сварливы, способны на убийства и ярость, но могут проявлять также разум и красноречие^{249}. Все они сочетают мудрость с дерзостью.

Король Эд, по словам Рихера, смог собрать франков и аквитанцев для обороны от норманнов — Эд это сделал, даром что в 889 г. разразилась междоусобная война! Он произнес перед ними речь, напомнив о храбрости предков, командовал ими в битве при Монпансье (которой в истории не было), где сообщали действовали пехотинцы и конница. Джон Франс показал сходство этого боя со сражением при Конкерее в 992 г. — то есть случившимся во времена Рихера — и даже с битвой при Гастингсе в 1066 г., которая произойдет еще позже^{250}. Но такой кровопролитной битвы, как эта, время норманнских набегов, похоже, не знало. Судя по количеству убитых, она, скорей, порождена эпическим воображением. Такая битва подходит для появления легендарного героя. Выдержав сражение, ост короля Эда был вынужден принять еще один бой, и тогда все знатные бойцы, будучи ранеными, отстранились. Только один юноша происхождения посредственного, но презирающий смерть, вызвался быть знаменосцем, то есть руководить операцией, принимая на себя удары на опасном посту, значение которого авторы хроник второй половины IX в. высоко ценят^{251}. Ингон выказал здесь смелость, благодаря его напору битва была выиграна, а норманнский «тиран» Катилл попал в плен. Король поставил последнего перед выбором между крещением и смертью. Однако когда тот вышел из крещальной купели, Ингон его убил — прямо среди базилики Сен-Марсьяль в Лиможе, не посчитавшись ни со святым местом, ни с временем, поскольку была Пятидесятница.

Тогда князя и король сочли, что убийца заслуживает смерти. Однако Ингон оправдался. Он доказал, что это было превентивное убийство: «Любовь к вам толкнула меня на это...» с риском оскорбить «королевское величие» — выражение, которое Рихер, близкий к королям и поклонник всего римского, тем не менее использует в совершенно феодальном контексте. В

самом деле, объясняет Ингон, «пленный тиран решил креститься из страха; будучи освобожденным, он вновь обратился бы к великим беззакониям и отомстил бы нам небывалой резней»^[252]. В случаях захвата в плен франков, о чем речь пойдет дальше, стремлению освобожденных к реваншу, должно быть, ставило предел социальное давление. Зато легенды времен норманнских «пиратских» набегов изобилуют рассказами о мнимых обращениях^[253]. Согласно Адемару Шабаннскому, сам Роллон после крещения еще принес в жертву своим бывшим идолам сто пленных христиан^[254] и только потом искупил эту вину дарениями.

История говорит, что, как бы то ни было, с 860-х гг. некоторые норманны обратились и стали лояльными. Но общество, слушавшее легенды тысячного года, было готово верить аргументации Ингона и трепетало при упоминании о его смелости и ранах. Оно верило в настоящую брутализацию франкских нравов, потому что во времена «языческих набегов» так было нужно. И можно было считать, что в эти, уже минувшие времена случались красивые удары сказочным мечом, тот героизм, примеров которого тысячный год во Франкии предоставлял так мало.

Итак, в этой побасенке Рихера Реймского знать плачет оттого, что храброму Ингону теперь грозит смерть за святотатство и оскорбление величества. Она активно вступается за него, и король, без позора для себя и не удивив нас, может помиловать своего оруженосца. Он «милостиво пожаловал ему крепость под названием Блуа, так как тот, кто ведал охраной крепости, был убит в сражении с пиратами. Также, согласно королевской воле, Ингон получил в супружество его вдову»^[255]. Иначе говоря, мужеством и верностью, то есть вассалитетом в двойном смысле слова^[64], он заслужил чисто феодальное вознаграждение, показал себя достойным охранять стратегически важный замок, а на деле — стать сеньором этого замка.

В то же время женитьба на вдове показывает, что эта дама занимала важное положение, хоть она и не названа по имени. Рихер, вероятно, считал ее изначальной наследницей Блуа. Первый и второй ее мужья как служащие рыцари (*chevaliers servants*) — то есть, вопреки последующему изменению смысла этого выражения^[65], служащие не ей, а сюзерену вместо нее, — были знатными воинами, в которых он нуждался, чтобы сохранять честь, управлять сеньорией. Подобные передвижения были не редкостью: Эд де Сен-Мор рассказывает о такой же карьере графа Бушара в конце X в. при дворе короля Гуго Капета. Он получил замок Корбей, женившись на вдове его предыдущего держателя^[66]. Ведь замок — это в какой-то мере дом сеньора, а феодальная семья складывалась по христианским законам, устоявшимся в каролингские времена. Супружеская чета неразделима, а значит, связь между супругами крепка, что тесно соединяет даму с феодальным сеньором и, следовательно, благоприятствует тому, чтобы потомки по прямой линии, то есть дети, даже женского пола, наследовали честь родительской четы, имея преимущество перед родственниками по боковой линии, начиная с дядьев по отцу. Обладание такими правами в обществе воинов обязывало женщину искать себе «покровителя» или, скорее, отдаваться ему.

От вдовы из Блуа у Ингона родился сын (Герлон), который сам по себе больше не упоминается в истории. Но все-таки хотелось бы знать, претендовали ли графы Блуаские тысячного года на происхождение от этого персонажа или нет. Такая легенда подобает роду авторитетному^[67], но в то же время способному на строптивость. Графы Блуаские доставляли королям некоторое беспокойство, поэтому отношение к ним было недоброжелательным, и другая небылица тысячного года, сочиненная или пересказанная Раулем Глабером, в самом деле описывает их как потомков преступного вассала — худшего,

чем Ингон, предателя своего сеньора^[256] ^[68]

Итак, геройством или изменой, но все-таки можно было подняться в обществе на более высокую ступень? Во всяком случае Ингон не принадлежал к тем «солдатам удачи», вышедшим из ничтожества, которых в XIX в. иногда придумывали (по образцу солдат второго года Республики, ставших имперским дворянством) в качестве родоначальников сеньориальных родов, живших во времена норманнских набегов. Родители Ингона были «посредственными» (*mediocres*), что значит не «простыми» в современном смысле, а представителями среднего слоя: должно быть, его учили обращаться с оружием, его семья имела как минимум двенадцать мансов, норму для рядового каролингского всадника, и, без сомнения, едва ли многим больше. Он имел не скромное, а средненадменное происхождение! И в этом качестве он еще мог опасаться реакции высшей знати: он должен был соблюсти все формальности и даже подпустить пафоса, чтобы она его приняла и попросила короля его простить. Через недолгое время после смерти короля Эда в 898 г. Хаганон, намного более исторический персонаж, чем Ингон, также вышел из «посредственной» семьи. Явившись к королю вместе со многими людьми, «меньшими» по сравнению с «князьями», он снискал милость монарха, что подтолкнуло последних поднять мятеж во главе с «герцогом» — братом короля Эда^[69].

Рихер Реймский в своей «Истории» несколько раз упоминает напряжения, динамику такого типа внутри иерархии знати. Иногда он придает этой знати феодальные черты. Он очень хорошо показывает неоднозначное отношение общества к усиливающимся семействам, способного то петь хвалу Робертинам, той энергии и мудрости, какие привели их к королевской власти, то упрекать соперника Гуго Капета — Карла Лотарингского — за то, что он, сын короля, женился на дочери простого графа, «из сословия вассалов» (которое Рихер также называет *equestre*, «всадниками», на римский манер). Ведь идеальным вариантом считалось, чтобы мужчина, поднимаясь на более высокую ступень, в то же время возвышался за счет брака с женщиной, стоящей немного выше него: завоевывая такую женщину, поднимались до ее уровня, в то время как мезальянс закреплял более низкий статус знатного мужчины, пониженного за нехватку *vasselage* (доблести, *militia*).

Рихер Реймский также сообщает, что у последних Каролингов при всей их слабости было подобие двора. Во всяком случае Людовик IV был окружен знатными юношами, желающими прославиться смелыми и коварными действиями в междоусобной войне, и в числе этих юношей был Рауль, родной отец Рихера. Там совершались христианские, а также праздничные и дипломатические церемонии, в ходе которых формировалось то, что хартии называют «службой королевства». Если верить Рихеру, за одну выходку на таком собрании сын графа Роллона, норманн Гильом Длинный Меч, поплатился смертельными ранами — и вошел в легенду о великодушном вассале, заслуживающую, чтобы ее рассказать для сравнения с легендой об Ингоне и Катилле.

И это не свежее обращенные норманны изменили вере, запятнав себя убийством. Это маркграф Фландрии, происходящий по бабке от Каролингов, приказал убить Гильома во время мирных переговоров в Пикийни в декабре 942 г. В историческом смысле нужно говорить о случайном эпизоде войны между соседями, но это громкое убийство окружили ореолом легенды, и Рихер Реймский может рассматривать Гильома как верного вассала, всецело преданного королю Людовику IV, чистосердечного человека, которого отличала пылкость неопфита^[257].

Гильом Длинный Меч стал также образцом, способствовав утверждению идеала преданности вплоть до самопожертвования, ведь время, когда жил Рихер, очень нуждалось в таких образцах — столько тогда было вассалов, не спешивших умирать за сеньора, робких и

даже алчных, а также предателей...

В 978 г. была произнесена красивая речь об этом идеале вассала. Но какие действия последовали за ней? Эти слова были сказаны в связи с молниеносным набегом короля Лотаря на Ахен, который этот король, потомок Карла Великого, вздумал неожиданно осадить за спиной императора Оттона II, в то время гораздо более сильного государя. По этому случаю Лотарь приказал повернуть на восток бронзового орла^[70], которого «германцы повернули... на запад, намекая на то, что их конница может одолеть галлов, когда пожелает»^[258]. Поэтому Оттон собрал своих «верных», и Рихер приписывает ему патетический призыв о помощи, каковой оскорбленный сеньор может и должен обратиться к своим добрым вассалам, в форме просьбы о совете. «Теперь же, славные мужи, призовите вашу доблесть, чтобы обрести и честь, и славу, ведь вы блистаете мудростью на совете и на войне непобедимы. И ныне от вашей доблести зависит, не последует ли за громкой славой позорное бесчестие». За оскорбление, нанесенное Лотарем, следует «воздать не просто военным походом, но смертью»^[259]. Эта речь весьма отдаёт тацитовской Германией, но ее нельзя рассматривать как характеристику посткаролингской «Германии», контрастирующей с «Галлией» Лотаря и Гуго Капета: с обеих сторон культивировали одни и те же героические добродетели, которые позже обнаружатся в «жестах», а искусство сообразовывать с идеалами далеко не все действия было хорошо известно...

Ведь какие последствия имела эта речь? Никаких, кроме ответного набега. Сначала разгром дворца в Компьене. Далее — грабеж крестьян на землях Сены, крестьян, явно никак не причастных к повороту орла в Ахене. Тогда-то король Лотарь и воззвал к герцогу Гуго Капету. Герцог набрал ост, довольно скромный, однако достаточный для того, чтобы двинуться навстречу германскому. Но, поскольку это еще была почти междоусобная война между обеими разделенными половинами каролингской Франкии, от битвы воздержались. Оттон II отступил, и его не преследовали. И примирился с Лотарем, а потом с Гуго Капетом, своими прямыми противниками за верховенство на Западе (в кельтской «Галлии»). Итак, героические слова и очень осторожные действия — из числа тех, какие Рихер связывал с духом согласия (каролингский слоган), а Дудон Сен-Кантенский в ту же эпоху объяснял тем, что Ричард, герцог норманнов, воистину следует евангельским заповедям блаженства^[260].

Тем не менее, говоря о 978 г., Рихер компенсирует заурядную реальность красивой выдумкой — которую было бы ошибкой не принимать по-своему всерьез. Он придумывает «некоего германца, уверенного в своих силах и отваге», который провоцирует «галлов» на поединок. Герцог и князья немедленно ищут добровольца из числа «вассалов» (*milites*). Вызываются многие, одного из них избирают для сражения на копьях (которые можно было и бросать, и колоть ими), по всей видимости, для пешего боя, и он пронзает противника в момент, когда тот вынимает меч, чтобы покончить с ним. «Победа досталась галлу, он унес отнятое у врага вооружение и доставил герцогу. Герой просил обещанной награды и получил ее»^[261].^[71] Хотелось бы знать, какую. Во всяком случае, не случайно в преддверии XI в. (Рихер писал около 995 г.) крайне популярными стали истории о поединках, причем речь шла не о Божьем суде, а о подвигах^[262]. Это предвещало рыцарскую мутацию.

Ведь тут резвился, домогаясь славы, тип вассала, совсем не похожий на тех осторожных сеньоров, крючкотворов и святош одновременно, собрание которых вскоре, в 987 г., из принципиально консервативных соображений изберет в короли Гуго Капета, чтобы избежать любых авантур, неизбежных при авантюристе Карле Лотарингском, как советовал им архиепископ Адальберон Реймский^[263]. Нет, вымышленному защитнику чести Галлии здесь так же повезло, как и знаменосцу Ингону. Он мог бы, как и тот, стать воплощением судьбы, о

какой мечтали молодые люди из «королевской конницы», которую Рихер не раз упоминал обвиняками, говоря о временах Людовика IV (936–954) и его вдовы, королевы Герберги, потому что к этим всадникам принадлежал его отец по имени Рауль. Этот Рауль оставил сыну настоящую память о себе, а также, несомненно, легенды, которые предстояло переосмыслить.

На сей раз эти всадники почти что напоминали дружину времен древней Германии: они пылко состязались в храбрости и искали наград, стремясь сразу к славе и к богатству. Конечно, их главой был миропомазанный король, которому не пристало первым принимать удар. Но во всяком случае Рихер Реймский приписывает Людовику IV Заморскому демонстрацию навыков наездника на побережье в Виссане в момент, когда тот прибыл в Галлию в 936 г.! Конечно, формально его не намеревались подвергать испытаниям, и магнаты, которых тогда возглавлял герцог Гуго Великий, тут же присягнули ему на верность. Но герцог, согласно Рихеру, сразу «подвел королю коня в сбруе, украшенной по-королевски», и исполнил обязанности оруженосца, желая посадить того в седло — наезднику в доспехах действительно была нужна помощь. «Когда тот попытался сесть на него [коня] и нетерпеливый конь шарахнулся в сторону, Людовик легко и проворно прыгнул и, пренебрегая ржанием коня, внезапно вскочил на него верхом. Всем это было на радость и вызвало громкие одобрительные крики. Герцог принял его оружие и шел как оруженосец (*armiger*), пока король не приказал ему передать его галльским сеньорам. Это воинство (*militanti*) с большими почестями и величайшим послушанием отвезло короля в Лан»^[264].

Это красивый эпизод, придуманный в тысячном году, и он тоже предвещал великий рыцарский поворот XI в. В нем нет передачи меча, которая, возможно, придала бы посвятителю слишком большое значение^[72], но он имеет некоторые общие черты с посвящением в рыцари. Перед нами знатный юноша, которого в соответствии с его происхождением принимают, при оружии, в обществе отборных воинов и оказывают ему почести. Подача стремени — элемент более поздних посвящений, как и проезд некоторого расстояния на коне. Не имеем ли мы дело со своеобразной смесью проторыцарского, а также вассального ритуала с королевским?

Но до рыцарского блеска, свойственного временам после 1050 г., было еще ох как далеко, а каким же тусклым, скаредным, безнадежно пронизанным пошлым феодальным материализмом выглядит X в.! Даже под искусным пером Рихера Реймского, который начинает это время назидательными небылицами или сервирует красивыми речами, приправленными множеством софизмов. Потому что, в конечном счете, куда в то время ни глянь (хоть на герцога и магнатов при Людовике IV), не увидишь ничего, кроме коварства и измены.

Еще ладно, когда это хитрости Рауля, отца Рихера, какими он мог хвалиться перед сыном: в них, конечно, видны инициативность и хладнокровие рыцаря — командира «коммандос», умеющего ловко захватывать феодальные замки. Однажды, в 948 г., получив сведения от шпионов, он и его молодые люди переоделись конюхами и проникли в Лан, взяв город для Людовика IV (но не его башню, почти неприступную)^[265]. Другой раз, в 958 г., он занял Монс для королевы Герберги: вновь хорошо осведомленный, он воспользовался тем, что в этом замке работали каменщики, и ночью проник туда со своими людьми, дерзко захватив жену и детей графа Рагенерия, то есть заложников, которых графу вернут в обмен на крепость^[266].

Вот чем гордился Рауль. Это не делает его рыцарем классического типа, но для того времени это была еще достойная война. Это сберегало кровь христиан (франков), которую та

эпоха в конечном счете проливалась не слишком щедро. Действительно, немногие замки пали в результате настоящего приступа. В основном, если враг не брал их военной хитростью, их гарнизоны шли на почетную капитуляцию (либо избегали позорной), или же их сдавали изменники.

Артольд Реймский, архиепископ и военачальник, был «человеком добрым» и «не желал ничьей смерти». Он осадил замок Шозо и взял в плен тех, кто прежде ушел от него, — но сохранил им жизнь^{267}. Как и в случае с Музоном в 948 г., замок был взят штурмом, но нельзя сказать, чтобы его обороняли не на жизнь, а на смерть — его защитники предпочитали сдаваться, а не гибнуть, оправдываясь численным преимуществом у осаждающих, тогда как Монтегю в 948 г. капитулировал из-за недостаточно прочной стены^{268}. Складывается впечатление, что в этих междоусобных войнах бойцы (вассалы) лишены героических черт и борются за сеньора лишь до тех пор, пока это не грозит им смертью.

Были и такие, кто не считал нужным хранить верность. Их поведение, правду сказать, не может не напомнить о междоусобных войнах меровингских времен: их сдавали корыстность и алчность. Удивляет, скорей, их стремление оправдаться за это!

Вот, например, как Рихер изображает «измену» (согласно краткому диагнозу Флодоарда), вследствие которой Монтрёй-сюр-Мер в 939 г. был сдан графу Арнульфу Фландрскому. Граф посылает людей в грязной одежде (скрывающих свой рыцарский статус) не для внезапного захвата замка, а затем, чтобы подкупить Роберта, охраняющего замок для его сеньора Хелуина. Они ставят его перед выбором, показывая два кольца: либо он получит золотое (то есть блага, даруемые графом Фландрским), либо железное (тюрьму), потому что крепость вот-вот возьмут норманны. «Охваченный алчностью, он колебался, не согласиться ли на измену. Итак, он оставался в сомнении. Наконец, Роберт предположил, что от бесчестья, которое повлечет за собой предательство, можно будет оправдаться, сославшись на необходимость, ибо он знал, что все жители крепости в ближайшее время будут изгнаны или убиты»^{269}. Вот, по всей видимости, и «посредственный», который рассчитывает возвыситься за счет измены, дав клятву ее совершить. И он действительно сдает крепость, где к тому же находятся жена и дети Хелуина. В результате война приобретает немного более жестокий характер, ее участники становятся более склонными к убийствам до начала переговоров.

Но в отношении предателей из рассказов Рихера надо признать вот что: они рискуют жизнью, по крайней мере лично. Гибель в конечном счете не минует ни шателена Мелёна, сдавшего крепость графу Блуаскому^{270}, ни даже его жену. Ранее посланник Эда пообещал обогатить шателена и подсказал ему оправдание (наследственные права Эда). Этот эпизод в конечном счете столь же зловещий, сколь и поучительный.

Этому первому веку феодалов и шателенов были присущи хитрость, изворотливость, порой самозванство. Однако это не приносило в него беспорядка. И не исключало ни смелости, ни сдержанности во время войны. Некоторым сеньорам это не мешало даже обрести святость.

ГЕРАЛЬД ОРИЛЬЯКСКИЙ И ЗАЩИТНИКИ ЦЕРКВЕЙ

Святой Геральд Орильяхский был вассалом, сеньором и святым. Это был королевский вассал в Аквитании во времена феодальной мутации (около 855–909 гг.). Владелец многочисленных имений, сеньор замка Орильях, он, конечно, не принимал самовольно графского титула, который ему иногда приписывают. В любом случае он принадлежал ко второму разряду аристократии каролингского мира. Рожденный от знатных родителей, он, приняв наследство, приступил к той энергичной деятельности в качестве воина и судьи, какую клирики в своих текстах охотно называли «мирской службой» (*milice du siècle*), упоминая в связи с ней перевязь или меч, что, однако, не предполагало ритуалов посвящения. Правда, как мы видели, они это говорили, когда власть имущий оставлял меч и постригался, уходя в монастырь. Но Геральд Орильяхский так и не снял меча, хотя, похоже, такое желание у него было. Не женившись и, следовательно, не оставив ни сына, ни дочери, а лишь племянника в качестве наследника, он в конечном счете часть своей сеньории отдал Церкви для основания монастыря, который действительно был построен после его смерти и подчинен Ключни.

Геральд Орильяхский был близок к герцогу Аквитанскому Гильому I Благочестивому, графу Оверни, основавшему Ключни в 909 г. Во всяком случае «Житие святого Геральда», написанное святым Одоном, вторым аббатом Ключни (около 940 г.), утверждает, что их отношения были хорошими, даже если Геральд последовательно отказался принести оммаж герцогу и жениться на его сестре^{271}. В первом случае он сослался на долг верности королю, помещавший его в высшую или почти в высшую элиту и, по видимости, не требовавший от него никаких жертв. Одон не рассказывает, чтобы тот принял мученичество из любви к сеньору, как норманн Гильом Длинный Меч или, позже, Роланд из «жесты». Святость он обрел не благодаря этому. Что до отказа жениться, он объяснял это любовью к Богу и целомудрию — тоже хороший предлог, чтобы никого не обидеть или не оказаться виноватым. Гильом Благочестивый, похоже, понял или принял всё это, так как настаивать не стал. Правда, Геральд смягчил неприятное впечатление от своего отказа от оммажа, побудив своего племянника и наследника принести оммаж герцогу, а также участвуя лично в действиях герцогских остов: ведь речь шла о форме и тесном характере подчинения, а не о самом подчинении в принципе.

В тысячном году многие аквитанские сеньоры знали, что один из них, родич для многих, стал святым, таким же объектом поклонения, как мученики либо епископы и аббаты-«исповедники», хотя формально не отказался от ношения оружия. Шли толки о чудесах, которые он творил при жизни, прежде всего об исцелениях, и о тех, какие он совершает теперь, после смерти, часто о «возмездии» в защиту сеньориальных прав, которые от него унаследовали монахи Орильяха. Значит, «рыцарство», то есть статус знатного воина, жизнь и деятельность сеньора замков и фьефов, совместимы с христианской святостью. И Геральд едва не создал школу — ведь Адемар Шабаннский упоминает некоего Гобера, сеньора Мальмора, который был освобожден из тюрьмы, нашел смерть во время паломничества и тоже творил чудеса^{272}. Вероятно, тем самым Аквитания позволила себе одну из характерных для себя грубоватых дерзостей при назначении святых или насаждении их культа, примеры которого можно найти и в другом месте — в Конке.

Но как в таком случае рассказывать о жизни Гобера Мальморского или даже о жизни Геральда Орильяхского? Нам бы хотелось это знать. О том, как Одон Ключнийский распространял «Житие святого Геральда» в монастырях, обнарудовал его для мирян, мы по-

прежнему знаем мало. Похоже, этот текст часто сокращали. Возможно, как и «Историю» Рихера, в Средние века его редко читали в полной версии, которой располагаем мы. Но разве из-за этого документ, отражающий социальные и идеологические отношения в обществе, для нас во многом утрачивает интерес, коль скоро святой Одон уверяет, что получил верные сведения от многих клириков и знатных людей из окружения Геральда, и это подтверждается?^{273}

Современные историки часто воспринимают этот текст как попытку святого Одона, даже излишне старательную, «подсластить» феодальные войны Геральда Орильякского либо провести идею справедливой войны и даже «христианизировать рыцарство». Они любят цитировать страницу из агиографии Геральда, где тот приказывает вассалам идти на противника, «повернув мечи остриями назад, чтобы атаковать эфесом вперед». Поскольку с его людьми был Бог, и как они, так и противная сторона это хорошо знали, они все-таки одержали победу. Оставшись незапятнанными — и ничем не рискуя: «Не менее бесспорно то, что он никогда не нанес раны кому бы то ни было, равно как ни от кого не получил ее сам»^{274}. В таком случае может показаться, что Геральд Орильякский был немного не на своем месте в «железном веке», если считать таковым девятисотый год и если даже Оверни повезло в географическом отношении в том смысле, что норманнские набеги ее миновали. Если только не учитывать, что умеренность была характерной чертой феодальной войны и, возможно, он был не единственным исключением. Святой Одон, как мне кажется, не опускается до наглой лжи, просто он выбирает, приукрашивает и обобщает отдельные черты своего героя.

Как бы то ни было, в историческом плане «Житие святого Геральда» воспринимали несколько превратно из-за недопонимания одного момента. Автор в самом деле использует и развивает каролингскую теорию о двух службах (то есть двух элитах), в результате написав две книги. В первой он показывает, что Геральд на «мирской службе» не запятнал себя и даже принес пользу, творя правосудие. Во второй утверждает, что на самом деле Геральд был в душе монахом и остался в миру только из-за того, что никто не пошел в монастырь с ним за компанию, или по настоятельной просьбе одного епископа, чтобы помогать Церкви и ее сеньориям; таким образом, он блистал одновременно на обеих службах. Но все-таки слишком многие историки видят в нем, скорей, «рыцаря», чем феодального сеньора, и полагают, что святой Одон изобразил его в пример другим сеньорам, чтобы исправить их нравы. А не был ли его образ некой гарантией (в числе прочих), которую дали феодалам, благоразумно сохраняющим свои вотчины?

Обычная феодальная война в X в. была достаточно правильной и умеренной. Святой Одон сначала изложил сведения, показывающие это, а уже потом развил (здесь и в других местах) теорию, которая подведет нас к теориям инициаторов Божьего мира, живших на рубеже тысячного года.

Проследим вместе с ним за Геральдом Орильякским. Рожденный в знатной семье, тот должен был научиться владению оружием и грамоте — как нормандские герцоги, о которых рассказал Дудон Сен-Кантенский, как знаменитые короли и графы IX в., от Карла Великого до Эверарда Фриульского. «Его заставляли учиться читать, — простодушно признает Одон Ключийский, — чтобы он был пригоден для церковной службы в случае, если не останется в миру». Эта реплика укрепляет впечатление, создающееся на основе разных источников: Церковь, по меньшей мере отчасти, пополнялась за счет отбросов мирского рыцарства; калеки и невротики благородного происхождения становились мнимыми «рыцарями» на «другой службе»... В Геральде не было ничего от инвалида: «После того как он прочел псалтырь, его учили мирским занятиям, как то было в обычае для знатных детей:

направливать охотничьих собак, стрелять из лука, спускать с должной силой соколов и ястребов»^{275}. Но ребенок уставал и покрывался пылью — эту реакцию, которую мы бы определили как психосоматическую, тогда связывали с волей Бога. Она возвращала его к словесности, а по мере его возмужания исчезла. «Он был тогда достаточно ловок, чтобы без усилия перескакать через круп коня; и, видя, как возрастают его сила и искусство, его вновь стали готовить к “службе” и обращению с оружием». Тем не менее он все еще предпочитал литературу и говорил о себе библейскими словами, которые прочел в «руководстве» Дуоды: «Мудрость лучше силы» (Ек. 9:16). Он явно не встречался с легендарным Янгоном!^{276}

Став сеньором вслед за отцом, Геральд Орильякский тем не менее должен был заботиться о своей чести. Его «Житие» упоминает междоусобные войны, где в ответ на грабительские набеги на своих крестьян надо было (с частыми перерывами) осаждать вражеские замки. Приходится верить, поскольку так пишет святой Одон, что сам он не прибегал к косвенной мести, грабя чужих крестьян. Но можно счесть, что он не очень усердно защищал своих, если быстро и легко прощал их обидчиков. Арналь, сеньор замка Сен-Сернен, часто, «как волк в ночи, набрасывался на владения Геральда; тот, напротив, как подобает мирному мужу в обращении с тем, кто ненавидит мир, даже делал ему подарки, приносил в дар оружие, пытаясь благими деяниями смягчить сей дикий нрав». Впоследствии «неожиданная удача» (Рихер, несомненно, написал бы на этот сюжет неплохой рассказ об измене или дерзком коварстве) «позволила ему изгнать сего свирепого зверя из его логова, не погубив ни одной человеческой жизни». Геральд взял Арналя в плен, но тем не менее не сделал ему ни одного унижительного упрека, а наставил его как раз в том, что было нужно, дабы усвоить кроткие манеры по собственной инициативе, что должно было стать, скорей, заслугой, чем позором. И святой Геральд милостиво вернул ему свободу, то есть не потребовал от него ни заложника, ни клятвы, ни выкупа: «Я даже не хочу лишать тебя чего-либо из того, чем ты владеешь, в возмещение грабежей, коим ты предавался». Отражает ли эта назидательная история^{277} милосердие святого или классовую солидарность рыцарей? И что, волк тем самым был полностью, окончательно укрощен? Во всяком случае король и епископы в той Франкии, где Флодоард вел «Анналы», таким же образом прощали сеньоров — «разбойников» или отлученных^{278}.

Творя суд, Геральд Орильякский тоже заботился о том, чтобы воздавать каждому должное, защищать вассалов против их сеньоров, то есть поддерживать мелких знатных всадников; что касается бедняков, он намеревался их также карать за проступки. С другой стороны, он не отказывает в поддержке герцогу Аквитанскому, вступая в ост, который идет грабить вражескую провинцию. Похоже, он довольствовался тем, что не грабил сам^{279}; во всяком случае он и здесь радикально не пресекал косвенную месть. Наконец, святой Одон подробно рассказывает, как тот, с Божьей помощью, избежал дерзких налетов, операций «коммандос», в духе тех, какие осуществлял отец Рихера, которые были бы направлены лично против него и его замка^{280}. Иными словами, этому сеньору везло, и во всяком случае Церковь интерпретирует его удачу как следствие даров, которые он приносил ей, и уважения, которое он ей оказывал (даже намеренно умалчивая о его неудачах). В последнем отношении «рыцарство» не нуждалось в «христианизации»: она уже произошла, практически еще в меровингские времена...

В общем, Геральд Орильякский считался в точности таким же человеком, каким Адемар Шабаннский позже изобразит Гобера Мальморского: «церковным», то есть благосклонным к церквям, и в целом ведущим себя хорошо по меркам феодального общества.

Это общество во многих случаях^[73] позволяло своему представителю бежать, чтобы спасти жизнь, и предпочитать переговоры сражению. Умирать следовало ради спасения сеньора, но не ради замка. Тем не менее для защиты владений и репутации полагалось собирать войска и совершать карательные операции, и Одон Ключийский несколько раз защищает святого Геральда от возможных упреков в трусости, упирая на христианское чувство. Следует ли нам думать, что и современники упрекали его в недостатке смелости?

Святой Одон не боится обнаруживать в святом Геральде настоящее умение маневрировать, ловко вести себя в обществе. Это, конечно, не предатель того типа, какие то и дело появлялись в рассказе Рихера. Но одну-две уловки или хитрости, описанные в «Житии святого Геральда», можно было бы счесть слишком сомнительными, не будь они совершены с благими намерениями. Оправдание Геральда Орильякского, когда он не принес оммажа герцогу, уже выявляет определенное понимание политической конъюнктуры: отказ, возможно, продиктованный (во всяком случае так бывало у других) гордостью, который мог быть чреват войной, он выдает за лояльность. Бывало, он устраивал побег собственных пленников; ему было свойственно отдавать двусмысленные приказы, и он умел избавляться от ненужных людей^[281]. Это не простодушный сеньор (хоть вассал, хоть святой).

Что до святого Одона, его биографа, он тоже был человеком ловким, порой склонным к софизмам. Он написал сочинение в защиту и прославление святого — мирянина и воина, что покорило обитателей монастырей, которые предпочли бы, чтобы всякий святой был монахом, и было настоящим интеллектуальным вызовом. Он вышел из-под удара, сославшись на то, что владения Божьи по необходимости защищают рыцари. «Земля» Геральда, заранее отписанная в наследство Богу для постройки монастыря, уже была святой: он (благоразумно) воевал скорее за нее, чем за свою честь знатного всадника. Тем самым оправдывалась вооруженная защита церковных земель. Такова цель этого агиографического сочинения, отчасти написанного для монастырского «воинства»... И с двойным посылом: эта защита справедлива в принципе, но не должна быть слишком упорной.

Геральд уже при жизни пользовался таким авторитетом, что противники-грабители сами возвращали ему добычу (взятую на его земле), услышав порицание со стороны достойных мужей^[282] (*honesti viri*; можно было бы сказать «людей чести», не имея в виду никаких мафиозных коннотаций^[74]). Как провиденциальный истолковывается уже случай с одним виконтом Тюренна, который, собираясь с ним сразиться или опустошить его земли, ранил себя собственным мечом^[283]. Став мертвым святым, чью статую-ковчежец почитают в Орильяке, Геральд с неусыпной заботой блюдет свою землю, как показывает сборник рассказов о его чудесах, появившийся до 972 г. Вот, к примеру, сеньор-«тиран» Изарн Татиль из Альбжуа. Возвращаясь после неудачного боя, он хочет, чтобы его приняли, приютили, накормили за счет монахов Орильяка в их угодье Варен. Когда его выпроваживают, он раздражается угрозами, но удаляется со своими вассалами, которых должен накормить и вознаградить. Иначе говоря, этот «свирепый тиран» не проявляет упорства; не очень даже понятно, как бы он мог обойтись без угроз, если хотел сохранить лицо перед своими людьми. «Возвращаясь, он встретил стадо свиней, сообразил, что оно принадлежит монахам, и велел его собрать и отогнать к себе в дом, чтобы устроить трапезу, а также сделать дары своим вассалам, чьи ожидания захватить добычу у врагов не оправдались»^[284]. Достоинство этого и других рассказов в том, что они показывают нам резоны противника и даже его умеренность, вопреки выдвигаемым против него обвинениям. В самом деле, рассказчик осмеливается говорить о «бешеной и безудержной жестокости в обращении с монахами». Со свинопасом, попытавшимся сопротивляться, действительно обошлись крайне плохо: его

свалили на землю и вырвали ему глаз. Он сохранил второй, потому что воззвал к святому Геральду. А не потому ли, что Изарн и его люди не решились на большее? Во всяком случае следующей ночью святой Геральд (незримый) поразил Изарна «по макушке посохом свинопаса», отчего тот утратил зрение и отчасти рассудок и вскоре умер. Рассказчик насмеяется над трусостью, вероломством этого рыцаря, грозы простых людей и мятежника против Бога. Это был не смельчак, а всего лишь хитрец. «Если он наносил удар или бросался в атаку на врага, очень скоро он останавливался. Затем он защищался, часто меняя укрытия. После этого он хвалился удачей и радовался, что ушел от всех преследователей»^[285]. Пикантно, что, получается, он использовал те же приемы, что и сам Геральд Орильякский при жизни; но то, что у последнего святой Одон истолковывает в его пользу и как признак умеренности, Изарну Татилу вменяется в вину как трусость. В Аквитании, как и в других местах, честь, доброе имя знатных воинов постоянно были предметом споров, и монахи пытались так или иначе воздействовать на общественное мнение.

В другой раз набег «хищников» заканчивается невнятно — по сути провидение воспользовалось настоящим нажимом со стороны монахов и трениями между сеньорами и вассалами. «Вассал» (*vassus*) из Альбижуга, Дёсде, имел какие-то притязания (несомненно, связанные с наследством) на сеньорию святого Геральда. Он высмеивал святого и угрожал ему, иными словами, кощунствовал. Перейдя от резких слов к более умеренным действиям, он захватил жеребят святого Геральда, позволив тем, кто их охранял, укрыться в церкви. После этого по просьбе одного монаха вмешался его сеньор Барнард, потребовав, чтобы он вернул жеребят. Дёсде выхватил меч — однако не ударил сеньора. Потом его ранили собственные люди — то ли в результате этого вызова, то ли опасаясь, что он отдаст жеребят. Рассказчик умалчивает о подробностях, которые могли бы сделать этот эпизод понятным, чтобы создать впечатление чудесного возмездия. После чего заключает, пороча означенного Дёсде: «Его приближенные возненавидели его, у него больше не осталось ни вассала, ни слуги, никого, кто мог бы, по обычаю, повиноваться и служить ему. И, в довершение бесчестия, его супруга прониклась к нему абсолютным презрением и сочеталась браком с другим».

Другие рассказы о чудесах утверждают, что в рыцаря, ведущего борьбу со святым, вселяется бес. Это давало возможность изображать такого рыцаря человеком во власти безумной ярости, сумасшествия, потерявшим рассудок — и внушать читателю представление о разнузданном насилии феодалов. Возможно и чудесное исцеление, если рыцарь или его окружение откажутся от своих притязаний.

Во Франкии, как и в Аквитании тысячного года (980–1060 гг.), «защиту церквей», то есть их владений (которые можно назвать «феодальными», потому что это были сеньории), могли обеспечить мирское оружие либо сверхъестественные силы, какими Бог наделяет святых.

«Мирским оружием» в X в. еще иногда обладали монахи, имевшие, вопреки уставу, коня и доспехи, как Жимон Конкский^[286]. Об этом упоминается около 960 г., но агиограф Бернар Анжерский, писавший в 1090-х гг., ретроспективно связал с его образом теорию более смелую, чем теория поведения святого Геральда у святого Одона: Жимону, этому второму Давиду, она давала право на убийство, как святому Меркурию-мученику, которого Бог воскресил, чтобы убить гонителя Юлиана Отступника. Однако все чаще и чаще в справедливых войнах, которые порой велись без ожесточения, роль таких защитников играли вполне мирские рыцари, региональные князья или соседние сеньоры, выступая в качестве *advocati* (фр. *avoues*)^[75]. В таких случаях проблемы могла вызывать либо их пассивность, либо их притязания на вмешательство в дела Церкви. Или же тот факт, что земля святых, поскольку ее защищали они, отчасти переходила в их владение. Тогда их противники разоряли ее в качестве косвенной мести за счет их крестьян, а это наносило ущерб богатству

монахов. Но в конечном итоге обо всем более или менее удавалось договориться, и наличие хороших заинтересованных *advocati* имело свои преимущества^{287}.

В качестве духовного оружия монахи, когда они не имели права на отлучение^[76], прибегали к ритуальным проклятиям своим «гонителям», используя резкие литургические формулы, составленные из мстительных стихов Ветхого Завета. Внешне это выглядело как поток жестоких слов и готовило соответствующее толкование малейшего несчастья, которое случится с проклятым рыцарем: после падения коня, неприятного удара копьем такого рыцаря внезапно настигнет небесная кара. Поскольку таковая случалась не сразу и даже не всегда (Бог явно ее откладывает, чтобы совершить уже в ином мире), то это прежде всего было угрозой, позволявшей монахам вести переговоры с более выгодной позиции. И надо отметить, что это избавляло их от необходимости вооружать своих крестьян. Они говорили последним, что тех защищает святой, и поэтому велели им оставаться в статусе безоружных тружеников, постоянно живущих под покровом защитника — рыцаря или святого.

Впрочем, разве нельзя было обеспечить помощь сверхъестественных сил этим защитникам, рыцарям и даже пехотинцам, которые при случае поддерживали последних? Монах Жимон, сам вооруженный как рыцарь, рассчитывал на помощь святой Веры. В случае неудач он резко бранил ее статую (и даже угрожал ей). Тысячный год стал прежде всего эпохой, когда распространилось благословение рыцарского оружия. Жан Флори объединил сведения об этих церемониях, хорошо показав, что они не были посвящениями в рыцари^[77] — даже если в конце этого ряда, уже в XI в., однажды упоминается посвящение юноши. Заголовок ясно указывает: «ритуал благословения оружия защитника Церкви либо иного *рыцаря*», что оставляет возможности для разных изменений. Эта серия благословений прекращается незадолго до тысяча сотого года, в самую эпоху крестовых походов и расцвета посвящений в рыцари, — Жан Флори признает, что этому нет объяснения, а мы вернемся к этому вопросу далее^{288}.

Пока что отметим, что ритуал таких благословений явственно обещает владельцу оружия сохранение жизни, даже в большей степени, чем победу, — а вовсе не отпущение грехов. Рыцари тысячного года, защитники церквей, искали в литургиях и паралитургиях защиты от смерти — это ясно показывает чудо с хлебами святого Бенедикта в Берри^{289}. Вскоре в Конке, в сердце деревенской Аквитании, рыцари стали спрашивать, «покупать» за дар знамя святой Веры или благословение своего копья для помощи в боях, которые они ведут в собственных интересах. Один тем самым избежал ловушки, устроенной врагами, другой с бою отбил замок — вместе с которым врагу ранее сдалась его жена... Это означало некий пересмотр представления о даре, ранее обычно понимавшемся как нечто завещанное посмертно в обмен на молитвы «за выкуп души дарителя» или же делавшемся, наподобие инфеодации, ради разрешения конфликта при разделе прав^{290}... Благодаря таким знаменам, таким благословениям рыцарям было легче воодушевлять свои отряды. Считалось, что все это защищает от смерти. Конечно, она грозила им не всегда, особенно когда они держали меч за острие и грозили противнику эфесом, как Геральд Орильякский, — ведь тогда враг умиротворялся! Но смерть в бою или от несчастного случая, в засаде во время похода все-таки не была редкостью.

Можем ли мы оценить ее риск?

АКВИТАНСКИЕ ПЛЕННИКИ

В качестве образцовой области для изучения воинов тысячного года Аквитания напрашивается потому, что о ее графах и сеньорах у нас сохранилось больше рассказов, чем о сеньорах других мест. Здесь герцоги и графы Пуатевинские, Гильом IV Железнуюрукий (963–993), а потом его сын Гильом V Великий (993–1030), блистали почти королевским величием. Во всяком случае монах Адемар Шабаннский говорит о втором, что тот отличался доблестью и интересом к литературе, созывал в графствах общие собрания, защищал Церковь и вообще выглядел «скорей королем, чем герцогом»^[291]. Несомненно, со своими тремя женами и четырьмя сыновьями он не претендовал на святость, но рассчитывал на особую помощь Бога^[292]. С другой стороны, его панегирист (Адемар) не заостряет внимания на том, что тот был вассалом короля Роберта: подойдя к проблеме с другой стороны, он говорит, что король оказал Гильому большие почести у себя во дворце. Зато Гильом Великий был в полной мере сеньором аквитанских сеньоров. «Они не смели поднимать руку на него»^[293]. Он избавил графа Ангулемского от принесения оммажа в руки, почтив его своей дружбой, но, по всей видимости, принимал оммаж от других. Все вассалы в своих ссорах искали поддержки герцога; если он кому-то ее оказывал, это повергало противника в полный ужас. Гильом часто добивался заключения мирных договоров — более или менее соблюдавшихся, причем их нарушение не оставалось незамеченным. Итак, здесь также царил феодальный порядок с его ограничениями. Хроника Адемара Шабаннского на свой лад выявляет и то, и другие.

Здесь, почти как у Рихера для Франкии, мы находим больше описаний героических деяний былых времен, эпохи языческих набегов, чем подвигов на аквитанской земле во времена самого хрониста^[78]. Однако тут удалось рассказать и о недавних, новейших подвигах, совершенных в Испании в борьбе с маврами. Что касается феодальных войн, то подтверждается впечатление, что рыцари, сеньоры первого феодального века, больше дорожили жизнью, чем незапятнанной честью, что в борьбе они предпочитали преступить клятву, чем погибнуть, при этом по возможности стараясь сохранить лицо. Адемар Шабаннский особо ярко изображает их измены и вероломство, смелость и ловкость в коротких рассказах, где обнаруживается, сколь важное место занимали в их жизни захват знатных противников в плен и их содержание под стражей. Как и Рихер Реймский, Адемар очень просвещенный монах, сын и племянник тех рыцарей, которых он упоминает в «Хронике». Она, как и «История» Рихера, начинена легендами, порожденными этой средой, но не включает в себя речей феодалов^[79] и в целом приводит не слишком подробные рассказы о них. Тем не менее она очень поучительна.

Для начала — вот легенды, восходящие к судьбоносным временам норманнских набегов. Граф Ангулемский, который жил на рубеже IX-X вв. и чьи владения находились недалеко от Атлантического океана, был не из тех, кто юлил, как Геральд Орильякский, — он заслужил прозвище «Тайефер» (Железная Рука) за крепкий удар, нанесенный пирату Сторину. Адемар Шабаннский утверждает, что этот поединок между двумя военачальниками остов состоялся прямо в гуще битвы, и особо отмечает достоинства меча, выкованного Таланом^[294]. Преемник Тайефера, Арнольд «Буратион», был обязан своим прозвищем одежде, которая была на нем в тот день, когда он убил оборотня, опустошавшего округу^[295]. Оба этих деяния стали подвигами в защиту страны и источниками феодальной легитимности. И в то же время породили образные прозвища (напоминающие о движении или костюме), на основе которых возникнут легенды. Таким образом, чувствуется, сколь важным для аквитанцев был героический идеал, что не должно бы удивлять, когда речь идет о благородных воинах.

Но в Аквитании тысячного года графы, «князья» замков или даже их вассалы могли не слишком опасаться, что их разрубят надвое. Богу было угодно, чтобы потомки Тайефера подвергались опасности только в сражениях с последними норманнскими пиратами, по преимуществу выходцами из Ирландии, которые с 1003 по 1013 г. приходили в этот край за добычей! Герцогом Аквитанским и графом Пуатевинским тогда был Гильом V Великий (996–1030). Угроза была не столь велика, чтобы он отказался от каролингской схемы трех сословий, и потому он велел епископам и народу умилоствовать Господа постами и молитвами, а сам с *electi* (отборными воинами), все-таки многочисленными, выступил в поход^[296]. Язычники испугались, но они были хорошо знакомы с посткаролингской конницей и приготовили герцогу Гильому ту же ловушку, какую бретонцы незадолго до того устроили графу Анжуйскому — в 992 г. при Конкерее^[80].

Они выкопали ночью ямы, в которые рано утром и упали идущие в «бешеную атаку» аквитанские рыцари. «Кони тогда обрушились со своими всадниками, обремененными грузом доспехов, и многие попали в плен к язычникам» — предки которых, если верить их свирепой репутации, их, скорей, убили бы. Итак, аквитанцы, скакавшие в первых рядах, попались в простую ловушку: вылетев из седел, рыцари оказались в плену. Второй ряд успел спешиться. Но герцог Гильом V, которого мы называем «Великим», был впереди, и он первым угодил в яму. Нужно было небольшое чудо, чтобы он избежал пленения. Отягощенный доспехами, он «попал бы в руки врагов, если бы Бог, который всегда ему покровительствует [и которого молили за него епископы и народ], не дал ему силу и присутствие духа, чтобы совершить большой скачок и присоединиться к своим». После этого битва прекратилась; она была недолгой, как большинство тогдашних битв, в отличие от сражений Нового времени.

Пленники тогда воспринимались как заложники, и их жизнью не пренебрегали. «Вскоре бой прекратили ради пленников, из боязни, чтобы их не убили; действительно, в их числе были знатнейшие». Итак, после первой атаки боевые действия остановили, и оставшийся день прошел в переговорах. Почти наверняка они были бесплодными, коль скоро норманны вновь ушли в море со своими пленными. Несомненно, их увезли в Ирландию, и после этого герцог выкупил каждого за серебро сообразно весу пленника^[297]. В ту же эпоху (ранее 1013 г.), несомненно, те же люди внезапно похитили в Сен-Мишель-ан-л'Эрм виконтессу Лиможа Эмму. Мужу пришлось платить за нее золотом, выдать «огромную массу» драгоценностей, взяв их в церковных сокровищницах^[81], но потребовалось вмешательство герцога Ричарда Руанского, чтобы похитители ее вернули — уже после выплаты выкупа...

Вот выкуп прежде всего и отличает это береговое сражение от боев внутри страны между графами и сеньорами Аквитании в их междоусобных войнах. Во всяком случае Адемар Шабаннский, возможно, признает это: ведь, читая «*Convention*», встречаешь подозрительный намек на то, что пленные рыцари, возвращенные сеньором де Лузиньяном по приказу графа, могли бы принести первому доход^[82].

Рассчитывали ли бойцы на выкуп до тех пор, пока один серьезный случай не омрачил войну между сеньорами Лиможа (епископом и его братом виконтом, 1010/1015 гг.) и Журденом, сеньором Шабане? Для борьбы с последним братья воздвигли замок Боже в Сен-Жюньене при помощи герцога Гильома, который, возможно, насколько я по прочтении «*Conventum*» а представляю ситуацию, внес средства и одновременно дал политическую гарантию... Как только герцог уехал, Журден с элитой (своими всадниками) решил атаковать Боже, а епископ выставил против него многочисленный ост^[83]. «В разгар зимы завязалось упорное сражение. Пролилось много крови, лимузенцы обратились в бегство, и победитель Журден удалился вместе с многочисленными сеньорами (*principes*), которых он пленил; он

уже полагал себя в безопасности, когда получил сзади удар по голове, нанесенный рыцарем, которого он ранее поверг наземь» (и не разоружил, не связал?). «От этого он умер, и в отместку его люди тотчас пронзили пленников, пролив им кровь, и те испустили дух. Их оплакали с большей скорбью, нежели тех, кто пал в сражении». Несомненно, они были знатней. Казалось, все еще поправимо, и выиграть войну взялся незаконнорожденный брат Журдена. Неизвестно как, «он вскоре захватил Эмери, брата епископа, и держал его в плену вплоть до разрушения оногo замка» (Боже, из-за которого разгорелась война)^{298}.

Итак, больше, чем на выкупы, сеньоры-тюремщики, несомненно, рассчитывали на уступки, когда брали пленных и заключали их в свои замки, часто представлявшие собой высокие деревянные башни, а восточнее — постройки на обрывистых отрогах, возвышающихся над долинами Центрального массива^{299}.

Поэтому они обращались с этими пленными рыцарями более или менее по-дружески, чередуя посулы и угрозы; пленников иногда даже ослепляли, но убивать опасались из боязни ответных мер и осуждения со стороны всей знати.

Таких пленников редко брали честным путем, в открытом бою и ради того, чтобы люди из хорошего общества не убивали друг друга. Нет, похоже, прежде всего (равно как и для взятия замков, и во Франкии, и здесь) рассчитывали на дерзкие хитрости и даже на настоящие предательства близких. Два брата-виконта Марсийяка, причем во время Пасхи и несмотря на мир, скрепленный клятвой, совершили настоящее клятвопреступление по отношению к третьему брату Одуэну, после того как приняли его, угостили и приютили в одном из своих родовых замков. В самом деле, «они захватили его в плен, отрезали ему язык, выкололи глаза и тем самым вернули себе Рюффек» (спорный замок)^{300}. Конечно, лейды могли поступить и хуже, распилив человека пилой, как Сихара, но, в конце концов, и это обращение тоже не было нежным. Борьба за родовую вотчину, «честь», всегда, даже в самые рыцарские времена Средневековья (около 1100 г.), будет приводить к яростной вендетте в отношениях между ближайшими родственниками^{301}.

Граф Анжуйский Фульк Нерра (989–1040) двигал свои фигуры, как хотел, не проявляя чрезмерной щепетильности. Здесь описана^{302} одна его хитрость, менее всего достойная рыцаря и совершенная после 1016 г.: «В то время анжерский граф Фульк, неспособный открыто взять верх над графом Ле-Мана Гербертом, сыном Гуго, обманом увлек его в капитолий города Сента [замок, где находилась *aula*, большой зал, место, предназначенное по преимуществу для совещаний без оружия], якобы желая уступить ему этот город в фьеф». Герберт не подозревал ничего дурного — к тому же разве не шел Великий пост? Вот так Фульк и захватил его в плен! К счастью, Адемар Шабаннский, по всей видимости, пересказывает здесь всего лишь легенду, но от этого некоторые объяснения, которые он приводит, не утрачивают интереса. Прежде всего любопытное место в этой авантюре он отводит женам обоих рыцарей. Фульк Нерра якобы поручил своей жене точно так же обмануть жену Герберта, которая, однако, была вовремя предупреждена и не поддалась на обман. Далее Адемар упоминает то, что могло даже обманщика удержать от убийства: «Фульк, опасаясь сеньоров Герберта и его супруги, не посмел его убить, но посадил его в заключение в очень надежное место на два года». И в заключение хронист ссылается на небеса: «Наконец Господь сам явил милость невинному»^{303}. В библейских псалмах праведник ждет ее от Бога, но каким образом это произошло здесь? Устройство чудесного побега часто было удобным способом покончить, никого не унижая и не разоблачая, с переговорами, зашедшими в тупик: что делать с пленником, который у тебя на руках, за которого тебя порицают, который не соглашается на то, чего от него ждешь, и которого

никак нельзя убить?

Тем не менее судьба пленников бывала различной, и тут гораздо чаще важную роль играла случайность, нежели справедливость. Одним везло, другим нет — и они расплачивались за первых. Это хорошо видно в истории с «хорепископом» Бенедиктом. Он, назначенный преемник епископа Эбба Лиможского, брат герцога Гильома IV, был захвачен в плен и ослеплен Эли, графом Перигорским^[304]. А через некоторое время виконты Лиможские (отец и сын, соправители) захватили в плен самого Эли и его брата Альдебера Маршского. Эли оказался в большой опасности, когда об этом пленении узнал герцог Гильом IV и оказал нажим на виконта: «Его собирались ослепить по “совету” герцога Гильома в отместку за хорепископа»^[305]. Но его спасло чудо. «Он бежал из тюрьмы с Божьей помощью и вскоре умер паломником, на службе Богу, на пути в Рим». Возможно, что на Бога виконты Лиможские здесь все-таки лишь сослались: чтобы отделаться от обузы, они вполне могли сами дать пленнику ускользнуть, тайком, как в свое время порой выпускал пленников Геральд Орильякский. Вот вам и чудо, совершённое из классовой солидарности рыцарей первого сословия и по расчету виконтов как ход в политической игре между Пуатье, Лиможем и Перигё. После этого воздух Аквитании уже не очень подходил графу Эли — пора было бежать, причем под защиту святого Петра. Это не помешало ему умереть по дороге, один Бог знает, каким образом. Может быть, его все-таки настигла ненависть герцога?

Игра виконтов Лиможских становится очевидной, если обратить внимание на их мягкое отношение к брату Эли, захваченному вместе с тем, — Альдеберу Маршскому. «Надолго посаженный в свою очередь в лиможскую башню, он был наконец освобожден, после того как женился на сестре виконта Ги»^[306]. Не стоит воображать романтическую страсть вроде той, какая вспыхнула между Фабрицио дель Донго и Клелией Конти, ни даже аналогию эпизода из XII в., когда «рыцарственный» рыцарь обольстил барышню вопреки желанию ее отца и брата. Нет, здесь рыцарь-феодал провел деловые переговоры с равными себе, с мужчинами, — о примирении, о смене союзных отношений, несомненно, основанной на вполне понятном материальном интересе к землям и замкам. И глаза потеряет только третий пери-горский брат, захваченный в плен герцогом, — хотя к покушению на хорепископа он не имел никакого отношения!

Однако Бог не утратил интереса ко всему происходящему — под Богом здесь надо понимать епископов, каноников, аббатов и монахов. Конечно, Он не стремился пресечь захваты пленников как таковые^[84]. Адемар Шабаннский несколько раз описывает, как Он оберегает власть имущих, герцога Гильома, графов Юбера и Эли. Бог отнюдь не питал к ним ненависти — Адемар мог об этом прочитать в «Житии святого Геральда» Одона Ключийского, если ему был знаком этот текст. Считалось, что это Он сохранил их всех от смерти, некоторых — от ослепления, и это Он позволил бежать Эли^[85].

Действительно, в Аквитании тысячного года, а вскоре и во Фран-кии (или немного позже, несомненно, в подражание аквитанцам) многие рыцари, спасшиеся из плена, выражали благодарность мертвым святым, то есть их реликвиям, за удавшийся побег. Они приписывали заслугу в этом не только Богу, но и («по доверенности» *[par delegation]*, как уточняли клирики и монахи) какой-нибудь легендарной мученице, вроде святой Веры Конкской, чье твердое сопротивление гонителю, духовная победа над ним якобы предвещали их победы и служили порукой таковых^[307]. В плену они взывали к ней, призывали ее, по их словам, часто давали ей обеты, и она являлась им, расторгала узы, открывала двери, усыпляла стражей, при необходимости давала возможность незаметно пройти через большой зал донжона или даже совершить опасный прыжок в бездну. Это главная причина отправления культа святой Веры

Конкской, как уточняет Бернар Анжерский, клирик северной школы, прибывший сюда в 1010-х гг., чтобы разобраться в вопросе, а потом изложивший историю ее прекраснейших чудес (за период с 982 г.) в красивых латинских рассказах и ученых рассуждениях. Вскоре у святой Веры появятся соперники: святой Леонард Ноблатский в Лимузене, святая Онорина Конфланская под Парижем и многие другие, даже в Нормандии, что показывает, как распространен был захват рыцарей в плен во всей феодальной «Галлии» XI и XII вв.

Таким образом, эти чудеса свидетельствуют о распространенности практики, которая может показаться еще очень варварской, если забыть, что она пришла на смену убийству. Но не свидетельствует ли она в то же время о том, что представители знати, уже обладавшей какими-то рыцарскими чертами, повсюду относились друг к другу бережно и что их старались мирить друг с другом? Ведь, в конце концов, странно, что столько уз распадались сами собой и столько тюремщиков забывалось сном. Насколько прочными они были, эти узы? Только ли святая Вера велела тюремщикам закрывать глаза? В Тюренне дама Беатриса якобы хотела выпустить целую группу пленников, но один из рыцарей замка, смертельный враг одного из них, удержал ее от этого — и она бежала сама!^[308] Отправляясь благодарить святого или святую и рассказывать о чуде, беглец сам становился паломником, чудесно ими спасенным, и это обеспечивало ему определенную защиту, как и его сообщникам, если таковые были, ведь он старался не выдавать их как предателей сеньора.

Как пример от противного — история одного неудавшегося побега, особо дорого стоившего сообщнику, изложена в рассказе о чуде святой Веры, которая якобы позже исцелила этого человека. И эта история крайне показательна. Дело было вскоре после 982 г. Рыцарь Герберт из замка Кальмийяк в Ле-Веле славился храбростью и благочестием. Он дал себя разжалобить трем пленникам своего сеньора. Те были вассалами церкви в Ле-Пюи, следовательно, церкви святой Марии. Они умоляли о помощи и нашли дорогу к его сердцу (или к его расчетливому уму, предложив что-то выгодное?). Тогда, «рискуя самой своей жизнью, он поспешил раздобыть два ножа, спрятал их под одеждой и передал их вместе с веревкой, чтобы они могли перелезть через стену, пообещав не выдавать их». Можно ли найти что-то лучше для рассказа о чуде? Увы! Неосторожные пленники не дождалась ночи, их заметили, снова поймали, они выдали Герберта, и его сеньор, «деспотичный и жестокий» Гуго, приговорил его к ослеплению. Это и совершили его «собратья-вассалы» (*commilitones*) «против своего желания»^[86],^[309] ...

Не впадая в апологию феодального «тирана» Гуго, можно войти в его положение, понять, что он все-таки почувствовал себя в дураках, и напомнить, что ни здесь, ни в других рассказах деспотизм по-настоящему не выглядит важным принципом власти феодального сеньора. По поводу тирании сеньоры скорее спорят между собой, и это свидетельствует как раз об определенной социальной бдительности и о значении морального давления. А ведь последнее, так же как услуги клириков и монахов, тоже может служить «объяснением» побегов, выдаваемых за чудесные. В «Чудесах святой Веры» упоминаются пленники, освобождаемые временно, под залог (а не под честное слово), и они пользуются этим «отпуском», чтобы обратиться с молитвой к святой — и, разумеется, попросить о посредничестве монахов Конка^[87]. В XII в. рыцари будут давать честное слово, а князья — отпускать их даром. В общем, чудеса требовались именно из-за того, что рыцари тысячного года в недостаточной мере обладали «рыцарскими» качествами. Но если чудес происходило столько, то не потому ли, что уже возникла некая тенденция к появлению куртуазного рыцарства?

Адемар Шабаннский одобряет мирные договоры между аквитанцами под эгидой герцога, но ему не приходит в голову, что теперь те могли бы выступить все вместе, чтобы изгнать неверных. Представляли ли последние реальную угрозу? Между 1008 и 1019 гг. один набег на Нарбонн, очень импровизированный, повлек за собой поход христиан, перед которым бойцов причастили (для спасения их на этом свете или после смерти?)^{310}^{88} Но когда пришла весть, что халиф аль-Хаким в 1009 г. разрушил храм Гроба Господня, взволновало ли это герцога Гильома и его вассалов, таких как тот самый Гуго, наделивший себя библейским титулом «хилиарха»? Нет, ни Адемару Шабаннскому, ни его современникам не пришло в голову ответить на это крестовым походом. А разве момент не был бы тогда более подходящим, чем в 1095 г.? Правду сказать, этот шиитский халиф, чья религиозная политика выходила за пределы обычных исламских норм, вскоре резко изменил свою политику: Адемар Шабаннский объясняет это неким чудом, устранившим халифа^{311}.

Но любопытно, что мысль о христианском походе на Восток у Адемара все-таки возникнет, хоть и в опосредованном виде. Речь идет о мифической угрозе такого похода, в которой интриганы — галльские евреи и испанские сарацины — якобы убедили аль-Хакима... чтобы подтолкнуть его разрушить храм Гроба Господня!

С другой стороны, чувствуется, что Адемар Шабаннский несколько обеспокоен и хочет растревожить читателя, когда пишет о кровавых боях в ходе феодальных войн. И в то же время с определенным удовольствием рассказывает о гекатомбах, если их жертвами становились сарацины, — отнюдь не скрывая, что это было результатом настоящего христианского пиратства в аль-Андалусе (мусульманской Испании). Так, когда французские норманны под водительством Рожера де Тосни совершают набеги, берут пленников и некоторых из них съедают, чтобы запугать мавританских королей и добиться от них дани, явно чувствуется, что этакую мерзость, если я посмею так сказать, Адемар Шабаннский вполне одобряет!^{312} И восхищается героизмом Рожера, когда тот, возвращаясь из Испании, попадает в засаду, имея сорок человек против пятисот, и оказывает отпор, убивает врагов и остается в живых. Этот Рожер немного напоминает Роланда из «Песни» — сочиненной в конце XI в. и окрашенной в настоящие тона мусульманской Испании. Но такого Роланда, который выжил и который испанскую авантюру устроил по собственной инициативе, без франкского короля в качестве вождя.

Может быть, я фантазирую, как некоторые другие, вычитывая между строк «Хроники» Адемара Шабаннского то, чего там нет? Так или иначе, о любом абзаце, который он посвящает маврам, можно сказать, что событие тысячного года, а потом рассказ о нем, легенда, очень быстро сложенная, имеют явственный аромат этой французской эпопеи. Правда, последняя будет написана только минимум через сто лет, и ее нельзя считать простой записью старинных устных преданий. Но такие предания существовали, о чем свидетельствует в частности одна «запись» из испанского монастыря Сан-Мильян-де-ла-Коголья^{313}. Они кристаллизовались вокруг некоторых имен и обрывков каролингской истории^{314}, они могли изменяться или обновляться, включая в себя рассказы о событиях тысячного года, или же, может быть, мифические воспоминания каролингских времен уже сказывались на восприятии борьбы с маврами в тысячном году.

Вот, например, граф Эрменголь Урхельский в 1010 г. Он также (он был первым, норманн последовал за ним в 1024 г.) возвращался из Испании с победой. Он перебил множество сарацин, согласно Адемару Шабаннскому, хотя с исторической точки зрения его действия

надо рассматривать скорее как репрессалии, как устрашение с целью добиться выплаты дани. «Однако, возвращаясь с победой, он натолкнулся на другую армию мавров, которая как раз подоспела. Он двинулся на них с несколькими из своих воинов; выбиваясь из сил, он убил многих из них, прежде чем погибнуть. Сарацины забрали его голову в качестве большого сокровища. Их король велел ее бальзамировать и покрыть золотом, а потом всегда носил с собой в сражения как залог победы»^{315}.

Сарацины здесь, как Задон у Эрмольда Нигелла, становятся очевидцами подвигов «франков». А это предполагает, что последние, со своей стороны, все-таки не относились к ним слишком пренебрежительно. Клирикам тысячного года не приходило в голову составить этнографическое описание этих народов в импрессионистском духе, как это делали в древности какой-нибудь Тацит для германцев, какой-нибудь Аммиан Марцеллин для гуннов или аланов, перечисляя их отличия. Нет, христианское общество, пропитанное культом воинских ценностей, не придавало этим отличиям чрезмерного значения. Порой в норманнах девятого столетия, а то и в маврах тысячного года оно усматривало людей, довольно похожих на свою элиту, если не учитывать религии, и в таких случаях использовало их как фон и как экраны для собственной проекции. Ведь случай графа Эрменголя — совершенно особый случай сакрализации рыцаря. Действительно, его в каком-то смысле признали святым, коль скоро его голова стала реликвией и предметом почитания. Тем не менее это не христианский культ мертвых святых, а мнимое сарацинское идолопоклонство. Потому что — надо ли это особо отмечать? — Аквитания тысячного года не имела никакого представления об исламе как о религии, приписывая сарацинам, которых там считали «язычниками», всякого рода условные «суеверия». Поэтому в одних рассказах те занимались колдовством, средством против которого служило причастие, в других поклонялись идолам, совершенно вымышленным — если не считать, что их культ удивительно напоминал аквитанский культ статуй-ковчежцев, таких как статуи святого Геральда и святой Веры!

Но, в конце концов, почему бы христианскому воину, отправляющемуся осадить города и замки в Испании, не брать с собой эти могущественные «образы» как залог победы? Ведь их чудесная сила действует только в борьбе со схожим противником, принадлежащим к тому же обществу и к той же религии. И кое-кто уже набирался дерзости увозить их за пределы их края, в центр диоцеза или церковной провинции, на соборы Божьего мира, о которых речь пойдет дальше.

Во всяком случае в середине XI в. монахи Конка не отказались передать знамя святой Веры жителям земли Осона в Каталонии. Они поместили под защиту знамени замок Калаф. Взамен те обещали дань золотом или десятую часть добычи из набегов в сарацинскую землю — совершаемых, однако, без знамени. Вероятно, заключение такого религиозного союза предполагало также отправку подкреплений и субсидий. Что касается защитной силы святой Веры, то эта сила проявилась при захвате пленника одним сарацином, живущим по соседству, в ситуации местной, «пограничной» войны, очень похожей на ситуацию феодальной войны. Итак, каталонец Олиба попал в плен к неверному. Святая явилась ему, разбила оковы, но обратиться в бегство он не посмел. Подробности мучений, перенесенных им, не должны заслонять от нас того факта, что «тиран в силу перемирия, заключенного с христианами, вернул его домой»^{316}.

На сей раз, даже когда упоминается покровительство, которое христианскому осту в суровой испанской войне, кровавой, эпической, оказывает Христос, святой архангел Михаил, Дева Мария, об этом говорится в выражениях, более близких к подлинно библейским, чем обычно. В этой христианской войне участвовали настоящие герои, и не все они возвращались живыми. Они не пользовались непосредственным покровительством мертвых святых через

посредство реликвий и тем ярче демонстрировали свою смелость — я бы сказал: «германский дух» — в борьбе с противником, которого они оскорбительно именовали «женоподобным народом»^{317}, но сами же и трепетали от страха перед ним. Андрей Флерийский был монахом из долины Луары, писавшим около 1040 г. Он стал хронистом барселонской христианской эпопеи, в ходе которой перед христианскими рыцарями произнес речь Бернард, граф Бесалу: пусть они ринутся на сарацин, этих «новых филистимлян»; с ними [рыцарями] Христос, святая Мария, святой Михаил и святой Петр; они должны предпочитать смерть бесчестию, верить в победу, многих убить (в том числе обезглавить одного халифа^{318}), взять много добычи и пленных^{319}.

Андрей Флерийский и Рауль Глабер, каждый в своей манере, подтверждают, что слух о некоторых сражениях в Испании дошел до Франции и Бургундии. Рауль Глабер уверяет, что монахи и клирики, взявшие оружие и погибшие в бою, обретают вечное спасение, несмотря на нарушение монастырского устава — или даже вследствие этого: их узрел некий монах-ясновидец^{320}. Эти слова часто цитируют как предвестие появления идеи настоящей священной войны, то есть крестового похода. Но утверждать так — это значит не замечать, что подобные заявления относились лишь к монахам. Соратники Бернарда де Бесалу, конечно, не рисковали погубить душу, сражаясь с неверными, но и не зарабатывали отпущение грехов. В 846 и 878 гг. соответственно папы Лев IV и Иоанн VIII когда-то уже обещали такое отпущение защитникам Рима^{321}. Широкого отклика этот призыв не нашел. Пока что с тех пор такое предложение не повторялось.

Надо сказать, что на испанском или в целом на средиземноморском фронте христианский рыцарь все-таки мог погубить душу... перейдя в другой лагерь! В качестве контрапункта к жестким рассказам Адемара Шабаннского, сильным страницам Андрея и Рауля, которые все источают подлинно эпический аромат, остановимся на одном из «чудес святой Веры», записанных около 1070 г. Бернаром Анжерским. Может даже показаться, что перед нами уже третья часть «Рауля Камбрейского»^{322}, настолько это похоже на роман.

Раймон дю Буске, богатый сеньор из Тулузской области, рассказывает некую «Одиссею» тысячного года. Вернувшись домой после пятнадцати лет отсутствия, он ищет помощи святой Веры (но явно не ее знамя) в войне против собственной жены, повторно вышедшей замуж, — чтобы вернуть свой замок. Из всего, что говорится в его пользу, почти каждая строчка вызывает улыбку — настолько все неправдоподобно. Однако детали в этой истории очень яркие!

Он отправился в паломничество в Иерусалим (после какой-то сомнительной феодальной авантюры?), но его корабль потерпел крушение, и оруженосец привез весть о его гибели. Его вдова казалось совершенно безутешной. Однако была ли она искренней в своих чувствах? Отнюдь, потому что вскоре «она стала одеваться с подчеркнутой роскошью, давала пиры, предалась удовольствиям и наконец публично (то есть официально) вышла замуж за сожителя, передав ему всё, вплоть до замка мужа (но принадлежал ли этот замок первоначально мужу, а не ей?) и доли отцовского наследства, причитающейся двум дочерям, которые были рождены от него». По счастью, вовремя вмешивается старый друг Раймона — Гуго Эскафред, чтобы встать на защиту интересов дочерей, то есть избавить их от «позора неравного брака», отобрав у матери половину наследства их отца, что позволило им выйти за мужчин равной родовитости. Гуго — настоящий рыцарь? Несомненно, но не совсем бескорыстный, поскольку он «выдал их за собственных сыновей»...

Тем временем Раймон спасся после кораблекрушения благодаря покровительству святой Веры и достиг побережья Магриба. Там его подобрали «варвары» и стали допытываться о

происхождении — «из алчности», рассчитывая взять за него выкуп, если он знатен. Он признался, что христианин, но назвал себя земледельцем. Поэтому его направили на полевые работы в «Турляндию» (Тунис?). Увы — у него ничего не получилось, его жестоко наказали, и ему пришлось признаться, что он умеет обращаться только с оружием. Он это продемонстрировал: «Никто лучше него не умел действовать оружием, прикрываться щитом, отражать удары, делать себя неуязвимым» — заметно, что первенствует искусство обороны. «Тогда они взяли его в свою армию», он отличился доблестью и получил звание, хоть и невысокое. Рассказывая об этом, сей ренегат и, возможно, наемник уверяет, что потерял память, выпив некое снадобье — воздействие которого святая Вера сняла только наполовину.

Раймон явно не предпринимал ничего, чтобы вернуться на родину. Его привела туда цепочка событий. Попав в плен к сарацинам Берберии (западной ее части), он поступил на службу к ним. Его снова захватили кордовские сарадины и снова нашли ему дело. Всех поражала его отвага, но всегда ли он боролся до конца? Он искусно владел щитом и, несомненно, столь же искусно вел переговоры о переходах с места на место. Стоило одному кастильскому графу взять его в плен, как он вернулся в свою страну. Раймону осталось только соединиться с Гуго Эскафредом и воззвать к святой Вере Конкской, чтобы изгнать узурпатора и прожить остаток дней в мире. Ему все-таки повезло найти такую поддержку, хотя он был на волосок от того, чтобы убить христианского героя вроде графа Эрменголя (даже если бы потом стал почитать его реликвию). Но его снова приняли в общество, после того как он признался во всем этом, слегка обелив себя сказкой о периодическом покровительстве святой Веры, сказкой, следовавшей за пересказом истории, которая была шита белыми нитками, однако, расцвечена многочисленными признаниями его доблести со стороны сарацин... во время сомнительных сражений!^{323}

Достоинство таких рассказов, как «Чудеса святой Веры» и некоторые другие, состоит в том, что они местами высвечивают целые теневые зоны в жизни мелкой аквитанской знати. Ведь в них показаны очень конкретные заботы мелких и средних рыцарей. Одного обманул сеньор, дав в долг сокола в надежде, что тот потеряет птицу и в результате будет лишен фьефа; другой облысел и из-за этого лишился уважения представителей своего класса^{324}. У некоторых не хватило денег, чтобы расплатиться за лошадей и мулов, которых им ссудили и которые околели по дороге. Каждого из них святая Вера Конкская выручает из беды, спасает ему честь и, следовательно, жизнь, по-настоящему не отчитывая их и не ставя под сомнение классовые обычаи. Нередко рыцарей к ней посылают жены, и важно, что здесь отмечена их социальная роль.

Зато мельком поминается, что некоторые рыцари грабили церковные земли, а также говорится о поместном соборе Божьего мира^{325}. Пробил ли на этом соборе час большого пересмотра ценностей? Мы увидим, что такого пересмотра не произошло — или почти не произошло. То, что мы называем «Божьим миром», ни в Аквитании, ни в других местах не привело к установлению всеобщего мира между христианами, который позволил бы им отправиться завоевывать Испанию или Иерусалим под водительством короля Роберта и герцога Гильома, с головой святого Геральда Орильякского и под знаменем святой Веры Конкской. Вассалы по-прежнему подстерегали друг друга и конфликтовали на глазах у сеньоров и святых. Посмотрим же, что такое «Божий мир»^{89}.

«БОЖИЙ МИР» И ВОЙНА КНЯЗЕЙ

Клятвы тысячного года, называемые клятвами «Божьего мира», известны, особенно после 1860 г. С тех пор часто полагали, что в условиях полной феодальной анархии или феодального варварства Церковь, передовым отрядом которой был Ключни и которая реформировала жизнь монахов, а вскоре и священников, внезапно вознамерилась реформировать также «мирскую службу». Якобы последней она дала за образец доброго графа Геральда, никогда не грабившего, и заставила, под священным страхом перед реликвиями святых, принести клятвы, из которых сформируется первый рыцарский кодекс.

Однако это представление, возникшее в Новое время, чрезмерно драматизирует и беспорядок, и обращение к сакральному. Рыцари тысячного года соблюдали, как мы только что видели, определенный набор правил, и они умели вести сложные переговоры. Клятвы, которые они давали, никогда не были просты. Они всегда содержали важные оговорки, они подразумевали казуистику — правда, это были клятвы верности сеньорам, но то же можно сказать и о клятвах «Божьего мира».

Средства давления у Церкви были точно такими же, какие, как мы только что видели, она использовала против «расхитителей» или «угнетателей» церковных сеньорий, и совершенно естественно, что на «мирные» соборы привлекали рассказами о чудесах, поскольку по приказу епископов и с согласия графов туда в форме процессий приносили реликвии святой Веры, или святого Бенедикта, или многих других святых. Это был важный социальный и религиозный акт в каролингской традиции, ведь тогда существовал обычай, чтобы на региональных (или епархиальных) соборах присутствовали также миряне и прежде всего власть имущие: они выслушивали наказания епископов и обсуждали частные вопросы, вели переговоры. Для князя тысячного года, как уже для меровингских королей, было важно, чтобы его увидели рядом с епископами. Собрание реликвий упоминает в одном месте еще Григорий Турский^{326}.

Таким образом, те, кто воображает, что соборы «Божьего мира» вызвали широкое народное и антифеодальное движение, полностью искажают картину — особенно если добавляют к ней неуместный штрих «миллениаризма». Эти соборы, начиная с соборов 989 г. в Пуату (в Шарру) и на границах Оверни (в Пюи-ан-Веле), а потом в других областях, к сожалению, известны нам лишь по обрывочным сведениям, по неполной документации; неоспоримо, что епископы пытались там оказать усиленное давление на рыцарей, так же как на весь клир и народ, с реформаторскими намерениями. Их декреты предписывали одновременно реформу духовенства, защиту права собственности от расхищений, охрану невооруженных лиц и священных мест (церквей). Все это не ново, все это можно найти в каком-нибудь каролингском капитулярии (и еще в решениях собора 919 г. в Трозли, в Реймской провинции). Однако на сей раз явственно отдали приоритет вопросу злоупотреблений, «побочного ущерба» от феодальной войны, сделав на них особый акцент.

В 989 г. на соборе в Шарру повелели: «Если кто-то захватит баранов, быков, ослов, коров, коз, козлов или свиней у земледельцев и прочих бедняков, да будет он предан анафеме — если только это не совершено из-за провинности самого бедняка и если только захватчик ничего не сделал, чтобы загладить свою вину»^{327}. Это обращение явственно адресовано классу знати: собор стремится запретить ему косвенную месть. В самом деле, первая оговорка относится к прямой мести этого класса или к его суду. Вторая предполагает, что до применения столь тяжелой меры, как анафема, будет сделано несколько суровых предупреждений.

Мы знаем от Адемара Шабаннского (по сообщению, датированному самое позднее 1021 г.), что аквитанские рыцари, кроме того, давали клятвы. Тексты таких клятв до нас дошли, но это клятвы, которые принесли в Бургундии и во Франции по примеру аквитанцев. От Вьенна и Вердена-сюр-ле-Ду в Суассоне до самого Дуэ, несомненно, использовался один образец текста, отдельные поправки к которому высшее духовенство и сеньоры обсуждали в каждом диоцезе. Например, иногда епископ требовал такой клятвы только от рыцарей (*caballarii*), «носителей мирского оружия»^[90], иногда желал придать ей более общий характер и приносил ее сам.

Дававший подобные клятвы полностью исключал для себя те поступки, которые осуждали соборы: нарушение права убежища в церкви, какой бы она ни была, нападение на клириков и сопровождающих их лиц и захват их в плен (с тех пор, как они более не носили ни копья, ни щита, согласно теории двух служб^[328]), расхищение и обложение налогом имущества Церкви и особенно любые акты косвенной мести — захват скота, овса, нападение на крестьян и пленение их, разрушение домов и уничтожение инвентаря. Однако, как часто отмечали, здесь красноречивы оговорки; они рассчитаны на то, чтобы в негативной форме отметить те военные и судебные действия, которые допустимы — или, во всяком случае регулируются другими нормами, вероятно, другими клятвами, помимо тех, что предписали бургундские епископы. «Я не сожгу дом, — клянется рыцарь, — если только не узнаю, что там находится рыцарь — мой враг, или же вор, либо если этот дом не примыкает к замку»^[329]. Дающему клятву не запрещены наказания и разрушения в своей сеньории (аллоде или фьефе). Это кажется почти нормальным, правда, формула упоминает «землю, о которой я знаю, что она по праву принадлежит мне». Иными словами, землю, на которую он претендует, землю, на его взгляд, несправедливо отнятую у него самого. Кроме того, война, которую ведет граф, епископ, король, временно отменяет все обязательства или часть их. Наконец, статьи об убежище в церквях, безопасности безоружных путников недействительны в отношении «нарушителей мира» — того самого, соблюдать который дается клятва и для которого по необходимости будет существовать собственная юрисдикция (епископская).

В целом ни право феодальной собственности, ни право мести, никакое из самых общих оправданий феодальной войны под сомнение не поставлены. Явно выраженная феодальная идеология, выдающееся место знатного воина в схеме трех сословий^[91] ничуть не пошатнулись, а, скорей, укрепились. В крайнем случае можно почувствовать, что те, кто вдохновлял авторов этих текстов (бесспорно, клирики, заинтересованные в реформе), хотели уязвить феодальный порядок в том месте, где была «мертвая зона» его идеологии, принципиально важная для них: ведь на практике сеньоры — «защитники» церквей и их крестьян могли нападать на последних под предлогом, что те связаны с другими сеньорами. Но, может быть, и этого было достаточно, чтобы дать выход недовольству простонародья знатными воинами, поддержать его?

Есть ощущение, что такое иногда происходило.

Но ни по форме, ни по принципу действия, равно как и по сути, «договоры» и «клятвы», как называли их современники, в Аквитании, а потом в Бургундии не порывали напрочь с феодальной практикой. Они приспособивались к ней. В самом деле, они, как всякий мирный договор, одновременно объявляли мир между теми, кто к нему присоединился, и давали повод к войне с теми, кто отказался его подписать, либо с теми, кого обвиняют в его несоблюдении. Несомненно, войну никто не начинал внезапно (как сразу же не провозглашали анафему): этому предшествовали угрозы и попытки оказать давление. Адемар Шабаннский изображает Лиможский собор 994 г. как мирный договор между сеньорами

страны, заключенный под эгидой герцога Гильома. А постановление собора в Пуатье, несомненно, состоявшегося в 1000 г., предписывает всем поклявшимся более не разрешать свои конфликты из-за собственности вооруженной силой и добиваться, чтобы все прибегали к суду. Эта статья заходила дальше обычного (позже ее редко будут воспроизводить), потому что лишала феодальную войну самого привычного мотива. Но она же давала слишком много прав и мало-мальски амбициозным поборникам мира, поскольку предполагала создание военных коалиций против упорствующих.

Адемар Шабаннский — твердый сторонник этих договоров в Лимузене, но проповеди, которые он произносил о них, проникнутые заботой о справедливости и пересыпанные призывами к святому Марциалу и к Богу, удивительно не соответствуют тому скромному месту, которое он отводит им в своей «Хронике» Аквитании. Он упоминает только лиможские договоры, начиная с договора 994 г. «В те времена Лимузен объяла огненная чума [отравление спорыньей]. Тела бесчисленных мужчин и женщин пожирал незримый огонь, и повсюду земля содрогалась от плача»^{330}. Это знак гнева Божия, в духе библейского Второзакония, предостережение людям — которое можно было бы счесть близким к косвенной мести, когда серва убивают за провинности знати.

Аббат Сен-Марсьяля и епископ Хильдуин Лиможский «по совету герцога Гильома» наложили наказание и созвали собор епископов и реликвий. И эпидемия прекратилась, вернулась радость, и «мирный договор, со справедливостью [правосудием], объединил во взаимном согласии герцога и вельмож»^{331}.

Жаль, что Адемар Шабаннский обошелся без подробностей. Он только пишет, что впоследствии Хильдуин часто старался не допускать «рыцарских грабежей, ущерба, наносимого беднякам», накладывая духовные санкции («отлучение», а, скорей, интердикт, на землю первых). Но тем не менее этот епископ в качестве владельца церковной сеньории сам был поджигателем войны. Мы уже читали, что он с одобрения герцога и при поддержке своего брата, виконта Ги, возвел замок Боже для борьбы с сеньором Шабане. Лучший ли это способ добиться, чтобы ни один бедняк области не страдал от грабежей, учиняемых всадниками?

И можно ли исключить, что эта «война Боже», происходившая с 1010 по 1015 г. и не без драматических перипетий выигранная братьями Шабане, в которой последние со своим «элитным отрядом» столкнулись с «массой»^{332}, набранной в Лиможе и окрестностях благодаря епископу, велась *во имя мирного договора*?

Эта история предварила «войны во имя мира» (*guerres de la paix*) 1030-х гг. в Берри, о которых рассказывает Андрей Флерийский — сначала восторженно, а потом озадаченно. Институт, о котором он повествует, — «мир, основанный на клятве» и предписанный собором: несомненно, имеется в виду то, что мы называем Божьим миром. Андрей сразу же описывает этот мир как мобилизацию: «все мужчины от пятнадцати лет и старше» должны были подняться против нарушителя мира, прежде всего посредством уплаты налога, а при надобности и «с оружием в руках». То есть на войну отправятся не только всадники, но и многочисленный ост, состоящий из пехотинцев и включающий даже священников, несущих хоругви святых на их реликвиях, что немного напоминает войну с маврами.

Так вот, в описании Андрея Флерийского этот «институт мира» выглядит разрушительным. Архиепископ Аймон уже не говорит, что чудесные кары избавляют бедняков от необходимости вооружаться против рыцарей-грабителей: пробил час народного ополчения, и Андрей Флерийский какое-то время, в обилии подкрепляя свои слова библейскими стихами, славит тот час, когда смиренные обращают в бегство гордых. А ведь враг, названный в тексте клятвы Аймона, — только расхититель церковного имущества и

утеснитель клира. И в ост мира входит определенное число рыцарей, начиная с самого виконта Буржского, союзника архиепископа.

Этот ост мира выступает в поход на замки, откуда их сеньоры и обитатели бегут. Однако в одном замке, *Бенециануме*, воины мира находят укрывшихся там крестьян, а также жену и детей сеньора, который сам бежал. Так вот, они не принимают капитуляции и устраивают резню. После этого потрясенный Андрей Флерийский уже не ждет ничего иного, кроме как Божьей кары за Божий мир. Она совершается 18 января 1038 г., когда этот кровожадный ост неосмотрительно переходит реку Шер, вступив в земли могущественного Эда Деольского. Этому сеньору недостает рыцарей, но, чтобы обмануть врага, «он додумывается на лошадей, каких придется, посадить пехотинцев и разместить их среди рыцарей». Ост мира пугается, несмотря на хоругви, которыми размахивают священники, разбегается и во время переправы через Шер терпит сокрушительный разгром^{333}.

Получается, что мирный договор здесь был только способом ужесточить феодальную войну. Или, точнее, утвердить верховенство сеньоров города над остом, расширенным за счет пехоты, в которой, возможно, надо усматривать уже поднимающуюся буржуазию — во всяком случае по аналогии с «коммуной» Ле-Мана 1070 г., история которой немного напоминает описанную^{334}.

До тех пор феодальные войны, следуя очень старым нормам посткаролингских вассалитета и христианства, должно быть, щадили жизнь и потомство не только знати, но и крестьянского класса, а также богатство страны. Следствием этого был рост сельского населения, а благодаря этому начался рост и городского населения вместе с бургами, разраставшимися перед внешней стеной всех городов, которые война всегда лишь слегка задевала.

Но если силы, базирующиеся в городах и при необходимости присоединявшиеся к силам региональных князей, в XI в. действовали заодно, не вело ли это к ужесточению войн?

Так называемые правила и клятвы «Божьего мира» и даже «Божьего перемирия», которое будет упомянуто далее, не слишком стремились сдерживать князей в их войнах. Действительно, в них несколько раз делалась оговорка, касающаяся войны короля, графа или епископа, как верно отметил Филипп Контамин^{335}. Клятва в Вердене-сюр-ле-Ду (1019/1021) — одна из самых знаменитых. А ведь там открытым текстом упоминается незаконный замок, который вместе с королем, епископом или графом надо идти и осаждать. В этом случае реквизиции у вилланов не запрещаются, и даже, уточняет рыцарь в клятве, «находясь в рядах такого оста, я не нарушу иммунитета церквей [огороженных мест, где действует право убежища], если только мне не откажут продать или предоставить провизию»^{336}.

Прежде всего, как хорошо видно на примере Аквитании, эти мирные договоры, применявшиеся в принципе ради блага Церкви в течение двух веков (XI и XII вв.) своего периодического или локального действия, укрепляли короля и князей в роли покровителей, правда, кроме как в Центральном массиве, где князя больше не было. Там политической властью обладали епископы, которые в основном и помогали друг другу, пока в самом начале XII в. не призвали на помощь капетингского короля. Но Церковь чаще всего имела склонность одобрять, поддерживать действия князей, она была в этом заинтересована. Она была терпимей к их войнам, чем к любой другой, с меньшими колебаниями способствовала им, даже оправдывала их, а то и провоцировала...

Не сводился ли «рост насилия», которого следовало опасаться с тех пор, в XI и XII вв., в основном к разрастанию этих самых княжеских и королевских «войн»?

В самом деле, многих хронистов смущало число жертв, к которым порой приводили

сражения между королями и князьями. Почему соборы «Божьего мира» не объявляли анафему организаторам этих сражений? Разве не это следовало сделать в первую очередь в случае войны между христианами?

СПРАЖЕНИЯ МЕЖДУ КНЯЗЬЯМИ

Надо сказать, что эти сражения происходили редко и что они не раз давали повод для покаяния из-за убийства христиан христианами. Если соборы тысячного года не упоминали это преступление открытым текстом, если они предпочитали негодовать по поводу косвенной мести, то есть грабежей крестьян, совершаемых воинами, то потому, что такое случалось гораздо чаще и встречало в обществе гораздо меньше осуждения.

Феодальная война была по сути сезонной, и ее содержание сводилось, как мы видели, к набегу на земли противника и осаде одного из его замков. Эти операции, направленные против конкретного противника, перемежались общими разглагольствованиями, и отряды, осты, «обмениваясь» враждебными акциями, избегали прямых столкновений — либо уклоняясь от них, либо вступая в более или менее искренние переговоры^{337}.

Тем не менее за первый феодальный век у нас есть пять-шесть рассказов о сражениях королей и князей, которые историк войны и рыцарства должен отчасти принимать во внимание и может широко использовать.

Можно предположить, что до нас дошли отголоски именно самых громких и прославленных битв, о которых больше всего спорили. В таком случае досье сражений первого феодального века включало бы два различных и показательных аспекта.

Вот прежде всего рассказы и мнения о сражении при Суассоне. 15 июня 923 г. король-соперники, Карл Простоватый и Роберт I (брат Эда, дед Гуго Капета), сошлись в кровавом бою; Роберт был убит, но поле сражения осталось за его сыном Гуго Великим, прибывшим с подкреплениями. После этого короля выбрали из третьего семейства — герцогов Бургундских. Собор епископов в Реймсе потребовал покаяния за эту битву; Филипп Контамин обоснованно настаивает, что такой собор имел место^{338}. Таким образом, войны между каролингскими королями подверглись некоему подобию церковного осуждения. Одно послание монаха Рабана Мавра воспроизведено в рейнских пенитенциалиях X и XI вв. и утверждает, что даже в войне, ведущейся по велению князей и рассматриваемой как Божий суд, проявляется слишком много алчности^{339}.

С другой стороны, прецедент этого кровавого сражения, данного в воскресенье и имевшего крайне неоднозначный исход, возможно, объясняет, почему больше не было боев между Каролингами и Роберт-тинами или с участием трех первых Капетингов. На рубеже тысячного года монахи Рихер Реймский и Адемар Шабаннский пересказывают интересные легенды о Суассонском воскресенье 923 г.^{340} Даже если они были придуманы или, может быть, подправлены к тому времени, это все-таки свидетельства некой психической травмы и в то же время существования героического идеала, о котором уже шла речь.

Другие битвы из досье первого феодального века — это победы графов Анжуйских. По мере этих побед графы усиливались за счет соседей из Бретани, Блуа и Аквитании. При Конкерее 27 июня 992 г. Фулька Нерра не привела в смятение гибель его конницы, в самом начале боя попавшей в ямы-ловушки, и к концу этого кровавого дня его противник, бретонский граф Конан, был убит. Эта история наделала шуму, и рассказы Рихера, Рауля Глабера^{341}, а также нантская и анжуйская хроники равно сообщают о западне в начале боя, даже если расходятся в сведениях о Конане и Фульке. Последний, искупая убийства, вину за которые возложили на него, сделал дары монастырям и даже сходил в паломничество в Иерусалим. Однако 6 июля 1016 г. он совершил рецидив, дав графу Эду II Блуаскому сражение при Понлеуа, на реке Шер, в ходе которого погибли сотни бойцов. Эта резня упоминается немцем Титмаром Мерзебургским, до которого дошли слухи о трех тысячах погибших.

Однако единственный подробный рассказ об этом бое, имеющий анжуйское происхождение и позднейший, приписывает инициативу сражения графу Блуаскому и признает заслугу победы за графом Ле-Мана Гербертом Разбуди-Собаку (будущим узником Сента, по Адемару Шабаннскому!^[342]), чья поддержка имела решающее значение. Это впоследствии сын Фулька Нерра, Жоффруа Мартелл, граф Анжуйский с 1040 по 1060 гг., оправдал свое прозвище^[92] серией побед над аквитанцами (с 1033 г.) и решительным успехом 21 августа 1044 г. в бою с графами Блуаскими при Нуи, в Сен-Мартен-ле-Бо. Там он взял в плен Тибо Блуаского и вынудил его отдать Турень, за которую оба рода боролись уже не один век. Об этом сражении у нас есть два рассказа, которые вызывали бы очень сильные подозрения в приукрашивании событий (в пользу того или иного персонажа), если бы не сходились в том, что эта битва была менее кровавой, чем все предыдущие, и имела более решающий характер, чем Суассон и Понлевуа. В самом деле, она, похоже, стала венцом всей деятельности анжуйцев, принесшей Фульку Нерра и Жоффруа Мартеллу, как в свою эпоху, так и в книгах Нового времени, репутацию людей храбрых и стойких. В самый период «Божьего мира», который они никогда не позволяли ввести в своих «государствах», они воплощали грубость в сочетании с откровенным неуважением к Церкви, снисходительность которой покупали дарами и паломничествами. Историки 1900-х гг., склонные к гиперкритицизму, обвиняли анжуйских хронистов в выдумках всякий раз, когда те сообщали что-нибудь, говорящее об утонченности их героев и о пределах, которые те ставили своему насилию. Например, по мнению Робера Латуша, Рихер, рассказывая о Конкерее (992 г.), «уступает склонности без нужды усложнять ситуации и приписывать своим героям утонченные мысли», и это — «досадный результат подражания Саллюстию»^[343]. А ведь Рихер был современником этого события, к тому же устройство бретонцами ловушек подтверждают и другие авторы. Что же говорить об «Истории графов Анжуйских» в трех последовательных вариантах, которые все датируются двенадцатым веком? Это книга, начиненная Луканом и все тем же Саллюстием. Прежде всего это книга в куртуазном вкусе, который анахронически пропитал изложенную в ней версию боя при Конкерее и приверженцы которого ничего так не любят, рассказывая о каждой битве, как сначала описать самомнение или преимущество неприятеля, чтобы ярче выделить перелом в пользу анжуйцев. Чего еще можно ожидать в отношении как Суассона (923 г.), так и серии анжуйских побед, кроме как реконструированных или придуманных рассказов об этих феодальных битвах?

Правду сказать, эту дилемму мы датируем не периодом феодальной мутации. Она возникла с древних времен, и тем явственней, что многие страницы Тацита, Григория Турского, Эрмольда Нигелла еще более изобилуют внушениями. Но на сей раз проблема оказывается еще острее, потому что все три крупных хрониста тысячного года, Рихер, Рауль и Адемар, каждый на свой лад, в рассказах о сражениях показывают появление зачатков рыцарства. Таким образом, всё, что они пишут на страницах своих работ о Суассоне, Конкерее или Нуи, необходимо принимать всерьез. Надо только видеть здесь представления тысячного года о благородном и христианском сражении в целом и не отвергать то или иное в случае, если оно противоречит фактам. Разве не самое важное — внимательно читать, выявлять скрытую стратегию рассказчиков, коль скоро они считаются носителями или свидетелями настоящих пред- или проторыцарских ценностей? Если магнаты испытывали потребность в оправдании своих войн, обращались за помощью к святым, проявляли смелость, а еще чуть больше афишировали ее, то всё это было вполне свойственно и всем мелким и средним рыцарям, которые вышли на сцену в ходе данной главы. Сравнение с Раулем Глабером в отношении рассказа о Нуи служит даже к выгоде «Истории графов Анжуйских», несмотря на расхождения. В отношении этой «Истории» надо делать оговорки

(или приберечь ее для главы о двенадцатом веке), но не отбрасывать ее напрочь.

Впрочем, какой рассказ об историческом сражении верен, то есть точен и полон? Это слишком значительные события, они волнуют или шокируют, а также достаточно запутаны и для позднейших рассказчиков важны слишком во многих отношениях... Исследования Ксавье Элари о XIII и XIV вв. дают и другие примеры расхождений в рассказах^{344}. Перечитайте реконструкции битвы при Ватерлоо у Стендаля и Виктора Гюго, чтобы убедиться в пристрастности «свидетельств романа»^{345}, а хроники тысячного года в конечном счете отчасти выполняли функцию романов.

Пусть сражения феодальной эпохи были не наполеоновскими, но тем не менее организованными. Они не сводились к набору «схваток», как у описанных Тацитом германцев. Применялось настоящее развертывание кавалерии в две линии — как при Суассоне, так и при Конкерее. Тем не менее решающее значение имела судьба командующих, претендентов на победу. Гибель Роберта I при Суассоне не дала возможности понять, что именно решил Божий суд, потому что сын Роберта впоследствии выиграл, а гибель графа Конана изменила исход боя при Конкерее, упорство анжуйцев было вознаграждено, может быть, и неожиданно для них самих. Наконец, при Нуи пленение Тибо Блуаского, вероятно, объясняет, почему битва приняла несколько неожиданный оборот — и позволило Раулю Глаберу, не исключено, что вполне обоснованно, порадоваться чудесному отсутствию убитых и раненых.

Априори эти сражения не должны бы выглядеть слишком «рыцарскими» постольку, поскольку они все-таки были эксцессами феодальной войны. Разве они не были обусловлены весомыми ставками, неким всплеском ненависти? Всякий раз кто-то хотел решить проблему насильственным путем — и это, кроме как для Жоффруа Мартелла при Нуи, оборачивалось для него конфузом и кровопролитием. В этих рассказах бесполезно искать примирений с красивыми жестами вечером после большой битвы. Рихер и Рауль Глабер, оправдывая одного из противников, порицают несправедливость другого. Авторы «Истории графов Анжуйских» тоже насмеются над побежденными.

Впрочем, в этих сражениях одно вероломство сменялось другим, и, на первый взгляд, ничего честного там не было. Одно из двух: либо никакого кодекса правил, даже негласного, в войне князей не существовало, либо они постоянно нарушали его. На 15 июня 923 г. выпало воскресенье, и король Роберт I не ожидал нападения вражеского оста; это стоило ему жизни, ведь его сторонникам пришлось облачаться в доспехи спешно, и противник имел численное превосходство — до подхода Гуго [сына Роберта] и подкреплений^{346}. Таким образом, Карл Простоватый напал на него внезапно, он, разумеется, не предложил Божьего суда в виде поединка и даже не шел во главе или в рядах своих войск. Далее, при Конкерее, 27 июня 992 г., граф Конан, вероятно, по наущению и при помощи своих норманнских союзников, устроил западню, в которую попала анжуйская конница, после чего не пощадили и его жизни.

Но Карл Простоватый был Каролингом, которого незаконно свергли и власть которого оспаривали, а Конан — бретонцем. При Понлевуа и Нуи никаких коварных поступков, сравнимых с их поступками, не произошло.

И все-таки, правду сказать, даже самые рыцарские сражения (как Бремюль 20 августа 1119 г.), даже турниры XII в. будут допускать военные хитрости — или как минимум элементы притворства.

Впрочем, что касается битвы при Суассоне 923 г., Рихер и Адемар Шабаннский приписывают Роберту I, хоть и считают его узурпатором, настоящий благородный поступок. Он обнаружил себя для противника, выставив развевающуюся седую бороду: она сыграла роль «стяга», отмечает Адемар. Оба рассказа идентифицируют того, кто его убил (и погиб

вместе с ним): это был граф Фульберт, которого Карл Простоватый назначил командовать первой линией — по Рихеру, предупредил об опасности — по Адемару. Таким образом, в обоих рассказах битва сосредоточена в этом смертельном поединке, волнующем и героическом.

Для авторов тысячного года в сражениях существовали некие правила. Так, бой при Конкерее, согласно Раулю Глабер^{347}, состоялся в том месте, о котором договорились противники — и где, кстати, за одиннадцать лет до того произошел другой бой, так что, похоже, это было чем-то вроде традиционного места сражений, как позже традиционным местом турниров сделают пограничную зону между «странами».

Я совсем не считаю, что все речи Конана и Фулька перед сражением Рихер придумал. Конан велит своим людям не двигаться с места; он ссылается на негласное положение, согласно которому атакующий первым показывает свою неправоту. Это предлог, чтобы заманить анжуйцев в ямы-ловушки, которые он велел вырыть и прикрыть соломой, — но для феодальной войны в те времена был как раз очень характерен демонстративный или показной пацифизм. Фульк Нерра призывает своих людей атаковать: «Ведь мужи могут питать наилучшие надежды, если Бог от них не отвернется»^{348}. Это мог бы сказать даже какой-нибудь Геральд Орильякский. Рихер выстраивает свой рассказ, учитывая систему ценностей, зная, что в войнах князей присутствовали речи и хитрость, которые он воспроизводит, скорее всего, достоверно. И, кстати, нельзя пропустить один важный новый факт, который впервые отмечается в феодальной Франции: Фульк Нерра набирает наемников, во всяком случае наемных рыцарей. До Конкерёя, как пишет автор? А может быть, это происходило в основном *после* битвы, непосредственно среди противников, которые внезапно лишились своего графа? В борьбе задело анжуйцев, начиная с 992 г., мог участвовать не один бретонский рыцарь — хартии земель на Луаре периодически свидетельствуют об их присутствии. А ведь мы скоро увидим, что наемные рыцари сыграли очень важную роль в истории рыцарства!

Красивое сражение при Нуи, в Сен-Мартен-ле-Бо (21 августа 1044 г.), в другом смысле тоже было важной вехой. Как некогда святой Геральд, Жоффрау Мартелл одержал здесь победу при помощи свыше. По крайней мере таков тезис Рауля Глабера^{349}. Граф Жоффрау получил право нести на своем копье стяг святого Мартина, обязавшись вернуть ему сеньории. При одном его виде вражеский ост, которым командовали граф Блуаский и его брат, был парализован страхом. Граф попал в плен, его брат бежал, и великолепным итогом стало «пленение тысячи семисот воинов без пролития крови». Потом рассказывали, что их победители, бойцы оста Жоффрау, «как пешие, так и конные, словно были облачены в незапятнанные одежды» — наподобие святых, которых можно видеть в церквах. Не было ли это красивым оправданием нехватки боевого духа после пленения графа Тибо?

Позднейшая анжуйская версия, приведенная в «Истории графов» и написанная после 1100 г., внешне очень отличается^{350}: вместо сакрализации — смелость, анжуйская доблесть, и в результате убитые были. Тем не менее даже эта «История» хорошо показывает контраст между этим сражением и битвой при Понлевуа 1016 г., которая считалась очень кровавой и которую отец Тибо проиграл отцу Жоффрау: уточняется, что тогда вражеские рыцари бежали, а пехотинцы позволили себя перебить^{351}. При Нуи в 1044 г. разгром блуасцев выразился в основном в захвате пленных, в том числе и пехотинцев, и это утверждение выглядит достоверным.

Таким образом, если говорить о войнах князей в середине XI в., то, похоже, больше всего проблем создает их практика. Растущие возможности этих региональных князей, их

потребность утверждать и даже упрочивать (как это делали анжуйцы) свою воинскую репутацию, добиваясь присоединения сеньоров и рыцарей замков или стараясь произвести на них впечатление, должны были побуждать их искать вооруженным путем престижа и политических выигрышей, и не только с помощью грабительских набегов. И даже Церковь «Божьего мира» могла помогать им оправдывать войны или отмежевываться от жестокостей, которые на этих войнах совершались.

Впрочем, под влиянием Церкви или независимо от нее, все феодальное общество относилось к войнам князей неоднозначно. Разве в рассказах о битве при Суассоне, в конце концов, не блистает храбростью король Роберт, хоть авторы и поддерживают Карла Простоватого? В целом они хотят победы правой стороны, но чтобы не обошлось без демонстрации воинской доблести. Хотят красивых сражений, но без кровопролития. Действительно, опасность отклонений от нормы есть, особенно в войнах князей — тех самых войнах, которые Церковь осуждает особенно робко.

Что же, еще не настало время, чтобы на основе традиционных соглашений между воинами нашли развитие собственно рыцарские условности?

4. В ОКРУЖЕНИИ ГЕРЦОГОВ НОРМАНДИИ (1035–1135)

С середины XI в. при дворах и в остах региональных князей начали развиваться классические рыцарские обычаи: посвящение, подвиг, красивые жесты и игры. Всё, что было нужно, чтобы смягчить жестокость войн, не ставя под сомнение воинский идеал и усиливая моральное и политическое, даже юридическое, влияние этих князей на остальную знать. В особенной мере это можно наблюдать в окружении нормандских герцогов, благодаря как их могуществу, выросшему за счет завоевания Англии, так и полноте имеющихся в нашем распоряжении рассказов о них и об их непосредственных партнерах.

Действительно, с восхождением Вильгельма в 1035 г. в возрасте восьми лет на престол герцогов Нормандских начался великий век французских норманнов (нормандцев). Усиление герцогской власти стало прямой или опосредованной причиной многих начинаний. Завоевание Англии в 1066 г. было делом рук герцога; оно показало и повысило те возможности для мобилизации, какими он располагал. Для завоевания Южной Италии и Сицилии, начавшегося в 1007 г., новых участников поставляла экспатриация опальных нормандских сеньоров, которые подвергались изгнанию. К этому можно добавить значительное, а часто и решающее участие уже упомянутых нормандских контингентов в боях в Испании и прежде всего в Первом крестовом походе (1096–1099). Похоже, что эти пришельцы, эти недавно офранцузенные варвары прежде всего и придавали военную и политическую динамику всему развитию Франции и христианского мира в XI в. В том ли дело, что они, покинув фьорды, во многом сохранили свой свирепый германский дух, как у франков Хлодвига и Карла Мартелла? Скорее, они, наподобие тех же франков прошлого, были силой, которая, не слабея, принаравливалась к обстоятельствам и прирастала новыми элементами.

Их дорога часто совпадала с планами Церкви (или меняла их), и особенно это касается планов папства. В герцогстве Вильгельм Завоеватель провозгласил Божье перемирие, но он сам обеспечивал защиту церквей и даже продвижение их дисциплинарной реформы. Монахи Гильом Пуатевинский и Ордрик Виталий могли вдохновенно превозносить герцогский мир, от посвящения будущего «Завоевателя» в 1042 г. до смерти его последнего сына Генриха Боклерка в 1135 г. Как тому, так и другому Церковь прощала многое: в этом обществе наследников она не слишком возражала ни против притязаний Вильгельма на Англию в 1066 г., в результате которых при Гастингсе пролилось много христианской крови, ни против того, чтобы Генрих лишил старшего брата наследства, выиграв у него, правда, не без мер предосторожности, сражение при Таншбре в 1106 г. Нормандцы часто были воинами Бога, ведущими суровую войну, какую славят «Песнь о Роланде» (самая старинная рукопись которой — англо-нормандская, около 1130 г.) и гобелен^[93] из Байё, изображающий вооруженного епископа — Одона, единоутробного брата Вильгельма Завоевателя. Часто те же нормандцы бывали и образцами учтивости и изысканности: таковые, каждый по-своему, воплощали два старших сына Вильгельма — Роберт Короткие Штаны и Вильгельм Рыжий.

Досье за период между 1035 и 1135 гг., истории, гобелен из Байё образуют изрядный набор материалов, где впервые заметны очень характерные обычаи классического рыцарства — посвящение в рыцари и рыцарский подвиг (игра). Однако это не специфика Нормандии: посвящение упоминалось во всей Франции, а подвиги, игры практиковались в межрегиональных войнах по всей Северной и Центральной Франции. Исключительная

особенность нормандской державы — интенсивность этих проявлений, а не их характер. Эта держава постепенно вводит нас во «второй феодальный век», столь любимый Марком Блоком^[94], где характерным ритуалом является посвящение в рыцари — его нам предстоит истолковать заново.

РАСЦВЕТ ПОСВЯЩЕНИЙ В РЫЦАРИ

Штрих, характерный не только для Нормандии: приблизительно с 1060 г. многие хартии и хроники, говоря о знатном наследнике, упоминают момент, когда «его сделали рыцарем» или же опоясали «воинским» поясом. Поначалу это приняли (прежде всего Марк Блок) за показатель нового статуса, по меньшей мере невиданного доселе подъема мелких вассалов, иногда происходящих из сервов, в статус наследственной знати. Так, согласно Блоку, произошел переход от «первого феодального века», сплетенного только из двусторонних связей человек — человек, ко «второму феодальному веку», для которого были характерны уже классы, классовое сознание. Это можно назвать *мутацией тысяча сотого года*. Перед мутацией тысячного года (как ее понимали авторы нескольких исследований, сделанных с 1950 г.) она имела то преимущество, что произошла в действительности.

Тем не менее надо переосмыслить ее, где «отжав воду», где изложив аргументы Марка Блока и старой исторической школы (в особенности Поля Гийермоза). В самом деле, о каком-то подъеме мелких всадников в средневековых документах нет и упоминания. Подробное рассмотрение этого вопроса не входит в задачи настоящего исследования^[352]: молодое княжеское рыцарство слишком влечет к себе яркими реалиями, видными по хроникам, чтобы застревать в лабиринтах хартий XI в. или диссертаций XX в.! Социальный подъем в *направлении* рыцарства хорошо заметен повсюду. Но его совершает не какой-то класс воинов, поднимающихся за счет принадлежности к «рыцарству» (в техническом смысле «кавалерии»): это можно сказать только о сервах-министериалах, служащих монастырской или светской сеньории, которые обогащаются благодаря этой интендантской службе и при этом умеют приобрести внешность и образ жизни рыцарей, а значит знати. Мы видим, как некоторых из них разоблачают, им угрожают, но в целом их терпят. Все они вошли в состав рыцарства снизу, постепенно, совсем не путем торжественного посвящения. Они усвоили внешние признаки знати и рыцарства, чтобы окружающие забыли об их реальном статусе. С конца X в. (970 г.) сервы в Больё-сюр-Дордонь вооружаются копьями, а некий Стабилис, родившийся сервом святого Бенедикта и монахов Флери, скрылся от последних и стал кичиться конями, охотничьими собаками, соколами, вооруженной свитой и знатной супругой^[353]. Далее их статус подтверждали акты феодального взаимодействия: они приносили оммаж в руки за фьеф и вели судебные тяжбы на равных с представителями признанной знати.

В XI в. никому не приходило в голову создавать новых рыцарей декретами. Это историкам Нового времени иногда казалось, что такое происходило по взмаху волшебной палочки, но это противоречило бы всем феодальным принципам каролингского и посткаролингского сеньориального порядка. Напротив, феодальный конформизм проявлялся в том, чтобы перекрывать дорогу людям такого типа, устраивать против них процессы, добиваясь, чтобы всплыла истина об их социальном происхождении от сервов — даже если потом придется идти на компромисс с ними.

Посвящение в рыцари, происходившее во Франции и в Аквитании во второй половине XI в., имело ту же функцию, что и посвящение в воины, описанное Тацитом для древней Германии. Оно знаменовало совершеннолетие знатного наследника, представляло собой его торжественный прием без испытания если не в «общину», то по крайней мере в общество рыцарей, то есть взрослых феодалов, способных выдвигать притязания на свои права и отстаивать их. Рыцари проявляли себя прежде всего именно в этом, а уже во вторую очередь пытались прославиться в войнах князей и в играх. Таким образом, посвящение в рыцари было

источником малых войн и процессов, актов мести, антропологический анализ которых позволяет нам понять, что это было не просто необузданное варварство, но не обязывает считать их особо рыцарскими, то есть соразмерными или изысканными. Посвящение создает рыцаря, но не рыцарство в строгом смысле слова.

Остановимся на двух примерах, чтобы проиллюстрировать это важное положение, даже если это задержит нас на пути в герцогскую Нормандию.

Вот для начала запись, сделанная около 1070 г. с целью документально подтвердить на *plaid'e* право Мармутье на землю, переданную Бушаром Лильским. Впрочем, здесь можно усмотреть отголосок княжеских войн на Луаре:

«Есть в Турени замок, называемый Лиль (L'Ole). Некогда им по праву наследства владел рыцарь по имени Гуго. Он был старше двух своих братьев — Эмери и Жоффруа Фюэля. У Гуго был один сын по имени Бушар, которому, умирая, он оставил в наследство замок, когда тот был еще совсем ребенком. После его смерти граф Тибо [Тибо III Блуаский, побежденный при Нуи в Сен-Мартен-ле-Бо, 1037–1089/1090], под властью которого находилось графство Турен ь, подошел к замку, чтобы его принять под свою руку и посмотреть, на кого можно положиться. Но люди этого замка побоялись, как бы граф не передал его матери ребенка, которую они не любили. Поэтому, хотя они понимали, что ребенок, сын Гуго, — законный наследник, они не хотели впускать графа в замок, пока он не обязуется, выдав заложников, распорядиться замком только после совета с ними. Тем временем подоспел Эмери, брат Гуго; люди с радостью приняли его в замке, и Эмери через них потребовал от графа передать замок в наследство ему. Но граф не хотел обездоливать ребенка Бушара, зная, что это более законный наследник. Наконец он пошел на следующее соглашение: Эмери получит наследство, но не как наследник, а как представитель ребенка, на пятнадцать лет. Так он получил замок, а мать с ребенком уехала, и он держал его [замок] десять лет».

Потом он сделался монахом, но уступил свое право другому брату, Жоффруа Фюэлю, который тем самым стал противником своего племянника, когда того посвятили в рыцари.

«Что до ребенка Бушара, сына Гуго, отныне это взрослый человек — граф Тибо вручил ему рыцарское оружие; как законный наследник он изгнал своего дядю Жоффруа Фюэля и вернул себе свой замок Лиль»^[354].

Тем дело не кончилось, потому что война продолжалась: она предоставила юному Бушару возможность взять дядю в плен, но при этом он сжег приорат, колокольню которого означенный дядя использовал в качестве защитной башни... Во искупление данного преступления этот молодой человек, рано оказавшийся при смерти, сделал дар, который и составил основное содержание вышеозначенной записи. Однако его история проливает свет на многие реалии феодального соперничества: здесь раздор внутри сеньориального рода сочетается с борьбой между графами Блуаскими и Анжерскими (последние поддерживают Жоффруа Фюэля), а также дает возможность группировке рыцарей замка показать свою значимость — поначалу, когда они не впускают в замок супругу покойного сеньора. Кроме того, это одно из самых ранних упоминаний о посвящении в рыцари как свидетельстве вступления во взрослый возраст и в то же время свидетельстве поддержки юного рыцаря со стороны блуаского сюзерена в войне, которую первый вел за свои сеньориальные права.

Действительно, берегитесь, дядья-хищники, когда вашему сироте-племяннику, чьи права вы когда-то попрали, торжественно вручат оружие, поощрив его постоять за себя; он уверен в своем праве и иногда недостаточно себя сдерживает, хотя в техническом смысле этому учили всякого всадника (который одновременно шпорит и удерживает коня, как ему следовало бы делать и в отношении себя самого). Жоффруа из Вижуа, писавший в конце XII в., сохранил память о другом молодом человеке, посвященном в рыцари, современнике

Бушара Лильского; этого юношу погубила необузданность.

Вот семья виконтов Комборнских в Лимузене. Когда один из них умирал, оставляя сына, еще ребенка, по имени Эбль, он поручил охранять землю своему брату Бернару, больше доверяя ему, клирику, чем другому брату, виконту Тюренна. Увы — этот человек оказался не столь достойным доверия, как можно было подумать. В самом деле, Бернар «должен был растить ребенка до тех пор, пока тот не получит рыцарский пояс в надлежащем возрасте. В этот момент молодой человек потребовал отцовское наследство. Дядя отказал ему, и наследник стал изгнанником»^[355]. Надо полагать, хуже всего было то, что у мнимого клирика была жена и, значит, надежда на продолжение рода, что грозило Эблю окончательной утратой наследства. Этим, несомненно, и объясняется неистовство последнего. Он «захватил замок Комборн по договоренности с некоторыми» — опять-таки перед нами «измена», самый распространенный способ взятия замков. И там, «взяв в плен жену своего дяди, он публично изнасиловал ее, чтобы Бернар отверг ее по причине ее бесчестия» — так на самом деле часто происходило с изнасилованными женщинами, сколько бы невинными жертвами они ни были. Но дядя этого не сделал. Препятствием были не только или не столько любовь или сострадание к жене, сколько, бесспорно, репутация и могущество тестя. Зато он отомстил племяннику, сыграв на воинственности последнего. «С несколькими рыцарями он стал вызывающе разъезжать перед его замком, рассчитывая на его молодую порывистость, чтобы заманить в ловушку. Молодой человек безрассудно выехал из замка и последовал за дядей до окрестностей церкви Сен-Марсьяль в Эстиво, по дороге, ведущей из Алассака в Вижуа». Это станет не первым случаем, когда пылкий рыцарь, потревоженный в разгар празднества или пира, неосторожно рискнет головой и погибнет в неожиданной схватке. Эбля схватили и убили на месте. «Некоторые рассказывают, что дядя ранил его, нанеся низкий удар», — иными словами, отомстил ему в том же месте, через посредство которого прежде подвергся поруганию. Во всяком случае Эбль успел похристиански покаяться, прежде чем испустил дух: «Он вырвал свои волосы и бросил их в воздух, как делают, чтобы получить у Господа прощение грехов». Это классический жест расставания с мирским рыцарством, когда незадолго до смерти постригаются в монахи.

Пусть даже всё это и нельзя назвать совершенно незаконным и необузданным насилием, о настоящей изысканности, любви на расстоянии к идеализированной даме и растущей культуре нравов здесь тоже не приходится говорить! Во всяком случае понятно, что Церковь не спешила поручать своим епископам и клирикам благословлять эту типичную церемонию общества мести. Тем более что от пылкости юного посвященного часто страдала какая-нибудь из ее сеньорий. В его оправдание часто можно указать его потребность и желание экипироваться, поскольку, выдвигая претензию на какой-нибудь старинный дар своего семейства и подкрепляя ее несколькими грубыми заявлениями, он прежде всего рассчитывал добиться, чтобы за более или менее «окончательный» отказ от притязаний ему заплатили несколькими мелкими «подарками»: красивой парой обуви, седлом для коня, украшениями для молодой жены (или, если ее не было, шлюхи), всевозможными вещами, полезными для демонстрации знатности. Разве в этом не было смысла в ситуации, когда Стабилис и ему подобные вели себя вызывающе?

Сообщая, что такой-то молодой человек был «украшен» (*orné*) званием рыцаря или даже «возведен» (*ordonné*) в рыцари, тексты, написанные до 1100 г., обычно не уточняют, ни кто это сделал, ни по какому случаю. Но в тех случаях, когда нам, по счастью, известны подробности церемонии, ее обычно проводит граф — как граф Блуаский, посвятивший юного Бушара, — и происходит это событие во время важного собрания феодального двора. Или же текст перечисляет нескольких присутствующих рыцарей и тем самым обращает

особое внимание на сообщество, в которое вступает посвящаемый. Тогда имеет значение именно присутствие многих, поручительство некоего собрания на празднестве. Посвящение — это обряд интеграции в феодальную знать, и он может в большей или меньшей мере подчеркивать иерархию или равенство в ее среде, как и все ритуалы, связанные с вассалитетом^{356}. Этот мир дворов XI в. — феодальный, и неудивительно, если вассала посвящает сеньор, тем самым обозначая, акцентируя долг первого по отношению к себе. В то же время старинным обычаем были относительно дружеские отношения, солидарность между вассалами одного и того же сеньора, и мало-помалу посвящение, скорей, даже совместно с другими рыцарскими практиками, способствовало развитию некоего подобия отчетливого классового сознания, которое в первом феодальном веке выглядело менее явно выраженным.

У нас есть выразительные рассказы о том, что происходило после посвящения. К сожалению, о том, что ему предшествовало, источники тысяча сорока года сообщают меньше. Но как перед этим обучались обращению с оружием и общению, упражнялись в отправлении сеньориальной власти? Есть немало признаков, что посвящение часто бывало церемонией, знаменующей окончание «стажировки», то есть высшей придворной школы, где учили равно как говорить и управлять, так и сражаться. Таким образом, посвящение знатного барона было важной княжеской привилегией — хотя и не всегда.

Лучше всего это можно заметить в Нормандии благодаря «Церковной истории» Ордерика Виталия (написанной в первой половине XII в.). Прежде чем около 1050 г. перейти на «лучшую службу» (или в состав лучшего «рыцарства», *militia*), то есть в монастырь, Роберт де Гранмениль начал жизнь мирского рыцаря. Как в свое время Геральд Орильякский, он в детстве обучался одновременно грамоте и обращению с оружием. Далее он пять лет был оруженосцем герцога Вильгельма (тот, несомненно, родился в 1027 г. и едва ли был старше). После этого «герцог Вильгельм его с почестями опоясал оружием, и, став рыцарем, он был почтен множеством даров»^{357}. Позже тот же герцог во время приезда в замок Френе посвятил отпрыска знатного сеньориального семейства, которое имело крупные владения у границ Мэна, — Роберта Беллемского. Возможно, тот не входил в окружение герцога, но во всяком случае присоединился к окружению его старшего сына, Роберта Короткие Штаны: обряд состоялся в 1073 г. и, так же как начало их тесного общения, совпадает по времени с натиском нормандцев на графство Мэн^{358}. Когда группа представителей этой молодежи решила восстать против него, Вильгельм Завоеватель мог, согласно Ордерику Виталию, пожалеть о неблагодарности «вассалов, которых возвысил я сам, даровав им рыцарское оружие»^{359}. Нескольких из «своих» посвященных он впоследствии сурово наказал — осудил на изгнание^{360}.

Итак, по всей видимости, посвящение в XI в. было церемонией, происходившей по преимуществу с участием князей, и заботы ее участников имели очень феодальный характер. Рост его значимости не свидетельствует ни о кристаллизации некоего нового класса, ни о рождении нового института в строгом смысле слова. Он скорее был связан с поиском юридических норм и обогащением церемониала, занимавшего важное место в жизни знати. Можно даже задаться вопросом, не давало ли это возможность создать полезный контрапункт к усилению княжеской власти над сеньорами и рыцарями замков, напоминая им об общем достоинстве благородных воинов. В этом плане оно наиболее явно перекликается с развитием других рыцарских обычаев, прежде всего игр и подвигов.

Четвертый и пятый капетингские короли сами получили посвящение. В ритуал миропомазания входила передача меча, но в у них возраст достижения совершеннолетия не

совпал с возрастом миропомазания. Филипп I, миропомазанный в 1059 г. в возрасте семи лет, незадолго до смерти отца (1060 г.), сначала царствовал под подобием опеки со стороны графа Фландрского Балдуина V «Лилльского», который посвятил его по достижении пятнадцати лет (1067 г.), что представляло собой нечто вроде передачи полномочий. Об этом факте между прочим напомнил в 1087 г. сын посвятителя как о предмете гордости^{361}. Что касается Людовика VI, сына Филиппа I, он наследовал последнему только в возрасте двадцати семи лет, в 1108 г. а семейные дразги с мачехой Бертрадой де Монфор и сводными братьями не позволили ему получить миропомазание при жизни отца, поэтому он был только назначенным королем. Однако в 1098 г., как мимоходом упоминается в письме одного епископа^{362}, Людовика посвятил граф Понтъё, а не отец, с которым Людовик тогда, вероятно, был в ссоре. Эти посвящения оповещали феодальный мир о появлении нового государя, претендующего на всю полноту положенной ему власти. Их воздействие еще трудно оценить, поскольку оба источника в некотором отношении уникальны (как в свое время страницы «Астронома», сообщающие о посвящениях Каролингов). А позже (около 1144 г.) аббат Сугерий, написав «Жизнь Людовика VI», ни слова не сказал о посвящении 1098 г. и, напротив, особо выделил миропомазание 1108 г., якобы наделившее короля «рыцарским» достоинством иного качества^{363}.

Как же обстояло с этим дело в роду герцогов Нормандских? Ни намека на посвящение нельзя встретить в «Истории первых герцогов» (герцогов X в.), которая была написана между 1015 и 1026 гг. Дудон-ом Сен-Кантенским, хотя она переполнена похвалами их доблести, справедливости, заботе о церквях и бедняках. Говоря о восшествии герцогов на престол, Дудон упоминает оммажи знатных нормандцев, а Рауль Глабер в частности пишет о «вассальных клятвах», которые в 1035 г. были принесены ребенку Вильгельму по случаю его восшествия на герцогский престол^{364}.

Интересно свидетельство Гильома Пуатевинского в его очень апологетической «Истории» означенного Вильгельма, написанной около 1075 г. В 1042 г. герцогу было около пятнадцати лет, он был взрослым «более по разумению блага и по телесной силе, чем по возрасту», — и поэтому «все, кто желал мира и правосудия» в Нормандии^{365}, были довольны началом его правления. «Он принял рыцарское оружие» — или даже, как перевела великий медиевист Раймонда Форвиль, «был удостоен рыцарства» (*fut arme chevalier*). Однако Гильом Пуатевинский предпочитает описывать своего героя, чем воспроизводить (или придумывать) ритуал либо упоминать вероятного посвятителя, которым вполне мог быть король Генрих I. «Когда он держал поводья, препоясанный мечом, блистая щитом, наводя страх шлемом и копьем, — уверяет Гильом, — это было зрелище сколь приятное взору, столь и грозное». Всё это выявляло в нем «смелость и мужескую силу», и весть об этой демонстрации удали (*parade*; какое слово больше сюда подходит?) «приводила в трепет всю Францию». Воистину в Галлии не было «посвященного рыцаря, о котором говорили бы столько хорошего»^{366}.

Это герцог-солнце. Гильом Пуатевинский, сам бывший рыцарь, первым выразил такое восхищение ярким блеском оружия, обратил столько внимания на то, какое зрелище представляет собой молодой, блистательный и сильный рыцарь. И быстро последовали действия, подтверждения, что впечатление было не ложным: герцог Вильгельм начал борьбу с бесчинствами, с «вольностью», которая воцарилась после смерти его отца Роберта Великолепного в 1035 г. Он защищал церкви и слабых, запрещал убийства и грабежи, творил справедливый и умеренный суд. Главное, что он изгнал дурных советников, смело противостоял внешним врагам и «по-настоящему требовал от своих службы, каковой они

были ему обязаны»^{367}.

Это, конечно, пришествие сеньора, притязающего на всё, чем он может воспользоваться. Но это и пришествие феодального, посткаролингского князя, сделанного из того же материала, что и короли^{95}. Он считает нужным ополчиться на «освященную обычаями свободу» отдельных магнатов^{368} — источник «вольности», в которой какой-нибудь Тацит скорее увидел бы гарантию «доблести». В самом деле, с этого пришествия начинаются бои его юности — с кузеном, потом с мятежным дядей, которые владели замками, а далее с его видными соседями и партнерами — королем Генрихом, графом Жоффруа.

Наконец, «досье» Вильгельма Завоевателя в том виде, каким располагаем мы, содержит сведения еще об одном посвящении. Это источник затруднений для всех историков. Они в основном предпочитают говорить о «псевдопосвящении» Вильгельмом в 1064 г. Гарольда Годвинсона, его английского соперника, ритуал которого изображает знаменитейший гобелен из Байё (см. иллюстрированные вкладки). Меня оно тоже несколько смущает. Но даже если оно не наделяло сеньориальным «совершеннолетием», повод ли это, чтобы отказываться от слова «посвящение»?

Как «История» Гильома Пуатевинского, как «Песнь о битве при Гастингсе» Ги Амьенского, гобелен из Байё — это рассказ, рассчитанный на оправдание завоевания Англии в 1066 г., которое, правду сказать, в оправдании нуждается. Все эти источники, синоптические, изображают поражение и гибель Гарольда при Гастингсе как Божью кару за клятвопреступление в 1064 г. Действительно, во время его поездки в Нормандию герцог Вильгельм в 1064 г. оказал ему покровительство (и даже освободил из плена), а также принял у себя при дворе. Там Гарольд принес ему «клятву верности по священному обряду христиан»^{369}, то есть возложив руку на реликвии, а именно: обязался обеспечить ему корону Англии после смерти Эдуарда Исповедника (которая случится 3 января 1066 г.). Гобелен наглядно изображает эту клятву, помещая ее на центральное место среди изображений, относящихся к 1064 г., напротив изображений 1066 г.: в самом деле, эта картина имеет стратегическое значение как демонстрация Божьего суда в пользу Вильгельма. Однако не сделано и попытки изобразить оммаж в руки и передачу фьефа, подчеркнута упомянутые Гильомом Пуатевинским. Зато на сцене 21-й гобелена показано, как герцог Вильгельм «дает оружие Гарольду». На обоих — чешуйчатые брони из пластинок, усиленные нагрудниками, и Гарольд вкладывает меч не в ножны, а в прорезь в броне. С другой стороны, Вильгельм протянул левую руку к шее Гарольда, слегка касаясь ее или даже трогая либо ударяя, словно нанося удар *colée*.

Вильгельм Завоеватель, возможно, не «посвящал» таким образом Гарольда Годвинсона. Вывод о том, что такой ритуал имел место, можно сделать только на основе гобелена из Байё, поскольку Гильом Пуатевинский довольствуется сообщением, что герцог предоставил англичанину и его свите рыцарское оружие и отборных коней, необходимых для похода в Бретань.

Но интересней понять, *желали* ли авторы гобелена, «вышивая» на исторической канве, изобразить именно посвящение и тем самым подчинение, налагавшее долг, который был бы сравним с долгом нормандских вассалов, отягчающим их вину в случае восстания. Думаю, что да. Если согласиться с этим историкам трудно, то потому, что посвящение слишком прочно связывали с совершеннолетием. В самом деле, ранее — как впрочем и в дальнейшем — дело обстояло именно таким образом. Но нельзя ли усмотреть в этом еще и пережиток обрядов передачи оружия раннего Средневековья, совершавшихся в более разнообразных и менее стереотипных обстоятельствах? В таком случае это был бы последний пример

подобной передачи и вместе с тем доказательство важности личной связи между посвятителем и посвящаемым, даже при классических посвящениях в рыцари. В конце концов, возможно, концепция таких посвящений, тем более в первый их период (1060–1100 гг.), еще не совсем устоялась.

Для всякого ритуала возможны разные интерпретации — однозначен он только в рамках одной из них. Часто посвящение считалось *одновременно* признанием совершеннолетия и княжеским даром, открывающим кредит доверия. Так было, когда Вильгельм в 1073 г. передавал оружие юному Роберту Беллемскому. Но иногда посвятитель не допускал подобной многозначности и даже избегал ее. Так было, когда герцог Вильгельм, если верить Гильому Пуатевинскому, посвятил себя сам около 1042 г.: это знаменовало *только* его вступление во взрослый возраст. Здесь, на гобелене, тот же герцог, в представлении автора рисунка, посвящает Гарольда *только* с тем, чтобы поставить на нем свой знак.

Исторические книги — учебные, академические — настоятельно учат различать оммаж и посвящение: первый — вассальный обряд, второе — рыцарский. Они правы: различать эти обряды *надо*. Но надо ли их относить к сферам, совершенно чуждым друг другу? Нет. Такая эпопея XII в., как «Рауль Камбрейский», одна из главных сюжетных линий которой — связь между героем и его вассалом Бернье, упоминает поочередно, практически подменяя одно другим (часто ради сохранения ритма и ради рифмы), принесенный оммаж и полученное посвящение. Авторы гобелена из Байё, в которой есть нечто от эпопей, видимо, избрали последнее, предпочтя его первому — по той или иной причине. Не откажем себе в удовольствии и не станем отбрасывать первое — очень показательное толкование посвящения в рыцари на рисунке.

Итак, посвящение — это практика, которая разрабатывалась или перерабатывалась, несомненно, обогащалась и приобретала новые оттенки смысла в течение XI в., сначала, по-видимому, в отношении «главных рыцарей» — исключительно королей и герцогов — и при княжеских дворах, прежде чем распространиться шире. Безусловно, оно было признанием знатности, почетным для нового члена сообщества, и явно еще в большей мере, чем оммаж. Довольно скоро оно на самом деле становится существенной деталью биографии, характерной для *рыцаря*, которого признают таковым во всех странах, лишь бы этому не противоречили его манеры и поступки. В некотором смысле, пусть даже существовало множество нюансов и целая градация «рыцарского достоинства» у разных рыцарей, от короля до всадника из «средней знати», все-таки сформировалось некое почетное сообщество, включающее всех рыцарей — и очень подходящее, чтобы укрепить, по контрасту, их презрение к низости сервов. И, однако, можно ли сказать, что рост значимости посвящения знаменовал ослабление давления на вассалов со стороны королей и князей? Не был ли он, как и вообще возникновение классического рыцарства, некой компенсацией — во внешнем, зрелищном плане — ужесточения сюзеренитета, натиска князей на «свободы» сеньоров?

Ведь посвящение наследников часто выглядит составной частью стратегии князей, имеющей достаточно антифеодальную направленность.

Усиление княжеской власти в XII в. часто привлекало внимание историков Нового времени, по крайней мере со времен появления методической школы 1875 г., мусолившей слишком простую парадигму «король против феодалов». Еще до 1911 г. великий Ашиль Люшер смог увидеть в тысяча сотом годе переломный момент в истории институтов. Разве владельцы крупных сеньорий не начали тогда уточнять границы своих земель? То есть не перешли к захватам территорий, прежде всего ради сбора податей (*taxes*), которые уже следует называть налогами (*impots*)? Эти крупные сеньоры неизменно присваивали собственность феодалов и даже, под предлогом защиты и «сохранения», церковную. Они организовывали линии обороны при помощи по-настоящему укрепленных замков. И издавали законы об общественном мире. Все это часто происходило при поддержке городских (коммунальных) элит и всегда при помощи специализированного персонала. И Люшер воскликнул: «Борьба знатных баронов против феодалов! неожиданное зрелище...»^[370]

Рассматривая эту административную и управленческую эволюцию, историки Нового времени часто видели в герцогской Нормандии пионера (и даже нетипичную, исключительную территорию). Казалось, от наследования власти сильным вождем викингов она сразу перешла к функциональному подъему англо-нормандского государства неслыханных по тем временам размеров. Эпохой Вильгельма Завоевателя, прежде всего периодом после 1066 г., сначала датировали всю систему делегирования власти высокопоставленным чиновникам на время отлучек государя за Ла-Манш (и *vice versa*) или же запрет на частные войны, записанные черным по белому (а то и шахматной доской^[96]). Но недавние исследования показали, что главным строителем нормандских институтов в конечном счете, скорей, уж был его младший сын Генрих Боклерк (герцог с 1106 по 1135 г.): это ему своим появлением были обязаны юстициарии Нормандии, множество донжонов, это при нем провели первое расследование о службе держателей арьер-фьефов (епископа Байё, в 1133 г.), результаты которого сохранились^[371]. Эти меры вызвали со стороны Ордера Виталия похвалу за поддержание порядка, а также критику чрезмерной активности судей и сборщиков налогов, которые, если верить ему, были хуже рыцарей-грабителей^[372], — Ордери так же отличался непоследовательностью, как Тацит, Григорий Турский и, может быть, любой великий историк.

В то же время заметили, что главной соперницей (и даже наставницей) Нормандии была соседняя Фландрия, более урбанизированная, особенно со времен графа Роберта Фриза, одержавшего политическую победу в 1071 г. в странном сражении при Касселе^[97]. При этом не оспаривался вклад Англии в нормандскую «модернизацию» как, несомненно, сильнейшей монархии в Европе тысячного года, равно как и пример, который подавала эта страна.

Впрочем, работы Карла Фердинанда Вернера реабилитировали некоторых французских князей XI в. с их попытками улучшить управление, со связностью их прав собственности, определенной юридической культурой (римской) некоторых клириков (как упоминаемый здесь Гильом Пуатевинский, который точнее Рихера Реймского). Не будь у этого автора неуместного типичного рассказа о феодальной мутации тысячного года, наблюдения, сделанные им над графами Анжерскими, Блуаскими, Пуатевинскими, Барселонскими, были бы очень ценными — крайне ценными. В XI в. следовало бы увидеть тенденцию к усилению князей, чем независимость сеньоров-шателенов. Или скорей говорить о динамическом противоречии между тенденциями центробежными и автономистскими, какие неизбежно имелись у некоторых из этих крупных сеньоров, и о реакции региональных князей, часто

опирающихся на церкви и города, — если эти явления не провоцировали друг друга. Тогда поведение Вильгельма Завоевателя в Нормандии в период между 1035 и 1066 гг. выглядело бы, скорее, характерным, чем специфическими.

Создается впечатление, что историки Нового времени преувеличивали силу сеньоров замков. Разве печальная история Бушара Лильского не показывает, с какими количеством действующих игроков им приходилось считаться? Чтобы править, региональные графы могли Рассчитывать на распри между рыцарями замков, на раздоры внутри семей из-за наследства, а также — как показывает «*Convention*» в отношении Пуату — на преданность вышестоящим лицам, какую было положено хранить. Последние, короли или князья, неизбежно доминировали в феодальной среде, даже если и не контролировали всю игру. У них в руках были судебные доходы, денежные средства, все козыри. Некоторые знатные бароны — вассалы князей, люди такого калибра, как сеньоры Беллема в Нормандии или Лузиньяны в Пуату, тоже извлекали выгоду из усиления власти.

Как бы то ни было, Вильгельм Завоеватель как государь Нормандии сумел энергично и с опережением воспользоваться всеми этими возможностями. Настоящие, нелегкие испытания юности в 1035–1042 гг. его закалили. Вновь и вновь облачаясь в рыцарские доспехи, он спешил снести каждый по-настоящему сильный замок либо поставить в нем гарнизон. Он умел не щадить себя, идти навстречу опасности, например, внезапно отправившись к замку Арк в 1052 или 1053 г. Гильом Пуатевинский видит в этом прекрасное свидетельство смелости: разведчики предостерегали его и убеждали подождать, пока не подойдут основные силы. «Двигаться дальше со слабым отрядом значило бы подвергнуться большой опасности». Он остался тверд «и заверил в ответ, что мятежники не посмеют ничего предпринять против него, если будут знать, что он близко»^{373}. И, конечно, не ошибся: он был одновременно храбр и осторожен.

Двумя крупными возмущениями, особенно заметными в период правления молодого Вильгельма, были мятежи Ги де Брионна, его кузена, в 1047 г. и Гильома д'Арка, его дяди по отцу, в 1052–1053 гг. Всякий раз дело начиналось с некоего подобия придворной интриги, «заговора», в ходе которого мятежники вербовали сторонников, причем и первый, и второй фактически рассчитывали княжить, сместить Вильгельма с герцогского престола. В 1047 г. Ги и его клика подняли настоящее вооруженное восстание против герцога, сойдясь с ним в схватке в бою при Валь-э-Дюне, но на стороне Вильгельма выступил король Генрих I. Возможно, король, скорее, предложил свое посредничество, чем поддержал герцога или поощрял его. Но, так или иначе, присутствие короля защитило Вильгельма. Оно не стало помехой настоящему бою и, возможно, прежде всего беспорядочному бегству всадников, пришедших вместе с Ги. После этого последний укрылся в Брионне, который герцогская блокада обрекла на голод, и Ги был вынужден просить пощады.

После этого герцог Вильгельм помог королю, своему сеньору, в войнах с графом Анжуйским, осадив вместе с ним в 1048 г. замок Мулиэрн, а потом, в 1052 г., двинувшись на Домфрон, в то время как король вступил в Турень.

Но тогда же недовольство герцогом, своим племянником, начал проявлять Гильом д'Арк, «вопреки клятве верности и оммажу, каковые прежде принес»^{374}. Герцог имел право упрекнуть его в «дезертирстве из своего оста» при Домфроне, так как тот уехал без разрешения, и захватить замок Арк. Вильгельм разместил там гарнизон, который, однако, его предал, подкупленный Гильомом д'Арком. Тогда началась осада Арка, во многом похожая на осаду Брионна. Это была блокада, сломившая сопротивление осажденных (в 1052 или 1053 г.). Скорее неожиданной была помощь им со стороны самого короля Генриха I, пославшего им подкрепления и субсидии и тем самым выступившего против герцога Вильгельма.

Впоследствии король, переменявший лагерь, и граф Анжуйский объединялись против Вильгельма в 1054 и 1058 гг., — но, как мы увидим, ничего не добились.

Эти перипетии известны нам обрывочно. Самое развернутое свидетельство принадлежит Гильому Пуатевинскому, очень пристрастному в пользу герцога. Он едва не путает все наши карты, убеждая, что противник кругом неправ. Замки с того самого дня, когда их сеньор делается мятежником, становятся источником грабежей, притеснения церковей, земледельцев, купцов — которым герцог оказывает всяческое покровительство. Восставшие вассалы, неблагодарные, предатели и клятвопреступники, творят грабежи и разбой — а герцог утверждает мир.

После этого, согласно Гильому Пуатевинскому, герцог Вильгельм отличился милосердием. Он выказал «добродетельную умеренность», помиловал обоих родственников. Ги де Брионну он даже позволил себя разжалобить: «тронутый родственными связями, мольбами и несчастьем побежденного», он забрал у того только замок и позволил ему остаться при своем дворе. Одни только угрызения совести побудили последнего вернуться в Бургундию^{375}. Однако, открыв «Церковную историю» Ордерика Виталия, мы прочтем, что тот был «изгнан как враг общества»^{376}. Такие же расхождения и в отношении судьбы Гильома д'Арка. Официально герцог, его племянник, предоставил ему право остаться на родине, но все-таки, похоже, вынудил «избрать» изгнание. И если он избавил последнего от позора, не лишив владений, то разве не навязал ему обряд *harmiscara* (фр. *hachée*), как и прочим защитникам Арка, сломленным голодом?

В самом деле, у Гильома Пуатевинского вызывает полный восторг плачевное зрелище выхода французских рыцарей, отправленных в качестве подкрепления Генрихом I, из ворот. «Еще вчера столь голодные, они склонили головы, столько же от стыда, сколь от истощения». И, главное, «большинство из них с великим трудом несло седло своего коня на ослабевшем и сгорбленном хребте; иным было очень трудно самим держаться на ногах, так они шатались...»^{377} Вот впечатляющее описание той унижительной *harmiscara*, которую мы уже встречали в документах 830-х гг.^{378} Она являет здесь «прискорбное зрелище», перекликающееся с «приятным взору и грозным зрелищем» посвящения герцога. В то же время она — и результат этого посвящения, потому что это оно придало князю энергии. Тем не менее она, несомненно, сохранила некий двойственный характер: чтобы ей подвергнуться, все-таки следовало быть рыцарем, и она избавляла от всякого иного наказания, причем униженный таким образом рыцарь все-таки не был с тех пор заклеямен позором навсегда и повсюду. Стоило ему набраться сил, наевшись мяса, стоило ему блеснуть в другом месте доблестью, и его репутация восстанавливалась! Перенесенная однажды *harmiscara* не закрывала перед ним никаких путей...

Тем не менее, несмотря на все старания Гильома Пуатевинского придать своему герою черты доброго Геральда Орильякского, милосердного к врагам или запрещающего своему осту любой грабеж, даже во время справедливой войны, мы хорошо ощущаем, что Вильгельм Нормандский был князем очень жестким, одним из тех, кто вновь придал герцогской власти суровый характер. Он сделался куда более грозным для нормандских сеньоров, чем Гильом Великий был для сеньоров Аквитании во времена Адемара Шабаннского. Скорей, в нем было нечто от Фулька Нерра и от Жоффруа Мартелла, который, как мы увидим, его уважал. То же умение урезать феодальные наследства, здесь — содержать наемников на доходы от конфискованных фьефов. Те же старания не допустить, чтобы при нем у этого феодального владения был один-единственный держатель.

И если завоевание Англии в 1066 г. дало Вильгельму возможность быть щедрым с

рыцарями своего оста, вассалами или наемниками, то волнения последующих лет несколько раз заставили его отреагировать резко. Многие сеньоры и клирики как до 1066 г., так и после испытали на себе его немилость. Он брал пленных, которых после не отпускал. Иными словами, у его милосердия действительно были пределы; в конечном счете из рыцарских качеств ему была более свойственна храбрость, нежели великодушие.

По сравнению с ним его старший сын Роберт Короткие Штаны после 1087 г. будет склонен возвращать наследства и освобождать знатных пленников. Ордрик Виталий это отмечает, но непохоже, чтобы одобряет, к тому же правление Роберта в его описании выглядит слабым: притязаниям вассалов герцог противостоять не умеет и расточает большие средства на пиры, обогащая жонглеров и девок. Так что Ордерику оставалось лишь оправдывать и приветствовать приход нового сильного князя.

В самом деле, по истечении 1106 г. воссоединение Англии и Нормандии усилило могущество последнего сына Вильгельма Завоевателя — Генриха, которого принято называть «Боклерк» (Добрый клирик). Он заслужил это прозвище, обеспечив церквям мир исполнением «рыцарской функции», достойной королей и графов каролингской традиции и особо подчеркнутой той формой, в какой Ордрик Виталий описал его посвящение архиепископом Ланфранком^[98]. Это тоже был человек не из деликатных, рыцарь в самом расхожем смысле слова. Такой вывод можно сделать, прочитав Ордрика Виталия. Генрих нарушил фундаментальное правило, арестовав у себя при дворе и заточив пожизненно того самого Роберта Беллемского, которого Вильгельм Завоеватель в 1073 г. посвятил. Правда, Роберт обличается как сеньор-тиран, но в большей ли мере он заслуживал этого названия, чем другие? Был ли он виновен сверх меры, или тем самым Генрих ему отомстил?

В то же время церемония посвящения расширила круг политического общения Генриха Боклерка. Это почти что оптическая иллюзия: он, конечно, «делал» рыцарей, совершая великодушные посвящения, но удерживал наследство этих молодых людей (получая доходы с него) так долго, как только мог. Это был изящный способ освобождать их от посторонних забот, когда ему это зачем-либо было нужно, — и изображать их своими должниками, что усугубляло вину «его» посвященных, если они впоследствии восстанут^[379].

Впрочем, Генрих Боклерк не всегда хорошо обходился с рыцарями. Ордрик Виталий особо отмечает его жестокость по отношению к Люку де ла Барру, пленному рыцарю из мятежного оста 1124 г.^[380] На сей раз монарх бросил вызов рыцарскому общественному мнению, хотя в других случаях ему случалось апеллировать к этому мнению и идти ему на уступки. Связь между усилением власти государей и подъемом классического рыцарства была одновременно прочной и неоднозначной.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ХРАБРОСТИ

Но разве рыцарство *сводится* к посвящению? И даже разве это главное для рыцарства на рубеже тысяча сотого года в Северной Франции, в среде, окружающей нормандских герцогов? Как мы только что видели на примере злосчастного сочинителя песен, для рыцаря были существенны репутация смельчака и знатока игр, шуток — что касается игр, это неоспоримый элемент репутации.

Во всяком случае, что касается храбрости, то вернемся к Вильгельму Завоевателю. Гильом Пуатевинский, как хороший апологет, именно это качество с удовольствием подчеркнул несколько раз. Лыстил ли он герцогу? Конечно. Лгал ли он по сути? Не думаю, ведь, с другой стороны, Гильом не пытался выдать герцога за образованного человека, каким тот в самом деле не был.

«История», написанная им около 1075 г., — текст крайне ценный, капитально важная веха для изучения зачатков классического рыцарства, ведь здесь видно, что понятие чести, присутствовавшее уже в книге Рихера Реймского о событиях X в., вдруг распространяется на весь феодальный мир, и автор в то же время обращает внимание на организованную систему подвигов, использование эмблем и важное значение репутации. За материальными соображениями и феодальными сделками он видит стремление сохранить честь, тем самым трансформируя их. Герцог, как и король Франции, мстит за оскорбленную честь. Он добивается славы^{381}. Когда граф Анжуйский дрогнул, «для герцога Нормандского открылись все возможности двинуться вперед, чтобы разграбить богатства врага» (то есть его крестьян) и «покрыть имя противника вечным позором»^{382} (то есть, если снизим пафос и сразу перейдем к последствиям, временно задеть его самолюбие, дав ему повод мстить нормандским крестьянам).

Но Жоффруа Мартелл все-таки был знаменитым воином^{383}. Об этом лучше напомнить, ведь отвага нормандцев тут же переходит в умеренность: герцог Вильгельм предпочитает не пользоваться представившейся возможностью — на самом деле из осторожности, но, по мнению своего апологета, демонстрируя, что «быть сильным значит уметь воздержаться от мести, даже когда ее можно осуществить»^{384}. Замечание не то чтобы ложное, но слишком удобное.

Не часто случалось — собственно, это было внове, — чтобы хронист отмечал, как князь испытывает подлинное удовольствие на каких-то стадиях выполнения своей «воинской задачи». У Гильома Пуатевинского это обнаруживается не только в заявлении, что герцогу легко было осаждать Арк в 1053 или 1054 г.^{385} — когда он морил защитников замка голодом: еще за четыре года до этого, во время марша на Домфрон, будущий Вильгельм Завоеватель охотился, чтобы воспользоваться изобилием дичи в этой местности и показать, что он может уверенно ездить, где захочет. «Это область лесистая [назовем ее нормандской Швейцарией] и богатая крупной дичью. Он часто забавлялся, выпуская соколов, а еще чаще развлекался полетом ястребов»^{386}.^[99] Словно на увеселительной прогулке.

На княжеские войны собирались самые многочисленные осты, поэтому такие войны давали больше всего возможностей для *встреч* в хорошей компании — равно как и *кампании*. Поэтому естественно, что все были охвачены желанием показать себя. В осте Вильгельма, действовавшем против Гильома д'Арка в 1052 г., иных «окрыляла надежда прославиться, совершив достопамятное деяние»: они устроили засаду, напали на французов, пришедших на помощь аркскому мятежнику, убили одного графа (Ангеррана де Понтё), взяли в плен одного магната и принудили короля Генриха I к «позорному бегству»^{387}. Что вызвало в них

такую жажду подвигов и почестей? Может быть, знакомство с эпическими поэмами, историями об Изембарде, о Роланде — на которые мимоходом намекнул Гильом Пуатевинский^{388} ^[100]. Но еще и надежда на новые приобретения, о чем он недвусмысленно сообщил, упомянув, как его герой, герцог, двумя годами раньше задумал набег на окрестности Домфрона. «Он выступил с пятьюдесятью рыцарями, желавшими кое-что прибавить к своему жалованью»^{389}. Но об этом замысле прознал противник «из-за вероломства одного из магнатов Нормандии» (Гильома д'Арка?). И вот молодой герцог захвачен врасплох, ему грозит опасность попасть в плен: «Триста рыцарей и шестьсот пехотинцев атаковали его с тыла, внезапно. Но он развернулся. Он бестрепетно встретил натиск врага и поверг наземь того, кого наибольшая дерзость побудила напасть первым». Другие не проявили упорства, несмотря на численное превосходство. Запал их покинул — они, несомненно, побоялись убить столь высокопоставленное лицо (как недавно мятежники). Они бежали к стенам Домфрона и почти все за ними укрылись, кроме одного, кого «герцог пленил собственноручно»^{390}.

Ведь герцог Вильгельм во всем блеске своих двадцати лет был одним из самых пылких бойцов. При осаде Мулиэрна в 1049 г. он сделал себе имя. Король Генрих I, командовавший остом, оказывал ему большой почет на советах, но находил слишком воинственным. Разве тот не вызывался на бой то здесь, то там, даже если при нем было не более десяти воинов? Король сам в молодости отличался горячностью, он даже показал это в борьбе против своего отца Роберта Благочестивого и матери Констанции Арльской, а с другой стороны, создал себе прочную репутацию энергичного рыцаря; но ему было уже не двадцать лет, ему было под сорок, и опыт у него пересиливал пылкость. Поэтому он советовал молодому герцогу быть осторожней и упрекал в том, что тот рискует жизнью — притом добавляя, что герцог представляет собой его самую надежную опору. Слова любезные и не то чтобы совсем необоснованные — ведь главной опасностью казался плен, а как-то раз большинство нормандских рыцарей, потеряв из виду своего молодого герцога, сразу же оценило ситуацию неверно^{391}. Дело в том, что он ускакал, не предупредив их, «куда глаза глядят» (*a l'aventure*), как смело, но вполне обоснованно перевела Раймонда Форвиль слово *propalatur*. А потом внезапно появилось пятнадцать вражеских рыцарей, «надменно сидящих на конях и облаченных в доспехи»; надо понимать, что они вели себя вызывающе, и герцог «тотчас ринулся на них, направил копье на самого дерзкого и попытался его пронзить». И в самом деле «он раздробил тому бедро и сбросил наземь». После этого он бросился в погоню за остальными, далеко оторвался от своих и, наконец, привел семь пленников. Он обладал пылкостью Эрека, Ланселота, Персеваля; может показаться, что дело происходит в романе Кретьена де Труа.

Нельзя сказать, чтобы король Генрих был так уж и неправ, распекая его за это и упрекая в «неумеренном бахвальстве силой»^{392}: герцогу и самому вполне могли раздробить бедро, как тому рыцарю, которого он вышиб из седла. А добрый вассал должен беречь себя, чтобы служить сеньору, и не гибнуть из пустого тщеславия. Но Гильом Пуатевинский придает этим почти отеческим упрекам оттенок изрядной досады, создавая впечатление, что Генрих I также опасается, как бы Вильгельм не затмил его самого. С того момента начались трения между королем и молодым вассалом, ведущим себя как самовлюбленный рыцарь, одержимо домогающийся славы. Гильом Пуатевинский не отрицает этого — он это только извиняет.

И притом служба королю — не единственное, чем озабочен будущий Вильгельм Завоеватель. Он еще горит желанием внушить уважение противнику, по великой героической традиции. И ему это удастся, ведь «с тех пор Жоффруа Мартелл любил повторять, что, как он

полагает, под небесами нет рыцаря, равного графу нормандцев»^{393}. Да, он, несомненно, так полагал, но подобные заявления служили его политическим задачам, состоящим в том, чтобы переманить Вильгельма от короля Генриха на свою сторону.

Следующая запись еще важнее, пусть даже выглядит все такой же неумеренной похвалой по адресу героя. Действительно, так же как герцог Аквитанский Гильом Великий, Вильгельм Завоеватель принимал дары, что подтверждало его широкую известность. Но Аквитанец получал сокровища, драгоценности, мечи. А Нормандцу доставались кони: «Из Гаскони, из Оверни могущественные мужи посылали или приводили ему коней — облагороженных, выделенных среди прочих тем, что имели собственное имя. Так же поступали и испанские короли...» Это, насколько мне известно, первое упоминание об именах коней, благодаря чему они соответствуют знатности всадника.

В этом месте «История» Гильома Пуатевинского — уже не такой же текст, как прочие, а настоящий фейерверк, который приветствует и знаменует изобретение классического рыцарства. В самом деле, вот как будто честный вызов, выраженный намного более явственно, чем при Конкерее в описании Рихера, когда противник в то же время устроил ловушки. В 1053 или 1054 г. герцог Вильгельм осаждает Домфрон; приближается ост Жоффруа Мартелла. Вильгельм посылает к нему двух баронов, молодых и отважных, чтобы выяснить его намерения. Может быть, герцог хочет избежать боя? Через герольда (*classicus*) Жоффруа Мартелл передает им, что придет на заре, чтобы «разбудить часовых» их сеньора. И «заранее сообщает, каковы будут в бою его конь, его щит, его вооружение»^{394}. Оба молодых человека гордо отвечают, что Вильгельм опередит его, и «в свою очередь описывают его коня, снаряжение и *les armes* их сеньора». *Les armes*: имеются в виду оружие или герб? Эту страницу часто цитируют в исследованиях Нового времени, посвященных зарождению европейской геральдики, очень точно совпадающему по времени с появлением классического рыцарства; она, как мы увидим, была почти неотделима от последнего. После этого герцог переходит в наступление, но Жоффруа Мартелл бежит: трусость или осторожность? Или он хотел неожиданно напасть на короля Генриха, который, будь он предупрежден о вызове, направленном Вильгельму, мог бы, ни о чем не подозревая, двинуться со своим остом и попасть под удар Жоффруа там, где не ждал?

В другой раз — новое нормандское послание, адресованное Жоффруа Мартеллу: герцог предупреждает своего противника о строительстве замка Амбриер на его земле. Какая смелость со стороны Вильгельма Завоевателя! — восклицает Гильом Пуатевинский. Сила и коварство графа Анжуйского повергают в трепет соседей, но не Вильгельма, «и самое удивительное, что, далекий от мысли напасть на врага неожиданно, застать его врасплох, он предупреждает его за сорок дней, сообщая место, дату и мотив своих действий»^{395}.

Правду сказать, проявлением храбрости как раз было бы безотлагательное нападение, ведь эти сорок дней в конечном счете дали возможность для переговоров, и отправка этого послания, которое Гильом Пуатевинский толкует как рыцарское, отнюдь не была продиктована логикой феодальных войн. Действительно, в данном конкретном случае были назначены переговоры, на которые Анжуец не явился, но во время его ответного наступления в конечном итоге произошла стычка, и его ост бежал.

В следующий раз, в 1054 г., Вильгельм послал герольда известить короля Генриха I о победе, которую он только что одержал над колонной, которой командовали Эд, брат короля, и Рено^{396}. Это сообщение побудило короля обратиться в бегство.

Происходит нечто вроде наложения черт «классического рыцарства» на прежнюю канву феодальных войн. Возможно, всё было не настолько неслыханно новым, как кажется с

первого взгляда, — исключителен уже тот факт, что бывший рыцарь, как Гильом Пуатевинский, взялся за перо. Но разве чувство собственной храбрости не приобретало все больше привлекательности, равно как и ритуал посвящения? А вместе с ним — рыцарские эмблематика и общение? Не то чтобы логика всего этого составляла полную антитезу прежним обычаям. Но представляется, что тенденция украсить войну, сделать ее менее опасной для знати и придать больше значения ее зрелищной стороне заключалась в самом ходе развития княжеских войн, как предчувствовалось и ранее, и соответствовала формированию настоящей социальной среды рыцарей-героев, несомненно, знатных, но с большей легкостью, чем предки, принимавших решение перейти от одного патрона к другому и признававшихся в стремлении к наживе.

Впрочем, черты изящного и куртуазного рыцарства лишь верней скрывали прежнюю или даже растущую жестокость других обычаев. Это заметно, если как следует присмотреться к обращению в 1064 г. с Гарольдом Годвинсоном. Гобелен из Байё показывает это обращение в виде рисунков и по-своему повествует о нем. Довольно похожий рассказ излагает и Гильом Пуатевинский; во всяком случае, к его чести, он мимоходом приводит, хоть и не выделяя, как, несомненно, следовало бы, принципиально важную информацию: герцог Вильгельм взял тогда в заложники двух близких родственников Гарольда. И если последний дал ему клятву верности, то лишь затем, чтобы освободить одного из них, другой же остался заложником, то есть пленником, пожизненно^{397}. В свете этого факта великодушные и хорошие манеры Нормандца выглядят совсем иначе! Но на гобелене из Байё этих двух заложников не изображают, а Гильом Пуатевинский говорит о них лишь между делом.

Изображения на гобелене из Байё создают впечатление изысканного мира: ее авторы с удовольствием раскрашивают костюмы нормандских рыцарей, держащих на руке ловчих птиц или беседующих между собой в больших просторных залах с тонкими колоннами, имеющих совсем еще каролингский облик. Но у этого декорума была своя изнанка!

Впрочем, поездка Гарольда началась с неприятной задержки: его захватил в плен и не выпускал Ги, граф Понтьё. В самом деле, Гильом Пуатевинский признает, что «среди некоторых народов Галлии»^[101] свирепствует «обычай мерзкий, варварский и совершенно чуждый всякой христианской справедливости» — брать в плен сильных мира сего, подвергать их оскорблениям и пыткам и сдирать за них изрядный выкуп^{398}. На сей раз на сцену выступил Вильгельм Нормандский, сыграв красивую роль: он вырвал Гарольда из тюрьмы графа Понтьё «мольбами и угрозами», обращенными к последнему, но тот тем не менее сохранил лицо. «Ги повел себя достойно». Вынужденный под нормандским давлением вести себя с Гарольдом по-рыцарски, если только не исполняя согласованный заранее сценарий, он сам привел к герцогу своего английского пленника, «не уступив ни соблазну наживы, ни силе». Тем не менее после «угроз»^{399} он согласился принять земли в фьеф и много денег. Рыцарская изысканность всего этого смахивает на комедию, где главные действующие лица, как сказали бы наши социологи, взаимно поддерживают друг друга, разыгрывая диалог в расчете на публику, заполняющую герцогский дворец.

Итак, герцог, выйдя навстречу Гарольду, принял его с почестями. Он получил от последнего клятву верности и оммаж (если только не посвятил в рыцари, как следует из сцены на гобелене). «Далее, зная, что тот исполнен отваги и жаждет новой славы, он одарил его и соратников рыцарским оружием и отборными конями и взял их с собой сражаться в Бретань». Однако там не будет стычек с подвигами, как в свое время под Мулиэрном. Гарольд и Вильгельм вышли из юного возраста, им было, соответственно, тридцать шесть и сорок лет или около того. А склонны ли были к традиционным поединкам бретонцы? Но, посвящая

Гарольда, отправляясь с ним на военную вылазку, герцог преследовал цель «верней и тесней привязать его к себе, оказывая ему честь». После этого они устроили осаду, но сражения не было: бретонский противник уклонился от боя, а один бретонский союзник Вильгельма, по имени Рюаль, отговорил нормандского герцога устраивать погоню и грабеж. Так что Гильом Пуатевинский довольствовался хроникой объявленной победы — победы, замененной впоследствии на мудрое отступление.

Тем не менее воинская энергия Вильгельма еще не иссякла. 1066 г. покажет это очень ярко.

Вильгельм Завоеватель тем меньше нуждался в преувеличенных похвалах своей рыцарской прогулке в Бретань в 1064 г., что одержал над Гарольдом и его английским остом 14 октября 1066 г. при Гастингсе настоящую победу после тяжелой битвы. Сколь бы жестокой она ни была, ее оправдали и приукрасили три великих повествования — к рассказу Гильома Пуатевинского и гобелену из Байё можно добавить поэму, сочиненную Ги Амьенским, капелланом королевы Матильды. И современные английские историки с той *fair-play*, какой они известны, приписывают нормандскому герцогу (правда, не без нюансов) привнесение в Англию «рыцарства» во французском духе — под которым они в основном понимают милосердие к врагу. Это действительно одна из главных основ франкской и феодальной войн, и в этом воззрении Джона Джиллингема^{400} есть нечто очень впечатляющее, но, может быть, следует задаться вопросом, насколько великодушным остался Вильгельм Завоеватель. Доказывая, что это привнесение «рыцарства» имело место, англичане ссылаются прежде всего на Гильома Пуатевинского, который мастерски умел приукрасить своего героя.

Разве Вильгельм, действуя в духе христианских сеньоров, заботящихся о слабых, не велел своему бретонскому союзнику Рюаю в 1064 г. в Бретани составить список убытков, причиненных его остом? «Он пообещал ему полностью возместить золотом весь нанесенный ущерб. И с тех пор он запретил своим войскам и животным касаться урожаев Рюаля»^{401}. Та же мера была принята в отношении гастингского оста в 1066 г.: «он запретил всякий грабеж» в Нормандии, пока не подошел флот, и «кормил за свой счет» пятьдесят тысяч человек, которых собрал^{402}. И потом, после победы, он не допускал никаких бесчинств. Действительно, «не следует безмерно притеснять побежденных, которые, равно как и победители, исповедуют христианскую веру»^{403}. Впрочем, доводить их до бунта было бы неверно в политическом отношении. Итак, Вильгельм Завоеватель «поддерживал дисциплину за счет соответствующих уставов среди бойцов из средней знати и народа»^{404} — иначе говоря, всадников второго порядка (на уровне владельцев десяти мансов в каролингские времена) и незнатной пехоты. Эксцессы после победы при Гастингсе, такие как пожар в Дувре, якобы устраивали только «оруженосцы» (*armigeri*)^{405}. В этом старании герцога Вильгельма сохранить дисциплину есть нечто римское: он напоминает Сципиона и ему подобных^{406}. Щадя города, которые ему сдаются, он милосерден ко всем, особенно к простому народу^{407}. И когда Гильом Пуатевинский уверяет, что герцог хорошо относился к заложникам, что они были окружены большим почетом, чем пленные, на миг можно подумать, что происходила интеграция побежденных, как в Италии при Карле Великом^{408}.

Это апология справедливой войны — возмездия с Божьей помощью за клятвопреступление и в то же время за братоубийство, действительно совершенное Гарольдом^{102}. Кстати, папа Александр II, желавший реформировать и вновь подчинить английскую Церковь, передал Вильгельму знамя святого Петра — которое упоминает Гильом Пуатевинский и которое изображено на гобелене, хотя особо и не выделено. Этому князю — противнику ереси^{103} — он мог бы написать, как святой Авит Вьеннский Хлодвигу: «Ваша вера [или “ваше право”] — это наша победа».

И в конечном счете, возможно, в Вильгельме Завоевателе было больше от Хлодвиги — грубого короля, чем от Геральда Орильякского — учтивого графа. По-настоящему щепетильным церковникам было о чем задуматься!

Ги, который, прежде чем стать епископом Амьенским, был капелланом королевы Матильды, защищает и перевозит Вильгельма. Но, в конечном счете, начальные стихи его поэмы^[104] не скрывают, что Вильгельм, едва высадившись, стал грабить и жечь Англию. С полным правом, уточняет он, потому что его народ отказал тому в короне — даром что Гарольда назначил всего лишь очень аристократический *витенагемот*. И этот поэт склонен описывать англичан скорей варварами, чем христианами, достойными такого названия. Он отпускает по их адресу несколько шпилек, столь же язвительных, сколь и несправедливых. Они «разнузданы» — хотя их королевская власть в тысячном году уделяла законодательству больше внимания, чем в какой-либо другой стране. Их возглавляют «изнеженные юноши с пышными волосами»^[409].^[105] Кстати, это не всадники: «Этот невежественный народ гнушается на войне поддержкой конницы»^[410]. Это не мешает им храбро сражаться: их честь состоит в том, чтобы не потерпеть поражения в бою и прежде всего умереть с оружием в руках^[411]. Они словно сошли со страниц «Германии» Тацита, тем более что Гильом Пуатевинский в свою очередь приписывает им свирепость древних саксов^[412]. И действительно, эпическим образцом для них был Бюрхтнот из «Битвы при Мэлдоне», поэмы на древнеанглийском, написанной незадолго до того (в начале XI в.). Англосаксонские хроники часто рассказывали о смерти благородных воинов в Англии до 1066 г., где не было ни коней, чтобы бежать, ни замков, чтобы служить местом заключения, как во Франции.

Итак, оба оста, которые сошлись 14 октября 1066 г., были совсем непохожи друг на друга. У них не было общего и нормированного обычая, способного смягчить жестокость воинов. Особо лютыми делала их ставка, стоявшая на кону, — которая, признаем, в 1066 г. была весомой. Разве могли их вожди, претендуя на одну и ту же корону, прийти к компромиссу, словно борьба шла всего лишь за замок или фьеф и главной была возможность пограбить крестьян противной стороны? Кроме того, осты здесь были намного более полноценными, чем те, что сошлись 15 июня 923 г. при Суассоне в сомнительном сражении.

Технические и стратегические различия позволяли каждой стороне верить в свой шанс и свою силу.

С одной стороны — королевская армия Гарольда, осторожная и смелая, особенно его *хускерлы*, дружинники, готовые умереть с ним и за него; армия, правда, несколько устала, отразив натиск норвежского короля и вернувшись на Юг Англии форсированным маршем. Ей недоставало конницы. Но она занимала крепкую позицию на холме Сенлак.

С другой стороны — ост, собранный Вильгельмом. Нормандия предоставила своему властителю своих всадников и пехотинцев, набранных при содействии крупных вассалов, которых ему, впрочем, было очень непросто убедить пойти за собой. В то же время там была бретонская пехота и прежде всего бойцы из всех соседних провинций, с которыми у нормандцев с 911 г. было столько полувоенных, полуполитических *встреч*: Фландрии и королевской Франции, Мэна и Бретани и даже из Пуату. В среде этой разномастной аристократии и распространилась слава Вильгельма после осады Мулиэрна 1048 г., а также были разработаны правила этих военных игр, пригодные для классического рыцарства. Но могли ли эти люди полагать, что война за Ла-Маншем тоже будет увеселительной прогулкой? При таком масштабе, когда друг против друга стояли два больших оста, где огромное большинство составляла пехота, было неуместным хорохориться, как при встречах отрядов по десять высокородных рыцарей, с финтами, вызовами и погонями... Во всяком случае они рассчитывали на компенсацию — это признает даже Гильом Пуатевинский: «отчасти были движимы надеждой на известную им щедрость герцога, но все верили, что их дело справедливое»^[413]. Скажем так: они считали, что их дело можно оправдать, обелить, и не

ожидали анафемы за убийство, потому что с ними было знамя святого Петра. На подписях к сценам на гобелене из Байё указываются «англичане» и «французы», что свидетельствует о том, сколь значительными были «внешние» подкрепления для Нормандии. Это в борьбе между собой, когда ставки были ограниченными, французы могли показывать себя по-своему «рыцарственными», — что не значило, что они совсем разучились быть жестокими. При Гастингсе их ожидала решительная битва, где не будет пощады. Как они себя поведут?

Гильом Пуатевинский в последнем усилии изобразить своего герцога-короля более гуманным утверждает, что тот перед самым боем, обменявшись гонцами, предложил Гарольду судебное разбирательство перед лицом англичан и нормандцев. Или же поединок — настолько для хрониста было важно задним числом оправдать пролитую кровь. То есть речь шла не о рыцарском подвиге, а о смертельной схватке один на один. Ведущая нота — героическая, почти жертвенная: «Я не считаю справедливым, чтобы мои или его люди шли на бой и на смерть, потому что наша тяжба — не их дело»^[414]. Но Гарольд не согласился. Что до него, он полагался на волю Бога — то есть не на поединок, а именно на битву при Гастингсе.

Сопоставляя все рассказы и черпая из них материал, как следует оценивая их элементы, Джон Франс сумел вполне убедительно восстановить ее ход. Небезынтересно, что он нашел у Рихера Реймского ее предвидение в рассказе о мнимом сражении при Монпансье между франко-аквитанцами и норманнами-язычниками в конце IX в.^[415] и что Конкереи (992 г.) представляется ему чем-то вроде ее генеральной репетиции (не считая резкого перелома под конец). Это была изматывающая битва, долгая и кровавая, потому что первоначальный план Вильгельма не удался. «Менее склонный верить в превосходство конницы, чем некоторые сегодняшние историки»^{[106], [416]}, Вильгельм выделил более важное место пехоте (и подверг ее большей опасности). Его план заключался в том, чтобы поставить впереди легких пехотинцев и они бы начали стрельбу из луков и даже из арбалетов, а потом тяжелые пехотинцы пробили брешу во вражеских рядах, и этим бы воспользовалась конница, первоначально поставленная в третий эшелон. Но Гарольд Годвинсон, несмотря на усталость своей армии^[107] и желая как-то компенсировать отсутствие конницы, быстро завязал ближний бой и тем самым, несомненно, помешал нормандцам осуществить эту операцию. Французская пехота не прорвала английский фронт, как было запланировано; это было трудно сделать даже коннице, вынужденной ее поддерживать. Гарольд сорвал нормандский план, но у него самого совсем не было конницы, которая была бы нужна, чтобы основательно развить его успех в обороне. Столкновение перешло в долгую изматывающую битву, «ряд стычек, в которых участвовали все воины без различия». Сам Вильгельм, находившийся не в первой линии, рискнул жизнью, бросившись в гущу сражения и заново вселив боевой дух в свои войска. На какой-то миг его сочли погибшим, но он остановил бегущих, стащив с головы шлем, чтобы его узнали, и показав тем самым, что всякое бегство к морю будет роковым. Под ним убили коня, он пересел на другого и отомстил за первого (что было новшеством — мстить за коня!). Но тяжелая пехота все же сыграла роль, которую наши источники несколько преуменьшают. В конечном счете она пробила проход для знатной конницы, и тогда на этом мрачном взморье английская гвардия умерла, но не сдалась вместе со своим королем. Впрочем, ей этого и не предлагали, и нормандцы в сумерках наступившего вечера бросились в погоню, истребляя бегущих и на какой-то момент подвергнув опасности самих себя^[417]. Это было редкостное зверство, как правило, неведомое римлянам и уже достойное Наполеона — кошмар, который трудно будет превзойти до самого 1914 г. А Вильгельм Завоеватель как раз успел овладеть собой и осмотреть поле битвы глазами христианина XI в.:

«Он осознал, какое побоище произошло, и не мог лицезреть его без жалости, хотя жертвы и были нечестивцами», ведь это был «цвет английской знати и молодежи» — те самые *тэны*, которых нормандцы на своей латыни называли *milites* (вассалы, рыцари)^[418], хотя те почти не сражались верхами.

Это побоище, за которое Гильом Пуатевинский стремится оправдать Вильгельма Завоевателя, «Песнь» Ги Амьенского принимает как данность, потому что оно становится эпическим. Речи обоих противников здесь звучат как строфы «жесты», с обращениями к предкам, призывами к героизму, оскорблениями врага. Кстати, она помещает в начало этого дня реальный поединок между знатным жонглером Тайефером^[108] и англичанином, которого он сразил^[419].

После этого епископ Амьенский возвращается к перипетиям битвы в том виде, в каком ее переживали или рассказывают о ней герцог и самые знатные из его соратников. Герцог, когда под ним убили второго коня, пришел в ярость, отбросив всякую сдержанность, ринулся на виновника преступления, «мощно поразил его правой рукой, острием меча вырвал внутренности врага и бросил их наземь»^[420]. Это так привносили в Англию рыцарство? Тем более что под конец он и трое знатных бойцов бросаются на Гарольда вчетвером, чтобы убить, почти ритуально расчленив.

Этот рассказ традиционен в социальном отношении, но более кровав, чем «Поэма» Эрмольда Нигелла — что по сути соответствует реальной жестокости боя при Гастингсе. Гильом Пуатевинский и Ги Амьенский делают в своих рассказах разные акценты, но не слишком противоречат друг другу. Они по-настоящему расходятся только в оценке роли одного из знатных соратников Вильгельма — графа Евстахия Булонского. На самом деле Евстахий был в какой-то мере его соперником, и их взаимное доверие не было безоговорочным: он передал Вильгельму в заложники одного из сыновей, несомненно, будущего Готфрида Бульонского... Согласно Гильому Пуатевинскому, Евстахий Булонский почти что изменил герцогу, посоветовав ему обратиться в бегство во время вечерней контратаки англосаксов^[109],^[421], и это подготовило его мятеж в следующем году (1067). Ги Амьенский, напротив, наделяет Евстахия благовидной ролью, когда тот отдает своего коня выбитому из седла герцогу. Это блистательный помощник командующего при Гастингсе. Важной фигурой он выглядит и на гобелене из Байё : это он указывает пальцем на Вильгельма другим бойцам в момент, когда пошел слух о гибели последнего (илл. вкладки, с. II).

Все три рассказа (история, поэма и гобелен) сходятся в минимизации роли пехоты, даже роли бойцов из «средней» (то есть мелкой) знати, сведя эту роль к символическому насилию, столь привычному для многих источников... «Оруженосцы», которые в день подвигов оставались в тени, впоследствии — как мы видели — заклеены как участники бесчинств^[422].

Тем не менее никто из авторов всех трех повествований не осмеливается скрывать, что Гастингс был резней. Разве всё, что делает Гильом Пуатевинский, чтобы обелить герцога, не доказывает этого *ipso facto*) Ги Амьенский отмечает, что в конце битвы лес англичан пошел под топор. И на нижней кайме гобелена в самом деле разбросаны головы, обезглавленные и пронзенные тела в конвульсиях.

У григорианской Церкви, столь приверженной миру между христианами, от этой картины поворотило с души. Она как будто досадовала, что передала знамя святого Петра. Нормандские епископы предписали покаяние, словно перекликающееся с покаянием после битвы при Суассоне в 923 г., а один папский легат, Эрменфрид Сьонский, утвердил это покаяние в 1070 г. Однако он по-разному отнесся к наемным бойцам, искавшим наживы,

которые были обязаны покаяться за совершенные человекоубийства по полной форме, и к людям, пришедшим на «публичную войну», то есть нормандским подданным и вассалам Вильгельма, выполнявшим свой долг, что смягчало их вину^{423}.

Что касается царствования Вильгельма в Англии, оно ничем не напоминает властвование какого-нибудь Геральда Орильяхского в школьном представлении. Перебив при Гастингсе множество благородных англичан, он не мог объединить обе элиты, заключив мир храбрых на франкский манер. Правда, те из знатных *эрлов*, которые не участвовали в битве, сначала как будто перешли на сторону победителя. Но отношения быстро испортились, и они погибли, убитые либо своими как «коллорационисты», либо по приказу Вильгельма как «скрытые участники сопротивления». Кстати, даже нормандские и французские магнаты не раз вступали на путь мятежа. Король Вильгельм в таких случаях приговаривал их к конфискации владений, к изгнанию, к пожизненному заключению. Таким образом, если нечто рыцарское (полурыцарское) после 1066 г. в Англию и было привнесено, то это касалось отношений между завоевателями-французами. Именно так представляют дело Джон Джиллингем и Мэтью Стрикленд.

По отношению к городам и сельской местности Вильгельм Завоеватель тоже не проявил всего того великодушия, какое воспевал в нем Гильом Пуатевинский. Он разгромил Эксетер, отказавшийся ему подчиниться, и опустошил земли к северу от реки Хамбер, весь Йоркшир, осуществляя косвенную месть в широких масштабах. Его войска, сжигая дома и урожай, убивая скот, устроили настоящую гекатомбу среди христиан, которые во множестве гибли от голода. Ордрик Виталий, отцом которого был француз (клирик), а матерью англичанка, очень резко осуждал нового короля за это. В своей книге он упоминает о громком протесте одного христианина — Гимонда из Сен-Лёфруа, местечка близ Кана^{424}. Этот аббат отказался, в отличие от многих собратьев, в таких условиях принимать должность и бенефиций за Ла-Маншем. Потом, в 1073 г., он оказался епископом Аверсы в норманнской Италии — несомненно, став им в результате компромисса между папой Григорием и королем Вильгельмом.

В общем, боюсь, Вильгельм и французы за короткое время, за осень 1066 г., принесли в Англию не рыцарство, а резню и грабеж. Во всяком случае почти ничего иного не позволили им обстоятельства жизни англосаксов, их поведение и позиция (может, только это и было рыцарским?). Нормандец лишь сделал сеньорами французских рыцарей с их конями и замками, с их презрением к вилланам и намерением как можно активней эксплуатировать труд последних — вместо *тэнов*, погибших при Гастингсе, порой в обществе их вдов и дочерей. Именно феодальная сторона отношения этих рыцарей к королю или друг к другу в конечном счете и придает английской истории некую рыцарскую окраску — проявившуюся прежде всего в междоусобной войне времен короля Стефана (1135–1154). До Ричарда Львиное Сердце еще не было турниров — англо-нормандец Вильгельм Маршал с 1060 по 1080 г. блистать будет во Франции. Рыцарство в Англии — это французские рыцари, которые могли шиковать за счет порабощенных английских масс.

Поэтому, если мы хотим проследить за историей рыцарства, нам надо будет вернуться во Францию, а именно в пределы Нормандии, вместе с тремя сыновьями Вильгельма Завоевателя.

КОПЬЕ, ДОСПЕХ И ЭМБЛЕМА

Прежде всего более внимательно присмотримся к знаменитому вышитому гобелену (вышивке, *broderie*, а не ковру, *tapisserie*) из Байё, к двум его частям — поездке Гарольда в Нормандию и его клятвопреступлению (1064), Божьему суду над ним при Гастингсе (1066). Мы почти с уверенностью можем считать заказчиком гобелена Одона, епископа Байё, единоутробного брата короля Вильгельма. Вильгельм Пуатевинский еще раз озадачивает нас безапелляционным заявлением: он уверяет, что этот прелат, которому Вильгельм делегировал власть в Кенте, внушал страх и командовал, но при этом сам не носил оружия^[425]. Однако как изображен Одон из Байё на гобелене? Он находится на поле боя, на нем парадный доспех и роскошный шлем. Конечно, он не сталкивается с врагом непосредственно, не пронзает его, это не он сползает на шею коня, стремясь дотянуться до англичанина, но он размахивает булавой (на своем пастырском жезле) и по меньшей мере издаёт боевой клич, ободряя нормандских бойцов^[110]. После этого его вполне можно считать заказчиком этого гобелена, авторы которого изображают битву при Гастингсе судом Божиим и от одного края полотна до другого превозносят красоту коней и оружия, приукрашивая Францию 1064 г. и английское побережье 1066 г. и скрывая, что были еще и кровь, заложники, простолюдины...

Где был вышит этот гобелен и когда? Сегодня склонны полагать, что это произошло в одной мастерской монахинь в Кенте, в 1080-е гг., к концу царствования Вильгельма Завоевателя. Но абсолютной уверенности в этом нет. Этот гобелен ценят как произведение искусства, не сомневаясь притом, что он представляет интерес как исторический документ^[111]. Разве на нем не изображены холмы, где возведены деревянные башни? Проводя археологические раскопки в Кане, в земле этого края нашли их явные следы. Гобелен из Байё — не имеющий равных источник сведений, порой порождающий также споры и вызывающий недоумение. На средней части разворачиваются сцены из жизни рыцарей, костюм которых можно не спеша разглядывать. Меньшим планом и по краям, как положено, изображены крестьяне, которые сеют, боронят и пахут, а между ними — эпизоды из басен по тогдашней моде, не всегда понятные для нас.

Это великое произведение искусства является для нас свидетельством коренной важности в трех существенных вопросах, связанных между собой: оно показывает приемы обращения с копьем, характер доспехов и характер эмблем.

Кое-где среди рыцарей авторы гобелена находят место для нескольких нормандских пехотинцев, вооруженных луками, не выражая к ним ощутимого презрения. Тем не менее почти всю площадь занимают рыцари, изображенные очень тщательно. Их меч с клинком — того типа, который при Карле Великом считался новым. Он имеет длину девяносто сантиметров, и держат его поднятым вверх (илл. вкладки, с. III) или горизонтально. Он служит, чтобы рубить. В сцене галопа он есть не у всех всадников — возможно, мечи были только у знатнейших. Но многие извлекли мечи для ближнего боя, с пехотой, в предельно важный момент, чтобы убивать братьев Гарольда, а потом его дружинников, оставаясь в седле (пусть даже сползая на шею коня) или спешившись. Меч фигурирует также в первой части (Гарольд в Нормандии) в сценах верховых поездок и сценах речей в больших залах замков-дворцов, где его как знак власти держат Ги, граф Понтьё, а потом герцог Вильгельм (илл. вкладки. IV). Признавая себя пленником Ги, Гарольд снимает меч и показывает нам пояс (илл. вкладки, с. III). Зато меч, полученный от Вильгельма во время своего истинно-ложного посвящения, он вкладывает в прорезь кольчуги.

В той же и пожалуй, даже в большей степени, чем меч, к вооружению рыцаря относится

копье. Не вытесняет ли оно меч вплоть до времен «Песни о Роланде», причем в руках знатнейших из знатных? Само его название [*lance*], пришедшее из устной речи римлян, ускоряет (в форме *lancea*) приход средневековой латыни около 1080 г., вытесняя такие слова, как *hasta*, *telum*, *contus*. Оно также привлекло внимание многих историков, начиная с майора Лефевра де Ноэтта (1912 г.)^[426]. То, что можно прочесть о нем нового у Гильома Пуатевинского, написанное около 1073 г. о мелких стычках с 1049 по 1054 г., должно привлечь наше внимание к разным способам обращения с копьем, а также к приемам верховой езды и фехтования, связанным с этими способами. Рыцарская мутация — это мутация приемов копейного боя. В старину их было два. С одной стороны, копье метали как дротик, чтобы пронзть врага, и оно должно было оставаться достаточно легким, тонким, его не должен был отягощать или смещать в сторону никакой флажок. Так его мечут рыцари герцога Вильгельма в сцене 19 (илл. вкладки, с. I), атакуя Доль, — надо полагать, Людовик, Гильом и прочие «свирепые» франки, все — опытные метатели дротиков, у Эрмольда Нигелла так же осыпали ими мавров в Барселоне в восьмисотом году. Так могли разить с IX в., почти наверняка пробивая доспех, — либо снизу, как на сцене из Утрехтской псалтыри, либо сверху, как изображено в рукописи Пруденция конца X в., хранящейся в Брюсселе. Изображение обоих этих ударов можно найти и на гобелене из Байё. Но довольно часто копья были тяжелей, чем прежде, им добавляли веса знамена, и держали их по-новому — опустив руку и поместив древко под мышку: так поступают французы на побережье в сцене 40 под словом *festlnaverunt* и в сцене 48 под словами *ad prelium* и *contra* (илл. вкладки, с. III). Эту новую манеру сделал возможной прогресс в верховой езде, который сложно датировать точно, но который ощущается и, конечно, связан с социальной логикой. Подкованные кони позволяли уверенней углубляться на незнакомую территорию, тогда как седло, сбруя, подпруги давали возможность для более прочной посадки, в дополнение к стремянам, появившимся в IX в. Поэтому можно было перехватывать более тяжелое копье дальше от наконечника и наносить издали более сильный удар, способный свалить противника, скорей оглушить его, чем пронзить. Но о конных поединках гобелен из Байё дает только косвенные сведения. Однако при Гастингсе, судя по этому гобелену, старались именно пронзть противника, как видно, например, по смертельному удару, который наносят Гирду, брату Гарольда (илл. вкладки, с. V). Правда, здесь представлен не конный поединок и не турнир, где конница сражается с конницей, а атака нормандской кавалерии на пешую английскую знать. Справилась ли эта кавалерия, которой противостояла хорошо вооруженная пехота, со всеми неблагоприятными факторами, с какими столкнулась в 357 г. в сражении при Страсбурге аламаннская конница, — ведь теперь она имела стремяна, лучшие седла и настоящие доспехи? На самом деле отряды англичан, *тэнов* и *хускерлов* Гарольда, уже пострадали от стрел и топоров нормандских пехотинцев. Всадники врывались в уже пробитые бреши, и на гобелене изображена не атака конной лавины, которая опрокидывает врага и тем самым добивается победы, — таких до XIII в. не будет^[112], — а ряд стычек, «кровавая схватка, дикая и ожесточенная»^[427]. Под конец изображены даже сбитые с ног лошади (илл. вкладки, с. V), что, несомненно, соответствует эпизоду вечернего преследования (наверняка известного зрителям лучше, чем нам), в ходе которого «французы» упали в ров, как при Конке-рее в 992 г. или на аквитанском побережье между 1003 и 1013 гг., в бою с участием другого герцога Гильома, не столь блистательного, как герцог нормандцев^[428]...

В целом на гобелене изображено много коней, все жеребцы, малорослые (полтора метра в холке), то есть, по нашим представлениям, нечто среднее между большим пони и

маленькой беговой лошастью. Всадники не склонны подниматься на стременах: их путлища удлинены до максимума, что позволяет им крепче держаться в седле. Кстати, передняя и задняя луки седла — как хорошо видно на сцене 8 (илл. вкладки, с. VI) — очень высокие. Такое седло придает всаднику примечательную посадку, всё, что нужно, чтобы практически составлять одно целое с конем... и в то же время создает для него риск, что ему сломают позвоночник или раздробят бедра, как случилось со всадником, которого вышиб из седла будущий Завоеватель в 1048 г.^[429] Наконец, всадник торопит коня с помощью шпор, здесь — с одним острием, на смену каковым вскоре придут более острые шпоры, которые Ордерик Виталий порицает настолько, что делает одной из причин осуждения рыцарей на том свете^[113].

Чтобы спасти их в земной жизни, в течение XI и XII вв. было приложено много труда и сделано много усовершенствований в другой сфере — доспеха. Гобелен хорошо показывает «штатский» костюм знати в первой своей части: особенно отчетливо видна очень узкая, облегаящая туника Ги, графа Понтё, то есть его жюстокор или гамбизон. Поверх всадники Гастингса в бой надевали броню (*broigne*), еще очень близкую к броне каролингских времен, тем не менее на гобелене из Байё и в ней можно разглядеть некоторые усовершенствования. Надо ли уже говорить о *кольчуге* (*haubert, cotte de mailles*)? Специалисты об этом спорят. Некоторые, похоже, сегодня отказываются использовать здесь эти названия, полагая, что железные кольца, покрывающие традиционную кожаную броню, в кольчуге должны быть соединены, сплетены между собой и не должны опираться на кожаную или тканевую подкладку. А ведь на гобелене показаны только металлические пластинки, чешуйчато покрывающие кожу; они настолько отполированы, что отливают то синим, то коричневым и не у всех персонажей изображены с равным изяществом. Вопрос в том, какой гибкостью должны были обладать штанины этой брони, чтобы всадник мог ездить верхом, садиться на коня и слезать с него. Пока что он еще не выглядит очень скованным. Но уже близок час — он пробьет в XII в., — когда настоящая кольчуга, весящая десять-двенадцать килограммов, а значит, очень тяжелая и весьма дорогая, станет для истинного рыцаря защитой более надежной и в то же время более неудобной, делая его более зависимым от оруженосца или оруженосцев.

Пока что гобелен из Байё показывает, что доспех уже имел разные усиления: наручи, поножи ниже колен и нечто вроде прямоугольного нагрудника (илл. вкладки, с. VI), по поводу которого недавно было много написано, но который, похоже, служил усилением и прикрывал прорезь, упрощавшую продевание головы. То есть дело вовсе шло к появлению кольчуги (*haubert*) в строгом смысле слова (*halsberg*, илл. вкладки, с. VII: защита шеи от ударов или попыток отрубить голову).

Шлем, защищающий голову, надет поверх броневоего капюшона. Он сделан из четырех металлических пластин, скрепленных краями, и продолжается наносником, из-за которого различить лицо трудно. Вот действительно изображен ключевой момент, когда герцог Вильгельм снимает шлем, показывая своим войскам, что он по-прежнему среди них, не погиб и не бежал. А вот (илл. вкладки, с. II) Евстахий Булонский в своей роли герольда, знамено сца, которому достается честь указать рукой на герцога, — что могло бы побудить нас датировать гобелен временем непосредственно после битвы при Гастингсе, до мятежа 1067 г., если бы имя этого персонажа не пересек разрыв и оно отныне не было бы искажено...

Эта сцена «идентификации» Вильгельма ставит вопрос важный, но сложный, потому что документов для ответа на него мало: об истоках классической геральдики^[430]. Мишель Пастуро любит говорить, что гобелен из Байё — это важное свидетельство из «протогеральдического» (*preheraldique*) периода.

На гобелене изображены щиты (*boucliers, ecus*) относительно нового типа, появившиеся в конце X в., по крайней мере у знати. Сделанные из вываренной кожи, натянутой на выпуклую деревянную основу, они имеют миндалевидную, овальную, эллиптическую форму и могут служить носилками, поскольку перекрывают фигуру человека почти целиком. Зато маленький круглый щит становится характерным атрибутом незнатного пехотинца, хуже защищенного и менее уважаемого. Рыцарь может повесить щит на шею за шейный ремень (*gigue*) или прикрыть им корпус, держа за внутренние ремни, которые называют *enarm.es* (илл. вкладки, с. VIII), в то время как сам разит врага. Но рисунки, покрывающие щит, очень примитивны и в целом не фигуративны — в Библии из Роды на заре XI в. щит продолговатой формы даже изображен совершенно пустым. Придется еще полвека ждать появления щитов с гербами, из которых самые старинные, известные нам, — возможно, щиты графа Галерана де Мёлана или Жоффруа Плантагенета, причем обоим посвятил нормандский герцог Генрих Боклерк^[431] ^[114].

Классическая система геральдики, начиная с XII в., зиждется на двух принципах: с одной стороны, одна и та же эмблема постоянно соотносится с одним и тем же человеком и только с ним (отличая его от других), с другой — эмблемы с их цветами и композицией разрабатываются по системе точных, широко распространенных норм, определяя некую персону внутри родовой или феодальной группы. Оба этих условия будут соблюдаться с середины XII в. при изготовлении конных печатей, монет, а вскоре и шлемов с нашлемниками, но пока что (в конце XI в.) ни одного из этих условий еще нет^[115]. Здесь одинаковые щиты можно встретить в обоих лагерях, французском и английском, а один и тот же человек может носить разные щиты. И знаки на них отнюдь не отличаются чрезмерной сложностью.

Однако фигуры, изображенные на знаменах, разработаны достаточно тщательно. Большое значение им придавалось издревле. Во всяком случае в древней Германии они были настолько впечатляющими, что Тацит не забыл о них упомянуть. Знамена меровингских времен остаются нам неизвестны, мне кажется, что по контрасту с растущей ролью знаменосца, несколько раз отмеченной с IX в., и тем местом, какое отведено штандарту с драконом на миниатюре из санкт-галленской Золотой псалтыри. Теперь эволюция знамени связана с эволюцией копья. Копье служит не только оружием, но и древком знамени. На гобелене из Байё им размахивают или его опускают в знак капитуляции, как в Динане во время «передачи ключей».

Если не считать штандарта святого Петра, в знаменах здесь нет ничего особо христианского. И классическая геральдика позже отличается чисто мирским характером.

Позже? До самого 1981 г. на гобелене из Байё не желали замечать никаких эмблем какого-либо человека или группы (рода, отряда) и лишь в том самом году догадались, что граф Евстахий Булонский держит на копье знамя с изображением трех шаров (илл. вкладки, с. II), которые на рубеже XII—XIII вв. станут появляться на щите каждого следующего мужа графини Иды Булонской — знатной кокетки, которая еще встретится на нашем пути^[432]. Итак, со второй половины XI в. уже формируется настоящая геральдика, благодаря которой личный щит вот-вот соединится со знаменем феодальной группы.

Историки часто дают простое, рутинное объяснение появлению геральдики: мол, она была связана с потребностью по-прежнему распознавать отдельного рыцаря, чье лицо отныне скрывали наносник, шлем. Однако такой механической связи совершенно недостаточно. Не было ли тут растущего желания, потребности опознавать рыцаря, чтобы оценить его подвиг? Кстати, даже до возникновения кольчуг опознать знатного воина, больше известного репутацией, чем знакомого лично, никогда не было простым делом, и в конечном счете характерно, что уже в каролингские времена широкое распространение

получили «значки» (*enseignes*, знамена) и особую важность приобрел единственный знаменосец, вокруг которого спланивался воинский отряд: это было прежде всего время коллективных подвигов. Для внедрения каких-либо новшеств в отношении эмблем было не обойтись без феодальной индивидуализации подвига, без рыцарской мутации XI в.

Но эти личные подвиги совершались в ходе некоего спортивного и социального круговорота войн и поединков, а вскоре и турниров, характерного для Северной Франции XI в. Многие юноши хорошего рода становились бойцами, наемными воинами; они перемещались с места на место («странствовали», если угодно) чаще, чем предки.

То есть они жили в рыцарском мире, который существовал сам по себе, для себя и проявлял тенденцию выйти за пределы этносов, принадлежность к которым до сих пор всегда подчеркивалась (франки, аквитанцы, нормандцы, фламандцы). Именно в этой среде, обильно орошаемой монетами и четко размеченной всевозможными условностями, могла и должна была вырасти «универсальная» и рационально построенная система геральдических символов.

Этот мир рыцарства (*chevalerie-monde*) подарил XII в. целый ряд оригинальных характеров, которые мы теперь и рассмотрим в сопоставлении с традициями и преемственностью аристократического и воинского раннего Средневековья. В окружении сыновей Вильгельма Завоевателя это рыцарство видно еще ясней, чем в его окружении.

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ ТЫСЯЧА СОТОГО ГОДА

Три выживших^[116] сына Вильгельма Завоевателя отличаются впечатляющим разнообразием судеб и пристрастий. Старший, Роберт Короткие Штаны, напрасно поднял мятеж против отца в 1077 г. Он сгорал от нетерпения по-настоящему встать на ноги, получить возможность жить свободно. Безусловно, его задело и то, что он получил только земли предков, — то есть Нормандию — без Англии, которая была дополнением к родовой вотчине, приобретенным усилиями отца, и поэтому отошла следующему сыну, Вильгельму Рыжему. Первоначально третий, Генрих, не получал ничего. Его принято называть Боклерком [Добрый клириком] — поначалу его можно было бы также назвать Генрихом Безземельным, потому что отец в 1087 г. оставил ему только деньги; может быть, кроме того (но это не факт), сам отец посвятил его в рыцари^[117].

О них многое нам рассказывает «Церковная история» их современника, англо-нормандца Ордера Виталия (1075 — ок. 1141), монаха из Сент-Эвруля в Уше. Этот автор — восхитительный рассказчик; в этом плане он немногим уступает Григорию Турскому и превосходит его в знании латинской грамматики и в социологической интуиции... Иногда он проявляет качества, достойные Тацита, и пишет более сочно. Итак, Ордери Виталий в достаточной мере представляет нам трех этих князей.

Старший, Роберт, любил жонглеров и девок, прожигал жизнь, был расточителен, порой тратил чрезвычайно много. При нем, согласно «Церковной истории», герцогство Нормандия пришло в упадок: старания отца пошли прахом, больше не было мира, не было герцога. Но, усиленно очерняя его, Ордери Виталий наводит читателей на подозрения. В конце концов, разве Роберт Короткие Штаны все-таки не был героем Первого крестового похода? Не он ли сражался целый день в жаркой степи под Дорилеем рядом с Боэмундом в ожидании подкреплений? Разве после стольких опасностей и тягот он не имел права влюбиться на Сицилии в юную и знатную Сибиллу де Конверсано, которая в 1102 г. родила от него Вильгельма Клитона? Но через несколько недель он вернулся во Францию, где самый младший брат, Генрих, отобрал у него едва ли не всё. Во всяком случае главная ошибка Роберта Короткие Штаны заключалась в том, что он был разбит при Таншбре 30 сентября 1106 г. И именно затем, чтобы оправдать его победителя, Ордери Виталий отзывается о Роберте хуже, чем, несомненно, следовало бы.

Вильгельм Рыжий, король Англии с 1087 по 1100 г., любил рыцарей больше, чем дам. Но его мужественное поведение явно исключает напрашивающееся обвинение в женоподобии. Он приобрел репутацию сурового воина и прозорливого короля, которому Роберт Короткие Штаны не зря доверил Нормандию на время крестового похода. Он был тверд и грозен для соседей — графа Эли дю Мэна или для сына короля Филиппа I, юного Людовика, посвященного в 1098 или 1099 г. (король с 1108 г.). Но в июле 1100 г. несчастный случай на охоте, случайная стрела — если это было так — оборвала его царствование и его жизнь.

И тогда третий брат, тот самый Генрих Боклерк, ждавший своего часа, понял, что час настал, и захватил в 1100 г. Англию, а потом, в 1106 г., — Нормандию. Он любил только собственную власть и умело ее укреплял.

Оба старших брата снабжали деньгами молодых и легкомысленных рыцарей. Роберт Короткие Штаны был первым из молодых мятежных князей, чьи несколько лет странствий (1077–1079) со свитой — надо ли говорить «ватагой»? — из знатных сверстников какой-либо автор (Ордери Виталий) мог сравнительно подробно описать. Он побывал во Фландрии у родственников по матери, в Германии, в Аквитании, и Капетинг Филипп I не увидел ничего

дурного в том, чтобы временно поселить и содержать его в замке Жерберуа, недалеко от нормандской границы, в качестве некоего вызова его отцу^{433}. В этот период Роберт жил за счет других, их милостей, расточавшихся не без задней мысли, и страдал от этого, чувствуя себя кем-то вроде «наемника» (положение не позорное, но все-таки несколько стеснительное для сына короля). Наконец, когда его отец в 1087 г. умер, он стал герцогом — и сколь щедрым показал себя! При нем, так же как при его брате и сопернике Вильгельме Рыжем, процветали пышные дворы, равно отличавшиеся снобизмом и любовью к жизненным удовольствиям, судя по критическим высказываниям монаха Ордерика Виталия.

«После смерти папы Григория [1085], Вильгельма Незаконнорожденного [10871 и других набожных государей почтенные обыкновения наших предков были почти полностью упразднены на Западе. Те носили скромные одежды, хорошо подогнанные к формам тела. Они были весьма умелыми в верховой езде и скачках, и во всем, чего требовал разум. Но в наши дни старинные обычаи почти целиком сменились новыми выдумками. Бойкая молодежь усваивает женскую изнеженность; придворные-мужчины стараются понравиться женщинам за счет сладострастия во всех видах. На сочленениях ступней, там, где кончается лодыжка, они помещают подобие ужиного хвоста, поражая взоры сходством со скорпионами. Слишком долгая кайма их одежд и плащей волочится по земле; они закрывают кисти рук, что бы ни делали, длинными и широкими рукавами и, отягощенные этими излишествами, неспособны ни быстро ходить, ни делать что-либо полезное. У них бритый лоб, как у воров, а на затылке они носят длинные волосы, как девки»^{434}. Возможно, эту моду ввел Фульк Глотка, граф Анжуйский, чьи деформированные ступни вынуждали его носить длинные башмаки, а потом она распространилась при дворе Вильгельма Рыжего в атмосфере пиров и азартных игр, среди «женоподобных» мужчин.

Самое пикантное, что в тысячном году Вильгельм из Вольпиано, напротив, находил неприличной моду на короткие волосы, новую в то время: он считал, что она указывает на гомосексуальные наклонности! Во всяком случае когда при дворе короля Роберта Благочестивого ее ввели южане из свиты королевы Констанции, эта мода очень скоро произвела фурор среди знати королевской Франции и Бургундии!^{435} Надо полагать, пристрастия в одежде облагораживаются по мере их старения, как сами одежды при этом изнашиваются... Разве рыцари, которым подражали другие классы общества, как заметил еще Ордерик Виталий, не должны были испытывать потребность изменять моду, притом достаточно часто, подтверждая свое особое положение?

Однако в других местах «Церковной истории» зарождающаяся куртуазность вполне сочетается с почтением к Богу и святым — в те самые моменты жизни, в какие мы застаем этих людей в залах или «дворцах» (*aulae*), смежных с княжескими или сеньориальными донжонами. В зале Конша рыцари беседуют более или менее серьезно; в присутствии дамы они рассказывают о своих христианских сновидениях и обсуждают их толкование^{436}. Далее мы узнаем, что один молодой рыцарь взял с собой в паломничество перчатки своей «подруги» и отдал их в качестве милостыни встречному нищему, потому что больше подать было нечего^{437}. Дворы были также местами, где шли разговоры о паломничестве, о священной войне, об «обращении» — капеллан Гуго Авраншского, в эпической манере рассказывавший о житиях святых рыцарей, вызвал настоящий религиозный подъем^{438}.

Иногда мы можем обнаружить проявления некоторой власти женщин. Вот, прежде всего, Мабиль Беллемская, наследница крупной сеньории. Она ведет себя как настоящий сеньор, совершенно не опираясь на мужа. В 1060-е и 1070-е гг. она была полноправным действующим лицом вендетты или феодальной войны, пользуясь поддержкой вассалов и, говорят, прибегая

к яду; впрочем, в 1073 г. ее схватили и убили враги прямо в постели, и похоронена она была в аббатстве Троарн, причем эпитафия на ее гробнице достойна посвященного сеньора: она именуется «щитом родины» и «твердыней границы» (нормандской)^{439}.

Многие из ее современниц все-таки больше думали о любви, чем о войне. Они томились в ожидании мужей, ушедших завоевывать Англию с Вильгельмом, и, по словам Ордерика Виталия, отправили им угрожающее послание: пусть те вернуться, чтобы спать с ними, иначе они сменят себе мужей. И сразу же такие «почитаемые воины», как Гуго де Гранмениль и Онфруа дю Тиллель, покинули фьефы, которые только что приобрели за Ла-Маншем: что еще было делать, «если их похотливые жены оскверняют супружеское ложе прелюбодеем и накладывают неизгладимое пятно на честь рода»^{440}? Однако монах Ордерик Виталий отнюдь не преувеличивает, сообщая эти подробности. Соображение, которое приходит в голову обоим рыцарям, очевидным образом подтверждает тот факт, что настоящее прелюбодеем могла совершить только женщина. Ее проступки имели специфическое последствие — вынуждали мужа признавать себя отцом чужого ребенка; кроме того, сама беременность могла ее выдать^[118]. В данном случае по этой странице «Церковной истории» можно догадаться, что Гуго и Онфруа сослались Вильгельму Завоевателю на этот призыв жен в надежде (тщетной), что он не отберет назад их английские фьефы. То есть перед неким подобием двора посмели сослаться на супружеское право! Но решающего значения этот аргумент не возымел...

Бертрада де Монфор боялась своего первого супруга, графа Анжуйского Фулька Глотку, и в то же время мечтала стать королевой. Поэтому в 1092 г. она организовала собственное похищение королем Филиппом I. Ордерик Виталий добавляет, что потом она сумела посадить Фулька и Филиппа за один стол — более того, заставить спать в одной комнате^{441}. Историки-«позитивисты» отвергли это свидетельство, которое не подтверждается никаким другим; они увидели в нем вклад усердного монаха в церковную кампанию по очернению королевской четы. Но ведь никто из современников не написал таких подробных рассказов, как он, к тому же разве этот штрих не соответствует той эпохе рыцарских хороших манер?

Некоторые сомнительные поступки рыцарских жен связаны с их более низким статусом по сравнению с мужчинами и в то же время демонстрируют пределы и даже парадоксальные преимущества этого более низкого статуса.

На самом деле вот война замков, вспыхнувшая в Нормандии вскоре после 1090 г. между графом д'Эврё и сеньором Конша. Ее причиной было то, что графиня Эльвиза разгневалась на слова, публично произнесенные по ее адресу дамой Изабеллой де Конш. Обе эти властительные женщины соперничали и ненавидели друг друга, обе были прекрасны и красноречивы, обе водили за нос своих мужей-рыцарей и были грозны для подданных. Однако они кое в чем отличались, и скупой Эльвизе, конечно, следует предпочесть Изабеллу, любезную и великодушную. Дама де Конш дошла даже до того, что вообразила себя амазонкой: «Она ездила верхом в доспехах, как рыцарь»^{442}. Можно подумать, что после этого в XII в. срочно изобрели куртуазную любовь, чтобы вернуть знатную женщину на подходящее для нее место — зрительницы боев между мужчинами^{443}... Тем не менее напомним, что в VIII книге, которая цитируется, Ордерик Виталий идет на всё, чтобы дискредитировать дурное, слабое правление Роберта Короткие Штаны в Нормандии с его феодальными войнами и «тиранией» некоторых сеньоров в отношении церкви. Автору не терпелось увидеть все наследие Завоевателя в лучших руках.

Положение немного изменилось с 1096 г. благодаря Первому крестовому походу: он прибавил серьезности некоторым сеньорам и увлек дурного герцога на Восток. Роберт

Короткие Штаны доверил Нормандию на время своего отсутствия своему брату Вильгельму Рыжему, в котором отчасти воскресла отцовская твердость, несмотря на его нравы и в сочетании с большим изяществом — возможно, благодаря им. К этому моменту феодальную войну уже не просто местами слегка окаймляли рыцарские мотивы, она выглядела прямо-таки расписанной ими — пусть даже дурных поступков совершалось по-прежнему много и пусть любое появление Роберта Беллемского, этого «тирана», ненавистного Ордерику Виталию^[119], удачно напоминает нам, что весь этот бомонд с его добродетельной сдержанностью, красивыми словами, умением ценить отвагу не только военную, но и словесную, ни в малейшей степени не избыл привычек к грабежу и равнодушия к страданиям низших классов.

Вильгельм Завоеватель приобрел Англию за день, превзойдя Юлия Цезаря, как с удовольствием отметил Гильом Пуатевинский. Но в повседневной реальности французской феодальной войны с ее застарелой тенденцией к «вязкости» он проявил себя не лучше других. Мэн, завоеванный в 1063 г. благодаря военному и политическому напору, вскоре снова стал оказывать сопротивление или уклоняться от выполнения приказов, и тут не обошлось без анжуйцев. Коммуну 1070 г., настроенную прежде всего против Жоффруа де Майенна^[444], можно было бы использовать в интересах герцога-короля Вильгельма, — но нет, с выступления виконта Юбера де Сент-Сюзанна в 1084 г. начался новый цикл политических и военных столкновений, из-за которых ни городская коммуна, ни нормандское влияние не могли утвердиться. Эту игру вели бароны Мэна, владельцы крепких сельских замков, и один из них, Эли де Ла Флеш^[445], по матери потомок прежних графов, в 1099 г. наконец выкупил свое графство у великодушного Роберта Короткие Штаны при поручительстве графа Анжуйского. Но приезд в Руан в 1096 г. Вильгельма Рыжего на смену Роберту вызвал беспокойство у Эли. Он дал крестоносный обет, как и Роберт Короткие Штаны, но опасался, как бы в его отсутствие Вильгельм, очень «мирской» человек, чего-нибудь не задумал бы или не совершил. Поэтому он отправился ко двору Вильгельма, в Руан, чтобы испросить у него гарантии для Мэна. Но тот отказал, и в присутствии баронов произошла перепалка между ним и Эли. Каждый ссылался на свое наследственное право, и под конец Вильгельм Рыжий бросил: «Я поведу с тобой тяжбу мечами, копьями и бесчисленными стрелами»^[446]. При таком раскладе выступление Эли в крестовый поход так и не состоялось. Или, скорее, чтобы не нарушать священного обета, он прибег к хитрому аргументу: крестоносец должен бороться со всяким врагом истины, а для Мэна ее настоящий враг — Вильгельм Рыжий.

Поэтому он остался во Франции, изобразил крест на своем щите, шлеме, на всех доспехах и даже на седле коня — и началось.

Эли не был человеком дурного тона. Он носил короткие волосы, смахивая на священника с тонзурой, понимал толк в правосудии, защищал церкви и подавал милостыню бедным^[447]. Защищал ли он последних? Во всяком случае, несмотря на претензию на сеньориальную власть, он не мешал грабить бедняков своей земли «тирану» Роберту Беллемскому, присоединившемуся к Вильгельму Рыжему. К счастью, последний, занятый другими делами, забыл о Мэне на два года — за это время Эли успел возвести замок Данжель «и собрать там своих вассалов, чтобы защитить жителей этой местности». Эти вассалы не стояли постоянным гарнизоном; похоже, это были рыцари замков, и они несли стражу или оставались там по месяцу-два, а все собирались в случае войны или *plaid'a*.

В феврале 1098 г. Вильгельм Рыжий попытался напасть на него внезапно, — но потерпел неудачу: о его приближении проведали. Для начала король довольствовался тем, что финансировал тирана Роберта, чтобы тот усилил сеть своих мелких замков (насыпных

холмов, малых оград) в этой местности и набрал наемников. Так жители Мэна стали жертвами его «зверской жестокости» и «лютой войны»: триста пленников, взятых в самый разгар Великого поста, погибли в заключении от голода и холода, хотя предлагали немало денег для своего выкупа^[448]. Тем не менее отметим, что литургические перемирия, похоже, почти никогда не соблюдались, и, невзирая на все пристрастные суждения Ордерика, зададимся вопросом: достаточно ли предлагали означенные пленники, — ведь целью этой «лютой войны» оставались грабеж и выкуп, а не истребление. После Пасхи добрый граф Эли организовал карательный рейд из Данжеля. Но, как всегда в подобных случаях, сложности возникли на обратном пути: случайно оторвавшись от основных сил отряда с семьёй соратниками, он был захвачен в плен Робертом Беллемским. «Роберт передал его королю [Англии] в Руан, а король велел, чтобы ему оказывали почести. В самом деле, он не был жесток в обращении с рыцарями, но приятен и великодушен, весел и приветлив»^[449]. Эли сам был популярен среди баронов, сочувствовавших его делу.

Эту «войну», столь же однообразную, сколь и нескончаемую, лишённую ожесточенности, необязательно восстанавливать в деталях. О ней очень красноречиво говорит Ордерик Виталий. Хватит и небольшого подбора реплик и историй (обработанных и отобранных), которые предоставляет нам он. Однажды виконт Мэна был осажден Вильгельмом Рыжим и поспешил начать с ним переговоры о мире. Он заявил, что не хочет погибать за графа Эли и встанет на сторону феодального «собора» баронов Мэна, назначенного на ближайшее время. «Государь король, — сказал он Вильгельму, — я говорю вам это с ведома самых высокородных мужей; ведь если бы я по собственному почину прекратил воевать и затеял переговоры о мире вопреки мнению равных мне, я бы, вне всякого сомнения, обесчестил весь свой род»^[450]. Конечно, процветание высоким родам приносили не подвиги и смертельный риск, а следование подобным правилам хорошего тона и умение хорошо говорить в рыцарском духе. Сразу же эти слова в той же формулировке повторили все сеньоры, находившиеся на пути к Ле-Ману. Однако граф Анжуйский, феодальный сеньор Эли, спешно выступил со своими вассалами и успел войти в город, чтобы не впустить в него нормандцев. «Когда прибыл король [Англии], рыцари вышли из города и целый день храбро сражались с нормандцами, и с той и другой стороны были совершены рыцарские подвиги». Но что следует под этим понимать, кроме игровых конных поединков? «В обоих лагерях прославленные бойцы хотели показать свою силу и заслужить похвалы, окрашенные кровью их государей и равных им рыцарей». Такие поединки иногда бывали кровопролитными, но худшее не всегда верно.

После этого нормандцы отступили, и анжуйцы осадили нескольких из них в замке Баллон. Но была ли эта осада жестокой? Нет, это была такая же увеселительная прогулка, как та, во время которой (будущий) Вильгельм Завоеватель в 1052–1053 гг. охотился в окрестностях Домфрона. В тот день 1098 г. анжуйцы, осаждающие Баллон, устраивают пир. Они не забывают раздать милостыню нищим, которые постоянно информировали осажденных. Те берутся за оружие и захватывают четырех сеньоров и рыцарей замков. Однако Вильгельм Рыжий недалеко, и его сторонники с радостью принимают короля как победители: они захватили знатных пленников. «Прослышав же о том, пленные в свою очередь подали голос, они закричали: “Благородный король Вильгельм, освободи нас!” Он услышал и велел, чтобы их всех выпустили и пригласили бы на щедрую трапезу с его людьми в укрепленном жилище, и после этой трапезы он освободил их под честное слово». Чудеса святых здесь не понадобились — их заменило рыцарство короля-герцога. Тех из своих, кто выразил некоторое неудовольствие, король заверил: «Я далек от мысли, чтобы храбрый рыцарь мог нарушить слово: если бы он так поступил, его бы презрели, как презирают

изгнанника»^{451}. Через недолгое время Мэн по договору оставили Вильгельму Рыжему и обменялись всеми пленными, среди которых был Эли.

В 1099 г. на Пасху Эли выступил из Ла-Флеш в поход на Ле-Ман, но его задержало контрнаступление Вильгельма Рыжего на его собственный замок Майет. На сей раз имели место грабежи, а любезностей было немного. Тем не менее Вильгельм не нарушил воскресного перемирия, лишь после него атаковав Майет. К понедельнику осажденные успели укрепить оборону, они обрели уверенность и метнули в наступавших камень. Едва не убив Вильгельма, этот снаряд выбил мозги одному из его соратников, и из крепости ему крикнули, что теперь у него есть мясо на обед!^{452} Шутка язвительная и не слишком христианская для тех дней, когда крестоносцы осаждали Иерусалим. Впрочем, это немного напоминает обмен насмешками и провокациями между франками и сарацинами в «Поэме» Эрмольда Нигелла.

Во всяком случае изысканные слова порой чередуются с оскорбительными насмешками. Это сладость, переходящая в горечь, и за изъявлениями доверия и преданности в хорошем обществе всегда кроется недоверие. Вот июль 1100 г., финальный эпизод войны. Услышав о смерти Вильгельма Рыжего, Эли де Ла Флеш спешит к Ле-Ману, где ему открывают ворота. На сей раз он получает помощь от графа Анжуйского для осады городской цитадели, где укрылись нормандцы, хорошо оснащенные и с хорошим запасом провизии, под командованием Эмери и Готье. Эта башня может держаться долго; из нее доносятся угрозы и насмешки, как из Майета год назад. «Каждый день они говорили меж собой и обменивались угрозами, но угрозы сопровождались множеством шуток». Эли, умевший, конечно, говорить что надо, должен был владеть искусством слышать не всё; в него не летели камни, он получил охранное свидетельство: «Они дали ему привилегию безопасного доступа к защитникам башни в любое время, когда он захочет, если облачится в белую тунику. И он полагался на их честность, ибо знал, что они весьма доблестны и весьма честны. Узнаваемый в своей белой одежде, он часто виделся с врагами и, не колеблясь, в одиночку вступал в долгие споры с ними... Окруженные и те, кто был снаружи, подшучивали друг над другом, и остроты, которыми они обменивались, были недурны, отчего в этом краю еще долго вспоминали их с восхищением и удовольствием»^{453}.

Когда столкновение превращается в игру, нам все-таки следует быть настороже. Опасность резких перемен или вероломства, бесспорно, сохранялась, и Эли, равно как и его противники, должен был сознавать и оценивать ее^{120}. Если подобные меры предосторожности были осмысленными и реальными, значит, рыцари также могли грозить друг другу, что перейдут к более жестким методам ведения войны. Из крепкой башни, возведенной Вильгельмом, Эмери и Готье были способны метать камни и пускать стрелы, и действительно, в то время те, кто находился в обороне, часто имели преимущество, и это положение считалось почетным. Эмери и Готье, впрочем, оставались начеку и объяснили Эли: если они так покладисты с ним, то потому, что не знают, у которого из выживших сыновей Завоевателя должны этим летом 1100 г. запрашивать инструкции. Они договорились о перемирии и воспользовались им, чтобы получить от Роберта Короткие Штаны распоряжение сдать крепость. «Тем самым защитники проявили верность, достойную похвал. Тогда они велели Эли вновь надеть его белую тунику, за которую называли его “белым башелье”^{121}. Титуловав его подобным не слишком почтительным образом (особо подчеркивавшим, что он всего лишь претендует на титул графа), они потребовали от него крупную сумму денег, сказав: «Тем самым мы признаем твою отвагу, доблестный муж, избираем и делаем тебя господином Мэна, передавая тебе эту цитадель»^{454}. Формулировка

забавная, но это не единственный случай, когда под «сделать сеньором» подразумевалось «принести оммаж»; возможно, она вызвала у Эли улыбку, но автор идет на всё, чтобы показать, что его герой принимает игру. У него нет сложностей с тем, что мы бы назвали «интерпретацией», он подстраивается под обстоятельства, он несколько вольно истолковал свой крестоносный обет, что не помешало ему ни снискать одобрение Ордерика Виталия, ни сохранить Мэн, держа его одновременно от Нормандца и от Анжуйца. Это хороший игрок, рыцарь расчетливый и умелый, равно как и изысканный.

Ощутима ли подобная изысканность во всех конфликтах тысяча сорокового года? Правду сказать, нет. Ведь здесь «войну» между собой вели рыцари с одинаковым статусом, но из соседних провинций, у которых не было поводов для слишком сильной взаимной ненависти, как бывало в некоторых «горьких файдах» или в случаях, когда князь имел дело с мятежом, с «изменой» природных подданных.

Нельзя ли ее заметить также в конфликтах и «интерактивных играх» между нормандцами и французами из-за некоторых замков, которые отныне служили пограничными вехами? Для эпохи Вильгельма Рыжего нас с этими столкновениями знакомит аббат Сугерий из Сен-Дени^[455]. Этот биограф Людовика VI был его сверстником; он немного преобразовал облик царствования Людовика, описав его задним числом (около 1144 г.). Он стремился сделать из Людовика VI Толстого (король с 1108 по 1137 г.) образец справедливого и карающего короля, врага тирании сеньоров-шателенов над церквями, взывающими к нему о помощи. Но при всем том^[456] Сугерий не скрывает пристрастия своего героя к мирскому рыцарству, скорее легкомысленному, чем царственному. Этот биограф — не чистый теоретик, ему не свойствен тот невыносимый суконный язык, каким вскоре Ригор из Сен-Дени опишет начало царствования Филиппа II Августа (1180–1200). Поначалу Сугерий живо и наглядно изображает пылкий нрав принца Людовика, каким тот отличался еще в подростковом возрасте. Посвященный в 1097 г. старым графом Ги де Понтье^[122], заигрывавшим с его отцом Филиппом I и особенно с его мачехой, новой королевой Бертрадой, этот молодой волк как будто никем не восхищался более, чем Вильгельмом Завоевателем. В 1098 г. он проявил такую же неудержимость, как и за пятьдесят лет до этого молодой герцог под Мулиэрном, и мечтал приобрести боевой опыт, чтобы бороться с сыном и тезкой последнего — Вильгельмом Рыжим. В результате получился красивый матч, в котором, если верить Сугерию, команда Франции (королевская), располагавшая намного меньшими ресурсами, сумела выстоять против нормандской сборной.

На принца Людовика в то время «напали многие знатные бароны королевства», а прежде всего Вильгельм Рыжий. В ответ «мужество его геройского сердца воспламенилось, его доблесть смеялась над испытаниями». Ведь принцу противостоял противник, «искушенный в рыцарстве, жадный до славы и искавший громкого имени», который сражался с Людовиком «всеми средствами, какими мог» — или по крайней мере какие позволяли ему некоторые условности. Поскольку нельзя сказать, чтобы реки Сена, Сарта или даже Эпта или Юин превратились в потоки крови, как в одной «песне о мятежном бароне». Знать, видимо, здесь больше захватила пленных, чем убила врагов. В 1098 г. французы, отражая нормандское вторжение, убивали коней (очень дорогих) и щадили людей^[457].

В результате получалась смесь настоящей войны, с политическими целями, и почти спортивного соревнования, остроту которому придавало неравенство сил — различие в финансовом положении Вильгельма и Людовика. Сын Завоевателя располагал богатствами Англии и широко ими пользовался, чтобы «покупать и оплачивать рыцарей-наемников», тогда как Людовик, который был моложе и бедней, умел давать ему достойный отпор.

«Лишенный денег, берегущий средства отцовского королевства, он привлекал к себе рыцарей только собственными достоинствами»^{458}. Кто не видел с 1098 по 1100 г., как он проводит набеги, молниеносные операции с горсткой рыцарей (молодых, как и он) во всех землях, соседствующих с королевским доменом, тот не видел ничего. И все-таки самым прекрасным был момент, когда он противостоял самому Вильгельму, имея сил в двадцать раз меньше... Пьянящим! Даже если Сугерий в конечном счете признает, что успехи чередовались с неудачами, а Ордерик Виталий дает другое объяснение: бедных «французов» вдохновлял на бой размер выкупов, какие давали за нормандцев^{459}.

«В подобных столкновениях, — продолжает Сугерий, — с обеих сторон брали много пленных» — значит, не убивали или убивали мало. Так, однажды и Людовик, и Вильгельм захватили по три знатных бойца, что принесло им важные очки, — графов или сеньоров замков. Но англо-нормандец заплатил наличными за освобождение своих людей, в то время как «французы испытали тяготы долгого плена», потому что Капетинг не мог их выкупить. И в конечном счете они вышли из положения за счет того, что примкнули к Вильгельму Рыжему: они поступили к нему на службу, принесли оммаж и отныне разоряли «королевство» (королевский домен). В другие времена кто-нибудь сказал бы, что капитализм тут одержал сокрушительную победу над рыцарской доблестью. Но феодальные войны всегда выигрывались за счет переманивания вассалов противника.

Это противоборство без особого ожесточения прекратилось с гибелью Вильгельма Рыжего в июле 1100 г. в результате несчастного случая. Тогда начался период конфликтов между обоими пережившими его братьями. В самом деле, Роберт Короткие Штаны возвратился из Первого крестового похода как раз вовремя, чтобы вернуть себе Нормандию в сентябре, но в Англии его младший брат Генрих Боклерк опередил его, став королем в августе. Очень скоро последний стал готовиться к войне, а главное, посылать агентов и плести интриги, чтобы отнять у уставшего брата в 1106 г. и Нормандию тоже. Что до молодого Людовика, для него началась стадия борьбы с мачехой (Бертрадой де Монфор) и сводными братьями, приведшая к феодальным войнам в королевском домене.

Ордерик Виталий поддерживает Генриха Боклерка, победившего при Таншбре в 1106 г. в сомнительном сражении, тогда как, пытаясь оценить правоту дела Вильгельма Завоевателя при Гастингсе и в Англии, он не скрывал растерянности. Но он не перегружает свою похвалу словесными украшениями в духе Гильома Пуатевинского. Заслуга этого монарха в том, что он навел в Нормандии порядок, не более того. Ордерик Виталий не из тех, кто стал бы делать из Генриха Боклерка образец изысканности, геройства, милосердия. Нет, он сообщает о многих низких поступках и жестокостях последнего. Так, Генрих без колебаний, преследуя свои интересы в истории с детьми-заложниками, велел ослепить собственных внуков (дочерей своей незаконной дочери Юлианы)^{460}. Он царствовал над феодальным обществом, еще далеко не усвоившим всех механизмов для обеспечения рыцарского поведения. Впрочем, может ли любой уважающий себя монарх поступать иначе, чем чередовать в зависимости от обстоятельств красивые жесты и дурные манеры?

ОТ ТАНШБРЕ ДО БРЕМЮЛЯ

Рассказывая о походах Генриха Боклерка, Ордерик Виталий занимает, скорее, позицию защитника: он показывает, что этот монарх, скорее, старался щадить как можно больше противников — при Таншбре 30 сентября 1106 г., потом при Бремюле 20 августа 1119 г., — чем был неумолимым. Но хронист дает понять, что подобная умеренность представляла собой не добродетель, а расчет, неизбежную уступку общественному мнению. В самом деле, сколько ни приводи оправданий, остается очевидным, что эти две победы позволили ему лишиться наследства старшего брата, а потом племянника — которого в своем королевстве поддерживал король Людовик VI. В результате получается рассказ о сражениях с умеренной жестокостью, в традиции боев при Нуи и Сен-Мартен-ле-Бо в 1044 г.^[461]

Чтобы сражаться с братом Робертом, столь благодушным и расточительным, у Генриха были деньги — он мог их брать как из своих накоплений, так и из Англии. В свой ост он набрал фламандских рыцарей на английские деньги и при поручительстве графа Фландрского (которое было дано в 1103 г.). Далее Ордерик Виталий показывает, что во время похода в Нормандию в 1106 г. Генрих тоже полностью следовал посткаролингским обычаям войны между братьями. Он ссылаясь на справедливость и общее благо с велеречивостью и апломбом, достойными сыновей Людовика Благочестивого времен их междоусобиц. Во всяком случае епископ Серлон Сеезский или даже сам Ордерик, в принципе согласный с последним, осмеливались использовать сильные выражения вроде «не впадать в грех применения оружия»^[462]. Крестовый поход закончился не так давно, справедливая война имела все шансы на успех: победа Генриха увенчает «более чем учтивую войну, каковая велась ради мира»^[463]. Герцог Роберт Короткие Штаны действительно был неспособен установить мир и обуздать свирепствовавшего в Нормандии тирана, друга своей юности Роберта Беллем-ского. Последний и граф Вильгельм Мортенский поддерживали его против Генриха Боклерка, властного нрава которого они опасались как магнаты, сознающие свои интересы.

Генрих Боклерк и его приверженцы демонстрировали серьезность, неприятие легкомыслия. Епископ Серлон Сеезский призвал их в 1104 г. как людей, служащих правому делу, обрезать волосы, отринув моду, неприличие которой можно обличать до бесконечности: «У вас всех женские прически. Что за непотребство для вас, сотворенных по образу Божию и призванных выказывать мужественность!» Так они приобрели облик улучшенного благочестивого рыцарства, хоть и не дошли для того, чтобы во время внутренней войны назвать себя крестоносцами, как один из них, Эли дю Мэн, посмел сделать в 1096 г. Тем самым противостояние двух группировок получило под пером Ордерика Виталия облик нравственной борьбы.

Кампанию 1106 г. Генрих вел с меньшей изысканностью, чем это делали в Мэне с 1098 по 1100 г. Вильгельм Рыжий и Эли де Ла Флеш, но не забыл предпринять некоторые меры предосторожности. Для Генриха Боклерка было важным победить, не совершив братоубийства, в отличие от Гарольда Годвинсона, убившего Тостига. Под Фалезом происходили только конные поединки (ни один из которых не имел смертельного исхода), но дело застопорилось из-за присутствия Роберта Короткие Штаны: чтобы между братьями не завязалось сражение, начали трудные переговоры, и, как всегда в таких случаях, имели место переходы из лагеря в лагерь, присоединения новых союзников и измены. При войнах между близкими атмосфера всегда немного гнилая, а немало знатных семейств, как и семейство Завоевателя, оказалось расколото. Правду сказать, еще худшей атмосфера была для крестьян,

которые несли урон от пожаров и грабежей от Пятидесятницы до Михайлова дня^{464}.

Генрих Боклерк осадил Таншбре, замок графа Мортенского. Роберт Короткие Штаны хотел снять осаду с этой крепости при помощи армии, где было меньше рыцарей, но больше пехоты. Однако сойтись в бою без новых обсуждений было невозможно, притом из армии Роберта происходили дезертирства. К тому же отшельник Виталий, сделав жест, несомненно, типичный для григорианской эпохи, о которой мы и рассказываем, выступил посредником; но, поскольку в те времена превозносили еще и справедливую войну, Генрих мог гнуть свое дальше — он сослался на решение Божьего суда не в пользу своего брата, коль скоро тот неспособен мстить за оскорбления, полученные им самим, или за несправедливости, перенесенные его подданными. Генрих сделал лишь несколько рассчитанных «рыцарских» жестов: освободил одного пленного, взятого в Сен-Пьер-сюр-Див, потому что это был человек его брата, дал обет отстроить это аббатство, которое он прежде сжег вместе с соседним замком.

Итак, сражение при Таншбре произошло 30 сентября 1106 г. Авангард Генриха Боклерка удержал строй под натиском вражеских рыцарей, в то время как союзный мэнский отряд под командованием графа Эли атаковал и перебил «безоружных пехотинцев» (читай: не имеющих рыцарского оружия), раздробив силы вражеского оста. Роберт Беллемский бежал, и исход стал выглядеть ясным. Если какое-то время сохранялся «саспенс», то лишь потому, что война должна была остаться как можно более честной, незапятнанной — иными словами, вражеских командиров следовало не убивать, а брать в плен. Один воинственный капеллан Генриха, притом хороший кавалерист, отправился на поиски герцога и сумел его пленить, не изувечив, — может быть, потому что Роберт Короткие Штаны предпочел сдаться. Потом Генрих с трудом вырвал графа Мортенского из рук собственных бретонских союзников: в самом деле, они содрали бы с того изрядный выкуп, а потом освободили, тогда как король хотел оставить его себе. Сложности сражений... В конечном счете пленник Роберт пошел на сотрудничество с братом-победителем, потребовав от нормандских крепостей сдаться, и остался у него в плену на всю жизнь: ему оказывали почести, но строго охраняли. Зато Генрих предпочел выпустить из рук юного племянника Вильгельма Клитона в возрасте четырех лет, опасаясь поклепов в случае, если бы ребенок умер под его властью, будь то от несчастного случая или от болезни. Есть некрасивые жесты, на которые приходится идти, но есть преступления, которых лучше не совершать.

И когда ведешь войну с королем в его королевстве, какие правила необходимо соблюдать, какая изысканность окупается, какая грубость остается дозволительной?

Что касается Людовика VI, этот вопрос тем более деликатен, что даже после миропомазания (3 августа 1108 г.) в этом короле долго сохранялись некоторая импульсивность, рыцарское легкомыслие молодого человека. Сугерий в своей книге утверждает, что его рыцарство (*militia*) после этого дня полностью изменилось — он претерпел нечто вроде обращения к королевскому образу жизни и королевским сражениям, к защите церковей и бедных^{465}. В то же время книга изобилует эпизодами, доказывающими обратное. Например, когда автор описывает Людовика под Пюизе в 1112 г., в день, когда королевские рыцари потерпели поражение от рыцарей графа Блуаского. Тот скакал «среди вражеских отрядов, выстроенных клиньями, и с мечом в руке защищал тех, кого мог, он останавливал бегущих. Он вступал в одиночные схватки больше, чем пристало королевскому величеству, ведя себя, скорей, как отважный рыцарь, чем как король»^{466}.

В горячке боя, в раздражении из-за слишком упорного сопротивления врага Людовик иногда грешил против хорошего вкуса. На словах, когда грозил знатным бойцам повесить их

или ослепить ^{467}. И даже на деле, когда довольно неучтиво вынудил двух вражеских рыцарей нахлебаться воды в реке ^{123}. Но все-таки это была война, и это всё свидетельствует о его личном небезразличии, о его энергии. Этот король сам обливался пбтом под кольчугой!

Даже сам Сугерий, отметим это мимоходом, испытывал, и не раз, чувство восхищения мирскими рыцарями. Он не упускает случая воздать хвалу самым могучим князьям, видя в них самых испытанных рыцарей. Когда появляется Тибо Блуаский, то это «молодой человек великой красоты и доблестный в обращении с оружием», который без опаски чернит перед королем род сеньоров дю Пюизе за давнее клятвопреступление ^{468}, хотя сам происходит от Тибо Мошенника ^{469}. Сугерий любит особо отмечать рыцарскую славу великих крестоносцев или позор тех, кто бежал, не слишком распространяясь о духовной заслуге тех, кто якобы ее приобрел, «следуя за Христом». Разве на витражах Сен-Дени в его времена (около 1144 г.) не изобразили победы графа Фландрского и герцога Нормандского в поединках с сарацинами в Палестине? ^{470} Сугерий даже с видимым удовольствием рассказывает о чередующихся с подвигами хитростях Гуго де Креси, «стойкого, доблестного в обращении с оружием» ^{471}, но тем не менее настоящего смутьяна в «королевстве» (королевском домене). Его обличают перед королем как человека жестокого и кровожадного, — и все-таки какой талант, какое мастерство он обнаруживает, пытаясь вернуть пленников и свой замок! Он переодевается то жонглером, то продажной девкой, пытаясь пробраться через позиции королевского войска — куда, стало быть, люди подобных профессий, рассчитанных на развлечение, имели доступ! Но его разоблачают. Гильом де Гарланд, благородный брат одного из его пленников, первым бросается на него в явной надежде захватить в плен и потом обменять. Тогда Гуго де Креси вскакивает на коня, несколько раз оборачивается и грозит копьем главному преследователю, надеясь победить его в поединке, но так и не решается вступить в бой, опасаясь, как бы его не его захватили бы в плен преследователи. Чтобы ускользнуть от них, когда они уже настигают его, он даже выдает себя за Гильома, и таким образом «ему в одиночку удалось бежать, посмеявшись над многими» ^{472}. О, феодальная война весьма занята! Особенно в те дни, когда в ней участвуют в основном рыцари, а значит, погибают только от несчастных случаев... Описывая ее, аббат Сен-Дени на миг забывает о поруганной чести церковью Божьих и о страданиях ограбленных крестьян, то есть о проявлениях «тирании», в которых он упрекает сеньоров и рыцарей замков и которые вызывают к справедливому возмездию со стороны короля, светской руки Бога.

Однако капетингский король в значительной степени исходил из своей «рыцарской функции» в каролингском понимании — защиты церковью и бедных. Людовик VI в королевском домене был монархом Божьего мира в версии, близкой к версии Беррийского мира 1038 г. ^{473} Он мог набирать «ост христианства», как еще в 1120-е гг. гласит хартия, принятая в Торфу близ Этампа. Эта формулировка, которую капетингские короли до тех пор почти или совсем не использовали, при Людовике VI вновь появилась, напротив, с самого начала царствования. Ордрик Виталий усмотрел в ней свидетельство слабости короля: он обращается к епископам и к «общине народа», в чем не нуждался Генрих Боклерк, чтобы отправиться в поход и сжечь замок Беллем в 1113 г., — по его приказу выступил «ост всей Нормандии» ^{474}.

Действительно, в Нормандии действовало Божье перемирие — и на королевских землях тоже, по крайней мере в Шартре, — то есть епископам, опирающимся на государя, в святое время были подсудны святотатственные насилия. Но в Нормандии, за несомненным исключением периода между 1035 и 1042 гг., герцогскую власть всегда отправляли (как и

графскую в Анжу), не прибегая к формуле христианского мира, принятой в Аквитании в тысячном году и позволявшей региональному князю или владетельному епископу использовать для походов на замки многочисленный и освященный ост.

В королевской Франции епископы провозглашали анафему своим и королевским врагам. И Сугерий даже сообщает, что они лишили рыцарского достоинства одного из этих людей — Тома де Марля. Действительно, на соборе в Бове в марте 1115 г. папский легат, «искренне взволнованный бесчисленными жалобами церквей и страданиями бедняков и сирот, низверг тиранию» Тома де Марля, «пронзив его мечом святого Петра, то есть общей анафемой, и лишил его [заочно] рыцарского пояса»^{475}. Потом собор послал против него короля с остом христианства. В Нормандии монарх тем более сурово покарал мятежного рыцаря, что когда-то сам посвятил его. В королевской Франции нет ни следа посвящений, которые бы совершал Людовик VI, упомянут только один архаичный или редкий случай — лишение рыцарского достоинства (*desadoubement*) по велению Церкви, как в 883 г. И король после этого не выказал неумолимой суровости по отношению к виновному.

Ведь Людовик VI вовсе не становился полностью на сторону Церкви или простонародья в борьбе против какого-нибудь Гуго дю Пюизе (1111 г.) или Тома де Марля (1115 г.). Это не он лишил рыцарского достоинства Тома де Марля, бывшего крестоносца, из которого «Песнь о Иерусалиме» вскоре сделает чистейшего героя христианства и к которому он сам был близок по возрасту и кругу общения. В походе 1115 г. было взято и сожжено всего два замка Ланской области — главный в их число не входил. И хотя приговор собора в Бове лишал Тома всех сеньорий, вскоре оказалось, что все они находятся во владении его и наследников, кроме самого спорного (Амьенское графство)^{476}. Гвиберт Ножанский в рассказе о той же кампании 1115 г. дает почувствовать внутреннее напряжение в осте между пехотинцами, желающими поскорей атаковать замки, разорить их и перебить гарнизоны, и рыцарями, сдерживающими этот порыв^{477}. Сам Людовик VI во время первого и самого знаменитого взятия замка Пюизе в 1111 г. поспешил спасти его сеньора, Гуго, от мести крестьян, чтобы сделать собственным пленником и очень скоро отпустить^{478}. Согласно Сугерию, постоянной и оправданной задачей, которую ставил перед собой Людовик VI, было скорей сохранение прав знати, чем защита от нее слабых.

Генрих Боклерк, хотя и не опирался на «общину народа» и посвятил очень много знатных людей, был на самом деле более суров по отношению к последним. Арестовав при своем дворе в 1112 г. Роберта Беллемского, он совершил поступок более чем неучливый, посягнув на основные права знати. Людовик VI меньше настаивал на прерогативе сеньора-посвятителя и больше считался со знатью.

В результате можно отметить контраст между отправлением власти герцогом Нормандии и королем Франции, между значением, какое тот и другой придавали посвящению, но не между поведением «французских» и нормандских рыцарей на войне. Именно в результате их взаимодействия и даже их противостояния достигли расцвета обычаи и идеалы классического рыцарства — как результат совместной разработки.

На границах Нормандии, особенно в районах Жизора и Шомона-ан-Вексен, часто сталкивались осты этой провинции и королевской Франции. Это были маленькие осты, состоявшие в основном из рыцарей. Таким образом шла война, которую Сугерий описывает подробно (и на которую обращает внимание также Ордрик), но которая не вызывает у него особого энтузиазма. Его царственный герой не раз рисковал, что его усилия окажутся напрасными. К тому же Сугерий умалчивает, что тот поддержал право Вильгельма Клитона, сына Роберта Короткие Штаны, на наследство Вильгельма Завоевателя. Если Людовик принял

его сторону в этой войне, значит, она не была ни слишком активной, ни слишком кровавой. И, как война за Мэн для Ордерика Виталия, снабжала хрониста занятными историями.

Первое столкновение произошло в 1109 г., и его подробности приводит только Сугерий. Яблоком раздора для Людовика и Генриха, бывших до того, скорей, друзьями, стал замок Жизор. Отсюда «внезапная ненависть»^{479} между ними, или, точнее, дуэль аргументов, после которой вскоре послышалось и бряцание оружия. Они испытывали эту ненависть или только демонстрировали? Прежде всего зазвенели шпоры. «Чтобы на предстоящих переговорах выглядеть более горделиво и грозно, они собрали рыцарей». Потом король Франции (буквально — «франков») «проехал через землю графа Мёлана, разорил ее и предал огню, потому что граф поддержал короля Англии». Наконец, оба оста сошлись с разных сторон хрупкого моста через Эпту — к несчастью, «близ одного *злополучного замка*, где, согласно древнему преданию, хранимому местными жителями, никогда или почти никогда никто не может договориться»^{480}. Тут вдруг чувствуется дух какого-нибудь рыцарского романа: заколдованный замок, а перед этим как раз упомянуты «пророчества Мерлина». Во всяком случае противники настроены не схватиться во что бы то ни стало, но пойти на переговоры. Французские эмиссары, из самых знатных, осмеливаются пройти по мосту, чтобы предъявить права Людовика VI на Жизор и вызвать на поединок двух-трех баронов Генриха — с целью избежать тем самым более масштабной битвы. Словно оказываешься в какой-нибудь «жесте» вроде «Жирара Руссильонского»^{481}, потому что после отказа нормандцев ставки стали расти: участвовать в поединке вызвались славный граф Фландрский, «Роберт Иерусалимский, бесподобный витязь», а затем и сам король Людовик. Правда, подобные крайности все-таки вызывают у Сугерия некоторое неудовольствие: «Нашлись такие, кто из нелепого бахвальства стал кричать, что пусть-де короли сражаются на шатком мосту, который бы сразу же рухнул, и сам король Людовик из отважного легкомыслия этого желал»^{482}, — несмотря на перемену, которая якобы совершилась в нем в 1108 г. благодаря миропомазанию.

По счастью, герцог-король Генрих, который был старше на восемь лет, проявил больше зрелости — или расчетливости, «не пожелав боя, предложенного в столь неблагоприятном месте»^{483}. На самом деле в предложениях такого рода, регулярно делавшихся во время княжеских войн^{484}, скорей, было нечто от игры в покер. Порой они даже давали удачный предлог рыцарям враждебных армий прекратить игру: один из двух военачальников часто находил повод отказаться, и осты расходились, не вступив в бой. Так случилось и в 1109 г., пусть даже Сугерий пишет, что на следующее утро французы «со своим рыцарским пылом» отважно бросились на нормандцев и показали им свое превосходство — хорошо понятно, что это были не более чем отдельные стычки. Настоящего сражения не произошло: были только грабеж крестьян и столкновения знатных бойцов.

Мэтью Стрикленд хорошо показал^{485}, что вызовы такого рода на самом деле регулярно сбивали темп княжеских войн — и даже крестовых походов. Короли и князья по-рыцарски пыжились друг перед другом, чтобы верней скрыть свое истинное малодушие или, скажем, понятное стремление поставить предел своим войнам, сберечь кровь знати. В то же время эти вызовы сохраняли им лицо и даже питали миф об их храбрости и презрении к опасности!

Рассказы обоих монахов о пограничной войне в 1118 и 1119 гг. почти полностью совпадают в фактах: тот и другой позволяют ощутить рыцарский стиль отношений между противниками, которые на практике щадят друг друга, но каждый прежде всего пытается взять верх в моральном отношении. Однако ни Сугерий, ни Ордерики Виталии не пытаются излишних иллюзий относительно своих персонажей и не пытаются, сохраняя тональность, неизменно выставлять их в лучшем свете. Сугерий здесь отказывается оправдывать войну

короля Людовика против князя, который в Нормандии защищал сеньорию святого Дионисия, и, скорей, Ордерик Виталий вкладывает ему в уста речь о справедливости в защиту Вильгельма Клитона. Сугерий находит Людовика VI очень горячим; он полностью отказывается от суконного языка, каким повествовал о войнах в Иль-де-Франсе, чтобы лучше, чем когда-либо, показать, каким пылким рыцарем был его герой. Тот стремился к «славе королевства и позору противной стороны». Подступы к Вексену были усеяны замками, между которыми текли труднопроходимые реки. Осты здесь совершали марши и контрмарши; ведя тончайшую игру, они подстраивали друг другу ловушки. Время от времени отряд французских, или фламандских, или анжуйских рыцарей дерзко вторгался в Нормандию, — но из Нормандии вторжений не было. Грабежи описаны достаточно откровенно — как будто страну надо регулярно «стричь», чтобы ее богатство росло быстрее: «Прорвавшись в Нормандию, одни укрепляли деревню [Гасни, которую захватили внезапно], другие же грабили и жгли эту землю, которую обогатил долгий мир [длившийся менее десяти лет]»^[486]. Сугерий характеризует Людовика VI как «ловкого игрока в кости» — сочетая тем самым похвалу мастерству и упрек в безнравственности. Но с доблестным Ангерраном де Шомоном была сыграна, скорей, смелая партия в шахматы, в ходе которой последний брал ладьи и пытался поставить неожиданный мат королю (Генриху). Такая игра была явно рискованной. Означенный Ангерран погиб, и даже молодой граф Фландрский получил слабый удар копьем в лицо, не придав ему значения и умер от раны^[487].

На беду подвиги такого рода, более или менее раздутые молвой, раззадорили Людовика VI. «Издавна привыкший запросто теснить короля. [Англии] и его людей, он уже их в грош не ставил»^[488]. Начатая 20 августа 1119 г., битва при Бремюле предвосхитила поражения французского рыцарства во время Столетней войны: его погубила гордыня. Ведь король Генрих играл с ним, как кот с мышью. Он спрятал своих рыцарей, велел им спешиться, — чтобы, не имея возможности бежать, они сражались как можно лучше. В результате французы пошли в смелую, но безрассудную атаку и проиграли сражение. Людовику VI осталось этому лишь удивиться и «с честью» отступить, хотя его ост потерпел урон.

Ордерик Виталий начиная со среды, дня Бремюля, обогащает свой рассказ деталями. Он очевидным образом не упускает случая посмеяться над «раздувшимися от спеси» французами, но более внимателен к резонам обеих сторон. Он обращает внимание, что при Людовике VI находилось несколько нормандских мятежников, в том числе Гильом Крепен. И прежде всего отмечает, что Вильгельма Клитона, которому было семнадцать лет, тогда посвятили — в подтверждение его притязаний на наследство и вопреки воле его дяди по отцу. Так что при Бремюле ставки были такими же, как при Таншбре, и Ордерик считает себя обязанным перечислить жесты милосердия и уважения, сделанные королем Генрихом в отношении врага. Генрих велит молиться за графа Фландрского, погибшего в походе против него; он просит у епископа Эврё разрешения сжечь город, чтобы осадить цитадель. И в том же рассказе о сражении автор описывает, насколько нормандцы заботились о том, чтобы не убить знатного противника. Они взяли сто сорок пленных, и после этого Людовик VI отступил. «Я узнал, — пишет Ордерик, — что в этой битве двух королей на девятьсот рыцарей пришлось всего трое убитых. В самом деле, рыцари были целиком закованы в железо. Впрочем, они взаимно щадили друг друга, как из страха Божия, так и потому, что были между собой знакомы (*notitia contubernii*). Они старались не столько убивать бегущих, сколько брать их в плен». Ордерик Виталий приводит здесь удивительные социологические рассуждения о том, что такое ординарная феодальная война между рыцарями, прежде чем, опомнившись, возвращается к усиленным излияниям христианских чувств: «Воистину христианские воины не жаждали крови своих братьев и искренне сражались ради

справедливой победы, дарованной самим Богом для пользы святой Церкви и спокойствия верующих»^{489}. Хронист забывает сказать что-либо о пехотинцах, но он, безусловно, прав, указывая, что рыцари обоих лагерей, скорей, состязались в чести, чем вдохновлялись ненавистью. Жаждал убийства лишь один нормандский мятежник, Гильом Крепен, который пытался убить Генриха и которого один рыцарь последнего с огромным трудом защитил от возмездия и захватил живым.

Зато в конце сражения произошла комическая сцена, спасшая честь одного доброго французского рода — донаторов Сент-Эвруля в Уше: «Пьер де Моль и некоторые другие беглецы бросили знаки, по которым их можно было опознать, и ловко смешались с теми, кто их преследовал. Они издавали вместе с последними победные кличи во славу короля Генриха. Молодой Роберт де Курси следовал вместе с ними до соседнего бурга и там был взят в плен теми, кто окружал его и кого он считал рыцарями из своего лагеря...»^{490} Невозможно было бы показать лучше, что эти французы и нормандцы походили друг на друга, как братья, и что они были взаимозаменяемы в боях, где любая группа бойцов обладала настоящей свободой маневра, немыслимой в сражении армий Нового времени.

РАССКАЗЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН

Итог Бремюля заставляет задуматься: всего трое убитых. Немногим больше, чем в сражении при Нуи 1044 г. в описании Рауля Глабера. Даже если эта оценка Ордерика Виталия не учитывает пехотинцев и немного преуменьшает потери рыцарей с целью обелить Генриха Боклерка, все равно в истории Франции можно найти более кровавые битвы. При Гастингсе, в 1066 г., убитых было гораздо больше, их количество стало исключительным. При Бувине в 1214 г. их будет немного больше. Но в войнах между Капетингами и Плантагенетами (наследниками Генриха) с тех пор мы больше не увидим столь великих столкновений — лишь случаи жалкого бегства Людовика VII под Вернеем в 1172 г. и Филиппа Августа под Фретевалем в 1194 г.

Бремюль не был и абсолютно решающей битвой, пусть даже вывел из игры Вильгельма Клитона. Генрих Боклерк после своей победы отнесся к знатным побежденным по-рыцарски. Он выкупил за крупную сумму (двадцать марок) штандарт Людовика VI у рыцаря, захватившего это знамя, и сохранил его «как свидетельство победы, дарованной Небом», но «вернул ему коня с седлом и уздечкой, как надлежало монарху»^[491]. И своему племяннику Вильгельму Клитону он велел возвратить утраченного парадного коня, присовокупив к этому дары, «необходимые изгнаннику». Что за великодушие вдруг напало на этого крупного политика — холодного, циничного, при надобности жестокого? Дело в том, что в «концерте» князей и знати, в вязкой сети их междоусобных войн, вокруг побежденного обыкновенно сплывались многие, чтобы дать отпор победителю. Но главное, король Генрих, во Французском королевстве просто герцог, не побоялся внезапно напасть на своего сеньора и вступить с ним в противоборство. Шателен из королевской Франции на это бы не осмелился: разве в 1102 г. Матгё де Бомон, которому гроза и беспорядочное бегство оста Людовика дали солидное преимущество, не поспешил испросить извинения на коленях, умоляя его простить?^[492] Чтобы посметь победить при Бремюле, следовало быть фигурой гораздо более крупной. А дальше будь что будет!

В то время как его победитель предавался красивым рыцарским жестам, побежденный король испытывал крайнюю досаду^[124]. Во всяком случае Людовик считал нужным ее продемонстрировать, что предвещало и оправдывало акции мщениия. Он кипел от гнева, он жаждал реванша, он выглядел не более чем мстительным феодалом — пусть даже Сугерий хотел изобразить его героем, преодолевающим свалившееся на него несчастье. Ордерик Виталий отмечает, что по совету Амори, графа Эврё, Людовик VI обратился к осту христианства, набранному епископами королевских владений. Этот ост отправился грабить Нормандию, у него еще было для этого время до наступления зимы. 17 сентября Людовик остановился под замком Бретей. Оттуда король вызвал Генриха на новую битву, «о которой он, видимо, широко распустил слух»^[493]. Вот только она так и не состоялась, потому что (в отличие от Бремюля) это сражение запланировали!^[125]

Рыцарям обоих лагерей оставалось устраивать поединки в виду замка. И Ордерик Виталий с тех пор мог превозносить успех одного нормандца из числа осажденных: «Знаменитый Рауль ездил от одних ворот к другим, часто меняя доспехи, чтобы его не узнали; в тот день он выбил из седла многих именитых воинов, а их коней великодушно передавал тем из соратников, кому таковых не доставало, и этими подвигами на все века заслужил похвалу среди самых доблестных»^[494]. Один очень сильный фламандец, боец с французской стороны, выбил из седла весьма многих нормандцев, забирая их коней, и наконец атаковал этого Рауля «как простолюдина»: кончилось это для первого плохо, он

получил тяжелую рану, от которой через две недели умер в тюрьме замка.

Итак, поединки под Бретёем, если верить Ордерик Виталию, стали дополнительным унижением для французов. Немного позже несколько из этих молодых гордецов во главе с Гильомом де Шомоном, зятем Людовика VI, захотели взять реванш под Тильер-сюр-Авр: «они желали либо чести, либо прибыли», то есть поединков или грабежей. Но шателен устроил им засаду, чтобы не дать разорить местность, застал Гильома врасплох и пленил его. Цена выкупа составила двести марок, добавившись к счету Капетингов.

Что касается Сугерия, то за отсутствием французских успехов он мог особо отмечать только красивое милосердие Людовика в отношении Шартра. И даже у этого эпизода есть привкус горечи: французы вместе с фламандскими союзниками, поскольку Генрих недосыгаем, обрушиваются на Тибо Блуаского, то есть на «его» шартрских горожан. Духовенство собора вместе с горожанами должно было выйти, предъявить королю священную сорочку Девы Марии и униженно молить его не сжигать город^[126]. Хорошо чувствуется, что поведение Людовика VI, как и других рыцарей, на практике всегда оставалось рыцарским лишь *наполовину*. Правду сказать, хорошо чувствуется и то, что преимущество королевского сана само по себе позволяло восстанавливать силы после поражений, а нормандскому вассалу Капетинга, напротив, перенести поражение было бы намного труднее. В самом деле, после этого весь XII в. был заполнен нападениями Капетингов на Нормандию (и никогда наоборот), неизменно бесплодными вплоть до того дня 1204 г., когда одно из них удалось — и привело к аннексии этой провинции под сомнительным предлогом.

Но не будем забегать вперед. Надо еще немного задержаться в окрестностях 1119 г. Действительно, больше никогда на поле боя не проявляли больше рыцарских качеств, чем при Бремюле. Одной фразой, уже процитированной, Ордерик Виталий сказал многое (почти всё) о том, что позволяло знати, оставаясь воинственной, убивать не слишком многих: железные доспехи, христианское милосердие, принадлежность противников — более или менее знакомых между собой — к одному кругу.

В это время (и под пером Ордерика, выступавшего почти в качестве социолога) хорошо заметна манера поведения (*habitus*) рыцарей по отношению друг к другу и к крестьянам. Тогда же, когда происходили поединки под Бретёем, в сентябре 1119 г., молодой Ришер де Легль, сын нормандского барона — мятежника против Генриха Боклерка, рыскал по окрестностям Аржантана. «Крестьяне Гасе и соседних деревень отправились в погоню за грабителями, чтобы так или иначе вернуть или выкупить свои стада». Возвращение из набега — дело всегда непростое. Возможны сделки — либо контратака благодаря численному преимуществу. Но здесь превосходство панцирных рыцарей не вызвало сомнения: «Рыцари тотчас лихо развернулись, ринулись на них и обратили их в бегство. Этим крестьянам было нечем защищаться от закованных в железо людей, поблизости не было никакого укрепленного убежища, они смогли только заметить деревянный крест на обочине дороги и все простерлись перед ним». Тут Ришер де Легль ощутил страх Божий и любовь к Богу — либо сделал вид, что ощутил; он позволил крестьянам уйти, отказавшись от выкупа за сотню вилланов, — но, видимо, не от того, что уже забрал у них! Во всяком случае этот красивый жест (избавивший его также от сложностей технического порядка?) стал преддверием к примирению с Генрихом Боклерком, отчего Ордерик Виталий относится к нему с симпатией^[495].

После смерти Генриха очевидным образом вернулись междоусобные войны, затронувшие все классы общества. Лучник-разбойник захватывает стада у монахов Сен-Эвруля в Уше, но его горожане ловят и вешают разбойников. Это вызывает месть со стороны горожан Легля,

которых возглавляют священник и рыцари: они жгут бург монахов. В конечном счете злобу Ордерика утоляют насмешки, которые рыцари Легля навлекают на себя со стороны других рыцарей — друзей монахов. Эти рыцари посылают первым вызов в таких выражениях: «Мы не носим ни капюшона, ни венца [тонзуры), но как посвященные рыцари приглашаем вас на бой между сотоварищами (*socii*), чтобы посмотреть, что вы умеете делать»; тем часто приходилось краснеть от таких упреков...»^{496} Можно посчитать, что эти друзья монахов могли бы для них и для слабых сделать больше, поскольку их вызов остался весьма беззубым. Но с каролингских времен рыцарство — это еще и вялая защита справедливости, это справедливая война, активность которой *одновременно* умеряют классовый интерес и глубинное ощущение, что в конфликте могут быть отчасти правы обе стороны.

В то же время горячность молодых рыцарей все чаще и чаще приводила к возникновению войн между провинциями или к обширным мятежам. Так, в 1123 и 1124 гг. Нормандия пережила нечто вроде фронды баронов. Людовик VI не вмешивался, обжегшись на Бремюле (и вынужденный считаться с тем, что германский император угрожает Реймсу). Она разгорелась по инициативе Амори де Монфора, графа Эврё, и при поддержке графа Анжуйского — его племянника. В ней принял участие в числе прочих граф Галеран де Мёлан, которого вырастил, посвятил, ввел в права наследства Генрих Боклерк и который «пламенно желал получить боевое крещение, но, вне всякого сомнения, начал как безумец, взбунтовавшись против сеньора»^{497}. Генрих Боклерк старался расколоть единый фронт противников, обещал и хитрил, но и противники не оставались в долгу. Ордерику Виталию по-прежнему солидаризируется со своим монархом, с удовольствием подчеркивая, что тот тщательно соблюдает святые дни и почитает святые места, тогда как его враги нарушают установленные Церковью порядки, за что им непременно воздастся. Например, в Великий пост 1124 г. молодой граф Галеран опустошал земли вокруг Ваттевиля — своего осажденного анклава в герцогских владениях; на самом деле вполне понятно, что он занимался фуражировкой для снабжения своей башни. 25 марта 1124 г. он встретил крестьян, рубящих дрова в Бротонском лесу, и велел отрубить им ноги, «поправ тем самым святой праздник Благовещения дерзко, но не безнаказанно»^{498}.

Галеран де Мёлан также держал в плену одного из баронов, верных королю, и в частности чтобы освободить этого барона, группа наемных королевских рыцарей, среди которых было немало англичан, на следующий день, 26 марта, под Бургтерульдом столкнулась с его отрядом. Ордерику Виталию воспроизводит речь Эда Борланга перед этими королевскими рыцарями, несколько опасавшимися драться со столь доблестными людьми — хотя и превосходившими их числом. Он выстроил их, поставив в первый ряд лучников, которым было поручено целиться в коней, чтобы, как обычно, валить на землю и брать в плен, не убивая, «цвет рыцарства» из числа противников. С другой стороны, он велел доброй части королевских рыцарей спешиться, чтобы они не могли бежать. «Таким образом, — сказал он им, — сегодня на этой равнине явят себя мужество и сила каждого. Если, скованные малодушием, мы без сопротивления позволим врагу держать в плену королевского барона, как мы посмеем выдержать взгляд государя? Мы заслуженно утратим и свое жалованье, и свою честь...»^{499} Они согласились и дали ему обещание, ибо весьма любили его.

Что касается Ордерика Виталия, то он, зная, что было дальше, может с легким сердцем перейти к рассказу о бое, сходном с теми, какими анжуйские клирики его времени наполнили «Историю графов Анжуйских». История о противнике, поспешившем продать шкуру неубитого медведя, всегда будет иметь успех! Гляньте на юношеское высокомерие Галерана де Мёлана. Он «предался ребяческой радости, как будто уже победил». Тщетно Амори де

Монфор, более зрелый, убеждал его, что спешивание, напротив, — признак величайшей решимости. Все остальные, а именно оба шурина Галерана, разделяли его энтузиазм: вот час столь желанного боя, стало быть, «сразимся из страха, чтобы нас и наших потомков не упрекнули за позорное бегство. Мы — цвет рыцарства Франции и Нормандии, кто же может устоять против нас? Мы далеки от мысли пугаться этих крестьян или низкородных рыцарей, не намерены сходить со своего пути, чтобы избежать боя»^{500}. Так что они атаковали эту пехоту, которая сразила их коней, и сами попали в плен — граф, оба его шурина и восемьдесят рыцарей, после чего их надолго отправили в тюрьмы короля Генриха.

Однако судьба рыцарей, побежденных при Бургтерульде, оказалась очень различной. Один из них, Гильом Лувель, был схвачен «крестьянином»; он оставил тому в качестве выкупа доспехи, и взамен тот помог ему неузнанным бежать, для чего постриг как «оруженосца». Столь же тайное соглашение, но в более красивой форме, было заключено между Амори де Монфором и тем, кто взял его в плен, — Гильомом де Гранкором, сыном графа Э. Ведь этот «доблестный рыцарь из королевской дружины» не обладал грубой душой. В нем не было ничего меркантильного, по крайней мере не проявлялось открыто: «Он проникся состраданием [к Амори де Монфору] и пожалел мужа таковой доблести. Он хорошо знал: если тот попал в плен, ему будет трудно покинуть темницы Генриха, а может быть, придется остаться там навсегда. Вот почему он предпочел покинуть сего короля, как и собственные земли, и удалиться в изгнание, лишь бы не повергнуть в вечные оковы столь выдающегося графа. Он отвел того в Бомон и оттуда добровольно отбыл в изгнание вместе с ним, и свободно жил с честью, как его освободитель»^{501}. К концу сражения ситуация явно меняется! Вечером после Бремюля один из победителей оказался в плену, потому что слишком увлекся преследованием; вечером после Бургтерульда один из победителей почти что перешел в другой лагерь, совершив маневр, мотивов которого мы, несомненно, не знаем, но которому он дал изящное объяснение — и честь его не понесла урона.

Тем не менее не все побежденные при Бургтерульде отделались так легко. Некоторые рыцари меньшего ранга не смогли ни откупиться от тех, кто их захватил, ни разжалобить их. Выданные Генриху Боклерку, они после Пасхи как мятежные вассалы были отданы под суд, состоявшийся в Руане. Там король Генрих «велел вырвать глаза Жоффруа де Турвиллю и Удару дю Пену, обвинив их в клятвopреступлении, а также Люку де ла Барру, который сочинял против него насмешливые песни и дерзко злоумышлял». Но на суде присутствовал граф Фландрский Карл Добрый, которого эта погрешность против вкуса встревожила; «более смелый, нежели остальные», поскольку его положение было выше, «он сказал: “О сеньор король, вы совершаете дело, не принятое у нас, карая увечьем рыцарей, захваченных во время войны на службе своему сеньору”». На что Генрих возразил: оба первых принесли ему оммаж — и ему тоже, что же касается Люка, он уже однажды брал того в плен и простил, и, кстати, намерен дать острастку тем, кто вознамерился бы сочинять против него песни. После этого граф Фландрский замолчал, а рыцарю Люку де ла Барру оставалось только отбиваться от палачей — он разбил себе голову о стену и умер, потому что не хотел жить слепым. Это случилось «к великому сожалению многих из тех, кому были знакомы его смелость и его шутки»^{502}. Какой-нибудь Эли де Ла Флеш, «белый башелье», так не обижался из-за шуток, которые слышал в 1100 г. в башне Ле-Мана...

После всего этого можно сказать, что сюжет Бургтерульда соткан из проявлений добрых и дурных манер. Феодальный монарх сохраняет здесь грозный облик, тогда как поступок Гильома де Гранкора, посредничество Карла Доброго (здесь примирившегося с Генрихом) снова показывают, что знатные противники могут сговориться. Мы видели старинные корни этого сговора, но теперь он принимает формы более изящные, более изощренные, легче

признаваемые, более приемлемые.

Примечательным новшеством было и укрепление позиций наемных рыцарей, которые стояли на более низкой ступени, чем самопровозглашенный «цвет рыцарства», смотревший на них сверху вниз с наглым высокомерием. Действительно, для них честь и выгода не противоречили друг другу, а могли и должны были сочетаться, действовать на пару. Мы снова обнаружим это в турнирах, придуманных, надо полагать, незадолго до 1127 г.; пора было утолить страсть и вкус к игре, по меньшей мере с 1048 г. проявлявшиеся все более активно.

Лучше всего это почувствовать как раз и позволяют материалы по Нормандии или близким к ней местностям. Однако мне кажется, что исследование других местностей, хоть это и трудней, позволило бы собрать дополнительный урожай. Действительно, классическое рыцарство, о котором идет речь, не могло быть монополией одной французской провинции — пусть даже ее князь был самым богатым, самым смелым, больше всех заботился о том, чтобы выказывать мирскую пышность, отличную от собственно королевской (такую же, какую он выкажет в Англии после 1066 г.). Это рыцарство формировалось в ходе развития связей между регионами, умеренных войн, расцвеченных красивыми подвигами, а также светских развлечений и судебных прений. Оно впервые стало межэтническим в период смешения разных народов, роста монетного обращения, возникновения упрощенных абстрактных оценок. Оно было самоценным, общим для всего класса знати, и люди XII в. не считали необходимым давать ему слишком точное, а значит, ограничительное определение. Для них рыцарскими были качества, проявляющиеся с момента посвящения в подвигах и манерах юноши хорошего рода, энергичного и чуть-чуть образованного, качества, говорившие о способности к вассальной службе, к браку со знатной девицей и даже к привилегированным отношениям с Церковью и подкреплявшие эту способность. Принадлежность к рыцарству означала право на хорошее обращение, право, над которым, однако, витала тень князей, порой очень жестоких, и в этом смысле можно сказать, что такое право всё еще оставалось довольно непрочным.

Мы бы уже поспешили перейти к рыцарству ближайшего полувека (1140–1190), начавшему блистать на больших турнирах и при дворах, где звучали *кансоны*, *сирвенты*, эпопеи, романы, если бы все-таки не надо было ненадолго остановиться на роли, какую с середины XI в. играла григорианская Церковь: разве она, причем успешно и эффективно, не проповедовала Божье перемирие, крестовый поход и полную реформу нравов?

5. НА ПУТИ К БОЛЕЕ ХРИСТИАНСКОМУ РЫЦАРСТВУ?

При рассмотрении влияния Церкви на рыцарство как на класс или как на модель поведения встают две проблемы. Для этого влияния, которое деятели григорианской реформы (1049–1119 гг.), конечно, хотели эффективно расширять, надо бы иметь возможность оценить масштаб. И иметь возможность охарактеризовать само влияние: проповедь клириков и монахов-отшельников была нацелена на умиротворение, на смягчение конфликтов между христианами, но когда они призывали к крестовому походу, разве они не поощряли более активное насилие, беспрецедентные гонения на «неверных», евреев или сарацин? Крестовый поход априори нельзя признать прогрессом цивилизации. Если, наконец, расширить этот анализ, включив в него другие сферы морали, помимо морали войны и оружия, можно задаться вопросом, столь ли важным для григорианской Церкви было моральное совершенствование мирян во главе с рыцарями: разве не грехи ставили их в зависимость от Церкви и ниже Церкви? Во всяком случае нельзя сказать, чтобы крестовые походы дали слишком много мучеников и святых из числа рыцарей... И разве братство христианнейших рыцарей, не монахов и не клириков, не внушило бы опасений монахам и клирикам?

Это простой вопрос. Его постановка по меньшей мере сразу исключает мнение, что Церковь, то есть духовенство, пыталась христианизировать вступление в рыцари посредством религиозного ритуала посвящения. В качестве важного этапа «христианизации рыцарства» часто упоминают Камбрейский ритуал 1093 г. Но как получилось, что он представляет собой *последнее* из ряда благословений оружия, а потом они прекращаются?

Прежде чем изучать этот вопрос, надо приложить усилия, чтобы рассмотреть в совокупности цели, методы и ход григорианской Реформы.

ЭТАПЫ ГРИГОРИАНСКОЙ РЕФОРМЫ

Сделать христианские чувства во всем обществе более живыми и взыскательными смогла реформа — называемая григорианской в честь папы Григория VII (1073–1085), — которая происходила в Западной Европе с 1049 по 1122 г. (в «Галлии» закончившись в 1119 г.). Она сводилась к тому, чтобы отныне подчинить духовенство папе, а мирян духовенству с целью совершенствования, очищения нравов. Она пробуждала во всех христианах тревогу в отношении их будущей жизни, вечного спасения, поскольку ее сторонники в проповедях активно поднимали тему загробных мук. Но, к счастью, у епископов и священников была возможность приблизить спасение, предложив верующим ряд таинств, прежде всего покаяние и евхаристию.

Стремление реформировать и монастыри, и белое духовенство, от епископа с его канониками до священника сельского прихода, очень живо ощущалось еще в каролингские времена. Особенно многое было иницировано или намечено в начале царствования Людовика Благочестивого — например, реформа монастырей, реформа Бенедикта Анианского 816 г., которая восторжествовала с появлением Клуни на рубеже тысячного года, или борьба с симонией (коррупционностью, продажностью) епископов и каноников, представлявшая собой главное направление григорианской реформы. Эта «симония» включала прежде всего покупку высоких должностей знатными семействами для некоторых из сыновей. Хороший пример, признанный позже публично виконтом Нарбоннским, — способ, каким в 1019 г. семейство графов Серданьских купило архиепископство Нарбоннское для юного Гифреда (1019–1079).

Наши старые учебники часто утверждали, что в тысячном году (980–1060), когда для монастырей были обязательными устав и чистота, белое духовенство разъедала симоническая коррупционность, равно как и другие пороки (особенно «николаизм», сожителство священников с наложницами), и перечисляли черты характера некоторых недостойных епископов. В таком случае действительно требовалось вмешательство пап и их легатов (начиная с 1049 г.), чтобы исправить духовенство в Галлии и через его посредство вернее христианизировать рыцарей, которые плясали бы под дудку более чистых пастырей. И история григорианской реформы нередко оборачивается апологией папской власти: мол, Галлия много выиграла, когда Рим обуздал ее архиепископов и епископов. До 1049 г. епископы, назначаемые на местах и входящие в клиентелу князей, якобы часто были недостойными. А потом власть папы всё переменяла.

Здесь есть доля истины в том плане, что действительно в борьбе за реформу и «свободу» духовенства Григорий VII (1073–1085), Урбан II (1089–1099) и другие папы вплоть до Каликста II (1119–1124) собрали вокруг себя нечто вроде партии реформаторов — их назовут «григорианцами» — и обеспечили себе контроль над Церковью Галлии и всей Западной Европы. В то же время они на очень долгий срок усилили там власть и социальный престиж всего духовенства и особенно священников, раздающих причастие. Миряне должны были им повиноваться: в то время папе удалось организовать Первый крестовый поход (1095–1099), поместив его под свою эгиду, и григорианцы на века поставили браки под юрисдикцию Церкви. Григорианская реформа — великая веха в средневековом христианстве^[503].

Была ли она столь радикальным поворотом? На самом деле ко многим из ее главных направлений, обозначенным при Каролингах, вернулись с тысячного года, то есть раньше вмешательства пап. Так, мирные соборы в Аквитании, детище коллегий епископов, с 1018 г.

осуждали симоническую ересь и еще до 1038 г. — сожительство священников с наложницами. «Недостойными» были не все епископы Галлии и не большинство из них: женат не был никто, скандальную жизнь вели очень немногие, большинство было грамотным, а инициативы их соборов в пользу договоров о Божьем мире, а потом, с 1033 г., о Божьем перемирии, хорошо показывают, что свою миссию они принимали близко к сердцу. Сожительство было проблемой сельских приходов, а симония высшего духовенства (епископов и аббатов), несомненно, существовала на самом деле, но, возможно, в ходе полемики на выборах, когда нарастал накал борьбы кандидатов и их группировок, ее масштабы преувеличивали.

В своей религиозной жизни рыцари тысячного года были прихожанами не столько сельского духовенства, сколько епископов, обходясь без многочисленных посредников, а прежде всего были связаны с монахами, которые молились за «выкуп» (искупление) их грехов и отправляли, как мы видели, блистательный культ мертвых святых в форме мощей. У королей, князей, вельмож, кроме того, были свои, в некотором роде «домашние» клирики, капелланы, которые проводили богослужения в их дворцах и при случае оказывали услуги всякого рода — за что их вознаграждали, помогая стать епископами или аббатами. Однако рыцари часто наблюдали серьезные ссоры этих епископов и монахов из-за собственности или старшинства. Им приходилось выступать в качестве арбитров или занимать чью-то сторону... Уже само могущество, материальное и моральное, христианства во Франции (и в соседних странах) вызывало все эти трения и провоцировало обращение к папе и его легатам с ходатайствами. Начатая в 1049 г. с поездки папы Льва IX и с собора, который он созвал в Реймсе, григорианская реформа по-настоящему развернулась только лет через десять-двадцать и для начала обострила все конфликты, доведя их до критической стадии (1075–1100), после которой наступила пора компромиссов. Можно считать, что эта реформа произошла не тогда, когда духовенство стало абсолютно чистым, а миряне начали беспрекословно выполнять все его директивы, а тогда, когда утвердилась новая система урегулирования конфликтов (то есть избрания епископов, а также церковного судопроизводства), на заре XII в.

В ходе этой реформы во Франции часто возникал серьезный конфликт из-за власти, в котором участвовали, с одной стороны, папы и их легаты, изо всех сил добивавшиеся верховенства, с другой — архиепископы, такие как Нарбоннский, Реймский, Турский, болезненно воспринимавшие эти попытки. Григорианские полемисты сразу же ополчились на них и на слишком «мирских» епископов, объединившихся вокруг этих прелатов. Николаитами были немногие (некоторых предпочитали обвинять в содомии). Их симония не всегда была столь очевидной, ее было не так просто обнаружить. И тогда в феодальной Франции прелатов, настроенных против Рима, часто стали обвинять в том, что они носят «мирские» доспехи. Епископы, пристрастившиеся к рыцарским обычаям, — это в какой-то мере была французская специфика, потому что в других королевствах более сильная королевская власть оставляла меньше свободы местным властям. Многие епископы действительно надевали доспехи, когда были настоящими региональными сеньорами и отправлялись на войну с соседними сеньорами в окружении своих вассалов. К этому их побуждали, как мы видели, даже договоры и клятвы во имя установления Божьего мира и ради «доброего дела». В 1030-е гг. архиепископ Аймон Буржский одновременно реформировал свой клир и посылал войной на замки ост, боевой дух которого разжигали священники. Та же проблема существовала в Нарбоннском диоцезе, где архиепископ Гифред, провозгласив в 1040-х гг. Божье перемирие, вскоре был посвящен в рыцари ради «защиты» церковных владений^[504]. Епископы королевской Франции обязательно приносили оммаж капетингскому королю, они в 1049 г.

явились к нему в ост для похода на графа Анжуйского — из-за чего не приняли участия в соборе, созванном в Реймсе папой. Еще в 1119 г. трое из них призывали осты христианства грабить Нормандию, отомстить за Бремюль — в том самом году, когда другой Реймский собор, проведенный Каликстом II, консолидировал реформу клира, способствовал укреплению позиций ордена монахов-отшельников в Сито и торжественно провозгласил Божье перемирие.

Эти рыцарские привычки французских епископов, иногда проявлявшиеся и в крестовом походе, непременно подлежали последовательному искоренению. Правду сказать, они были присущи только части епископата. Многие из будущих епископов с детства воспитывались в расчете на то, чтобы стать клириками или монахами, их единственной перспективой была духовная служба. Но некоторым из младших сыновей, особенно среди высшей знати, предоставляли возможность использовать как можно больше удобных случаев. Поэтому их немного учили грамотности и в то же время активно — рыцарским навыкам. Первому — чтобы они могли руководить церковью, второму — чтобы могли ловко поймать богатую наследницу или заменить старшего брата, если с ним случится беда. В такой ситуации, если судьба приводила их в Церковь, они принимали священство только в последний момент и опрометью, за несколько дней, поднимались на высокие ступени церковной иерархии. Ничего не поделаешь, если при этом у них сохранялась какая-то ностальгия по рыцарским обычаям и даже если они практиковали эти обычаи. Это вызывало негодование у чистых и истовых григорианцев, но, в конце концов, некая толика рыцарской твердости в обращении была не вредна для епископа в среде его вассалов, сервов и даже некоторых его твердолобых клириков!^[127] Если, напротив, юноши, получившие в ранней молодости младшие чины в Церкви, потом становились графами или сеньорами замков благодаря наследству или браку, над ними посмеивались, давая прозвища *mauclerc* (дурной клирик) или *male couronne* (дурная тонзура). Герцог и король Генрих Боклерк как раз был из таких, но при жизни его этим ироническим прозвищем не называли — разве что, может быть, в утраченных песнях злополучного Люка де ла Барра, который так его раздражал?

В 1078 г. к такому типу людей, неприятных для григорианской партии, относился молодой Сильвестр де ла Герш, ставший епископом Реннским. Однако он понемногу усвоил правила, подобающие его новому состоянию, равно как и его прислужник, женатый священник Робер д'Арбриссель, ставший отшельником, проповедником и основателем Фонтевро.

К тому моменту отношения между григорианцами и их противниками были очень напряженными. Папа Григорий VII, чей конфликт с императором Генрихом IV (а также с королем Филиппом I) был в самом разгаре, продвигал ярко выраженные теократические идеи. Мало того что он намеревался реформировать духовенство, но борьба с симонией предполагала исключение всякого светского вмешательства, всякой светской инвеституры в Церкви и даже настоящий примат папы над мирянами: он может низлагать дурных королей, он мечтал сам возглавить христианскую армию, которая пойдет освобождать Иерусалим, завоевывать Святую землю. И, приспособив для своих целей диатрибу святого Августина («О граде Божьем», XIX, 12) против шаек грабителей (в то время — варварских племен), которые основывают царства и необоснованно требуют их признания, он уже почти дошел до принципиального осуждения всякого мирского рыцарства или «воинства». В таком случае есть только одно истинное воинство — которым командует и которому предписывает дисциплину папа, воинство для духовной битвы.

Итак, с 1075 по 1100 г. на местах, в регионах, шла яростная борьба между некоторыми клириками и отшельниками-реформаторами, с одной стороны, и теми, кого они обличали как

«дурных священников», недостойных давать причастие, понуждая их отказаться от сана, обязанности которого те исполняют плохо, и покаяться. Из-за таких «симониаков» и недостойных клириков некоторые проповедники, прежде всего бродячие отшельники, нередко настраивали верующих против отдельных епископов и клириков, даже рискуя вызвать недоверие ко всему духовенству. Тогда социальный нажим заставлял короля или князей отказаться от поддержки некоторых своих протеже, слишком дискредитированных. В других случаях самих симониаков заедали угрызения совести. Но и сопротивление реформе порой было активным, враги Рима держались стойко, они взывали к королям и князьям, к какому-нибудь Филиппу I или Гильому IX Аквитанскому, и даже призывали самых умеренных из своих коллег в свидетели, что критика слишком сурова.

В тот момент реформаторы ополчились и на тех мирян, кто был «угнетателем Церкви». Началась *борьба за инвеституру*, особо жесткая между папами и императорами, в которой французские князья участвовали в разной мере и которую для короля Филиппа I осложнил его брак с Бертрадой де Монфор — в конечном счете выведя из этой борьбы, потому что король, чтобы сохранить королеву, не стал поддерживать дурных епископов. Григорианцы требовали от мирян, нередко и от рыцарей, чтобы те еще и «вернули» Церкви имущества сакрального характера, присвоенные ими: церкви и приходские подати, десятины. А ведь это всерьез угрожало богатства феодалов, а значит, создавало опасность для привычного образа жизни, рыцарского статуса многих семейств из средней и мелкой знати. И еще веком позже автор «жесты» «Гарен Лотарингский» сможет в прологе говорить о бедствии Франции, куда вторглись сарадины, потому что церкви чересчур обобрали рыцарей. Он относит эти события ко временам Карла Мартелла, но адресуется к публике XII в.

Почему же эта требовательная Церковь в конечном итоге не подорвала власть королей и князей и не разорила всех рыцарей? Потому что она пошла на компромиссы, особенно с 1100 г., когда притормозила и стабилизировала собственную реформу. Епископ Ив Шартрский (1090–1116) добивался, чтобы было признано различие между двумя инвеститурами епископов и аббатов — духовной, которую дают папа или епископы, и светской, которую дают король или владетельные князья. Это «шартрское решение» в большей мере укрепляло права последних, нежели расшатывало их. В самом деле, благодаря ему популярность приобретала идея все большего размежевания компетенций Церкви и государства: первая стремится добиться определенного спокойствия при помощи второго (несмотря на временные трения между ними). Грозные обвинения со стороны Григория VII очень скоро были забыты: ко временам Каликста II (1119–1124) эти инвективы по адресу королей-грабителей остались в далеком прошлом... Что касается «реституции» приходских церквей и десятин, то монастырские хартии покажут, что и в этой сфере были найдены компромиссы. Мелкие и средние феодалы не понесли невосполнимого убытка: они добились от своих епископов, чтобы эти «реституции» незаконно присвоенных имуществ совершались в пользу дружественных им монастырей, где бы взамен молились за их души и где бы их официально допустили к благодеяниям, которые может осуществлять данное святилище. А под этим понимались как молитвы, так и финансовая помощь в случае необходимости, те самые мелкие подарки молодым посвященным, о которых говорилось выше^[505], и не только это. Тем самым «реституция» становилась благочестивым подаянием, и в качестве ответной любезности ожидалась какие-то Дружеские жесты. Нам по-прежнему очень трудно подвести экономический баланс отношений рыцарского класса с Церковью. Связано ли Увеличение численности бедных и крайне бедных рыцарей с 1200 г. с обязанностью подавать эту милостыню? Трудно сказать, ведь оно также, и прежде всего, объясняется, как мы увидим, экономической и социальной мутацией всего средневекового мира.

Проще оценить моральную и дисциплинарную реформу духовенства, которая тоже оказалась несколько скомканной. С тысяча сотого года требование реформы постепенно уступило место другому лозунгу: миряне должны уважать своих священников, поскольку те отныне чисты, а даже если некоторые и грешат, должность в них выше личности. Таким образом, критика, отстранения от должности были уже не ко времени, тем более что считалось, что новый принцип избрания епископов (духовенством собора) лучше старого (менее кодифицированного).

Историк, претендующий на объективность, при любой оценке «морального уровня» духовенства и мирян — то же, впрочем, относится к насилию и жестокости воинов — обязан прибегать к сослагательному наклонению и оговоркам. Столь ли коррумпированным было духовенство до 1049 г.? Целиком ли оно «оздоровилось» к 1119 г.? «Еретики» XII в. так не считали. Однако бесспорно, что после тысяча сотого года к духовенству стали предъявляться более строгие требования, интеллектуальные и моральные, обеспечившие ему более высокий статус. От оружия и от женщин оно должно было действительно отказаться. И постепенно, пусть после ряда конфликтов, установилась настоящая взаимоподополняемость: Церковь отвечает прежде всего за души, а королевское и княжеское государство, равно как и рыцари, охраняют безопасность людей, имуществ, отечеств.

А ведь такое разделение, не ставя под вопрос ни религиозные основы государства, ни миропомазание короля, тем не менее содержит в себе зачатки десакрализации государства. Схоластической теологии, которая получит развитие в XII в., особенно в Париже, в продолжение григорианской реформы, предстояло уточнить, что миропомазание (*sacre*) — это не таинство (*sacrement*), оно всего лишь сакраментально (*sacramental*). Она также откажет королю в сане священника, при этом не огорошивая его утверждением, что он просто мирянин!

Как в такой атмосфере могла быть возможна большая христианизация церемоний посвящения?

ГРИГОРИАНЦЫ И ПОСВЯЩЕНИЕ

Правда, григорианская Церковь в то время ввела обряд бракосочетания, сделав его одним из семи своих таинств и поставив отныне исключительно под свою юрисдикцию. Этим увенчались ее долгие усилия, начавшиеся еще в каролингские времена, сделать брак нерасторжимым и в высокой степени экзогамным. Социальное устройство в представлении григорианцев предполагало такое общество, где духовенство строго соблюдает целибат, а миряне торжественно обещают неукоснительно следовать строгим нормам в браке, а значит, в сексуальной жизни. И, опираясь на эту сексуальную мораль, специалисты по душам, то есть клирики, вступали на территорию, которая выходила за пределы чистой духовности. Христианский брак действителен только в случае, если он осуществлен, а значит, оное осуществление представляет собой как минимум дополнение к таинству.

Итак, после первых шести таинств, религиозный характер которых не вызывает сомнений, Церковь, связавшись с седьмым, рискнула пойти немного дальше. Почему бы ей было не сделать восьмым посвящение христианских рыцарей во времена, когда она проповедовала крестовый поход, то есть справедливую войну? Или девятым, если бы она до этого включила в число таинств миропомазание королей? Посредством таинства брака она дарила обоим супругам благодать, необходимой, чтобы помогать им соблюдать сексуальную мораль и даже стимулировать их плодovitость. Разве не могла бы она духовно окормлять усилия королей и рыцарей, чтобы те ограничивались войнами справедливыми по сути и корректными по форме, укреплять их руку в этих войнах, а на *plaid'*ах, где они творили суд, обеспечивать им здравость суждений?

Мы увидим, что она все-таки оказывала им помощь такого рода. Но не в форме таинств, не с той интенсивностью и не обязательно после тысячного года. Леон Готье в 1884 г. предложил красивую формулировку: посвящение — «восьмое таинство». Не то чтобы он поддавался самообману. Он просто нашел описания литургических обрядов конца XIII в., где указывалось, что говорит епископ в случаях, когда посвящает рыцаря он — только шпоры надевают присутствующие знатные персоны, «таков обычай»^[506]. Это оправдывает войну за Церковь и короля и принудительное правосудие, что вполне одобряла публика 1884 г., но это не таинство, признанное как таковое. Кстати, так ли уж были распространены сами эти обряды в конце Средневековья?

Есть сведения о благословениях оружия и бойцов епископами в X и XI вв. — хорошую подборку этих данных сделал Жан Флори^[507]. Бесспорно, не все эти благословения производились в связи с посвящениями, дающими статус рыцаря. Это были прежде всего, как верно отметил Жан Флори, формулы благословения оружия *advocati (avoués)* и других «защитников» церковей, отчасти воспроизводящие формулы из королевских церемоний: действительно, во время коронации епископ после миропомазания передавал королю меч, в числе других инсигний, и благословлял этот меч. Добрым рыцарям тысячного года, почтительным и раскаявшимся (на время), просящим помощи, предлагающим союз и подаяние, Церковь не имела никаких оснований отказывать в благословении и часто передавала им штандарты своих святых. Чтобы обеспечить телесное спасение, физическую целостность или по меньшей мере жизнь в боях и превратностях «службы» и подогреть их пыл как своих защитников.

Но в описании обоих обрядов XI в. речь явно идет в том числе и о благословении оружия некоего «молодого», начинающего рыцаря. Второе по дате, но также последнее из всей серии^[128], — это Камбрейский обряд 1093 г. «для оружия защитника Церкви или иного

рыцаря». Действительно, перевозжу здесь по пунктам: «Вот поначалу как епископ освящает стяг <...> потом копьё <...> после этого стяг крепят к копьё, и в то время как рыцарь [или “вассал” Церкви, он же ее защитник] держит последнее в руке, епископ кропит таковое святой водой». Это делалось затем, чтобы обеспечить воину победу над «мятежными народами», уподобив его Гедеону или Давиду в выражениях, взятых из Ветхого Завета, и добавив к этому помощь святого архангела Михаила и крестной силы (*virtus*). Мимоходом в описании упоминается копьё солдата (или «рыцаря», в одном апокрифическом Евангелии называемого Лонгином), которому Бог позволил пронзить бок мертвого Христа, чтобы стекли кровь и вода.

«После этого епископ благословляет меч с таковой молитвой: “Молим тебя, Господи, внемли нашим молитвам, соблаговоли величием твоей десницы благословить сей меч, каковым твой слуга, сей муж, желает препоясаться. Да сможет сей меч стать защитой и обороной церковью, вдов, сирот, всех тех, кто служит Богу, от суровости их врагов. Да наводит он на всех твоих противников ужас, дрожь и страх”». Бог сам — защита слабых, вдовы и сироты во многих библейских псалмах. Поэтому естественно, чтобы таковым был и освящаемый рыцарь. Эту миссию в историческом плане диктовала ему также целая этика или «идеология меча», появившаяся в Галлии в VII в. и очень акцентированная во времена Людовика Благочестивого^{508}.

«Потом епископ благословляет рыцаря с таковой молитвой: “Молим Тебя, Господи, да защитит Твоя благочестивая твердыня твоего слугу, сего мужа, дабы с Твоей помощью оный сохранил его невредимым — сей меч, каковой желает он носить, вдохновляемый Твоим духом”. Потом епископ его препоясывает, говоря: “Прими же сей меч, каковой передается тебе с благословением Божьим. С ним силой (*virtus*) Святого Духа ты сможешь противостоять всем твоим врагам и отражать их, равно как и всех противников святой Церкви Божьей, с помощью Господа нашего Иисуса Христа»^{509}.

Следует несколько молитв, а потом благословение щита, «дабы тому, кто прикроет им бока для защиты, Ты сам, Господи Боже, стал бы щитом и защитой от врагов души и тела...», и это — щит спасительной *militia*, которая приведет его в царствие небесное. Молитвы, следующие далее, призывают к помощи «святых мучеников и рыцарей Маврикия, Себастьяна, Георгия», дабы воин обрел победу и защиту.

Историки часто связывали этот обряд с Первым крестовым походом: якобы он свидетельствует о том, что идея священной войны становилась все популярней. В самом деле, даже даты почти совпадают, — но не совсем. Эта литургия появилась за два года до призыва папы к крестовому походу (1095), и, как ни поразительно, для крестоносцев, берущихся за оружие, не было разработано никакого специального обряда.

Во время боев с маврами в тысячном году считалось, что успех и неуязвимость христианским рыцарям дает защита со стороны святых. Благословения оружия связаны скорее с «суеверием», чем с моралью: идея состояла в том, чтобы обеспечить знатым воинам удачу. А ведь именно поступки такого типа григорианская Церковь старалась скорее запрещать, отдавая предпочтение моральным предписаниям, поддержанным потусторонними перспективами. Когда Урбан II (в 1095) проповедовал Первый крестовый поход, он отнюдь не обещал физического спасения участникам этой опасной войны. Он говорил о спасении души и искуплении грехов. Это было чисто духовное выступление, отголосок которого мы попытаемся уловить.

Благословение оружия, возложение меча на церковный алтарь и взятие его оттуда — не уместны ли эти жесты прежде всего во время внутренней войны, чтобы производить впечатление на противника и получать одобрение сторонников? Такое описание обряда, как

Камбрейское 1093 г., само по себе не слишком много говорит о том, насколько обычен был такой обряд, но я вполне допускаю, что он мог быть полезен во время борьбы за григорианскую реформу, которая шла между группировками и часто в локальных масштабах. Несомненно, и Церковь охотно благословляла оружие рыцарей, вошедших в состав оста христианства по призыву соборов мира — или в каких-то частных случаях, неизвестных нам. Наконец, возможно, она хотела внедрить такие благословения в противовес обычаям, объявленным «суеверными», вроде того, какой был отмечен в семье святого Арнульфа Памельского и который он порицал^{510}.

Церковь пока была вынуждена во всех случаях проявлять определенную осторожность. Разве сам характер «междоусобной войны», вражды между соседями не предполагал прерывности, всевозможных резких поворотов? Нередко сами защитники монастыря, его *advocati*, становились худшим пугалом для монахов, которые обличали их как хищников, а их неудачи и несчастные случаи с ними объявляли святым и справедливым возмездием.

Значительный подъем феодальных посвящений начиная приблизительно с 1050 г., как нам кажется, объясняется политикой не церкви, а сеньоров, королей и графов. Когда после этого, во втором феодальном веке, к ним добавилась христианская нотка, она часто имела некий необязательный характер: до или после передачи меча и прочего арсенала шли в церковь. Имеющиеся материалы не дают ни малейшей возможности дать статистическую оценку частоте и важности таких визитов. Один источник может придать им больше значения, другой — менее и истолковать по-своему.

Это следует сделать и нам. Посвящение представляет собой последовательность ритуальных действий переменного состава, даже в XII в. Некоторые из его элементов необязательны или могут повторяться. Бывает, что свидетельства различаются даже в самом важном. Например, посвятил ли Генриха Боклерка его отец, Вильгельм Завоеватель, или архиепископ Ланфранк Кентерберийский^{511}. Или же, в конце концов, это сделали тот и другой? Разве не написал Ламберт Ардрский около 1200 г., что при выборе посвятителем для Балдуина Гинского в 1170 г. преимущество отдали архиепископу Томасу Бекету, недолгому гостю?^{512}

Но все-таки если бы Церковь тогда согласилась освящать феодальное и куртуазное посвящение в той же мере, что и брак, это значило бы, что она одобряет акты лютой мести и безрассудной храбрости, характерные для молодых рыцарей. И, кстати, даже если бы Церковь захотела это сделать, то смогла бы? За ней бы, несомненно, не признали права лишать рыцарского статуса, который она даровала прежде. Мы упоминали только один случай, как она в 1115 г.^{513} попыталась наказать одного сеньора, Тома де Марля, своего непосредственного и рьяного угнетателя, сообщника убийц епископа, — и добилась ограниченного эффекта. Нравы воинов обычно регулировались феодальными дворами и целой системой взаимоотношений. Что касается христианских заповедей, стремления клириков пресекать убийства, грабежи, — что ж, в их руках был целый арсенал церковных функций, чтобы они могли попробовать добиться своего. Тут та же ситуация, что и в отношении других христиан: имело ли смысл усиливать страх перед Божьим судом, вводя литургию посвящения?

У Церкви тысяча сорока года были свои правила покаяния, имевшие давнюю традицию или восстановленные. Проповедники даже грозили загробными муками с невиданным прежде напором: именно к 1091 г. относится знаменитое видение Госельма, описанное Ордериком Виталием^{514}. Если можно так сказать, то Церкви было проще «прибрать к рукам» рыцарей раненых или доживших до старости, которых уже тревожила мысль о смерти

и угрозе проклятия, чем знатную молодежь, полностью уверенную в себе и находящуюся в том возрасте, когда о смерти и вечном проклятии думают меньше всего. Что касается более земного и политического давления, то Церковь, уже поставив брак исключительно под свою юрисдикцию, на основе очень строгого (до 1215) правила о недопустимости брака между кровными родственниками имела право при надобности лишить легитимности всех наследников знатного семейства, объявив союз матери и отца недействительным! По этой причине герцог Гильом VIII долго трепетал перед григорианцами: его сыну, будущему трубадуру, родившемуся в спорном браке, грозила опасность оказаться незаконным и, следовательно, лишиться прав на наследство.

Во втором поколении григорианцев, несмотря на крестовые походы и «осты христианства», оружие рыцарей не всегда благословляли, потому что крестовыми походами, как и остами, командовали князья. Настало время равновесия и раздела сфер влияния между их светской властью и властью Церкви, более духовной. Сугерий, как мы видели, стремился радикально различать (в теории) сакральное «рыцарство» (*militia*), которое Людовик VI обрел вследствие миропомазания, и мирское рыцарство. Он не всегда порицал последнее, но оно оставалось для него чисто профанным. Сакрализация посвящения стала бы смешением жанров. Церковь уже не так нуждалась в наборе защитников и в том, чтобы их благословлять: усиление княжеской власти все больше позволяло обходиться без них.

Однако история XII в., начиная с шартрского компромисса и завершения григорианской реформы во Франции (1119), показывает, что в Церкви часто проявлялась тенденция вмешиваться в ход посвящений. Многие прелаты оставались светскими вельможами, гордились этим, при случае собирали вокруг себя вассалов; во время их интронизации четыре рыцаря торжественно несли их в кресле, они имели во владении дворцы и при случае могли участвовать в охоте. Порой они и сами не до конца отказывались от применения оружия. Но даже когда этот отказ был подлинным — что и бывало чаще всего, — все равно они занимали положенное им видное место при дворах князей и сеньоров на Рождество, Пасху и Пятидесятницу. Таким образом, их участие входило в программу больших торжественных посвящений. Новые посвященные, как и весь двор, перед пиром и конными поединками отправлялись на мессу...

Наконец, на рубеже 1200 г. мы обнаруживаем в посвящениях больше аксессуаров в христианском духе. Например, удар по шее или по плечу (*la colée*) — он имеет характер, скорей, церковный, даже римско-католический, вопреки легенде Нового времени о его «германском» происхождении: разве он не напоминает пощечины при конфирмации и при освобождении рабов? Молитвенное бдение сначала предшествовало только судебным поединкам, но вскоре распространилось и на посвящения^[515]. Однако чтобы епископы были главными действующими лицами, единственными посвятителем, как в случае с Амори де Монфором в 1213 г., — это казалось тогда «новой модой», в отношении которой Филипп Контамин замечает, что она «не выглядит широко распространенной», ведь «очень похоже, что в конце Средневековья роль прелатов и клириков свелась к чтению мессы и к благословению»^[516]. Кстати, в «Понтификале» Вильгельма Дуранда^[517], написанном между 1293 и 1295 гг., роль епископа, «благословляющего нового рыцаря», сводится к тому, чтобы отдать (или вернуть?) меч, предварительно возложенный на алтарь, в соответствии с уже традиционной процедурой, в то время как «присутствующие знатные персоны надевают на него шпоры, согласно обычаю», — что представляется существенным и важность чего подчеркивает иконография того времени.

Ни в какой период Церковь торжественно не благословляла рыцарей на выполнение небывалой миссии помощи слабым и осуществления социальной реформы, она всегда

провозглашала только вариации на тему каролингской идеологии королевского меча, и рыцарство никогда не было настоящим «христианским институтом». Рыцари были такими же христианами, как и все, их обременяли грехи (к каковым относились, например, грабежи и турниры), делавшие их уязвимыми для упреков со стороны духовенства и обязанными выполнять покаяния (к которым относился, в частности, крестовый поход). А обращение (*conversion*) всегда исключало их из числа обычных рыцарей. На рубеже тысяча сотого года под ним имеются в виду прежде всего уходы в монастырь и в отшельники.

Григорианские реформаторы утверждали и отстаивали первенство духовного сражения, то есть такого, какое ведут клирики, и поощряли обращение рыцарей к монашеской жизни. Тем самым идея двух служб оказалась представленной в обществе в большей степени, чем когда-либо; упрочиваясь благодаря конфликтной атмосфере реформы и крестового похода, а также воображаемому присутствию бесов, она трансформировалась в настоящую теорию двух сражений.

Князья рыцарства в тысячном году проявляли благочестие прежде всего в форме даров и паломничеств. Это относится к двум образцовым христианам — хотя и уступающим Геральду Орильякскому, потому что святыми они не стали, — к графу Бушару Почтенному (умер в 1005 г., описан около 1058 г. Эдом, монахом из Сен-Мора) и королю Роберту Благочестивому, которого Гельгон Флерийский причислил к праведникам за дары и паломничество, которое тот совершил в преклонном возрасте, чтобы искупить прегрешения молодости, а также за определенную склонность прощать знатных заговорщиков и за щедрость по отношению к бедным и даже к ворам (то есть он был почти святым).

От «мирской службы» к службе Христу — такой переход в каролингские времена и около тысячного года всегда был возможен. Но непохоже, чтобы рыцари, физически пригодные к «службе» и находившиеся в расцвете лет, совершали его часто: пример Дата — очень специфический^[518]. Типичным монахом был отпрыск знатной семьи, иногда отправленный в монастырь в ранней юности при помощи специального ритуала и в качестве дара, либо вступивший в юношеский возраст, лет пятнадцати-шестнадцати, если он не мог или не хотел стать рыцарем, как святой Одон. Гвиберт Ножанский, родившийся в 1050-х гг., сам пересказывает в «Автобиографии» этапы осознания своего «призвания». Отец дал обет отдать его в монастырь, но, несомненно, так этого и не сделал. Когда тот умер, подросток должен был решать свою судьбу, договариваясь с матерью. Она плачет, видя, как наставник его бьет, и восклицает, что больше не хочет, чтобы его учили латыни; она обещает ему предоставить, «когда я достигну должного возраста, снаряжение и доспехи рыцаря». Возможно, это и не лучший способ никогда не получать ран, — но подросток отказывается от доспехов, он предпочитает грамоту, и приходят к выводу, что ему надо поступить в монастырь^[519]. Сеньориальный порядок тысячного года требовал, чтобы люди, став взрослыми, уже не меняли места. Монахи отмаливают грехи, обеспечивающие рыцарям социальное господство, а последние чаще отдают монастырям земли и сервов, а не собственную персону.

Однако благодаря таким дарам завязывались тесные отношения, ради которых монахи обеспечивали своим донаторам всевозможную поддержку при жизни, пышные похороны, а далее поминание, в котором сочетались неустанная молитва за их грехи и социальное прославление семейства, лестное для их потомков. И если можно сказать, что белые церкви тысячного года выражали извинение рыцарей-насильников перед обществом, то, скорей, уж они обеляли грязную власть сеньоров и избавляли рыцарей от необходимости исправлять свои нравы... Фульк Нерра, основав аббатство и сходя в паломничество в Иерусалим, искупил грехи и вернулся к своим графским «рыцарским» привычкам.

Нередко монахом в преддверии смерти становился старый сеньор либо тяжело больной или раненый рыцарь. За дар он мог в последний час надеть черное облачение монаха, чтобы воспользоваться таким же поминанием^[129], получить такие же или почти такие же шансы на спасение, как если бы прожил жизнь в монастыре. Так, один бретонский рыцарь, Морван, в

1066 г. явился к аббату Редона. Он «боялся смерти» и стремился к Богу. При поддержке монаха Жарнегона, своего друга детства, он был быстро принят в монахи (видимо, время торопило). «Тогда он подошел в полном вооружении к святому алтарю, возложил на него рыцарские доспехи, соевлекшись ветхого человека и облекшись в нового. И потом он передал своего коня, стоимостью в десять ливров, вместе со своим собственным аллодом Трефхидик». Это восхитительно топорная латынь, но ведь это обряд, который проводили при поступлении (*moniage*) в монахи Клуни в X в., судя по документам^{520}. И связь здесь традиционного типа, какую имели обыкновение устанавливать начиная с VII в.: дар ради исцеления (выкупа) души.

Можно написать поучительный рассказ об этих поздних просветлениях, как это делает Ордерик Виталий в отношении Ансо де Моля, тем не менее по сути речь идет о людях, которые отреклись от грехов рыцарства, когда уже не могли их совершать и чувствовали приближение смерти. А бывало так, что она их миновала, и значит, они просчитались, лишились удовольствий, какими рассчитывали пользоваться как можно дольше! Некоторые в таком случае возвращались в мир.

Можно ли превратиться в монаха, когда испытываешь страстное влечение к рыцарской жизни, находишь в ней удовольствие? С этим вопросом связана своего рода «война легенд» о Гильоме Желлонском, в которой сталкиваются агиография и эпопея^{521}.

Ордерик Виталий вводит нас в агиографию, начиная рассказ о Гуго Авраншском, соратнике Вильгельма Завоевателя. Этот человек отличался страстью к игре, к роскоши, а равно любил жонглеров, коней и собак. У него была рыцарская свита, но также часовня и клирики, один из которых, Геральд, читал нравоучения этому веселому изысканному обществу. Баронам, простым рыцарям и детям он рассказывал о рыцарях Ветхого Завета — это могли быть Иосиф Навин, Иов, Иуда Маккавей (о нем писал и Одон Клунийский, начиная «Житие святого Геральда») и «военные» святые поздней Античности, в частности Георгий и Димитрий, Маврикий, Евстахий. Не смешивал ли он таким образом справедливые войны с отречениями от меча? Под конец он упоминает «святого атлета Гильома, который после долгой рыцарской службы отрекся от мира. Приняв монастырский устав, он стал славным рыцарем Бога»^{522}. По его примеру несколько приближенных Гуго Авраншского перешли в монашество.

Речь идет о персонаже, которого мы встречали под Барселоной в 800–801 гг. и которого Эрмольд Нигелл сделал героем эпопеи, — Гильоме Оранжском, герцоге времен Карла Великого, человеке, бесспорно, храбром, но не особо благочестивом^{523}. «Жеста» о нем, написанная в XII в. на старофранцузском, намного больше по объему, чем «Песнь о Роланде», поскольку включает в себя несколько песен, последней из которых может считаться история о его монашеской кончине, «Монашество Гильома», в двух версиях XII в. Но благочестивая смерть превратила его также в святого, который посмертно творит чудеса: агиографическая легенда, вкратце изложенная Ордериком Виталием, делает его обращение эталоном благого обращения взрослого рыцаря по обычаям тысяча сотого года. Гильом — это прежде всего рыцарь священной войны, «с Божьей помощью спасший мечом народ Бога»^{524}. Он расширил христианскую империю, он основал и финансировал Желлонский монастырь в Лодевском диоцезе. Но позже, в 806 г., согласно Ордерiku Виталию, он вызвал общее удивление в Ахене, когда объявил Карлу Великому, что хочет стать монахом. Ему с сожалением позволили уйти, и, взяв с собой драгоценную реликвию — частицу Святого Креста, он направился на юг. Заехав в Бриуд, он освобождается от своего вооружения: защитное (шлем, щит) оставляет в гробнице святого мученика Юлиана, а все наступательное (меч, копье и лук) — снаружи. Его сыновья уже взрослые — это графы, живущие недалеко

оттуда, поэтому его отречение от рыцарства по сути оставляет им наследство и полную свободу действий, дает возможность быть сеньорами. Как *паломник Христов* он идет теперь босым, он одет во власяницу и в таком облачении кающегося достигает аббатства Желлоны, основанного им самим.

Изменился его характер: он позволяет поправлять и наставлять себя. Раньше он был властным, теперь же просит только возможности служить и повиноваться. Его бьют, оскорбляют, и он никак не отвечает. Он работает руками — сажает плодовые деревья. Он требует и добивается, чтобы ему поручили самую презренную работу — на кухне и при печи. Этот граф стал поваром из смирения, но он же с Божьей помощью, чтобы ускорить дело, входит в раскаленную печь и выходит из нее невредимым, как невиновный из испытания огнем. Все это весьма поучительно.

Однако всё это лишь испытательный срок, послушничество, когда он занимает едва ли не положение «салаги». Ведь всему есть предел, и вскоре аббат запрещает ему физический труд. Гильом быстро поднимается по иерархической лестнице своей новой общины, от активной жизни переходит к созерцанию, повысив свой статус, что, конечно, станет нормой для любого видного рыцаря, который вслед за ним обратится в монахи. Ему отводят келью, где он молится и медитирует; он способен предсказать свою смерть, как самые чистые из монахов, проводившие целую жизнь на службе в монастыре... и история умалчивает, кому отныне надлежит подрезывать оливковые деревья, печь хлеб и подавать на стол. Бывают унижения, сами по себе составляющие честь для того, кто добровольно подвергает себя им и в остальном стремится к более возвышенному образу жизни.

Правду сказать, у Гильома Оранжского есть взрослые сыновья, которым он передал свои графства. Для него, как и для прочих, монастырь — это богадельня. Христианская культура и созерцание — удел тех, кто больше не может сесть на коня, либо тех, кто никогда не мог. Во всяком случае так считают авторы «жест».

Эпические версии «Монашества Гильома» порой граничат с бурлеском, они становятся откровенно саркастическими: их герой — тоже одинокий вдовец, но пружиной интриги становится его полнейшая непригодность. Он сохраняет свои рыцарские привычки, вызывая у других монахов такую ненависть, что они сговариваются его убить, и ему приходится удалиться в уединенное место, Сен-Гильем-ле-Дезер, где ему предстоит встретить великана и беса. Это повод, чтобы не обойти молчанием и хоть как-то упомянуть серьезные внутренние напряжения, которые могли раздирать монастыри тысяча сорока года, понуждая инакомыслящих уходить в отшельники. С другой стороны, в обоих эпических «Монашествах Гильома»^[525] герой вновь берется за оружие рыцаря — героя эпопеи всякий раз, когда французское и христианское отечество оказывается в опасности и не может обойтись без него в качестве спасителя. И это опять-таки не просто выдумка, если вспомнить о тех монахах, которые приходили в монастырь в зрелом возрасте, полагая, что умирают, и уходили, когда оказывалось, что смерть не столь близка. Это укрепляло публику в представлении, что единственное воинство, на которое можно рассчитывать в случае сарацинского вторжения, — все-таки мирское, и в предубеждениях против монастырей, которые принимают стареющих рыцарей и слишком нагло захватывают лучшую часть их сеньорий.

Но вот обращения нового типа, более наглядные и, несомненно, продиктованные более чистыми мотивами, характерные для григорианских времен, — те, что прерывали карьеру рыцарей посвященных, боеспособных, отнюдь не убеленных сединами, и столь же часто и даже чаще побуждали их избрать жизнь отшельника, нежели классический монастырь^[130]. Они испытывали к этому сердечное влечение, их увлекал духовный порыв. Их решение,

возможно, даже следовало бы сказать — переживаемый ими кризис^[131], приводил к настоящим переломам в судьбе: они тайно покидали свою страну и совершали поступки, демонстрирующие инверсию своего статуса, выказывая прежде всего самоуничижение.

Согласно Гвиберту Ножанскому, первым такой пример во Франции подал в XI в. святой Тибальд, младший сын из рода графов Шампанских. «Уже во время обучения рыцарскому делу он отказался от оружия и бежал из дома босым»; он стал угольщиком, добывающим древесный уголь, его руки и лицо почернели от торфа, он перебрался в Италию^[526]. А ведь его пример оказался заразительным: в свою очередь один граф из Франкии, Эввар де Бретей, взялся за эту, если можно так выразиться, черную работу. Будучи его дальним родственником, Гвиберт достаточно хорошо его знал, чтобы точно описать его характер. Прежде Эввар обожал самые красивые одежды и был очень гневлив; среди его рыцарских грехов выделялась не столько воинская грубость, сколько, скорей, пристрастие к разгульной жизни, убранствам, фатовству^[527]. После обращения наш Эввар в простой одежде стал неузнаваем, он словно принизился, приняв облик крестьянина. Тем не менее он не остался навсегда в этом социально инвертированном состоянии, полностью противоположном прежнему знатному образу жизни. Вскоре он поступил в Мармутье^[132], войдя тем самым в число «сеньоров» Западного Клюни, угожьями которого он стал управлять. Часто бывая в разъездах, он избегал по собственной инициативе ездить в замки; тем не менее в нем еще оставалось нечто от прежнего эстета, поскольку он теперь имел «совершенно куртуазную привычку» добиваться от каждого ученого человека, которого встречал, чтобы тот написал фразу в его журнал автографов^[528]... Не было ли среди этих людей того рыцаря поневоле, влюбленного в словесность, старшего сына которого звали Пьером Абеляром?^[529]

Обращенные григорианских времен становились отшельниками — странствующими либо молчащими, или же затворниками (как картезианцы). Тем не менее они не искали подвигов аскезы или умерщвления плоти, как в свое время восточные святые или даже монахи Ирландии. Скорей, они выполняли миссию, «получали слово». Им было достаточно в определенном смысле хорошо проявить себя и пережить переломный период — странствие или одиночество, чтобы за это время напрочь избавиться от прежнего статуса и влиться в новое сообщество, где их родовая знатность получала свое подтверждение благодаря энергичной деятельности в рядах иного рыцарства, духовного воинства.

В Симоне, графе Крепи-ан-Валуа, было нечто от воскресшего святого Алексия (но немного, до крайней бедности он не дошел)^[133]. Как и тот, он вечером после свадьбы оставил невесту нетронутой и покинул родину, но не пересек море, а поселился в Юре в качестве отшельника, после чего вернулся во Франкию, не скрывая того, кто он на самом деле, — напротив, это только подтверждало преподанный им урок. «Рвение этого мужа увлекло многих рыцарей»^[530]. Нужны пример и убеждение, чтобы вовлечь в духовную борьбу *батальоны*]

Вот три громких обращения — во всяком случае в мире Гвиберта Ножанского, в мире хороших семейств королевского домена, сферы их преобладания. Действительно ли уход из мира был таким масштабным движением, как утверждает он? Можно было бы добавить и другие примеры, относящиеся к близким территориям. Например, историю знатного фламандца, прежде, скорей, непросвещенного и очень склонного к насилию, — Арнульфа Памельского: он отправился ко двору короля Филиппа I, но около 1060 г. остановился в Сен-Медар-де-Суассон, чтобы стать там монахом. Однако ему оказалось трудно сжиться с общиной, и он предпочел стать отшельником-затворником; с тех пор он вел поединок с дьяволом, стал могущественным экзорцистом, а когда вышел из одиночной кельи, —

духовным, а еще в большей степени социальным советником для хороших семейств (в том числе собственного). Таким образом, он мог давать практические советы в форме предсказаний и помогать в решении проблем, встававших перед благородными сеньорами и дамами, перед молодыми рыцарями или перед девицей, влюбившейся в рыцаря из более низкого рода^{531}. По словам его агиографа, он улаживал всё при помощи свыше. Возможно, ему помогало еще и то, что посетители давали сведения о себе и доверялись ему. Это позволило ему предостеречь (безрезультатно) сира де Куси о ловушке, подготовленной женой. Он также боролся с рыцарскими суевериями — без особого сострадания, как, например, в случае, когда объяснял смерть своего юного племянника от несчастного случая. В самом деле, его сестра препоручила подростка одному могущественному сеньору, их кузену, «пока он не станет рыцарем», и в то же время, беспокоясь за него, совершила акт «дурного колдовства», бросив его башмак в воздух через балку. Ему не повезло: этот жест возымел обратный эффект, принеся оруженосцу несчастье, а мать отягчив грехом^{532}... Бог карал также за грабежи, согласно святому Арнульфу, принося смерть в семьи виновников.

Можно полагать, что некоторые обращения могли быть более или менее осознанным выбором лиц, которым стало трудно соответствовать требованиям социальной среды, сохранять лицо в обществе наследственных рыцарей, где все-таки мало было дать себе труд родиться — приходилось также изнурять себя военными упражнениями и боями, переносить сплетни и измены. Это, несомненно, не специфическая проблема XI в., но, возможно, «рыцарская мутация», упомянутая в предыдущей главе, усилила дух соперничества, ужесточила требования к молодежи и усложнила ее судьбу. В самом деле, Доступ к наследству и наследницам казался довольно трудным. Что оставалось младшим и побочным сыновьям, плохо обеспеченным, а хоть бы и старшим, если они слабы или неудачливы, кроме монастыря, затворничества или побега в лес под маской благочестия? И не было ли это скорее средством сохранить лицо, нежели выступлением в поход ради духовной борьбы?

Ордерик Виталий просто повторяет общие места, когда сравнивает жизнь отшельника с «единоборством»^{533} или монастыри — с крепостями, где жители мира сего учатся сражаться с бесами и с плотскими пороками^{534}. Сражения такого рода на некоторых романских капителях изображены в виде ряда поединков между пороками и добродетелями, авторы которых использовали идеи «Психомахии» Пруденция. И добродетели часто персонифицированы в фигурах рыцарей, по которым можно проследить за постепенным усовершенствованием шлема и кольчуги.

Тем не менее для обращенных, живших вне строгого устава, руководствуясь собственными представлениями либо представлениями избранного наставника, атаки и ловушки беса составляли опасность. И бывало, что после тысяча сорока года странствующие отшельники критиковали дурных священников с горячностью, уместной разве что во времена Григория VII... Отныне им приходилось умерять требовательность, чтобы не впасть в ересь. Даже отшельники, живущие вдали от людей, воспринимались как нечто дисгармоничное, ведь одному Богу было известно, что они там говорят посещающим их верующим. Епископы местных диоцезов старались установить над ними контроль, прямой или косвенный, как Ив Шартрский — над отшельниками из Першского леса. Часто отшельникам предписывали так называемый «устав святого Августина», превращавший их в некое подобие каноников, хотя оставлявший определенную свободу передвижения. Но с 1119 г. епископы и папа предпочли другое решение: пусть они вступают в цистерцианский орден. В 1098 г. маленькая группа инакомыслящих из аббатства Моле в Бургундии последовала за своим аббатом Робертом и приором Обри в болота, заросшие тростником (*citelles*. Сито),

расположенные между Дижоном и Ключи. Первый период здешней жизни у этих отшельников был многотрудным, неясным и тяжелым. Потом, при аббате Стефане Хардинге, аббатство начало расцветать, а в 1110 г. в его монахи обратился Бернар, один из младших сыновей сеньора Фонтен-ле-Дижон, придавший его деятельности решительный импульс. Бернар, которому тогда было двадцать лет, оказался исключительно талантливым и энергичным новобранцем. В 1112 г. он стал первым аббатом Клерво, дочернего аббатства цистерцианского ордена. Одного за другим он обратил всех своих братьев-рыцарей и даже сестру, покинувших семьи... Этот рыцарский род, похоже, был целиком поглощен орденом, большой успех которому обеспечили, конечно, рвение и ревностность этих людей, но также их связи в высоких кругах и покорность епископам^{535}.

Цистерцианцы решили обходиться без реликвий и удалиться от феодального общества дальше, чем это делали черные монахи тысячного года. Сами они, стремясь к простоте, одевались в белое, в рясы с капюшонами из беленой шерсти. У них не было ни держателей земель, ни сервов, ни приходских церквей с надлежащей десятиной. Они не злоупотребляли мессами и молитвами за усопших из обеих элит. Они ограничивались обычной службой, а оставшееся время посвящали физическому труду. Тем самым они нашли баланс между молитвой и трудом, на котором так настаивал устав святого Бенедикта. Они старались не принимать гостей из хорошего общества, а также паломников, школяров, больных, чтобы не отвлекаться. Их орден был объединен, как они говорили, узами милосердия; управление было коллегиальным, в то время как Ключи выглядело авторитарным сеньором для своих приоратов, требуя с них настоящую дань. Даже требование отдавать предпочтение мужчинам здесь смягчили: орден принимал и монахинь, включив в себя женские аббатства.

И, таким образом, рыцари, клирики, монахи других общин, люди уже взрослые, поступали сюда с заранее обдуманном намерением. Как если бы класс, к которому они принадлежали изначально, отказывался от всех своих преимуществ, по меньшей мере в их лице. Как если бы гордые воины склоняли здесь головы и сгибали спины, чтобы трудиться в духе третьего сословия.

Однако во времена святого Бернара, когда орден был на подъеме и оттеснил Ключи как объект папской милости, его отшельнические черты, поначалу очень выраженные, несколько смазались. Литургические обязанности монахов оставались строгими, вынуждая их не слишком удаляться от аббатства и набирать крестьян в качестве «слуг», или «конверсов». Это тоже были «братья», но с особым статусом: будучи неграмотными, они имели меньше литургических обязанностей, им было достаточно прочесть молитву там, где они работали, когда приходил час богослужения. Поэтому они могли по-настоящему предаваться труду, который с рождения был их уделом, и имели отдельный dormitorio — даже если хоронили их в конечном счете так же, как и остальных. Устав требовал также чтения: просвещенные клирики и кое-как знающие латынь рыцари равно уделяли время учебным занятиям и медитации в монастыре. Святой Бернар сам писал латинские послания и проповеди, и его экзегезы (особенно к «Песни песней») вводят читателя, скорей, в жизнь созерцательную, почти мистическую, чем в активную. Наконец, цистерцианцы нравились королям, князьям и элите Западной Европы XII в., потому что представлялись им лучшими монахами, чья молитва, предстательство за христианский народ во главе с рыцарством казались наиболее действенными. Людовик VII добился, чтобы его похоронили в цистерцианском аббатстве Барбо, которое он «основал». Довольно скоро и повсюду цистерцианцы стали получать в дар десятину, сеньориальные ренты, заказы на погребения с обязанностью молиться за усопших и стали нанимать работников в помощь своим конверсам или в дополнение к ним. Это было уже не отшельничество, а нечто вроде новой реформы «элитного» монашества: хоть эти

белые монахи и удалились от мира, тем не менее князья добивались, чтобы они присутствовали при дворах и жили недалеко, желая, чтобы у них были не только лучшие рыцари для войн и турниров, но и лучшие предстатели перед Богом для спасения их душ. Для Клуни цистерци-анский вызов был очень ощутим.

Часто отмечается, как много метафор на тему духовного сражения можно найти в сочинениях святого Бернара. Там есть бастионы, воздвигнутые против бесов, фаланги бойцов из обители... Вот автор, который умел обращаться к бывшим рыцарям! Но не слишком ли было опасным для таких читателей, что в его строках то и дело блещут шлемы и мечи, от которых они отреклись? Не говоря уже о любовном, эротическом языке, которым он описывает отношения души с Богом. Все это смахивает на сочинения трубадура, не до конца избавившегося от вредных привычек, — особенно его яркая и утонченная риторика, где еще ощутимо определенное желание блистать.

У святого Бернара молитва (*oraison*) становится рыцарем, помогающим оборонять замок, который называется Справедливость и который осаждают земные желания; этого рыцаря на коне веры срочно посылают просить подкреплений^{536}. Пересыпая свои притчи библейскими стихами и запросто прибегая к аллегориям, Бернар создает замысловатый метафорический образ двух воинств — Иерусалима и Вавилона, которыми командуют Давид и Навуходоносор: под ними надо понимать, соответственно, воинство добродетелей и воинство пороков. Но вот «из лагеря Давида выступает юный новобранец. Только что присягнув в воинстве царя, руками самого Давида препоясанный “мечом духовным, который есть слово Божие”^{537}, и получив от него духовные доспехи, он выглядит внушительно. Вопреки царскому указу, он чрезвычайно нетерпелив: ему более не терпится обрести громкое имя, нежели победить врага. У него горячий конь — собственное тело. Еще преисполненный мирского пыла, изящный и веселый, сообразно своему духу, он гордо держится в седле. Нарушая дисциплину собственного лагеря, презирая соратников, он стремится вперед в дерзком одиночестве, пламенно желая добыть себе славу»^{538}. В этом можно узнать поведение рыцарей на поединках под Мулиэрном или Бретёем в описании Гильома Пуатевинского и Ордерика Виталия, Прежде чем начнется битва и даже опасаясь, что ее не будет, самые пылкие приближались к вражескому лагерю, чтобы сразиться в поединке с равными себе. Эти юноши рисковали, и тщеславие заманивало их в ловушки. И святой Бернар сплетает искусную интригу с обольщениями, приключениями и подвигами: в самом деле, Навуходоносор поручает двум сестрам, что носят имена Гордыня и Тщеславие, рукоплескать новому рыцарю и заманить его к себе в свиту в город Вавилон, ворота которого за ним запирают. И вот он в плену, над ним насмеваются на кухнях и спешат отправить в тюрьму Отчаяния. К счастью, царь Давид посылает группу надежных вассалов, Опасение и Повиновение, вызволить смельчака — и таким образом «рыцарь Христа обретает мудрость»^{539}. Для него дело кончается лучше, чем для Эбля Комборнского^{540}.

Таким образом, эта притча о злоключении рыцаря отдает преимущество коллективному и дисциплинированному бою сообщества, цистерцианского монастыря, по сравнению с тем риском, с каким сопряжено духовное сражение отшельников — слишком одинокое, слишком неконтролируемое, слишком неосмотрительное. В то же время и ее буквальный смысл не так прост: здесь, как мне кажется, мы имеем дело с первой апологией более справедливой и более напряженной войны, чем феодальная, и подчинения армии королю. Следует, говорит автор, отказаться от прикрас индивидуального рыцарского героизма в пользу эффективности, сплоченности и — рискнем использовать это слово — реализма настоящей армии, дисциплинированной когорты, командующий которой стремится не избегать

сражений, а как раз выигрывать их.

А ведь переход от метафоры к реальному бою произошел очень скоро — в связи с крестовым походом. Тот же святой Бернар в 1128–1130 гг. вознес хвалу рыцарям-тамплиерам; в их лице он увидел идеал смелости в сочетании с повиновением, без тщеславия и безрассудства (которому они на практике не всегда будут соответствовать), и осмелился высказать мысль, в предсказаниях крестового похода не получившую развития, что в некоторых сражениях убить врага — значит «убить не человека, но зло»^[541].

БОЖЬЕ ПЕРЕМИРИЕ И СМЯГЧЕНИЕ НРАВОВ РЫЦАРЕЙ

Историки Нового времени часто находили достаточно естественным и логичным, что от попытки ограничить междоусобные войны и запретить убийство христианина христианином посредством Божьего перемирия Церковь XI в. перешла к провозглашению и восхвалению Божьей войны, крестового похода, в котором христиане объединяются против неверных и где им дозволено убивать. Один и тот же Клермонский собор в Оверни в ноябре 1095 г. объявил Божье перемирие и крестовый поход. Нет ли тут отголоска забот Григория Турского, высказанных в VI в. в отношении франков: пусть они избегают самоуничтожения и истребляют внешние народы^{542}?

Однако когда оба этих декрета, о перемирии и о походе, помещаешь в контекст, становится заметно, что их полезность отнюдь не сама собой разумеется. Ведь если Божье перемирие прерывало феодальную войну, уже ограниченную, в попытке смягчить нравы рыцарей, то крестовый поход требовал от них большей жестокости на войне нового типа.

Божье перемирие зародилось в Каталонии, то есть на крайнем Юге королевства, на землях уже в большей мере испанских, чем французских. Первый декрет о нем был принят либо в Эльне в 1027 г., либо в Вике (Осона) в 1033 г. Оно представляло собой оригинальный путь развития христианских договоров, которые заключались в присутствии реликвий святых и которые мы несколько неточно называем «Божьим миром»^{543}. Епископы этого региона использовали статьи, принятые аквитанскими соборами, например собором в Шарру, посвященные спасению церковью, охране безоружных лиц и направленные против косвенной мести рыцарей, от которой страдали крестьяне. Но здесь, в средиземноморской Готии, четко определили юрисдикцию. Эти статьи были составной частью *мира*, который утвердили совместно граф Барселонский (или, северней, виконт Нарбоннский) и епископ со своими канониками. К этому договору были добавлены новые меры, означавшие *перемирие* как таковое под исключительной юрисдикцией людей Божьих, епископов и каноников, которые, впрочем, могли прибегать к Божьему суду (ордалиям) в качестве доказательства или санкции. Божье перемирие сводилось к запрету любых военных действий и даже любых мер судебного принуждения в важные периоды христианского года, такие как Филиппов пост, Великий пост и Пятидесятница, а также на четыре дня каждой недели, с четверга по воскресенье — дни Страстей и Воскресения Христова. Естественно, поддержку Церкви должны были оказать сильный князь и социальное давление.

Эта каталонская формула стала двигаться на север, и каждая церковная провинция либо княжество вносили в нее дополнения. Так, в период с 1040 по 1042 г. ее обнаруживают в Нарбонне, в Арле, а также в Бургундии, где Рауль Глабер успел незадолго до смерти воспеть ее в пятой книге своей «Истории». Но Рауль отмечает, что проникновение Божьего перемирия в Парижский бассейн (который он называет Нейстрия) ненадолго прекратилось из-за войны между королем Генрихом I и графами Блуаскими. Тем не менее с 1060 г. оно там распространилось. В Нарбонне его в свое время ввел декретом архиепископ Гифред, противник папской власти; теперь его проводниками стали скорее епископы-реформаторы, несомненно, с санкции папы Александра II (1061–1073), но, похоже, без санкции Григория VII (1073–1085). Так, реймская формула (перенятая во Фландрии и в Нормандии), принятая между 1060 и 1100 гг., требовала, чтобы с четверга по воскресенье включительно не причиняли «ни раны и ни смерти, также не совершали бы нападения на замок, бург, деревню в течение этих четырех дней и пяти ночей и не творили грабежа, пленения или поджога, а также не было бы козней, взломов и военных хитростей с таковыми целями». Иными словами, не было бы

проявлений рыцарской воинственности, за одним исключением: «Во время этого мира только король или здешний граф сможет устраивать набег или вести ост, и те, кто будет с ним, не должны будут реквизировать в диоцезе больше, чем им нужно для прокорма своих коней»^{544}.

Историки Нового времени, вообразившие, что в то время из замка в замок кочевало разнузданное феодальное насилие, сочли Божье перемирие маленькой революцией после дерзостей «Божьего мира» тысячного года. От этой иллюзии, конечно, надо избавиться. Вопрос не стоял так: либо Божье перемирие, либо хаос, потому что феодальная война представляла собой не хаос и не вездесущее насилие. Обычай соблюдать воскресенье, Великий и Филиппов пост, похоже, уже прочно укоренился, а увеличить число дней перемирия в XI в. пожелали, может быть, прежде всего затем, чтобы больше оказать должного почтения Богу, — а значит и Церкви. С другой стороны, Божье перемирие, нуждавшееся в поддержке со стороны короля и графов, не препятствовало их публичным войнам, где, возможно, больше, чем в других конфликтах, христиане творили насилие над христианами. Мы уже видели, что поход Вильгельма Завоевателя в 1066 г., сделанный с хоругвью святого Петра, имел следствием множество убийств, пусть даже Вильгельм после покаялся.

Каким был эффект от этого перемирия на местах? В хрониках и рассказах нет ясных иллюстраций этого. Тем не менее жаль, что такой красноречивый автор, как Ордрик Виталий, не рассказывает, как оно применялось; он упоминает лишь об *обнародовании* этого перемирия Вильгельмом Завоевателем. Только некоторые места в южных хартиях и письмах Ива Шартрского позволяют догадаться, что во время конфликтов и судебных процессов все-таки постоянно ссылались на закон о Божьем перемирии. За нарушение этого перемирия могли потребовать штраф, и такое нарушение могло ухудшить положение обвиняемого в насилии, будь он рыцарем или нет.

Божьему перемирию отдавал должное и Урбан II: декрет об этом перемирии он включил в число декретов Клермонского собора в ноябре 1095 г., к которым также относились все статьи о григорианской реформе (в том числе о запрете епископам носить оружие) и декрет о крестовом походе. Одной из тем его проповедей, а также проповедей клириков, подхвативших ее, чтобы нести по всей Франции призыв к крестовому походу, было оплакивание насилия христиан над христианами. Таким образом, связь перемирия с крестовым походом вполне существовала, тем более что наказанием для нарушителей перемирия часто становилось изгнание, покаянное паломничество.

Наряду с Божьим перемирием усиливалось настоящее осуждение убийства христианина христианином. Так, Гифред Нарбоннский во время обнародования второго перемирия в своем диоцезе в 1054 г. добавил к нему новую статью: «Пусть ни один христианин не убивает другого христианина; ибо тот, кто убивает христианина, проливает кровь Христову; если же, однако, человека несправедливо убьют, чего мы не желаем, за это надо будет заплатить штраф в соответствии с законом»^{545}. И эта статья здесь присоединена к статьям Божьего перемирия. Упоминание о крови Христовой — сильный образ, но следующая далее резолютивная часть остается достаточно прагматичной: все-таки убийства еще будут, и тогда понадобится платить штраф, представляющий собой близкую родню «варварской» судебной «композиции».

Нам ничего не известно о действиях самого Гифреда, направленных на предотвращение убийств. После 1054 г. он, несомненно, был слишком занят борьбой с «римлянами», которые представляли себя как реформаторы и перед которыми его обвиняли в симонии. Но во многих «Житиях» и «Чудесах» мертвых и живых святых в ту же самую эпоху Божьего

перемирия (1060–1120) в Северной Франции упоминаются кампании по умиротворению, которые епископы и аббаты проводили в борьбе с кровной мстостью: рыцарские семьи (но не исключительно рыцарские), чувствительные к вопросам чести, часто враждовали меж собой. Такие рассказы всякий раз описывают начальную ситуацию как драматическую, чтобы лучше оттенить важность чуда, восстановившего мир, и проповеди, изменившей нравы. Однако здесь можно усмотреть определенные признаки, дающие возможность критического прочтения, «интерпретации»: не находили ли епископы и аббаты, которые читали знати по этому поводу проповеди, у нее некой предрасположенности к миру, какую за тысячу лет до того Тацит обнаружил у германцев — в принципе мстительных, но фактически добродушных?

Вот, например, мощи святого Урмера Лоббского, которые носили по Фландрии в 1060 г., чтобы вернуть земли, при благосклонном отношении графа — в то время Балдуина V, основателя Лилля. Странствуя от одного замка к другому, то есть через маленькие городки с их рынками и площадями, где происходило всевозможное «сведение счетов», в один прекрасный день мощи достигли Стразееле. «Жили там рыцари, так враждовавшие меж собой, что ни один смертный не мог добиться мира между ними. В течение предыдущих лет раздоры, к каковым подстрекал нечистый, отбирали отцов у сыновей, сыновей у отцов, братьев у братьев. Когда вокруг святого собралась толпа, все эти люди тоже оказались здесь. Те, кого раздоры не коснулись, указали нам на них, и мы по отдельности переговорили с враждующими сторонами. Следовало, чтобы каждый возложил разрешение ссоры на Бога и на святого; некоторые согласились на это скрепя сердце, однако, движимые страхом Божиим и любовью к святому»^{546}. Несомненно, ни один смертный всего на свете еще не уладил, но по этой странице, написанной практически по свежим следам, заметно, что монахи Лобба обнаружили обе стороны готовыми к переговорам и обеспечили себе помощь «непричастных», остававшихся до тех пор в стороне от усобиц. Если мощи так легко вернули мир на этот фламандский рынок, то потому, что страх Божий и любовь к святому были удобными официальными предложениями отказаться от мести как долга чести, не показавшись при этом трусливым или слабым. В 1083 г. живой святой, Арнульф Памельский, действовал тем же методом, но без реликвий. Этот отшельник, обращение которого мы только что описали, стал григорианским епископом Суассона, был изгнан оттуда противниками и вернулся в родную Фландрию в качестве посланца Григория VII к графу Роберту Фризу, чтобы добиваться примирений при поддержке графа^{547}. Технология, используемая во всех этих случаях, была основана на отношениях в феодальном обществе: убийцы, умолявшие близких жертвы пойти на переговоры, передать эту просьбу поручали святому, как могли бы поручить это сеньору, графу, после чего перед этими близкими простирались ниц монахи, отказаться которым было трудно — это стало бы нарушением мира, оскорблением святого и Бога... Так что в подобной ситуации, помогавшей спасти лицо, многие отвечали согласием. Если оставались колебания, с какими не раз сталкивался святой Арнульф, вину за них возлагали на бесов. Мол, сторонниками борьбы до победного конца овладело буйное сумасшествие, это мятежники против мира, в их тела вселились бесы, а Бог попустил это в наказание им, и в конечном счете святому Арнульфу следует их исцелить, изгнав бесов в обмен на признание мира.

Наконец, самый принцип мести, который евангельская проповедь осуждает, не отменялся как таковой. Близкие убитого здесь скорее добровольно, из благочестия, по крайней мере так выглядело дело, отказывались от мести, чем принимали компенсацию вроде той, какую предусматривал Нарбоннский декрет 1054 г. Это было красиво и более почетно, чем любая официальная финансовая сделка. Но в конечном счете, с тех пор как по Фландрии

стали устраивать регулярные турне реликвий и проповедников, акты мести можно было по-прежнему совершать в «оптимальном режиме», до ближайшей возможности заключить мир по велению святого. Сдала ли в Галлии месть свои позиции в результате действий григорианцев? При изучении этого вопроса выявляется вся неоднозначность христианских покаяний в средневековом обществе.

Григорианские проповеди не помешали тому, чтобы в «жестах» XII в., таких как «Гарен Лотарингский», «Рауль Камбрыйский», о которых речь пойдет дальше, и даже в «Песни о Роланде» царил дух мести. Вызвали ли такие проповеди стремления к миру, которые отражены в этих прекрасных текстах, хотя и восхваляющих приверженность рыцарей, достойных этого имени, к мести своим личным противникам? Не уверен, поскольку есть немало признаков, что общества мести вовсе не были пропитаны разнузданным насилием.

Следовало бы выяснить, что именно порождало социально необходимую «смертельную ненависть», то есть кровную месть, в делах, за которые брались григорианцы.

«Чудеса святого Урмера» дают интересный их обзор с 1060 г., начав его вскоре после дня умиротворения Стразееле. Итак, монахов и их реликвии пригласили в Бларингем. Двумя неделями раньше в этом замке два рыцаря, вассалы здешнего сеньора, «однажды обменялись весьма суровыми словами, ибо были молоды». Сеньор, воспользовавшись своим правом суда, вынудил их примириться посредством поцелуя мира. Но один из двоих все еще чувствовал себя уязвленным — конечно, потому что «его семья была ниже семьи другого, даже если он и имел более славное имя среди рыцарей». Его самолюбие страдало так невыносимо, что однажды, применив хитрость^[134], он пронзил второго копьем и убил его. Он сразу же укрылся в церкви, но там была большая толпа, хотевшая убить его на месте, невзирая на право убежища. Мстителей возглавил сеньор замка, чей приговор он только что поправил. Но у рыцаря, попавшего в отчаянное положение, был и другой сеньор, который успел вмешаться: он добился, чтобы того передали ему в обмен на залог. Было заключено феодальное перемирие на десять дней, до Вознесения, дня, когда он должен был снова привести своего рыцаря, облаченного в его доспехи, в церковь Бларингема. За это время надо было обратиться за помощью к святому Урмеру и, вероятно, провести тайные переговоры. Монахи прибыли в Бларингем, когда напряжение достигло пика — надо ли говорить, что оно нагнеталось тем сильнее, что было известно о возможности рассчитывать на их приход, чтобы уступить, не допустив бесчестия? «Вся церковная ограда была красной от щитов, на доспехах поблескивало утреннее солнце, кони вздрагивали и ржали от возбуждения. Сторонники Гуго окружили церковь, вынув мечи из ножен, жаждущие крови этого грешника». Тем не менее они позволили монахам пройти сквозь толпу, прочитать мессу, обратиться с просьбой о мире. И возражали против последнего только до момента, когда украдкой, без ведома Гуго и его людей, как настаивает агиограф, монахи внесли мощи. Те словно бы излучали христианскую любовь. «Слезы потекли у всех из глаз, благочестие в сердцах превозмогло гнев. Наконец оно взяло верх и в душе Гуго». Тогда он смог по-рыцарски обойтись с этим рыцарем: пощадил его жизнь и конечности, только удалил от себя, сделав ему дар, коего последний был достоин за вассальную службу^[548]. На такое разрешение конфликта повлияло, конечно, и участие в деле обоих сеньоров, каждый из которых сыграл свою роль до и после массовой сцены с красной оградой. Тем самым тот, кого спасло чудо святого Урмера, Добился квазинеприкосновенности. Мы готовы поклясться, что он ушел в странствующие рыцари, которые добывали себе репутацию на турнирах, нравились знатым девицам^[549] и жили за счет щедрот князей. Можно даже допустить, что спасенный в Бларингеме имел шанс прославиться при Гастингсе под началом герцога Вильгельма или графа Евстахия.

«Житие святого Арнульфа» в качестве возможного повода для мести называет гибель родственника в бою, хотя тот явно был агрессором: он напал на лесное укрепление в Суассонской области, и один защитник последнего ударом копья распорол ему живот^[550]. Потребовалось настоящее сотрудничество бесов и божьего человека, чтобы остановить руку его кузена-рыцаря^[551]. Месть рыцарей особо подробно упоминают хартии из земель на Луаре, во всяком случае одна из Ван-дома и несколько из Нуайе, за период с 1040 по 1120 гг. (о котором эти документы рассказывают больше всего). Когда один из них был некстати убит в одном эпизоде феодальной войны, виновника удара выявили и стали преследовать, даром что он сражался, выполняя долг перед законным сеньором. У молодого туренца были благородные родственники, которые не могли не отреагировать на его смерть: речь шла об их чести, а значит, об их статусе. Тем более не мог остаться безучастным граф Анжуйский Жоффруа Мартелл — хоть он и проявлял сдержанность в сражениях, — когда Амлен де Ланже «в бою» убил его кузена. Значит, требовалось, чтобы «убийцы» или их близкие молили о мире, при помощи посредников — сеньоров и монахов. Непохоже, чтобы это делалось публично, как во Фландрии, но метод использовался тот же. Аббат Нуайе в Турени явно пожинал плоды таких вмешательств, хоть он был и не единственным миротворцем, каким его изображает Стивен Уайт^[552]. Действительно, семьи договаривались, что семья «убийцы» принесет дар, обязывающий монахов молиться за душу убитого, чья семья освобождалась от необходимости что-либо дарить и тем самым получала косвенную компенсацию — чтобы дело не выглядело так, будто она «торгует кровью» своего родственника. В одном случае даже была дарована земля на содержание в монастыре дополнительного монаха: он был как бы заместителем убитого в более духовном сражении и так же молился за своего «убийцу», как и за себя.

Количество вендетт, которые требовалось остановить, было, таким образом, связано не столько с разгулом насилия, сколько с обостренной некоторым образом чувствительностью к убийствам на войне в феодальном обществе — чувствительностью, которой государство Нового времени нас лишило. Может быть, дорога к этому началась с крестовых походов?

Мир между христианами, священный союз против неверных — вот был лозунг крестового похода, но он не в точности соответствовал реалиям 1095–1099 гг. У крестоносцев были разногласия и различия в позициях, как мы еще покажем. И во время отсутствия тех, кто ушел в крестовый поход, Церковь не могла полностью обеспечить мир в Западной Европе. Она взяла под свою защиту владения и семьи крестоносцев, но эта защита была не совсем эффективной. Мы видели, что Эли дю Мэн пытался добиться от Вильгельма Рыжего гарантий для своих земель, чтобы отправиться в крестовый поход, получил отказ и остался, чтобы защищать то, что он считал своим правом^[553]. Божье перемирие, провозглашенное Клермонским собором в 1095 г., не прервало королевских и графских войн, оно формально выделило их как особые, и в результате тот же Вильгельм Рыжий мог по-прежнему воевать на границах Мэна и Вексена против Эли и против Людовика, не совершая, правда, слишком много убийств и проявляя уважение к рыцарям. Тем не менее, пока граф Годфруа Намюрский находился в Первом крестовом походе, его супруга Сибилла, наследница графства Порсиан, выбрала себе похитителя и нового мужа — Ангеррана де Бова. По возвращении крестоносца вспыхнула феодальная война, где каждый разорял земли и людей другого^[554]. Гвиберт Ножанский не упускает случая заклеить эту похотливую женщину, которая разжигала междоусобные войны во время великой Божьей войны, воскресившей славу франков.

Когда крестовый поход закончился, бывшие борцы за Иерусалим не образовали братство

в защиту Церкви и слабых, они даже не дали торжественного обета соблюдать права последних, не нападать на них. Напротив, вернувшиеся крестоносцы укрепились в гордом ощущении своей рыцарской доблести и стали еще ревнивее относиться к своим правам. Иными словами, крестовый поход не создал ни института христианского рыцарства, как часто воображали еще в Новое время, ни тамплиеров, преданных идее поддержания внутреннего порядка в обществе. Феодалы полагали, что они уже способствуют поддержанию такого порядка: наследники каролингской идеологии, они изображали себя защитниками и покровителями страны... при этом враждуя меж собой! И даже когда критика со стороны Церкви задевала их и отчасти вскрывала механизмы феодальной войны, она не распространялась на князей и королей, которые такую войну и практиковали прежде всех и на которых Церковь как раз и полагалась как на поборников справедливости в Европе. Вскоре она стала убеждать их добиться от своих остов военной дисциплины, сравнимой с дисциплиной у цистерцианцев в духовных сражениях или у древних римлян.

Сколько-либо настойчивые предложения реформировать рыцарство, известные мне за период крестовых походов, были выдвинуты только в связи с тем собором в Бове в 1115 г., который осмелился лишить Тома де Марля звания рыцаря. Святой Арнульф умер между 1083 и 1085 гг., но его назидательное «Житие» было написано в 1110-х гг. и представлено в Суассоне епископам этой области. Арнульф, который воспитывался как рыцарь, сохранил дружеские связи с одним из соратников по имени Жери. Он убеждал того отказаться от грабежей. Поначалу тщетно. Но вот Жери утратил детей и сам оказался при смерти. Его жена Юдифь уже считала себя вдовой и полагала, что племянники только и ждут, когда он умрет, чтобы расхитить все его имущество. Тогда-то Арнульф и добился от Жери обета улучшить нрав и прочел ему проповедь. Отныне, чтобы идти путем справедливости, тот должен был почитать духовенство, ничего не брать у бедных (следует ли понимать под этим только церковные владения?), платить десятину (церквям), прислушиваясь к советам. Далее, говорил Арнульф, «возделывай землю и взирай на свой урожай и на должные повинности, и будь мило серден к своим крестьянам, прощай им, полностью или частично, те долги, каковы они не могут выплатить», и, наконец, «будь искренно верен и правдив со своим государем и равными тебе»^[555]. После того как Жери стал справедливым, у него родились новые дети и его семья стала процветать.

Эта проповедь, прочитанная Жери и в его лице рыцарям Реймской провинции, использует элементы образа Геральда Орильякского, дополняя их новыми составляющими, приспособленными к условиям «второго феодального века», который как раз начинался. Она немного приглушает тему защиты бедных и делает невиданный прежде акцент, на феодальной собственности. Бедняки, находящиеся под угрозой, — отныне это скорей бедняки самого рыцаря, которым грозят его требования платить подати, чем бедняки его противников, которым грозит его косвенная месть. И можно сказать рыцарю «возделывай землю», не нанося ущерба его статусу, потому что это его собственная земля: имеется в виду не работа на другого, не трудовая повинность, — такой вассал, как Жери, может служить князю только посредством своего оружия и оказания моральной и социальной поддержки на *plaid'ax*. Он возделывает свою землю, как епископ строит свой собор, то есть руководит трудом других. «Твой урожай» — это урожай с сеньориальной запашки^[136], обрабатываемой челядью и батраками, а повинности поступают с держаний, чьи держатели-крестьяне рассматриваются как «гости» своего сеньора, которые, следовательно, очень рады, если он оставляет себе не всё, что производит земля, и обязаны выплатить ему подать, когда он испытывает затруднения. Так в течение XII в. возникли такие формы эда и тальи, которые взимались для удовлетворения конкретных потребностей сеньора (на выступление в

крестовый поход, на выкуп вследствие пленения, на постройку замка, на свадьбу дочери, а вскоре и на его посвящение и на посвящение старшего сына), и, следовательно, стало выгодно вести рыцарский образ жизни, чтобы больше собирать с крестьян.

Поначалу эти повинности — *произвольные* (пока писанные кутюмы не *абонировали* их). Однако надо отбросить современную коннотацию слова «произвольный», слишком негативную: не то чтобы в Средневековье считали, что сеньор имеет право на злоупотребления, но его призывали делать скидку, оказывать снисхождение, и здесь святой Арнульф наглядно это выражает. Задача Жери состоит в том, чтобы вести себя с подданными по-рыцарски. Фактически история XII в. в этих краях имеет черты некоего социального диалога (или равновесного соотношения сил) между сеньорами и крестьянами, где присутствуют конфликты из-за налогов (или штрафов), за которыми следуют компромиссы, где есть красивые слова и хитрое крючкотворство. В моменты столкновений речь заходит о мятежных сервах и деспотичных рыцарях, в дни примирений остаются лишь великодушные и христианские рыцари...

Общая эволюция в этих регионах во втором феодальном веке (XII-XIII вв.) еще не привела ни к отмене серважа (возник новый), ни к уменьшению сеньориального обложения податных масс. Льготы получили в основном городская элита и отдельные богатые крестьяне. Если, с другой стороны, Жери и его наследники ведут меньше феодальных войн, то как они поведут себя, вступив в официальный ост того князя, хранить верность которому призывает их божий человек? Сумеют ли они обособиться, как Геральд Орильякский в изображении святого Одона, отказавшись от грабежей?

Верность по отношению к равным себе, предписанная святым Арнульфом, годилась как раз для того, чтобы освятить классовое сознание рыцарей, хотя «Поучение» Дуоды рекомендовало его обрести еще в IX в.^[556] Так что, подумав, можно понять, что эта страница об исправлении рыцарских нравов отражает некоторый социополитический конформизм.

Она очень характерна для последнего этапа григорианской реформы, направленного на укрепление верности монархам. Правда, на Реймском соборе в 1119 г. папа Каликст II, сам уроженец Галлии^[137], снова декретировал Божье перемирие и даже советовал его соблюдать всем латинским христианам. Но у этого перемирия уже не было будущего. Начиная с 1124 г. этот христианский закон, особенно в отношении Галлии, уже не слишком трогал сердца пап, которыми часто оказывались итальянцы. Божье перемирие скоро вышло из употребления, равно как осты христианства и мобилизация реликвий (то, что мы называем «Божьим миром»). То и другое стало исчезать даже во французских провинциях, за некоторыми исключениями, сохранившимися до 1200 г. (Божье перемирие в Нормандии, правда, не очень афишируемое, или Божий мир в Оверни и на ее окраинах). Охрану своих сеньорий Церковь доверила королям, князьям, знатным баронам — сеньорам многочисленных больших фьефов и отчасти утратила возможность клеймить сеньоров и рыцарей за деспотизм. Разве что когда в школах в конце XII в. зародилось новое критическое течение^[557] — тогда и выяснилось, что не все рыцари позабыли грубые привычки оттого, что бывали при дворах и в монастырях. Может быть, крестовый поход даже сделал их более жестокими. А может, они всегда вели себя, считаясь больше с обстоятельствами, чем с абстрактными и радикальными принципами Церкви — которая и сама умела смягчать строгость этих принципов, когда требовалось. Так что, возможно, рыцари никогда не были ни принципиально мягкими, ни принципиально жестокими, а всегда оставались прагматиками.

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВОВ РЫЦАРЕЙ

Составляя свою «Жизнь Людовика VI» в 1140-х гг., аббат Сугерий из Сен-Дени упоминал бывших крестоносцев не только как благочестивых рыцарей Христа, но и как мужей, покрывших себя мирской славой. Они внушали уважение и противнику. «Даже на землях сарацин хвалили благородные подвиги» Боэмунда Антиохийского, которые, однако, «никогда бы не были возможны без помощи руки Божией»^{558}. А граф Роберт II Фландрский, прозванный «Иерусалимским», был «мужем совершенно замечательным, знаменитым среди христиан и сарацин с первых дней иерусалимских походов благодаря искусному владению оружием»^{559}. Возможно, первые его больше любили, тогда как вторые прежде всего опасались, но вскоре мы узнаем о более сложных чувствах, которые французские рыцари вызывали у одного сирийского эмира XII в. Французы платили туркам и, во многих «жестах», всем сарацинам тем же. Не то чтобы мы собирались представить здесь крестовые походы как товарищеский матч Восток — Запад: во время этих походов случались настоящие побоища. Но они не были конфликтом цивилизаций, какой иногда видит в них наша эпоха. А книга о рыцарстве, автор которой желает повсюду выявлять сделки между знатными противниками, может и эти походы рассмотреть под таким углом.

Церковь в принципе хотела, чтобы крестовый поход приводил к обращению рыцаря. Он лишался своих владений, чтобы «следовать за Христом», наотрез отказывался от стремления к наживе, обычно ему присущего, и даже, неявно, от заботы о сохранении жизни — был готов умереть. Принять обет вооруженного паломничества в Иерусалим, отметить себя в качестве такого паломника знаком креста и отказаться от длинных волос значило стать чистым и суровым воином, который отрекся от тех рыцарских обычаев, что расцвели тогда пышным цветом в ходе «войн» между людьми из хорошего общества.

Одна из самых впечатляющих хроник крестового похода — это хроника анонимного автора, судя по всему, представлявшего «средний класс рыцарей-крестоносцев»^{560}, если только он не делал такой вид намеренно. Он старается, чтобы его не смешивали ни с бедняками, ни с клириками, он чувствует себя франком, хотя отправляется из Южной Италии вслед за норманном Боэмундом Тарентским, которого показывает в выигрышном свете, как и положено доброму вассалу в отношении сеньора.

Ему известно, что Урбан II в Галлии в ноябре 1095 г. призвал к тому, чтобы христиане «смирненно вступали на путь Господа», то есть Христа, ради спасения души. И папа добавил: «Братья, вам должно во имя Христа претерпеть многое: нужду, бедность, наготу...» и всевозможные страдания, лишения, которые Христос предвещал ученикам и за которые Он вознаградит. Таким образом, первоначальный тон был не столь воинственным: какой-нибудь Эввар де Бретей мог объяснить желание стать угольщиком Божьим теми же словами. Поначалу трудно было бы догадаться, что они собираются на войну — эти франки, которые, «услышав сии слова, очень скоро принялись пришивать кресты на правое плечо и все говорили, что желают совместно следовать по стопам Христа, каковой выкупил их из власти Тартара»^{561}. Может быть, они покидали свои замки, дела, а часто и жен, чтобы следовать за Христом наподобие евангельского молодого богача?

Некоторые, несомненно, по возвращении вновь обретут свои владения — порой не без труда. Не предполагалось, что они обязательно уходят навсегда. Отдельные крестоносцы заложили владения монастырям в обмен на денежные суммы, на которые экипировались, и с

возможностью «выкупить» залог, если когда-нибудь вернуться из Иерусалима. Но риск расстаться с жизнью был не мизерным: Церковь не обещала, что они вернуться невредимыми, она не благословляла их оружие по знакомому нам Камбрейскому ритуалу. Во всяком случае ни один источник не упоминает этого действия, которое было бы нацелено на победу и сохранение жизни. Атмосфера была более жертвенной. Приобретение, на которое рассчитывали, имело характер скорее духовный, чем мирской. Все это явственно отличало крестовый поход как *священную войну* от более или менее *сакрализованных* войн тысячного года^[138].

Итак, изображая порыв французских христиан, прежде всего рыцарей, как проявление благочестия, как духовное деяние, хроника норманнского Анонима начинается в духе проповеди Урбана II. Клермонский декрет последнего гласит: «Тому, кто отправится в Иерусалим из чистого благочестия, не взыскав ни чести, ни денег, дабы освободить Церковь Божию, этот поход будет засчитан как покаяние за всё»^[562]. Правду сказать, покаяние не всегда оказывалось признаком стойкого обращения и настоящего исправления нравов — иногда, напротив, оно было лучшим средством избежать этого! По крайней мере оно было религиозным жестом, и Клермонский декрет в принципе исключает, что крестовый поход может принести какую-либо иную выгоду. Но в 1095 г. для очищения от грехов рыцари не должны были слагать оружие, как Людовик Благочестивый в 833 г. или те, кто становился монахами либо отшельниками. Если крестоносцы на время покидали свои фьефы во Франции, то от рыцарского статуса не отказывались ни на миг. Вскоре возникла вероятность, что в случае победы они обретут честь и деньги и станут чуть менее чистыми.

Правда, эти рыцари намного больше рисковали жизнью, чем в войнах между французскими провинциями. Ни Клермонский декрет, ни пролог к «Анонимной истории» не указывают на это напрямую, но в принципе подразумевалась борьба не на жизнь, а на смерть. Если ты ведешь беспощадный бой с неверным и если он не страшится, приходится ожидать, что он ответит тем же. Норманнский Аноним немного далее признается: представив себя халифом Багдадским в качестве папы (*apostolique*) мусульман, он сделал вывод, что непременно разрешил бы им убивать христиан^[563]. Что это, как не проекция? Аноним приписывает вражескому лагерю ту установку, которую на самом деле получили христиане. Они поняли так: папа разрешил крестоносцам убивать и пообещал спасение души тем из них, кого убьют. И когда под Никеей на самом деле начались потери, хроника приобретает мстительные акценты: «Мученики, триумфально возносясь к небу, в один голос вещают: «Воздай, Господи, за нашу кровь, пролитую за Тебя!»»^[564]

Но до тех пор ни эта хроника, ни другие не содержали патетических призывов проливать кровь. Папа Урбан II призывал защитить восточных христиан от сарацинского гнета, по-рыцарски помочь слабым. «Он со слезами на глазах выразил всю скорбь в связи с тем положением, в которое христианство оказалось ввергнуто на Востоке: он рассказал о жестоких притеснениях, которые сарацины вынуждают терпеть христиан; пламенный оратор, он всенародно пролил обильные слезы об осквернении Иерусалима и святых мест, где обитал Сын Божий во плоти»^[565]. Итак, крестовый поход — это защита церковей и бедных от сарацинского деспотизма, описанного в тех же выражениях, что и деспотизм дурных рыцарей, сеньоров-тиранов вроде Роберта Беллемского и Тома де Марля. Как и в их случаях, преступления противника не то чтобы совсем вымышлены, но с определенным расчетом преувеличиваются^[566]. Но вспомним, что изначальный пафос поджигателей войны, как правило, не обязательно означал, что в дальнейшем «защиту» церкви и слабых будут неумолимо и бескорыстно вести одни лишь «добрые» рыцари. Так что не станем, говоря о

крестовом походе, как и о других предметах, воспринимать понятие «месть» как априорно варварское и злодейское: в средневековом обществе ссылка на нее была скорее формой оправдания своих действий, равно как и основанием притязать на Святую землю как на наследие христиан, которое у них незаконно отняли^[139].

Во всех этих рассуждениях развиваются темы, которые были знакомы французским рыцарям XI в. и не обязательно воспринимались как призывы к откровенному истреблению противника, поскольку в обществе мести его члены сначала разжигали себя громкими словами, потом переходили к враждебным действиям, но вскоре начинали проявлять настоящее искусство ведения переговоров и заключения сделок. Со времен Тацита мы только это и видим! Мечь использовали как повод для всевозможных войн, которые велись с различной жестокостью, но всегда представляли собой чередование враждебных действий и соглашений. Убеждая христиан дать ответ на продвижение сарацин, Урбан II опирался на реестр «Королевских анналов», оправдывающих войны Карла Великого в VIII в., а ведь и в тех войнах, как мы видели, были и настоящая жестокость, и договоренности с врагом.

Тем не менее новым здесь было то, что поджигателем войны выступал папа-реформатор Урбан II (1089–1099), почти столь же чистый и еще более суровый, чем был его предшественник Григорий VII, а целью войны были по преимуществу Святые места христианской религии. С другой стороны, проповедь Урбана II и его пропагандистов, среди которых попадались пылкие и не всегда контролируемые отшельники, происходила на фоне очень острой борьбы за григорианскую реформу и за права коммун. Наконец, вознаграждение имело духовный характер, и следствием этого становилась священная война как таковая, бесспорно, близкая родственница мусульманского *джихада*, хоть и не связанная с ним напрямую.

Эта священная война не была сакрализована целиком. Папа не взял на себя непосредственное командование, тогда как Григорий VII около 1075 г., похоже, подумывал об этом. А Урбан II назначил легата в иерусалимский ост — им станет Адемар Монтейльский, епископ Ле-Пюи-ан-Веле. Последний принимал участие в совете князей, или «баронов», имел там голос, но не доминировал; он был пастырем крестового похода, при этом вместе с графом Тулузским Раймундом де Сен-Жильским (которого какое-то время замещал) командуя отрядом из Окситании. Как и в английский поход 1066 г., в поход 1096–1099 гг. на Сирию и Палестину по сути ходил не более чем ост, собранный на очень обширной территории, в который рыцари вступали так же, как в обычных социальных условиях и в феодальных войнах, то есть вслед за князьями. Крестоносцы давали обет паломничества, но не подчинения объединенному командованию, и по пути дело не обошлось без дразг между ними. Ни один контингент не оплачивался на средства папы или Ключи и не соблюдал какой-то особой дисциплины — орден Храма появится только лет через тридцать.

С другой стороны, был ли состав оста для крестового похода расширен так, что это стало почти революцией, как иногда считали романтики Нового времени?

Согласно Фульхерию Шартрскому, папа и вправду велел епископам «убеждать всех, почаще им проповедуя, к какому бы классу общества они ни принадлежали, будь они рыцарями или пехотинцами, богатыми или бедными, вовремя отправиться на помощь христианам и отбросить этот зловредный народ далеко от наших территорий»^[567]. Роберт Монах изображает дело так, что папа все-таки исключил участие людей, неспособных носить оружие, и только требовал, чтобы богатые помогали бедным и чтобы всё делалось под контролем Церкви. Согласно этому автору, «целевая аудитория» папы определено состояла из рыцарей, потому что у него тот говорит: «Пусть ваши сердца забьются сильнее и ваши души исполнятся смелости при воспоминании о деяниях ваших предков, о доблести и

величии короля Карла Великого и его сына Людовика!»^{568} От благородных наследников всегда требовали быть достойными предков благодаря рыцарским деяниям. А по случаю следующего похода (второго, в 1146) папа Евгений III, уточняя доктрину об отпущении грехов бойцам, начал речь в очень феодальном духе: «Пусть смело вооружаются все, кто в Бозе, и прежде всего могущественнейшие и знатнейшие!» И в свою очередь призвал сыновей проявить ту же отвагу, какую выказали отцы, сбить спесь с врага (то есть продемонстрировать свою) и вознести имя христианства: «Это будет лучшим доказательством вашего благородства и отваги»^{569}. Как легко в них разглядеть слушателей «Песни о Роланде», самая ранняя рукопись которой датируется 1130-ми гг. и этика которой многим обязана крестовому походу. Но в проповеди крестового похода в 1095 г. были и пауперистские акценты; она мобилизовала и многих пехотинцев, в большем числе, чем в среднем бывало в княжеских остах. Армия, взволнованная слезами Урбана II, представляла собой ост христианства, способный стать таким же жестоким, каким был ост 1038 г., устроивший резню в *Бенециануме*. И Петр Пустынник настраивал народ против евреев, этих врагов Божьих в самом сердце городов Франции (прежде всего Руана), которым можно и должно безотлагательно отомстить за страдания Христа, по меньшей мере взять у них то, что нужно для сборов в крестовый поход. Отсюда погромы и вымогательства.

Первый крестовый поход не все оценивали и воспринимали одинаково. В его оправдание то приводили доводы очень феодального характера, то приносили по-настоящему фанатичные речи. Похоже, по-разному мыслили даже князья: какой-нибудь Готфрид Бульонский или Раймунд Тулузский были более набожны, чем Боэмунд Тарентский и его племянник Танкред или даже чем Балдуин Булонский (родной брат Готфрида) и его кузен Балдуин де Бург. В целом старые учебники истории, несомненно, не ошибались, противопоставляя «крестовый поход бедноты» крестовому походу баронов, но ни одна хроника не делает этого очень отчетливо и в ясных формулировках. «Беднотой» были скорей мелкие рыцари, молодежные банды, а «баронами» — князья со своими рыцарями и пехотинцами, чьи армии были организованы как обычно. «Беднота» в 1096 г. убила много евреев и быстро устремилась на Восток, разоряя области, по которым проходила, пока не была наголову разгромлена при первом контакте с турками при Цивитоте. После этого выжившие (в том числе Петр Пустынник) примкнули к осту баронов, который умело и в политическом отношении очень толково довел в 1098 г. до Антиохии норманн Боэмунд Тарентский: он умел вести переговоры с византийцами, играть на раздорах между мусульманами, находить помощников среди восточных христиан^{570}.

Даже после того, как крестоносцы понесли поражение при Цивитоте, среди них в количественном отношении неизменно преобладал пехотный, а не рыцарский элемент: так, Клод Гайе упоминает о 4 тысячах всадников и 20 тысячах пехотинцев, а к концу похода, перед Иерусалимом, после потерь, дезертирств, а также подхода подкреплений, — о 1200–1300 всадниках и 10 тысячах пехотинцев^{571}. Даже среди всадников, согласно Фульхерию Шартрскому, в исключительные моменты попадались люди, не обладавшие рыцарским статусом. Многочисленная пехота, которая несла больше всего потерь как в боях (из-за невозможности быстро бежать), так и от голода и болезней (из-за нехватки ресурсов и недостатка помощи со стороны богачей), тем не менее сыграла существенную роль в военных действиях.

Пролистаем хронику норманнского Анонима. Ост прошел через Малую Азию, недавно завоеванную турками; ему пришлосьделиться, и Боэмунд, которому были знакомы территория и турецкая тактика, принял командование авангардом, состоящим из норманнов

Франции и Италии. При Дорилее 1 июля 1097 г. он не дал обмануть себя вражеским конником, более легким, тактика которых, зародившаяся в степях, состояла в том, чтобы заставить противника броситься в погоню и заманить его в ловушку. Нет, он со своими воинами выдержал лобовой удар, имея техническое преимущество благодаря тяжелым копьям, и не стал безрассудно бросаться в атаку, а дождался подхода подкреплений. «Мудрый Боэмунд не замедлил повелеть прочим, то есть графу Сен-Жильскому, герцогу Готфриду [Бульонскому], Гуго ле Мэну [графу Вермандуа, брату отлученного короля], епископу Ле-Пюи и всем остальным рыцарям Христовым, поспешить в бой. И сказал, что, если они хотят сегодня принять участие в сражении, пусть будут доблестными». Вот человек, не одурманенный, наподобие Роланда из «жесты»^{572}: он думает только о том, как добиться победы, и одерживает ее, разделив эту заслугу с другими знатными воинами. Он советует им только «быть едиными в Христовой вере», то есть прежде всего в том, чтобы дисциплинированно выполнять его план боя, ведь «сегодня, ежели соблаговолит Бог, вы все станете богатыми»^{573}. И действительно, победившие крестоносцы взяли много добычи. Хронисту не приходит в голову, что тем самым они утратили благодать покаяния, согласно букве предписаний Клермонского собора. Даже Адемар из Ле-Пюи, присутствовавший при этом, видимо, не выразил протеста. Правду сказать, крестоносцы очень нуждались в захваченной провизии и верховых животных, чтобы продолжить путь.

А каким они видели противника? Поначалу крестоносцы были поражены зрелищем «этого множества турок, арабов, сарацин» и прочих, и им казалось, что это «отверженное племя» исторгает воистину дьявольские вопли. То, что в хрониках крестового похода сарацины часто описываются как существа демонические (из-за криков) и подвергаются оскорблениям (как язычники), новейшие работы подчеркивают справедливо^{574} — может быть, недостаточно обращая внимания на нюансы и относительный характер того, что описывают. Ведь это прежде всего показывает, что крестоносцы ничего не знали об исламе. И стоит ли удивляться, если долгий и трудный поход, принесший столько смертей и страданий, не обошелся без ксенофобских крайностей? Тут возненавидишь любой народ, который попадет по дороге... Удивительно скорее то, что эта ненависть не застит авторам глаза и что хроника Анонима воздает громкую хвалу военной доблести турок, на фоне которой еще ярче выделяется храбрость крестоносцев, в конечном счете взявших верх с Божьей помощью (впрочем, более скромной, чем помощь святых тысячного года).

«Кто будет достаточно мудр, достаточно учен, — задается вопросом норманнский Аноним, — чтобы осмелиться описать прозорливость, воинские дарования и доблесть турок? Они полагали устрашить народ франков своими стрелами, как уже устрашили арабов, сарацин, армян, сирийцев, греков». Это всё народы *изнеженные*, по мнению других хронистов, приступивших к изучению недавней истории эфемерной сельджукской «империи». Франки против турок — вот борьба настоящих мужчин! Кстати, иерусалимский ост очень скоро стал набирать наемников-«туркополов», по примеру византийцев.

А может быть, крестоносцы имели дело не с настоящими иноземцами, а с дальними родственниками, с кузенами вроде бретонцев? «Конечно, [турки] говорят, что они родственны франкам, и утверждают, что никто не призван быть рыцарями, кроме франков и их самих». Хронист видит здесь в них ренегатов. Они были неправы, отступившись от христианского Бога, единого в трех лицах, ведь «если бы они искренне уверовали, что Он царит на небе и на земле, не нашлось бы никого, кто превзошел бы их в силе, в смелости, в воинском таланте. Это по милости Бога они были побеждены нашими в том сражении, что состоялось 1 июля»^{575}. С этим их родством с франками могли познакомиться — читайте:

вообразить его — читатели «Истории» турок, написанной Аймоином Флерийским, который был многим обязан Фредегару. В мифологии о троянских предках говорится о расставании двух братьев, Франсиона и Торквата: первый ушел в подунавские земли и оттуда — в Германию и Галлию, второй остался в Малой Азии, и его имя подходит для вымышленной этимологии слова «турки». Притом, хотя реального родства не было, можно усмотреть определенную общность ценностей у знати и определенную аналогию в социальном поведении, которую крестоносцы скоро почувствовали^[140]. Впрочем, выводя на сцену сарацин, «Песнь о Роланде» и многие другие во многом используют тот же подход: доблесть, признанная за врагом, повышает заслугу французских рыцарей.

В хронике смешиваются воинская гордость и религиозная вера, и крестоносцы, должно быть, действительно были одновременно смелыми и набожными (но также тщеславными, расчетливыми и жестокими). Как, однако, после победы воздать франкам то, что надлежит франкам, а Богу — Богово? Хроника отводит Богу важное место, уверяя, что если бы мерялись человеческими силами, турки взяли бы верх.

Оставалось сделать самое трудное — под Антиохией, с помощью долгой осады (зимой 1097–1098), во время которой периодически пришлось выдерживать голод и нападения с целью снять эту осаду. Крестоносцы хотели запугать горожан, выставив напоказ головы обезглавленных пленников, как это сделали норманны в 885 г. под стенами Парижа. Во время осады пехотинцы в лагере осаждающих умирали от голода, а рыцари недостаточно им помогали, несмотря на увещевания епископа Ле-Пюи^[576]. Некоторые князья и сеньоры, у которых были для этого возможности, бежали, как виконт Мелёнский Гильом Плотник, а с ним — да — Петр Пустынник. Но Танкред, племянник Боэмунда, нагнал их и с позором вернул. Они предстали перед «сеньорами», а не перед духовенством. Рано утром Боэмунд выбралил обесчещенного виконта и сказал всё как есть: «Мерзавец! Позор Франции!» И осыпал его упреками: «Почему ты столь постыдно бежал? Может быть, ты хотел предать этих рыцарей и ост Христов, как ты предал других в Испании? «»^[577] Гильом Плотник действительно уже отступал в Испании, и об этом было известно. Итак, от упрека в трусости быстро — конечно, слишком быстро — дело дошло до обвинения в измене. Но все-таки Боэмунд не мог возложить на него вину за какое-либо конкретное бедствие, за того вступились французы (из королевского домена), и он помиловал виконта, избавив от всякого наказания при условии, что отныне тот будет верно следовать за остом. Тем не менее Гильом Плотник уже чересчур «потерял лицо», его снесдал стыд, он снова скрылся и не был возвращен — не беспокоили его и во Франции, не разжаловали из рыцарей и не отлучили от Церкви, разве что, как и другие французы, в том числе граф Блуаский, он стал объектом критики соперничающих семейств.

Крестоносцы вступили в Антиохию 3 июня 1098 г.; им оставалось взять ее цитадель, с 5 июня отразить натиск подошедшей на помощь городу турецкой армии под командованием Кербоги («Корбарана») и выдержать голод! Но все-таки они попытались вступить в переговоры. Если верить Фульхерию Шартрскому, им пришла мысль, достойная майордома Бертоальда или Вильгельма Завоевателя: они попытались изложить туркам, через Петра Пустынника, свои притязания на христианскую землю и предложить им судебное сражение рыцарей из обоих лагерей в равном количестве (пять, десять, двадцать или сто). Турки, конечно, отказались, так как полагали, что имеют преимущество. Согласно же норманнскому Анониму, переговоры действительно состоялись, но их содержание он излагает иначе. Якобы, сославшись на то, что захвачена христианская земля, Петр Пустынник потребовал от турок уйти с нее, если только они не пришли с намерением обратиться в христианство. А турок Корбаран в ответ предложил обратное: если христиане отвергнут своего Бога, они смогут

получить землю, города, замки в некое подобие фьефа, «и никто из ваших не останется пехотинцем, но все станут рыцарями, как мы, и мы навсегда будем для них большими друзьями»^{578}. В противном случае их ждет смерть или рабство.

Но посткаролингский ост, следуя путем, каким когда-то шел ост Карла Великого, не смог бы поменять религию так легко, как, например, норманны в 911 г.! Кстати, разве понравилось бы рыцарям возвышение пехотинцев?

Правду говоря, это были речи, рассчитанные на то, чтобы прощупать противника. А вскоре после этого решимость крестоносцев укрепило «обретение» Святого копья. Атмосфера вновь стала благоприятной для священной войны, и даже сама сложность момента вдохновляла христиан. Они разгромили неприятеля, выступив из лагеря 28 июня 1098 г. В тот день турки совершили ошибку, атаковав франкскую конницу, силу которой составлял копейный удар, во фронт и дав ей возможность маневрировать. Тогда как всадники выиграли бой, потеряв убитыми немногих, пехотинцы, прикрывавшие их тылы, понесли тяжелые потери. Эта пропорция лучше соответствовала социальным отношениям, чем недавняя перспектива в случае обращения в ислам! Кроме того, крестоносцы воспользовались несколькими случаями отступничества во вражеском лагере. Надо сказать, ближневосточный ислам не двинул против них все силы. Мусульмане были расколоты на сторонников двух халифов — египетский, Фатимид, был враждебен багдадскому, которого поддерживали турки. И фатимидская армия, вместо того чтобы помочь последним, захватила у них Иерусалим 26 августа 1098 г. Можно даже задаться вопросом, не заключило ли ее командование тайное соглашение с Боэмундом^{579}.

Бои под Антиохией приобрели ожесточенный, очень религиозный характер благодаря эпизоду со Святым копьем и литургии священной войны с использованием последнего (посты и процессии, исправление нравов в осте^[141]). С февраля-марта 1098 г. Аноним переходит от темы мученичества христиан к теме проклятия, на которое обречены убитые турки, упоминает о том, как их отрубленные головы демонстрировали осажденным — и несколько позже стали забрасывать из катапулт в город, чтобы окончательно подорвать моральный дух горожан. Война становилась все более жестокой. Тем не менее редко случалось, когда такие люди, как Танкред или его главный соперник Балдуин Булонский, брат Готфрида Бульонского, забывали о выгоде. Крестоносцы часто без ложной скромности спорили о том, кто сыграл какую роль при штурме какого-то замка, города, ведь победитель, водрузивший свое знамя, мог претендовать на то, чтобы стать его сеньором, или о пленных, за которых можно было получить выкуп... Но доблесть Гольфье де Ластура, лимузенского рыцаря из очень знатного семейства, похоже, отмечена как бескорыстная^{580}.

Именно на последней стадии похода, на отрезке от Антиохии до Иерусалима, крестоносцы дважды устроили побоище — в Марре и в Иерусалиме. В самом деле, они уже вышли из сферы византийского влияния, вступили на сарацинскую землю и пытались надежно освободить священную дорогу для паломников. Они несколько раз ставили перед противником вопрос так — крещение или смерть, как в конце «Песни о Роланде»; а сопротивление, которое оказали им в Марре, вызвало у них раздражение, и, захватив ее 11 декабря 1098 г., они многих перебили. После этого другие города, запуганные, капитулировали, обещая союз и дань. Но взятие Иерусалима 15 июля 1099 г. вылилось в «величайшую резню языческого населения, когда-либо виданную»^{581}. Можно было бы сказать, что на этой финальной стадии фанатизм взял верх над рыцарскими качествами и над расчетливостью, что священники стали настойчивей, их молитвы распалили воинов, а легата Адемара, чтобы умерить их рвение, больше не было — он умер летом 1098 г., как не было и

самых прагматичных из вождей, занятых созданием в Сирии собственных сеньорий. Мусульманские хроники несколько более позднего времени, особенно хроника Ибн аль-Асира, рассказывают о жестокости крестоносцев и включают в себя поэмы, призывающие отомстить за это бесчестие^[582]. Даже христианские хроники не умалчивают об этих убийствах, но только Альберт Ахенский осуждает их недвусмысленно — как он уже осудил еврейские погромы, совершенные при выступлении «бедноты» в 1096 г.

Жаль, что преступления в Марре и в Иерусалиме не оказали более сильного впечатления на французских историков колониальной эпохи и не отбили у них охоту ссылаться на крестоносцев как на предтеч «цивилизаторской миссии» Франции Нового времени, то есть ее империализма. Но при условии, что на них никоим образом не следует ссылаться и от недостойного прославления Петра Пустынника и Готфрида Бульонского надо отказаться, все-таки допустимо (и даже обязательно нужно) попытаться охарактеризовать здесь отношения между крестоносцами и мусульманами как можно точнее, с учетом конкретных ситуаций. Оба города оказали крестоносцам сопротивление, вынудив их устроить такой нелегкий штурм, каких никогда не бывало в феодальных войнах. В обоих случаях, как в Марре, так и в Иерусалиме, изначального намерения убивать всех не было. В Марре богачам, старейшинам города, Боэмунд сначала предоставил убежище и обещал сохранить жизнь, рассчитывая взять с них выкуп. Однако он не сдержал слова: «Он захватил всех, кому дал повеление войти во дворец, отобрал всё, что у них было, то есть золото и прочие украшения, одних приказал убить, а других отправить в Антиохию, чтобы там продать [вернуть свободу за выкуп?]»^[583]. В описании разграбления города у Анонима еще в большей степени сделан акцент на захвате добычи и даже съестного, которому предались изголодавшиеся победители. В Иерусалиме, который был городом более крупным и прежде всего святым, на который приходился последний этап паломничества, произошла страшная резня евреев и мусульман, хроники упоминают о настоящих реках крови^[584]. Однако это не происходило абсолютно повсюду. Мусульманское сопротивление было особо активным в «храме Соломона» (мечети аль-Акса), и в конечном счете «наши захватили там большое количество мужчин и женщин, убив или оставив в живых тех, кого посчитали нужным»^[585]. И, как и в Марре, нескладно получилось с теми людьми, искавшими спасения на крыше «храма Соломона», которым Танкред гарантировал сохранение жизни, рассчитывая на выкуп^[142]. Некоторые новейшие историки утверждают, что содержать большое число пленников было бы трудно в материальном плане и что рискованно было соглашаться на их сдачу в плен, так как им на подмогу приближалась мусульманская армия (она будет разбита под Аскалоном 12 августа 1099 г., прежде всего благодаря «руке Всевышнего»). Всё это отнюдь не извиняет жестокости крестоносцев и не снимает вопросов, которые вызывает у нас позиция христианской Церкви тысяча сорока года, чьи служители говорили о следовании Христу и не препятствовали подобным побоищам, даже не требуя покаяния от их виновников. Однако надо признать, что она никогда не ставила задачи искоренить ислам^[143].

Итак, крестоносцы совершили военные преступления. Однако в ближайшее время единодушной реакции мусульман не последовало: даже если они иногда брали в плен Боэмунда или других князей (например, Балдуина де Бурга), то оставляли их заложниками и разыгрывали игру в выкуп. Их эмиры выказали тот же прагматизм, что и эти князья, и вскоре для них настанет пора заключать соглашения. Переселение на Ближний Восток некоторых «франкских» сеньоров несколько напоминает переселение норманнов во Францию в девятисотом году. Им было трудно официально обращаться в другую веру; о существовании отдельных ренегатов мы можем только смутно догадываться.

ПОХВАЛА ТАМПЛИЕРАМ

Начиная с 1118 или 1119 г. некоторые «бедные рыцари Христа», выходцы из Франции, сопровождали паломников до предместий Иерусалима. Их главная резиденция находилась в бывшем храме Соломона. Эти воины, сначала поселившиеся там как слуги каноников, вскоре возжелали большего, то есть монашеского статуса. Их магистр Гуго де Пейн, призвав их проявлять некоторое смирение, добился для них устава, близкого к уставу святого Бенедикта, но только предполагавшего реальную вооруженную борьбу!^[586] Не было ли в этом все-таки смешения обеих «служб»? Не был ли нарушен фундаментальный запрет? Пусть даже с тысячного года иногда бывало, что в чрезвычайных ситуациях монахи брались за оружие против сарацин^[587].

Тамплиеры в Святой земле в свою очередь стали рыцарями-монахами, чьи оруженосцы имели самое скромное происхождение и в какой-то мере играли роль цистерцианских конверсов. Они вызвали у многих сомнения и навлекли на себя критику. А вот святой Бернар, близкий к Гуго де Пейну, в 1130 г. написал патетическую «Похвалу новому рыцарству» тамплиеров. Он одобряет их «двойную борьбу», моральную и физическую. Он восхищается их склонностью к мученичеству, при этом уверяя, что в том деле, которому они служат, они не рискуют совершить *человекоубийство (homicide)* в строгом смысле слова: в священной войне есть только *убийство зла (malicide)*. Тамплиер — это настоящий образец защитника церквей, рыцарь правого дела: он «мстит за Христа и защищает христиан»^[588]. Сразу после этого утверждения святой Бернар уточняет, словно ожидая возражений: «Лучше бы не убивать язычников^[144], если можно найти другое средство помешать им мучить и угнетать верующих»^[589]. Но, в конце концов, Святые места осквернены, а Евангелие не запрещает вооруженную службу как таковую (Лук. 3: 12).

Собственно, это «Похвала» новому рыцарству или новой службе? Как здесь перевести латинское слово *militia*) Ответ на этот вопрос может вызвать затруднения, если обратить внимание, насколько и как «рыцарь Христа» в принципе отличается дисциплиной, строгостью и в конечном счете неким профессионализмом. Что явно контрастирует с пороками «мирского рыцарства», которое представляет собой скорее *malice* (злобу), чем *milice* (воинство), потому что пятнает себя убийствами, сражается из гнева и кичится излишней роскошью. Мирским рыцарям святой Бернар бросает резкое обвинение: «Вы накрываете коней шелками, поверх панцирей напяливаете немислимые драпировки, которые свисают вниз. Копья, щиты, седла вы отделяете рисунком, сбрую и стремяна украшаете золотом, серебром и драгоценными камнями»^[590]. Это снова те же обвинения, что у Ордера Виталия, но подкрепленные одним практическим замечанием. «Длинные волосы, что вы отращиваете, подобно женщинам, закрывают вам обзор, а длинные свободные рубахи мешают ходить».

Следовало бы иметь вид, более подходящий для настоящей войны, и эффективную подготовку, чтобы защищать себя, быстро двигаться, наносить удары, больше думать о победе, чем о добыче^[145]. Пока что аббат Клервоский, святой Бернар, дает понять, что на войне разукрашенное рыцарство может быть довольно безобидным, довольно мало подверженным греху человекоубийства; он критикует легкомыслие таких рыцарей, притом что другие монахи порицали их агрессивность. Разве война в шелках, бой, который быстро прекращается из-за желания взять добычу, потенциально не менее смертоносны, чем священная война?

Рыцарство Христа, ведущее физическую борьбу, больше похоже на воинство, армию,

чем всё, что мы видели со времен падения Западной Римской империи в V в. Одно время, когда в слове «справедливость» видели меньше нюансов, воспринимали ее более однозначно, казалось, что оно подходит для беспощадной справедливой войны. Словесный портрет тамплиера, составленный святым Бернаром, способен вызвать содрогание. Автор превозносит, как и в отношении духовной борьбы, повиновение и единство боевой части. В этом воинстве избегают привычных социальных отношений, повинуюсь тому, кто лучше, а не кто знатней. Тут больше не смеются. Игры в шахматы и кости, псовая и соколиная охота, мимы внушают им отвращение. У этих людей небывалая прическа, подобающая крестоносцам: «Волосы они стригут очень коротко. Всегда лишены украшений, всегда невымытые, чаще всего всклокоченные и запыленные, они потемнели от постоянного ношения доспехов и от солнечного зноя» и делают всё, чтобы внушать врагу «скорее страх, чем алчность»^{591}. Наконец, в сражении они выстраиваются в боевой порядок и верят в Бога, так же как Маккавеи. Тем самым тамплиеры способны к коллективным подвигам. В них воскресло нечто от германского идеала, как и нечто от римской дисциплины, пусть даже с храбростью рыцаря они в принципе сочетают кротость монаха^{592}.

Им не хватает немногого, чтобы они могли занять место в Ветхом Завете. Это великое и грозное сообщество; они «подобно бурному потоку омывают Град Божий. И что кажется еще более приятным и полезным, так это то, что некоторые — о, весьма немногочисленные — из великого множества собравшихся здесь некогда были злодеями, нечестивцами, грабителями, святотатцами, убийцами, клятвопреступниками, прелюбодеями»^{593}. И действительно роль тамплиеров, испытанных рыцарей, в защите Святой земли была в XII в. неизменной и решающей. Они строили и обороняли большие замки, посылали из Европы необходимые деньги благодаря своему мастерству финансистов и, следовательно, не зарыли никакого сокровища в земле милой Франции.

Ненавидели ли они ислам, обладая менталитетом «крестоносцев» в том смысле, в каком (анахронично) это слово понимает наша эпоха? На основе единственного свидетельства не следует делать обобщений, но эмир Усама, арабский дипломат, посещавший Иерусалим и его короля в 1130-е гг., отмечает, что его друзья тамплиеры позволили ему молиться в молельне, прилегающей к большой мечети, и защитили от франка, пытавшегося ему помешать^{594}.

Рассказы Усамы в целом показывают возможности и пределы некой социальной и моральной «встречи» мусульман с крестоносцами. Книга его воспоминаний, или «назиданий», извлеченных из своей жизни, подтверждает то, что заметил Сугерий, говоря об уважении некоторых сарацин к Боэмунду Тарентскому, потом Антиохийскому, или к Роберту «Иерусалимскому», графу Фландрскому.

ВСТРЕЧА С ДРУГИМ РЫЦАРСТВОМ

Чего резко не хватает в таких рассказах о крестовых походах, как похвала тамплиерам святого Бернара, так это настоящего отклика на те слезы, которые пролил в Клермоне Урбан II о судьбе угнетенных восточных христиан. Речь идет только о защите Святых мест и западноевропейских паломников, которые туда направляются. А уважение со стороны сарацин, льстившее крестоносцам, эффектно подменяло какую-либо благодарность христиан Востока. Военная доблесть турок заставила забыть о тех, кого последние угнетают. А может быть, эта защита восточных христиан была лишь предлогом? Во всяком случае некоторые крестоносцы поддерживали дружеские отношения с армянскими сеньорами, женись на их дочерях и наследницах: так поступили Балдуин Булонский, брат Готфрида Бульонского, и его кузен Балдуин де Бург!

Итак, судьбу братьев-христиан на Востоке, страдающих под гнетом турок, по пути несколько утеряти из виду, и во Франции не нашлось никого, кто бы задним числом поздравил крестоносцев с успехами в защите угнетенных. Некоторые просто-напросто стали их сеньорами. То есть защитили прежде всего богатых армян...

Однако с этого началась и их интеграция на Ближнем Востоке, равно как и обложение данью эмиров по дороге из Антиохии в Иерусалим. После 1099 г. военная и дипломатическая конфронтация в этих регионах иногда оборачивалась подобием светского общения, не без оговорок и задних мыслей, о которых можно догадаться по множеству инцидентов. Отношения крестоносных сеньоров с мусульманскими соседями начали напоминать отношения между французскими феодалами, включая отдельные элементы того, чем украшали жизнь рыцари. В конце концов расчетливость и инциденты были не редкостью и во Франции.

Мусульмане 1099 г. в общем не считали Иерусалим священным городом. Его падение, понятно, было воспринято как болезненная утрата и как оскорбление, но смертельной опасностью им не грозило. Голос аль-Сулами, требовавшего в 1105 г. создания союза против христиан, поначалу не вызвал широкого отклика. После того как основные силы крестоносцев ушли обратно, осталось лишь сравнительно небольшое число «франкских» сеньоров и поселенцев, опирающихся на Византийскую империю и поддерживаемых армянами, но «франки» больше не угрожали ни одному из жизненных центров ислама. Фатальной ошибкой руководителей второго крестового похода в 1147 г. станет то, что они потревожат Дамаск.

Успех Первого крестового похода, расцененный хронистами как воля провидения, во многом объяснялся слабостью мусульманского мира: там происходил тогда процесс дробления власти, имевший в конечном счете несколько феодальный облик. Расколоты были и сами «франки». Какой-нибудь Боэмунд и какой-нибудь Балдуин смотрели друг на друга как Роланд на Ганелона, отчего оба так или иначе знали с Марсилиями из Магзена. В результате на несколько десятков лет сложилась ситуация, которая не может не напомнить Францию, а еще больше Испанию тысячного года.

В отношениях между сеньорами-соседями, поначалу враждующими, от угроз переходили к выплате дани, а от нее — к союзу, скрепленному клятвой. Они учились понимать друг друга, и разве с тех пор конфронтация с неверными не стала чем-то походить на рыцарскую файду? «Красивые жесты» начались с самого начала конфликта, когда Балдуин Иерусалимский, борясь с бедуинами, внезапно напал на один лагерь, обратил в бегство нескольких воинов и захватил женщин и детей. Однако он выделил самую знатную пленницу,

которая должна была вот-вот родить, и окружил ее заботами; эмир, ее муж, узнал об этом и, согласно Вильгельму Тирскому^[595], стал его другом и позволил ему в 1101 г. тайно скрыться из Рамлы, где тот оказался в большой опасности.

Главное, в начале XII в. бывало, что франкские князья попадали в плен в более или менее больших и честных сражениях. Тогда с них требовали выкуп, который выплачивался за счет обложения крестьян и городов. Мусульманские и христианские сеньоры обменивались пленными^[146], при надобности становились друзьями. Вот пример, как турецкий эмир Джавали достиг соглашения со своим пленником Балдуином, сеньором Эдессы (племянником Балдуина I), в 1108 г.: «Он оставался доселе в плену, предлагая крупные суммы, но не имея возможности обрести свободу. Джавали предоставил ему ее, подарил после пяти лет плена почетную одежду и заключил соглашение: тот выкупит себя за деньги, освободит мусульманских пленников, находящихся в его власти, и поможет Джавали лично, войсками и деньгами в случае, если тот позовет на помощь»^[596].

Это уже очень напоминает феодальную войну со всевозможными сделками, грабежами «деревень», боями, участники которых знакомы и щадят друг друга, переменами союзнических отношений. Джавали враждовал с эмиром Алеппо Ридваном, а сеньор Эдессы Балдуин II — с князем Антиохии Танкредом; в результате в октябре 1108 г. при Телл-Башире (Турбесселе) сразились друг с другом две франко-сарацинских коалиции. Ибн аль-Асир говорит о 1500 всадниках из Антиохии, усиленных 600 воинами, присланными Ридваном, но эти цифры, возможно, преувеличены. Достаточно логично, что франкские контингенты, рыцари из Антиохии, выставленные против Балдуина и его вассала Жослена Турбессельского, стояли в центре и атаковали первыми. Танкред получил преимущество, но в это время в атаку пошла конница Джавали и стала крошить его антиохийскую пехоту. Однако после этого она обратилась против франкских рыцарей из Эдессы, которые в принципе были ее союзниками, чтобы забрать коней и выйти из боя, хотя пехотинцев-мусульман бросили на произвол судьбы... В конечном счете, отмечает Ибн аль-Асир, много мусульман было убито, но другие спаслись благодаря рыцарям из Эдессы, которые отступили в замок Турбессель и дали им там убежище.

Другой рассказ, которым мы обязаны одному сирийскому хронисту, жившему ближе к описываемым временам, найден и переведен Клодом Каэном, сразу же отметившим, что этот рассказ «лучше бы подошел для какой-нибудь жесты». Он указал, что союзники Балдуин, Жослен и Джавали прежде всего стали разорять деревни Танкреда. Последний выступил из Антиохии и соединился с подкреплениями из Алеппо. Ожидалась битва, но сначала состоялась встреча между ним и Жосленом, вызвавшая подозрения у Джавали. Похоже, не зря, если Танкред «опасался мусульман обоих остов», как утверждает этот мусульманский хронист. Несомненно, на самом деле готовилось некое примирение между христианами. Но историки французских сражений знают, что Жослен был совершенно прав, уверяя своего союзника Джавали, что «таков франкский обычай». Да, враги ведут между собой переговоры, «имея возможность не опасаться какого-либо ущерба» в этот период со стороны противника: назначают место и время, обмениваются предложениями. Да, если пока что лично Джавали к ним не привлекали, это тоже соответствовало феодальным обычаям, проявлявшимся от Фонтенуа-ан-Пюизе (842 г.) до Таншбре (1106 г.). После этого сирийский хронист упоминает атаку мусульманской конницы, но сосредотачивает внимание на Танкреде и Жослене^[147]. Возглавляя свои войска, они трижды атакуют друг друга, из чего можно догадаться о договоренности. Во второй раз они друг друга буквально ищут: «И Жослен искал только Танкреда, а Танкред искал только Жослена. Они обрушили друг на друга удары

копий и мечей, и каждый вынуждал другого испытать свою доблесть. Потом войска снова вернулись в свои станы, и Танкред сказал: «Остается одна атака, он должен убить меня или я его»». Да, так он и сказал — тем не менее дальнейшие события были несколько сумбурными и не столь кровавыми. В конечном счете «ни один франк не убил другого франка, но вмешались мусульмане, и они убивали франков»^[597]. Межконфессиональная война все-таки оставалась более жестокой.

Наконец сирийский хронист рассказывает об отступлении Жослена в свой замок, куда его мать якобы сначала отказалась его впустить. «Избави Бог, чтобы ты у меня был ничтожеством!» — бросает она ему первоначально как человеку слишком изнеженному, трусу и беглецу. Он заявляет, что показал свою храбрость, ведь он действительно сражался с Танкредом. Но требовательная мать не хочет ничему верить, пока не слышит подтверждение из уст самого Танкреда и нескольких рыцарей. В этой сцене есть нечто от истории возвращения Гильома в Оранж к своей жене Гибор, которая поначалу не хочет его узнавать, потому что он один и побежден^[598]. Напоминает этот сюжет и большую сцену сражения из «Германии» Тацита, где женам демонстрируют раны. Однако ничто не заставляет нас видеть здесь атавистические представления, связанные с «племенем» или родом. На самом деле лучше провести сравнение с матерями арабских рыцарей, вдохновляющими их на бой, упоминание о которых можно встретить в «Книге» Усамы и во многих других.

У обоих рыцарств есть немало общих качеств. На обеих сторонах общество требовало от своих доминирующих самцов, чтобы они смело смотрели в лицо смерти, и к чувству чести фэйдового общества добавлялось представление о священной войне, в которой им полагалось отстаивать эту честь. Однако ни тем, ни другим не возбранялось проявлять уважение к рыцарям противной стороны, для них было важно платить взаимностью. Рыцари одной стороны могли враждовать меж собой и поддерживать мужскую дружбу с представителями другого лагеря. Все это смягчало жесткость конфронтации, спасало жизни знати и давало возможности для маневров. Самый прекрасный пример этого приведен в «Книге назидания» (Китаб аль-Итибар) сына эмира Шейзара на Оронте — Усамы ибн Мункыза. Родившийся в 1095 г., этот «рыцарь», как его называют сами «франки», столкнулся с ними в юности и близко имел дело с 1140 по 1143 г. как посол эмира Дамасского в Иерусалиме у короля Фулька Анжуйского. В своей книге он не раз упоминает о них, выражаясь несколько двусмысленно. Этот сын шейзарского эмира не рассказывает ни о своих крестьянах, ни о жене, а все больше о матери и о своих крестоносных противниках. Ему почти так же полюбились воинские встречи с ними, как и охота на львов в горах Ливана. Для него это была первая точка соприкосновения с «франками», потому что мусульмане, говоря обо многих знатных крестоносцах, восхваляли их подвиги как истребителей львов.

Усама рассуждает смело, проявляя настоящее нравственное мужество, когда говорит о смерти. Воину в любом случае неизвестно, когда она придет, это будет зависеть от Бога; поэтому всё, что требуется от воина, — вести себя достойно. С проницательностью, какой не проявляют христианские авторы того времени, Усама задается вопросом, насколько она возможна, когда придешь в неистовство во время сражения.

Крестоносцы менее утончены, чем он, и проявляют смелость, не занимаясь самоанализом. Усама уже в самом начале книги отпускает по их адресу одну двусмысленную фразу. «У франков, да покинет их Аллах, нет ни одного из достоинств, присущих людям, кроме храбрости»^[599]. Усама знал с крестоносцами или, скорее, с их сыновьями, рожденными в Святой земле, которых отныне называли «пуленами» (жеребчиками), но в нем не было ничего от ренегата. Похоже, осуждения с его стороны избежать было трудно, и следует ли нам более драматизировать это осуждение, чем проклятия монахов по адресу

«дурных» рыцарей-христиан? Далее он старается продемонстрировать религиозное и культурное превосходство, но в конечном счете это не так уж постыдно для «франков», поскольку именно храбрость для Усамы — одна из прекраснейших добродетелей, какие бывают! Он сам не лишен ее перед лицом рока и смертельной опасности.

Однако со смертью видишься не каждый день. Столкновения 1110-х гг. на Оронте не могут не напомнить европейские конные поединки, и они пошли мусульманам на пользу, коль скоро позже, в 1119 г., оказывается, что те уже овладели копейным ударом на французский манер. Обе стороны брали пленных, и бывало, что с ними обходились дурно (как и под Конком в тысячном году)^{600}, но иногда завязывалось общение и возникали узы дружбы. Самые прославленные рыцари, как франк Педрован и араб Джум'а, искали поединка меж собой, чтобы завоевать пальму первенства. В то время происходили поединки или схватки между мелкими группами, за которыми более крупные отряды могли наблюдать издали, считая и оценивая удары. Война-спектакль, почти игра. В столкновении между мужами, которые были знакомы и в некотором отношении воспринимали друг друга как соперники, каждый отстаивал собственную честь, и в этом было что-то от внутренней войны. Усама сам презирает пехотинцев, и для него важно отличиться в глазах неприятельского всадника. Разве он не говорит с удовольствием, что король Фульк Иерусалимский однажды назвал его очень хорошим рыцарем? Этот штрих становится откровенно пикантным, если обратиться к трудам епископа Вильгельма Тирского, ведь этот латинский историк крестового похода и Иерусалимского королевства сообщает: Фульк, князь, покинувший родину в зрелом возрасте, не отдавал должного людям из Святой земли!^{601} Но у него, вероятно, были суфлеры (римляне сказали бы — «номенклаторы»), которые могли знать о достоинствах Усамы или понять, насколько выгодно через него завязать союз с Дамаском.

Что Усама нравилось, так это что франки у себя превыше всех ставили рыцарей — в ущерб, к примеру, богатым купцам из своих городов. И эти франкские рыцари, отмечает он, очень добросовестно проявляли похвальную заботу о справедливости. Так, бедуин, у которого угнали скот, несмотря на соглашения, гарантировавшие их покровительство, мог прийти с жалобой и добиться справедливости в их судах. Даже несмотря на несчастье, случившееся с Хасануном — как будто в нарушение данного слова, Усама не возводит на франков обвинения в вероломстве. Он не приписывает им ни чрезвычайного разорения своей страны, ни чрезмерных жестокостей. Когда читаешь его, не создается впечатления, что Первый крестовый поход потряс мусульманский мир, и задаешься вопросом, не было ли в отношении этого похода преувеличений в позднейшей пропаганде — времен Саладина. Усама лишь находит очень глупыми некоторые обычаи франков — например, судебное испытание холодной водой или судебный поединок на палках. Также странно, что они позволяют своим женам и дочерям разговаривать с другими мужчинами или водят их с собой в баню — даже если это влечет не только нежелательные последствия, потому что там их можно видеть обнаженными.

В Иерусалиме он мог констатировать, что тамплиеры защитили его от недавно прибывшего из Европы паломника. И Усама также известно, что «франкская» (или итальянская?) медицина принесла на Восток некоторые неведомые раньше средства, облегчающие страдания. Однако он не призывает к настоящему «сотрудничеству» с франками — так, он написал несколько страниц в похвалу неуступчивым мусульманским женщинам: одна из них покончила с собой, чтобы не достаться франку-похитителю^{602}, другая убила своего мужа-франка, третья же заклеила и убила мусульманина —

прислужника франков^[603]. Немало среди них и пламенных подстрекательниц к насилию. Таким образом, он был совсем даже не склонен на куртуазный манер допустить, чтобы пленные крестоносцы обольстили и обратили в христианство дочь своего победителя, как мечтали многие^[604]. Он, бесспорно, не одобрил бы поведение некой Брамимонды из финала «Песни о Роланде»^[605].

Впрочем, разве он не указал однажды пределы, далее которых его дружеские отношения с франками не распространяются? С одним из них, прибывшим в паломничество вместе с Фульком Анжуйским, его связали узы дружбы. «Он подружился со мной, привязался ко мне и называл меня “брат мой”»^[606]. Так вот, в момент отъезда этот франк предложил взять с собой его сына в возрасте четырнадцати лет, как поступали с сыном дружественного сеньора или вассала, беря его в оруженосцы. «Пусть он посмотрит на наших рыцарей, научится разуму и рыцарским обычаям. Когда он вернется, он станет настоящим умным человеком». Речь идет, отметим, об обучении не столько военному искусству, сколько манерам. Тем не менее уже чисто французская самоуверенность этого человека, имевшего, скорей, добрые намерения, вызывает улыбку: уж не собирался ли он знакомить сына Усамы с рассказами о «наших троянских предках» или «наших дедах — соратниках Роланда и Карла Великого»? Но сама формулировка из «Книги назидания» вызывает комический эффект, потому что франк приписывает себе мудрость вопреки очевидности. Похоже, что различие религий не составляет для него проблемы, как будто во Франции можно было выучиться на рыцаря, не став христианином, — это через три века после ингельхеимских празднеств и крещения Харальда! Или же эти рыцарские обычаи были только приманкой, чтобы побудить сарацина уверовать в Иисуса Христа?^[148] Или франк был откровенным глупцом, над которым оставалось лишь потешаться в сарацинских кругах? Что касается Усамы, он выкрутился, придумав отговорку: он бы с удовольствием отправил сына учиться рыцарским обычаям во Францию, если бы это зависело только от него; но вот его старую мать (бабушку молодого человека) это бы слишком огорчило. Француз понял — возможно, он был не столь уж глуп, — принял извинение и не стал настаивать. В конце концов, так ли уж серьезно он делал свое предложение?

Что касается сарацин, то, на взгляд Усамы, назначение сарацинских женщин — настаивать на ценностях войны и мести, всегда воплощая твердую линию поведения. Их нельзя использовать ни в каких махинациях, как порой использовали дам во Франции, где имело значение родство по женской линии.

Итак, «Книга» Усамы дает понять, что встреча обоих рыцарств иногда происходила и что это бывала встреча двух снобизмов, способных смягчить жесткость конфликтов. Франки и сарацины выражают взаимное восхищение, им льстит уважение другого, тем не менее обе стороны настороже. Они узнали, что рыцарство не обязательно связано только с одной из религий Книги, и интуитивно почувствовали, что такие похожие враги отчасти заинтересованы в том, чтобы бороться, скорей, на «рыцарский» манер, тем самым верней укрепляя свое доминирующее положение — каждый в своем обществе, особенно над крестьянами и женщинами.

Поэтому у Мишле на одной из страниц в главе «1100 год» написана чудовищная нелепица. По его представлению, крестовый поход был великим движением, потрясшим «феодализм». В безводной пустыне или среди смятений Антиохии серв якобы стоял плечом к плечу с рыцарем и заслужил кое-какого признания и внимания. «Не один серв может сказать барону: “Монсеньор, я нашел вам чашу воды в пустыне; я прикрыл вас телом при осаде Антиохии или Иерусалима”»^[607]. Да откуда Мишле это взял? Ни один текст того времени не

рассказывает подобных историй о сервах. Они появились только в очень поздних семейных легендах, когда аноблированные в XV в. буржуазные роды искали себе доблестных предков времен Первого крестового похода, либо когда в XVII в. при наделении кого-то привилегиями ссылались на то, что серв-повар Филиппа I, пошедший в крестовый поход, совершил там подвиг и получил за это волю повелением короля. С другой стороны, Мишле, видимо, путает крестоносцев 1095 г. с французскими «волонтерами» 1792 г., а еще более — с немцами 1813 г., поверившими, что они могут сблизиться со своими офицерами-дворянами под покровом идеологической или ксенофобской войны.

Скорей следует отметить, что знать, лучше обеспеченная, не делилась своей чашей воды, что она подвергалась в сражениях меньшей опасности, чем пехотинцы, и по обыкновению, как после Гастингса, присвоила себе заслугу в успехе Первого крестового похода. Вернувшись во Францию, она не уделяла неслыханного внимания подданным в большей мере, чем до отъезда. Тома де Марль, сеньор Куси, был одним из тех угнетателей слабых и, главное, сообщников Ланской коммуны, которых епископы в 1110-х гг. считали извергами рода человеческого и хотели лишить рыцарского звания. И, однако, его потомки услышат, как жонглеры в «Песни об Антиохии» славят его в числе прочих крестоносцев. Один из этих потомков, несомненно, раздававший таким жонглерам красивые меховые одежды, даже добьется для него совершенно особого места в «Завоевании Иерусалима», продолжении этой песни, где все связи с реальной историей уже прерваны.

Ведь «Песнь об Антиохии», сочинение которой датируется всего лишь 1170-ми гг., остается по содержанию достаточно близкой к хронике Анонима. Не его ли она и признает источником своих сведений, называя «Ричардом Пилигримом»? Конечно, «Антиохия» чуть-чуть приукрашивает события, а именно добавляет новые подвиги: «Какое зрелище явил Гильом», посвященный совсем недавно^{608}. Оруженосец Готье д'Эр, другой «чужеродный элемент» по сравнению с хроникой, великолепно проявляет себя на глазах у графа Фландрского — ведь его потомки станут сенешалями этого князя, — и сколько благородства в жесте, которым он отвергает лестное предложение получить посвящение, вступая в отвоеванный Иерусалим, раз крестовый поход еще не кончился! Таким образом, франки идеализированы здесь больше, чем в хронике, за исключением графа Стефана Блуаского, столь больного от страха, что его приходится нести на носилках^{609}. И внутри самой армии ясно обрисовывается контраст между безупречными рыцарями и группой диких *тафурое*, в число которых входит Петр Пустынный, но которые, возможно, пришли из фольклора. Зато ненависть к исламу автор «Песни об Антиохии», похоже, действительно старается внушить: герои здесь желают мстить сарацинам за казнь Иисуса Христа, упрекают их в пытке знатного пленника, и даже описывается, как те в Мекке поклоняются идолу Магомета, а потом оскверняют его, что, конечно, вымысел чистой воды. И вообще кощунство. Но, поскольку в тылу крестоносцев здесь возводят христианские храмы со статуями, то в конечном счете этот эпизод скорее надо воспринимать как зеркальное воспроизведение себя путем изображения другого. Все это напоминает чуть ли не вызов на спортивное состязание: из двух рыцарств победит то, которое сбросит вражеского идола наземь, как манекен во время игры в квинтину!

Во всяком случае сотрудничество между поселившимися в Святой земле «пуленами» и сарацинами из Дамаска отмечено неоднократно, причем именно из-за первых Людовику VII не удастся взять этот большой город (его осада была крупнейшей стратегической ошибкой), и «рыцарское» восприятие борьбы с сарацинами встретится в истории крестовых походов еще не раз, особенно во время Третьего похода (1190–1193), в эпоху Саладина и Ричарда Львиное Сердце. Того Саладина, в котором французы XIII в., по крайней мере в своей

литературе, не всегда видели человека, который отомстил за ислам, отобрав у них Иерусалим в 1188 г., — то есть забывали о поражении рыцарей! Они даже не придали особого значения тому, что при этом не случилось резни христиан. Нет, если он и произвел хорошее впечатление, так это тем, что проявлял определенное уважение к рыцарям. И в конечном счете в XIII в. во Франции додумались даже до того, что он обратился в христианство и стал рыцарем. Этот сюжет разрабатывали с большим удовольствием, судя по книге «Орден рыцарства»^[149]. Роль почитателя французского рыцарства — славная месть за захват святого города!

Конечно, рассматривая историю христианской Европы XII в., нельзя не замечать, что преследования «других» усиливались, и это выразилось как в крестовых походах, так и в обхождении с евреями, еретиками и многими другими. Справедливая война — жестокая война, и крестоносцы устраивали побоища. Но крестовые походы не сводились к этому — скажем так: поскольку ими руководили феодальные князья, походы не могли состоять только из этого. Для этого князья, с одной стороны, были слишком приземленными реалистами, с другой — слишком хорошо сознавали свои классовые интересы. Рыцаря с противной стороны, сарацина, чья гордость была им по душе, они предпочитали собственному серву.

И нельзя сказать, что они так уж позволяли Церкви командовать собой или радикально реформировать рыцарство в григорианский период. Пытаясь привить фанатизм рыцарям-крестоносцам, она добилась немногим большего успеха, чем смягчая нравы рыцарей-феодалов. Отношения рыцарей с Церковью, то есть с теми из родственников, кто ею руководил, сводились к отдельным трениям и к многочисленным сделкам. Реформа и крестовый поход урегулировали эти отношения, но они практически никак не связаны с «рыцарской мутацией», описанной в предыдущей главе. Потому что эта мутация заключалась не в подписании всеобщего мира и не в создании настоящей военной службы, а, скорей, в расцвете рыцарской игры — легкомысленной, иногда смертельно опасной, лишь наполовину военной. А ведь не у всех клириков была одинаковая система представлений об этой игре.

Классическое рыцарство с 1130-х гг. можно было увидеть в окружении князей, которые от своих щедрот финансировали дворы, посвящения и турниры и льстили себя мыслью, что хорошо обходятся с рыцарями, постепенно наращивая влияние на них.

6. ЭПОХА ДВОРОВ И ТУРНИРОВ

Итак, крестовый поход не стал мигом тесного сближения между знатью и сервами, вызванного, согласно Мишле, великим порывом христианского патриотизма. Не дал он также и возможности юношам, не имевшим никакого исходного положения, заслужить регалии рыцарства и знати, совершив подвиг: подобное представление внушали только очень поздние семейные легенды, представлявшие собой вымысел чистой воды. Предками-основателями графств и крупных баронств для людей XII в. по-прежнему были современники норманнских набегов, то есть Ингона и *Hastingus'a*^[610].

Но все-таки отметим, что легендарные истории, записанные в XII в., в большей мере имели окраску по-настоящему рыцарскую. Предки, о которых мечтали в то время, отличались не столько тем, какую резню они учинили в рядах противника, сколько тем, как красиво оказали помощь людям, попавшим в беду. К таким красивым героям прежде всего относятся Анжэгер, от которого произошли графы Анжуйские и который дрался на судебном поединке, спасая крестную мать, обвиненную в прелюбодеянии^[611], и Аршамбо, предок виконтов Комборна и Тюрэнна, сделавший то же самое ради одной королевы^[612]^[150]. Что касается их потомков — участников Первого крестового похода, они также в элегантной и располагающей манере доказывали, что достойны этих предков: в Лимузене вместо того, чтобы хвалиться ролью, какую Гольфье де Ластур сыграл при взятии Марры в 1098 г., за каковым взятием последовала резня, его род к 1180 г. предпочел придумать, как Гольфье спас льва, боровшегося со змеем, сделав своим верным спутником^[613]. Этот персонаж ближе к Рыцарю со львом (Ивейну) у Кретьена де Труа, чем к свирепому Роланду из «Песни». И, имея возможности что-либо сказать о делах Арнульфа Ардрского в Первом крестовом походе^[614], Ламберт Ардрский около 1200 г. описал, как тот выиграл приз на турнире в пограничных землях Турнези^[151]^[615] — хотя при жизни его поколения турниров, несомненно, еще не было...

Показательный факт: подвиги в крестовом походе и репутация, приобретенная на поединках и турнирах, уже служат основанием, чтобы получить не только сеньорию, фьеф, но также и прежде всего (почетную должность при дворе местного князя. Так было в случае Готье д'Эра^[616]. А вот что Гислеберт Монский около 1200 г. может сказать о Жиле де Шине, камергере графа Эно в начале XII в.: «В течение его жизни провозглашали, что в обращении с оружием он — самый доблестный из всех живущих рыцарей. Ибо он сражался один на один, за морем, против чрезвычайно лютого льва и победил его, убив, — не стрелой или из лука, а действуя щитом и копьем»^[617]. В качестве источника репутации рыцаря-крестоносца лев вполне мог соперничать с турком!

Что касается сеньора, который стал зятем Жилия де Шина, женившись на его дочери и наследнице, то он уже был сенешалем Эно и, значит, благодаря браку объединил в своих руках две должности. Его звали Жилем, сеньором Сент-Обера (в Камбрези), и он имел «славное имя и репутацию человека бесподобно отважного и щедрого среди всех странствующих рыцарей, разъезжающих по Французскому королевству и Германской империи»^[618]. Речь не о том, что его знали от Пиренеев до Балтики, а о том, что существовала золотая молодежь (или старавшаяся быть золотой), которая часто пересекала границу (достаточно условную, проходящую совсем близко от Эно), чтобы ездить с турнира на турнир и посещать разные дворы между Сенной и Рейном в поисках подвигов, приносящих княжеские щедроты. Жиль де Сент-Обер мог быть для нее образцом и,

благодаря своей должности, благодетелем не одного молодого рыцаря.

Тем самым мы вновь попадаем в ту «среду», в которой и для которой формировалось, по меньшей мере со времен Вильгельма Завоевателя, классическое рыцарство. Или, скорее, для времен после 1130 г. мы еще больше открываем для себя эту среду благодаря более насыщенной документации и видим это рыцарство в период, когда его облик стал более завершенным благодаря турнирам и придворным праздникам. Отныне об этих молодых рыцарях свидетельствуют клирики, которые сами связаны с домом князя или барона, как Гислеберт Монский или Ламберт Ардрский. Они испытывают к рыцарям интерес, смешанный с настороженностью, проявлявшейся уже у Сугерия или Ордерика Виталия, хотя те были лучше информированы. Они рассказывают о денежной стоимости и блеске турниров и дворов 1168–1190 гг., о которых нас также осведомляет, на свой лад, очень полезная «История Вильгельма Маршала».

На этот самый период (с 1130 г. и во многом с 1170 по 1200 г.) приходится расцвет литературы на французском («романском») языке, направляющей или пробуждающей мечты придворных кавалеров и дам. В нее входят эпические легенды и куртуазные сказки, и она! до сих пор, от Роланда до Персеваля, по-настоящему завораживает; В следующей главе мы попытаемся оценить, какую функцию она могла выполнять — или даже какую документальную ценность может представлять.

Как и в куртуазных сказках, повествующих о рыцарях из окружения короля Артура, во Франции в XII в. происходили пышные рыцарские празднества и даже существовало активное соперничество между мирскими рыцарями. Все это было беспрецедентным. Вопрос в том, чтобы выяснить, какой конкретно была социальная и политическая среда и какое место в жизни рыцарей занимали дворы и турниры. Ведь рыцари вступали и в княжеские осты ради настоящих войн и крестовых походов, вызывавших к жизни эпические легенды и стимулировавших их появление. А нередко их жизнь по большей части текла в сельской сеньории и проходила в распрях с соседями — и тут она более прозаична, тут они старались отстоять свой статус.

Блеск французского XII в. сделал рыцарство таким, каким Европа в конечном счете зафиксировала его в своей истории некоторым образом навечно — или, по меньшей мере, придав ему некое вневременное измерение. Однако тогда же возникли и небывалые прежде опасности для феодального (то есть рыцарского) класса, которые, кстати, с XVIII в. замечали историки Нового времени, сожалея об антифеодальной мутации тысяча сорока года либо одобряя ее. Если тогда во всяком случае начался «второй феодальный век», похоже, он в большей мере имел административный и торговый характер, чем первый. Не был ли он веком *ухудшенного* феодализма? Ведь городская буржуазия, нанося сокрушительные удары «рыцарству» (как классу), грубо вламывается в историю, получает коммунальные хартии, проникает в окружение короля и местных князей, которые поддерживают ее и усиливаются за счет поддержки с ее стороны — и все это происходит с благословения Церкви. Как же случилось, что в подобном контексте мог произойти расцвет «рыцарства» (как стиля жизни и поведения)? Почему князья финансировали его и сами старались его прославить? А что, если их празднества, их щедроты, расточавшиеся день-два в год, были только обманом или в лучшем случае компенсацией для посвященной в рыцари знати, чтобы усыпить ее бдительность и смягчить ее горькие чувства?

Чувства, не раз отразившиеся и в литературе...

Действительно, рыцари XII в. могли быть гораздо лучше экипированы, чем древние германцы, их могли принимать и угощать более роскошно, чем франков Карла Великого или вассалов тысячного года. Однако их, судя по разным симптомам, теснили те, кто был менее

свободен и уверен в будущем. Во всяком случае некоторые из этих людей. Отметим сначала значение и пределы подъема буржуазии.

РЫЦАРИ И БУРЖУА

Франция X и XI вв. постольку-поскольку процветала потому, что рыцари стимулировали ее своими поборами и старались не наносить ей слишком большой ущерб своими войнами. Так что в 1070-е гг. стало появляться все больше признаков подъема торговли. Монастырские хартии упоминают денежные суммы, выраженные в монете конкретного города, — долги записывались в турецких, леманских, парижских денье, номинал и стоимость которых отныне существенно варьировались в зависимости от инфляции, имевшей и другие проявления, и от политики каждой отдельной монетной мастерской. Хартии также все чаще упоминают дорожные пошлины, от которых монастыри требовали избавиться себя и своих слуг (*famuli*).

Были признаки и подъема городов. «Замки» XI в. — это не просто отдельно стоящие дома, а крепости, настоящие населенные пункты, опоясанные рвами и стенами либо частоколами, оцетинившиеся каменными башнями и земляными холмами, включавшие в себя также площади, улицы и дома, где рыцари, «пэры» замка, со своими семьями жили по меньшей мере какое-то время. Так вот, вокруг этих стен с тысячного года, а еще вероятней — с конца XI в. могли вырасти жилища, поселение с рынком, то, что называлось «бург». 1070–1100 гг. были особенно урожайными на основание бургов при замках. Около 1200 г. Ламберт Ардрский рассказывает об основании бургады Ардр. Он изображает это событие как инициативу сеньора в 1060-е гг., Арнульфа, заботившегося о том, чтобы повысить важность этого нового, хорошо защищенного поселения во влажной климатической зоне, недалеко от Па-де-Кале. Арнульф насильно переселял своих людей, вынуждая покинуть хутора или деревни. Он построил в Ардре «замок» на насыпном холме, с нижним двором (*basse cour*), и прежде всего учредил пэрство — рыцарей, которые бы всегда могли взять за образец двенадцать пэров из «Песни о Роланде» или сослаться на них. В то же время Арнульф Ардрский соорудил внешнюю ограду, защищавшую еженедельный рынок, который оказался под юрисдикцией эшевенон^[619] [152]

Город как таковой, ситё (*cite*), у которого был свой граф и свой епископ, как у Парижа в 885 г., имел такую же структуру, но/ в больших масштабах. *Cite* был как бы большим замком со своими башнями, валами, церквями, рыцарством. Он защищал или контролировал *бурги* (предместья, *faubourgs*), которые были связаны с ним либо с пригородным или периферийным монастырем, как Сен-Жермен-де-Пре под Парижем или Сен-Сернен под Тулузой, и подъем в которых был заметнее всего. Однако оживление охватило и город: плотность его населения росла, он заполнялся запасами зерна, вина, собираемыми министериями для сеньора, но также для себя и с расчетом на торговлю. Посмотрите на Лан тысяча сотого года: это большой рынок окрестной «равнины», ее житница, а также место, где плелись все козни^[620]; здесь меняли курс епископской монеты и чеканили ее сообразно интересам самих горожан. Похоже, тогда формировались настоящие экономические, фундаментальные взаимосвязи между «равниной» и городом, который господствовал в ее торговой экономике (и ограничивал ее). Античное время такой взаимосвязи не знало. Возможность для ее возникновения, под своей эгидой, дало посткаролингское рыцарство городов и замков.

Однако настал день, когда ему пришлось столкнуться с тем, что вполне можно назвать *поднимающейся буржуазией*. Под ней мы понимаем новую элиту, которую во многих ситуациях можно отличить от рыцарства, равно как от городского простонародья и тем более от сельских жителей, — это деловые люди, для которых основным источником богатства была коммерция, даже если они вкладывали капитал и в земельную собственность, начиная с виноградников. Поэтому им был нужен мир на дорогах и на рынках, они просили о

нем князей всякий раз, когда было нужно, они объединялись в союзы, они сговаривались, чтобы обеспечить друг другу взаимную защиту. Это не значит, что они были однородной группой, независимой от сеньоров, с ценностями, противоположными ценностям знати. Нет, но в XII в. это уже была настоящая и сплоченная группа давления, стремившаяся монополизировать наименование *буржуа* (поначалу, в XI в., мало распространенное).

«Лучшие» люди города составляли «буржуазную аристократию», «патрициат», как говорят новейшие историки. Насколько мы можем представить себе богатого буржуа, это не нувориш, а, скорей, сын и зять богачей, как Веримбольд из Камбре^[621], и друг вельмож, настоящий или мнимый, как министриалы Лана, один из которых в час опасности (в 1112 г.) погиб вместе с рыцарем — своим сеньором, а другой предал и убил сеньора...

Некоторые хартии, имеющие отношение к городу того времени, включающие списки свидетелей и ссылки на их собственность, показывают, что рыцари и буржуа часто общались меж собой или поддерживали взаимовыгодные связи. Отсюда тенденция новейших историков недооценивать социополитические конфликты тысяча сорокового года, которые, напротив, Огюстен Тьерри, Мишле и XIX в. несколько преувеличивали. Но все-таки ненадолго остановимся на конфликтах в Камбре и Лане.

Камбре находится у самых ворот Фландрии, граф которой стремился его захватить. Этот город входил в состав империи, его сеньором был собственный епископ, но город был тесно связан с соседями из Французского королевства. Для него, как и для Ле-Мана, сохранилась «История епископов», — то есть набор жизнеописаний каждого, составленных очень сведущими канониками, нередко пристрастными. Биография Жерара II (избранного и посвященного в 1076 г.) описывает волнения в Камбре, и не все они были связаны с григорианской реформой Церкви, которая тогда шла полным ходом. Когда епископ уехал принимать инвеституру от императора Генриха IV, горожане присягнули коммуне, «которую замыслили и желали с давних пор», и договорились закрыть перед прелатом ворота по возвращении, если он откажется ее утвердить. Что и произошло. И оказалось, что вассалы епископа «уступают числом и смелостью этой массе горожан». Так в переломный момент одной местной истории мы вдруг обнаруживаем рыцарей, которых выбила из колеи социальная эволюция, обнаруживаем соотношение сил, какого открытым текстом никогда не опишет ни одна «жеста», ни один роман. Что было делать? Позвали на помощь могучего соседа, графа Эно — Балдуина II, который подошел во главе своих рыцарей. И даже с таким подкреплением предпочли хитрость, прямо-таки вероломство. Епископ и рыцари пообещали устроить *plaid* по вопросу коммун, настоящие судебные дебаты. Благодаря этому они вернулись в город, и рыцари устроили расправу, с ведома епископа (во всяком случае так утверждает его биограф) напав на дома этих спесивых горожан. Согласно другой хронике, написанной в Като-Камбрези, «они грабили погреба, ломали сундуки, забирали всё: золото, серебро, драгоценные сосуды, одежды». Помимо этой добычи они захватили пленных — разумеется, чтобы вернуть их за выкуп. Как повезло этим рыцарям, ведь коммуна, напротив, постаралась бы ограничить для них возможности пользоваться городскими богатствами! Некоторых они также убили, в том числе некоего Фульберта, купца «очень сообразительного», а значит, несомненно, весьма богатого. Через недолгое время его брат Виберт захотел отомстить за него, исполненный ненависти к епископу, и для этого предал город его врагам, после чего Виберта схватили, судили и казнили. Несмотря на это, усилению горожан в дальней перспективе уже нельзя было помешать. Воспользовавшись религиозными и политическими распрями, в 1111г. они снова учредили коммуну^[622].

В том же году буржуа Лана, следуя примеру соседних городов (таких, как Нуайон), начали переговоры о покупке коммун у рыцарей города, с которыми епископ Годрик в

основном был вынужден соглашаться. Гвиберт Ножанский видит в этой истории по преимуществу большие деньги и классовую борьбу^[623]. Поднимающаяся «буржуазия» дорого купила у сеньориального класса города право создать коммуну, которая бы своим существованием поставила предел разным поборам и судебным злоупотреблениям. Епископ тогда в городе отсутствовал. А ведь это был тот самый Годрик, то есть клирик с замашками рыцаря, грубость которого мы уже упоминали^[624]. Вернувшись, он добился от короля Людовика VI отмены коммуны, выкупив у него сумму, заплаченную горожанами. Последние были прямо-таки фарсовыми простаками: они платили за всё и платили за то, чтобы всё у них отобрали. И однако они, должно быть, учли камбрейскую трагедию 1076 г. и, может быть, какие-то другие, о которых мы не знаем из-за отсутствия источников: они приняли меры предосторожности. «Горожане на самом деле были очень богаты; если они прикидывались бедными, то потому, что не хотели привлекать внимания знати». Понятно, что в конечном счете они перестали прятать когти и на отмену своей коммуны ответили восстанием: 25 апреля 1112 г. боевые группы бросились по улицам с криками: «Коммуна, коммуна!». Они принялись убивать рыцарей — вассалов епископа. Знатные дамы бежали через поля, переодевшись мужчинами, чтобы найти убежище в монастыре Сен-Венсан, вне его стен: он служил усыпальницей для местной знати. Что касается епископа Годрика, его растерзал сброд, в главаре которого узнали Теудеода (он же Изенгрин), бывшего серва-министериала сира де Куси, все еще якшавшегося с Тома де Марлем.

Ланские повстанцы зашли все-таки слишком далеко; они это знали и (тщетно?) искали убежище у Тома, который, впрочем, не смог бы их спасти от справедливого возмездия со стороны Капетинга. Во всяком случае на вожаков оно обрушилось.

Но прошло пятнадцать лет, и в 1128 г. ланская буржуазия по сути взяла верх в борьбе за льготы и коммуну. Тогда она получила (несомненно не даром) королевскую хартию об «учреждении мира», признававшую за ней право создавать «жюре» (*juree*) того же типа, какой имели прочие крупные города Пикардии: нечто вроде профсоюза, ассоциацию, члены которой выступали посредниками между сеньорами и подсудными людьми, добивались рыночного мира и ограничения сервильных повинностей, еще грозивших многим из богатых семейств, предки которых имели статус министриалов. Более того, как показывает Ален Сен-Дени, рыцари постепенно покидали город, оставляя его каноникам собора и буржуа из коммуны. Начиная с 1135 г. сеньоры крупных замков, расположенных в нескольких льё от города, таких как Пьерпон и Монтею, перестали регулярно посещать Лан и избавились от владений, которые в нем имели. Надо ли после всего этого удивляться, что после восстания 25 апреля 1112 г. богатая знать диоцеза не очень рвалась жить в Лане, большом городе?

Однако это не всё. Рыцари, имевшие более прямое отношение к городу, крупные вассалы епископа, такие как видамы и семейство «дю Марше», в первой трети XII в. казались богатыми и влиятельными; потом их могущество было подорвано, их след в истории стало трудней различить. Лучше заметны другие городские рыцари, потомки которых, оставаясь рыцарями, стали сеньорами соседних деревень, как род «де Луази»^[625]. Для некоторых, похоже, буржуазия сделалась не столько соперницей, сколько привлекательной силой; не дошло ли дело до их интеграции в нее? Действительно, для периодов, когда не было кризисов, можно обнаружить множество взаимовыгодных связей и различных сближений между этими силами, и в 1158 г., а потом в 1164 г. мэром коммуны был Эктор д'Онуа, городской рыцарь, потомками которого станут как ланский богач Грюэль, так и сеньоры д'Онуа. Такое общее происхождение «дворянского патрициата» и «буржуазного патрициата» встречается и в других местах; тем не менее любопытно, что они разделились, что им надо было выбирать между сельской сеньорией и городским богатством.

Жан Ришар в 1960 г. отметил такое же «нисхождение» рыцарей из бургундских замков Вержи и Ружмон на равнину — во всяком случае некоторые из них вошли в новую «буржуазную» элиту этих бургад XII в.^[626] А я смог обнаружить в Вандоме какую-то чехарду, в ходе которой первые «буржуа» (1097 г.) и последние рыцари, живущие в замке (1150 г.), менялись местами^[627]. Значит ли это, что в XII в. рыцари «потеряли» города, и те достались буржуа?

Это полное превращение мелкой и средней знати в сельских жителей, сопряженное с подъемом городов и укреплением княжеской и даже баронской (как в Вандоме) администрации, не стало сразу же катастрофой для этой знати. Разве она не приобрела сеньориальные титулы и, кстати, доходы? После ее перемещения также, похоже, стали утихать войны между соседними замками — им предпочитали княжеские войны, крестовые походы, турниры. Тем не менее в дальней перспективе ее экономическое процветание оказалось непрочным: один историк говорил о сельском «знатном плебсе» на рубеже XIII-XIV вв., тогда как (узкая) прослойка буржуазии заслужила в наших книгах название «городской патрициат»...

Пока что короли, князья, бароны^[153] старались немного смягчить эту тенденцию, характерную для «второго феодального века» (XII и XIII вв.). Разве, проводя в некоторых городах большие придворные праздники, они не давали возможность рыцарям, в основном переселившимся в сельскую местность, регулярно возвращаться в город, потребляя и используя его богатства?

Двор можно было бы счесть законным, изящным и удобным учреждением, позволяющим классу рыцарей грабить город благодаря князю, которому его власть и растущие доходы позволяли расточать щедроты. Но и при дворе могли появляться чужаки, и здесь стоит рассказать историю Эрембальдов Брюггских — тем более что они служили первому князю, о присутствии которого на турнирах известно точно: графу Фландрскому Карлу Доброму (1119–1127).

ТРАГЕДИЯ ВО ФЛАНДРИИ (1127–1128)

Для Фландрии, соседствующей с империей и тесно с ней связанной, в высшей степени были характерны как городская экономика, которая находилась на полном подъеме^[628], так и новое рыцарство, спонсорами которого выступали ее графы. Фландрия завоевывала рынки, экспортировала сукно и рыцарей-наемников. Здесь между 1070 и 1130 гг. одновременно появились текстильная промышленность, большие ярмарки и первые документально отмеченные турниры («торжища мерзости», как клеймили их епископы). Насыщенная и захватывающая «История убийства Карла Доброго», написанная по свежим следам в 1127–1128 гг. клириком Гальбертом Брюггским, вводит читателя в процветающий город, который внезапно был охвачен кризисом, выявившим опасные социальные напряжения и проблемы. Гальберт мимоходом упоминает турниры, которые посещал граф Карл, и богатства, накопленные некоторыми из его чиновников, и могущество городской буржуазии, мнение которой при назначении нового графа значило не меньше, чем мнение сеньоров равнины. Благодаря обзорам, сделанным Ордериком Виталием, хорошо известно, что буржуа Руана и Нормандии фрондировали против Роберта Короткие Штаны или присоединялись к Генриху Боклерку. Для Фландрии «История» Гальберта Брюггского и другие хроники позволяют по-настоящему ощутить эту новую историческую силу, — но они не изображают ее ни в лобовом противостоянии с рыцарями, ни бунтующей против графа. Городские буржуа скорее стали, как сказали бы мы, «участниками политической игры» (и социальной тоже). Если верить Гислеберту Монскому, в 1071 г., во время предыдущего кризиса наследования, граф Роберт Фриз, дед Карла Доброго по матери, победил за счет того, что вступил в союз со «знатью и с бургами»^[629], оставив своему племяннику Балдуину^[154] только Эно.

Сам Карл, сын датского короля, в 1119 г. тоже испытал необходимость в поддержке со стороны крупного чиновника из графской администрации, клирика Бертульфа, прево коллегиальной церкви святого Донациана в Брюгге. Пусть потом он пошел против Бертульфа и его «семейного клана» и вступил в схватку, которая стала роковой для обоих, — такое, что ни говори, в политике бывает достаточно часто! Интересно, что эта драма, рассказанная Гальбертом Брюггским исключительно подробно, выявляет, какими могли быть состояние и социальная стратегия крупных *министериалов*^[155]. Ничто не дает оснований утверждать, что род Бертульфа вышел «из грязи» и только за счет графской службы поднялся к вершинам общественной иерархии. Его основателем был Эрембальд, шателен графа — и историки Нового времени охотно называли его потомков «Эрембальдами Брюггскими». Но в какой-то момент один из предков Бертульфа вынужден был признать себя сервом графа, чтобы получить или сохранить доходную должность. Чиновничья служба помогала стать богатым и влиятельным, но была не столь почетной, как военная. Кстати, министриалы графов и епископов в городе часто стремились сблизиться скорей с зажиточной буржуазией, чем со знатью^[156]. Впрочем, Эрембальды, похоже, были достаточно близки к брюггской буржуазии, среди которой постарались приобрести друзей и клиентов, и ненавистны многим рыцарям. Однако при своем богатстве и влиянии они испытывали искушение выглядеть рыцарями, — а значит быть таковыми.

На посвящение в рыцари братьев или племянников Бертульфа, на их публичное аноблирование кем-либо из графов Фландрских в качестве благодарности за «добрую и верную службу» нет никаких намеков. Но тот факт, что об их посвящениях было ничего не известно, еще не позволял уличить их в «незаконном присвоении» рыцарского звания и лишить такового. Чтобы замарать их имя, об Эрембальде распространили «черную легенду»:

он якобы получил свою должность, обольстив жену сеньора, а его убив^{630}, — почти точный негатив модных в то время легенд о добром вассале, защищающем даму от обвинения в адюльтере, лживый, как легко понять. Однако чтобы свалить Эрембальдов, придется вытащить на свет их прежний сервильный статус... Они, естественно, сделали всё, чтобы общество о нем забыло. Они незаметно просочились в ряды рыцарства. Бертульф выдал племянниц за рыцарей. Племянникам он позволял вести с племянниками Танкмара Стратенского, опираясь на свои укрепленные дома, мелкие частные войны, полезные для создания престижа и клиентел. Но следовали ли они за Карлом Добрым на войну и на турниры? Мы не знаем, и это прискорбно. Во всяком случае дальнейшие события показывают, что у них были связи со многими рыцарями, живущими не в Брюгге.

В какой-то момент враждебная Эрембальдам клика настроила против них графа Карла. Он наказал племянников Бертульфа, то есть Борсиарда и его братьев, за частную войну, снеся их дом. Хуже того, означенная клика раскопала сведения о сервильном прошлом их рода и устроила судебный спектакль с разоблачением. Муж одной из племянниц прево Бертульфа рассчитывал, женившись, приумножить свою знатность — равно как богатство и связи в высшем обществе. И вот на одном процессе, когда он вызвал другого рыцаря на судебный поединок, ему отказали в праве на подобную процедуру, потому что он-де серв! Как это серв?! Ну да, женившись на девушке из сервов, он приобрел сервильный статус: с каролингских времен это было нормой при браке между сервами и свободными людьми — если только не заключалось каких-то соглашений либо проблему не скрывали (что бывало часто). Удар был очень жестоким, и для мужа, и для всех родственников супруги, блестящий рыцарский статус которых оказался замаранным, оскверненным, а влияние пошатнулось. В результате — напряженность, процесс, старания Бертульфа и всей родни избавиться от этого оскорбительного обвинения. Обреченные на падение, они замыслили убить графа Карла. 2 марта 1127 г.^{157} Борсиард напал на него во главе целой банды.

В тот день, спрятав под плащами мечи, они ворвались в церковь святого Донациана, где молился граф, и пронзили его клинками, сделав *мучеником*. Далее заговорщики планировали во главе графства поставить бастарда Вильгельма Ипрского и при нем продолжить свою блистательную социальную карьеру. Вильгельм в самом деле принял на Ипрской ярмарке оммаж от купцов, приехавших со всей Фландрии, которые после этого поспешили разъехаться по домам. Но он не торопился ехать в Брюгге, где, напротив, быстро *возмездие* благодаря реакции графского шателена, рыцаря Гервасия Пратского, сорвало расчеты Эрембальдов и вынудило их очень скоро перейти к обороне. Гервасий опять-таки начал с некоего подобия феодальной войны, двинувшись на укрепленные дома и сельские имения Эрембальдов; он разорил окрестности Равенсхоота, и тот капитулировал. У брюггских буржуа было оружие, и они строили укрепления; они также знали, что должны действовать сообща. Но в чьем лагере? Одна группировка среди них увлекла всех на сторону Гервасия. Что касается знати и пэров, тайно подстрекавших Эрембальдов, например некоего Даниэля Дендермондского, они тоже примкнули к мстителям, — чтобы вернее оправдаться!

Итак, смешанная армия рыцарей и буржуа осадила Эрембальдов — сначала в их доме, потом в башне церкви святого Донациана. Для такого случая они ввели единство и дисциплину, названную «осадным законом». Рыцари допускались в город лишь в случае, если поклянутся «мстить за смерть графа, уважая имущество горожан»^{631}. Клятву лучше потребовать! Еще сохранялось немало трений. Например, «племянники Танкмара [рыцари — враги Эрембальдов] водрузили свое знамя на доме прево — из гордыни, тщеславия и как знак их могущества, что все восприняли очень плохо, и горожане наши до крайности были удручены, ибо прево и его присные, до часа своей измены, были людьми набожными, по-

дружески к ним относились и достойно себя вели по отношению к тем, кто живет в нашем городе и в королевстве [опять-таки во Фландрии!]^[632]. И они вознегодовали на племянников Танкмара: субботним вечером 19 марта «горожане наши напали на них в монастыре и, обнажив мечи, раскололи бочонок, в коем было вино; возникло небывалое смятение, и горожане заперли ворота города, чтобы ни один из племянников не смог уйти». А Эрембальды с высоты башни, в которой их осадили, призывали тех из буржуа, кто прежде был их друзьями, вешать их врагов.

Некоторые брюггские буржуа испытывали сильное сочувствие, в частности, к Роберту Дитяте, одному из племянников Бертульфа, который считался невиновным и за которого они неоднократно ходатайствовали (тщетно). Несколько позже в Брюгге случился характерный инцидент, «в коем с одной стороны участвовали Гервасий и его люди, а с другой — наши горожане». Действительно, один из последних, нарушив «осадный закон», связался с осажденными «изменниками»: «Он был женат на сестре одного из осажденных рыцарей и, скрытно приблизившись к башне, потребовал у своего шурина чаши и одежды, каковые ссудил ему ранее; тот вернул чаши, каковые у него были». Мы дорого бы дали, чтобы найти побольше заметок подобного рода. Но за этого брюггца можно испугаться: он крепко рисковал из-за чаши и шурина — тюрьмой, судом вельмож. Один из рыцарей Гервасия схватил его «и увел как пленника в дом графа» (где находился мститель Гервасий, отныне получивший полномочия от французского короля и от нового графа). Однако «тут же среди горожан возникло небывалое смятение; взявшись за оружие, они напали на дом графа и людей Гервасия, каковые смело защищались. Горожане кричали, что никогда не потерпят ничьего господства и что карать за преступления — их дело»^[633]. Тем не менее, выразив столь бурный протест, они позволили Гервасию их утихомирить и привести к королю, чтобы тот примирил их. Возмездие пришло в свой срок, и потомки Эрембальда умерли в мучениях.

Но рассказ Гальберта Брюггского обретает второе дыхание, когда речь заходит о политико-военном соперничестве наследников Карла Доброго, которые все были сравнительно дальними его родственниками. Ипрский бастард потерпел неудачу, и кузен Карла, граф Эно, нашел лишь немногих сторонников. 20 марта король Людовик VI высказался в пользу Вильгельма Клитона, за которым уже отчаялся закрепить Нормандское герцогство и который был связан с Фландрией по бабке — королеве Матильде, жене Вильгельма Завоевателя. Фламандские бароны встретили Клитона в Аррасе, и в сопровождении короля он 6 апреля прибыл в Брюгге. Там надо было умело переговорить с буржуазией города, выделившей делегацию. Пришли к соглашению, которое было бы немислимо как в Руане, так и в Париже: «В награду за выбор и прием нового графа они получают от него привилегию отныне не платить ни графу, ни его наследникам ни тонльё^[158], ни чинша»; и он поклялся им в этом^[634], равно как буржуазии других крупных городов графства. В Сент-Омере 17 апреля, согласно Гальберту Брюггскому, внук Завоевателя должен был показать себя «своим парнем»: городская молодежь, выступив как возрастная группа, оказала притворное сопротивление его свите, используя луки и стрелы, и ему пришлось проявить готовность к игре, шуткам и уступить право охоты на мелкую дичь. Это не единственный случай «традиционных» игр, где рыцари смешивались с представителями других классов.

Однако с лета 1127 г. граф Вильгельм Клитон напрочь поссорился с буржуазией городов Фландрии. Ведь под нажимом знатного окружения он поставил под вопрос сделанные уступки. Так, в Лилле 1 августа была ярмарка, и там граф арестовал одного из своих сервов; тогда «горожане Лилля взялись за оружие и изгнали из города графа и его людей, они наносили придворным удары, бросали нормандцев во рвы и многих ранили»^[635]. В наказание

граф осадил город Лилль и заставил его откупиться суммой в 1400 марок серебра, отчего город затаил на него злобу... Создается впечатление, что Вильгельм Клитон решил обуздать города вопреки первоначальным обещаниям, потому что в Брюгге 17 сентября он потребовал тонльё, от притязаний на который клятвенно отказывался еще в апреле. Но «если он проявил по отношению к ним таковую неблагодарность, то потому, что графы — его предшественники жаловали доходы с одного тонльё своим вассалам, и эти рыцари упрекали его за таковую уступку брюггцам их, рыцарских, фьефов; по их словам, она была недопустима без их согласия»^{636}... В конечном счете Фландрия при всем своем богатстве была не подарком. По милости Людовика VI его протекже крупно влип. Вскоре началась кампания в пользу другого кузена графа Карла — Тьерри Эльзасского, которого поддержала буржуазия таких крупных городов, как Гент, Брюгге, Ипр, потому что он гарантировал сохранение ее прав. Их сопротивление Клитону приобрело антифранцузскую, антикапетингскую окраску.

Однако оно не было единодушным. В течение года Гальберт и другие хронисты могли фиксировать эпизоды борьбы, порой между рыцарями, с захватом коней либо оруженосцев и коней и «рыцарскими бранями», «ристаниями» (*tournoiments*)^{637}. С 4 по 10 июля 1128 г. Вильгельм Клитон осаждал Осткамп на земле Брюгге, «и за шесть этих дней рыцари обоих лагерей свершили немало подвигов, устроили немало турниров»^{638}. Под конец рыцари Вильгельма отбросили брюггцев, подошедших на помощь. 21 июня между его остом и остом Тьерри произошло настоящее сражение, состоявшее из двух эпизодов: сначала первый отряд Вильгельма отступил, потом второй успешно отразил натиск неприятеля, переломил ход боя, и уже Тьерри обратился в бегство, но не утратил поддержки ни Бога, ни фламандцев... Дальше были грабежи, сделки, «измены», и на коммерции все это отражалось достаточно плохо. Если буржуа могли запирали ворота городов, они не контролировали равнину, на которой по-прежнему хозяйничали рыцари. Граф Вильгельм, «притеснитель буржуа», не проиграл игру. Или, скорей, проиграл ее чисто случайно 27 июля 1128 г., утратив при этом и жизнь.

Приход Тьерри Эльзасского позволил восстановить торговлю, а также равновесие в отношениях между знатью и буржуазией, но в конечном счете однозначно не прекратил кризис. Граф Филипп (1168–1191), сын Тьерри, отнюдь не был правителем в духе Луи-Филиппа, попросту ходящим в народ по торговым улицам своих добрых городов. Я даже сомневаюсь, чтобы игры сент-омерской молодежи были ему более по вкусу, чем Вильгельму Клитону; о нем, скорей, известно, что он был завсегдагдем турниров, что Кретьен де Труа посвятил ему «Сказание о Граале», наконец, что он построил в Генте замок-дворец, где размещался пышный рыцарский двор. И вполне можно представить, как эти рыцари, подобно героям романа, смотрят вниз из окон замка на промышленный город, поставляющий им оружие и уборы, благодаря чему они ведут более роскошную жизнь^{639}. Даже возможно, что среди них затесались некоторые потомки министерялов (или выходцы из таковых), сделавшие более скромную карьеру, чем Эрембальды.

ЩЕДРОТЫ КНЯЗЯ И БАРОНА

Гальберт Брюггский написал о кризисе, который затронул две элиты, одновременно соперничающие и перемешавшиеся в борьбе клик, и в котором крестьяне как таковые своего слова не сказали. Поначалу он подвел хвалебный итог правлению Карла, графа-мученика, описав, как тот уважал церкви и проявлял милосердие к бедным. Продолжая политику Роберта Фриза времен святого Арнульфа (1083 г.) и двух его непосредственных предшественников, Карл Добрый ограничил частные войны, и в его провинции не нашлось ни одного сеньора, который бы посмел начать феодальную войну с ним самим. Это было особенностью его правления, потенциально сравнимого с правлением какого-нибудь герцога Нормандского и благосклонного к интересам буржуа. Кроме того, во время неурожая 1124 г. граф принял меры против всех недостаточно милосердных богачей, особенно против гентских спекулянтов^[640]. И еще он лично был любителем рыцарства и заботился о том, чтобы дать фламандской знати возможности блеснуть и подняться выше по социальной лестнице. «Когда он хотел совершить рыцарский подвиг, он не мог найти врага по соседству со своими землями, равно как с марками и границами: ибо его боялись, с ним предпочитали объединяться в мире и любви и обмениваться дарами. Однако ради чести страны и обучения своих рыцарей он принимал участие в сражениях на стороне графов и князей Нормандии и Франции, порой даже за пределами Французского королевства; он устраивал турниры с участием двух сотен рыцарей и тем приумножил могущество и славу своего графства. Ошибки, совершенные в оном легкомысленном деле, он искупил перед Богом многочисленными даяниями»^[641].

Но, чтобы составить себе представление о княжеском режиме XII в. и его экономических и социальных целях на этом Севере с его богатыми городами, лучше всего открыть и пролистать «Хронику» Гислеберта Монского.

Написанная в 1196 г., она повествует о соседнем Эно, графов которого упоминает с 1071 г. (когда правил Балдуин I) до Балдуина V, посвященного в 1168 г., графа Эно с 1171 по 1195 гг. и графа Фландрского с 1191 г.^[159], а также тестя короля Филиппа Августа. Это было имперское княжество с некоторыми специфическими чертами, однако никакие социальные и культурные границы не отделяли его от Французского королевства, связи с которым постоянно проявлялись благодаря бракам, турнирам и политическим интригам^[642].

Клирик Гислеберт Монский служил канцлером при Балдуине V до смерти последнего, случившейся в 1195 г. незадолго до написания хроники, и сам был хорошо знаком с генеалогией важных наследников и обширными статьями феодальных соглашений, хартий для городов, мирных договоров. Он был в курсе расходов и инцидентов, связанных с войнами и турнирами. Он использовал слово «двор»^[160] (*curia*) в двух взаимно дополняющих друг друга смыслах. Во-первых, мог иметься в виду старинный институт с наследственными титулами и функциями, институт княжества, по преимуществу чисто феодального и рыцарского. Звучание этих титулов напоминало о службе при доме (камергер, сенешаль), но они были почетными должностями, и в этом качестве двор Эно выглядит феодальным судебным органом графства, судом пэров^[643]. Во-вторых, Гислеберт Монский называет «двором» каждое из торжественных собраний с участием графа и его окружения, и тут праздничный и церемониальный аспект важнее судебной функции (хоть и не исключает ее категорически): там устраивали посвящения, свадьбы и пиры, а после собраний двора на Пасху и Пятидесятницу придворные отправлялись на войну и на турнир.

Эти «дворы» в обоих смыслах слова в прежней франкской монархии играли,

соответственно, роли придворного штата («дворца», *palais*) и общего *plaid'a*. Однако теперь их роли ощутимо изменились благодаря прерогативам благородных рыцарей и княжеским щедротам, благодаря беспримерной пышности, возможность для которой в XII в. давала городская и монетная экономика. Балдуин V происходил от Карла Великого и гордился этим; он не был императором, но его жизненная среда, обстановка, в которой он жил, были намного роскошней, чем у Карла Великого. По примеру графа Фландрского Филиппа Эльзасского (1168–1191) и других князей своего времени графы Эно украшали резиденции и возводили новые. На Пасху 1168 г., в день посвящения Балдуина V, «большой зал» (*aula major*) Валансьена еще строился, и, к несчастью, вместе с будущим Балдуином V работы осматривал его стареющий отец: у них под ногами провалилась балка, и отец сломал ногу, но вновь посвященный быстро поправился^[644].

Гислеберт не избегал вопросов, раздражавших или сильно заботивших графов Эно в XII в. Право «мертвой руки» в отношении городских сервов давало им (как и королям) существенный доход, и они то отказывались от него, то вновь на него притязали; в какой-то мере чувствовалось, что их привлекает городское богатство, за счет которого можно оплачивать свои щедрые расходы. Предметом особых споров и затруднений был вопрос, что города Монс и Валансьен должны поставлять к графскому двору, когда он находится в замке, господствующем над этими городами. Именно буржуа, жители города, предоставляли для пира посуду, съестное, разные принадлежности — либо в качестве дани, либо «продавая» в кредит. С другой стороны, замок-дворец был местом, где, в соответствии с замыслом, имелись не только парадный и пиршественный зал или залы, но и «покои» для семьи князя и ближайшего окружения, однако все хорошее общество разместить в нем было невозможно. И представители этого общества селились у жителей, в городских домах — как видно по куртуазным историям, эти жители были либо буржуа, либо вальвассорами.

Итак, щедроты князя отчасти обеспечивались богатством его горожан. Означало ли это для них чистый убыток? Несомненно, нет, поскольку прекрасные рыцари, собиравшиеся при дворе, становились для многих из них клиентами. Кстати, не все потраченные деньги и не все съеденные во время этого собрания продукты поступали из города: у графа были свои сельские поместья, и на землях его вассалов тоже собирали феодальные подати.

По мнению Ламберта Ардрского, писавшего около 1204 г., расходы и щедроты графов Гинских и сеньоров Ардра, особенно по случаю турниров, только отягощали край и не приносили ему никакой пользы. Хотя Ламберт и происходил от одного из этих баронов, пусть не совсем по прямой линии, и расточал им больше похвал, чем порицаний, он, похоже, разделял недовольство местного населения — крестьян и мелких вассалов. Описанный им Рауль, граф Гина около тысячного года, — турнирный тиран. Он порожден мифом, потому что едва ли первые турниры начались раньше 1120 г. Но полемика тысяча двухсотого года, которую вели по поводу этой выдумки, не может оставить нас равнодушными. Итак, Рауль воплощает те злоупотребления, в которых упрекали баронов, слишком приверженных светским рыцарским забавам. Ему не хватает средств, чтобы расточать щедроты рыцарям-соратникам (*commilitones*^[1611]): имеются в виду вассалы или клиенты, которым это изящное куртуазное словцо вполне может польстить, — разве оно уже само по себе не щедрота? Но поскольку этого все-таки мало, Рауль Гинский лихоимствует и возбуждает против подданных незаконные процессы.

В общем, он творит бесчисленные несправедливости, чтобы стать странствующим рыцарем по всей форме. Он тиранит свой край (свое баронство), чтобы отправиться во «Францию» (королевскую) с целью прославить собственное имя на турнирах («торжищах мерзости» — Ламберт Ардрский использует официальную церковную формулировку). И

находит там смерть, «проклятый Богом и людьми»^[645].

По счастью — или, скорей, для большей эффективности мифа — его сын Эсташ совершенно на него не похож^[646]^[162]. Добрый к подданным, он обуздывает преступность, только ее, причем силой, — важный сюжет для клирика тысяча двухсотого года.

На других страницах выясняется, что Ламберта Ардрского заботит по преимуществу положение не крестьян, а, скорей, мелкой знати. Дурной барон — это тот, кто «попирает ногами и принижает знать своей земли», с тем чтобы «возвышать незнатных»^[647]. Иначе говоря, несомненно, тот, кто неукоснительно требует помощи от феодалов и дает возможность усилиться среди своих мелких чиновников людям типа Эрембальдов Брюггских (в масштабе весьма незначительном).

Когда Ламберт, проявляя вполне исторический подход, рассказывает о сеньорах Ардра, он не щадит Арнульфа III Молодого (вторая четверть XII в.). Но критика по его адресу немного смягчена. Это был добрый рыцарь, со славным именем, щедрый и расточительный на турнирах и поединках за границами своей земли, но скупой дома^[648]. Щедро он расточал, похоже, только сперму, поскольку коллекционировал любовниц и бастардов. Вот странствующий рыцарь, не допускавший, чтобы знатная дама томилась от скуки! Впрочем, Арнульф III, ласковый и любезный с рыцарями, часто умевший привлекать благородные сердца, проявлял строптивость в отношении вассальной службы, каковой был обязан соседу, графу Гинскому, а с низшими и с подданными был горд, груб и жесток^[649]. В конечном счете его, сговорившись, убили собственные сервы — вскоре после подобной же кончины Карла Доброго в Брюгге.

Эти бароны с фламандской периферии по-настоящему подражали владетельным князьям, хоть и в уменьшенном масштабе. Можно догадаться, что им приходилось дозировать милости и, как любому правителю, поддерживать равновесие между разными источниками социального давления. Это были колоритные фигуры: один из них любил одновременно книги и охоту, любовниц и жену. Не обходились они и без строительства, воздвигая в этой стране в XII в. донжоны-резиденции, которые благодаря описаниям Ламберта Ардрского^[650] прославились в царстве историков. Это воздушные замки, лабиринты — при их упоминании у этого клирика, выходца из средних социальных слоев, у которого не раз, так сказать, прорывается неприязнь или зависть «Франции низов» к «Франции высших сфер», микрокосму турниров и дворов, можно ощутить толику иронии.

Его текст наводит меня на мысль, что, может быть, в конечном счете «простаками в фарсе», рыцарском и куртуазном, были не столько горожане, сколько селяне. В конце концов, очень похоже, что с XII в. городская элита жила в симбиозе со знатными рыцарями. Во время собраний двора она вкладывала в этих людей деньги, чтобы они могли делать покупки. Она рассчитывала и на доходы, которые все они вместе во главе с князьями извлекали из деревень, не столько освобожденных, сколько попавших под сеньориальную власть нового типа — «объячеенную» (*encellulée*)^[163], по выражению Робера Фоссье^[651]. Только у городов были настоящие вольности, привилегии именно для элиты, заинтересованность в продаже высококачественного оружия и одежды. С чего им было ненавидеть все рыцарство?

КУРТУАЗНЫЕ ИГРЫ И ФЕОДАЛЬНЫЕ СТАВКИ

Ламберт Ардрский — хронист очень ценный, потому что он почти единственный^[164] в XII в. попытался рассмотреть ситуацию в местном масштабе, на уровне почвы, а значит, увидеть мир турниров и дворов «снизу». В этом смысле его «История» контрастирует с «Историей» Гислеберта Монского, написанной с очень «княжеской» позиции и свысока, и они убедительно дополняют друг друга благодаря географической близости Оно не очень далеко от Па-де-Кале). Читая Ламберта, не раз встречаешь полезные соображения о том, что в высших сферах учтивые отношения рыцарей и их болтовня с дамами могут скрывать латентные феодальные конфликты и иметь подоплеку.

Посвящения, которые проводил князь, репутации, приобретенные на турнирах (мнимые или реальные), могли становиться доводами в пользу *непосредственного* вассалитета, то есть отказа приносить оммаж кому-либо, кроме регионального князя. Еще в первом феодальном веке эту тенденцию можно отчетливо заметить у Гуго Хилиарха де Лузиньяна^[652]; еще ясней она выражена в отношениях графов Гинских и сеньоров Ардра. Сыновья Арнульфа II Ардрского приобретали рыцарские навыки при дворе графа Фландрского (до или после трагедии 1127 г.). Из-за пребывания в столь знатном обществе они «раздулись от спеси» и больше не захотели нести вассальную службу соседнему графу Гинскому, хоть он и имел более высокий ранг, чем они^[653]. Они сочли себя равными этим графам, первого из которых, согласно Ламберту^[654], в свое время посвятил граф Фландрский. Они как бы слегка зазнались, слыша, как высшее общество величает их «пэрами» или «рыцарями-соратниками» (*commilitones*)... Но, похоже, в то время (середина XII в.) споры о старшинстве велись систематически. Хроника Ламберта Ардрского подробно и в общем довольно внятно рассматривает такие споры между графствами и сеньориями этих мест — юго-западной, франкоговорящей окраины Фландрии. Тут присутствовали, если начинать перечисление с самых могущественных, графы Булонские и Гинские, сеньоры Ардра, Энена, Слэйса. Все находились на разных уровнях или, точнее, перепад их уровней был небольшим, поэтому каждый пытался выровнять его в выгодную для себя сторону, принося оммаж по возможности тому, кто выше всех. Сеньоры Ардра «отпихивали» графов Гинских, чтобы принести оммаж в руки графам Фландрским и даже графам Булонским — которым графы Гинские отказывали в оммаже. Однако те же сеньоры Ардра тщетно требовали оммажа от мелких сеньоров Энена и Слэйса, которые спешили принести его графу Фландрскому...

В XII в., когда рыцарские дворы поощряли снобизм, сюзеренам было легко проводить политику переманивания арьер-вассалов — хотя она была несколько рискованной для всех, за исключением короля, который действительно активно прибегал к ней. Поскольку все это хорошее (и мелкопоместное) общество раздирали также споры о наследовании, о размежевании и мелкие счеты, то мелких местных войн велось немало. По крайней мере в 1120–1150 гг. Ламберт Ардрский отмечает в своем краю несколько таких войн, состоявших из набегов на вражескую территорию (с пожарами и ранеными), осад замков, быстро прекращавшихся, стычек, в которых кто-то мог и погибнуть, и, наконец, перемирий^[655]. Так, граф Гинский и сеньоры Ардра и Бурбура вели игру на троих, изобилующую неожиданными поворотами. Однажды оба последних сдружились благодаря заключению брака между выходцами из их семейств: «У обоих отныне было единое сердце и единая душа», как пишет Ламберт, применяя синкретичную формулировку, какой в тысячном году еще обозначали дружбу^[656] и которая в свое время послужит для определения куртуазной любви^[657]. Поэтому оба сеньора, объединившись, напали на графа Гинского, то есть «разорjali бедняков,

людей низкого звания» на его земле, оставляя замки и укрепления графа совершенно нетронутыми^{658}. Вспомним, что «Ведастинские анналы» точно так же описывают поход короля Эда в Аквитанию в 889 г.^{659}

Таким образом, угнетенные крестьяне второго феодального века не всегда могли явно ощутить на себе культуру нравов. Однако некий более высокий уровень жизни и отношений, откуда грубость как будто отчасти изгнали, отныне существовал. В то же самое время, когда на местах, с перерывами или в сезонном режиме, шла феодальная война, за пределами ее театра рыцари Гина и Ардра вполне умели себя вести. «Когда они где-либо находились совместно, при дворе или во дворце, на турнире или на приеме, но за пределами земли Гина, люди из Ардра проявляли такую же услужливость по отношению к графу и его людям, каковую строптивость и норов выказывали на самой земле». И наоборот: «Сколь люди из Гина в своем краю, имея или не имея на то основания, показывали себя суровыми и жестокими по отношению к людям из Ардра, столь же радушно и мирно они взирали на последних, встречая их за пределами края, и становились по отношению к ним кроткими и приятными во всем»^{660}. Все это смахивает на состязание в вежливости, великодушии после совершения дурных поступков друг по отношению к другу (порой в прямом контакте). Ламберт Ардрский как священник придает всему этому некоторый религиозный оттенок — он заимствует у святого Петра (Послание к римлянам, 12:10) выражение, призывавшее первых христиан быть милосердными меж собой: «В почтительности друг друга предупреждайте». Возможно, этим близким соседям все-таки было выгодно помогать друг другу, узнавать друг в друге земляков, когда они имели дело с менее близкими соперниками.

Само по себе это поведение достаточно понятно. Может быть, оно стало обычным еще в первом феодальном веке, когда враждебные действия на некоторых театрах войны уже были ограничены и чередовались с церемониями и беседами в тех местах, куда ходили безоружными и где вели мирные переговоры. Зачем нападать друг на друга, если под рукой нет крестьян, которых можно грабить и избивать в качестве косвенной мести?

Однако на *plaid'ax* тысячного года сеньоры и вассалы могли и даже должны были демонстрировать поочередно гнев и мягкость, в результате чего их переговоры кое-как продвигались. Из того, что описано на этой странице Ламберта Ардрского, к реалиям, которых раньше не было, несомненно, можно отнести появление в жизни знати отчетливой границы между грубым нижним этажом и учтивым верхним, заметную во многих внешних встречах, которые, конечно, являют резкий контрапункт малым междоусобным войнам. Ламберт Ардрский не только отмечает, что при дворе, на пиру, разговаривали, вместо того чтобы сражаться, а оружие временно откладывали в сторону. Он описывает настоящий куртуазный стиль в том смысле, в каком понимаем его мы, с демонстрациями дружбы и даже с «рыцарским» забвением того факта, что тебе не захотели присягнуть. И привносит сюда даже некоторые преувеличения, завышенные оценки, во многом гармонирующие с той рыцарской культурой спектакля, которую мы то здесь, то там обнаруживаем с середины XI в. Надо признать, что это напоминает игру, почти насмешку — кто-нибудь мог бы сказать: «карнавальную инверсию».

Ведь теперь перемирие означало прекращение не только сражений, как в первом феодальном веке, а еще и споров. Им уделяли место только на специальных судебных заседаниях двора князей, они больше не пронизывали всю общественную жизнь. Учитывая услужливость по отношению к людям Гина в дни больших турниров ни к чему не обязывала рыцарей Ардра; надеемся, она создавала и оберегала атмосферу непринужденности, не придавая поведению тех и других оттенка едкой иронии. В первом феодальном веке, до судебной мутации «тысяча сотого года» и начала специализации судов, до появления

куртуазии, подобную демонстрацию вполне могли бы принимать всерьез, как всякий аспект, всякое выражение отношений сеньоров и вассалов.

В отношении Энена и Слэйса Ламберт Ардрский убедительно показал, что конфликт отнюдь не забывался, даже когда его участники виделись и встречались при дворе графа Фландрского. Арнульф II Ардрский в начале XII в. добивался там поддержки знати, чтобы переломить упрямство обоих сеньоров, не приносящих ему оммаж^[661].^[165] Увы — события развивались так, как было выгодно графу Фландрскому. Притязания Ардра остались тщетными. В следующем поколении на сцену выступил Арнульф III. Он был «лучшим рыцарем земли Гина» и в самом деле был молодым сеньором этой земли, а значит, рыцарем самым высокородившим, лучше всех экипированным, самым восхваляемым. При фландрском дворе, дворе графа Тьерри (1128–1168), его юношеская порывистость производила эффект. На Эсташа Эненского он бросал «резкие», то есть оскорбительные взгляды — стало уже не до шуток. На суде он вызвал последнего «на поединок за уклонение от оммажа». Он заявил об «уклонении», то есть неверности, чуть ли не об измене? — в рыцарской среде такое обвинение было очень серьезным. Однако Евстахий сохранил поддержку со стороны графа, и поединок не состоялся — как не состоится и в дальнейшем^[166]. По мнению Ламберта Ардрского, излагавшего ту интерпретацию, которую предпочла челядь его сеньоров, Евстахий потерял лицо, позорно бежав. Тем более что тот же сценарий чуть позже повторился при дворе графа Булонского, другого их сеньора^[662]. Впрочем, устроив один такой скандал, потом другой, Арнульф III Ардрский не добился ничего — кроме осуждения со стороны обеих высших властей региона, как мог бы написать хронист сеньоров Энена, если бы он существовал! И при этом сеньор Ардра, несмотря на проверенную (или дутую?) рыцарскую репутацию, станет говорить и думать о себе как об обиженном вассале, начнет слушать «жесты» вроде «Гормона и Изамбара» или «Рауля Камбрейского» и в конечном счете отождествит себя с их героями, мечтая о мятежах, вместо того чтобы устраивать их.

Ламберт Ардрский слышал (или придумал) легенду об Арнульфе I Ардрском, который в середине XI в. (*sic!*) якобы приобрел репутацию непревзойденного турнирного бойца, а благодаря ей — любовь королей Франции и Англии и чрезвычайное уважение со стороны графа Булонского. И последний будто бы сделал его судьей и сенешалем своей земли, отдав ему в лен Энен и Слэйс^[663].^[167] Это придает ему сходство с Жилиями из Эно (сеньорами Шина и Сент-Обера^[664]), жившими уже в XII в. Отныне в «представлении социума» положение какого-либо сеньора, его замки, его женщины уже выглядели заслуженной наградой не только за героические битвы с норманнами или сарацинами, но и за спортивные и светские достижения — турниры и хорошие манеры.

А какой на самом деле была роль женщин при этих дворах, где то усваивали рыцарские навыки, то судились из-за оммажа, то праздновали посвящения, то назначали поединки, которые не состоятся? Особо она не повысилась, если учесть, сколь сравнительно важной она уже была в посткаролингском обществе первого феодального века^[665]. Ламберт почти ничего о ней не пишет, рассказывая о временах до 1190 г. Заслуженные рыцари Ардра и Гина, угнетавшие край столько же и более, чем защищавшие, похоже, были слишком озабочены спорами из-за старшинства, когда встречались при княжеских дворах. До того ли им было, чтобы завязывать любовные отношения (которые Вас называет *drueries*^[666]) с дамой более высокого ранга, которые бы побуждали их приумножать славу, состязаться меж собой и требовали настоящей верности в обмен за редкие телесные вознаграждения? Нет, большинство предпочитало проявлять невоздержность своих чресл на местах. Они

брюхатами красоток более низкого положения и имели от них незаконнорожденных детей, которых старались, если это были мальчики, вывести в рыцари или в духовенство, а если это были девочки — повыгодней выдать замуж. Единственным, кто всерьез (хотя и задним числом) показал привязанность к супруге, был Балдуин Гинский. Несмотря на прежние похождения, он был потрясен смертью жены в 1177 г. и пережил нечто вроде обращения в христианское рыцарство, в каролингском понимании. Он стал заботиться о защите вдов и сирот, которые, подобно ему, потеряли дорогое существо. Далее Ламберт Ардрский уточняет, что речь идет о *благородных* вдовах и сиротах, которых разорила расточительность родственников — и, может быть, рурализация в духе Вандома^{667}, когда войны между соседними замками стали все большей редкостью? Балдуин Гинский помогал им, забирая к себе, то есть к своему баронскому двору^{668}, где щедроты барона укрепляли его власть над знатью.

Кстати, эта оплакиваемая супруга была не кем иным, как наследницей сеньории Ардр, присоединенной таким образом (путем брака) к графству Гин после десятилетий малых войн. Ведь браки знати в XII в. заключались не столько по искренней любви, сколько из феодальных соображений. Впрочем, брак Балдуина Гинского с Кретьенной Ардрской отражает новую тенденцию, отличающую второй феодальный век, который начался после тысяча сорока года, от первого. Отныне выгодных наследниц получали старшие сыновья, которые сами наследовали основную часть отцовской сеньории. Лучшей и важнейшей иллюстрацией к этой тенденции служит на более высоком уровне история графов Анжуйских. Жоффруа Плантагенет в 1127 г. женился на наследнице Нормандии (Матильде, дочери Генриха Боклерка), хотя у него был младший брат, Эли. В следующем поколении Алиенора Аквитанская, которая вначале была женой короля Людовика VII (а не кого-либо из его братьев), затем вышла за Генриха Плантагенета, а не за второго сына Жоффруа и Матильды — хотя и тот не внушил бы ей отвращения! Отсюда — слияние княжеств и сеньорий, процесс концентрации, возможность для которой давало укрепление администрации (служащих князя или барона, способных его замещать в его отсутствие) и которая в свою очередь ускоряла такое укрепление. То есть не только стало явственным преимущество потомков по прямой линии над побочными, заметное уже в первом феодальном веке, но и внутри самой прямой линии начали выдвигаться старшие дети.

А вот Арнульф Гинский, сын Балдуина и Кретьенны. Это современник Ламберта Ардрского, и тот дает нам возможность проследить за его первыми шагами как рыцаря, не проявляя чрезмерной снисходительности. Прежде всего Арнульф прошел инициацию на «бугуртах и турнирах» в свите Филиппа Эльзасского, графа Фландрского, еще до посвящения. В нем, само собой разумеется, уже был виден лучший из знатных юношей Фландрии, могучий боец, но также превосходный придворный, улыбчивый, щедрый и любезный. Тем не менее отец предпочел посвятить его сам, на Пятидесятницу 1181 г., чем оставлять заботу об этом и политическую выгоду от этого графу Филиппу^{669}. Арнульф был еще молод и подвержен влиянию разных советчиков. Один из них пытался формировать его характер с помощью таких педагогических приемов, как игры и шутки, рассчитанные на то, чтобы лучше развить его мышление, и не забыл ему сказать, чтобы тот потребовал от посвятившего-отца сеньорию Ардр в качестве доли наследства заранее, что действительно было распространенным обычаем. Другой ментор, мудрый Арнульф де Кайё, дал ему собственного племянника в качестве инструктора для подготовки к турнирам: это в самом деле был в некотором роде *тренер*, только-только покинувший «команду» Генриха Молодого, где он неизбежно должен был общаться со знаменитым Вильгельмом Маршалом, либо как с другом, либо как с соперником. Очень скоро пошла молва, что молодой расточительный ветреник настолько к

нему привязался, что дал ему прекрасный фьеф. В окружении Арнульфа и вместе с ним приобрела известность настоящая ватага турнирных бойцов из земли Ардр, и эти молодые отпрыски рыцарских семейств в какой-то мере напоминают *комитат* у германцев, разве что жизнью они не рисковали (не считая случайных инцидентов).

Тогда Арнульф стал ездить по турнирам, и Ламберт Ардрский не говорит, восхищал ли тот высокородных зрительниц, готовых отдать рукав, чтобы таковой стал ставкой в игре и эмблемой. Нет, он только рассказывает, что слава Арнульфа росла и дошла до одной знатной «вдовы», графини Иды Булонской, наследницы, уже оставленной двумя мужьями из-за ссор и под всегда удобным предлогом кровного родства. Какое-то время она, как полагалось, смиряла плоть, но потом, «по женскому легкомыслию, подлинному либо притворному и деланному, выказала любовь к оному мессире Арнульфу Гинскому». То есть инициатива исходила от нее. «Он, как мог, старался быть с ней любезным; они обменивались условными знаками и тайными посланиями, дабы сообщать друг другу о взаимной любви. Так мессир Арнульф полюбил ее в ответ, во всяком случае сделал вид, что влюблен, из мужской хитрости и рассудительности»^[670]. Правду сказать, особую привлекательность графине Иде придавали наследуемые земли Булонне, которые ее муж мог получить как служащий рыцарь^[168], и это давало упомянутой даме определенную свободу действий, когда речь заходила о повторном браке. Если здесь и была куртуазная любовь, несколько напоминающая любовь в романах, она преподносится как притворная, рассчитанная на материальную выгоду.

Сама Ида Булонская была Селименой^[169] побережья Па-де-Кале — разве что ее окружение не делилось на сторонников двух политических линий или колебавшихся между таковыми. Она поощряла двух соперников: нашего Арнульфа, которого поддерживал граф Филипп (Фландрский), и Рено де Даммартена, которого поддерживал король Филипп Август. Однажды она позволила пригласить себя в Ардр, но, увы, у Арнульфа не хватило дерзости, вот его и опередили: Рено де Даммартен решительно похитил эту даму, «взял ее с собой, наполовину силой, наполовину с ее согласия», она притворилась, что сопротивляется, позвала на помощь Арнульфа, и этот простак гнал за ними со своей бандой до самой Лотарингии, где один епископ, друг Рено, захватил его в плен. Ланселота Озерного из него не получилось! По счастью, графы Гинские обладали кое-какой сметкой: Балдуин водил дружбу с архиепископом Реймским, тот вмешался, и молодого человека выпустили... И священник Ламберт Ардрский выводит из этого назидание: Арнульф Гинский заслужил свое злосчастье, потому что дал крестоносный обет, даже собрал десятину под этим предлогом, а вместо того чтобы отправиться в Иерусалим, истратил эти деньги на турниры, запрещенные во время крестового похода. И еще припечатывает: во время лотарингского пленения Арнульф Гинский не получил-де помощи ни от кого из тех, кому прежде оказывал великие щедроты за счет местных податных.

Стал ли тот благоразумней, вернувшись? Едва ли. Отныне он следовал указаниям отца во всем, «кроме как в отношении турниров и расходов», то есть главного в своей жизни. Осенью 1190 г. понадобилось три дня дождя и сильного ветра, когда было носа не высунуть из прекрасного донжона-резиденции в Ардре, чтобы он вместе с другими молодыми людьми согласился выслушать, как старшие рыцари перескажут всю великую литературу XII в. — эпопеи и романы^[671]. И эта-то молодежь отождествляла себя с героями, которые не позволяли себе ни попадать в плен к церковникам, ни освобождаться из него благодаря папиным связям!

На самом ли деле они столько дней слушали рассказы? Или это только сюжетный ход,

позволивший священнику Ламберту упомянуть свою книгу в числе величайших и перейти к истории сеньоров Ардра? Неизвестно. Во всяком случае далее в книге рассказано, что в конечном счете Арнульф сочетался браком с наследницей Бурбура, Беатрисой, лучшей для него партией после графини Булонской и, похоже, не столь разнузданной кокеткой, но «красивой и мудрой»^{672}. Что ж, все к лучшему!

МИЛОСЕРДИЕ ЖОФФРУА ПЛАНТАГЕНЕТА

Однако в высших сферах в XII в. не все было так идиллично. Задние мысли, двусмысленные подходы еще во многом определяли отношения между вассалами или соратниками одного и того же князя, одного и того же барона, между ними самими и их вассалами. Само по себе это было не ново: еще в отношениях королей и лейдов VI в., герцогов и магнатов XI в. могли ощущаться то холод, то тепло, быстро сменяя друг друга. В XII в. хронисты уже старались изображать князей цельными натурами в том или ином духе, то есть по-настоящему милостивыми или по-настоящему суровыми, — даже если их собственные тексты порой намекали на некие нюансы и сложности.

Галерею портретов суровых князей открывает книга аббата Сугерия «Жизнь Людовика VI Толстого», написанная около 1144 г. Она превозносит величие, неумолимую справедливость короля, «викария Бога», благодаря миропомазанию наделенного совсем иными рыцарскими качествами, нежели мирские рыцари, самовлюбленные и легкомысленные. Многие ее главы задуманы как рассказы о справедливом возмездии, в каком-то нет места слабости, потому что королевская справедливость — земная копия Божьей^[673]. Однако по существу речь идет всего лишь о феодальных войнах, во время которых разоряли земли «тиранов» (мятежных сеньоров из королевской Франции, действующих при поддержке соседних князей) и ненадолго осаждали некоторые из их замков. Тем не менее весной 1111 г., когда поход многочисленного оста, включавшего рыцарей короля и пехоту, руководимую священниками, закончился победоносным штурмом замка (прежде всего благодаря пехотинцам), Людовик VI поспешил взять Гуго дю Пюизе в плен, спасая от черни, и пытался (тщетно) сделать из него союзника против графа Блуаского^[674].

Похвалы суровости в книге Сугерия свидетельствуют прежде всего о теоретических воззрениях самого автора. Их явно переняли клирики других князей, как Гислеберт Монский, писавший в 1196 г. Гислеберт несколько раз выражает тревогу в связи с существованием башни Авен-сюр-Эльп, возведенной в 1106 г., видя в ней опасный вызов власти графов Эно. Балдуин III отреагировал быстро: он захватил в плен ее сеньора, Госсюэна, но, увы, «вняв мольбам знати, своих верных», был вынужден его отпустить. Он довольствовался тем, что обстриг тому бороду, что, конечно, не стало проявлением хороших манер, но в конечном счете этот не слишком вежливый поступок не повлек непоправимых последствий и не помешал Госсюэну завершить строительство донжона Авен. Результатом этого стала череда конфликтов и возобновляющихся процессов, которые тянулись минимум до 1147 г.^[675] Окружение графа находило сеньоров Авена очень неудобными соседями, а эти потомки Герри Рыжего^[170], вероятно, считали себя обиженными вассалами, пока в 1210 г. один из них не женился на наследнице графства Эно, совсем юной девушке, отданной на его попечение.

В этом имперском княжестве с 1120 по 1190 г. издавались законы о мире. Балдуин IV и Балдуин V по примеру императора (Фридриха Барбароссы) хотели искоренять преступность и разбой, невзирая на лица, то есть не щадя влиятельных людей. Так, второй не миловал даже родню самых знатных вельмож, если верить Гислеберту Монскому: по его словам, любому разбойнику грозили смерть или увечье. Демонстрируя рыцарские качества перед посвящением в 1168 г., Балдуин V не стал притязать на чьи-то владения или мстить другим феодалам, а устроил гонения на подлых воров — вешал их, жег, топил, закапывал в землю живьем^[676]. Что, действительно всех без исключения? Далее все-таки можно прочесть: «знатный человек, убивший или изувечивший крестьянина, мог получить прощение от графа,

если близкие родственники жертвы соглашались на это»^[677], так что за будущее знати Эномы можем быть спокойны. Тем более что тем временем граф повез молодых наследников на большие турниры во Францию и Бургундию, а на праздниках при своем дворе демонстрировал очень куртуазные манеры, ласково беседуя со знатью. На это стоит обратить внимание — не для выявления контраста с более «варварским» прошлым, как сочла бы старая историческая школа, а скорее чтобы отметить различие между Балдуином и императором Фридрихом Барбароссой. Герд Альтхофф недавно подчеркнул, что последнего часто хвалили за справедливый гнев, даже некуртуазный^[678], даром что он в конце царствования устроил в Майнце в 1184 и 1188 гг. пышные придворные празднества по случаю посвящения сыновей со всевозможными щедротами и турнирами^[679] [171]

Но по-настоящему блистательным и милосердным князем XII в. во Франции был Жоффруа Плантагенет. Ничто не сравнится с его анжуйской милостью в отношении рыцарей (и даже клириков и народа), если верить «Истории», которую около 1170 г. написал о нем турский монах Жан из Мармутье. Жоффруа был графом Анжуйским с 1129 по 1151 г., герцогом и властителем Нормандии с 1144 г., и в наших исторических книгах его по многим причинам считают образцом французского рыцаря XII в. Часто воспроизводят пластину с его надгробия, выполненную между 1160 и 1165 г.: на ней изображен его лазоревый щит с шестью золотыми львятами, который упоминает и Жан, так что герб Жоффруа — один из самых старинных, какие известны точно^[172]. В его лице славят отца и деда великих монархов, одновременно столпов и светочей рыцарства и даже кумиров трубадуров второй половины XII в. — Генриха Плантагенета и трех его сыновей от Алиеноры Аквитанской, то есть Генриха Молодого, Жоффруа Бретонского и Ричарда Львиное Сердце. Наконец, рассказ о его посвящении в 1128 г., написанный Жаном из Мармутье лет через сорок-пятьдесят (1170–1180), — блистательный текст со сказочно красивыми описаниями омовения посвящаемого и передачи оружия.

Появление этого обряда означает, что перед нами уже развитая куртуазная культура. Юноша как будто вышел прямо из какого-нибудь романа Кретьена де Труа — или готов вступить в него. Он похож на Эрека или Персеваля как родной брат. Какова «историческая ценность» сцены посвящения, которую Жан помещает в начало своей «Истории Жоффруа Плантагенета» и на которой мы ненадолго остановимся? Несомненно, это не точная фиксация хода событий 22 мая 1128 г., а скорее свидетельство (в числе прочих) того, чем за 40 лет обогатились церемонии посвящения. Монах Жан еще не упоминает удар посвящаемому (*colee*) (какой получил Арнульф Ардрский в 1181 г.^[680]) и не пытается задействовать христианскую религию и служителей Церкви, как это делают Ламберт Ардрский и другие авторы 1200-го г. С другой стороны, Жан из Мармутье как будто несколько преуменьшил роль короля-посвятителя, Генриха Боклерка, изобразив его всего лишь председателем на церемонии: оружие взято из его сокровищницы, но мы не «видим», чтобы он сам вручал это оружие. А ведь в реалиях 1128 г. это посвящение было важно в феодальном отношении, поскольку Генрих тем самым назначал Жоффруа наследником, по крайней мере одним из наследников. Законный сын герцога-короля к тому времени уже умер; Генрих повторно выдал замуж дочь, однако открыто не отказал племяннику, Стефану Блуаскому, в праве ему наследовать. Монах Жан из Мармутье предпочитает описывать эпизод из рыцарской жизни, «крупным планом» показывая своего героя, его красивую осанку, прекрасные манеры.

Пролог к «Истории Жоффруа Плантагенета» сразу же настраивает на определенный лад: он возносит похвалу князю, конечно, сильному и справедливому, но отличающемуся умеренностью в отношении побежденного противника^[681]. Жоффруа с юности обладает

всем набором традиционных княжеских достоинств, к которым добавляются веселый нрав, особая «любезность в обращении с рыцарями»^[682].

Генрих Боклерк услышал похвалы достоинствам юноши — не включил ли он Жоффруа прежде всего в свои политические расчеты? Итак, он выбрал того в зятя и позвал к себе в Руан. Жоффруа явился туда с большой помпой, в сопровождении пяти баронов, двадцати пяти ровесников и целой свиты. «Король» (Англии) усадил его рядом с собой, расспросил, чтобы проверить его мудрость, и отметил его умение быть сдержанным в разговорах. «На следующий день юноша искупался, как требовал обычай при вступлении в рыцари, и нарядился»^[683]. Правду сказать, такой обычай упомянут здесь впервые, но нередко на традицию ссылались, вводя нечто новое. Возможно, существование этого самого обычая Жан из Мармутье и хотел подтвердить в 1180 г. Имело ли это предварительное очистительное купание символический смысл, было ли оно знаком некоего рождения заново? Может быть, и так, равно как и при крещении, отголоском которого в какой-то степени было рыцарское «посвящение в сан» (*ordination*), как говорили при дворе Плантагенетов. Но бесспорно ли это? Предложить молодому человеку, только что проделавшему долгий путь, помыться — проявление предупредительности, нормальная прелюдия к вручению красивых одежд.

Облаченный в золотую парчу, пурпур и шелка, Жоффруа купался в той самой роскоши, которую как раз поносит святой Бернар Клервоский^[684]. Он был окружен спутниками; вместе с ними он вышел к публике. «Им подвели коней, принесли доспехи и распределили между ними сообразно надобности». Потом Жоффруа сам, совершенно самостоятельно, облачился в кольчугу и шоссы. Чтобы надеть шпоры, щит и шлем, он нуждался в помощи, но Жан из Мармутье не уточняет, кто оказал ему ее. Наконец ему протянули копье и меч, причем последний по такому случаю был взят из королевской сокровищницы. Вот то, что называется сказочным подарком, ведь этот меч, говорят, был выкован в очень древние времена лучшим из кузнецов, «Галаном» — кузнецом из «жесты». Жоффруа Плантагенета это не слишком отяготило: он сразу же вскочил на быстрого коня без помощи стремян. «Сей день вступления в ряды рыцарства, посвященный чести и веселью, прошел в воинских упражнениях и в роскошных пирах»^[685]. И так целую неделю.

Под двором здесь понимается не что иное, как пышный праздник, расточение щедрот, показательные роскошества за счет английского короля. После этого Жоффруа Плантагенет продемонстрировал сноровку в верховой езде, то есть умение держаться в седле и одновременно управлять конем, немного похожие на те навыки, какие в описании Рихера Реймского проявил юный Людовик IV Заморский, высадившись в своем королевстве в 936 г., в сцене обретения королевского сана (но не посвящения), на фоне прибрежных скал Виссана^[686]. А вот упражнения с квинтиной, даже турнирные, которые монаху из Мармутье не приходится в голову назвать «мерзкими», несмотря на решения соборов своего времени.

Итак, рыцарский сан — это «щедрота» тестя, оказанная зятю. И Жан из Мармутье делает всё, чтобы церемония выглядела коллективным увеселением, включала бы молодого князя в некую социальную группу, делала его почти равным другим рыцарям, посвящаемым с ним вместе. Далее, в течение всего периода, известного нам по «Истории Жоффруа»^[173], ему надо будет по-особому относиться к ним, оказывать им исключительное внимание. Это посвящение ввело форму общения для рыцарей. Оно оказало решающее влияние на политику графа Жоффруа или по меньшей мере на круг его политических отношений, ориентируя их совсем в другом направлении, чем королевское миропознание в «Жизни Людовика VI» Сугерия, для которого по старинному обычаю были характерны обещание покровительствовать церквам и пауперистская этика. Речь идет уже не только о том, чтобы

гарантировать рыцарям их *права*, но и о том, чтобы оказывать им *милость*, расточать им щедроты и проявлять в их отношении хорошие манеры. Правда, внимания Жоффруа удостоятся и представители других социальных категорий — два клирика, один угольщик, — но это никогда не будет делаться в ущерб классу рыцарей, которых не порицают как антагонистов или истязателей этих людей. А когда упоминаются угнетатели слабых, виновники несправедливостей, то отныне это собственные прево Жоффруа, главы его администрации, действующие без его ведома.

Здесь, правда, рыцарство думает только о самом себе. Посвящение Жоффруа Пантагенета выглядит не чем иным, как предложением заслужить уважение других рыцарей — подвигами, милосердием, щедростью. И никаких рассуждений о его социальной полезности для защиты тех, кто в нем нуждается, или о служении государству — вопреки желаниям других клириков двора Пантагенетов, современников Жана де Мармутье, выраженным с беспрецедентной силой^[687].

Спустя недолгое время после посвящения граф Жоффруа отправился на турнир между бретонцами и нормандцами — слишком кровавый для реального и откровенно вымышленный, потому что Жан из Мармутье описывает участие в нем несчастного Вильгельма Клитона, который как раз тогда вел во Фландрии свой последний бой. Во всяком случае, Жоффруа сделал красивый жест. Как зять герцога Генриха он должен был сражаться на стороне нормандцев вместе с племянниками последнего; пусть даже они были его соперниками в качестве претендентов на наследство, тем более нельзя было позволить, чтобы только они выглядели защитниками чести Нормандии. Но Жоффруа заметил, что бретонцы в меньшинстве, и стремление к некой *fair-play* побудило его примкнуть к ним, чтобы уравновесить силы. После этого он принес им победу, выиграв смертельную схватку с великаном, отчасти благодаря сверхмощной броне своего доспеха и в духе своего предка, графа Жоффруа Серого Плаща, как о том рассказывает «История графов Анжуйских»^[174].

Согласно Жану из Мармутье, в его герое сочетались достоинства храбрости и мудрости, каковым сочетанием обладали не все его предки. Однако девиз его правления был взят не из Библии^[175]. Он проистекал из «философии», в данном случае из «Энеиды» Вергилия, и имел совершенно римский характер: «*Parcere subjectis et debellare superbos*» (щадить покорных и усмирять гордых). Правду сказать, он не был ни слишком ясным, потому что все дело в интерпретации и дозировке, ни слишком новым, потому что соответствовал практике общества мести, как и Библия после Хлодвига. По сути он был выбран из некоего снобизма, так как в XII в. на Луаре все, включая рыцарей, любили считать свою эпоху возрождением Рима. Отныне этот девиз в качестве *лейтмотива* сопутствовал сугубо рыцарским поступкам Жоффруа Пантагенета. Или, скорей, сделался его лозунгом, чтобы своей внушительностью компенсировать отсутствие таких случаев, когда бы граф полностью усмирил гордых!

Это красивое милосердие проявлялось прежде всего в отношении пуатевинцев, то есть противников из *соседней* провинции, что, как мы знаем, было совершенно обычным делом. Эти люди в основном были «довольно свирепы, но более смелы, чем упорны», и здесь монах Жан перенимает анжуйское высокомерие у авторов «Истории графов Анжуйских», проявленное в рассказе о битвах XI в., в котором эти противники выглядят самонадеянными фанфаронами^[688]. Здесь речь идет всего лишь о заурядной феодальной войне, с набегам и стычками. Пуатевинцы заняты нападениями «на него» (на графа Жоффруа или, скорее, на его крестьян), и он отвечает им тем же — или, вернее, отплачивает в двойном размере, потому что наносит им поражение и при этом по-настоящему мстит (их крестьянам). И вскоре для одного пуатевинского отряда дело оборачивается плохо: четыре рыцаря попадают в плен.

Жослен Турский, захвагивший их, — сенешаль Анжу. Он запрашивает у графа Жоффруа инструкции. «Надо ли отпустить их временно, но в обмен на заложников, или же, назначив точный выкуп, положиться на их честное слово?»^[689] В первом случае еще следовало провести переговоры о сумме выкупа, во втором сделка была бы заключена и оставалось довериться их слову рыцарей. Но граф Жоффруа ни под каким предлогом не хочет выпускать их на свободу, потому что война тогда затянется. В результате Жослен остается в очень затруднительном положении с пленниками на руках. И он придумывает «ложь во спасение». Тут читатель настоящего труда, любитель чудес тысячного года, возможно, станет ожидать, что какой-нибудь святой Божий «устроит» им побег. Но нет, здесь этот читатель получит возможность присутствовать при небольшой игре, которую ведут меж собой *джентльмены* XII в., слушать отточенные диалоги с нюансами обращения на «ты» и «вы», видеть мизансцену, которая, как и на других страницах, придает «Истории» Жана де Мармутье нечто театральное. Ее, несомненно, можно было бы инсценировать.

Жослен Турский обращается к пленным рыцарям. Хотят ли они вновь обрести свободу, да или нет? Они сначала не торопятся отвечать и вступать в беседу, полагая, что он насмехается, и опасаясь графа Анжуйского. Наконец они понимают его план, рассчитанный на то, чтобы сыграть на тщеславии, сострадании или классовом сознании Жоффруа Плантагенета. «Вы сочините небольшое стихотворение о доблестях графа; для людей вашего края это легко, совершенно естественно для вас». Действительно, кто этого не знает? В Пуату со времен графа Гильома IX (1086–1126) вся знать — трубадуры, искушенные в плачах и сирвентах, причем больше, чем во владении оружием, как со своим комплексом превосходства считали анжуйцы. «Что до меня, — продолжает Жослен, — я приму его здесь, когда будет уместно. И в тот момент я найду повод, чтобы он выслушал вашу песнь. Я возлагаю надежду на своего сеньора, он добр, думаю, он сжалится над вами»^[690].

И в самом деле, Жослен устраивает Жоффруа в своем замке Фонтен-Милон превосходную трапезу, с изысканными блюдами, «доставленными Церерой и Вакхом», со всеми видами мяса и пряностей. В нужный момент он исчезает, чтобы вывести пленников из их тюрьмы и отправить их на этаж (помост) большого зала, в то время как граф проходит вниз. Услышав стих, в котором поют ему хвалу, тот поднимает глаза и осведомляется: кто это там наверху? Жослен объясняет: в честь такого радостного события, как приезд графа, он позволил пленным пуатевинцам увидеть немного света. Эта красивая инициатива как будто приводит Жоффруа в доброе настроение, и ему остается только расчувствоваться при виде этих рыцарей, грязных и неухоженных — такова судьба пленников — и совершенно отощавших. «Кто не испытывает сострадания к братьям по занятию, — говорит недавно посвященный граф, — у того слишком бесчувственное сердце. Если ты рыцарь, ты должен жалеть рыцарей, особенно когда они покорились. Пойдите к ним, снимите с них оковы; пусть они умоются и облачатся в новые одежды, чтобы могли усесться за стол вместе со мной»^[691]. Так что они присоединяются к Жоффруа и после этого слышат от него, что поступили дурно, напав на него и разорив его земли — за что Бог и предал их в его руки. Но он прощает их и как великодушный государь в конечном счете посвящает их заново, возвращает им коней и оружие, берет на себя расходы по их возвращению на родину. О выкупе больше нет и речи, тем более о возмещении убытков ограбленным крестьянам. Можно только восхититься щедростью Жоффруа Плантагенета и отметить, что, похоже, она окупилась, так как вчерашние пленники вызываются стать его вассалами под присягой. Он как добрый государь довольствуется обещанием, что на него больше не нападут^[176].

Этот красивый жест в Фонтен-Милоне приносит пользу и всегдашним противникам

Анжуйца: нанося урон графу, они поступали неправильно, но слишком испорченными рыцарями не были. Более того — даже в отношении собственных вассалов, когда они строптивы и позорят его, Жоффруа Красивый дает красивый пример великодушия. Вот рыцари, отступившие в свой замок Сент-Эньян, откуда постоянно нападают на «него». Даже за трапезой один из них поносит на словах графа Жоффруа, произносит почти что феодальное кощунство, заявляя, что наденет графу на шею раскаленное железное ожерелье и не снимет, пока оно не остынет от его жира... Предложение столь дикое, что другой вассал его осуждает. Он читает нотацию о том, что к сеньору надо питать уважение: «Наша ненависть справедлива, но разить врага мечом слова — недостойная месть»^{692} (возможно, кроме как — заметим мимоходом — в Пуату, у трубадуров). И потом, графу Жоффруа «нет равного среди земных князей»: этот обиженный рыцарь не лишил его своего уважения.

Поскольку этот диалог слышали на кухнях Сент-Эньяна, граф Анжуйский вскоре был извещен о нем. Он не сказал ни слова тем, кто передал ему эти речи. Но через некоторое время те, кто их произнес, во время нового набега были захвачены людьми графа. Он вызвал пленных к себе по очереди, начав с рыцаря, отчитывавшего своего собрата, чтобы заставить ругателя помяться ожиданием.

«Ты причинил мне беспокойство, опустошая мою землю, как мог. И это неправильно, если я не ошибаюсь [отметим-таки эту оговорку!]. Теперь, когда ты у меня в руках, скажи, в чем я неправ перед тобой. Что я тебе сделал?»

Собеседник трепещет, потому что он в плену. «Сам по себе я не гожусь для защитных речей, — говорит он, — и прошу у тебя только милосердия». И он получает его, в полной мере и даже с избытком, так как Жоффруа Плантагенет возвращает ему коней, оружие, все захваченное добро и даже велит своим прево вновь соблюдать его права. Граф также предлагает позже снова вернуться под его начало, чтобы стать причастным к его щедротам, его тайнам. Разве этот человек чести не «сохранил свою веру и мир в среде “ненависти”» (видимо, это слово — технический термин, означающий бесстрастную, контролируемую месть)? Он заслуживает, чтобы князь, им почитаемый, обошелся с ним как с гостем.

Очередь ругателя. Граф сразу же мечет на него «грозные взгляды». И тому не по себе. Возможно, он знает, и получше нас, что не один только Людовик VII способен калечить предателей. Он успокаивает себя лишь тем, что Жоффруа не накажет его дважды! Граф бросает ему в лицо оскорбление, которое тот произнес за глаза в своем замке. Тому грозит гибель, и он выдавливает из себя минимальное оправдание: «Я отозвался о тебе чрезвычайно грубо, но в моем сердце проклятия не было. Тем не менее делай со мной, что сочтешь нужным»^{693}. Душа у Жоффруа Красивого — красива, и он прощает, произнося благородные слова. Рыцарь сможет даже вернуться, чтобы потребовать суда, — но тогда он будет иметь дело со специалистами по феодальному праву, которые подарка ему не сделают. Как я уже отмечал в отношении Фландрии, отныне, в XII в., рыцари вполне могли быть взаимно вежливыми вне судебной сферы как таковой, четко выделившейся в то время. Было можно и нужно проявлять учтивость, не предвосхищая решений суда.

Жан из Мармутье явно не пытается искать христианских побуждений для милосердия графа, довольствуясь тем, что со всех сторон рассматривает вергилиевскую максиму. Он славит «благородный гнев льва», сочетающийся с «прекрасным милосердием слона». Итак, в плане милосердия идеал князя секуляризируется. Однако эти сцены и диалоги можно сопоставить со сценами и диалогами из «Чудес Богоматери», записанными около середины XII в. в Рокама-Дуре, Шартре и разных других местах. В обоих случаях христианин, оказавшись в опасности, уже не ссылается, как в тысячном году, на какие-то свои права, прочные или зыбкие, которыми он всегда пользуется совместно с кем-нибудь еще: он

предпочитает (или догадывается, что так будет лучше) принять позу просителя, молящего о пощаде. Он больше не взывает к закону, а полагается на милость. И в этом смысле Жоффруа Плантагенет — Дева Мария! По крайней мере так воссоздает его образ Жан из Мармутье.

Историки Нового времени часто соотносили быстрый рост популярности поклонения Деве Марии и возвышение куртуазной Дамы в сентиментальном XII в. Не слишком ли все-таки избито это сравнение? И, кстати, разве дам XII в. почитали больше, чем их прабабок тысячного года? Они всегда обладали властными полномочиями (власть их была очень относительной, но вполне реальной) благодаря системе родства по женской линии, укрепленной Каролингами, и феодальной мутации девятого года. И тот факт, что авторитет ученого права (римского) вырос, давал дамам возможность столько же потерять, сколько и приобрести^{694}. В «Истории Жоффруа Плантагенета», где посвящение играет намного более важную роль, чем свадьба, как раз можно отметить редкостное отсутствие женщин: они не выступают ни в ролях посредниц, ни в ролях вдохновительниц. Их не упоминают даже пуатевинские трубадуры!

Зато есть нечто общее между представлениями о роли Марии на небесах и куртуазного князя на французской земле. И мы только что затронули это общее, пролистнув страницу книги Жана из Мармутье. Обе этих власти несколько вольно относятся к закону, легко прощая тех, кто искренне, из сердечного порыва доверяется им. Им присущ некий произвол, их решения свободней, если посмею сказать, чем решения самого Бога — того самого Бога справедливой мести и обоснованного прощения, который в представлении людей раннего Средневековья надзирал за ними и карал их и чью роль на земле отчасти принимали на себя христианнейшие капетингские короли, вроде Людовика VI или Людовика VII.

Однако красивое милосердие графа Анжуйского не осуществляется однозначно по примеру Девы Марии. В целом рыцарство Плантагенетов имеет намного более профанные черты, чем королевское. Ни Бог, ни женщина-госпожа (Матильда или какая-либо другая) не оказывают решающего влияния на культуру политических нравов, которую восхваляет и идеализирует в своем герое Жан из Мармутье.

Период правления графа Жоффруа в Анжу изобилует конфликтами с вассалами, и соблазнительно^{695} сопоставить их с походами Людовика VI по своей королевской Франции (своему «домену»). Несмотря на бросающееся в глаза различие между монахами Жаном и Сугерием, здесь можно также заметить, что для распрей, как и для мести, у Людовика были юридически обоснованные поводы и что в осты кое-как набирали всадников и пехотинцев, в неравной мере горящих желанием рушить замки. Наконец, государь, объявляемый «победителем», щадил побежденного: в самом деле, не раз бывало, что оба договаривались сохранить лицо друг другу и не посягать на коренные интересы противника — в доброй традиции фэйды, которую здесь обнаружил Брюно Лемель^{696}. Тем не менее манера подачи и отбор материала у Жана из Мармутье существенно отличаются от таковых у Сугерия, даром что оба были монахами. Первый гораздо меньше говорит о причинах каждого конфликта. У него нет ни одной сцены обращения, например, обиженного вассала с прошением к князю, который в качестве судьи, равно как и Людовик VI, был здесь светской рукой Бога, а значит, никаких настоящих обличений «тиранства» сеньоров-шателенов — за единственным исключением Сюльписа Амбуазского, один раз заклеянного автором за разбой в манере, немного напоминающей сугериевскую^{697}. Только постоянное повторение вергилиевского лозунга, «*debellare superbos*» [смирять гордых], наводит нас на мысль, что имеются в виду неправые противники, мятежные вассалы. А те, вероятно, в свою очередь могли бы пожаловаться на нарушения своих прав князем, сходные с теми, какие допускает

«Карл Мартелл» в «Жираре Руссильонском»^{698}. Вот почему, несомненно, их восстания были во многих отношениях простительными. Так что, хотя автор, говоря о мятежах, использует для красоты стиля отдельные слова из римской лексики, действительность обычно была крайне далека от тех репрессий, которые соответствовали бы этим словам в Античности.

В таком случае милосердие графа Жоффруа можно было бы считать некой формой восстановления справедливости. Но Жан из Мармутье откровенно не желает развивать эту тему — он изображает такое милосердие как проявление принципиальной солидарности рыцарей.

Этот граф сохраняет свирепый облик только благодаря пыли в битвах. Он не король, но как будто сражается еще более рьяно, чем в свое время Людовик VI. Его неистовство несет смерть^{699} и побуждает его все больше рисковать — его пытаются выбить из седла, ему чудесным образом удается удержаться на коне^{700}, несомненно, благодаря луке по последней моде. Это настоящий боец: он бьется, можно было бы сказать, как лев, которого он сделал своей эмблемой и который вскоре превратится в леопарда.

Тем лучше, поскольку именно это нужно и, может быть, даже несколько в большей мере, чтобы отринуть всякую снисходительность по отношению к врагу, всякие опасения нанести излишний вред, всякие сомнения перед тем, как покарать по-настоящему. Когда при осаде замка Ги де Лавалья (Мерле) в 1129 г. «плебейский отряд», проявляя «жажду мести», «врывается, убивает гарнизон и устраивает пожар», что делает Жоффруа? Он держит совет со своей свитой (*mesnie*, приближенными), возможно, с некоторыми из тех, кого посвятили вместе с ним, «баронами», которые дважды упоминаются как находящиеся у него на службе (никто из них мятежей не поднимал). Наконец граф вступает в бой, но лишь потому, что «заботится о спасении рыцарей» (вражеских) и хочет «вырвать их из рук крестьян» (из собственного лагеря)^{701}. Так же он ведет себя в Монтрёй-Белле в 1151 г.^{702} Точно так же, повторим, поступал Людовик VI во время первой осады Ле-Пюизе весной 1111 г.^{703}

По сути мы имеем дело с феодальными войнами, в которых Жоффруа Плантагенет ведет себя достаточно традиционно, в духе Людовика VI, Вильгельма Завоевателя, всех региональных князей. Всякий раз его ост выдвигается и ведет разведку территории. Его продвижение замедляют соглашения, порой прекращающие конфликт, как в Партенё^{704}. Следующий этап — осада или скорее блокада. Иногда она выливается в конный бой, если осажденные делают вылазку и попадают в ловушку^{705}. Нередко «замок», в широком смысле слова, берут штурмом: так, люди графа захватывают городок Монтрёй-Белле. Но потом остается еще цитадель сеньора, нередко «чудесная башня»^{706}, какие из камня, все выше и выше и со знанием дела, возводит тогдашняя архитектура, переживающая быстрый прогресс (вспомните «романские» церкви) и финансируемая благодаря экономическому росту^{707}. Чтобы подорвать ее оборону, графу требуются мощные осадные орудия — требующие, камнеметы, мангонно, которые не установить без масштабных земляных работ. Решение дела путем переговоров могло бы сберечь время, деньги и человеческие жизни (не только простолюдинов). Поэтому крупным сеньорам, которых приходится осаждать уже в донжонах (несомненно потому, что раньше к соглашению прийти не удалось), как было в Туаре (1129 г.) или Монтрёй-Белле (1151 г.), ставят более жесткие условия, чем в случае быстрой сдачи: замок подлежит частичному сносу, одну из стен башни повреждают «в назидание» (но надолго ли?). Тем не менее обездоленным не становится никто: ни один из «мятежных баронов» никогда не падает столь низко, как Жирар Руссильонский, ставший угольщиком в лесу, и даже не подвергается временному изгнанию. Жоффруа Плантагенет проявляет неумолимость только по отношению к своему брату Эли, отбирая у него Мэн, хотя тот явно

предназначался ему, судя по его имени — он был назван в честь Эли, деда по матери («белого башелье», дорогого для Ордерика Виталия). Этой темы Жан из Мармутье, возможно, несколько избегает^[708].

Итак, если Жоффруа Плантагенет часто показывал себя снисходительным, это объяснялось также соотношением сил. Что касается вергилиевской максимы, «*debellare superbos*», то Жан из Мармутье, по сути, искажает ее смысл. В реальности его государь не делал никакого различия между смиренными и «гордыми»: последних он в конечном счете всегда прощал на условиях, конечно, разных, но никогда не кабальных. Анжуйское баронство отделялось «царапинами», спесь с него не сбивали^[177].

В нормандском походе с 1142 по 1144 г. ведущая нота — «гуманность» Жоффруа, он изначально^[709] — еще более явственно, чем имея дело с анжуйскими «мятежниками», — был настроен не причинять серьезного ущерба рыцарям короля-соперника (Стефана Блуаского). Это напоминает не столько войну, сколько операцию по переманиванию знати и духовенства на свою сторону. То есть здесь действовала норма, выявленная Мэтью Стриклендом: гарнизон не обязан держаться до последнего, если его сеньор или кто-либо другой достаточно быстро не придет на помощь^[710].

Вслед за Жоффруа и его сын Генрих Плантагенет не упускал случая расширить владения. Присоединив к Англии, чьим королем он был с 1154 г., четыре французских княжества^[711], он должен был создать настоящую администрацию, чтобы править с ее помощью. Он брал сыновей и дочерей сеньоров под опеку, якобы затем, чтобы они росли при дворе; тем самым он покровительствовал им и в то же время старался как можно дольше взимать доходы с их фьефов — это злоупотребление обличал Гислеберт Монский^[712].^[178] Благодаря своим доходам Генрих мог устраивать большие и пышные придворные праздники, как на Рождество 1182 г.^[179] в Кане, и привлекал на службу к себе или к сыновьям многих рыцарей, служивших из чести, и наемников, организованных в «руты», которые обычно вели жестокую войну.

Но мог ли Генрих Плантагенет расточать без счета? Расходы его старшего сына Генриха Молодого на турниры в 1170-е гг. вынудили его прекратить эту практику! И мог ли он удовлетворить всех? Его прево, юстициарии, сенешали и бальи расширяли свои права и вызвали такое недовольство, что в 1172 г. вспыхнуло восстание с участием всех его сыновей и жены Алиеноры Аквитанской, которых поддержали многие бароны, — а также добрый король Людовик VII. Однако от сражения эти мятежники уклонялись^[713]. Генрих Молодой не мог принять никакого решения, получая от своего окружения противоречивые советы, и в конечном счете Генрих-отец расколол единый фронт противников, используя то же вергилиевское сочетание суровости и милости, без которого доброму государю не обойтись. Верной их дозировке, конечно, приходилось учиться не столько по книгам, сколько из жизненного опыта, и он выбирал ее интуитивно. Все-таки случайно ли «История Жоффруа Плантагенета» была написана именно в тот период? Жан из Мармутье как будто предлагает Генриху взять за образец отца, который был милосерден, — так же как Сугерий, преследуя противоположные цели, около 1144 г. создавал для Людовика VII образ его отца, более энергичного, чем сын.

Генрих Молодой, вероятно, первым в своем роду стал с 1170 г. разъезжать по турнирам. В самом деле, непохоже, чтобы его дед Жоффруа Плантагенет действительно их посещал: страница из «Истории» о нем, упоминающая об одном турнире, как уже сказано, выдумана Жаном из Мармутье. Последний также говорит, что Жоффруа устраивал их «на границах Фландрии»^[714], — это снова ложь, но придуманная лучше, потому что там и впрямь находился один из их центров, и к этим местам относится первая достоверная запись о турнирах, сделанная Гальбертом Брюггским в 1127 г.^{[715],[180]} А ведь Фландрия была передовым регионом в плане подъема городов, ее князь очень рано и очень активно занялся пресечением феодальных войн и кровной мести. Разве не она первой, даже раньше Нормандии, вступила во «второй феодальный век»?

Может ли Турень лишиться ее пальмы первенства и претендовать на честь именоваться первой колыбелью турниров, где они якобы начались в 1060-е гг.? Боюсь, что нет. Разве это притязание не основано прежде всего на игре слов «турнир» (*tournois*) и «турский», «туренский» — на старофранцузском тоже *tournois*? Она приводится в двух хрониках Пеана Гатино, каноника монастыря Сен-Мартен в Туре, написанных между 1200 и 1220 гг., — мимоходом, в связи со смертью в 1062 или 1066 г. «Жоффруа де Прейи, придумавшего турниры»^[716]. Речь идет о бароне из пограничных земель между Туренью и Пуату (сеньоре Прейи-сюр-Клез), который действительно существовал. Но если эти игры на самом деле возникли в Турени в 1060-е гг., трудно понять, почему Гильом Пуатевинский и особенно Ордерик Виталий ничего не говорят о них, подробно и со вкусом рассказывая о конфликтах рыцарей с 1060 по 1100 гг. на совсем близких границах Нормандии, Анжу и Мэна. Ведь они упоминают только «поединки» (*joutes*), одиночные бои на копьях, зрелищные и импровизированные^{[717],[181]}. И потом, спрашивается, почему Жан из Мармутье в 1170 г. едва слышал о существовании турниров — ведь он сам ссылается на Фландрию, — и почему абсолютно никаких турниров нет в интересной «Истории сеньоров Амбуаза», написанной в то же самое время^[718].

К сожалению для Турени и для Жоффруа де Прейи. Однако почему его имя выделили таким образом? Возможно, «предания», придуманные в его роду и сопоставимые с преданиями Ардра и Гина, задним числом сделали из него турнирного бойца, как Ламберт Ардрский сделал таковым графа и сеньора тысячного года и XI в.^{[719],[182]} Или даже этот Жоффруа на самом деле имел репутацию некоего «поединщика» (*jouteur*), какую для Вильгельма Завоевателя придумал Гильом Пуатевинский. Но притом как у «турнира» мог быть один изобретатель? Возможно ли, чтобы турнир в один прекрасный день был учрежден декретом одного или нескольких князей или баронов, как в свое время епископы сформулировали, что такое «Божий мир» и «Божье перемирие», а также ост христианства? На самом деле турнир на стадии рыцарской и игровой мутации «тысяча сотого года» (1060–1140) должен был пройти настоящий путь развития, довольно быстро, причем через целый ряд довольно разнообразных воинских игр для знати и других людей, игр конных или пеших, с копьем и иным оружием^[183]. Впрочем, одна и та же игра могла обозначаться разными словами, и на одной странице Гальберта Брюггского «турниром» названы обычные поединки^[184]. И, однако, тогда, в 1128 г., уже оставалось немного времени до первого осуждения Церковью турниров как «мерзких торжищ» — то есть как многолюдных и организованных сборищ.

Зато когда Гальберт Брюггский рассказывает, что Карл Добрый устраивал свои «турниры

с участием двух сотен рыцарей» во Франции и в империи и должен был искупать эту вину жертвоприношениями Церкви^[720], сомневаться уже непозволительно. Притом интересно, что эти турниры упомянуты во время франко-нормандских войн, для которых было характерно множество поединков, как свидетельствуют Сугерий и Ордерик Виталий. Действительно, оба этих автора упоминают фламандских рыцарей вместе с их графами (Балдуином Секирой, потом Карлом Добрым) и даже конфликт 1123–1124 гг. между Генрихом Боклерком и баронским союзом, в который входил Галеран де Мёлан, один из первых, о ком точно известно, что они носили герб.

А ведь во время этих конфликтов красивые битвы были редкостью — разве что Бремюль и Ружмонтье [Бургтерульд] (соответственно 1119 и 1124 гг.). Когда стороны довольствовались громкими словами, проволочками, как при Ле-Планш-де-Неофль в 1109 г., разве молодые рыцари, поспешившие на службу к князьям, чтобы добыть честь и деньги, не испытывали некоторую фрустрацию? Разве они могли довольствоваться отдельными поединками? Можно даже сказать, что они грызли удила, ища возможности обрести славу и богатство без чрезмерного риска. А что сказать о ситуации, когда Людовик VI в 1124 г. собрал контингенты из разных провинций, чтобы защитить Реймс, город миропомазания, от германского вторжения? Как рыцари надеялись на бой и как их разочаровало внезапное отступление императора Генриха V, а еще больше — отказ епископов и Людовика VI броситься за ним в погоню! Речь идет о столкновении рыцарей-христиан без убийств, таком, каким был Бремюль. Видимо, турниры и возникли как условная подмена сражений, которых не хватало, а также для того, чтобы перещеголять последние в умеренности: в самом деле, на турнирах не убивали даже коней, а только захватывали, как и самих рыцарей.

Почему с тех пор к ним была неблагоприятна Церковь? Разве они не были хорошим паллиативом для феодальной войны, а следовательно, и для притеснения церковей и бедняков, — а ведь эти притеснения столько раз осуждали! В 1130 г. провинциальный Клермонский собор обнародовал следующий декрет: «Мы запрещаем сии мерзкие торжища, куда рыцари прибывают, дабы показывать свою силу. Они там собираются, являя дерзкую отвагу, и там не редки смерть мужей и гибель душ. Тем, кто найдет там смерть, будет отказано в христианском погребении (но не в покаянии и предсмертном причастии)»^[721]. Эту формулировку воспроизводили на вселенских соборах, начиная со Второго Латеранского (1139 г.) и Третьего Латеранского (1179 г.). А святой Бернар Клервоский в 1149 г. мог со своим обычным пылом бичевать «бесовский обычай» князей назначать дагу, чтобы «сражаться насмерть»^{[722],[185]}, — впадая в некоторое преувеличение и даже карикатурность^[186].

Так ли много народу там убивали? Ведь это было не в духе турниров. Бывало это или нет, надо уточнить в самых подробных собраниях документов (1170-х гг.), так как несчастные случаи и нарушения обычного хода вещей всегда возможны. Но в целом претензии клириков и монахов сводятся, скорее, к упрекам рыцарей в пустом тщеславии и прежде всего в стремлении к наживе. В таких обвинениях, поминая «бахвальство» и «мерзкие торжища», епископы были совершенно правы. Но именно зрелищность и алчность, которые до предела проявлялись на ристалищах, ставили лучший заслон желанию убивать. На турнирах немало приобретали и немало теряли — ведь там захватывали в плен и освобождали под честное слово, и за один день можно было выплатить или получить несколько выкупов. Турниры и появляются впервые в мире ярмарок и торговли — их естественная колыбель расположена как раз между Фландрией и Шампанью.

Граф Карл Добрый был добрым христианином: если он и ездил по турнирам, то в должном душевном состоянии. Еще до официального их осуждения 1130 г. его духовенство нашептывало ему, что это дело пустое и пятнает его репутацию. Его грех искупали

отдельные даяния. Впрочем, и после осуждения определенную гибкость церковным санкциям все-таки придавал призыв к покаянию: декреты соборов заканчивались оговоркой, которая напоминала оговорку, когда-то сопровождавшую статьи о наказаниях за нарушение Божьего перемирия. В самом ли деле Церковь непременно хотела извести турниры любыми средствами? Так ли плохо — в расчете, например, на крестовые походы, — чтобы рыцари одновременно ощущали вину и были в форме? Ведь пользу турниров для тренировки невозможно отрицать.

Граф Эно Балдуин V в период между посвящением (1168) и 1182 г. вел политику в отношении турниров, сходную с политикой Карла Доброго полувековой давности. Турниры для него были одним из средств борьбы с баронскими войнами и чередовались с войнами княжескими — представляя собой нечто вроде больших маневров в преддверии последних. Князю, который опасался своих вассалов и не мог постоянно воевать на службе Богу и императору либо помогать своим сеньорам и близким, они позволяли совершать много рыцарских подвигов. Они также давали ему возможность облагать свои города денежными поборами. Его нотариус-канцлер Гислеберт Монский, подробно рассказывая о них, понимает или дает понять все это. Правда, как клирик, он испытывает некоторые затруднения.

1170-е гг., когда в Северной Франции шло довольно мало войн, были, конечно, важнейшим периодом в истории больших турниров XII в. Довольно похожие на сражения, несмотря на более условный характер, они, так же как битвы и поединки, происходили в пограничных областях («марках») и в лесах, где стояли замки. Какие-то эпизоды боя можно было наблюдать с крепостных стен, но все-таки другое дело — спектакли на ристалищах, которые были хорошо видны с трибун и позже получили широкое развитие. С 1130 по 1170 г., между тем как мода на них распространилась и на рейнские земли Германии, информации об этих больших турнирах было очень мало. И вдруг одновременно появились романы Кретьена де Труа (о вымышленных событиях^[723]) и два больших рассказа о реальных турнирах, написанные чуть позже: «Хроника» Гислеберта Монского (1196) и «История Вильгельма Маршала» (около 1219). Оба этих рассказа относятся почти к одному и тому же времени и одним и тем же местам. Они, каждый по несколько раз, упоминают графа Филиппа Фландрского (1168–1191), хотя, правду сказать, каждый рассказ умалчивает о центральном персонаже другого: действительно, в «Хронике» Гислеберта Вильгельм Маршал отсутствует, а «История» последнего игнорирует существование Балдуина V де Эно. Они описывают столкновения одного типа, и каждый рассказ отчасти лишает их флера, воссоздавая их атмосферу — куртуазную и изящную лишь наполовину. На этих больших турнирах хорошие манеры и рыцарские поступки как таковые соседствовали с махинациями сомнительной честности. Однако между двумя этими источниками есть довольно разительное различие: Гислеберт Монский упоминает об участии в турнирах многочисленных пехотинцев и ссылается на случаи, когда возникала смертельная опасность, тогда как «История Вильгельма Маршала» славит только рыцарей, несомненно, алчных до наживы, но в то же время не проливающих кровь понапрасну.

Как их примирить? Или по крайней мере разобраться в этом контрасте? Возможно, речь в этих рассказах шла о разных турнирах, а главное, рассказчики могли обращать особое внимание на разные аспекты турниров. Гислеберт Монский смотрел на них с точки зрения князя, которому служил как технократ, и предпочитал не очень распространяться о расходах, грозящем риске (физическом и политическом) или же о моральных проблемах. «История Вильгельма Маршала», напротив, основана на приукрашенных воспоминаниях, которые сам герой в старости рассказывал близким; на этой базе она описывает карьеру заслуженного рыцаря, который чувствовал себя на турнирах как рыба в воде, который хвастается своими

успехами, богатством, приобретенным на турнирах и при дворе благодаря неоспоримой смелости и ловкости, и опровергает некоторые инсинуации перед аудиторией, заранее настроенной в пользу его самого и турниров.

Начнем с тех турниров, в которых отваживался участвовать граф Эно. Это нечто вроде сражений *arramies*, то есть назначенных заранее, для которых зафиксированы точное место и день — вот только настоящие намеченные сражения между князьями никогда, как мы видели, так и не происходили. Зато отмена турнира не была угодна Богу! Слишком решительных политических результатов опасаться не приходилось, потому что серьезных политических ставок никто не делал. Значит, и срывать турнир было незачем. Поэтому турниров было намного больше, чем сражений, — и только с этим можно связывать риск для человеческих жизней вследствие большего количества несчастных случаев. Может быть, эта регулярность способствовала и формированию некоего военного профессионализма у рыцарей в ущерб общей культуре по сравнению с некоторыми предками каролингских и посткаролингских времен: чего стоили Балдуин V и Вильгельм Маршал как латинисты?

Большие турниры очень скоро стали «традиционными», ежегодными, как настоящие ярмарки, проходящими в конкретных местах и с участием конкретных команд. Однако если из года в год обнаруживалось слишком явное неравенство сил, его надо было компенсировать — с риском кого-то рассердить. В 1168 г. Филипп, граф Фландрии и Вермандуа, «пригласил нескольких французов на турнир против себя» в буферную зону между королевской Францией и Вермандуа, то есть на земли «между Гурне-сюр-Аронд и Рессон-сюр-Мац», и «на устраиваемых там турнирах обыкновенно на стороне рыцарей из Фландрии и Вермандуа сражались рыцари из Эно»^[724]. В 1175 г. на турнире в одном месте между замком Брен и городом Суассон противниками графа Балдуина V де Эно «объявили» себя многочисленные, превосходные и именитые рыцари из Шампани и Франции^[725]. В обоих случаях приглашающие были сильней, имели численное преимущество. Идея дать фору приглашенным, похоже, совсем не приходила им в голову! Так или иначе, в обоих случаях из рядов хозяев вышло несколько человек и перешло в другой лагерь, отчего неравенство сил сократилось, хоть совсем и не исчезло. Но эти люди не руководствовались чисто спортивными соображениями. В 1168 г., близ Гурне-сюр-Аронд, эннюерцев Балдуина V, в то время недавно посвященного, перейти во французский лагерь побудила досада из-за недавней войны. В 1175 г., близ Брена, от франко-шампанского отряда откололись, перейдя к нашему Балдуину, не кто иные, как оба его шурина, сир де Куси и де Монморанси. Однако через три года, в 1178 г., тот же сир де Куси был взят в плен Балдуином де Эно на турнире между Вандёем и Ла-Фер, но надо отметить, что за этот период оба приняли участие в кампании в Ланской области, настоящей войне (правду сказать, простой военной прогулке, грабительском набеге без сражений), один — на стороне короля Франции (Рауль де Куси), другой — вместе с графом Фландрским (Балдуин де Эно). Мир турниров не был башней из слоновой кости, укрытой от непредвиденных случайностей, которые могли возникнуть в обществе мести.

Именно это, не подавая вида, ухитряется показать Гислеберт Монский. Можно ощутить его глухую враждебность к турнирам или по крайней мере неоднозначное отношение к ним. Разве он не предпочитает описывать прежде всего те из них, где случались нарушения? И тем самым особо фиксировать внимание на жестокостях и дурных манерах?

Такие жестокости часто были связаны с участием пехоты и предусматривались заранее. Это очень ясно видно из описания турнира в Тразеньи в 1170 г. В нем граф Балдуин и его эннюерцы противостояли герцогу Лувенскому и его рыцарям. А ведь с этим князем Балдуин периодически вел настоящую феодальную войну, устремляясь на помощь к дяде — графу

Намюрскому, которому рассчитывал наследовать. «Так что Годфруа, герцог Лувенский, питал к нему неприязнь. Поэтому, чтобы уверенней чувствовать себя на турнире, [Балдуин] взял с собой около трех тысяч пеших сержантов»^[726]. Предосторожность была вовсе не бесполезной. Она выглядит даже недостаточной, потому что Годфруа со своей стороны привел «многочисленных рыцарей, сколько только мог», и к тому же «около тридцати тысяч пехотинцев, то есть целый ост, как на войну». Может быть, Гислеберт или его информаторы даже преувеличивают его численность! Во всяком случае он отмечает смелость и хладнокровие своего патрона. Ведь Балдуин, проходя через лес, оказался в затруднительном положении. Ему нелегко было бы отступить, когда лувенский ост атаковал его. Тогда он спешился, как делали, демонстрируя решимость дать настоящий бой, «дабы его люди, видя его пешим, не покинули его, а как всадники, так и пехотинцы вступили бы в битву бок о бок с ним». Против них гордыня и жестокость, при них мужество, с ними «Божья помощь» — и вот проклятая Церковью игра внезапно становится серьезным делом, достойным внимания Бога, поскольку на кону стоит справедливость. И результатом, согласно Гислеберту Монскому, становится бегство противника, потерявшего «около двух тысяч убитыми и шесть тысяч пленными». В то время как Балдуин со своей стороны не оплакал «почти никого».

Нельзя ли тут увидеть подтверждение филиппик святого Бернара Клервоского против турниров как кровавого обычая? Однако здесь произошло некое смешение турнира с войной между княжествами. Турниры чередовались с такими войнами, и не надо удивляться, что они так перемешивались, что в них встречаются та же жестокость и та же нечестность — при всех относительных ограничениях насилия.

Балдуин V ни разу не описывается как герой, совершающий подвиги с копьем и щитом, но всегда как военачальник, которого противники застигают врасплох — неожиданным нападением или беспощадно используемым преимуществом. Тогда он дает им отпор, скорей, ободряя своих людей, чем сражаясь лично.

Например, весной 1172 г. на него внезапно напали в самой глубине Бургундии. Едва он в сопровождении всего пяти рыцарей из своих земель утром покинул замок Ружмон, «как подоспело, вместе с герцогом Бургундии Генрихом»^[187], великое множество неприятелей. Они были исполнены гордыни, и при них были пешие сержанты. Потому граф Эно принял решение, одновременно сильное и разумное: он сделал пеших дружинников из оруженосцев и слуг. Всех, кого мог, он расположил как для оборонительного сражения, так что мог противостоять множеству вражеских рыцарей»^[727]. И на сей раз конкретный итог этого красивого противостояния неизвестен — кроме одного: в плен Балдуин не попал^[188].

В августе 1175 г. франко-шампанские противники Балдуина, сколь бы «надменными» они ни были, не стали дерзко бросаться на него. Скорей, можно сказать, что это было одно из тех *назначенных* сражений, где вызов на конкретный день и в конкретное место на самом деле таил ловушку. Целый день граф Эно стоял в полной готовности на «горе», покрытой виноградниками, напротив замка Брен. При нем было двести рыцарей и тысяча двести пехотинцев. На исходе дня его люди начали уставать и, домогаясь от него отхода к Суассону, двинулись, не дожидаясь его. Тем не менее Балдуин, несомненно, из заботы о своей чести, дождался сумерек, и к тому моменту большинство из его рыцарей уже вернулось в Суассон, тогда как пехотинцы, которые поневоле передвигались гораздо медленней, еще прошли только половину пути. Но едва граф в свою очередь начал отступление, как шампанцы и французы выступили из замка Брен и бросились за ним в погоню. С ним была всего горсть бойцов, но он сумел вернуть своих пехотинцев, которые обратили врага в бегство и в свою

очередь погнались за ним. Итак, «к моменту возвращения в Брен многие вражеские пехотинцы были убиты, иные утонули, иные попали в плен»^[728]. На сей раз не факт, что противная сторона имела численное преимущество — по крайней мере в пехоте. Но в результате была одержана красивая победа при лунном свете: хроника Гислеберта хорошо показывает воинскую доблесть этих пеших отрядов из Эно (и соседних провинций, то есть Фландрии и Брабанта). Граф продал их услуги королю Филиппу Августу, своему зятю, чтобы воевать в Оверни. Не были ли турниры своеобразной витриной для наемников северных земель? Во всяком случае участие пехоты, подтвержденное хартиями кутюм Эно и соседних регионов, похоже, и делало эти турниры столь кровавыми: может быть, только эти люди убивали и умирали?

Нет такого источника, который бы показал, как выглядела команда Эно в глазах команд других князей. Но иногда при чтении Гислеберта Монского возникает вопрос, не навел ли его патрон Балдуин со своими эннюерцами в какой-то мере ужас на участников французских турниров. Разве он не приводил с собой большие толпы пехотинцев? После этого всё складывается так, словно автору надо найти этому оправдание, сославшись на махинации, жертвой которых стал бедный граф — если я посмею так его назвать...

В 1168 г. с графом Филиппом Фландрским обошлись дурно, но ведь он пришел на территорию между Гурне и Рессоном со значительными силами, взяв собой столько рыцарей и пехотинцев, «словно шел на войну»... И когда молодой Балдуин принял противную сторону, вопреки сложившейся в Эно традиции, Филипп рассердился — во всяком случае выказал гнев. Французы и эннюерцы отражали фламандский натиск, когда «один из рыцарей, из числа самых доблестных и грозных, соратник Балдуина Жоффруа Тюлан [на самом деле барон], увидел, что его сеньору Балдуину и его людям грозит опасность. Он направил на графа Фландрского свое крепкое копьё и поразил его прямо в грудь ударом, каковой в просторечии называют "*fautre*"^[729]. Клод Гайе недавно объяснил, что это за удар. *Fautre* — это подбитая часть ленчика седла, находящаяся перед всадником. Если в момент атаки упереть в нее вток копья, оно действовало как таран, и удар получался необыкновенно сильным, нередко смертельным^[730]. В самом деле, «граф Фландрский, поддерживаемый в седле своими, долго казался мертвым». Но пусть даже он недавно поссорился с графами Эно, тем не менее он часто бывал их союзником, и если бы его слишком изувечили или унизили, они бы многое потеряли. Поэтому были предприняты кое-какие усилия, чтобы смягчить его поражение. «Многие утверждают, что во время боя Филиппа схватили и увели в плен, но один доблестный рыцарь, Жиль д'Онуа, дал ему возможность бежать». А ведь это был сам великий кравчий Эно, важный сановник, близкий к графу, который, похоже, отнюдь не лишил его своей милости... «В конечном счете Балдуина де Эно и французов признали победителями фламандцев»^[731]. И больше мы об этом ничего не узнаем.

Но уже пора дать оценку этому свидетельству о турнирах, сделанному с позиций князя, точному, пусть даже не абсолютно беспристрастному. Равного ему нет. Конечно, Гислеберт особо выделяет какие-то черты, прежде всего те, которые связывают турниры с серьезными вещами вроде войн между княжествами или браков знати, и его не интересуют некоторые другие, более частные аспекты, такие как бескорыстное изящество подвигов или, напротив, торг о выкупах и сведение счетов на этих «торжищах», не всегда честное. Наконец, канцлер Балдуина V лучше всех показывает многообразие целей, какие может преследовать турнирная политика. Сначала турниры позволяют молодому князю, еще при жизни отца, обрести некоторую свободу. Однако и после смерти Балдуина IV в 1171 г. Балдуин V не прекращает водить рыцарей и пехотинцев своего края на турниры ради славы и прибыли. В общем, он

оказывает им щедроты, «за графский счет» посылая эти команды на срок от четырех до шести недель. Он играет роль доброго гения, передавая одному фламандскому рыцарю, попавшему в немилость, одному эннюерцу, временно оставшемуся без средств, и многим другим (1184) ренты во фьеф^{732}. Он выручает этих знатных воинов к большой выгоде для себя. Всех этих бойцов он водит на войны своего княжества с другими, а турниры служат дополнением или неким эрзацем таких войн, едва ли менее опасным для самих участников, но в принципе не столь тяжелым для местностей, которые при этом не грабят либо грабят не столь беспощадно. В этом смысле турниры могли способствовать смягчению воинских нравов. Но поскольку в то же время это были подготовительные учения для региональных войн, почти ярмарки наемников, можно задаться вопросом, столь ли велика была их миротворческая роль. Разве у Церкви не было определенных оснований осуждать их? Разве в турнирах не проявлялись некоторые дурные черты, присущие настоящим войнам?

Вот в 1182 г. Балдуин готовится к войне с герцогом Лувенским, потому что турнир вылился в войну. Он хочет усилить свой ост. Что он делает? Возвращается на место своей победы при лунном свете, между Бреном и Суассоном, где идет новый турнир. Но на сей раз он безоружен и довольствуется тем, что набирает «себе в помощь столько рыцарей, сколько может»^{733}. Турнирное общество — это садок, откуда черпают, чтобы вести войну — или так подготовить ее, чтобы не воевать, поскольку в конечном счете Балдуин позволил Филиппу Фландрскому разубедить себя!

УСПЕХИ ВИЛЬГЕЛЬМА МАРШАЛА

Гислеберт Монский в своей «Хронике» мимоходом отмечает, что Генрих Молодой, старший сын Генриха Плантагенета, был очень отважен, очень красив, очень скор на расточение щедрот и водил с собой в качестве соратников (*commilitones*) рыцарей, набранных отовсюду^{734}. Точно так же подвигами и расточительностью на турнирах блистал его брат Жоффруа Бретонский, пока не погиб на одном из них (в 1186). Напротив, их брат Ричард, чье «Львиное Сердце» стало предметом грез, казался ему, как и некоторым другим, «рыцарем очень злобным»^[189]. Герцог Аквитании по матери, он не мог быть турнирным бойцом в этой земле, а должен был показывать, что он настоящий воин, суровый князь, который «грубо обращается с высокородными мужами»^{735}. Этого вскоре будет довольно, чтобы встревожить, настроить против него и в конечном счете поднять на борьбу Филиппа Августа, менее воинственного, но более куртуазного!

Итак, скоро «История Вильгельма Маршала» поведет нас вслед за Генрихом Молодым — или, скорей, впереди него, в составе прикрытия, поскольку с близкого расстояния видно, что этот князь обладает не всеми положенными качествами и не такой мастер своего дела, как ему хотелось бы. С другой стороны, здесь меньше кровопролития, чем жажды наживы, от которой рыцарский идеал из романов слегка тускнеет. Здесь меньше поминаются набеги пеших сержантов, чем молчание дам об известных им тайнах.

Эта «История» — роман (повествование на романском языке), написанный восьмисложным стихом с попарно чередующимися рифмами, то есть того же типа, что и романы Кретьена де Труа. Как и они, довольно близкая к прозе, «История» обладает легкостью и свежестью последней, позволяющими автору в первой части рассказать, как «башелье» из очень хорошего англо-нормандского семейства пустился в погоню за богатством и славой. Вильгельм, вероятно, родился в Англии в 1144 г. и был вторым сыном Жана Маршала. Он был родовит, но запоздал с обустройством в жизни. Поэтому его молодость затянулась: до сорока пяти лет он то в дружине королей-Плантагенетов, то как одинокий странствующий рыцарь (а так случалось чаще всего) разъезжал по турнирам и отправлялся в крестовый поход, пока в 1189 г. не получил от короля в невесты богатую наследницу, благодаря браку с которой стал английским бароном. В Англии он и умер в 1219 г., а вскоре после этого на основе его воспоминаний написали его «Историю» на французском языке. Жорж Дюби создал на ее материале восхитительное эссе, исполненное изящества и чувства^{736}, а Джон Джиллингем и вслед за ним Дэвид Крауч недавно вернулись к ее изучению^{737}. Проедемся немного верхами вместе с этим паладином, не имеющим себе равных — вернее, к последним можно отнести лишь одного человека, француза Гильома де Барра, хотя о нем и не написали «Историю» восьмисложным стихом.

Сначала Вильгельм Маршал, молодым «башелье», восемь лет провел во Франции в качестве оруженосца в свите (*mesnie*) Гильома де Танкарвиля, носившего прозвище Камергер. Отношения в этой группе можно назвать товарищескими только отчасти, и патрон не проявлял ко всем протече неослабного внимания и неисчерпаемой щедрости. Камергер, правда, препоясал мечом Вильгельма, «каковой впоследствии нанес за него не один удар», потому что «Бог ему даровал такую милость, что во всех делах, где он принял участие, он отличился подвигами»^{738}. Однако, надо полагать, посвяtitель не придал большого значения совершению этого ритуала, поскольку во время последующей войны с графом Э и в то время, когда замку Дренкур в Пикардии угрожали фламандцы, Камергер запретил Вильгельму участвовать в боях и велел пропустить вперед рыцарей — хотя тот считал себя

одним из таких... Тем не менее его помощь оказывается не лишней, он вступает в сражение и отличается на глазах дам, рыцарей, горожан и горожанок, смотрящих на бой с высоты крепостных стен Дренкура. Единственная незадача — его коня убили, и вот после заключения мира он в отчаянном положении. На что ему жить? Камергер, похоже, никак о нем не заботится (если вообще не забыл о нем), и ему приходится заложить плащ, полученный во время посвящения, чтобы обзавестись конем и блистать на турнирах. Эта деталь придает нашему Вильгельму лестный облик авантюриста, начавшего с ничего или почти с ничего... И он становится одним из «странствующих рыцарей», или же наемников, представлявших собой, как мы видели, группу своеобразную, одновременно привилегированную и обделенную, где царили ценности классического рыцарства, служа стимулом к действию.

«История Вильгельма Маршала» изобилует вставными сценами, как и «История Жоффруа Плантагенета»; та и другая соответствовали вкусам дворов XII в., их пристрастию к пикантной истории и меткому слову. Вот, для начала, «квинтина», по сути турнир между двумя региональными группировками, сравнимый с теми, на каких бывали Балдуин V и его рыцари, и в связи с ним вновь всплывает тема невнимательного патрона. В самом деле, Камергер обещал «дебютанту» Вильгельму лошадь, но забыл об этом, так что юноша вынужден рисковать жизнью, садясь на необъезженного коня, — и справляется с ним, даже добывая в бою всевозможных парадных коней, ронсенов и вьючных лошадей. Тем самым он делает себе имя и репутацию. Он то служит в составе свиты (*mesnie*), то покидает ее, чтобы ездить по турнирам в одиночку. Он задает себе адский ритм спортсмена высокого уровня и выдерживает его!

Понемногу он добивается успеха на этой стезе турнирного бойца, избрать которую его побудило происхождение из довольно родовитой знати. По крайней мере он обретает уважение равных себе тем, что щедро расточает часть выигрышей. В 1170 г. в Лондоне король Генрих Плантагенет коронует старшего сына от Алиеноры, Генриха Молодого, родившегося в 1155 г. И когда выбирают спутников и наставников, несколько более зрелых и одаренных, чтобы они сопровождали юношу, Вильгельм Маршал, который был на одиннадцать лет старше, оказывается просто созданным для этой роли. С тех пор он пользуется подлинным, хоть и не исключительным влиянием на этого молодого князя рыцарей, о прочной репутации которого свидетельствуют Гислеберт Монский и Ламберт Ардрский. Надо сказать, что по социополитическому облику Генрих Молодой был очень близок к Балдуину V. Он, как и тот, женился в ранней юности (на дочери Людовика VII), и турниры, в которых он участвовал, дали ему возможность играть определенную роль рядом с отцом, который был еще в расцвете сил. К нему тоже тянулись рыцари, пусть даже его расходы были огромными и быстро превысили суммы, на которые рассчитывал отец... Отличие от Балдуина V состояло в том, что отец Генриха Молодого совсем не собирался умирать — казалось, жить вместе им предстоит еще долго. Поэтому сыну не терпелось, и вместе с братьями, матерью и целым рядом баронов он с 1173 г. на какое-то время стал мятежником (или надо сказать просто «раскольником»?).

Тогда случился эпизод, показывающий, если это правда, что Вильгельм Маршал действительно снискал уважение юного патрона. Генрих Плантагенет прежде хотел, чтобы король Людовик VII сам посвятил зятя. Но, хоть тот и поддержал его мятеж, Генрих Молодой счел нужным форсировать свое посвящение и организовал его без подготовки во время собрания, где присутствовало множество баронов из Франции (из королевского домена). Кто из них станет посвятителем? В последний момент, неожиданно для всех, Генрих Молодой обратился к Вильгельму Маршалу — великая честь для последнего, не имеющего земли и блистающего лишь рыцарскими достоинствами, несмотря на благородное происхождение!

Пересказывая этот эпизод, автор «Истории Вильгельма Маршала» настаивает, что доблесть Вильгельма была общепризнанной, как требовал обычай, — Бог оказал ему такую милость, вот он и посвятил короля. Но выбор Генриха Молодого, несомненно, объясняется еще и тем, что он не хотел быть обязанным рыцарским саном кому-нибудь слишком могущественному, и, похоже, его выбор в определенном смысле был продиктован юношеским высокомерием. Если только не видеть в этом, напротив, нежелание чересчур провоцировать отца: в конце концов, Вильгельм был англичанином, подданным короля Генриха Плантагенета и самого посвященного...

Вскоре примирившись с отцом, то есть потерпев неудачу и испытав некоторое унижение, Генрих Молодой мог компенсировать поражение, лишь блистая на турнирах во Франции со своей свитой (*mesnie*), *dream team* [командой мечты (англ.)], где Вильгельм Маршал выглядел самым ярким бриллиантом, хоть и вызывал у некоторых зависть.

На десяти турнирах, в которых он принял участие с 1176 по 1183 гг., он появляется то с Генрихом Молодым — в этом случае должен оставаться при нем, помогая ему, потому что этот молодой князь не выглядит великим бойцом, — то один либо с компаньоном («участвующим» как в выигрышах, так и в расходах), и, похоже, тогда сосредотачивается на призах (или берет приз), а также завязывает отношения, скорей, куртуазные, с высокопоставленными особами из Других провинций, особами, которые пытаются его переманить в свои отряды (*mesnies*), состоявшие на жаловании, и эпизодически будут брать его с собой в периоды немилости.

Высокопоставленные особы собирались вместе либо обменивались визитами накануне турнира или перед самым турниром. «История Вильгельма Маршала» описывает не то, как они подробно оговаривают условия или обмениваются вызовами, а как они наносят друг другу визиты, и однажды, когда противник запаздывает, люди с той стороны, на которой находится Вильгельм, даже начинают танцевать кароль с дамами. Как и при настоящих сражениях, сначала проводятся «предварительные» поединки, *commengailles*, но не всегда, и дополнительную славу нашему герою они приносят лишь однажды. Главное происходит во время большого столкновения, называемого *эстор* (*estor*) и несколько раз описанного в тех же выражениях, в каких описывают сражения: похоже, важно было держаться группой, сохранять очень плотный строй (*conroi*) всадников, дружно атакующих, и именно эта тактика принесла нормандцам победу в 1176 г. между Гурне и Рессоном: «Отряды с нашей стороны держались в строю сплоченно; бойцы противной стороны, напротив, пренебрегли построением и достигли отряда молодого короля в беспорядке. Приняли их тепло — обменялись ударами палиц и мечей, и нападающие, столь горделиво атаковавшие, были отброшены»^{739}. Еще чуть-чуть, и этот рассказ можно было бы принять за описание сражения 1119 г. при Бремюле! Гордыня здесь может проявляться в стремлении к индивидуальным подвигам, которые станут известными благодаря призам, — в ущерб общему маневру, и, кстати, надо отметить, что этим недостатком страдал и Вильгельм Маршал, коль скоро сразу же говорится, что его призывает к порядку король Генрих Молодой, нуждающийся в его непосредственной поддержке, чтобы стать «лучшим рыцарем, чем [его] предки»^{740}, как обещал ему Вильгельм! Что касается копий, их обломков на земле валяется столько, что они протыкают ноги коням. Чтобы захватить рыцаря в плен, его обычно выбивают из седла, и это случается регулярно. Но прием, описываемый чаще всего, состоит в том, чтобы схватить под уздцы коня и увести его, со всадником или без, — а для этого надо либо одержать верх в неразберихе боя, где управлять лошадьми становится трудно, то есть оказаться более ловким наездником, либо предварительно обезоружить противника или даже сбросить его наземь. После этого из боя выходят, хотя бы ненадолго,

чтобы увести или передать кому-либо коней либо чтобы договориться с захваченным рыцарем, что он признает себя пленным, и отпустить его под честное слово, после чего он может возобновить борьбу и снова попасть в плен или же взять реванш.

Из-за этого, очевидно, в какой-то момент в турнире наступает хаос, отряды рассыпаются, потому что каждый решает собственные проблемы, применяя свою личную стратегию. Поэтому не вредно, если действительно хочешь, чтобы твоя команда победила, выждать, прежде чем вступать в *эстор*, сдерживая нетерпеливых. Похоже, Филипп Фландрский обычно так и делал — как правило, он умел бросить своих фламандцев и их союзников в бой вовремя, нанося нормандцам полное поражение, пока Маршал не дал Генриху Молодому тонкий совет применить ту же стратегию: перехитрить хитреца, внушив ему мысль, что опасаться нечего, и внезапно атаковав его^{741}. Тем не менее приз получала не вся команда, а отдельный человек — и «История Вильгельма Маршала» никогда не говорит о своем герое как об индивидуальном победителе (хотя сообщает почти исключительно о турнирах, на которых он получал «приз», хороший подарок). Похоже, официально оценивались только коллективный успех или неудача, и бывало, что в достижения отдельных членов команды не вникали.

Чтобы добиться решающего успеха, следовало, как в редких настоящих сражениях, взять в плен князя либо одного из самых «высокородных мужей». Но они часто держались в тылу, ездили не на все турниры, не спешили ввязываться в бой, по преимуществу председательствовали на совещаниях «до» и «после», как будто не слишком рвались рисковать собой и препоручали *mesnie* добывать им славу. Как Балдуина де Эно, их могли охранять копейщики (о чем один или два раза упоминает «История»^[190]), и, как Филиппа Фландрского, их могли освобождать тайком, чтобы не портить с ними отношений^{742}. Однако случалось, что и Генриху Молодому по-настоящему грозил плен, и это давало возможность Вильгельму Маршалу показать свою полезность. Когда вождь таким образом оказывается в опасности, битва становится жарче, каждый действует в интересах коллектива. Так, на турнире между Ментеноном и Ножан-ле-Руа графа Клермонского выбили из седла; началась неистовая схватка между теми, кто хотел его захватить, и теми, кто хотел ему помочь, и было нанесено немало ударов мечами и булавами. Могли ли случайно кого-нибудь убить? Трудно сказать, смертей «История Вильгельма Маршала» упоминает мало.

Во всяком случае рукопашная создает много шума — раздается страшный лязг металла. В 1183 г. между Рессоном и Гурне «предварительные поединки продлились недолго; когда отряды столкнулись, сломали столько копий, что коням было трудно двигаться; все крутились^[191] на месте, и грохот стоял такой, что не слышали бы и громов Божьих». Задача состояла лишь в том, чтобы схватить под уздцы коня противника, но тем не менее рисковали все, в подобном водовороте робким места не было. «Не одно знамя вы бы увидели влекущимся в грязи и многих рыцарей — повергнутыми наземь. Говорят, искать храбрецов надо под конскими копытами: ведь трусы не посмеют вступить в схватку — они побоятся, что пострадают»^{743}.

Дважды у Вильгельма оказывался поврежден шлем, когда он брал приз. Это было в начале его карьеры, между Сен-Брисом и Буэром, — в 1174 г., в Мэне, а также в Плёре, когда он уже был на вершине славы: после этого его описывают «в кузнице, положившим голову на наковальню, в то время как кузнец с помощью своих клещей и молотков чинит ему шлем, поврежденный и прогнутый до самой шеи»^{744}, делая это «с великим трудом».

Участники турниров, несомненно, проявляли столько же предосторожностей, чтобы не слишком часто убивать друг друга, как и рыцари, сражавшиеся при Таншбре (1106) или при

Бремюле (1119). Но они безо всякого зазрения совести в разных местах схватки нападали по несколько на одного. Видимо, своих они узнавали легко, поскольку каждая *mesnie* носила одинаковые щиты, но бывало также, что имя противника спрашивали. Так же как и в сражении, сдаваться порой предпочитали какому-то конкретному противнику, а не другим: «Маршал, вновь сев в седло [после стычки], направился к риге, где нескольких рыцарей осаждал численно превосходящий неприятель. Видя, что их вот-вот схватят, они предложили Маршалу стать его пленниками». Они ему представились — в частности, пикардиец Флоран де Анж и шампанец Луи д'Арсель, и оповестили о своем выборе: «Поскольку в общем мы здесь находимся в положении безнадежном, мы предпочитаем, чтобы то, что у нас есть, принадлежало лучше вам, нежели тем, кто нас осаждает». Маршал согласился, но те, кто рассчитывал взять их в плен, возразили, заявив, что те от них бы уже не ушли, а Маршал ведет себя весьма недостойно». Следует перебранка, из которой Маршал благодаря угрозам выходит победителем. «Наконец осажденные рыцари вышли, не потерпев урона, благодаря Маршалу, которому предложили, как им и полагалось, считать их его пленниками. Но он не согласился и провозгласил их свободными; они его поблагодарили и заверили, что где угодно будут к его услугам»^{745}. Так приобретали друзей в другом лагере, ведя дальновидную политику, — любой козырь может однажды пригодиться... Распространенная традиция сделок между знатными воинами вновь ожила на турнирах — и не проявлялась ли там даже активней, чем когда-либо? Тацитовское представление о *сражении*, в котором участвуют знакомые между собой люди, прекрасно подходит к турнирам.

Для каждого из описываемых турниров автор «Истории Вильгельма Маршала» находит небольшой характерный факт, забавный анекдот, чтобы рассказать о нем. Ничего не поделаешь, если некоторые слегка обработаны, главное, что всякий раз есть любопытная история! И автор может приберечь эффект заранее, распределять, в какой пропорции показать преданность Вильгельма его сеньору Генриху и учтивость по отношению к тому или иному противнику. Делая это, он обнажает некоторые аспекты турниров, о которых Гислеберт Монский умалчивал... Он даже пытается показать некое развитие характера героя и накопление у него опыта.

В первый раз, недавно посвященный, — он был новичком, как мы помним^{746}, — Вильгельм великолепно укротил ретивого коня. Тем не менее в пылу неопита он проявлял некоторую неосторожность и допускал оплошности: разве на втором турнире он не оказался один против пяти? Он храбро отбивался, хотя его наносили удар за ударом, а шлем его съехал набок, мешая ему дышать и, должно быть, причиняя некоторое неудобство... Что касается выигранного приза, он допускает, чтобы этот приз разделили с другим рыцарем, который несколько преувеличил свои заслуги.

Но это было до 1168 г. Через пятнадцать лет опытный турнирный боец, каким стал наш Вильгельм, напротив, отличается «мудростью», хитростью, которая порой граничит с коварством и иногда делает его не столь честным и рыцарственным, каким мы бы хотели его видеть. Отныне он очень хорошо знает, в какие места *эстора* и в какой момент надо подоспеть и когда этого делать не стоит — в зависимости от того, принесет это выгоду или проблемы. Он занял исключительное место в англо-нормандской команде рыцарей и прибегает к очень полезным услугам герольда Генриха Норвежца. Однако не дай нам Бог поверить гнусным клеветам пяти его врагов. Читатели, а тем более читательницы, я запрещаю вам верить! Если я приведу этот отрывок, то лишь затем, чтобы изобличить поведение других бойцов, увы, тоже вошедших в историю турниров и рыцарства. Вот что из зависти несут эти клеветники: «Во Франции, в Нормандии только и разговоров, что о нем; а знаете, откуда весь этот шум? Все очень просто: с тех пор как король надел шпоры, Генрих

Норвежец повсюду кричит: “Глядите, Бог помогает Маршалу!”, вот каждый и жметесь к нему, и такая давка возникает, что никому руки не протянуть, тогда как ему самому, чтобы взять коней и рыцарей, довольно разжать пальцы и схватить тех, кто перед ним». Хватать, знаете ли, тоже надо уметь! Но злодеи гнут своё: “Вот откуда всё его рыцарство, вот как он получает деньги, на которые приобретает столько добрых друзей, обходя нас”^{747}. Эти злодеи не только злословят и клеветуют — они еще и внушают комплекс неполноценности заурядному Генриху [Молодому], нашептывая, что Вильгельм до неприличия его затмил. Они, вероятно, играют также на неоднозначных отношениях между ними, заметив эту неоднозначность и обвиняя прекрасного героя, что он-де спит с молодой королевой Маргаритой, супругой Генриха^{748}. И вот он в опале. Ему остается только разъезжать по другим турнирам в качестве странствующего рыцаря. Дело происходит в 1182 г. — он уезжает, и стоит ли удивляться, что бароны и высокопоставленные особы Фландрии и Франции принимают его с распростертыми объятиями? Они состязаются по отношению к нему в щедрости, предоставляют ему коней и необходимую поддержку, давая возможность показать всем, что даже без герольда Генриха Норвежца он ничего не утратил, и вот он берет приз.

Однако заслужил ли он этот приз? Добрейший Поль Мейер, которому мы обязаны изданием, переводом и многочисленными комментариями этой «Истории», публикуемыми им с 1892 по 1901 гг., принял инсинуации критиков достаточно всерьез. Он отмечает, что уже был случай, когда Маршала поймали с поличным на попытке привлечь на свою сторону одного из герольдов: вот под Жуаньи пляшут танец кароль, и герольд, который после этого импровизировал песню, вставил в нее припев: «Маршал, дай мне коня». Такое было не редкостью в поэзии, и наш герой сразу поднялся, выиграл предварительный поединок, получил приз — коня и предложил герольду^{749}. Жест, конечно, красивый, но продиктованный явным желанием завязать дружеские отношения, плюс выгодное вложение средств, поскольку, как замечает Поль Мейер, «герольды были журналистами того времени, и их расположение могло стать выгодным»^{750}. Авторам «Песни об Антиохии» и «Завоевания Иерусалима» хорошо платили, чтобы они преувеличивали или придумывали подвиги чьих-то предков в крестовых походах.

Правду сказать, мы совсем не знаем, как на турнирах вручали «приз»; это могла быть просто милостивая и публичная похвала, о которой объект, скромно ее принявший, позже успеет рассказать своему окружению за тридцать лет баронской жизни после женитьбы на юной наследнице из замка Стригойл (1189–1219). А вдруг это обычно происходило, как в эпизоде со щукой, и включало череду великодушных отказов? Это случилось по окончании турнира в Плёре, в Шампани, где собралось немало представителей высшего света. «Рыцари еще не разошлись после турнира. Одни осведомлялись, кто из родных и друзей попал в плен, другие искали денег, чтобы заплатить выкуп за себя или расплатиться с посредниками. Одна очень видная дама прислала герцогу Бургундскому великолепную щуку. Тот, чтобы почтить даму, распорядился передать щуку графу Фландрскому, который в свою очередь отказался в пользу графа Клермонского, а тот предложил этот подарок графу Тибо»^{751}. Каждый князь опасался вызвать зависть со стороны равных. «И таким образом каждый получатель адресовал ее другому. Наконец граф Фландрский, слывший прежде всего учтивым и мудрым, предложил отдать ее самому доблестному из рыцарей, Вильгельму Маршалу, каковой поспешил ее принять». Именно тогда два рыцаря и оруженосец, шедший перед ними, нашли его держащим голову на наковальне, когда кузнец освобождал его от помятого в схватке шлема. И.однако, можно сказать, что он сохранил холодную голову, ведь «эту честь Маршал

принял со скромностью, заявив, что обязан ею не своим заслугам, а благосклонности тех, кто ему ее оказал». Вот как надо правильно принимать приз, когда ждут очередного отказа.

А есть ли на самом деле в этом ответе хоть доля правды? Да, Вильгельм Маршал пользовался милостями многих, весьма значительных особ. Граф Филипп Фландрский был противником, в борьбе с которым на турнире он успешно помог своему королю Генриху Молодому, но которому, конечно, сумел выказать, скажем так, заметные знаки уважения^[192]. Сам этот граф пытался или вскоре попытается переманить его к себе из свиты (*mesnie*) Генриха Молодого. Его красивый жест по адресу Вильгельма, рыцаря весьма знатного, но не имеющего сеньории и прославившего свой род только доблестью, мог также быть уместным проявлением заботы обо всех, кто занимал в обществе сходное место. Вильгельм Маршал, конечно, был настоящим асом. Тем не менее правда ли, что при выборе лучшего рыцаря исходили только из храбрости в бою как единственного критерия? Ведь могли принимать во внимание также знатность рода и обхождение с другими, дары им и комплименты по поводу их рыцарских достоинств... Читая книгу Усамы, мы заметили, что в Сирии это имело значение. И разве исключено, что этот фактор играл свою роль даже в лесах древней Германии, как в любом обществе, где между равными установились уважительные отношения?

Приз, полученный на ристалище между Рессоном и Гурне^[752], еще возвысил Вильгельма в глазах тех, кто пытался (тщетно) привязать английского героя к себе, предлагая ему деревни, ренты, невест. А он на словах призывал потенциальных победителей к милосердию. Однако какого-либо официального положения он не занимал, поскольку организованной ассоциации турнирных бойцов не было.

Не было и судейского корпуса, правомочного показывать турнирным бойцам какой-то эквивалент желтых и красных «карточек» с отстранением на один, два, три турнира или хотя бы взимать штрафы. Ведь у этих игр не было каких-то специальных судей, кроме самих участников, которые долго обсуждали их по вечерам после *эстора*, и князей с баронами, которые оказывали активное, — но не непреодолимое — давление на свои свиты (*mesnies*). Имеются в виду прежде всего споры о призах и о получении выкупов, а порой о вероятных мошенничествах и коварных приемах во время схватки. Как раз тогда победители могли выбрать соотношение между тем, что «История Вильгельма Маршала» называет *выигрышем* и *призом*. «И от выигрыша он получил свою долю, но щедро роздал ее в пользу крестоносцев и пленных, и освободил из плена нескольких захваченных им рыцарей, что позволило ему получить большой приз»^[753]. Невозможно ни лучше, ни ясней вслед за Ордериком Виталием^[754] выразить взаимосвязь между прямой материальной выгодой и престижем, представляющим собой настоящий символический капитал (хоть и несколько эфемерный). Так к щедротам князей и знатных баронов по отношению к своим свитам (*mesnies*) добавляется милосердие выдающихся бойцов по отношению к чужим пленным и некоторым из собственных. В результате эти «ярмарки» все-таки отличались от настоящих, оказываясь менее меркантильными^[193], а значит, возможно, не столь мерзкими, как называли их епископы на соборах.

Поэтому в обращении с пленниками всегда была доля произвола, на что влияли интриги, давление с той или иной стороны, проявления сочувствия. Это хорошо видно по двум очень показательным эпизодам, хотя в их отношении все-таки нужно помнить, что мы читаем их в одной-единственной версии, то есть версии Вильгельма и его близких. Во время турнира в Э, между 1176 и 1180 гг., «в первой сшибке Маршал поверг Матьё де Валинкура и забрал у него коня. Матьё обратился к молодому королю [Генриху, сеньору Вильгельма] с просьбой, чтобы

ему вернули коня; это было сделано. Но в тот же день он [Вильгельм] вновь заполучил его»^[755]. То есть этот рыцарь из Камбрези попытался взять реванш и повторно потерпел поражение. Однако вечером он, похоже, не слишком постыдился это признать, так как хотел избежать потери коня. «Сняв доспехи, высокородные особы собрались вокруг молодого короля, чтобы побеседовать, согласно обычаю». Из этого можно сделать вывод, что они почти не пострадали. Обычаю соответствовал, по всей видимости, и поступок Матъё, попросившего короля вернуть ему коня. «Король, удивленный, вызвал Маршала и упрекнул его: почему тот не спешит ему повиноваться? “Государь, — сказал Маршал, — я ему вернул коня сегодня утром”. — “Это верно, — продолжил Матъё, — но после этого вы его снова отобрали, и он у вас”. — «Вы не знаете, — сказал Маршал, — у меня ли он еще или я его отдал. Но вам будет воздано за то, что вы некогда сделали мне на одном турнире. Вы выиграли у меня коня...”» Вот минимум одно поражение, а в этой истории ничего о нем не сказано, автору, похоже, не пришло в голову увеличить заслуги героя, показав перипетии, которые бы иллюстрировали одновременно пределы его возможностей и его способность сохранять моральный дух, восстанавливать силы, брать реванш. Итак, оказывается, Вильгельм Маршал только что отомстил за одно из своих поражений, и вечером ему представляется возможность дурно обойтись с бывшим победителем. В самом деле, он продолжил так: «“Высокородные особы просили вас вернуть его мне; вы не согласились. Теперь я поступлю с вами так же”. — “Сир, — ответил Матъё, — тогда вы не имели той репутации, как теперь”. — “Ну да, и если тогда меня презирали, теперь менее ценят вас, чем прежде. Согласно вашим собственным рассуждениям, мне не следует возвращать вам коня”. Этот ловкий отпор вызвал немало смеха, и Маршал забрал его коня»^[756]. Этот словесный поединок полностью соответствовал духу *plaid*s того времени, где поймать противника на слове, чтобы отомстить за понесенный ущерб, считалось успехом. Для Матъё де Валинкура выдался решительно неудачный день! Эта хлесткая реплика добавилась к двум поражениям на ристалище, но в конечном счете была ли она столь уж заслуженной, если учесть последнее заявление Матъё, скорей, лестное для Вильгельма? Последний показал себя здесь скорее мстительным и злопамятным, чем по-настоящему изысканным. А в обществе рыцарей это могло послужить определенным оправданием для мести^[194]. В следующий раз, когда наш Вильгельм окажется против Матъё де Валинкура, ему придется крепко держать коня.

Следующий эпизод показывает, как он столкнулся с мошенниками и крючкотворами, но сумел внушить к себе уважение. Около 1180 г., между Анэ и Сорелем, во время пешего боя с отрядом французов, попавшим в затруднительное положение, он сумел захватить двух коней, но столкнулся с затруднением, пытаясь заставить их перескочить ров вокруг насыпного холма. «В этот момент внезапно появились два рыцаря, которые, увидев его утомленным, сочли, что им повезло и они отберут обоих коней силой; он не слишком защищался, узнав их и рассчитывая, что вернет свое добро, что бы они ни делали; но, будь у него конь, дело бы сложилось иначе»^[757]. Одним из двух был Пьер де Лешан, племянник прославленного французского рыцаря Гильома де Барра, которому Маршал тем же вечером пожаловался. Благородный дядя сделал строгое внушение племяннику, и дальше все напоминает скорее «Роман о Лисе», чем рыцарскую историю в современном понимании, где хотелось бы видеть скорей состязание в изящной самоотверженности на глазах у дам, млеющих от восторга, чем перебранку торговцев коврами. Пьер де Лешан отрицал сам факт, потом согласился вернуть коня, но привел другого — «свою вьючную лошадь, похожую мастью на отобранного у Маршала коня, но в остальном это была старая кляча, тощая, разбитая на ноги и облезлая». Это не ускользнуло от нашего Вильгельма, «и тут Гильом де Барр разгневался и пригрозил

племяннику, что расстанется с ним. Тогда тот решил вернуть коня, которого взял. Вслед за тем несколько друзей Пьера де Лешана попросили Маршала подарить ему половину коня; тот согласился. Тогда еще один предложил разыграть его [коня] в кости, и это предложение тоже было принято. Пьер выкинул девять, Маршал — одиннадцать, и конь остался за ним»^[758]. Игра в кости, столь популярная среди вечерних посетителей, была еще одним обычаем, который Церковь клеймила за безнравственность. Но здесь все происходит почти как при феодальном дворе, с толикой комичности и стремлением подменить строгий закон более или менее любовным соглашением. Искренне ли негодовал дядя Пьера или он беспокоился за последствия и был вынужден спасти лицо? Что касается второго рыцаря, то в конце аналогичной сцены тот решил сделать ловкий ход, чтобы избежать игры в кости со столь удачливым соперником; он предпочел схитрить, солгав о стоимости коня, подлежащего разделу, и сам прогадал — на всякого мудреца довольно простоты.

Вильгельм Маршал был столь же опасным соперником на суде, как и на турнире. В обоих случаях скверная сторона его натуры удачно дополнила склонность к великодушию, тогда как безупречное сострадание, абсолютная честность могли бы и не принести ему такого успеха. А что, нам бы принесли — явный и достоверный?

Не всегда стоило встречать его на своем пути, когда он ехал в обществе оруженосца, поскольку иногда он вел себя, скорей, как разбойник, действующий под личиной полиции нравов. Так было в день, когда в Шампани его дорога пересеклась с дорогой одной красивой пары — «мужчины и женщины, у обоих из которых были красивые лица и оба ехали на высоких парадных конях, шедших красивой иноходью». Вильгельм Маршал поспешил навстречу мужчине, чтобы спросить, кто он таков, даже не взяв меча. Однако тот бросился наутек, и он его нагнал и схватил за шапку, «столь резко, что сорвал ее», после чего увидел, что «этим мнимым рыцарем был очень красивый монах». Тот признался, что обольстил знатную девицу, и Вильгельм прочел ей мораль; он туманно пообещал примирить ее с братом, а главное, прикарманил деньги, которые взяли с собой любовники.^[759] Такой вот разъездной судья...

А сам-то он, этот проповедник с большой дороги, неужели ни разу не согрешил, не обольстил ни одну барышню или замужнюю даму победами на ристалище, при его-то веселом нраве и находчивости? Но песнь о его истории написана не затем, чтобы рассказывать об этом — при жене и детях. Только однажды, в 1182 г., обвинение такого рода выдвинули против него и Маргариты, дочери короля Людовика VII, супруги Генриха Молодого. Но на Рождество, во время празднества при пышном дворе, собранном в Кане Генрихом Плантагенетом, Вильгельм гордо защитился от этих обвинений. Он предложил вызов, достойный романов^[195], заявив, что готов биться поочередно с тремя рыцарями-обвинителями — и пусть его повесят на месте, если кто-то окажется сильнее. В каком-нибудь произведении Кретьена де Труа бои бы, несомненно, состоялись, и в соответствующих перипетиях герой оказался бы в опасности и показал себя в лучшем свете. Но не здесь, не в реальности, как не состоялся и поединок, на который Арнульф Молодой Ардрский вызвал Эсташа Эненского^[760]. Вызов Вильгельма, как и многие другие, был, похоже, рассчитан на то, чтобы положить конец спорам. Оставшись, естественно, без ответа, этот вызов открыл ему двери для почетного ухода — перед неизбежным отъездом.

За пределами двора он оставался не слишком долго. В 1183 г. он присоединился к вылазке Генриха Молодого в Лимузен, которая окончилась плохо — смертью князя. И он проявил в отношении последнего настоящую посмертную верность: именно он оплатил долги Генриха (отчасти) и выполнил вместо него крестоносный обет. Можно сказать, что не

бывает великой похвалы благородному рыцарю без упоминания его вассальной верности, преданности. «История Вильгельма Маршала» не сообщила, чтобы он приносил оммаж Генриху Молодому. Правда, он, похоже, не держал сеньории в фьеф от Плантагенетов раньше 1189 г. Но он долго принимал щедроты от этого князя и был близок к нему; он, в частности, был удостоен чести посвятить Генриха, несмотря на различие в положении. Впрочем, служба королю, королеве требовалась от любого благородного мужа в их королевстве. Так что ради славы Вильгельму Маршалу следовало быть образцом и здесь.

Оба раза, когда Вильгельм Маршал страдал и показывал примеры образцовой службы, это происходило в Аквитании, среди опасностей беспокойного края.

В 1168 г. он выехал в Пуату воевать с врагами короля Генриха Плантагенета — прежде всего с Жоффруа де Лузиньяном, потомком Хилиарха тысячного года. «История Вильгельма Маршала» отзывается нелестно как о Жоффруа, так и о пуатевинцах: «Жоффруа де Лузиньян, — сообщает она, — здесь был вождем этого племени, никогда не желавшего ни соблюдать верности и оммажа какому-то сеньору, ни терпеть какое-либо ярмо». Читайте: эта зная оказала некоторое сопротивление Плантагенетам, желающим ее эксплуатировать. «У него все еще была волчья шерсть»^[761], то есть склонность к «измене», достаточно понятная после выбитых силой обязательств и, по сути, довольно характерная для всех земель феодальной Европы! Вильгельм прибыл сюда со своим дядей Патриком Солсберийским, они охраняли королеву Алиенору, но попали в засаду из-за отсутствия охранного свидетельства и в результате измены. Они прикрывали бегство Алиеноры в замок, но Патрик был убит, не успев облачиться в доспехи. Вильгельм надел его кольчугу (но не шлем), прежде чем броситься мстить за дядю. Под ним рогатиной убили коня, он еще успел дать отпор, но и его ранили рогатиной в ногу.

И вот он пленник и объект довольно классических издевательств: его оставили без ухода, чтобы он страдал и настроился заплатить выкуп. Его переводят из крепости в крепость, нога у него болит все сильнее. И все-таки одна дама тайком дает ему пакли, чтобы перевязать рану. И королева Алиенора договаривается о его освобождении, выдав заложников. Возможно, Вильгельм побывал тогда, по меньшей мере ненадолго, при дворе, который она держала в Пуатье и где трубадуры соседствовали с жонглерами из Лангедойля^[762]; в языке тех и других уже наметилась тенденция к разделению, тогда как темы, литературные новшества, наоборот, распространялись, и ими обменивались.

Второе испытание он перенес в Аквитании в 1183 г., когда присоединился к Генриху Молодому, вновь восставшему против отца, чтобы принять участие в борьбе прежде всего против его младшего брата Ричарда Львиное Сердце, который «грубо обращался с высокородными мужами»^[763] в этом краю, где, можно сказать, продолжался первый феодальный век — за отсутствием турниров^[196] практиковали только засады и междоусобные войны, отныне еще ужесточившиеся из-за участия наемников. Тем не менее там еще были кое-какие процветающие города и пышные дворы, благосклонно относящиеся к посвящениям и играм.

Хроника монаха из Сен-Марсьяль-де-Лимож, Жоффруа, приора Вижуа, обрывается в 1184 г. — несомненно, вследствие его смерти. Уклончивая и наполненная вымыслами в описании рубежа тысячелетий, она становится более насыщенной и достоверной для времен незадолго до 1100 г., а еще более — при рассказе о последних пятидесяти годах. Интересно ее сравнить с хроникой Адемара Шабаннского, монаха из того же аббатства, жившего на полтора века раньше и вышедшего, так же как Жоффруа из Вижуа, из рядов средней аристократии. Тому и другому приходилось рассказывать о феодальных войнах, иногда о настоящих вендеттах, и они делали это, не проявляя никакой снисходительности. Но это отнюдь не побуждало их по-настоящему усомниться в социальной системе — кроме момента, когда Жоффруа из Вижуа в конце хроники резко бранит «компаний» наемных рутьеров^[197] и возносит восторженную хвалу братству в Ле-Пюи.

Как и для Парижского бассейна, и едва ли не более явственно, для Лимузена XII в.

характерны рост важности посвящения в рыцари и подъем городской буржуазии. А ведь у Адемара Шабаннского, упоминающего только о подвигах молодежи, которые порождали легенды о том или ином рыцаре, нет ни малейших намеков на посвящения. В тот самый год, когда Жоффруа закончил свою хронику (1184), некий Гольфье де Ластур, который происходил из рода «героя», прославившегося при взятии Марры в Первом крестовом походе^{764}, преждевременно скончался от плеврита «в возрасте тридцати трех лет, проносив двенадцать лет рыцарский пояс»^{765}. Однако автору это дало возможность упомянуть три посвящения, совершенных Генрихом Плантагенетом и его сыном Ричардом Львиное Сердце. В 1166 г. началась борьба между Бернаром де Перигё и его племянником. Вокруг обоих сформировались коалиции, хотя, благодарение Богу, до таких крайностей, как в свое время в семействе виконтов Комборнских, дело не дошло. И именно Генрих Плантагенет сделал решающий шаг: «Поэтому вступили в мирные переговоры, по итогам которых Бернару был возвращен замок, и он получил от короля англичан рыцарский пояс»^{766}. В 1178 г. Ричард Львиное Сердце точно так же посвятил виконта Лектурского, и на сей раз это стало залогом мира и прощения: виконт получил от него замок Ломань, который прежде от него оборонял^{767}. Это можно было бы даже назвать оммажем и передачей фьефа. В 1159 г. Генрих Плантагенет под Тулузой укрепил одновременно братство по оружию и свое верховенство, посвятив короля Шотландии, который сразу же совершил *такой же дар* (повлекший за собой тот же долг) тридцати соратникам^{768}. Но, помимо этого, Жоффруа из Вижуа упоминает случаи социального возвышения, освященного получением рыцарского звания, — одного поставщика перца ко двору герцога Аквитанского и некоего Пьера Бернара из Вернёя, возвышение которого аббат Сен-Марсьяль-де-Лимож зафиксировал в 1159 г.^{[198], {769}}

Была ли здесь более ощутима власть дам над рыцарями, чем в других местах? В текстах, вышедших из-под пера Жоффруа из Вижуа, бесполезно искать упоминание о какой-нибудь даме из Ла-стура или Вентадорна, которая вызывала бы такой же энтузиазм в окситанских замках, как дамы из Конша и Куси, о которых писали Ордерик Виталий и Гислеберт Монский^{770}. Жоффруа вскользь упоминает нескольких дам: одну изнасилованную, по имени Гарсилла^{771}, другую — прелюбодейку, супругу некоего Альдеберта Маршского^{772}, но в конечном счете уделяет им немногим больше внимания, чем Адемар Шабаннский их прабабкам X в. и тысячного года. В «Чудесах Рокамадурской Богоматери» (записанных незадолго до 1172 г.) знатные женщины занимают место, едва ли сравнимое с тем, какое им уделяется в описании чудес святой Веры Конкской в XI в. Тем не менее такое место и соответствует роли дам в посткаролингском мире, ни более и ни менее.

Зато эти «Рокамадурские чудеса» неслыханное прежде место отводят купцам, их братству: отныне Богоматерь покровительствует их дальним плаваниям и товарам, столько же и более, чем хранит рыцарей. И Жоффруа из Вижуа, со своей стороны, поражен растущим напором горожан своего времени. Горожане Безье, угнетаемые своим виконтом, в 1163 г. убивают его^{773}. Горожане Ла-Сутеррен в 1171 г. организуют коммуну, объединившись против местных монахов, своих сеньоров, потому что отказываются платить им талью. По счастью, король их за это наказывает!^{774} Но ничто лучше не иллюстрирует надменность этого нового класса или, скорей, новой элиты, чем история одной вендетты, начавшейся вскоре после 1127 г. В связи с чисто феодальной войной между виконтом Лиможским и графом Перигё город Перигё начал враждовать с бургом Пюи-Сен-Фрон. Некий Пьер из Перигё, имевший знатную родню, был убит горожанами, а одного из таковых, который забрал кольцо убитого и бросил городу вызов, в свою очередь убил сын Пьера. Последний, рыцарь, впоследствии вынужден был заплатить приличный штраф сыну жертвы, горожанину:

поэтому он принес последнему оммаж, вопреки социальной иерархии, а потом дары и стал крестным отцом его ребенка... Увы — в самый пост горожанин отомстил за отца, и кончилось дело очень плохо^{775}. Неужто это происходило в мире, столь отличном от мира Гальберта Брюггского?

Здесь города ни по численности населения, ни по размеру не были сопоставимы с городами Фландрии. Тем не менее князья и бароны держали в них свои дворы, и горожане смотрели на веселящуюся знать, несомненно, с теми же чувствами, что и на Севере, — они были ее поставщиками, они ей предоставляли излишки продуктов из «объясненных» (*encellulees*) деревень. Но почему здесь не было турниров? Возможно, для этого требовалось бы большая плотность населения, а также территория, более пригодная для быстрых перемещений и атак всадников, чем Центральный массив. И, соответственно, нужны были бы княжества, похожие, как близнецы, которые бы по-рыцарски сталкивались на своих границах. Но в этом регионе, более раздробленном и разъединенном в политическом отношении, что во многом объяснялось его географией, ситуация сложилась иная. В XII в. это была территория, где внешние силы, Капетинги и Плантагенеты, графы Тулузы и Барселоны, ведя игру меж собой, Двигали свои фигуры (простые баронства) и куда вводили наемные «компании», ведущие грязную войну.

При жизни Жоффруа из Вижуа туда стекались рутьеры, которых называли то басками, то коттеро или брабантцами; вероятно, их вполне могли отчасти вербовать на больших турнирах, о которых повествует Гислеберт Монский. Плантагенеты использовали их в своих семейных распрях и в борьбе с сеньорами-шателенами, которые противились их вторжениям на эти земли. Сеньоры в свою очередь набирали их для участия в яростных войнах с соседями, таких как война Жильбера де Мальмора с Аршамбо Комборнским, обозвавшим первого *Попугаем*^{776}. И монахов Сен-Марсьяля, как и многих других, эти варвары приводили в смятение. В 1176 г. «брабантцы опустошили территорию Иссандона, а потом отошли обратно в Мальмор» — явно под защиту благородного рыцаря, который был сеньором последнего. Тогда аббат Сен-Марсьяля в Вербное воскресенье предложил созвать ост христианства. Эту идею поддержал епископ, и прихожане двинулись вслед за драгоценным крестом, привезенным из Иерусалима одним крестоносцем^{777}, чтобы перебить под Бривом «две тысячи этих разбойников». В этом осте отмечено присутствие также виконтов и сеньоров — противников мальморского сеньора^{778}.

Однако оставалась еще банда наемников, действовавшая по всему Центральному массиву: они разоряли земли и, судя по всем хроникам, к зверствам добавляли святотатства, — эти наемники в точности предвосхитили «большие компании» Столетней войны^{779}. Жестокость, какую им приписывали, давала благовидный предлог быть жестокими с ними, безжалостно убивать их вместе с женами и детьми. Никакого рыцарства по отношению к этим антирыцарям никто не проявлял. Они повергали в трепет и городских буржуа: горожане Манда до 1172 г. еще рассчитывали только на Богоматерь Рокамадурскую^{780}. И, конечно, горожане были в значительной мере представлены в знаменитом братстве Миротворцев из Ле-Пюи-ан-Веле, сформированном в 1181 г.^{781} Паломничество к Деве Марии 15 августа представляло собой пышный кортеж расточительной знати, если верить одной недоброжелательной хронике^{782}, — легкомысленный двор Богоматери! А ведь рутьеры, рыская по дорогам, мешали паломникам и подрывали торговлю горожан...

По поводу пышных дворов Жоффруа из Вижуа высказывается очень похоже на то, как Гислеберт Монский говорил о турнирах. Расходы на них кажутся ему чрезмерными, но он уже начинает восхищаться крупными сеньорами, которые отличаются щедростью, меткими

репликами в спорах и рыцарской ловкостью в играх — настоящим южным эквиваленте подвигов в копейных боях, более свойственных для Севера. И Жоффруа из Вижуа не может удержаться от описания подвигов сначала провансальцев, а потом лимузенцев.

Так, в 1169 г. «множество рыцарей и сеньоров из Прованса устроило летом веселые празднества в замке [городе, опоясанном валами] Бокер. Поводом для этих увеселений было намеченное примирение короля англичан [Генриха Плантагенета] с Раймундом, герцогом Нарбоннским, и Альфонсом, королем Арагона». Но короли там так и не появились, и осталось несколько князей, «тиранов, каковые шли на безумные ухищрения, чтобы придать блеск своему имени» за счет щедрот и дорогостоящих фантазий.

Крупнейшие окситанские магнаты состязались в расходах и демонстративном мотовстве. «Тулузец [граф Раймунд V] дал сто тысяч солидов Раймунду д'Агу, великодушному рыцарю, каковой немедленно роздал их сотнями, что составило по тысяче солидов на сто рыцарей каждому». Вот куда уходили доходы от дорожных пошлин и от ярмарок в Лангедоке, в Сен-Жиле и в Тулузе! Другому сопернику, Бертрану Раймбауту, пришла в голову мысль «вспахать площадь замка [города Бокер] на двенадцати парах быков, и он велел засеять ее деньгами, потратив сумму до тридцати тысяч солидов». Жоффруа из Вижуа не говорит или не знает, кто впоследствии собрал их, — но кто же, как не кто-то из десятка тысяч рыцарей, перечисленных им как гости при этом дворе? Это, несомненно, были *pros paubres* (бедные и отважные) рыцари, чье желание получать субсидии от «богатых людей» громогласно воспел трубадур Бертран де Борн. В этом состязании, больше походившем на потlach, чем на турнир, на ристалище выступил третий участник — Гильом Толстый де Мартель, приведший с собой триста рыцарей. «Он велел сварить все блюда для своего стола на восковых свечах и факелах», то есть на страшно дорогом топливе, обычно используемом только для освещения залов и церквей. Графиня Урхельская здесь не присутствовала, но заочно приняла участие в этом соревновании расточителей, прислав «корону, стоимость которой оценивалась в сорок тысяч солидов», которая должна была бы увенчать короля гистрионов, если бы излюбленный кандидат сеньоров, Гильем Мита, не пренебрег приглашением. Наконец, пятый барон (имени которого Жоффруа из Вижуа даже не знает) с блеском завершил этот конкурс разорительных фантазий, вполне способных оскорбить буржуазную экономность и скромность: «Из бахвальства он велел сжечь у всех на глазах тридцать коней»^[783].

Это говорится о состязании в Бокере. Виконты Лимузена не остались в долгу, но осудить их Жоффруа из Вижуа как-то позабыл. Чувствуется, что его забавляют их игры, что он восхищается их изобретательностью и энергичностью. Разве для этого не требовались уверенность и непринужденность в избытке — качества, особо часто встречавшиеся у отпрысков богатых и влиятельных семейств. Виконт Лиможский принимает у себя в городе графа Пуатевинского (и герцога Аквитанского) Гильома IX, сенешаль которого просит перца. Тогда его ведут «в дом, где перец лежал кучами, как желуди для свиней». Это явно красивая демонстрация богатства, ведь перец был дорогой пряностью, поступавшей с Востока! А слуга виконта взял рабочую лопату и стал «скорей уж кидать перец, чем подавать его, со словами: “Чтобы приправлять соусы для графа Пуатевинского!”» Так вот, «эта реплика вскоре стала широко известна и сделала честь двору виконта», тогда как граф не сказал ни слова: он был несколько раздосадован^[784]. Ведь граф Пуатевинский старался превзойти виконта, давая понять, что тот не так уж богат. Разве в самом Пуатье он однажды не попытался обойтись с виконтом как с «мужланом», не позволяя ему продать лес?

Читая забавные истории времен герцога-трубадура Гильома IX (1082–1128), никогда не соскучишься. Эбль Вентадорнский был в то время «превосходным сочинителем кантилен»: это тоже был трубадур. Благодаря чему он оказался в милости у герцога... и вызывал у него

поэтическую ревность! Они взаимно завидовали друг другу, и каждый старался поймать другого на недостаточной учтивости. Игра заключалась в том, чтобы как бы невзначай или в очень замаскированном виде намекнуть на недостаточную роскошь приема. Таков был скрытый смысл вежливой реплики Эбля по выходе с герцогского пира в Пуатье, сервированного пышно, но с некоторым запозданием: «Стоило ли такому графу, как вы, столько тратить на прием столь мелкого виконта, как я». Понимайте так: вы потратили недостаточно!

Вернувшись в свои земли, виконт, сидя за столом, вдруг видит входящего Гильома Пуатевинского с сотней рыцарей, который намеренно приехал без предупреждения. Что делать? Эбль понимает, что попал в дурацкое положение, но он поднимает на ноги всю челядь, как какой-нибудь Балдуин V поступал со своими оруженосцами, рыцарями и сержантами. Слуги обшаривают замок (бургаду Вентадорн) и тащат всю домашнюю птицу, какую только находят. По счастью, день праздничный, и ее в изобилии. Поэтому блистательный обед напоминает «свадьбу какого-нибудь князя». И в довершение демонстрации некий «крестьянин» виконта, даже без ведома последнего, прибывает на застолье в телеге. «Эй, — говорит он, — подойдите, молодые люди графа Пуатевинского, посмотрите все, как поставляют воск ко двору виконта Вентадорнского». Затем он открывает телегу, и из нее сыплется на землю «бесчисленные бруски чистейшего воска».

Граф Пуатевинский как игрок, умеющий признавать поражение, и как несомненный ценитель брусков возносит виконту хвалу за богатство, щедрость и находчивость. А последний вознаграждает «крестьянина» и его детей, даровав им поместье, а чуть позже красиво возвысив их: он «передал им рыцарский пояс»^[785]. Их подвиг, правду сказать, похож на хорошую работу министерялов.

Однако не следует думать, что из сердец аквитанской знати ушло всякое соперничество в чести, не считая отдельных бравад, как утверждали надменные анжуйцы. Когда Ги де Ластур находился в Пуатье «в качестве заложника», то есть жил в городе на дому и бывал в обществе герцога вместе с другими знатными людьми, он услышал вызывающее заявление Пьера де Пьер-Буффьера^[199]: «Аршамбо и Эбль, мои братья, завтра опустошат земли своего дяди Бернара, а вы не придете к нему на помощь!» Речь идет об очередном конфликте между племянниками и дядей, которому Ги де Ластур приходился вассалом. Ги, конечно, уязвленный, не моргнув глазом, но, вернувшись к домохозяину, прикинулся больным. Он «попросил говорить всем, кто станет его спрашивать, что он нездоров». Далее он покинул город, переодевшись оруженосцем, и без отдыха скакал до Ластура, где взял с собой рыцарей, привел их к Бернару и пресек грабительский набег племянников. Противники лишились добычи, бежали либо попали в плен. «После этого Ги де Ластур спешно вернулся в Пуатье», не поев, не поспав и ни с кем не встретившись, даже с подругой сердца, по которой томился страстью. И через несколько дней он в свою очередь посмеялся над насмешником Пьером, заметив, что захватил в бою даже принадлежавшего тому парадного коня. Пьер пожаловался герцогу Гильому, но последний высоко оценил рассказ об этой лихой выходке. «Он заявил, что Ги вовсе не следует порицать, он заслуживает похвал»^[786]. Вот достойный сын героя штурма Марры, Гольфье Великого, и сам он погибнет во втором крестовом походе (1147–1149). Его кавалерийский рейд в Лимузен и рыцарское одобрение со стороны Гильома вновь погружают нас в атмосферу походов Эли Мэнского, происходивших незадолго до тысяча сотого года. Для эпизода, когда Эли отваживается пойти на мнимое пленение, чтобы в шуточной форме провести переговоры с защитниками башни^[787], этот эпизод представляет собой точный негатив, — а значит, аналог: мнимое освобождение с целью

провести нелегкий бой, а потом вернуться, дабы насладиться победой и неприятным сюрпризом для обидчика.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ

И, несомненно, поскольку здесь все принадлежали к хорошему обществу, герцог Гильом мог впоследствии рассказать Ги де Ластуру, спев «*Farai un vers, pos mi somelh*»^[788], как он сам сыграл добрую шутку, обманув — для их же удовольствия — двух прекрасных замужних женщин. Их звали Аньес и Эрмесен, и он усыпил их недоверие уловкой, достойной уже «Декамерона». Чтобы проникнуть к ним, он притворился немой. Они провели его в свой покой и подали обед. Но потом, чтобы испытать, на самом ли деле он немой, они принесли кота, который стал его царапать. Это было почти что рыцарское испытание, ведь, чтобы не закричать, требовались мужество и стойкость — и надежда на приятное времяпровождение впоследствии. В самом деле, обе дамы, убедившись, что он ничего не расскажет о них и о себе, приготовили ему баню, и им было хорошо! Ибо, добавляет этот адепт любви втроем, «я имел их сто восемьдесят восемь раз». Каждую или суммарно? Если только это не плод его воображения, разгулявшегося, дабы хвалиться перед Ги де Ластуром или кем-нибудь еще. Действительно, в мужской компании было принято всю хвастаться любовными победами, как и богатством. Женщины — как перец: сколько их ни будь, все мало, а адюльтер придает им вкус.

Этот лихой герцог был первым трубадуром, внесенным в список таковых, автором одиннадцати кансон, положивших начало лирике на языке «ок»^[789] и создавших ему превосходную репутацию «пылкого любителя женщин»^[790], *trechador de domnas*^[200] — это был Вильгельм Завоеватель Дам. Пусть даже он чередовал с этим распутством некоторую новизну, изящную похвалу радости в рамках жанра *fin'amor* [утонченной любви]. Действительно ли его кансоны выражали истинные чувства автора, соответствовали конкретным эпизодам его жизни? Как правило, исследователи склонны верить этому в отношении последней, «*Pos de chantar*» [Про то стихи сейчас сложу], где автор принимает решение в преддверии смерти закончить жизнь не Дон Жуаном, бросающим вызов Богу, а поступить по-христиански и отринуть, отбросить *cavalaria et orgueill* [всю гордость рыцарства, весь пыл^[201]]. И тревожится о сыне, окруженном князьями, которые хотят ослабить его власть. И хочет, чтобы его самого почтили благородным погребением^[791].

Но правда ли, что слова по адресу дам, содержащиеся в предыдущих кансонах, он сочинил, действительно добиваясь их расположения? Или это развлечение в чистом виде, условные жалобы в соответствии с некими правилами любовного служения и риторических стратегий? Турниры, конечно, были сражениями искусственными. Но почему бы не представить, что некоторые из этих диалогов, как случалось и с турнирами, оказались серьезней, чем было принято? Любовное служение было игрой, но могло стать, что дело доходило до настоящих попыток обольщения и до реальных любовных удач и неудач.

Так, герцог Гильом, человек очень плотский и очень хитрый, при общении с дамами притворившийся немой, вновь обрел свой язык (окситанский) перед сеньорами! Он сделал вид, что ведет с женщинами такую же конфронтацию, как и с мужчинами. Он в той же пропорции проявлял к ним взаимное уважение и враждебность. О своей даме Гильом поет: «Она мне напоминает о том утре, когда мы положили конец войне и когда она дала мне великий дар — свою любовь и свое кольцо»^[792] [Так, однажды, в лучах зари / Мы закончить войну смогли, / И великий дар меня ждал: / Дав кольцо, пустила в свой дом^[202]]. Это «феодальный» тип отношений, пусть даже, в конечном счете, автор имел в виду совсем иной контекст! Во всяком случае это не полная покорность, не мифическая вассальная преданность, выдуманная старой исторической школой (XIX в.), внезапно претворившаяся в

любовь. Женщина здесь — не идол и не добыча, она партнерша в игре, и у нее есть свои козыри, ей есть что дать и что получить, в соответствии с правилами. Она тоже может сделать попытку добиться неких обязательств в своем отношении. Скажем даже, что добивается она этого успешно! «Моя дама изведывает меня и испытывает, чтобы узнать, как я ее люблю; но никогда, как бы ни искала она со мной ссор, я не сброшу ее уз»^{793}. Можно было бы подумать, что читаешь «*Conventurn*», написанный в интересах Гуго Хилиарха, если бы язык здесь не был чище и красивей. И речь трубадура в конце концов становится по-настоящему лиричной. Он нуждается в любви, трепещет от нее, содрогается от нее. «Я бы умер, клянусь головой святого Григория [своей реликвией], если бы она не подарила мне поцелуй в закрытой комнате или под сенью дерев»^{794}.

Окситанская поэзия произросла на почве рыцарского общества Аквитании, вероятно, не менее воинственного и не менее склонного к развлечениям и к играм, чем общество на Севере, — впрочем, постоянную связь с последним мы обнаруживаем то и дело. Не следует думать, что здесь быстро и внезапно научились утонченности или же молниеносно открыли для себя Женщину и тем самым сформировали такое рыцарство, которое целиком посвятило себя служению ей, безукоризненно вежливое и слащавое. Здесь скорее обожали подвиги любви трудной, запретной и возбуждающей. Ведь у рассказов и песен такого рода были свои «фанаты», как сказали бы мы, — видимо, молодых холостых рыцарей здесь хватало^[203]. Эта поэзия не столько освобождает феодальную женщину, сколько высвобождает вождление рыцаря к ней и вносит настоящую молодую силу в это радостное утверждение желания любить, выраженное в самых разных регистрах, желания жить настоящим в духе, довольно далеко от религиозного.

Когда Гильом IX говорит о двух своих любовницах, это могло быть уже некой поэзией для посвященных, если бы параллель между обладанием двумя женщинами и обладанием двумя конями или двумя замками не была ясна как день. В таком же ухарском тоне говорят о костях, какие бросают на игорный стол!^{795} В этой поэзии контрапунктом сентиментальным песням служат достаточно вольные стихи.

Какой-нибудь Джауфре Рюдель, «князь» (сеньор) Блайи, с его *amor de lonh* [дальней любовью] к далекой принцессе, — разве не робкий вздохатель, галантный кавалер, о каком только может мечтать цивилизованная женщина? «Любовь из дальней земли, все мое сердце страдает без вас». И в благе, которого он ищет, благе сладостной встречи, ему отказано, «нет ничего странного в огне, который меня сжигает. Ибо никогда не было более прекрасной женщины ни среди христианок, ни среди евреек или сарацинок, этого не потерпел бы Бог; какой манной угощают того, кто может приблизиться к своей любви». Но Джауфре Рюдель к ней не приближается, терзаясь лишь одним опасением — «вдруг другой, а не я, страстно ее пожелает или увезет»^{796}. Мимоходом заметим: трудно представить, чтобы столь болезненно-высокая оценка блага, за которое окситанские рыцари боролись между собой, могла бы сделать их миролюбивей! Ревность никогда не смягчала ничьего сердца, и в другой *кансоне* Джауфре Рюделя упоминается очень затруднительное положение любовника, захваченного на месте преступления, во время *causa doucena*. Рогоносцы Лангедока рыцарским великодушием не отличались...

Возможно, Джауфре Рюдель в своей печальной любви выражал, если верить Эриху Кёлеру, обманутые ожидания и социальный сплин класса мелких рыцарей, обедневших в XII в., разочаровавшихся в князьях, которые дают слишком мало и не всех спасают от упадка^{797}. В таком случае это дальняя любовь к утраченному социальному положению. Но благодаря Жоффруа из Вижуа мы уже видели, что южные дворы были скорей склонны к безумствам,

чем к унынию. А обратившись к творчеству Бертрана де Борна, мы прежде всего увидим откровенное и неприкрашенное желание получать милости (мы увидели бы это в творчестве и многих других трубадуров). Зачем тогда было бы выражать это желание обиняками?

Можно было бы также отметить язвительность какого-нибудь Маркабрюна в сатире на женщин и его ядовитые намеки на рыцарей сомнительного происхождения^[798]. Однако у одного из последних, Бернарта де Вентадорна, выходца из семьи министралов, можно обнаружить строгую сдержанность и склонность погружаться в свои мысли, граничащую с нарциссизмом^[799]. Итак, рыцарство теперь выставляло напоказ умение красиво любить, как с начала исторических времен демонстрировало красивую воинскую смелость.

Поэзия трубадуров повлияла на поэзию Севера через посредство двора Алиеноры. Способствовала ли тем самым эта поэзия смягчению нравов? Доказать это было бы непросто, и притом для этого ей бы следовало самой проникнуться мягкостью. А ведь она отнюдь не столь уж спокойна и не пресна. Она воспекает суровые испытания, выдвигает настойчивые, пылкие требования к прелестным женщинам и к богатым мужчинам, никогда не возносит хвалу мирной жизни и также не слишком жалуется хорошие манеры. Она вся написана во славу знатного мужчины — лихого молодца и его партнерши, которая составляет ему достойную пару. А если он там и сям завоевывает пухлую «пастушку», то за счет того, что уверяет ее, будто она выглядит как дочь рыцаря, и ей дадут красивые наряды, — все с целью запудрить мозги и завалить на траву.

Впрочем, эта поэзия посвящена не только любви. Пусть у Бертрана де Борна есть подруга, но ее очаровательная анатомия, «руки круглы, грудь без изъяна, / Как у кролика — выгиб стана»^[800], не более чем на строфу отвлекает его от требований к своему князю вести добрые малые войны, которые бы поправили финансовое положение рядового рыцаря, слишком «бедного». И ему по душе война стычек и осад против своего брата-врага Константина. Этот барон, сеньор Аутафорта в Перигоре, отражает в творчестве собственную жизнь, отмечая этапы борьбы и резкие перемены. Он поднимает оружие против герцога Ричарда Львиное Сердце — не столько, может быть, ради защиты прерогатив «высородных мужей», сколько потому, что герцога поддерживает его брат.

Однако он адресует к самым обычным рыцарям княжеского двора, участникам стычек, поединков, когда находится среди них, и даже к какому-нибудь рутьеру-«брабантцу», затесавшемуся в их ряды^[204]. Именно рыцарям он говорит о желании участвовать в славных малых войнах, чтобы получать похвалы и выгоду. Самая знаменитая из его сирвент — та, что начинается словами «Ben platz lo gais tempos de Pasco»^[801]: «Мила мне радость вешних дней, / И свежих листьев, и цветов». Действительно, напев птиц он слышит, но все-таки «милей — глазами по лугам / Считать шатры и здесь и там / И, схватки ожидая, / Скользить по рыцарским рядам / И по оседланным коням». Словно война — это праздник, как, должно быть, воспринимал ее в двадцать лет Людовик VI в 1100 г. «E platz mi» (и мне нравится), настаивает Бертран де Борн, видеть людей, бегущих от разведчиков, осажденные замки, поваленные частоколы. «Лишь тот мне мил среди князей, / Кто в битву ринуться готов, / Чтобы пылкой доблестью своей (ab valen vasselatge) / Бодрить сердца своих бойцов, / Доспехами бряцая». Чтобы заслужить уважение, надо наносить и получать удары, надо, чтобы разлетались шлемы, чтобы раскалывались щиты, чтобы убивали и ранили. «А стычка удалая / Вассалов! Любо их мечам / Ходить по грудям, по плечам, / Удары раздавая! / Здесь гибель ходит по пятам, / Но лучше смерть, чем стыд и срам».

Итак, призыв к самому жестокому рыцарскому бою, возникший в том краю, где, по утверждению стольких книг Нового времени, ласковость женщин «окультурила»

трубадуров! Что это за песнь о смерти, априори более достойная Тацитова германца, свевского вождя с его *комитатом* или свирепого франка из армии Хлодвига, чем окситанского француза под ясным солнцем XII в.? Во всяком случае эта сирвента перекликается с героическим идеалом «жест». По сути Бертран де Борн очень откровенно причисляет себя к их эпическим героям. Он даже радуется, что Герри Рыжий вернул Рауля Камбрейского, уже было склонявшегося к миру, на прямой путь неумолимой мести^[802]. Но, правду сказать, наш Бертран — не Рауль Камбрейский, погибший от своей неумности, и не Жирар Руссильонский, которого близкие обрекли на двадцать лет одиночества в пустынном лесу. Нет, он слишком любит двор и щедроты, чтобы отказываться от любых сделок с противником, — и бьемся о заклад, что в бою он был не столь кровожаден, как на словах. В чем, кстати, он не слишком резко отличался от древних германцев или франков и прежде всего походил на тех сеньоров, о войнах которых рассказывает Жоффруа из Вижуа и которые как добрые феодалы предпочитали попасть в плен, чем погибнуть.

Бертран де Борн любит двор и его щедроты. Он умеет писать надгробные песни в честь князей. Вот хотя бы его плач по Генриху Молодому, сеньору Вильгельма Маршала, умершему в 1183 г. во цвете лет:

«Дух благородства навеки утрачен, / Голос учтивый, пожалуйста-в-дом, / Замок богатый, любезный прием, / Всякий ущерб был им щедро оплачен»^[803]. Ах, будь он жив — он стал бы «*reis dels cortes e dels gros emperaire*» («королем куртуазных людей, императором героев»), он, князь юности! Но «сталь шпаг и байдан, / Штандарт и колчан / Нетронутых стрел, / И плащ золоткан, / И новый камзол / Теперь во владенье / Лишь жалкого тленья». Увы, увы, рыцарство умерло!

Тем не менее оно не замедлит воскреснуть в лице родных братьев Генриха, в турнирном бойце Жоффруа Бретонском (по прозвищу *Расса*)^[205] и прежде всего в Ричарде Львиное Сердце (по прозвищу *Да-и-Нет*). Против последнего наш Бертран сначала бунтовал, но добился его прощения и расточает ему стихотворные комплименты... Его песни написаны с конкретным расчетом, как песни пуатевинских пленников из Фонтен-Милона^[804].

Если принять тезис Эриха Кёлера, Бертран де Борн выглядит человеком, открыто и без обиняков говорящим о том, что другие трубадуры подразумевают под стремлением к даме. У него, конечно, есть дама, которой можно служить как возлюбленной, настаивать перед ней на своей невиновности и требовать должного. Но даже говоря о любви, он сохраняет социологический подход: «Расса, — обращается он к Жоффруа Бретонскому, — высшей доблести грани / В сердце зрит она, а не в сани», видит «благородство в рвани», в «*gros raubres*» (бедных героях), поэтому «я советчик ее» (имеется в виду любовная поддержка, любовное служение). Ах, как она права, если «в любви изберет / Тех, чей дух высок, а не род, / Ибо нас бесславит почет / От иных преславных господ»^[805]!

Сам Бертран стоит не на столь уж низкой ступени в феодальной иерархии, и нельзя сказать, что его не за что упрекнуть. Однажды его изобличают в измене даме (если только это не вымышленный эпизод, придуманный, чтобы написать блестящее стихотворение). Он пылко защищается, обещая себе ряд проблем в случае, если бы он стал ухаживать за другой, давая нечто вроде мирской клятвы. И эти обещанные неприятности формируют негативную картину всего того, в чем он бы хотел преуспеть, чтобы стать превосходным рыцарем, и что может вызвать интерес у его аудитории. Вкратце содержание его речи — следующее: если мои клеветники правы, «пусть кречета, схватив с моей руки, / Лохматые оциплют ястребки, / И станет он бессилен и беспер»^[206]. Или же пусть я стану импотентом, пусть я проиграю в игре, пусть я разделю свой замок с тремя другими владельцами, — а ведь представить даже

единственного брата, Константина, «совладельцем» Аутафорта ему было совсем не забавно! Но на том список возможных бед не заканчивается: ему еще придется обойтись без таких специалистов, как врачи, арбалетчики, сержанты, часовые и привратники, стерпеть побои от привратников прямо при королевском дворе (то есть изгнание из него), бежать из сражения, скакать в дурную погоду на коне со слишком короткими поводьями и слишком длинными путлицами, то есть все у него пойдет вкривь и вкось... Вот сколько поводов для стыда. Не говоря уже о гипотезе «пускай с другим [рыцарем] вы станете близки»^{806} — ладно еще, что не с клириком!

Этот сеньор замка, интригующий против брата и ведущий феодальные войны, не более непримиримо относится к Ричарду Львиное Сердце, чем относились к своим князьям какой-нибудь Гуго дю Пюизе или Жиро Белле. Он способен даже пересмотреть некоторые из своих суждений вплоть до того, что при случае становится певцом, выразителем требований рыцарей-наемников. Он то превозносит яростную войну, то упрекает князей за то, что они поощряют разработку новой техники, такой как осадные машины, и гаджетов вроде угловых башен и поворотных лестниц в своих замках: за это они платят большие деньги специалистам, работникам физического труда, а хорошее общество их осуждает. Не нравится ему, что они ездят на охоту: от рогов и труб столько шума, весь этот зверинец из птиц и собак совсем недостоин рыцаря^{807}. Его настроение переменчиво и в отношении других вещей — или, скорей, он применяется к аудитории и к обстоятельствам. Довольно много окситанских рыцарей ездит на турниры. Бертран иногда благосклонен к «воинам и турнирным бойцам»; однако, будучи не в духе^{808}, он обнаруживает среди «турнирных рубак» множество мошенников (*gualiadors*). Пусть лучше каждый из князей «осыплет их [своих рыцарей] градом благ», дарует им землю и куртуазно к ним относится. Бертран де Борн доходит до утверждения, что наемников надо даже награждать «и к празднику, и к посту»^{809} ^[207].

Он вполне отличает благородных рыцарей от рутьеров, о зверствах которых говорил Жоффруа из Вижуа и оправдывал тем самым зверства по отношению к последним. Сам Бертран отрицает, что имел с ними дело: «Мне ненавистно общество баскских рутьеров, как ненавистно общество шлюх»^{810}. Но можно ли полностью ему в этом доверять? В другом месте он уделяет внимание «брабантцам», которые очень удручены смертью Генриха Молодого^{811} — и требуют от Вильгельма Маршала заплатить его долги. И если даже не он, то его брат Константин с ними водился.

Только о городских буржуа он никогда не говорит ничего хорошего!

СОГЛАШЕНИЯ С ЦЕРКОВЬЮ

Воспевая любовь и войну в очень мирской манере, трубадуры не освобождают аквитанских рыцарей ни от Бога, ни от сеньора. Многие из них закончили жизнь благочестиво, как герцог Гильом IX, который в последней песне отрекся от *cavallaria* и от *orgueil*^[812], и как Бертран де Борн, ранее 1196 г. поступивший в монахи в ци-стерцианское аббатство Далон недалеко от своей сеньории. Жоффруа из Вижуа в конце первой книги своей хроники может, не выразив чрезмерного пессимизма, сделать рассудительный вывод о том, какими христианами можно считать сеньоров его местности. Он, следуя давней традиции монахов-критиков, начинает с сожалений по поводу «нынешней моды», чрезмерная пышность которой контрастирует с умеренностью прежних времен — когда у сеньоров, по его мнению, оставалось больше богатств, чтобы отдавать церквям^[813].

В 1184 г. мода, продолжая свои колебательные движения, вернулась к богатым одеждам с длинными рукавами, и «подлые люди» стали одеваться роскошной баронов былых времен. Но если мы сравним Жоффруа из Вижуа с монахами — хулителями рыцарей тысячного и тысяча сотого годов, с каким-нибудь Раулем Глабером, с каким-нибудь Ордериком Виталием^[814], он, скорей, выглядит более сдержанным. Его перо не спешит выражать пафос и выдавать, как у них, подавленные желания. Нет, теперь он, скорей, социологичен, он обнаруживает вульгаризацию нравов знати — например, ношение башмаков, ставших «плебейскими».

Его перо еще и прагматично: его владелец выдает рыцарям — своим современникам (1184) аттестат в том, что они достаточно хорошие христиане. «Они часто поступают в монастыри [тот же Бертран де Борн вскоре это сделает] или в странноприимные заведения» — благотворительность была в XII в. делом достаточно новым, и ее, несомненно, стимулировали буржуазные элементы^[208]. «И так же часто, — продолжает Жоффруа из Вижуа, — они совершают паломничество в Иерусалим. Многие не полностью возмещают ущерб, нанесенный их преступлениями, но все-таки они искупают его в большей мере, чем если бы оставались дома. Ради Христа они подвергают смертельной опасности тело, покидая детей, супруг, наследие»^[815]. Поэтому не стоит, и это настроение хорошо чувствуется, проявлять к ним излишнюю суровость, желать полного изменения их нравов; несомненно, достаточно, чтобы миновала «юность» — поэзия трубадуров сама в полной мере обладала порывистостью юности с ее пылом, нетерпением, пристрастием к чрезмерным обещаниям и к вызовам^[209]. В общем, надо призывать людей совершенствоваться, — повторяет приор Вижуа, — и в то же время не доводить их до отчаяния. Христиане должны сохранять веру в покаяние и мессу, которые поносят «еретики»^[816] — те, кого мы называем «катарами» и кому целая система мифов, созданных в Средние века и Новое время, приписала приверженность представлениям восточного манихейства, вместо того чтобы понять: их сомнения и требования возникли под влиянием сомнений и требований первого григорианского поколения, возникших еще до компромисса тысяча сотого года^[817].

Жоффруа из Вижуа не упоминает здесь одну из причин, по которым Церковь раздражала южных рыцарей, — ее желание «отнять» у них десятину, которую они собирали вопреки канонам. Однако, учитывая сокращение их богатств^[210], ей, возможно, следовало бы пойти на уступки. Озлобленность вскоре подтолкнет некоторых из них к ереси.

Ни на Юге, ни на Севере рыцари и народ не собирались массами покидать лоно Церкви. Можно было бы даже отметить, что в своем пастырском рвении, усилившемся со времен

григорианской реформы, она научилась проявлять особую тактичность по отношению к рыцарству — прежде всего к выгоде князей, которые ей покровительствовали.

Весь понтификат Александра III (1159–1181) был наполнен осуждениями наемничества, и этот папа оказывал давление на короля Людовика VII и императора Фридриха Барбароссу, чтобы они прекратили прибегать к помощи наемников. В 1179 г. Третий Латеранский собор провозгласил настоящий крестовый поход против наемников внутри христианского мира. Однако этот поход почти не проповедовали. Потребовалось явление Богородицы одному ремесленнику в Ле-Пюи-ан-Веле, в 1181 г., чтобы сформировалось братство миротворцев, взявшее на себя задачу уничтожать наемников, которые рыскали по Центральному массиву Жоффруа из Вижуа восторгается этим братством^[211], хоть ему были известны бесчинства, устраиваемые братьями, и для него не была секретом их связь со многими баронами. После этой записи его «Хроника» обрывается. Но впоследствии успехи братства «присяжных» (*juries*), фактически довольно близкого к коммунальному движению, вызвали беспокойство у высших церковных иерархов. Стало известно, что братьев излишне возмущает несправедливость сеньоров. Миротворцам приписали безумные замыслы, даже бесовское наущение упразднить различие между знатными и сервами... Поэтому епископ Осерский Гуго де Нуайе покончил с этим движением: он возглавил ост, собранный, чтобы взять братьев в плен, и наложил на них суровое покаяние^[818].

Если наемники в какой-то мере были конкурентами рыцарей, последние обычно не становились их жертвами, и, возможно, некоторые даже затесались в число наемников... Бертран де Борн в своих сирвентах их то хвалит, то хулит. Прежде всего они были полезны для князей и баронов.

Третий Латеранский собор 1179 г. напомнил также о запрете на турниры, «мерзкие торжища». Он, конечно, не дошел до того, чтобы упомянуть, пусть даже мимоходом, о крестовом походе на турнирных бойцов. Но даже в вопросах запрета на их погребение Церковь на практике всегда уступала. Прежде всего она постаралась призвать турнирных бойцов в крестовый поход, чтобы они искупили свои прегрешения^[819]... и применили опыт, приобретенный на турнирах, на благо Церкви. Трувер Конон Бетюнский сожалеет, что оставляет свою подругу, отправляясь в Третий крестовый поход (1198). Тело уходит, в то время как сердце остается во Франции... Также хорошее дело — «совершать рыцарские подвиги» в Святой земле, завоеывая одновременно рай и честь, «*et pris et los et l'amor de s'amie*» [и награду, и славу, и любовь своей подруги]^[820] ^[212]

Впрочем, осуждая турниры, Церковь XII в. допускает, чтобы в отдельных рассказах о чудесах турнирные бойцы изображались с сочувствием. В Вандомуа происходила «та игра, где упражняются воины, в разговорном языке именуемая *турниром*». Один турнирный боец в сече, чтобы забрать коня, хватает его за повод, а всадник шпорит этого коня, чтобы вырваться, и уже не может остановить. Конь увлекает его в «очень глубокую реку» (уточним: Луару!..) Тогда рыцарь взывает к Шартрской Богородице. И она спасает его из опасности^[821], потребовав только, чтобы он больше не ездил на турниры. Более того: разве в одном сборнике назидательных историй (*exempla*), составленном немецким цистерцианцем Цезарием Гейстербахским (между 1219 и 1223), Дева Мария не оказывает любящему ее рыцарю довольно смелую милость? Ведь он настолько ей предан, что, дабы не пропустить субботнюю мессу, отказывается от участия в турнире, где считался фаворитом, способным завоевать «приз». А тем временем Богородица переодевается, берет его оружие и выдает себя за него, — находясь на мессе, он выигрывает турнир, не зная этого!^[822]

Так что, похоже, до 1200 г. дожили и любезность святых тысячного года, и даже

гротескный аспект поведения святой Веры Конкской. Дева Мария ничего не имеет против рыцарства. Она только требует от рыцарей, как и от всех остальных, кто обращается к ней, обращаться от всего сердца, а тону просителей в целом следовало быть учтивей, чем у некоторых исцеленных тысячного года, которые разговаривали со своими святыми с некоторой долей надменности, как взыскательные вассалы.

Благодетельствуя этим двум турнирным бойцам, Богоматерь в какой-то мере ведет себя как мать, которая умеренно заботится о соблюдении закона Бога-Отца против турниров — и нарушает его своей милостью.

В другой месте она проявляет определенную слабость, приступ симпатии и к жонглеру. Но в основном она склонна к нравоучениям, проявляя больше твердости, чем святые тысячного года^[823], — а значит, и Церковь уделяет нравоучениям больше внимания, распространяя назидательные рассказы о чудесах.

Вот некий аквитанский рыцарь. Он опасается, что враги его убьют — может быть, их особо возбудили сирвенты нашего Бертрана? Так что этот рыцарь направляется в Шартр, он умоляет о помощи Богоматерь и касается своими доспехами ее покрова, великой реликвии. Тем самым они становятся «кирасой святой Марии», непробиваемыми^[824]. Заметьте, что Богоматерь не освящает наступательное оружие, в то время как «копье святой Веры» когда-то существовало^[825], — но, правда, броня тысячного года несравнима с броней тех времен, о которых идет речь. Прежде всего Богоматерь вливает в сердца врагов своего рыцаря христианский дух прощения — не требуя, однако, чтобы все они присоединились к какому-нибудь братству вроде братства из Ле-Пюи-ан-Веле, которое обязало бы их навсегда отказаться от взаимной мести.

Рокамадурская Богоматерь незадолго до 1172 г. исцеляет молодого рыцаря из Базаде от эпилепсии. В данном конкретном случае имеется архаичный мотив, каких в рассказах о чудесах, как правило, больше не будет: падучая героя — следствие гнева Бога и даже Святой Девы. Действительно, этот молодой муж рыцарской дочери мог бы жить счастливо, если бы соблюдал закон Божий. Но, увы, «он разделял привычки своего сословия или, скорее, увлечения и страсти своего легкомысленного возраста. Он только и думал, что о мирском», и, конечно, испытал некоторое влияние трубадуров высокого полета, герцога, виконта, сеньора замка... «Он стал необузданным игроком», тогда как соборы категорически запрещали азартные игры. «К тому же он не переставал оскорблять Бога богохульствами и доводить народ до отчаяния грабежами»^[826]. И вот он заболел эпилепсией, тогда как в тысячном году понадобилось бы действие, направленное непосредственно во вред земле, людям или жеребяткам святого^[213], чтобы случилась Божья кара — и отказ от чего-либо, дар Церкви, чтобы эта кара прекратилась. Здесь, напротив, все происходит в нравственной сфере, и рыцарь должен по-настоящему перевоспитаться — он обязуется исправить свой нрав, и вот он исцелен.

Однако сдержать клятву, данную Богоматери, оказывается трудно. Исцеленный поначалу ведет себя сдержанно и серьезно. Однако долго ли можно так жить в окружении других рыцарей? Надо видеть, как насмехается над ним тесть! Ведь тот не монах, а значит, трус (или даже импотент)? Очень реалистичный штрих.

Задетый за живое, рыцарь бросает кости (что у трубадуров означает также занятие любовью)... и тут же его болезнь возвращается. Он должен вернуться в Рокамадур, где совершает зрелищное публичное покаяние, близкое по типу к *harmiscara*^[827].^[214] От входа в город до самого храма рыцаря, совершенно обнаженного, с веревкой на шее, тащат его люди. Его даже подгоняют ударами метлы. И он «перед всеми объявляет себя лжецом,

клятвопреступником и злодеем». Он вызывает общее сочувствие, снова дает обет, и Богородица повторяет чудесное исцеление.

Этот рассказ служит контрапунктом рассказам о милостях Святой Девы к турнирным бойцам. И какой контраст со святой Верой из предыдущего века, которая лезла из кожи вон, чтобы помочь рыцарям приобрести волосы, коней, сокола и прочие безделицы, соответствующие их социальному статусу... А этот тесть, сыплющий насмешками, какие можно найти в «жестах», когда герои разгорячены жаркими спорами или жарким боем! Он уверяет, что намерен держать попов в ежовых рукавицах, и ему даже не приходит в голову попросить прощения за то, что сыграл роль провокатора^[215]...

Мы отметили, что незадолго до 1200 г. отношения между Церковью и рыцарями были по-настоящему напряженными. Во всяком случае некоторые представители высшего духовенства, воспитанные в парижских школах, в своих проповедях метали грома, обличая прегрешения рыцарства — гордыню, турниры, разнообразную социальную жестокость (в том числе грабежи). Но ведь и другие социальные категории были не менее грешны и подвергались не менее суровым обличениям. В конечном счете более всего от моралистов доставалось ростовщикам, но обличители не щадили ни крестьян, ни женщин, никого^[828]. Эту критику можно сопоставить с выступлениями баронов против вмешательства церковной юстиции в их дела, а также с литературой, бичующей клириков средствами сатиры или превозносящей рыцарей. Все это выходит за рамки нашего исследования, посвященного временам не позже 1190 г.

Тем не менее невозможно не упомянуть «Историю Вильгельма Маршала», хотя она вышла уже после смерти паладина, ставшего знатным бароном, в 1219 г. В молодости его не беспокоил запрет на турниры — даже если был ему известен. Но на смертном одре он слышит повеление вернуть то, что взял. А ведь доходы от турниров, от этих нечестивых торжищ, — едва ли не то же самое, что доходы от ростовщичества, их надо вернуть жертвам или, в отсутствие таковых, Церкви и бедным. В этот момент старик еще раз показал, что неустрашим и дорожит трофеями, которые приобрел благодаря подвигам. Вот что он заявил, согласно «Истории»: «Клирики слишком суровы к нам. Они стригут нас слишком коротко. Я взял в плен пятьсот рыцарей и оставил себе их доспехи и боевых коней со всей сбруей. Если из-за этого меня не пустят в царствие небесное, ничего не поделаешь, но всё вернуть я не могу». Впрочем, требовать того, что по случайности взяли другие, не приходилось, так как «История Вильгельма Маршала» признает только одно поражение, и то допущенное по оплошности... «Так что, — продолжает умирающий, — я думаю лишь о том, что предать самого себя Богу, сожалея о своих грехах и обо всем зле, которое я совершил». А если клирики настаивают, — заключает он, — то «их речь лжива», поскольку предполагает, что спастись не может никто^[829].

По счастью, в баронстве Стригойл катаров было не слишком много, зато в ближайшем бенедиктинском аббатстве проявили практичный подход к делу, достойный какого-нибудь Жоффруа из Вижуа. Поэтому Вильгельм Маршал, в обмен на дар, получил право «причастности к благам» этого аббатства, то есть к тому заступничеству, какое заслужили его монахи или реликвии. Такую милость часто оказывали знатным людям, находящимся при смерти, и их семьи тоже воспринимали это как честь. Поэтому Вильгельм Маршал умер христианнейшей смертью, не упустив случая в последний раз между прочим похвалиться достижениями.

Итак, отношения между рыцарями и Церковью тогда, как и всегда, складывались из конфликтов и из их разрешений. И, хотя при дворах и на турнирах XII в. расцвело новое, очень светское рыцарство, разве эти отношения в совокупности не сохраняли позитивный

характер?

Не то чтобы мы недооценивали напряжение, которое в окружении таких королей и князей, как Плантагенеты, во второй половине XII в. создавали морализаторство и слишком благочестивые теории некоторых епископов и высокопоставленных клириков, — мы на этом остановимся в следующей главе. Тем не менее эти враги праздника имели одну общую черту с любителями пиров и песен: те и другие во всем рассчитывали на государя, одни — на его власть, другие — на его щедроты.

7. ВЫМЫСЛЫ XII ВЕКА

Во времена дворов и турниров, когда разрабатывалась идея рыцарства, интернациональная в некотором роде, фантазия писателей создала образы короля Артура, Круглого стола, поисков Грааля. Ею порождены существа, места, фантастические приключения, которые мечтатели нашего Нового времени охотно связывали с классическим рыцарством «как таковым». На самом деле все это появилось в течение полувека после рыцарской мутации: король Артур — в 1138 г., Круглый стол — в 1155 г., Грааль — около 1185 г. Через посредство этих образов дух рыцарства внедрялся в общество, приспособляясь также (за счет сюжета о Граале) к сакраментальному, постгригорианскому христианству тысяча двухсотого года.

Однако в XII в. в «воображаемом» царило не одно только артуровское рыцарство с его придворными празднествами, поиском изысканных подвигов и завоеванием сердец. Оно сосуществовало с двумя другими великими вымыслами — мстительным рыцарством (или «вассалами», *vassalite*) из «жест» (*chansons de geste*, «песен о деяниях») и дисциплинированным римским рыцарством (или, скорей, «воинством», *milice*), чьего возрождения желали и чьи образцовые заслуги расхваливали придворные клирики. Оба последних вида рыцарства были более кровожадными, чем первый — и даже в определенном смысле более христианскими. И хотя они имели более древние корни, их великий расцвет в точности совпал с расцветом первого. Не более десяти лет отделяет самую раннюю рукопись «Песни о Роланде», первой из великих «жест» (около 1130 г.), от внезапного появления образа короля Артура и темы любви-соперничества в «Истории» Гальфрида Монмутского (1138). С другой стороны, с этого момента монах Ордрик Виталий вполне серьезно начинает мечтать о рыцарях более римских и в то же время более героических^[830]. А «Поликратик» Иоанна Солсберийского (1159) стал великой книгой, написанной в прославление дисциплины, и влияние этой книги с XII по XIV в. будет только расти; читая ее, нередко ощущаешь себя в обществе персонажей Античности, якобы вневременной.

Итак, великое культурное событие французского XII в. — не столько изобретение одного романического рыцарства, идея которого придавала стиль и давала идеалы рыцарям турниров и дворов, сколько численный рост воображаемых рыцарств. Можно было бы даже говорить о столкновении воображаемых миров, если бы они не смешивались меж собой и в какой-то мере взаимно не влияли друг на друга. И соблазнительно сопоставить численный рост этих вымышленных существ, населяющих воображение клириков, рыцарей, дам, с численным ростом именно что религиозных образов, который в недавнее время хорошо и ясно выявил Жан-Клод Шмитт.

Многим комментаторам Нового времени казалось, что рыцарская литература на французском языке, не имея образцов для подражания^[831], появилась для того, чтобы снабжать образцами рыцарей XII в., как клириков снабжали теорией на латыни или проповедями по-французски. Не состояла ли задача в том, чтобы прививать грубым феодалам мораль? Причем двумя способами: либо направляя их грубую силу на битвы во имя Бога и государя, либо смягчая ее присутствием дам. Поэтому рыцарство стало справедливее и красивее.

Подобный взгляд не то чтобы необоснован. Но его сторонники с самого начала натываются на реальную проблему: эти идеальные образцы, представленные в источниках, появляются не до рыцарской мутации и даже не во время ее, а заметно позже. Хорошие манеры в общении между благородными воинами во Франции и даже в Сирии и Палестине

возникли раньше, чем рукописи «жест». Еще Ордрик Виталий с тревогой смотрел на «изнеженных» рыцарей, мечтающих лишь о том, чтобы понравиться дамам, и это было раньше, чем произвела фурор и вошла в моду литература о куртуазной любви. Почему бы не предположить, что франко-английские литература и мораль XII в. были, скорей, нацелены на то, чтобы вновь вдохнуть боевой дух в некоторых рыцарей, а не «цивилизовать» их?

А в конце концов, могла ли и хотела ли литература влиять на них напрямую? Была ли ее функция в социальной жизни однозначной? Ничто не доказывает, что она легко вызывала желание подражать своим героям у тех слушателей, кто имел такой же возраст и статус, то есть у молодых рыцарей, от принца королевской крови до владельца половины хутора. Может быть, она прежде всего развлекала их, предлагала им воображаемую компенсацию за то, чего они не совершили, за разочарования и неудачи? Молодой и смелый Арнульф Гинский осенью 1191 г. возвращается из нелепой вылазки в Лотарингию, где он гонялся за графиней Булонской и ее похитителем, из рук которого ему едва ли удалось бы ее вырвать, поскольку она сама не слишком этого желала! Вот для него и настало время, если верить Ламберту Ардрскому, послушать о Карле Великом и Ланселоте^{832}... Воздействие вымышленных рыцарей на реальных было неоднозначным: побуждали ли первые вторых подражать им или все-таки противоречить? Возможно, довольно было и того, что литературные персонажи оказывали честь и приносили славу рыцарству в целом, тому «сословию», в которое вступали путем посвящения — как отныне часто говорили. Что касается римского образца, который поднимали на щит клирики, его выдвижение тоже привело к разным последствиям — как для самих клириков, так и для рыцарей, что отмечается при каждом упоминании теории двух служб или трех сословий в настоящем эссе.

Наконец, даже если предположить, что это на самом деле были образцы, рассчитанные на то, чтобы диктовать поведение, надо учесть, что литературные герои — не цельные натуры. Особенно в «жестах», где гораздо чаще встречаются взаимозаменяемые и условные ситуации и роли, нежели персонажи в современном смысле слова. Это произведения, которые играли на разных социальных и нравственных напряжениях и, скажем так, желаниях и искушениях рыцарского общества и исходили из них. Разве не все сюжеты в «жестах» основаны на мятежах и мести баронов?

Хотя рукописи «жест» датируются не ранее чем 1130 г., ученые, заново открывшие их в XIX в., сочли тексты намного более древними. Они увидели в этих поэмах устные предания, восходящие непосредственно к каролингским временам, к той самой эпохе, когда жили Роланд и Гильом (при Карле Великом), Жирар Руссильонский и Рауль Камбрейский (в период феодальной мутации), и решили, что там отражены грубые нравы, разнузданное насилие вассалов первого феодального века, тогда как романы куртуазного типа, по их мнению, описывали как раз рыцарей второго феодального века или по меньшей мере служили для них образцами. В XX в. критики и историки яростно набросились на эту систему представлений. Они показали, что при сочинении «жест» в том виде, в каком они дошли до нас, сознательно использовались устные источники, перерабатывались старинные легенды и даже придумывались новые. Теперь стали очень настойчиво утверждать, что породить эти поэмы на свет могла атмосфера крестовых походов, рубеж тысяча сорокового года^[833].

Но разве «атмосфера крестовых походов» была единой и неизменной? Мы видели, что нет. Между проповедью жертвенной войны, чуждой духу наживы и гордыни, в принципе общего дела бедняков и знати, и реальной практикой крестового похода под руководством прагматиков типа Боэмунда были заметные расхождения. У всех хронистов, в разной мере, отмечены отличия и перемены в поведении крестоносцев. Некоторые к чисто христианским речам проповедников присовокупляют призывы к рыцарям тысяча сорокового года показать себя достойными предков. Другие больше напевают на лозунг «отомстить за Бога», чем на лозунг «следовать Христу». Никто даже не скрывает, что во время Первого крестового похода были распри между родичами и клиентами разных сеньоров, например, Готфрида Бульонского либо Боэмунда и Танкреда. И лишь в похвале тамплиерскому ордену, еще только замышлявшемуся, которую святой Бернар вознес между 1128 и 1130 гг., можно будет прочесть описание, по преимуществу теоретическое, воинства Христова, вполне достойного этого имени, презирающего красивые уборы и почитающего дисциплину^[834]. Но «жесты» такой тип «нового рыцарства» на сцену не выводят. Большинство их авторов оно как раз неинтересно. В их мире война с сарацинами — дело достойное и святое, но это лишь возможное средство для избавления от феодальных и родовых войн, «раздирающих» или структурирующих французское общество все остальное время. Она не вызывает никаких структурных изменений в этом обществе и не сопутствует им — в том обществе, где бароны во многом затмевают королей и думают только о своей чести или, скорее, говорят и действуют только из страха перед бесчестьем. Совет архиепископа Турпена Роланду и его соратникам «хорошо разить в качестве покаяния»^[216] вызывает лишь слабый отклик и остается во многих отношениях единичным.

Герои «жест», очень далекие от того, чтобы подчиняться приказам властных клириков вроде легатов Урбана II, к монахам, священникам и даже епископам относятся со снисходительностью, которая нередко оборачивается открытым и тривиальным презрением к «слабакам». Что касается крестьян, им нет места в этом мире воинов, кроме как в многочисленных оскорблениях, которыми обменивается знать, честя друг друга «сервами» и «холопами». Слово «серв» явно оказывается лучшим антонимом слову «рыцарь». Наконец, о женщинах «жесты» не говорят слишком дурно, но оставляют их в основном на заднем плане, вероятно, преуменьшая их реальную роль в феодальном обществе.

Зато, даром что понятие «крестовый поход» ассоциируется у нас с религиозным фанатизмом, внимательный читатель «жест» обнаруживает, что их авторы отнюдь не

выражают лютой ненависти к сарацинам и к мусульманам как таковым. Нередко встречаются строки, перекликающиеся с похвалой рыцарским качествам турок, какую воздал анонимный норманнский хронист Первого крестового похода. Похоже, проблема состояла не столько в ненависти к «иному», сколько в нежелании понимать его несхожесть с тобой, — а это влечет другие моральные и социальные последствия.

Во всех этих «жестах» выводятся вассалы, считающие, что их сеньор (король) дурно обходится с ними и благоволит враждебному знатному роду. И они не останавливаются ни перед мятежом, ни перед предательством. Ганелон из «Песни о Роланде» подстрекает сарацин захватить врасплох и уничтожить Роланда. В сохранившемся фрагменте «Гормона и Изамбара» первый (Гормон) — сарацинский король, тогда как второй (Изамбар) — обиженный франкский вассал, который присоединяется к нему, переходит на сторону врага и сражается с христианами — раскаянье ожидает его только в финале^[217]. А ведь в «историческом ядре» этой легенды фигурировали не сарацины, а норманны, история же Изамбара, перешедшего к врагу, не может не напомнить легенду о *Hastings'e*, которую в тысячном году пересказал Рауль Глабер собственной персоной^[835].

Так что «жесты», должно быть, не столько отражают поведение рыцарей до наступления эпохи дворов и турниров, сколько, напротив, оформляют и воплощают то, чего этим рыцарям иногда хотелось: сражаться, не проявляя слабости и покрывая себя честью, а также яростно восставать против несправедливости, от которой они страдали, и переходить на сторону врага. Сама по себе подобная авантюра не была исключена и в Испании XI в.^[836], и даже на Ближнем Востоке. Но важно, что этот сюжет так часто встречается в «жестах».

Не исключено, что «песни о деяниях» выполняли функцию скорее катартическую, чем назидательную — или же, скорей, намерения их авторов были двойственными. Эти песни, конечно, писали не затем, чтобы точно воспроизводить дороги феодальных войн, по преимуществу грабительские, извилистые и изобилующие препятствиями, и даже не затем, чтобы описать дорогу в Толедо, Сарагосу или Иерусалим, скорей уж авторы вдохновлялись слухами о таких дорогах, вроде молвы тысячного года, отголосок которой слышен у Адемара Шабаннского. Совсем незадолго до 1100 г. монах Рауль Тортер из Флери-сюр-Луар смог даже написать занятный рассказ о бургундских рыцарях: они переправились через Луару, чтобы разграбить Берри, в сопровождении жонглера, певшего им о подвигах предков. И при всем том, нагруженные добычей, они самым жалким образом обратились в бегство, встретившись с контрнаступлением «крестьян», которых к этому призвал один монах. Под конец Рауль Тортер почти что оказывает им услугу, объявляя это чудом святого Бенедикта. В каком-то смысле он спасает им лицо^[837],^[218], ведь в конечном счете почетней было потерпеть поражение от Небес, чем от заурядных «крестьян».

В целом система ценностей «жест» — та же самая, что, как мы видели, лежала в основе легенд X в. и тысячного года, к которым обращались Рихер Реймский или Адемар Шабаннский^[838]. Остается выяснить, служили ли рыцарям XII в. великие герои христианской войны, Роланд и Оливье, Вивьен и Гильом, образцами или ширмами. В X в., как его описал Рихер Реймский, графы и вассалы только разглагольствовали о гибели, героизм сохранялся лишь в легендах об Ингоне и о Гильоме Длинном Мече, а на свидание с реальной историей приходили все больше Ганелоны и Эстурми, то есть измена и дезертирство, в лучшем случае происходила война между людьми из «хорошего общества», в которой по преимуществу брали противников в плен и вели переговоры.

Граф Роланд вместе с другими воинами, бесспорно, погиб в 778 г. в засаде, которую франкскому осту устроили баски, союзные сарацинам. И его смерть не была отомщена.

Несомненно, в результате этого сформировалось героическое «воспоминание», то есть легенда, духу которой поэма XII в., вероятно, не изменяет, даже если в различных отношениях приравнивается к реалиям тысяча сорокового года, когда речь заходит об обращении с копьем или о выгоде от христианского отпущения грехов. Так Роланда как «персонажа» вывели в мученики под влиянием поэм о святых, появившихся во французской литературе, вероятно, с 880-х гг. Однако, если прочесть французскую версию легенды о святой Вере, то это уже эпопея, которая в XI в. вторглась в агиографию.

О мученичестве святой здесь, конечно, упоминается, но более кратко, более сдержанно, чем в латинском тексте. Далее поэма обращает особое внимание и на благородное убранство святой, и на ее силу, добродетель, вполне достойные «дочери рыцаря»^[839]. Наконец, во второй части поэмы долго описывается военный реванш христиан, их победа над гонителями-римлянами, довольно явственно предрекающая победу Карла Великого и франков над сарацинами после смерти Роланда и его соратников в Ронсевальском ущелье.

Далее, как и поэмы о святых, поэмы о рыцарях вроде «Песни о Роланде» (до поэмы о Рауле Камбрейском и до всех остальных) выполняли еще и функции защитительных речей, ограждающих героя от нападков, входило это в намерения автора или нет. Несмотря на свое величие и на то чувство, эмпатию, которую у аудитории вызывали его бой и смерть, герой не был огражден от критики, от обсуждения на *plaid'ax*, при феодальных дворах. Ведь среди христиан у него был враг, соперник, даже потенциальный обвинитель, которого в свою очередь обвиняла и принижала поэма. Эпического Роланда больше всего отличает от исторического графа, служившего Карлу Великому, тот факт, что на мотив мести «франкского народа» (возникший уже в «Королевских анналах» VIII в.) врагу, который неправ и опасен, накладывается мотив борьбы, взаимной мстительной ненависти двух родов. Ганелон столь же значителен, как и Роланд, и гений автора поэмы проявляется не только в красоте сцен в Ронсевальском ущелье, показывающих гордость и смерть главного героя, но в той же мере в рассказе о взаимной ненависти двух франкских графов, причем никто из них, соответственно, не очернен до крайности и не выведен из-под всякой критики.

Ведь в «жестах» нет персонажей, которые бы обладали яркой индивидуальностью, были наделены своеобразным характером или хотя бы неукоснительно плели интриги. Эти поэмы содержат прежде всего увлекательные и острые ситуации. Возможно, это не устные предания в чистом виде, потому что отличаются *формульным (formulaire)* стилем, который использует средства устной традиции, добиваясь заранее просчитанного эффекта. Но тот же стиль диктует деление поэмы на строфы (*лессы*), каждую из которых жонглер произносит на одном дыхании и которые не связаны между собой непосредственно. Всякий или почти всякий раз речь, действие заново начинаются с другого места или продолжают нечто сказанное гораздо раньше. Авторам удается восхитительный эффект прибоа, вызывавший, конечно, живой отклик, они также умеют так переработать интригу и аргументацию, чтобы поддерживать постоянный интерес слушателей. Эти строфы, возможно, соответствовали вступлениям героев в диалоги и пререкания. Но часто также бывает, что новая строфа логически продолжает не предыдущую, а более раннюю, и принимает несколько иное направление, или же угол зрения в ней явно меняется. Они всегда содержат намеки на каких-то людей, на сюжеты, которые считаются известными слушателям. В результате возникает обширный мир, куда не входят в начале отдельной поэмы и откуда не выходят в ее конце, потому что слушатель как бы заранее погружен в этот мир, так что «конец» может быть только мнимым и условным.

Так вот, эти истории без абсолютного начала и абсолютной развязки, полные отступлений, неожиданных поворотов, попыток начать сначала, — тоже истории обществ

мести, какие помогает описать и отчасти понять антропология. Их авторы не могут представить своей аудиторией кого-либо другого, кроме представителей таких же обществ, разделяющих те же ценности. Они покорили эту аудиторию. Настоящая историческая проблема, на мой взгляд, состоит в том, чтобы понять, почему «жесты» так увлекали рыцарей XII в. в тот самый период, когда последним открывались перспективы нового поприща, когда они, не зорясь мстить, проявляли интерес и к приключениям. Были ли эти «жесты» рассчитаны на то, чтобы снизить престиж феодальной войны и вендетты, например, между Ардром и Гином либо в окрестностях Сент-Эвруля? Путем эпического преувеличения, доходящего до карикатуры. Или, скорей, предлагали воображаемое удовлетворение мстительному духу, который побуждал мстить родичам и соседям и которому мешало усиление князей и королей?

Впрочем, имели ли «жесты» четкий и однозначный мессидж, причем всякий раз один и тот же? Пробежимся по некоторым из самых примечательных «жест», возникших до тысяча двухсотого года.

ГЕРОЙ, ПРЕДАТЕЛЬ И САРАЦИНЫ

Сами мы можем войти в этот мир, только взломав его. И в конечном счете не очень важно, в каком месте. Почему начинать надо с героизма Роланда, а не с необузданности Рауля Камбрейского, который, правду сказать, похож на Роланда как родной брат? Потому что поэма о Роланде — одна из отмеченных раньше всех, а ее красота и богатство в некоторой степени уникальны. Она имела большой успех с XII в., о чем свидетельствует количество сохранившихся рукописей и аллюзий, порожденных ей. Ее продолжением стала «История Карла Великого», написанная на латыни, в большей мере роялистская и клерикальная, приписываемая архиепископу Турпену — говорят о «псевдо-Турпене»^[840] — и вскоре переведенная на французский.

Это не только рассказ о христианской войне, но в той же мере история взаимной ненависти Роланда и «Ганелона»^[219], где последний становится изменником. Несколько сцен происходят у испанских сарацин, они написаны на основе материалов XI в. (названия городов, предметов роскоши), пусть даже описания сарацинских обычаев фактически отсылают, скорей, к феодальной Франции, чем к реальному испанскому исламу. Далее, в Ронсевальском ущелье, до самого момента гибели героев уже применяется оружие и звучат речи тысяча сотого года. И, наконец, возмездие Карла Великого сарацинам, разгромленным в сражении, и Ганелону на суде, исход которого решил судебный поединок, Божий суд, восстанавливает порядок и спасает честь Франции — то есть христианства.

В самом деле, герои «жест», точно так же как древние германцы, как Карл Великий у Эйнхарда или как Геральд Орильякский, подчинены императивам морали и чести. Для них посвящение было памятным днем жизни, но не представляло собой настоящее «возведение в сан» рыцаря, навсегда и легко ограждающее от всякой критики. Напротив, при всяком серьезном случае им следует представляться, говорить и вести себя «по-рыцарски» (*a lei de chevalers*), выказывая доблесть (*vasselage*). Иначе другие франки их порицают. И сохранить рыцарский престиж не так просто, потому что общественность предъявляет к рыцарям высокие требования, притом накапливающиеся и иногда противоречащие друг другу. «Жесты», особенно о Роланде и о Рауле Камбрейском, позволяют оценить всю сложность, свойственную морали, в основе которой лежит честь.

Действительно, на героев возложена двойная задача: они должны продемонстрировать доблесть и при этом не впадать в крайности. Любое проявление миролюбия навлекает на них упреки в трусости, тогда как чрезмерное упорство в защите своей чести и прав грозит обернуться бесчинствами, а в предельном случае — буйным сумасшествием^[220].

По сравнению с Раулем Камбрейским, втянутым в феодальную войну, Роланду повезло: он тоже исполнен гордыни, но борьба с неверными позволяет проявлять больше жестокости и дает ему возможность искупить грехи, став мучеником. Однако если бы надо было оценивать все его поведение (чего автор «Песни» о нем, возможно, не желает), все-таки можно было бы отметить серьезные провинности: это он довел Ганелона до «измены» (впрочем, не слишком тяжкой, как мы увидим), и это его гордыня погубила арьергард, которым он командовал. И то сказать, кто вовремя не протрубил в рог, чтобы позвать на помощь Карла Великого, как советовал Оливье?

Однако мощь их диалога и последующих сцен боя оставляют в памяти слушателя, читателя только героизм Роланда. В отличие от графов из реальной истории, он не хочет уклоняться от сражения; о бегстве нет и речи, равно как и о том, чтобы брать пленников или сдаваться самому^[221]. Услышав слова своего соратника Оливье о близком бое, «Хвала

Творцу! — ему в ответ Роланд. — /За короля должны мы грудью встать, / Служить всегда сеньору рад вассал, / Зной за него терпеть и холода»^{841} и даже «кровь за него ему отдать не жаль»^{842}, то есть, если нужно, умереть. Этой ценой он не допустит бесчестия. Тем более, что и это один из *лейтмотивов* «Песни о Роланде», «за нас Господь — мы правы, враг не прав»^{843}. И поэтому «французы», к которым графы обращаются с речью, могут в ответ воскликнуть: «Трус, кто побежит! / Умрем, но вас в бою не предадим»^{844}.

Однако если у исторических вассалов, описываемых Рихером Реймским, за речами такого рода следовал целый ряд действий и слов, направленных на то, чтобы избежать смерти, граф Роланд, напротив, делает всё, чтобы не избежать ее. В знаменитой сцене пререкания с Оливье он отказывается трубить в рог, чтобы не повредить своей репутации, репутации своей родни, репутации самой Франции. И, однако, как впоследствии отмечает Оливье, «когда бы в рог подуть вы пожелали, / Пospел бы к нам на помощь император»^{845}. Несомненно, приходит на память случай, когда в 889 г. король Эд, на которого под Монфоконом внезапно напал норманнский отряд, численно превосходящий его силы, сам затрубил в рог; он собрал свои войска и выиграл сражение, ни в малейшей мере себя не обесчестив^{846}. Точно так же Боэмунд при Дорилее позвал на помощь других крестоносцев. Разве это не было это со стороны Роланда настоящей неумеренностью, безрассудством, которое святой Бернар осудил бы у тамплиеров? И не подал ли он пагубный пример — похожий на случай в саксонском лесу в 782 г.^{847}, — из-за следования которому закончился неудачей Седьмой крестовый поход (в 1250 г. при Мансуре)? Но затем он ведет себя как герой без страха и упрека, равно как и все его бойцы.

Состоявшаяся после этого битва, несмотря на неравенство сил, о котором предуведомляют нас, начинается с серии одиночных конных поединков. Как и предварительные поединки в турнирах, они все смертельны: Аэльро, племянник сарацинского короля Марсилия, выезжает перед остом и выкрикивает вызывающие слова. Тогда Роланд шпорит боевого коня, копьем разбивает щит и пронзает кольчугу Аэльро. Далее настает очередь Оливье, архиепископа Турпена, а потом еще семи французов на глазах у других сразить по одному врагу. Каждому достается по строфе; француза хвалят за «удар барона»^{848}, а «язычника» порой провожают насмешкой... Только один из последних, Маргари, избегает удара^{[222], {849}} и призывает своих к общему сражению.

В этом бою, не слезая со своего коня Вельянтифа, Роланд извлекает добрый меч Дюрандаль, который «рубит» и «режет»^{850}, и проливает потоки сарацинской крови. По поводу этого меча здесь надо сделать два замечания.

Прежде всего, как отметил Д. Дж. А. Росс, мечи использовались реже, чем копыя: мечом были нанесены решающие удары в тринадцати из сорока четырех смертельных конных поединков в «Песни о Роланде», а копьем — в тридцати одном. Копье, которое снабжалось вымпелом (несъемным флажком) и которое крепко держали в руке, используется здесь на новый манер, возникший в конце XI в., и в некотором смысле «песнь о Роланде — это песнь о копье»^{851}. Да, но только в некотором смысле. Ведь, в конце концов, разве у копья Роланда есть имя, разве оно содержит реликвии, разве он прощается с ним перед смертью, как с трогательным пафосом прощается с добрым мечом Дюрандалем? Некогда меч почитали намного больше копья и даже больше коня, но у коня было имя (Вельянтиф). Итак, «Роланд» — это песнь о мече, она показывает его символическое верховенство тем более явственнее, что статистика ударов отражает техническое превосходство копья — или как минимум их взаимодополняемость.

Далее, меч Дюрандаль, в который вложены реликвии, — не талисман, спасающий от

смерти. Из-за его сакральности Роланд не может его расколоть, когда хочет это сделать, чтобы меч не попал в руки врага; но этот меч не приносит ему ни неприкосновенности, ни победы. Ронсеваль не принадлежит к тем чудесным боям, о каких грезили авторы хроник и «Чудес» тысячного года и где осты Бога и святых не теряли убитыми ни одного человека. Роланд и его соратники более достоверны, более убедительны в качестве заслуженных рыцарей, потому что им не слишком помогают небеса и потому что они умирают прекрасной смертью.

Они обретают вечное спасение в духе крестоносцев тысяча сорокового года. Даже архиепископ Турпен, отпускающий им грехи и обещающий спасение, сражается сам, лично — как это делал папский легат под Антиохией в июле 1098 г. Кроме того, он произносит речи, больше подходящие для обретения популярности в замках, чем в монастырях. Так, увидев, как Роланд разрубил надвое Дюрандалем двадцать пять противников, «Вот истинный барон! — Турпен кричит. — / Быть рыцарю и следует таким. / Кто взял оружие и в седле сидит, / Тот должен быть и смел и полон сил. / Тот и гроша [в оригинале — четырех денье, ежегодной дани серва, а значит, и стоимости его выкупа] не стоит, кто труслив. / Пускай себе идет в монастыри, / Замаливает там грехи других»^[852].

«Песнь о Роланде», написанная на рубеже XI и XII вв., не упоминает благословения оружия. Меч-реликварий, то есть в большей степени орудие для совершения подвигов, чем рыцарский «знак различия», Роланду дал Карл Великий. По словам первого, Дюрандаль — меч, «что Карл мне дал», меч, которым сам Роланд завоевал много стран; «кто б ни владел им, если я паду», — предвидит он, — «пусть скажет, что покойник был не трус»^[853]. В оригинале — «благородный рыцарь», *nobile vassal* по-старофранцузски. И, в самом деле, тот, кого историки называют вассалом, здесь именуется просто *horn* — человек. В «жестах» слово *vassal* означает некое абсолютное качество, а не человека, верного кому-либо. Граф Роланд, герой-конформист, не мог любить «рыцаря, коль он плохой вассал»^[854] (*chevaler s'il ne fust bon vassal*): доблесть здесь совершенно естественным образом сочетается с рыцарскими вооружением и поступками. В слове *vassal* этическая коннотация в конечном счете более выражена, чем в слове *chevaler*, но оба очень близки, почти взаимозаменяемы.

Притом автор «Песни о Роланде» ни на миг не допускает, чтобы добрый *vassal* не был верен королю. Она хорошо выражает представление о связи между воинской доблестью и вассальной верностью, которое, возникнув в каролингскую эпоху, сохранялось и в течение обоих феодальных веков.

Автор «Песни» также не придумывает случаев, чтобы кто-либо получал более высокий ранг — поднявшись хотя бы на ступень, из посредственности — в графы, как Ингон у Рихера Реймского^[855], или даже вернув положение, которое занимали предки и которое было утрачено за одно-два поколения, как случилось с Анжэгером из «Истории графов Анжуйских»^[856], хотя боец от Карла Великого в финальном поединке, Тьерри Анжуйский, приходился ему, похоже, Довольно близким родственником.

Как и большинство «жест», «жеста» о Роланде источает презрение к сервам, ко всему, что связано с *холопами*, с *подлым народом*. Именно чтобы как можно больше опозорить и уязвить Ганелона, его передали в руки обжорам с «кухни», которые все были людьми подневольными. Напротив, героические рыцари, двенадцать пэров, здесь все принадлежат к знатным родам; они привлекают к себе внимание жонглера и аудитории в ущерб основной массе бойцов, причем рыцарей-наемников, входящих в ее состав, автор не славит и не высмеивает. Все эти герои — «бароны»; важно, что они смело сражаются и в этом отношении достойны предков и всего франкского народа. И в результате гибели героев Ронсевала Карл

Великий и весь ост, во второй части поэмы, активизируются: элита оста, отомстив за погибших, становится достойной править вместе с императором «милой Францией» и обладать там после войны женами и фьефами. Понадобился не самый бездарный жонглер, чтобы очень осязаемо представить героев защитниками Французского королевства; это придавало их самопожертвованию еще больше ценности.

Изображая мусульман язычниками-идолопоклонниками, «Песнь о Роланде» и прочие «жесты» могли бы жестоко их обидеть: разве они не приписывают этим людям такие религиозные обычаи, какие вызывали у тех наибольшее омерзение, тогда как их монотеизм в конечном счете был радикальней христианского? Они оскорбляют сарацин прозвищем «подлого народа» (*pute aire*), обвиняют в подчиненности бесам. И потом, что тоже не самое маловажное, с ними всегда идет смертельная борьба, поля сражений устилают их искромсанные тела, и никогда или почти никогда к ним не проявляется сочувствие.

Тем не менее отметим, что по большей части такие же обвинения и удары адресуются французским христианам во время войн, ведущихся ради мести. Рауля Камбрейского приносят в жертву, Ганелона обвиняют в одержимости бесами. Такие оскорбления, как «подлый» и «вероломный», рыцари в «жестах» часто бросают друг другу. И мрачные истории Рауля Камбрейского и Жирара Руссильонского содержат описания таких же побоище обилием увечий, крови и раскиданных внутренностей, как и рассказы о битвах Роланда и Вивьена.

Сарацин (они же «язычники»), как и турок, признают доблестными врагами. Они во многом напоминают франков. Они так же красиво смотрятся со своим сверкающим оружием: «В доспехах сарацинских каждый мавр, / У каждого кольчуга в три ряда. / Все в добрых сарагосских шишаках, / При вьеннских прочных кованых мечах». У них точно так же есть щиты, мечи, значки на копьях, и они сидят на боевых конях; в это время «сияет день, и солнце бьет в глаза, / Огнем горят доспехи на бойцах»^[857]. Для христиан они честные противники: во время сражения не отмечено подлых ударов, никаких проявлений коварства с целью погубить Роланда и его людей (кроме использования сведений, полученных от Ганелона, которые им позволили обеспечить себе численное преимущество и выбрать место боя). Страдали ли крестьяне от их нападений, ничего не говорится ни в этой поэме, ни в поэме о Гильоме, — жонглеру до этого дела нет. Только «Песнь об Антиохии» (в цикле о крестовых походах, несколько ином) приписывает туркам отдельные зверства — и признает, что христиане тоже их совершали.

Итак, в целом «жесты» подтверждают интерес — какой некогда проявлял Эрмольд Нигелл, а после него крестоносцы, — к противникам равного социального положения в ущерб сервам всех стран. У авторов этих поэм различие не вызывает ненависти, они, скорей, преуменьшают, отрицают его. Эти доблестные партнеры — едва ли иноземцы: кроме религии, их ничто не отличает от франков. В Сарагосе королева Брамимонда играет роль дамы посткаролингского общества (из чего можно сделать вывод о когнатическом браке). Есть сарацинские крестные отцы, «принимавшие» крестника из купели! Сарацинам хорошо известны нормы вассалитета и фьефа, так же как турнирное искусство. В самом деле, любой христианский барон может встретить своего двойника в лице (скажем так, в фигуре) сарацина. Описывая эмира Балигана, жонглер может воскликнуть: «Верь он в Христа, вот был бы славный вождь!»^[858] — настолько горделивый у того вид. Кстати, он точит оружие, готовясь сразиться лично с Карлом Великим: «Про Жуайёз, меч Карла, слышал он / И потому Пресьозом свой нарек»^[859]. В число его достоинств входит даже то, что он, как упоминается в следующей строфе, был «меж мавров славен мудростью своей»^[860] [в оригинале — «очень учен в языческой вере»]. После этого ничего удивительного, если он родил сына, достойного

быть рыцарем, и если ему известно, что немало «жест» воздаст хвалу Карлу Великому^{861}.

Понятно, что во многих «жестах» сарацины могут становиться христианами либо превращать пленных молодых христиан в превосходных сарацинских рыцарей^{862} — пока те вновь не найдут дорогу во Францию, как некогда Раймон дю Буске^{863}. Кроме того, что они не христиане, их воспитание не имеет изъянов. Может быть, усердный слушатель именно таких историй предложил в 1140 г. Усаме ибн Мункызу взять сына последнего во Францию в качестве оруженосца?^{864}

Вот только если в реальности и были возможны братания такого рода (и переходы в другой лагерь), то не в те периоды, когда война становилась настолько ожесточенной, как ее изображают «жесты». Это неувязка, которая встречается также в поэмах о междоусобных войнах, о мести христиан друг другу.

Что касается описания религиозной практики сарацин, оно свидетельствует о полнейшем незнании ислама и даже о карикатурном изображении тех реалий, которые могли бы быть по-настоящему языческими. Например, король Марсилиий Сарагосский и его жена Брамимонда после поражения обращают гнев на своих ложных богов и вымещают на них досаду (эти боги составляют триаду: «Аполлен», «Терваган» и «Магомет»), «Стоял там Аполлен, их идол, в гроте. / Они к нему бегут, его поносят: “За что ты, злобный бог, нас опозорил / И короля на поруганье бросил?”» Потом они срывают с него королевские инсигнии, вешают его, топчут ногами и разбивают на куски. То же происходит впоследствии и с двумя другими^{865}. Так вот, если эта сцена и не имеет никакого отношения к сарацинским обычаям, то она довольно близка к некоторым обычаям сельского христианства тысячного года и XI в. Марсилиий и Брамимонда здесь занимают чем-то вроде унижения святых; они обрушивают на «Аполлена» те репрессалии, какими монах Жимон в X в. грозил статуе святой Веры Конкской...^{866} Это была практика, которую григорианская Церковь пыталась извести. Все выглядит так, будто автор «Песни о Роланде» хотел косвенно изобличить низовое идолопоклонство, проявляющееся на христианских землях под видом культа святых: надо прекратить подобные действия, нелепые и «сарацинские»!

Подобное отношение к святым во Франции тысячного года еще сохранялось в практике призывов к отпущению, то есть в рассказах об их мести. Ив конечном счете уж лучше сцены такого рода, чем поиск козлов отпущения, какой выливался в погромы. Пусть лучше сарацины дают разрядку эмоциям на своих идолах (ложных), чем на еврейских и христианских подданных... Сами они не ксенофобы, потому что ксенофобами не были создатели «Песни о Роланде», создавшие их образы.

Если французы времен Третьего крестового похода и последующих походов (XIII в.), всецело воспитанные на «жестах», упорно, как и в Первом крестовом походе, пытались снискать уважение сарацин и старались находить с ними взаимопонимание, то потому, что означенные поэмы не разубеждали их в этом. «Жесты» внушали не ненависть к иному, а, скорей, невнимание к самой его несхожести.

Они внушали читателю: уважай в нем то, чем он похож на тебя. Это отдавало нарциссизмом, а не ксенофобией.

Преступления Первого крестового похода, при выступлении — против евреев, против мусульман Марры и, наконец, Иерусалима точного эквивалента в «жестах» не имеют. Евреи упоминаются редко (разве что как сервы-министериалы или как горожане в числе прочих^{867}), а взятие Сарагосы Карлом Великим, сколь бы кровавым оно ни было, выливается «всего лишь» в насильственное крещение ста тысяч человек — одной только королеве, Брамимонде, дозволяется обратиться добровольно, «из любви» (к Богу)^{868}.

Полный реванш такого рода в «жестах» встречался еще редко: их авторы предпочитали, чтобы в мире оставалось побольше сарацин, которые были полезны для демонстрации доблести христианских рыцарей и для того, чтобы те время от времени прекращали распри между собой, объединяясь против них.

Итак, отношения рыцарей с сарацинами в «жестах» однозначному определению не поддаются. Насилие в боях нас устрашает, а поношение, какому часто подвергается покалеченный или убитый враг, — насмешка жестокая. С другой стороны, внимательное рассмотрение образов неверных и отдельных сцен с их участием, напротив, вызывает чувство, что узнаешь близкого человека, хочешь увидеться с ним. Тот, кто слушал начало «Песни о Роланде», мог в конечном счете испугаться за Ганелона, которого ненависть Роланда обрекла на выполнение опасной миссии. Далее тот же слушатель вместе с ним вступает в роскошную сарацинскую Сарагосу; он слышит, как этот персонаж произносит свое надменное послание сначала жестким тоном, потом смягчается, покоренный учтивостью приема и красотой оружия, которое ему дарят, — о, там умеют совратить французского рыцаря, там знают его слабость к роскошному оружию, сверкающему и смертоносному! И тогда Ганелон «изменяет», советуя сарацинам убить Роланда. Он делает их орудиями своей частной мести, но больше ничем им не помогает. Так что в некотором смысле это довольно безобидная измена. Ведь он не бранит с ненавистью французов вообще, не становится «язычником». И не притворяется с таким коварством, как честный Яго. Такого поведения можно было ожидать. Очень похоже на то, как если бы жонглер подозревал, что среди его слушателей есть не один потенциальный Ганелон, столь же склонный к сделке с сарацинами. И в таком случае ему надо было противопоставить героизм Роланда и его людей, а также суд Божий в форме судебного поединка^{869}.

РЫЦАРСКИЕ ЖИВОТЫ

«Песнь о Гильоме» была написана около 1140 г., и за ней последовали другие с участием того же персонажа, вплоть до его «Монашества» (уже упоминавшегося)^{870}. Первая поэма, если остановиться на ней, во многом перекликается с «Песнью о Роланде», так как рассказывает о тяжелых боях, а именно (первая часть) о разгроме, из которого Гильом возвращается один после героической гибели своего племянника Вивьена. Гильом — вполне историческое лицо: это кузен Карла Великого, его наряду с Людовиком Благодетельным превознес Эрмольд Нигелл как участника взятия Барселоны в 801 г. Но ведь латинская «Поэма» Эрмольда Нигелла по сравнению с «жестой» выглядит крайне слащавой и скучно-апологетической, даже если стычки с маврами порой отличаются драматической напряженностью, при их описании использованы красивые метафоры и эффектные обороты речи^{871}. Как бы то ни было, в этой придворной каролингской эпосе не страдает и не умирает ни один христианин, кроме матери Дата: любому довольно метнуть дротик, чтобы враг упал. Напротив, французская эпосея о Гильоме изображает героя в борьбе с сильным противником, причем ему не приходится ждать помощи от короля Людовика, которого похотливая королева отговорила идти на войну. Возможно, исторические корни этой легенды — поражение на Орбье в 793 г.

Далее, его имя произвольно связывают с именем Вивьена, графа, убитого в 851 г. норманнами в долине Луары^{872}. Но так как Гильом затмевает короля, то Вивьен и Гильом играют здесь роли, соответственно, Роланда и Карла Великого, в то время как ни один соперник уровня Ганелона не вносит сюда дыхание настоящей измены. Дурные рыцари, Эстурми и его люди, изображены без оттенков и преувеличений: их вина заключается только в том, что они бежали.

Как и Роланд, Вивьен бесстрашен. Но он так же, и более явственно, безупречен. В его натуре духовный аспект выражен сильнее, чем у Роланда, и это показывает, что Вивьен принадлежит к настоящему христианскому рыцарству.

Он меньше заботится о своей репутации, чем о выполнении обета, который дал при посвящении, пообещав Богу никогда не бежать из боя^{873}. Покинутый линьяжем Тибо и Эстурми, Вивьен оказывается один против врага, с горсткой французов, чью храбрость и решимость должен сначала испытать. В самом деле, они ему не вассалы и поэтому могли бы оставить его, не нарушая никаких клятв^{874}. Но знатность его рода, важность христианского дела — достаточные доводы, чтобы удержать их при нем. Они сражаются и гибнут вместе с ним.

При описании сражений Вивьена «знамя» и боевой клич (*enseignes*), посвящения как церемонии упоминаются чаще, чем в «Песни о Роланде». Герой безупречно предан Богу, Святой Деве и распятому Христу — настолько, что сам становится Христовым рыцарем. Его агония мучительна, ее изображение включает жестокие подробности (из живота вываливаются внутренности), каких нет в описании смерти Роланда, и также более сакраментальна (включает знаменитое причащение травинками).

После этого, в отсутствие сильного короля, Гильом (играющий в этой поэме главную роль) мстит за племянника Вивьена, как Карл Великий за Роланда. Но его историю автор приукрасил несколькими новыми забавными деталями, на грани бурлеска, играми и откровениями, которые делают ее ценной для нас. Особенно это касается такой героини, как его супруга Гибор (собственно, обращенная «язычница»); она принимает его честь близко к сердцу, играя важную роль дамы-поджигательницы войны. Она предлагает ему весомые

доводы — подает множество пирогов, жареного павлина (или, может быть, свинину), большую чашу вина, после чего говорит: «Клянусь Творцом, который просветил / Меня, язычницу, в былые дни», что кто съел все это, «тот и соседей дерзких приструнит, / И в ярое сече не покажет тыл, / И не уронит честь своей семьи»^[875]^[223]. Здесь можно увидеть, в итоге, признание одного из преимуществ, какое с незапамятных времен имеют рыцари: они лучше питаются, чем крестьяне, едят мясо, приобретенное благодаря охоте и богатству, и потому обладают силой, чтобы потрясать мечом и тяжелым копьём и наносить мощные удары.

Нужны именно такие литературные тексты, чтобы напомнить нам о том, что у рыцаря есть тело, которое страдает или которое требует еды. В «Песни о Гильоме» тема крайнего аскетизма Вивьена, возникшая в самом начале поэмы, описание его внутренностей (вместе с внутренностями его соратников), раскиданных по полю битвы, позже будто нарочно дополняется многочисленными упоминаниями пищи и кухни, которые служат ей контрапунктом. Из кухонь-то и выходит бурлескный и прожорливый вершитель настоящего реванша — Ренуар-с-Дубиной. Сначала он и слышать не хочет о мече, но в конце концов принимает его из рук дамы Гибор — которой на самом деле приходится братом... Однако все эти юмористические и пародийные отступления, к которым автор «Песни о Гильоме» прибегает умеренно, не мешают ему воспроизвести систему ценностей «Песни о Роланде» и обеспечить этой системе победу: христиане отстаивают правое дело в борьбе с сарацинами и «славянами» и должны защищать свою честь и честь Франции, с криком «Монжуа» и следуя за знаменем Карла Великого^[876].

Однако в этой поэме есть и контакты между франкским и сарацинским мирами. И даже зачатки диалога. В самом деле, вот против Гильома выступает сарацин Альдерюф: «Язычник лют, неустрашим, силен, / С большим искусством правит скакуном»^[877]. Гильом успевает обратиться к нему, прежде всякой схватки: «Но если, сарацин, ты боя жаждешь, / Мою вину мне объясни сначала. / Ее, коль вправду грешен, я заглажу / И в том готов залог тебе представить»^[878]. Альдерюф упрекает его, что тот христианин, и вот они схватываются насмерть.

Тут, кстати, промелькнул мотив переговоров с врагом в уважительном тоне. Возможно, в словах самого Гильома, вновь появившегося в поэме «Нимская телега», несколько более поздней, можно услышать отголосок этой строфы, когда он сожалеет о кровавых войнах, в том числе, несомненно, и с неверными — ведь убитых благородных воинов, «кто б ни были они», «создал Бог»^[224].

О какой-то однозначной «морали», заключенной в «Песни о Гильоме», четкого вывода сделать не удастся. Но всё же можно ли считать внутренности Вивьена, разбросанные по земле, бесспорным доводом в пользу священной войны? Не отбили ли они у кого-нибудь в XII в. охоту к ней? Не более ли соблазнительна пирушка в замке Гильома?

И если, по словам жонглера, поэма приносит пользу христианским войскам, укрепляя их воинственность, — правда ли, что нужно делать из воинов фанатиков, вдыхать в них спартанский или римский дух? С этим бы не согласился Иоанн Солсберийский, теоретик, живший почти в то же самое время, когда шла королевская война. Хотя включение в армию какого-нибудь Ренуара-с-Дубиной ему пришлось бы по душе^[879]. Мне кажется, здесь мы имеем дело с явлением неоднозначным. Эта французская эпопея написана в честь чистого и сурового рыцарства, которое воплощает Вивьен — может быть, первый настоящий образцовый рыцарь, клятвенно отказавшийся от свободы действия. И в то же время во второй части этнические и социальные границы несколько расплываются. Священная война, которая

только что была резней — с кишками Вивьена, раскиданными по равнине, — теперь оборачивается фарсом. Автор внушает сомнение в ней; на краткий миг возникает мысль о мире.

ЭПОПЕЯ О МЕСТИ И ПРОЩЕНИИ

В войне между близкими, как нам известно, обязательно есть перспективы примирения. Если даже самые ожесточенные враги в этом мире воображаемой мести регулярно вспоминают о них (хотя бы затем, чтобы их отвергнуть), значит, обществам мести они хорошо знакомы. Герои «жест» во многих отношениях напоминают древних германцев — идеализированных Тацитом, — следовательно, почему бы им тоже не проявлять некоторое снисхождение?^[880] А если они поведут себя так, что будет внушать жонглер или, скорее, чего будет ожидать от него публика? Осуждения жестких представлений о чести или восхищения ими?

«Песнь о Рауле Камбрейском» довольно легко выдерживает сравнение с «Песнью о Роланде»: она почти столь же красива и даже, возможно, представляет больше исторического интереса. Рауль Камбрейский — это гипертрофированное «сердце», он склонен к воинской необузданности. Это такой Роланд, который не нашел себе применения в войне с сарацинами и мстительность которого сеет страдания в самой Франции: он сжигает в Ориньи и горожан и монахинь, он пирует в страстную пятницу... И потому в наших учебниках по истории литературы эта поэма называется «совершенно феодальной» эпопеей, жестокой и мрачной.

У какого-нибудь Роланда, у какого-нибудь Гильома была лишь одна принципиальная распря — с сарацинами в целом. Зачем было ненавидеть кого-то из них в частности и зачем воздерживаться от того, чтобы в какой-то миг назвать его «братом»? А вот Рауль Камбрейский претендует на то же наследство, что и сыновья Герберта де Вермандуа. Бернье должен отомстить Раулю за обиду и за гибель матери, сгоревшей в числе других монахинь... Разве здесь негде по-настоящему разгуляться ненависти? И, однако, здесь все — христиане, все — соседи, а значит, можно, не утрачивая веру и не отрекаясь от нее, стать свояками. Прощение выглядит задачей одновременно необходимой и сложной. Это-то и придает «Песни о Рауле Камбрейском», какой она дошла до нас, драматическую напряженность и моральную назидательность с акцентами почти корнелевскими.

Рукописи относятся к XIII в. и включают три части (саму историю Рауля и два продолжения), в которых заметны некоторые различия в содержании и форме. История Рауля, ядро поэмы, — несомненно, самая ранняя, она была переработана с целью связать ее с другими частями и объединить их темой несправедливости короля. В этой истории верх берет чувство мести. Первое продолжение (история Готье), напротив, привносит идею прощенья. Второе целиком наполнено любовью и приключениями, кроме финального эпизода, где вновь звучит трагический мотив.

Рауль Камбрейский — сын Рауля Тайефера, героя, в раннем детстве оставившего его сиротой. После смерти Тайефера король Людовик передал его фьеф взрослому рыцарю, Гибуину ле Манселю, и даже якобы отдал бы ему в жены овдовевшую даму (Алаис, мать Рауля), если бы она не воспротивилась. Когда сын достигает возраста ношения оружия, она предлагает ему просить короля о посвящении — которое, как известно, в XII в. предполагало и введение в права наследства. Тем не менее в нескольких последующих строфах поэмы досада еще не чувствуется. Они исполнены восхищения оружием, конем и юным новичком. «Наш император очень полюбил молодого человека: он подарил тому шлем, принадлежавший сарацину, убитому Роландом на берегу Рейна»^{[225],^[881]}, как бы с целью вдохнуть в него силу и Роланда, и сарацина. В связи с последним император не мог не помянуть Христа. «И Рауль ответил: “Принимая его, я обещаю быть дурным соседом вашим

врагам. Они получают войну — как вечером, так и утром»». Далее король препоясывает его мечом и передает ему доброго боевого коня, на котором юный Рауль гордо скачет. Он показывает, как умеет, бросив коня вскачь, резко остановить его, крепко натянув поводья, — то есть в Рауле обнаруживается физическая мощь и умение властвовать. Так что «французы говорят: “Какой красивый юноша! Он сможет притязать на наследство отца”»^[882]. Под конец церемонии посвящения, носившей, скорей, мирской и сдержанный характер, но вполне отвечающей своей феодальной функции, говорится о том, что вот-вот разразится междоусобная война. Берегись активных притязаний со стороны вновь посвященных!^[883] Автор «жесты» не оставляет никаких неясностей — он сразу же сообщает, что будет дальше и чем все кончится, как бы затем, чтобы слушатели могли сосредоточить внимание на неправоте и правоте главных действующих лиц или дали волю эмоциям.

Посвящение здесь изображается как один из феодальных ритуалов, не более того. Никто не требует следовать какому-либо рыцарскому кодексу; рыцарь окажется под социальным контролем других — сеньоров, родичей и вассалов, даже женщин, и должен будет выбирать линию поведения с учетом соперничающих и противоречивых требований.

Великого братства рыцарей больше нет. Когда Рауль в свою очередь «посвящает» (вооружает, в техническом смысле слова) своего соратника Бернье «лучшим оружием, какое мог найти» и сам облачает его в кольчугу, шлем и препоясывает мечом, он отнюдь не приравнивает его статус к своему. Он, скорей, делает более тесной связь между ними, увеличивает долг Бернье перед собой и укрепляет зависимость от себя, но в то же время повышает и положение того в обществе. Еще не раз, поочередно и в разных местах, в поэме будет упомянуто, что Рауль получил от него оммаж и посвятил его в рыцари.

Как и Рауль, Бернье делает круг на коне — с копьем, в которому прикреплено знамя. И бароны говорят друг другу: «Как идут ему доспехи! Хоть и бастард, он принадлежит к великому и богатому семейству»^[884]. В самом деле, его отец — Ибер де Рибмон, один из четырех сыновей графа Герберта де Вермандуа.

Хорошая кровь не способна лгать. Способность быть рыцарем (в смысле: отличаться силой и доблестью) всегда сочетается с благородством. Чтобы иметь право наследовать, необходимо иметь рыцарское происхождение, и это обязывает заранее думать о будущих наследниках: нужно, чтобы ни наследники Рауля никогда не смогли упрекнуть его в трусости, ни наследники Бернье — своего предка в измене.

В этом, действительно, кроется опасность, соответственно, грозящая первому и второму. Ведь перед каждым из них стоит огромная проблема. Рауль Камбрейский, по наущению своего дяди Герри Рыжего, выдвигает притязание на отцовский фьеф. А король, который не в состоянии отобрать этот фьеф у Гибуина, в результате обещает Раулю фьеф первого графа, который умрет. И вот умирает Герберт де Вермандуа, сделав тем самым противниками Рауля четырех своих сыновей, в том числе отца Бернье! Перед последним встает дилемма: он должен выбирать между вассальной преданностью и преданностью семье — реальной, даром что он бастард.

Кстати сказать, эта незаконнорожденность — очень важный элемент интриги в «Рауле Камбрейском». Бастард Бернье испытывает меньше привязанности к семье, — а если бы он был законным сыном, это чувство, несомненно, легче бы взяло верх, — и для него важней вассальная связь с Раулем, которому он обязан рыцарским Достоинством.

Королю автор здесь не польстил. Тот пообещал Раулю поддержку, назначив сорок знатных заложников, которые в случае отказа в такой поддержке должны явиться к Раулю под честное слово и стать его пленниками. Тем не менее он бездействует — возможно, полагая, что удачно разделил и теперь может властвовать? Подобная тактика, похоже, издавна была

привычной для королей и феодальных князей, но в меньших масштабах. Граф Пуатевинский в тысячном году, судя по «*Conventum*»^у, кормил своих баронов обещаниями, однако на основные их фьефы никто не покушался.

После посвящения прошло время, а Рауль Камбрейский не предпринимает ничего; только его дядя Герри Рыжий вынуждает его выдвинуть притязание, объяснив нравственную и социальную необходимость решиться на это — вопреки советам матери, проявляющей умеренность. Тем не менее Рауль соглашается на предложенную королем замену и терпеливо ждет, пока не появится вакантный фьеф. Ни одна «жеста» не изображает притязание, «месть» исключительно как акт, совершаемый импульсивно^[226].

Зато когда началась война, Рауль Камбрейский демонстрирует необузданность, которую автор с осуждением отмечает несколько раз, но которая в поэме необходима, чтобы слушатель догадался: в конце героя убьют, рукой ли Бернье или кого другого. Рауль проклят матерью и святотатствует в Ориньи; следствие этого — нечто вроде Божьей кары, как в рассказах о чудесах. Само по себе разорение Ориньи еще можно было представить и, если смею выразиться, «расшифровать» как реакцию на сопротивление горожан и косвенную месть сыновьям Герберта, которым монастырь был дорог. Но сожженные монахини — это «симптом», как порой говорим мы! Нелестными словами называется это и на языке вассалов — рыцарей, которые борются с несправедливостью, совершенной по отношению к ним, должным образом реагируют на нанесенный им ущерб.

Убийство матери как раз и нанесло ущерб Бернье. Он жалуется на это Раулю Камбрейскому как сеньору и публично получает удар шахматной доской, от которого у него хлынула кровь, слышит насмешки насчет незаконности своего рождения. Тем самым Рауль усугубляет ситуацию! Кстати, французы тоже упрекают его: разве можно так себя вести с рыцарями?

Эпизод короткий, но, возможно, он не привлек достаточно внимания комментаторов Нового времени, сбитых с толку словом «месть». Ударив Бернье при всем дворе, на глазах у баронов, Рауль Камбрейский поворачивается к ним и спрашивает, что ему делать. Этот специалист по шахматам (рыцарской игре) умеет совершить просчитанную дерзость, но умеет и выстроить стратегию защиты. В самом деле, «тогда доблестные рыцари воскликнули: “Сеньор Рауль, он имеет полное право досадовать: он вам послужил своим стальным мечом, а вы весьма дурно его вознаградили...”»^[885] И Рауль меняет тон: он предлагает Бернье возместить тому убытки. Поначалу последний предпочитает принять жесткую линию поведения и отвечает отказом. В течение двух строф Рауль — само смирение «на глазах многих рыцарей». Он облачается в простую тунику и становится перед Бернье на колени. Он говорит кротко, хоть и не отрекаясь от всякой гордыни: «Прими хорошее возмещение — не потому, что я боюсь твоей враждебности, а потому, что хочу быть твоим другом». Без этой оговорки Рауль потерял бы лицо, так как предлагает публичную *harmiscara* — длиной в четырнадцать лье, в Вермандуа, от Ориньи до Неля. «Сто рыцарей понесут свои седла, и я сам возложу твое себе на голову. Я поведу Босана, своего кастильского боевого коня, и каждому сержанту, каждой девице, которых встречу [то есть людям, занимающим более низкое положение, как бы затем, чтобы стало еще горше], я буду говорить: “Вот седло Бернье!”» Тогда французы говорят: «Это хорошее удовлетворение; если он откажется, значит, он не хочет быть вам другом»^[886].^[227]

Как не усмотреть определенное сходство между Бернье и Раулем — немного напоминающее сходство Роланда и Ганелона? Их конфликт — это не конфликт между мудростью и необузданностью безо всяких оттенков. Ведь в обществе мести всё зависело от соотношения твердости и снисходительности, и трудно было согласиться на мир, не

запятнав себя, если отказываешься от законного ответного удара и удар, нанесенный тебе, оказался последним. В некоторые моменты и Рауль, и Бернье могут подпасть под власть ярости^[887], безумия такого типа, при каком человека считали одержимым бесами.

Подобная потеря рассудка никогда не удостоивается похвалы. Ее клеймят так же, как и трусость. Поэтому, несмотря на все энергичные сцены и пылкие слова, мы не вправе сказать, что рыцари в «жестах» — воплощенная дикость. Они ищут свой путь, узкую дорогу меж двух подводных камней. Та, которую они находят, — несомненно, более крутая, более головокружительная, чем была в исторической реальности. Но в принципе их задача состоит в том, чтобы сделать лучший выбор или хотя бы выбрать меньшее зло.

Таким образом, похоже, «жеста» способствовала сохранению представлений о норме, при этом давая слушателям разрядку, отдых. А разве мы можем сказать, что Афины в V в. до н. э. были варварскими, потому что там ставили трагедии о кровавой мести и о наказании Ореста либо об искуплении им вины?

Следует ли тревожиться в связи с тем, что христианство не отвергает идею мести? На протяжении всей истории о Рауле у всех «персонажей», как у него самого, так и у Бернье или Герри Рыжего, на устах только Бог, Христос, Дева Мария и множество святых и реликвий. И поминают их прежде всего затем, чтобы неким подобием проклятий обязать себя идти до конца в своей мести. «Мой сеньор Рауль меня весьма мало уважает, потому что сжег мою мать в том аббатстве. Да позволит мне Бог прожить достаточно, чтобы отомстить!»^[888] И Бернье, и другие взывают о пролитии крови (христианской) во имя Христа и мучеников. Может ли священная война одолеть внутреннюю? Не думаю^[228]. Клятвы практикуются во многих обществах, и в христианском тоже дело не обходится без них.

Итак, в итоге одной из тех великих битв, какие встречаются только в «жестах», Бернье нанес Раулю Камбрейскому смертельный удар. Позднейшая судьба Бернье — сюжет двух «продолжений». В первом чаще всего поминают христианство, призывая к гражданскому миру, и война становится менее brutальной. Это значит, что теперь мы возвращаемся на землю, во Францию XII в.

Однако сразу этого не скажешь, когда дама Алаис по выходе с рождественской мессы встречает своего внука Готье (племянника Рауля). Ведь она убеждает его попросить о посвящении на ближайшую Пятидесятницу^[889]. Он, прежде игравший и смеявшийся вместе с другими детьми, теперь должен будет демонстрировать траур и сможет наследовать Раулю при условии, что отомстит за него. Сам Герри Рыжий находит Готье «достаточно сильным и крепким». Так что «скоро бастарда [Бернье] атакуют»!

«Дама Алаис спешит подготовить сорочку и штаны, шпоры чистого золота и четверочастный шелковый плащ, подбитый горностаем. В церковь приносят прекрасное оружие и слушают мессу, каковую служит епископ Ренье; потом посвящают Готье, пылкого молодого человека, в рыцари. Герри его препоясывает полированным стальным мечом, который прежде принадлежал Раулю, доблестному воину. “Милый племянник, — говорит он, — храни тебя Бог. Я делаю сегодня тебя рыцарем в надежде, что Бог поможет тебе истреблять врагов и помогать и споспешествовать друзьям”. — “Да услышит вас Бог, сеньор”, — отвечает Готье»^[890].

Следует сцена посвящения, несколько более пышного и несколько более христианского (с возложением меча на алтарь), чем в свое время было посвящение Рауля. В этом продолжении во многом просматриваются знаки куртуазного XII в., идущего к концу. Однако наставление Герри Рыжего — очень даже «германское» и «феодалное»! И французы, видя, как юный Готье превосходно совершает верховое упражнение, восклицают: «Что за

прекрасный рыцарь!» Это воскресший Рауль Камбрейский. Дама Алаис замечает это и плачет. И тем не менее — нет, необузданности ему не припишешь. Конечно, Готье возглавляет камбрезийский ост, который вступает в Вермандуа, грабит земли, но эта война не сравнима по ожесточенности с той, какую вел Рауль и венцом которой стало разорение Ориньи. Теперь в схватках врагов чаще берут в плен, чем убивают, обсуждаются обмены и выкупы. Феодалное рыцарство приобретает более рыцарские качества, происходят одиночные конные бои и поединки. Готье и Бернье, оба главных противника, вскоре выказывают знаки взаимного уважения и назначают день поединка. Ведь, замечает Готье, хотя «я всем сердцем сожалею о кончине маркиза Рауля [уже маркиза?], но зачем из-за него вести на смерть столько прочих благородных баронов?»^[891] Итак, поединок, а не сражение.

Молодой Готье не унаследовал и нечестивости своего дяди Рауля Камбрейского. Перед боем он совершает молитвенное бдение — этому обычаю чаще следовали перед Божьим судом, чем перед посвящением^[229]. Здесь он отрекается от смеха, от детской легкомысленности. Пришло время кровавых поединков; в «жесте» не бывает, чтобы герой не страдал и чтобы ни разу не случилось, что он чудом избежал смерти. Тем не менее после двух поединков подряд Готье и Бернье расходятся в стороны. Они оба тяжело ранены, изрублены и окровавлены. Но в конечном счете живы, и поединок мог завершиться только так, чтобы один из его участников (Бернье) мог принести унижительные дары во имя мира^[230], а другой (Готье) — наконец их принять.

Эта церемония происходит в Париже, при дворе короля, который, кстати сказать, только один, кроме разве что Герри Рыжего, не очень жаждет мира. Но вовремя вмешивается аббат Сен-Жермен-де-Пре (как в свое время монахи обители святого Урмера на ярмарках и рынках Фландрии^[892]), чтобы приструнить упрямецев: он грозит им адом, — а ведь прощение означает подражание Иисусу Христу, простившему Лонгину удар копьем, и обеспечивает спасение души.

Однако «жеста» — не житие святого. Оба наших рыцаря — не монахи и не отшельники; подружившись, они вступают в союз, направленный против дурного короля. Их осты грабят и жгут Париж, а в роли поджигателей выступают «оруженосцы». Кто виновен в том, что Париж горит? Конечно, не рыцари. Бесчинства грязной войны — всегда не их рук дело, и им ли сдерживать свои войска?

Второе продолжение «Рауля Камбрейского» начинается с того, что Беатриса, дочь Герри Рыжего, мгновенно влюбляется в Бернье, как только слышит от отца похвалу рыцарской доблести бывшего врага. Потом она видит его в горностаевом плаще и шелковых штанах; «его кожа была выдублена, поскольку он во многих великих сражениях (*estour pleignier*) носил добрую двойную кольчугу». И влюбляется в него еще сильнее, теряя голову, только и мечтая, чтобы с ним возлечь^[893]. И вот заключается мирный брак после вендетты, возвышающий и Бернье, который, конечно, наследовал отцу и приобрел громкое имя, но все еще носил клеймо бастарда. В дальнейших приключениях возникают новые ходы, в достаточной мере классические (похотливый король, спортивные сарацины, всегда готовые вмешаться). Но под конец Герри Рыжий убивает своего зятя Бернье, чтобы отомстить за Рауля Камбрейского.

Эта поэма в том виде, в каком дошла до нас, хоть и отмечена немалым влиянием Евангелия и темы человеческой любви, не сумела обойтись без мотива мести христианина христианину. И, несомненно, о ней, как и о других французских эпопеях, можно сказать то же, что сказано в эпилоге к «Песни о Жираре Руссильонском» из одной рукописи XIII в.: «Все любят песнь [о герцоге Жираре и герцогине Берте], и те, кто радуется, и те, кто скорбит:

первые — за то, что подвиги, о которых рассказано, служат примером для подражания, вторые — за то, что теперь могут рассуждать с большим знанием дела и воздерживаться от войн и подобных смятений; те и другие сочтут, что речь идет именно об этом, ибо она песнь описывает всё — и как можно вести войну, и как можно ее не допустить»^[894]. Это говорит о неоднозначности посылы.

Мщение и прощение (христианское или феодальное) всегда формировали главную пульсацию «жест», пусть даже в течение XII в. на них все явственней накладывали знак мутации тысяча сотого года. Так, в «Жираре Руссильонском» дает о себе знать социальная конкуренция горожан и министриалов. В то же время герой сталкивается с таким королем, сюзеренитет которого становится назойливым. Какое будущее ждет его «германский» идеал?

Правда, «Жирар Руссильонский» несколько выделяется среди «жест». Своеобразие ему придают язык, представляющий собой примечательную смесь слов из «ока» и «ойля», и выдающееся место, какое наряду с битвами занимают в нем мирные переговоры. Он также уделяет обширное место новым реалиям XII в., таким как появление богатой буржуазии или сервов, которые становятся сенешалями: поэма высмеивает их трусость либо изобличает их предательство. Но это свойственно не одной этой «жесте», по темам и по духу к ней очень близки некоторые другие.

Как и прочие «мятежные» вассалы, Жирар Руссильонский терпит от короля (названного здесь «Карлом Мартеллом») тяжкие несправедливости: тот отбивает у него невесту (заменив своей сестрой, менее красивой, хоть и не менее любящей), покушается на его права на фьеф, поскольку ищет ссоры и поддерживает род герцога Тьерри Сканийского, врага Жирарова рода. Так начинается долгий, несколько однообразный конфликт с королем, а еще более — с враждебным родом.

В поэму проникает толика казуистики, касающейся фьефа и аллода, что ново для XII в. Речь идет об автономии знатного барона по отношению к королю. Но королю хватает и новых аргументов, и ресурсов, связанных с мутацией тысяча сотого года.

Под предлогом осуществления своего права охоты король с большими силами подступает к замку Руссильон и благодаря измене захватывает его. Он добивается, чтобы замок ему сдал собственный сенешаль Жирара — Ришье Сорданский, министриал, произведенный в рыцари. «Ах, Боже, какую ошибку совершает добрый воин, когда делает рыцарем вилланского сына, когда назначает его сенешалем и советником, как граф Жирар злого Ришье. Жирар дал ему большой фьеф и супругу — ему, который сдаст Руссильон свирепому Карлу!» В самом деле, нет ничего проще, чем «воспользоваться тем, что сеньор спит, чтобы предать его. Он проворно обувается и одевается, подходит к ложу графа, чтобы взять ключи»...^[895] и отправляется договариваться с королем о получении первого класса фьефа в награду за измену. Его вассалами станет тысяча рыцарей, он в буквальном смысле будет хилиархом...

Руссильон, плохо охраняемый горожанами, взят. Здесь горечь Жирара хорошо понятна. При поддержке родни он дает Карлу сражение, убивает и берет в плен воинов из королевского оста. Он отбивает Руссильон, и вот предатель повешен. Он даже бросается в погоню за Карлом и причиняет ему ущерб — то есть: «он и его люди преследовали того по сухой равнине до Труа и взяли немало добычи»^[896]. Вот и опять косвенная месть.

Герою и его близким в той же мере, что и король, угрожает враждебный род; однако заклятый враг Жирара, Тьерри Сканийский, при всем совете совершенно открыто заявляет Карлу Мартеллу: «Нарушение закона — вот что совершили вы, пожелав захватить Руссильон». Один мерзавец Жирара предал, так что последний «имел все основания с ним расправиться, и Бог ясно показал вам это, когда вы пожелали отстоять свое право в бою»^[897].

Пусть даже герцог Тьерри прекрасно понимает Жирара, он вместе со всем родом должен ему отомстить за себя и за своих родичей. И король разжигает конфликт между вассалами

равного ранга, настолько похожими, что они кажутся двойниками. Сражение назначено в Вобетоне^{898}, при условии, что побежденный должен будет взять паломнический посох и отправиться за море. Значит, он возьмет прегрешение на себя — и никому не приходит в голову по выходе из церкви воспрепятствовать сражению, сославшись на Евангелие мира. Скорее, судя по репликам в разных местах, на сей раз чувствуется, что к феодальной войне примешивается священная. «Если вы умрете, сражаясь за сеньора, ваши души будут спасены»^{899}. Или еще: «Снимите траур, ведь герцог получил отпущение грехов и причащение. Лучше думайте, как за него отомстить»^{900}. Одилон «клянется Богом и святым Устриллом: того, кто на его глазах поведет себя как трус, он сделает монахом или каноником»^{901} — что ему не мешает немного позже, в момент смертельной опасности, совершить обращение, надев облачение святого Бенедикта^{902}, и с тех пор советовать Жирару стремиться к миру, потому что человекоубийства в таком количестве — слишком великие грехи и потому что тот — ленник короля Карла: «Поэтому ты не можешь ни прогнать его, ни победить, не рискуя, что твой фьеф отберут»^{903}.

Об умеренности Жирару постоянно напоминает его племянник Фук. И порой тому на помощь приходит феодальная этика. Когда сторона Жирара получает преимущество в сражении, герой, прежде чем начать преследование короля, держит совет с вассалами. «Как мне следует повести себя по отношению к Карлу, моему сеньору?»^{231} Ответ поступает от Фука: надо отказаться от того, что они захватили у короля, и даже преподнести ему дар. «Если он его отвергнет, не тревожьтесь, я не покину вас»^{904}. Иначе говоря, если бы Жирар все-таки не предложил такой дар, Фук мог бы покинуть сеньора.

Длительность сражений, их интенсивность не мешали сторонам время от времени обмениваться эмиссарами, от которых требовалась определенная смелость, даже если в принципе они верили благородному противнику на слово. И слушатели получают право на миг разрядки и веселья, когда на сцену выходит монах Бремюн: какая уж тут неприкосновенность, когда он приносит весьма раздраженному королю Карлу мирное предложение, а тот грозит отрезать ему тестикулы... Он действительно боится, что Карл сделает это, даже если королю придется поплатиться за это покаянием! Надо ли подчеркивать, что в феодальной Франции так наказывали не монахов-посредников, а, скорей, соблазнитель, насильников, сервов?

Впрочем, большая война влечет за собой не только смерти. «Песнь о Жираре» упоминает многочисленные осты, рыцарей и пехотинцев (многие из которых — горожане), вассалов и наемников, а часто и знатных пленников, за которых назначен выкуп. Умеренный Фук может посоветовать Жирару такой способ избежать слишком жестокой войны: лучше «взять в плен того из его баронов, ради которого мой сеньор Карл пошел бы на переговоры»^{905}.^{232} Но Бозон д'Эскарпион склонен принять бой: разве у Жирара нет многочисленных иностранных наемников, «баварских и немецких, каковые только и жаждут битвы»^{906}? Однако сторона Жирара обречена на поражение, потому что оттолкнула от себя Бога и потому что необузданность провоцирует отступничества и измены.

В эпическом мире существует настоящая имманентная справедливость, осуществиться которой помогают люди — из вождей группировки Жирара Руссильонского, за исключением его самого, в живых остается только Фук. Его умеренность не осталась незамеченной в противном лагере. Когда-то он спас жизнь одному из посланцев противника, Пьеру; теперь тот высказывается^{907} за отсрочку казни для Фука. Однако читателей бросает в дрожь, когда Фука передают дочери герцога Тьерри, убитого им. Тем не менее жонглер тут же успокаивает нас: она влюбляется в Фука столь же быстро и столь же сильно, как Беатриса в Бернье. Их

свадьба не заставляет долго себя ждать, они счастливы, у них много детей.

Участь графа Жирара улаживается не столь куртуазно: ему понадобится пройти весь путь христианского покаяния. Он совершил святотатство — сжег церковь, после чего король и получил преимущество над ним. По мере того, как его бойцы погибают или дезертируют, Жирар становится все более жестоким и все более одиноким. Можно было бы сказать, что он спускается в ад, если бы в реальности он не взмывал, и достаточно быстро, к небесам. В самом деле: после того как в живых остались только он и жена, он направляется в лес к отшельнику, чтобы тот наложил на него христианское покаяние. И там выслушивает добрые советы, как спастись. Однако он ищет только временного выхода из сложного положения и не скрывает этого. «Вцепившись обеими руками в волосы, Жирар поклялся Всевышним не сбривать и не срезать их, пока не вернется в свой фьеф и не получит признания со стороны герцога Бургундского»^[908]. Он не желает успокаиваться, пока вновь не обретет коня и доспехи, чтобы внезапно напасть на короля и убить его. Понадобится настоящая диатриба отшельника против гордыни и злопамятности и вмешательство благочестивой супруги, чтобы вырвать его из когтей дьявола.

Покаяние длится двадцать два года, в течение которых Жирар работает угольщиком, как святой Тибальд или Эврар де Бретей. Наконец настает момент вернуться в милость. Во время Пасхи, наиболее подходящее для прощений, Жирар является ко двору в облачении паломника, и епископ, а потом королева добиваются от короля полной амнистии.

В этой поэме все выглядит настолько пригнанным, настолько сбалансированным, что непонятно, кто мог бы остановить войну. Сам Бог, каким Его создали феодальные рыцари и их духовенство, не в состоянии этого сделать, поскольку воплощает право, а право расколото. Он может только чудесным образом прервать сражение, чтобы закончить первую кампанию, и покарать за святотатство Жирара, поджигателя церкви, чтобы прекратить вторую. Пусть рыцари, простив в Страстную пятницу всех врагов, утром в понедельник после Пасхи вновь принимаются за тренировку с квинтиной^[909], но рано или поздно война все равно снова вспыхнет. У Жирара и Берты есть маленький сын пяти лет; еще несколько лет перемирия, и его посвятят, и все начнется заново, как происходит в других местах, когда какой-нибудь Готье, какой-нибудь Жербер становятся рыцарями. В среде знати нет наследования без мести, а месть в «жестах» часто бывает кровавой.

Однако с этого момента все чаще выдвигают планы вечного мира. Они даже немного торопятся показать себя, расталкивая друг друга, до самого конца поэмы.

Сначала следует неожиданное событие, где всю силу являет социальная мутация тысяча сотого года. Жирар снова жаждет войны, он держит мальчугана в объятиях и произносит клятву: «Клянусь Всемогущим Богом — тебя никогда не лишат владений. Воистину, чтобы стать монахом, нужна трусость!»^[910] Итак, отцовская гордость побуждает его по-прежнему говорить как неколебимый рыцарь, вернуться к рыцарским заповедям, которые он всегда предпочитал, — больше не упрашивать врагов и снова начать войну. Здесь вновь в действие вмешивается выходец из сервов, которого Жирар сделал сенешалем. Он догадывается, что война не имела бы смысла для сеньора, не будь у того наследника. И он просто-напросто убивает ребенка.

После этого заключения мира уже не избежать, чему способствует и римский папа — родственник Жирара^[233], взгляды которого отчасти макиавеллиевские: не он ли нашептывает герою, что нужно «поступать так, чтобы те, кто нас ненавидит, более всего ошибались»?^[911] Не имея более прямых наследников, Жирар идет по стопам Геральда Орильясского: он отдает свое добро Церкви, чтобы основать не менее тринадцати аббатств (в том числе

Везле). И если остаток он оставляет кузену Фуку, миру это отнюдь не грозит, поскольку Фук всегда был скорее «голубем» и будет, как нам сообщают заранее, справедлив по отношению к бедным и в то же время щедр к рыцарям и послушен королю^{912} — которому сам Жирар приносит торжественный оммаж. И поэтому папа произносит проповедь, направленную против такого бича, каким является война: она сжигает церкви, приносит страдания народу, губит «цвет христианства», то есть рыцарей. Пора каждому отрешиться от гордыни и жестокости, чтобы помыслить о спасении души.

Однако некоторые считают этого папу «подлым проповедником» — это те, кто заложил владения. Что станет с бедным рыцарством без войны? Может ли оно жить только за счет охоты в окрестностях? Не вернется ли деморализующая ситуация из начала поэмы, когда «храбрец стоит не более, чем трус»^{913}?

К чести автора «Песни о Жираре», он задумывается об этом — хоть и поздно, после 9480 стихов. Фук призывает графов, главных держателей и богатых баронов заботиться о содержании бедных рыцарей, быть щедрыми. Будет сделано то же самое, что сделал герцог Нормандский Генрих Боклерк в 1133 г., то есть составят «список» тех, кто призван в ост для защиты страны: в войско отправятся бедные вассалы, а остальные, богатые, окажут им финансовую поддержку^{914}. В следующей строфе оговаривается, что отъезжающим понадобятся хорошие кони, ведь дело придется иметь с сарацинами. Но, похоже, об этом забыли, едва кончилась строфа, поскольку вскоре речь пойдет уже не о четком делении на отъезжающих и помогающих, а обо всех «расточительных и отважных юношах, всегда готовых в набег»; в набеге они рискнут жизнью и испытают свою доблесть^{915}. В остальном рыцари будут ездить на охоту, по видимости не утрачивая своего места в обществе.

Что касается четырех сыновей Фука, то им не понадобится, в отличие от него, готовиться к междоусобной войне. Никакому злобному сенешалю незачем будет их убивать, поскольку их жизнь будет состоять из церемоний при дворе короля XII в. Они направятся к нему сами и будут ему служить: первый понесет меч, второй — скипетр, третий станет привязывать ему шпоры, четвертый — размахивать стягом в сражении.

А какое место среди всего этого займут турниры? Как раз они были бы и нужны, чтобы поддержать физическую форму молодых людей, сохранить жизнь сыну Жирара, дать перспективы бедному рыцарству! Но «жесты» — сочинения феодальные и в то же время слишком христианские, чтобы уделить турнирам должное место.

В крайнем случае, если какая-то из них и описывает турнир, то затем, чтобы связать его с темой родовой мести. «Песнь о Гарене Лотарингском» датируется периодом с 1180 по 1200 г. Здесь турнир устраивают после посвящения Фромондена, «дабы увидеть, способен ли он обратить в бегство смертельных врагов, избежать их ударов, противостоять им»^{916}. И в самом деле, турнир во многом напоминает настоящее сражение: здесь выбирают противником того, кого ненавидят^{917}.

В «Гарене Лотарингском» продолжается и укрепляется «реалистическая» тенденция «жест», сильно выраженная уже в «Жираре». Текст может показаться длинным романом с продолжениями, однообразным и кровавым, ведь обе больших «жесты» соперничают в кровожадности, нанизывая убийство за убийством: через испытания проходят брат за братом, сын за отцом, все герои, и жизнь их прослеживается от посвящения до смерти. Однако, если приглядеться, так ли она однообразна? В самом деле, каждый эпизод может включать в себя элементы реальной истории XII в.: здесь — прогресс строительной техники, там — роль немецких наемников, пеших сержантов, или же приемы, которые используют хитрые политики, чтобы обходить григорианские требования к браку^{918}. В этой же поэме

производится много расчетов, в двойном смысле слова: исчисление расходов и ущерба, обдумывание юридической стратегии при дворе и военной на поле боя. И так ли она кровава? По правде сказать, может ли не быть кровавой история смертельной ненависти? На том и основан эпический жанр, пусть даже реальная история королевств в XII в. не состоит из таких жестоких и убийственных столкновений. Вот почему в вымышленном королевстве «Пипина» знатные бойцы чаще убивают друг друга, чем в королевстве Филиппа Августа — пусть даже война между последним и Ричардом Львиное Сердце с 1194 по 1199 г. обострилась и стала не слишком рыцарской. Тем не менее в «Гарене Лотарингском», в ряде эпизодов, есть интересные примеры тактики, к какой прибегают осты, чтобы не встречаться. Даже воинственный Бернар де Незиль нередко отступает, а его противник Бегон во время бургундского похода занимает замки без боя, по соглашению. Описания боевых порядков как таковых занимают здесь больше места, чем споры о войне и мире, которые преобладают в «Жираре Руссильонском», но такие споры тоже имеют место, так же как обращение к разным посредникам.

Эта поэма — где поединок, предваряемый клятвами, приводит к гибели клятвopеступника, где, взяв пленных, не всегда обращаются с ними хорошо (хотя напомнить о выкупе не забывают), — уже не игнорирует, как другие «жесты», случаи, когда рыцари-неприятели, будь они французы или сарацины, проявляют взаимное уважение или сотрудничают меж собой^[234].

Но, конечно, сам статус рыцарей, неразрывно связанных со своим родом и фьефом, обязывает их защищать свое право. В этом суть рыцарства, прошедшего церемонию посвящения. И мораль, которую посвятителю внушает юному Фромондену, в высшей степени характерна: следует избегать всякого коварства, быть суровым к противникам, раздавать меха, чтобы добиться уважения. Последний штрих, явно сатирический, бесспорно, намекает на продажные похвалы самих жонглеров! Сцены посвящения в этой поэме несколько отличаются одна от другой: в одной упоминается молитвенное бдение, в другой — удар по шее (*colee*), как в Гине^[919], в третьей — поцелуй мира (это менее болезненно).

Одна из них откровенно комична, когда некий Риго забавно противится выполнению «дурацких обычаев»^[920], формально обязательных при вступлении в рыцари, от купания до удара по шее, а также вручению меховой мантии или меча. Что касается молитвенного бдения, которого регулярно требуют, то оно толкуется в духе благочестия тысячного года. Здесь оно рассматривается не как подготовка к таинству, а как апотропаический поступок, необходимый перед поединками с членами рода, поединками, возможность для которых дает посвящение: это обряд совершают, «чтобы Бог защитил его [рыцаря] от смерти и опасности»^[921].

Подобные поступки не влекут за собой особую покорность духовенству у героев «жесты», где быстро выясняется, что рыцари и церкви соперничают из-за фьефов. Разве безупречные христиане, на смертном ложе щедро раздававшие земли монахам по примеру Жирара Руссильонского, не обирали тем самым свои рыцарские семейства и тем самым не ослабляли Французское королевство перед лицом сарацин? После этого приходилось торговаться с Церковью, чтобы она кое-что вернула рыцарям — подобные компромиссы заключались, во всяком случае, в реальной истории VIII в. Это не мешает героям «Гарена» впоследствии снова делать дары монастырям во спасение душ погибших рыцарей. Причем каким образом погибших? В междоусобных войнах, которые, губя много знати, тем самым были (потенциально) выгодны сарацинам! Развязыванию таких войн не мог помешать даже энергичный королевский арбитраж.

В самом деле, в мире «жест» добрый король прежде всего должен бережно относиться к прерогативам (включая право на месть) тех, кто обязан ему служить.

Поэмы о мстительных вассалах, часто бунтующих против короля, который покушается на их права, не описывают нравы какого-то конкретного века. Скорей, они свидетельствуют о живучести идеалов и ценностей, которые начиная с франкской эпохи и в соответствии скорее с германской, чем с римской традицией сочетались со статусом знатного воина, вассала и рыцаря. Эти поэмы по-прежнему проникнуты довольно «каролингским» христианским духом, который, представляя собой контрапункт этим ценностям, тем не менее по-настоящему не отрицает их. Не думаю, что резкость отдельных высказываний и отдельных сцен могла бы шокировать публику XII в. настолько, чтобы та согласилась принять схему истории Франции, разработанную при кардинале Ришелье: помешать опустошительным междоусобным войнам якобы способна только королевская власть.

Не все «жесты» относятся одинаково как к королям, так и к баронам: «Песнь о Роланде» оказывается самой роялистской, воспевая в Карле Великом справедливого и доблестного правителя, тогда как в других текстах короли, получившие имена других Каролингов, отличаются вялостью, пренебрегают своими обязанностями, бывают явными тиранами, перекладывают заботу о защите королевства на плечи баронов и хитроумно пытаются отнимать у них фьефы, невест и вольности. Если и упоминается долг верности по отношению к королям, а также обязанность вассалов испытывать к ним благодарность за то, что те облекли их правами, наделили землей, посвятили в рыцари, то отношения между сеньором и вассалом далеки от идеальных, и мне кажется, что в подходе к отношениям монархии и феодалов заметна та же двойственность, что и в подходе к войне и миру: можно найти доводы в пользу и той, и другой стороны. Или, скорей, каждый находит то, что ищет.

Новейшие историки, сбитые с толку идеей «мутации тысячного года», усмотрели в расцвете эпопеи (как и романа) в XII в. симптом утверждения нового рыцарского класса. Я бы, скорей, увидел здесь нечто вроде манифестации старого рыцарского класса, уже оказавшегося под угрозой, восхваление его силы и приносимых им жертв, призыв к королям и князьям почитать и уважать его. Или, по меньшей мере, отметил бы, что воображаемый мир «жест» сам делается ставкой в игре и что общество XII в. демонстрирует здесь свои противоречия — хотя самое главное, что старания отомстить, которые прилагали, например, ардрские и гинские рыцари в местных конфликтах, на своей территории, по умолчанию все-таки одобряются.

Рыцарство изящества и любви, в котором хорошее общество XVIII и XIX вв., проникнутое умеренным республиканизмом, усматривало сущность средневекового рыцарства^[235], — скорей, сказка, придуманная в высших сферах, при дворах, где любили играть в таких рыцарей.

ИЗОБРЕТЕНИЕ КУРТУАЗНОЙ ЛЮБВИ

Мир романов о куртуазном рыцарстве, как античном, так и артуровском, — не абсолютная антитеза миру «жест». Нельзя сказать, чтобы здесь речь шла прежде всего о женщинах или что во взаимоотношениях рыцарей преобладали хорошие манеры. Есть и мстительное представление о чести, от рыцаря формально требуются сила, доблесть, умение искусно владеть копьем. Два этих мира в разных произведениях как будто соприкасаются: разве в «Песни о Роланде» не присутствует некий Маргари из Севильи (христианский ренегат?), прекрасная осанка которого прельщает женщин^[1922], и, прежде всего, разве в сохранившемся фрагменте из «Тристана» Беруля нет рассказа о феодальных отношениях? Не в одной «жесте» мы видим, как в очередном сюжетном повороте или под конец возникает любовная линия, а около 1225 г. появится какой-нибудь «Ланселот» в прозе, по духу близкий к «Жирану» и «Гарену». Следует ли удивляться таким сближениям, если все эти вымыслы порождены одним и тем же обществом и рассчитаны на него, а оба уровня этого общества (феодальный и куртуазный) соединены меж собой?

Однако два этих воображаемых мира очень различны. Все «жесты» уходят корнями во Франкское королевство и подчиняются законам родового и феодального тяготения; они по духу должны быть основаны на этих законах. Действие «романов», наоборот, происходит в другое время и в других пространствах, в тех местах, где жизнь — праздник, которому не угрожают ни сарацинские осты, ни ненависть между родами, ни алчные короли и всё, напротив, устроено так, чтобы позволять рыцарям как ярким личностям идти своей дорогой, давая подругам и соратникам доказательства доблести и привязанности — и получая таковые от них. Этот мир игр и шуток, обитатели которого странствуют в поисках приключений, был бы немыслим без рыцарской мутации XI в. и непонятен вне дворов и турниров века XII-го. В этом смысле он принадлежал современности, противостоящей архаике мести или христианских войн, которые описывала эпопея.

Движущая пружина интриги в романах — любовь. Именно для того, чтобы завоевать и сохранить любовь женщины, благородную и куртуазную, рыцарь и старается блистать, любовь — это настоящий персонаж, вокруг которого строится сюжет, любовная линия как направляющая нить настолько важна, что этих линий нужно сразу несколько, чтобы образовалась ткань рассказа. Предубежденность нашего Нового времени, напроць не одобрявшего кровной мести, настраивает нас в пользу этой куртуазной любви. Не лучше ли предаваться ей, чем вести частные войны? Разве не прекрасны артуровские рыцари, чьи нравы смягчены любовью? В XIX в. в этих рыцарях, даже признавая, что они не были идеальными и образцовыми, хотели видеть провозвестников или проводников некоей культуры нравов — в которую свой вклад внесло и христианство.

Однако в глазах Церкви XII в. — той, которая активной осуждала турнир, нежели феодальную войну, — любовь из романов порой была опаснее и возмутительнее, чем месть из эпопей. Разве последняя не могла легко перейти в священную войну или в христианнейшее примирение, в связи с которым монастырям дарили фьефы? Первая же, наоборот, была проникнута легкомысленным и профанным духом, допускала прелюбодеяние или скрытность, а любовные радости не столь быстро вели к Богу, как кровавая рана или тяжкий грех в «жестях»! Ценности куртуазной любви — это ценности беззаботной молодости, готовой к конфликтам поколений, которых вендетта не предполагает.

И в позднейшем Средневековье Церковь, хорошее общество будут запрещать и осуждать похождения Ланселота и Тристана — ведь тот и другой повинны в прелюбодеянии с

королевой.

С другой стороны, разве сами авторы романов не были клириками? Да, но клириками придворными, чья готовность угождать молодым князьям и их супругам отчасти контрастировала с менторским неодобрением, с которым тогда относились к тем же дворам пожилые епископы, меньше склонные потакать мирским уладам. Церковь — не единый монолит, и, правду сказать, о жизни клириков-романистов известно очень мало. Даже облик самого гениального и плодовитого из них, Кретьена де Труа, во многом ускользает от нас. Кстати, со своей стороны Кретьен попытался ответить на скандальный миф о Тристане и Изольде встречным огнем и в итоге привести своего Персеваля к Богу (вместе со всем артуровским рыцарством, ведущим поиск Грааля).

Таким образом, в конечном счете любовь требовала большего усилия для сублимации, чем месть героев эпопеи.

Куртуазная любовь всегда требует, чтобы молодой человек заслужил любовь подруги рыцарскими подвигами. Формально она существовала только в литературе, и ее изобретение ознаменовано появлением книги английского клирика Гальфрида Монмутского «История королей Британии» в 1138 г. Это трансформация в воинском духе другого литературного изобретения, несколько более раннего, — *fin'amor* [утонченной любви] трубадуров, то есть их возвышенной версии любви к дамам, предполагавшей преданность, удаленность, усилие над собой и отодвигавшей удовлетворение на второй план. Тем не менее та и другая — не вымыслы в чистом виде, если их сопоставлять с поведением и взаимоотношениями мужчин и женщин в феодальные века, особенно во времена рыцарской мутации, придворных праздников и турниров либо других игр.

Посмею ли я сказать, что представление о куртуазной любви не более ложно, чем представление о родовой мести, описываемой в «жестах»? Во всяком случае, от этой мести она дальше, чем от социальной действительности. В самом деле, в «жестах» знатым девушкам и женщинам уделялось меньше места, чем в реальности. В феодальном обществе молодежь играла не доминирующую, но и не ничтожную роль.

Во всех обществах мести встречаются женщины-подстрекательницы. Подобные женщины у германцев, верно описанные или идеализированные Тацитом, требовали от детей, от мужей проливать кровь и демонстрировать мужество. В этом смысле они осуществляли то, что наша социология называет социальным контролем снизу, вынуждая мужчин держаться на той высоте, которая позволяла им господствовать. Так поступала любая подстрекательница к мести, от Электры до Коломбы, независимо от того, сознавала ли она собственное отчуждение, преувеличивая важность мужских качеств.

Многие знаменитые средневековые рассказы включают сюжеты о враждебных отношениях между двумя женщинами, борющимися меж собой. Такими в XIII в. окажутся Халльгерд и Бергтора в увлекательной, мрачной и огромной «Саге о сожженном Ньяле», то есть в более или менее воображаемом мире мести, который остается близким к миру «жест», несмотря на важное место, занимаемое в нем женщинами. Так, в хронике 1100 г., составленной Ордериком Виталием, упоминается, как мы видели, соперничество и даже взаимная ненависть Эльвизы д'Эврё и Изабеллы де Конш — последняя восседает на троне в большом зале и даже облачается в рыцарские доспехи^[923], чтобы бранить вассалов мужа до самого поля боя.

В XI и XII вв. подъем княжеских дворов происходил в обществе, где система родства по женской линии в сочетании с вотчинным характером власти уже дала женщинам из класса феодалов права и заботы, каких во всех обществах мести у них не было. Действительно, эта система, прочнее связывающая супругов, в большей степени поднимала даму до уровня

сеньора и поощряла наследование по прямой линии, даже когда у сеньора, феодала, после смерти не оставалось сыновей, а только дочери. Уже в обществе тысячного года фигура дамы и наследницы фьефа стала отчетливо заметной (порой из-за этого оказываясь под угрозой).

Дама могла получить настоящую власть над вассалами мужа, который возлагал на нее задачу обороны замков (как Конфолан, Тюренн), что подвергало ее всем опасностям феодальной войны и иногда навлекало на нее обвинения в адюльтере. Ее роль как хозяйки дома, бросавшаяся в глаза простым рыцарям во время придворных торжеств, могла лишь усиливаться по мере роста численности и важности дворов. Конечно, в XII в. известно мало графинь-прелюбодеек (и ни одной королевы, как бы Людовик VII ни ревновал Алиенору из-за ее кокетливого поведения в Антиохии), но все-таки Елизавета, жена Филиппа Фландрского, была застигнута на месте преступления с рыцарем Гареном де Фонтеном. Ее муж велел жестоко и позорно убить этого любовника, после чего родичи Гарена отыгрались на крестьянах Филиппа...^{924} Во всем этом ничего особо куртуазного нет.

Наследница отцовского фьефа прежде всего, чтобы обойти дядю или кузенов, нуждалась в поддержке какого-нибудь князя, вассалов и прежде всего мужа, который становился ее *служащим рыцарем* (*chevalier servant*) — защитником ее прав собственности, вооруженным вассалом, выполняющим от своего имени долг помощи и службы ей как сюзерену фьефа. В истории, а еще в большей степени в фамильных легендах феодальной Франции упоминается множество рыцарей, женившихся на прекрасных наследницах благодаря доблести и в награду за службу.

А укрепление княжеской власти в XII в. создавало тенденцию к повышению роли региональных князей или короля в устройстве браков знатных наследников и наследниц. Периодические придворные празднества, пышные и блестящие, конечно, давали возможность для организации таких браков в результате переговоров и сделок — несомненно, сложных, но детали таких сделок неизвестны.

Мы располагаем кое-какими косвенными данными, чтобы представить, какие тут могли возникать напряжения и противоречия, и разобраться в них поможет литературный вымысел. Прежде всего, на таких придворных собраниях могли встречаться рыцари из соседних регионов (иногда даже отдаленных), а также рыцари и благородные девицы — на глазах у королев и знатных дам^[236]. Все происходило так, как если бы рыцари и девицы хотели упредить решения родителей и властей относительно брака, заключая соглашения, «обручаясь» друг с другом (в таком «обручении» нет религиозного элемента) и обмениваясь подарками и условными знаками, как рыцарь-паломник брал с собой перчатки подруги, согласно Ордерiku Виталию^{925}. Подобное расхождение между выбором молодых и соображениями (более или менее рациональными) старших хорошо показаны в «Житии святого Арнульфа», где благородная девица пожелала отдаться рыцарю благочестивому, но слишком низкого происхождения на взгляд ее родителей^{926}. В том случае дело уладилось, хоть кое-кому и пришлось испытать горечь траура. Но подобные отношения (которые в литературе называются *druerie*) могут вылиться и в похищение, если семья возлюбленной хочет разлучить ее с другом сердца, лишить ее этого друга. И кому непонятно, что такое «похищение» имеет больше шансов на удачу, если молодая женщина — сообщница похитителя и желает, чтобы ее похитили?^{927} Но ведь она отдается во власть последнего, и не следует ли ей заранее убедиться в своем влиянии на него, хотя бы проверить силу и искренность его любви? Власть куртуазной возлюбленной — несомненно, всего лишь противовес, необходимый для устранения социологического неравновесия.

Далее, возможно, при таких дворах традиционно резкое социальное разделение ролей между мужчинами и женщинами могло оказаться под некоторой угрозой, но куртуазная любовь между свободными юношей и девушкой, вошедшими в брачный возраст, не слишком грозила подорвать основы; она могла стать сюжетом одной из тех обучающих игр, какие молодым предлагали наставники. И позволяла последним противопоставлять некий вдохновляющий образец тому вялому, изнеженному рыцарству, какое регулярно клеймили моралисты, а также запрещать дамам играть в амазонок на манер Изабеллы де Конш^[928]. Ведь преимущество отношений типа *druerie* заключалось в том, что они вырывали дам и мужчин из подобного упадка (Кретъен де Труа употребит слово *recreance* [воссоздание]), напоминая им о рыцарских качествах. Чтобы стимулировать рыцарей, к желанию понравиться сердечной подруге можно было добавлять желание стать достойным предков или заменять первое вторым. И эта система давала рыцарям преимущество в соперничестве со сбившимися с пути клириками, с фатоватыми монахами вроде того, с каким однажды столкнулся Вильгельм Маршал, с удовольствием проучив его^[929]. Кроме того, молодые рыцари-наемники («башелье», как скажут в XII в.) жаждали славы и приобретений, прежде всего денег, и такая любовь вполне годилась, чтобы прятать, буквально маскировать корыстные интересы.

Предоставив рыцарям и девицам инициативу в выборе *drueries*, литературная модель куртуазной любви, как и литературная модель эпической мести, придала радикальный и систематичный характер всего лишь одной из многих тенденций или даже просто одному из желаний аристократии XII в. За легкостью, спонтанностью, с какой возникали *drueries*, крылись сложные реалии, прежде всего роль князей и королей как организаторов браков знати благодаря растущей власти — пусть даже власть монархов не всегда была безраздельной и могла терпеть неудачи. Реальностью было также честолюбие, жажда денег и самоутверждения у юноши вроде Вильгельма Маршала, чья «История», может быть, и умалчивает о какой-нибудь галантной интриге, но вполне наглядно показывает, какие игры велись в окружении князя, если кто-то хотел добиться руки знатной наследницы. Даже если незаметно, чтобы он «ухаживал» за первой невестой или за девицей из замка Стригойл, на которой женился, мы вполне можем догадаться, что могла значить такая модель, как куртуазная любовь, для его социального положения: ведь это была идеология высших сфер. Литература XII в. представляет людей почти одномерными, с одной-единственной доминирующей ценностью: в феодальной сфере этой ценностью оставалась месть, в куртуазном мире — любовь. Разве в реальности не князь был прежде всего заинтересован, чтобы его рыцари были настоящими? В красивой сказке этого желали прежде всего молодые женщины и в награду получали таких рыцарей.

Модель куртуазной любви облагораживала рыцарей, отличающихся в играх и подвигах. В романах Кретъена де Труа они, вместо того чтобы брать выкуп с побежденных, предпочитали использовать их по-новому — посылать к подруге как свидетелей и трофеи своих побед, дабы она могла изящно их помиловать. Как бы то ни было, она не изменит своему рыцарю^[237], она связана с ним узами, которые, сколь бы мирскими и игровыми они ни были, тем не менее напоминают христианский брак — во всяком случае у Кретъена де Труа, потому что в «Романе о Трое» Бенедикт де Сент-Мора они слабее, а в некоторых из Марии Французской — сложнее^[238].

Таким образом, в античных и артуровских романах претенденты на любовь одной и той же женщины не сражаются между собой, чтобы завоевать ее, — что могло бы сделать бои в этих романах более ожесточенными. Здесь каждый сражается ради собственной славы и славы подруги, — что обычно способствует зрелищности сражения и допускает взаимное

милосердие противников и сговор между ними. А вопрос об истоках куртуазной литературы можно было бы в конечном счете поставить заново и дать на него ответ, противоположный тому, какой давали мечтатели XIX в. Не куртуазная любовь, доминирующая в реальной жизни, смягчила феодальную войну, а скорее рыцарская мутация XI в., приведшая к смягчению войн, сочла нужным, отразившись в литературе, опереться на тему любви.

Но, чтобы остаться благородной, этой любви следовало быть добровольной и смелой. Для нее допустимо при случае бросить вызов каким-то феодальным и христианским нормам. Вот почему заметна некоторая склонность к адюльтеру с дамой, с королевой. Куртуазное общество словно бы играло с огнем. Не грозил ли в таком случае куртуазной любви, как это уже случилось с феодальной местью, недуг роковой неумеренности, способный обезоружить Ланселота и Тристана? Неоднозначность — признак большой литературы.

ДЕБЮТ В БРИТАНИИ

Куртуазная любовь и изысканная война смогли найти себе путь не во франкском прошлом, не в мифологии неотомщенных графов и не в атмосфере библейского христианства. Им надо было проложить новую дорогу и найти себе оригинальное пространство, подходящее место. Не могло ли рыцарство со вселенскими амбициями, летящее на собственных крыльях, найти путь и на греческий Восток, и в Британию легенд?

«Любовь-соревнование» (*amour emulation*), как ее хорошо охарактеризовал Рето Беццола, впервые возникла под пером Гальфрида Монмутского, британского клирика, имевшего высокий ранг^[239] и, несомненно, валлийских предков. Его «История королей Британии», датируемая 1138 г., имела огромный успех. Это историко-мифологическое произведение на латыни, какие раннему Средневековью были известны и раньше: разве тему троянского происхождения и реванша над римлянами автор позаимствовал не из франкских преданий?

Такой реванш стал делом рук британского короля — Артура, сына Утера, которому Гальфрид Монмутский посвятил раздел своей «Истории». Эта книга заново возвеличивает кельтское прошлое великого острова в пику саксам, а может быть, имея в виду и других захватчиков... так что в освобождении Галлии-Франции, угнетаемой римлянами, есть и нечто вроде реванша за Гастингс, придуманного через шестьдесят лет британским клириком. В результате возникает произведение, оригинальное по содержанию, даже если его жанр — вполне знакомая легендарная история королей или князей, как появившаяся тогда же «История графов Анжуйских». В каждом поколении можно отметить доблесть, справедливость, блеск какого-нибудь монарха, и король Артур Гальфрида Монмутского одновременно смел и куртуазен.

Король Артур — соперник Вильгельма Завоевателя. Неисчерпаемая щедрость делает его таким же охотником за благородными головами. Его двор пользуется всемирной славой. Пользуясь долгим (двенадцатилетним) миром, он делает этот двор еще ярче, приглашая «кое-каких доблестнейших мужей из дальних королевств». В других местах пытаются с ним сравняться, повсюду любой знатный человек «почитал себя за ничто, если не обладал платьем, доспехами и вооружением точно такими же, как у окружавших названного короля»^[930]. И Гальфрид Монмутский умел описать пышность этого двора, его привлекательность и страх, какой тот внушал другим королевствам. На Троицу устраивались месса, пир и игры. Сеньоры и дамы ели отдельно — таков был «древний обычай», более нравственный. Тем не менее женщины «удостаивали своей любовью только того, кто в воинских состязаниях не менее, чем трижды, выходил победителем». В самом деле, «с зубцов крепостных стен» они смотрели на «конную потеху», распалывшую их чувства к рыцарям. Однако трижды — это много: «По этой причине всякая женщина была целомудренна, а стремление рыцаря внушить ей любовь побуждало его к наивысшему душевному благородству»^[931]. То есть идея куртуазной любви очень нравоучительна — она здесь служит противоядием потенциальному развращению придворных нравов.

На самом деле этот штрих здесь единичен. Дальнейшее не сводится ни к описаниям игр, ни к превознесению власти дам. В «Истории» Гальфрида Монмутского придворный праздник на Троицу — не более чем повод подготовиться к войне с Римом. Нет ни круглого стола, ни индивидуальных приключений рыцарей. Герои — это короли. В атмосфере, близкой к атмосфере эпопеи, один король (Утер) захватывает жену одного из вассалов, другой (Артур) устраивает крестовый поход против шотландцев в ответ на призыв архиепископа^[932], а потом сходит в решающей поединке с римским трибуном Флоллоном (убивая его на

некоем острове на Сене своим добрым мечом «Калибурном» — Эскалибуром) и дает римлянам кровавое сражение. Можно было бы считать все это «жестой», и из числа самых воинственных, потому что при дворе Артура не происходит даже спора между «голубями» и «ястребами». Предвидя перспективу войны, герцог Кадор шумно радуется. Он опасается, как бы долгий мир не сделал бриттов трусами, не подорвал бы их воинской репутации. Ведь, в конечном счете, «где оружие отложено в сторону и ржавеет, но в ходу такие утехи, как кости, пылкие увлечения женщинами и прочее в этом же роде, там, без сомнения, праздность неминуемо запятнает то, что почиталось доблестью, честью, отвагой и славой»^[933]. Как вернуть бриттам воинскую доблесть и честь? Герцог Кадор не видит иного средства, кроме войны, и никто ему не возражает. Никто не берет под защиту *drueries* с предыдущей страницы. Далее эта «История» продолжается почти как «жеста», где король должен быть столь же храбр, как его герцоги и графы^[240]. И конец у нее мрачный и кровавый: в результате войн с римлянами, саксами, мятежным вассалом Модредом Артур и его люди гибнут.

Современники не слишком верили в эти сказки о бриттах, но любили их. Они так ими увлекались, что в 1155 г. «История» Гальфрида Монмутского была переведена на французский (романский) язык нормандским клириком Васом — получился «Роман о Бруте». В целом он близок к оригинальному тексту, но его короткие стихотворные строки звучат живей, зрелищу придворного праздника на Троицу он придает больше веселья и блеска. То здесь, то там он добавляет какой-нибудь дополнительный штрих. Если рыцари идут из церкви в церковь, то не только затем, чтобы насладиться красотами христианской литургии, но и затем, чтобы посмотреть на дам. Вас усиливает и щедроты Артура, то есть вознаграждение за рыцарские подвиги. Он обходится без рассуждения о жертвенной гибели в крестовом походе, которое есть в «Истории» Гальфрида Монмутского. Его король Артур в итоге даже не умирает, он просто исчезает — и больше ничего не нужно, чтобы пробуждать воображение читателей и новых авторов. С другой стороны, Вас привносит гениальную идею — король у него учреждает Круглый стол, очень полезный, чтобы компенсировать избыточный дух соперничества, который он привил своему двору. «Для благородных баронов, окружавших его, из каковых каждый считал себя лучшим, чем другие (и никто бы не мог сказать, кто худший), Артур и создал Круглый стол, о котором бритты сложили немало историй. Рыцари (*vassal*) занимали за ним совершенно равные места»^[934]. Никто не имел лучшего места, чем другой, и никого не обслуживали лучше: это по-настоящему были *пэры* [равные], и никаких споров о первенстве, портивших праздники при дворах графов Фландрских и Булонских, не было^{[935] [241]}.

Согласно Гальфриду Монмутскому, герцог Кадор радуется, что сам Бог разжег гнев римлян, чтобы вынудить бриттов совершать подвиги^[936]. И у Васа герцог заключает речь высказыванием в пользу сопротивления, достойным Бертрана де Борна: «Я никогда не люблю долгий мир»^[937]. Но здесь Говен, племянника короля Артура, подает реплику, имеющую противоположный смысл: «Сир граф, право, вы зря волнуетесь. После войны мир хорош, мирная земля лишь прекрасней и лучше. Как раз тогда он годится, чтобы развлекаться и влюбляться, и чтобы из любви к подругам рыцари совершали рыцарские подвиги»^[938].

Итак, можно избавиться от бремени чести предков, от заботы о том, как бы не выродиться, и, словно играючи, выковать собственную судьбу? Устами Говена Вас становится глашатаем некоего нового рыцарства. Это оно устраивает и посещает турниры и придворные праздники в промежутках между войнами князей; это о нем «Песнь о Вильгельме Маршале» дает представление — несомненно, слегка приукрашенное или стилизованное, но все-таки, пожалуй, реалистичное и историчное.

Круглый стол избавляет артуровский мир от феодальных конфликтов, от войн между родами^[242]. Больше всего пользы из этих «романов», впрочем, не признавая этого открыто, между 1170 и 1185 гг. извлечет Кретьен де Труа. У него классическое рыцарство обретет литературное признание.

Но вдохновили его не только артуровские перипетии. Куртуазная любовь и изысканное рыцарство проложили для себя путь еще и через три больших античных «романа». Это творения клириков, живших щедротами Плантагенетов и в атмосфере их дворов. Они предприняли переводы в форме *романов*, то есть переводы на романский, французский язык, великих книг, по которым тогда была известна Античность, для рыцарей, с которыми они общались, которыми восхищались, которых при случае журили и с которыми разделяли, по меньшей мере отчасти, игры и заботы. Эти «переводы» — и в самом деле отчасти «предательства»: в них наличествуют избирательность, адаптация, при надобности упрощение. Все, что нужно для того, чтобы мы увидели в них оригинальные произведения.

КРЮК ЧЕРЕЗ ФИВЫ И ТРОЮ

«Роман о Фивах» (около 1150), «Роман об Энее» (около 1160), «Роман о Трое» (1165, Бенедикт де Сент-Мор) повествуют о героических битвах, кровавых и изнурительных, на основе античного эпоса. Но они сильно отличаются от «жест». Написанные восьмисложным или десятисложным стихом, они уже ближе к прозе. Созданные для чтения, они не рассчитаны на устное исполнение и на то, чтобы производить сильное впечатление при декламации. Это продолжительные и связные рассказы, в духе своих источников. И чтобы вернее довести сюжетные линии до конца, их авторы даже меняют античную интригу, убирают некоторые сложности и отступления и создают новые связи. Можно удивиться или вознегодовать, увидев одежду и доспехи рыцарей XII в. на античных героях — Ахилле, Энее или Этеокле и Полинике, которым отказ от их богов, причем не компенсированный обращением в христианство, придал весьма мирской характер. Можно счесть, что свобода обращения переработчиков с материалом была сильно ограничена и что, когда они там и сям вставляют в греко-римский эпос диалоги и поступки, достойные «Церковной истории» Ордерика Виталия, это создает дисгармонию и беспорядок. Тем не менее это был настоящий творческий процесс, дававший иногда и возможность высказывать особые мнения, каких мы не встретим в других местах. Пробежимся по этим романам, начав с самого раннего — «перевода» «Фиваиды» Стация.

У сервов короля Лая не каменное сердце или, скорей, у них нет радикальной решимости сенешаля, служившего Жирану Руссильонскому. Из-за знаменитого и верного предсказания «сира Аполлона» король велит им убить младенца Эдипа. А они позволяют себе растрогаться от его улыбки, оставляя его в живых. И вот во время охоты его находит король города Арк, «сир Полиб». Он берет ребенка к себе, учит обращаться с копьем, имеющим тяжелый наконечник, а также с посткаролингским мечом, и в пятнадцать лет посвящает его в рыцари. Теперь Полиб может «оставить ему свою землю, а также доверить своих рыцарей»^[939]. Эдип начинает участвовать в турнирах с таким же пылом, как Вильгельм Маршал, и приобретает громкое имя. Не надо думать, что перед сфинксом, «этим дьяволом, убивающим знатных мужей», он стоит совсем обнаженный, как на картине Энгра. Нет, солнечный свет падает здесь не на кожу его бедра или ляжки, а на металл кольчуги. Он выслушивает загадку «в полном вооружении, восседая на быстром боевом коне»^[940]. Даме Иокасте он открыто говорит в большом зале Фив, что убил ее мужа, а потом предлагает компенсацию, «законный залог» по феодальному обычаю. Но в конечном счете она предпочитает выйти за него замуж, поскольку выполняет пожелание своих баронов, вальвассоров и буржуа, «ибо мы не можем найти никого лучшего, — говорят они ей, — чтобы защитить фьеф». Разве в Средние века служащий рыцарь не мог так же служить матери, как и жене? Кровосмешение не отрицается, но тому, как оно раскрылось позже, посвящено всего несколько строк. Все это было не более чем начальной вставкой к «Фиваиде» Стация, дописанной в расчете на французских рыцарей 1150 г., которые априори знали о бремени, лежавшем на роде Этеокла и Полиника, меньше, чем римляне. Если оба этих короля-рыцаря, братья-враги, и отличаются необузданностью, достойной Рауля Камбрейского, то это следствие не гипертрофии сердечной мышцы, а противоестественных брачных союзов, какие заключили они оба. Однако, благодаря небесам, ничто подобное не пятнает чисто французскую красоту и куртуазность обеих их сестер, Антигоны и Исмены.

Франция XII в. уже хвалилась тем, что обучит рыцарству сына Усамы, а теперь она беззастенчиво захватила воображаемую Античность, от Эдипа до Энея. Или, скорей, выбрала

из нее, чтобы колонизировать, часть, наиболее близкую своим вкусам, или просто-напросто ту, которая попала в ее распоряжение, то есть не трагедии Софокла и Эсхила об Эдипе или «Семерых против Фив», а «Фиваиду» Стация, латинскую эпопею I в., и не «Илиаду», а поздние сокращенные рассказы Диктиса и Дарета о Троянской войне. В этих произведениях любовь понемногу начала брать верх над войной: у Исмены Стация есть возлюбленный, Атис, чью смерть она может оплакивать, тогда как Ахилл до такой степени влюбляется в троянку Поликсену, что желает остановить войну. Что касается «Энеиды», напомним, что Вергилий шире развил тему страсти Дидоны к Энею, чем гомеровские поэмы — сюжеты о любви героев к супругам, рабыням или об их эпизодических увлечениях.

Авторы античных романов французского XII в. перерабатывают этот эпический материал, делая купюры, упрощения или добавления. Первыми страдают экскурсы в мир языческих богов и мифов, от них там и сям остается лишь забавный штрих по последней моде: Венера передала Марсу стяг «*pour druerie quant il devint premier s'amie*» (в знак куртуазной любви, когда она становится его подругой), а расшит этот стяг, как знамя Фландрии^[941]. Упрощения в сюжет, в том числе «Энеиды», вносятся в случаях, когда они не идут в ущерб занимательности чтения. Зато добавления, пожалуй, угрожают единству тональности, потому что в изобилии привносят пышность и веселье. Это описания повозок, оружия, знамен, уборов, королевских шатров, самих городов. В результате Троя становится настоящим городом чудес, ее создатели изобретательны во всем, что нравится дворам, — это игры в шахматы, в кости, в триктрак^[942], и временами шум и ярость боев как бы расплываются в дымке. И если в «Фиваиде» Стация поступок Иокасты, совершённый с тем, чтобы добиться мира между сыновьями, берет за душу и впечатляет благодаря сдержанности авторских средств, то «Роман о Фивах» превращает его едва ли не в светскую прогулку. У Стация царица шла, умоляя, с открытой грудью, с потерянным взглядом, здесь же она является при всем параде, и ее сын Полиник как истый *джентльмен* подает ей руку, помогая спуститься с парадного коня. Главное, ее дочери, следующие за ней, неотразимо очаровательны. Читая об Антигоне, которая одета в индийские шелка прямо на голое тело и у которой плаще расходящимися лапами не должен приоткрывать ногу, когда она сидит в седле, меньше всего думаешь о драме братоубийственных боев. Она сама смеется и шутит вместе с сестрой и всем обществом. Неудивительно, что на нее обратил внимание рыцарь из вражеского лагеря, Партенопей! Он сразу же просит ее стать ему подругой, и она благосклонно соглашается, потому что он знатен и потому что это означает помолвку. Трагические призывы к миру здесь заменила феодальная беседа о чистых и высоких материях. А тем временем «башелье, наемники по-прежнему флиртуют и молят Бога, чтобы соглашение никогда не устроилось, пока на глазах юных дев не опустеют седла»^[943]. И никто никого не убивает? На миг хочется в это поверить.

Французские романы вводят двойную дозу любовных интриг по сравнению с римскими поэмами. К *druerie* Исмены с Атисом добавляется *druerie* Антигоны и Партенопея, которого в боях она сможет узнавать по павлиньему хвосту на шлеме.

Сам король, Этеокл, хоть он несправедлив к брату и угрожает нарушить права вассалов, тем не менее имеет подругу, Галатею, и ему приходит в голову прекрасная мысль изобразить на щите ее ноги, в «шутку» (*gaberie*)^[944] — за неимением герба. Увы, в поэме Стация все эти прекрасные рыцари гибнут, и хоть Франция XII в. смогла дать им свои доспехи и свою галантность, посвятить их в рыцари на свой лад, она не может изменить их судьбы! Даже в «Романе о Фивах» у обеих куртуазных молодых пар не слишком много времени, чтобы предаваться влюбленности и разыгрывать сцены в духе Мариво. Развитие подобных линий

можно найти, скорей, в «Энее», средневековый «переводчик» которого ввел в эпилог, в качестве контрапункта к начальному эпизоду с Дидоной, куртуазную интригу Энея с юной Лавинией. Под конец герой на Лавинии женится, но перед тем заставляет ее повздыхать и задаться вопросом, действительно ли он любит женщин — для XII в. вопрос не слишком обычный. Впрочем, Энея, предка римлян, а не франков, автор развенчивает в пассаже, когда тот в разговоре с Дидоной начинает рассказ о падении Трои: «Он немного приукрашивал события, чтобы не опозориться и чтобы не сказали, что он бежал из трусости»^[945]. Так что этот французский перевод его не возвысил!

Что касается Бенедикта де Сент-Мора, тот в своем «Романе о Трое» принизил Ахилла, поскольку тот для убийства Гектора идет на подлость. А как бы иначе этот «смерд» (*culverz*, серв) мог убить «лучшего рыцаря в мире»^[243]? И Бенедикт, прежде чем вернуться к любви Ахилла к Поликсене, успевает развить две любовных линии, каких прежде не было: любви Бризеиды к троянцу Троилу, а потом, когда ее вернули отцу, находящемуся в рядах греков, — ее любви к одному из последних, Диомеду. Значит, одну *druerie* можно забыть ради другой. Офранцуженная женщина здесь не безутешна, смена мужчин у нее вызывает лишь ряд приятных мыслей.

Могут ли столь деликатно-изысканные создания сосуществовать в одном и том же романе с воинским остервенением, с беспощадной борьбой не на жизнь, а на смерть? Здесь, несомненно, слабое место этих романов. Автор «Романа о Фивах», похоже, из всех трех наиболее склонен вносить в греческую войну элементы рыцарской мутации. Вот рыцарь Алексей; он видит, как перед одними из семи ворот города убивают коней, и слышит, как пехотинцы подшучивают над этим. И тут вовсю дохнуло классово-рыцарской борьбой: «Бей пехоту, — говорит он, — никаких поединков, и не трогать ни одного рыцаря»^[946]. Пленных брать не будут, и сброд (использовано это слово: *racaille*) перестанет убивать наших коней. Однако один неприятельский рыцарь, у которого есть лишь копье и щит (то есть ни меча, ни кольчуги), «пылко бросается в бой и обращает на себя внимание»^[947]. Но греки избегают схватки с ним, они опасаются его убить — настолько плохо он защищен. Ведь, в конце концов, рыцарский бой — не резня! Что же делать? Алексею приходит в голову остроумная мысль, достойная француза. Благородному сорвиголове наносят удары прутьями, как школяру, а не мечом. От них он, возможно, потеряет лицо, но не жизнь. Фарс воистину хорош и был бы достоин персонажа Ордерика Виталия! И этот фарс «не одному рыцарю внушил больше зависти, чем рыцарство»^[948] (в смысле — боевой подвиг).

К сожалению, и при самых лучших намерениях не всегда просто добиться, чтобы благородные мужи не убивали друг друга, и чтобы дамы не плакали, и чтобы не возникала смертельная ненависть. Возьмите грубого, верного и доблестного Тидея, друга Полиника и противника юного Атиса — последний сражается на стороне Этеокла из любви к его сестре Йемене. Влюбленный в Йемену, Атис выглядит браво: надо его видеть на кастильском коне, опоясанным мечом, со щитом на шее. Возможно, он слишком хорошо это знает и чересчур поддается искушению пощеголять. «В одном я нахожу его безумным», — отмечает автор: действительно, «совершив множество рыцарских подвигов, он безрассудно сбросил кольчугу, желая выйти на поле боя и объехать его, чтобы вызвать восхищение»^[949] (зрелищем своего торса); он по легкомыслию считал, что находится во Франции XII в.! Тидей при виде этого считает долгом его спровоцировать, остеречь, советует ему, с долей снисходительности, отправиться «в покои» (чтобы любезничать) и хочет слегка проучить своей крепкой рукой, как в другом случае Алексей проучил фиванца. Он наносит удар, рассчитывая пробить только щит Атиса, но, увы, удар оказывается смертельным. Тидей

искренне расстроен, с досады он бросает копье и отпускает коня. Умиравший юноша успевает простить его, назвать «другом», доверив ему заботы о своем прахе, заявить об удовлетворенности тем, что убит достойным человеком («цветом рыцарства»). Взаимное уважение противников не было чуждо и «жестам», но здесь оно обретает новую силу.

Между тем Йемена и Антигона далеки от того, чтобы чувствовать себя безутешными героинями античной трагедии, «белыми вдовами»^[244]. Объезжая Фивы, они полюбовались подвигами Атиса, а потом потеряли его из виду, следя за подвигами Партенопей, за которым тянется и его павлиний хвост, и сердце старшей. «Они шутят и смеются, говоря о друзьях, они ссорятся из-за их подвигов, ибо каждая полагает, что избрала лучшего, по меньшей мере надеясь на это»^[950]. Каждая из них отдала другу рукав. И тем суровой будет траур, потому что любовь Исмены «не была игрой». Как знатная дама XII в. она избирает стезю монахини и убеждает короля — своего брата основать женское аббатство, где будут молиться за душу Атиса, погибшего у него на службе^[951].

Однако оказывала ли она умиротворяющее влияние на характер возлюбленного — она, о которой сказано, что зрелище, как он убивает врагов в бою, возбуждало у нее желание возлечь с ним?^[245] Ее чувства здесь вполне гармонируют с интересами ее брата-короля.

Поскольку Фивы — не Таншбре, едва ли возможно избежать несчастных случаев, когда вступаешь в бой с изяществом турнирного бойца. Однако другой юный павлин, Партенопей, немногим позже погибает в результате настоящего предательства. На сей раз это следствие пари, где соперники демонстрируют храбрость: Этеокл похвастался новой подруге, Саламандре, что сразится в поединке без кольчуги с двумя соратниками. Против него выезжает Партенопей и его приближенный, тоже едва прикрытые доспехами. Король считает нужным поставить рядом с собой одного из соратников — «дуэль» два на два. Впрочем, Партенопей, который более ловок, чем Тидей, удаётся сбить с ног короля вместе с конем, не ранив его, в то время как его собственный соратник попадает в плен. Все прошло бы хорошо, если бы внезапно в бой не вступил третий боец, по имени Дриас, и не убил бы Партенопей, совершив «великое злодеяние»^[952].

Притом в «Фиваиде» Стация^[953] грозный Дриас сразил Партенопей в результате долгой битвы, чрезвычайно кровавой и устрашающей, и тот пал не от нежданного удара, а потому, что был измучен, любил же он только мать и друга.

Итак, оба этих рассказа о гибели молодых рыцарей сильно изменены по сравнению с античным первоисточником. Ни Гомеру, ни Стацию не было нужды в таком повороте сюжета, когда бы их персонажи пренебрегли ношением доспеха и потому дали себя убить. Да, бывало, что и античная эпопея отражала аристократические ценности, в том числе и уважение врагов друг к другу, включавшее толику сострадания. Но от столь изысканных и утонченных материй, правил поведения она была очень далека. В сравнении с «подобием рыцарства» (похожим на древнегерманское) в архаической Греции или со стилизацией под языческие эпопеи средневековое рыцарство предстает чрезмерно фетишистским, оно переоценивает знаки (эмблемы) и придает очень большое значение деталям поведения.

Автор «Романа о Фивах», избавленный от бремени почитания языческих богов и обычаев и христианизировавший героев только в очень поверхностной (и анахроничной) форме, в большей мере выдвигает на первый план человеческое начало, чем Стаций. И я, чей склад ума в той же мере социологичен, как и его — применительно к Франции того времени, вижу в нем только Ордерика Виталия.

Как и последний, он показывает факторы (или изначальные черты), побуждающие «рыцарство» щадить благородную кровь. Это кольчуга и классовая общность. Только

христианский фактор не дает о себе знать — что и понятно!

Убийца Партенопей бежит из страха, что его повесят. И король может искренне оплакивать смерть противника: «Это был мой друг, я собирался отдать ему сестру»^[954]. Прежде чем умереть, сам Партенопей уверяет: «Я бы смирил бури этой войны, если бы попал в плен, не получив смертельной раны»^[955]. Модификации, сделанные в «Фиваиде» Стация, по-настоящему характерны для феодальной войны и классического рыцарства.

Это не значит, что сквозь бреши, проделанные в поэме Стация, в нее хлынула вся рыцарская мутация. В сражении слишком много погибших, чтобы оно было по-настоящему похоже на бой при Бремюле. Тем не менее хватает и пленных, и очень заметны сделки между противниками — соглашения и даже переходы в другой лагерь.

Вот, например, битва, в которой старый король Адраст, союзник Полиника, старается показать, что ни в чем не уступает более молодым. Гордыня побуждает его броситься в погоню за фиванцами, многих убить, и каким бы зрелищем это было, если бы не мешала сутолока! «Это-то и препятствует им более всего, ибо в этой битве (*tornei*) масса участников столь плотна, что невозможно устроить ни одного боя (*jouste*), каковой принес бы воину честь и славу или выделил его из числа прочих»^[956]. В самом деле, каждому «играть за себя» невозможно, потому что от одного выстрела лучников кони валятся грудями. Однако, по-видимому, лучники получили такой же приказ, как при Шомоне-ан-Вексен (1098) или при Бремюле (1119), коль скоро не целились в благородных всадников. Тем не менее понятно, что дротики и стрелы ограничивают резвость последних, и король заключает с осажденными соглашение: отныне любой сможет «идти в атаку верхом в полной безопасности, не опасаясь более лучников»^[957].

В полной безопасности? В конечном счете потери фиванцев соизмеримы с потерями, описанными в «жестах», и «Роман о Фивах» можно было бы поставить в ряд неоднозначных текстов, изображающих благородно-неистовых воинов, — наряду с «Песнью о Рауле Камбрейском». Разве Тидей не отличается грубой отвагой Роланда? Роман неявно признает за ним такую отвагу, ведь он выбрался живым из засады, когда оказался один против пятидесяти.

Такое произведение, как «Роман о Фивах», богатством содержания обязано полю разнонаправленных напряжений, в котором существует: автор колеблется между верностью Стацию и стремлением к новизне, между склонностями к эпичности и к куртуазности. Так и другая по-своему ведут его к некоему реализму. Как в «Песни о Жираре Руссильонском», в нем есть сцены и диалоги, выявляющие подноготную событий. Такова сцена, где два рыцаря, находящиеся на службе Этеокла, получают возможность взять в плен Полиника. Здесь автор дает понять, не слишком завуалированно и не единственный раз, что Этеокл как сеньор ревнив к славе вассалов^[958] и последние питают к нему злобу из-за отнятых замков. Поэтому они делают вывод, что им не очень выгодно выдавать этого князя его брату-врагу — ведь тогда у последнего отпадет надобность опираться на своих рыцарей для борьбы с братом, и обращаться с ними он будет еще хуже: «Он станет столь жесток и надменен, что лучшего мужа своего королевства будет ценить ниже женщины»^[959]. Следует ли полагать, что в 1124 г. такие же мысли, в связи с результатами боя при Бургтерульде, возникли у рыцаря, который не выдал Галерана де Мёлана собственному сеньору — королю Генриху?^[960] Тем не менее оба рыцаря, совершая подобную измену, сумели сохранить видимость приличий. Когда Полиник предлагает им изрядный выкуп, они отказываются, потому что он в конце концов тоже их сеньор^[246].

«Роман о Фивах» очень хорошо показывает, как рыцарская обходительность в

отношениях между воинами может сочетаться со стараниями переманить вассалов противника на свою сторону. Так, Полиник берет в плен юного, недавно посвященного в рыцари сына Дайреса Рыжего, стража одной из фиванских башен, обращается с ним хорошо и выпускает под честное слово — оговорив, в последующих стихах, что тот должен добиться от отца сдачи башни. Вот почему юноша внушает родителям, что с ним обращались по-настоящему дурно и пришлось выбирать между предательством отца и пыткой. После этого благородный и мудрый, знакомый с судопроизводством Дайрес Рыжий начинает выкручиваться, — то есть выдавать измену сына за простительный поступок. На его процессе (в описании которого не обошлось без вставок XIII в.) члены рода, защищающие его, спорят с законниками, которые его обвиняют. Наконец Иокаста предупреждает своего сына Этеокла о возможной мести со стороны родичей Дайреса Рыжего, если он предаст того смерти, и к тому же Антигона представляет ему дочь Дайреса, которая отзывается на благозвучное имя Саламандра. Она столь прекрасна в слезах, что герой просит ее любви и взамен добивается помилования Дайреса^{961}...

Только Креон брюзжит в Фивах, что Этеоклу следовало бы не миловать преступника из-за девицы (*meschine*), а блюсти права баронства. Но красноречивый Отон возражает ему, что «этак тот не вступит на землю любви и рыцарства», то есть Креон поступает вразрез с ценностями куртуазии и молодости (*bachelterie*), которым предан Этеокл^{962}.

Наиболее точный вывод, какой можно сделать, состоит в том, что в основе «Романа о Фивах» еще лежат одновременно две системы ценностей: эпическое понятие о чести, опора статуса рыцарей, и куртуазное изящество, которое становится рыцарским идеалом. Через двадцать лет восторгается лишь второе — в восхитительных романах Кретьена де Труа (1170–1185).

Это настоящий автор, называющий свое имя в начале произведений — пусть даже его личность остается для нас почти неизвестной. Был ли он каноником в Труа? Знал ли двор Плантагенетов? То и другое возможно, но не факт. Так или иначе, он работал для графини Марии Шампанской, а потом — для графа Филиппа Фландрского. Он заплатил дань многим произведениям предшествующих авторов (античным и бретонским романам) и на некоторые отреагировал (например, на «Тристана»). У него куртуазная любовь-соперничество окончательно заняла свое место, сочетаясь с юным и непосредственным пылом Эрека либо окрашиваясь в цвета феодальной легенды (в «Рыцаре со львом»), пока Ланселот и Персеваль не вывели читателя на новые пути. И если удар оружием по-прежнему оставался тяжелым, иногда смертельным, то больше не приходилось опасаться, что подвиги рыцарей затеряются в сутолоке боя или что всадников выбьют из седел лучники, потому что действие происходило уже не на войне, а на путях, усеянных только поединками и испытаниями, на дорогах между дворами и турнирами. Эрих Ауэрбах превосходно определил этот мир как «чудесный рыцарский мир, специально созданный для преодоления опасностей»^[963], — но, возможно, слишком идеализировал его. Во всяком случае артуровское королевство, где происходят рыцарские приключения, избавлено от бремени истории и войны (кроме начала «Клижеса»), что было бы немыслимо во Франкском королевстве «жест».

Написанные между 1170 и 1183 гг., произведения Кретьена де Труа — не отображение и даже не близкий отблеск мира Вильгельма Маршала. Не то чтобы автор вовсе воздерживался от упоминания любых дворов и турниров, но упоминает их он довольно бегло, не вдаваясь в глубокий анализ отношений в обществе и перипетий событий. Он слишком занят тем, чтобы следить за изгибами пути отдельных рыцарей, уточнять направление и дальность этого пути, вникать в отношения героев с теми или иными дамами и собратями-рыцарями. Прежде всего, Кретьен де Труа ничего не говорит о политике и о правлении королей. Он довольствуется упоминаниями о короле Артуре, который осыпает рыцарей щедротами и в принципе задает тон их действиям. Но эта царственная фигура в конечном счете остается условной и бледной. Артур быстро начинает ощущать трудности, неспособен ни в чем отказать своему сенешалю Кею, выдвигающему злополучные инициативы, очень мало беспокоится за свою жену, королеву Геньевру. Его затмевают как рыцари, чьими именами либо эмблемами названы романы (Эрек, Рыцарь со львом и Рыцарь телеги), так и Говен, воплощающий при его дворе эталон куртуазного рыцаря. То есть король имеет здесь не больше власти, чем в «жестах» — и намного меньше, чем в реальной истории XII в. Оба этих великих вымысла, эпический и романский, которые тогда нравились рыцарям, избавляют их от монарха или, скорее, ставят его в зависимость от них...

У Кретьена де Труа даже круглый стол, придуманный Васом, бессмыслен, потому что не имеет функции: ни одна реальная ссора не раскалывает артуровский двор на клики, и если хочешь увидеть, как сбор вокруг этого стола снимает напряжения, будешь сильно разочарован. По-настоящему создают проблемы либо вызовы из внешнего мира, либо отлучки рыцарей, либо, наконец, неосторожные поступки Кея. Угрозу размолвок, которой чреват обычай Белого Оленя, автор, как мы увидим, едва успевает упомянуть: появление очаровательной Эниды очень быстро восстанавливает согласие, мир и благодать. К тому же, чтобы это состояние продлилось, похоже, нет нужды и в религиозных проповедях.

Итак, Кретьен де Труа — не политический мыслитель, и в его творчестве не отражен никакой феодальный конфликт. Это не мешает ему на свой лад свидетельствовать о

некоторых ситуациях и социальных напряжениях. Если его мир избавлен от всякого неприятного присутствия подневольных и грязных крестьян, он не исключает возможности воспеть богатство замка или города с его буржуа, упомянуть о бедности какого-нибудь вальвассора, — но без дурного умысла, то есть думая лишь о развитии интриги и действиях благородных героев, для которых иногда требуются декорация и второстепенные персонажи, оттеняющие достоинства главных. А главное, мораль, какую он высказывает или иллюстрирует, в социальном отношении всегда абсолютно безобидна. Но разве не возникла она в нужном месте и в нужный исторический момент — во французском Лангедойле, где как раз завершалась рыцарская мутация, за которой на самом деле крылись более тревожные перемены?

Этот автор немного напоминает Филиппа де Монгардена, наставника юного Арнульфа Гинского^[1964]. Свои истории он рассказывает как бы для собственного удовольствия, не слишком принимая их всерьез. Он пишет не историю, а сказки — это он понимает лучше, чем кто-либо, и периодически иронизирует над созданиями и обстоятельствами, которые выдумал сам. Однако, как и во многих других случаях, на кону в этих играх стоит серьезная ставка, они дают повод к размышлениям и заключают в себе уроки — здесь есть о чем подумать, и, возможно, не раз^[247]. Ибо мораль Кретьена де Труа с самого начала, то есть со времен «Эрека», была конформистской. Куртуазная любовь здесь дана в том самом регулирующем смысле, о котором говорилось выше: подруга, которая соглашается признать себя таковой, — это благородная девица, ее друг вскоре на ней женится, и даже после этого она обязывает его совершать рыцарские подвиги, а не отдыхать. Но ведь уже «Эрек» — произведение настолько занимательное, его интрига настолько хорошо выстроена, что трудно представить, как после него можно написать что-то более интересное. Все складывается так, как если бы заказчики, или публика, или сам писатель бросали последнему нелегкие вызовы. Клижес, к примеру, любит замужнюю принцессу, и с ней не может быть и речи об адюльтере, как в скандальных романах вроде «Тристана»; значит, надо, чтобы она осталась девственницей и овдовела, что не так просто устроить, не погрешив против хорошего вкуса. Ивейн, следующий рыцарь, завоевывает супругу благодаря отваге (правда, убив ее мужа), но затем его увлекают турниры и в ходе турниров он забывает о ней — за что его настигают немилость и безумие, а также необходимость заново входить в куртуазный мир.

Эти два первых вызова были вполне по плечу автору «Эрека». Можно ощутить или догадаться, что оба следующих потребовали от него большего труда, даже если в конечном счете он превзошел самого себя и создал два великих литературных мифа — Ланселота и поиски Грааля. Ведь первоначальные сложности казались головокружительными. В самом деле, как рассказать историю о Ланселоте, совершающем прелюбодеяние с королевой, если, создавая «Клижеса», автор хотел написать нечто вроде «анти-Тристана»? И как Персевалю, которому мать запретила рыцарские подвиги и плотскую любовь, выписать такой путевой лист, чтобы отправить его к Богу, — но не напрямую, нет, а проведя через роман о рыцарских приключениях? На сей раз нашему автору придется все чаще и чаще призывать на помощь Говена, контрапунктом к Ланселоту и к Персевалю, и он сам не сможет дойти до развязки...

Проследуем за ним в этом литературном приключении, не запрещая себе также вставлять отдельные иронические замечания в ходе пересказа этих весело зарифмованных, чудесно-текучих и богатых на выдумку текстов.

ЛЮБОВЬ, БРАК, СОПЕРНИЧЕСТВО

Итак, приключение Эрека появилось раньше всех (1170 г.). Первая треть этого рассказа — особо живая и веселая. Рыцарь встречается на охоте карлика, который бьет его по лицу плеткой. Эрек не отвечает на удар, потому что карлик принадлежит грозному рыцарю (Идеру), который «до зубов вооружен» (то есть облачен в доспех) и «исполнен коварства и необузданности, так что он [Эрек] боялся быть убитым на месте», будучи «безоружным», «если бы в его присутствии поразил карлика». Поэтому, так как «в безумстве доблести не будет», Эрек тратит должное время на то, чтобы вооружиться, и только потом пускается в погоню за Идером. Эта погоня приводит его в *chastel* (укрепленную бургаду), где ему дает приют вальвассор, столь же бедный, сколь и куртуазный. У него всего один слуга, и его жена, вышедшая из графского рода, как и дочь Энида, более прекрасная, чем Изольда Белокурая, работают по дому. Однако у него есть снаряжение, какое нужно Эреку, чтобы идти сражаться: «Я одолжу вам все свое: / И меч, и доброе копьё, / Прочнейшую из всех кольчуг, / Что выбрана из сотни штук, / Дам и сапожки дорогие / Удобные, хоть и стальные, — / Они вам подойдут — затем / Отличный вороненый шлем / И щит мой новый, и коня. / Все, что вам нужно, у меня / Берите из вооруженья. / Мне радость — это одолженьё»^[965]. Ведь в *chastel'e* собралось множество рыцарей, дам и оруженосцев, воистину все баронство края (семьи рыцарей замков^[966]), на праздник, в ходе которого рыцарь может потребовать для подруги «приз и честь как самой прекрасной даме», попросив ее взять красивого ястреба, заранее усаженного на площади. Если только этому не воспротивится другой рыцарь, заявив о правах своей подруги... Эрек получает от вальвассора, у которого гостит, право притязать на ястреба для его очаровательной дочери и выигрывает для нее приз, взяв верх в поединке как раз над надменным Идером.

В то же самое время аналогичный вызов создает проблему для двора короля Артура. Обычай требует, чтобы король поцеловал прекраснейшую из девушек, принадлежащих ко двору, что резко обостряет отношения между рыцарями, потому что каждый отстаивает кандидатуру своей подруги. Эрек приезжает как раз вовремя — он привозит с собой Эниду. Артур ее целует, Эрек на ней женится и как сын короля дает тестю, вальвассору, за проявленную учтивость два замка, чтобы избавить того от бедности. Так что хорошие манеры могут пригодиться для чего-нибудь в жизни. Особенно если повезло быть отцом юной красавицы.

Энида, безусловно, великолепна и еще продемонстрирует свою мудрость и свои чувства к Эреку. Кретъен де Труа доставляет себе Удовольствие описать ее ясное чело и белоснежную кожу, подчеркнутую румянцем, всё, что дала ей Природа, что сделал Бог, ибо «она была создана, чтобы ее созерцали». «Сильней краса ее сияет, / Чем солнце свет свой разливают»^[967] — по-другому бы о своей подруге не сказал и трубадур Бернарт де Вентадорн. Но, по правде сказать, приз за красоту ей присудили не потому, что посмотрели на нее: она получила его только благодаря доблести Эрека, его копьё, его мечу. Она победила как подруга самого отважного рыцаря — который доказал это на турнире, устроенном королем Артуром и его рыцарями «на поле, что под Тенеброком [Данеброком]». А ведь там было много «вуалей тонких, рукавов, / Что рыцарям вручают дамы»^[968].

Хотя Кретъен де Труа в своих романах, вслед за авторами «Романа об Энее» и «Романа о Трое», создал впечатляющие женские образы, в возвышении женщин он продвинулся не дальше этих авторов.

Главными персонажами по-прежнему остаются рыцари, занятые поиском подвигов.

Любовь подруги они вполне могут использовать как повод, чтобы сделать более приемлемой страсть к собственной славе, сочетающуюся с сильным желанием продемонстрировать себя. Это молодые спортсмены, готовые на всё, лишь бы о них говорили. Каждый отправляется на поиск таких трудных испытаний, таких опасных приключений, каких не переживал еще никто другой. Один переходит через непроходимый брод, другой отваживается сразиться с противниками, доселе непобедимыми — лишь бы стать «первовосходителем», как сказали бы альпинисты. И здесь тонкость или пикантность состоят в том, что они рискуют и славой подруги, тогда как она ничего тут поделать не может.

Хочет ли женщина, чтобы ей набивали цену рыцарскими подвигами? Приключение Эрека и Эниды, а потом приключение Ивейна как будто показывают, что нет. Во всяком случае дама вынуждена делать вид, что и сама желает того, чего ей следует желать по мнению рыцарского общества во главе с королем.

В третьем из многочисленных романов Кретьена де Труа блестящий первоначальный успех рыцаря дает ему право на паузу. Даже кажется, что приключение и закончится прямо здесь, в объятиях супруги. Вот Эрек и Энида — муж и жена. Они вместе живут в радости — настолько, что Эрек отныне не хочет разъезжать по турнирам: он «не имел более в сердце иного желания, чем обнимать ее и покрывать поцелуями». Он ведет себя не как Балдуин V де Эно или Генрих Молодой, которых брак (устроенный из политических соображений) не лишил желания совершать подвиги. Он больше не делает ничего куртуазного, кроме как снабжает своих рыцарей оружием, платьем и деньгами и отправляет на турниры в богатых доспехах и одеждах.

Но этого недостаточно, чтобы оставаться на уровне положенной ему роли. Так что вновь взяться за оружие его побуждает сама Энида, однажды утром, в супружеской постели: «он спал, но думой занята / Все той же, не спала она, / Ей речи не давали сна, / Что слышала она о нем / Вот здесь, в краю его родном»^{969}, — а именно, что он *изнежился*, трусливо «и щит и меч забросил свой»^{970}. Она винит в этом себя, ее охватывает стыд, она плачет и в ответ на вопрос говорит ему всё: «Твоя отныне меркнет слава», а также: «То, что занят ты женой, / Моей считается виной»^{971}.

Нетрудно догадаться, что Эрек немедленно отреагировал, вновь взялся за оружие и отправился на поиск приключений: впереди еще 4500 стихов Кретьена де Труа, чтобы герой мог искупить вину. И чтобы он мог разить, страдать и проливать кровь в свое удовольствие. Но надо видеть, как нагло он сразу же начинает вести себя со своей женой Энидой. Ах, она хочет, чтобы его рыцарская доблесть не деградировала, — ладно, она это получит! Пусть она едет перед ним на коне, пусть все ее видят и разглядывают ее, пусть она будет красивой и пусть молчит. И, главное, пусть ни в чем ему не помогает, пусть не проронит ни слова, чтобы предупредить о грозящей опасности, о противнике, который подстерегает его или уже атакует. А ведь она любит его, боится за него, несколько раз его спасает, нарушая приказ. Он ее одергивает грубо, в мачистском духе, хотя в душе не слишком сердится. Их приключения нелегки, он ранен, она этим потрясена, ему грозит смерть, она с трудом отбивается от притязаний графа... Ну прямо пара садомазохистов — этот сын короля и эта дочь вальвассора. Но вернее сказать — знатные мужчина и женщина, наделенные всеми достоинствами своего сословия, но зажатые в тиски представлений о мужской доблести, помешанные на том, что долг рыцаря — активное и чрезмерное геройство. Энида на свой манер делит с Эреком испытания, потому что любит его социальное предназначение, а он должен нести ответственность из любви к ней. Предписания общества вырывают их из частной жизни и укрепляют приоритет мужского начала.

Историю Эрека лучше всего продолжает «Рыцарь со львом» (1177–1181): действительно, его герой Ивейн после свадьбы сталкивается с той же проблемой, хотя события поворачиваются совсем иначе. Эта «сказка» включает несколько эпизодов, сближающих ее с оригинальными легендами, которые были составлены знатными семьями и для знатных семей XII в. В самом деле, Ивейн ищет приключения у Источника-Который-Кипит: он смертельно ранит его защитника, потом влюбляется в жену последнего, даму де Ландюк, и женится на ней. Благодаря храбрости и благодаря тому, что она нуждается в защитнике своей земли — хоть бы и против оста короля Артура? — он получает ее любовь и ее сеньорию. Вот снова идеология, феодальная практика в чистом виде: наследнице нужен служащий рыцарь, такой рыцарь заслуживает и приобретает женщину и фьеф.

Женившись на даме де Ландюк, Ивейн действительно защищает источник от артуровского оста. Во всяком случае он выбивает из седла Кея, сенешаля короля Артура. И потом, после этой стычки, Ивейн принимает короля как гостя в Ландюке у своей жены.

Но ведь прошла всего треть романа, и вот Говен, друг и подстрекатель героев Кретьена де Труа, убеждает Ивейна не засыпать среди усад Ландюка. «Неужто, сударь, вы из тех, / Кто слишком падок до утех, — / Гавэйн промолвил, — кто женился — /И раздобрел и обленился?»^[972]. И добавил: «Не что иное, как позор / В покое брачном затвориться! / Сама небесная царица / Подобных рыцарей стыдит». И еще: «Нет, совершенствоваться нужно, / Красавицу завоевав»^[973].

Что на это ответить? Ивейн может только отпроситься у супруги — «ради вашей чести и ради моей». А решение остается за ней, потому что ее статус по отношению к нему выше, чем у Эниды по отношению к Эреку. Сеньория осталась за ней, тогда как замки вальвассору — чья нежно любимая дочь, на которой Эрек женился, едва находила, во что одеться^[248], — дарил герой. Ивейн, напротив, повинуется даме де Ландюк: он умоляет отпустить его, и она разрешает ему уехать, но ограничив срок отлучки одним годом. Если он не вернется к этому сроку, она больше не желает его видеть — собственно, христианский брак XII в., нерасторжимый, никоим образом не позволял отдать такое распоряжение. Тем не менее эта дама-властительница, куда более высокомерная, чем могла позволить себе Энида, тоже на свой лад подчиняется требованиям рыцарства как вещи в себе, самоценной — как их неизменно провозглашает и воплощает мессир Говен.

Ивейн на турнирах не перестает думать о ней. «Отправилось в дорогу тело, / А сердце в путь не захотело»^[974]. Он чувствует *amor de lonh*, дальнюю любовь трубадура Джауфре Рюделя, князя Блайи. Или же ту, какую вскоре испытает трувер Конон Бетюнский, отправляясь в крестовый поход, как едут на турнир, чтобы добиться там чести для своей красавицы^[975]. Сколько было таких рыцарей, чье влюбленное сердце разлучалось с телом, уходившим на поиски приключений.

И здесь вполне подтверждается, что «дальняя любовь» вызывает странное помрачение ума — она побуждает забыть свой объект, до такой степени приспособиться к его удаленности, что позднейший эссеист Анри Рей-Фло может говорить о «куртуазном неврозе». Итак, Ивейн настолько поглощен мыслями о возвращении, что вернуться-то и забывает. Непростительное прегрешение! Его дама ждала слишком долго, он злоупотребил ее терпением, она велит ему передать, что «вернуться запрещает» и «лишает своего кольца»^[976].

Большого не нужно, чтобы он утратил рассудок в ярости на самого себя. Он углубляется в лес и все более дичает — нагой охотник, пожирающий сырое мясо. Лишь постепенно он вновь обретает разум, жизнь, рыцарское достоинство — после того, как его приручил

отшельник, как о нем позаботилась знатная девица, как она и другие стали молить его помочь им в качестве рыцаря (что он сделал) и даже полюбить их (чего он не может). Тем самым он подтверждает и сохраняет облик рыцаря из феодальной легенды. Он защищает на поединке молодую женщину, несправедливо обвиненную в измене, — как некогда Анжэгер, от которого произошли графы Анжуйские, или Аршамбо, прародитель виконтов Комборнских. Он спасает также льва, боровшегося со змеем, и делает этого благороднейшего из зверей, символ рыцарства, постоянный атрибут геральдики^[249], своим верным спутником, который даже оказался полезен в тот день, когда противники неучтиво напали втроем на одного. Он ни на кого так не похож, как на Гольфье де Ластура, описанного у Жоффруа из Вижуа^[977]. Полагаясь только на самого себя, Ивейн никогда не упускает случая сразиться как лев, блистательный и великодушный. И, неузнанный, снова берется защищать источник своей дамы. И, по-прежнему неузнанный, добивается от нее обещания ходатайствовать перед дамой, которую любит... Таким образом в обители Ландюк вернется радость.

Вот еще одна, после Эрека и Эниды, апология любви в браке, для которой опасно скорее рыцарство, нежели измена.

И, однако, едва Кретъен де Труа в 1176 г. закончил «Клижеса», своего «анти-Тристана»^[250], как графиня Мария Шампанская предложила ему (а значит, навязала) сюжет романа о преступной любви. «Рыцарь телеги» (1177–1181) — это история Ланселота, влюбленного в королеву Геньевру, полностью повинующегося, преданного ей. Причем до такой степени, что ее трансгрессивные желания толкают его на унижительные поступки, например, заставляют забраться на позорную телегу. В опасности оказываются одновременно брак и достоинство рыцаря, преступная любовь угрожает им.

Как эта любовь началась, неизвестно. Роман начинается с другого, с надменного — и, однако, соответствующего правилам — вызова, брошенного двору короля Артура. Рыцарь Мелегант, сын короля Бодемагю, уже держит у себя массу пленников из (артуровского) королевства «Логр». Он их всех вернет, если один из рыцарей двора сможет защитить от него королеву Геньевру в конном поединке; в противном случае он заберет ее. Права принять вызов добивается сенешаль Кей, но, поскольку он себя переоценивает, случается то, что должно было случиться, — королева попадает в плен к спесивому Мелеганту. Во всяком случае, она не унижена и не обещана — за этим следит царственный отец похитителя.

На одном из поворотов сюжета этой первой истории внезапно появляется рыцарь. Он ищет плененную королеву, которую несколько раз сможет мельком увидеть (и однажды совершить кое-что сверх того) и узнать ее желания. В самом деле, «тот, кто любит, умеет повиноваться, он делает очень быстро и охотно то, что должно понравиться подруге»^[978]. Но королева, которую любят запретной любовью, выдвигает требования куда более суровые, чем дочь вальвассора или даже дама де Ландюк! Эта любовь должна пойти против представлений о чести. То есть королева хочет, чтобы рыцарь ради нее навлек на себя позор. Поэтому Ланселоту^[251] приказано взобраться на позорную телегу, предназначенную для преступников. Это надолго ставит на нем клеймо: во многих эпизодах романа он слышит насмешки главных героев, другие рыцари его бойкотируют. И все это ради того, чтобы королева снова воротила от него нос под предлогом, что он на миг помедлил! Он сделал лишний шаг, прежде чем подняться на телегу... Тем не менее «она неправа, — говорит король [Бодемагю], — ибо вы, вы ради нее подверглись смертельной опасности» (в других приключениях, помимо этого мимолетного позора)^[979]. Она сама сожалеет о своей суровости, и через некоторое время они проведут сладкую ночь плотской любви.

Но эта любимая, любящая королева по-прежнему требовательна и неумолимо испытывает покорность, а значит, любовь и отвагу своего рыцаря. Турнир в Ноозе был организован с тем, чтобы выдать замуж девиц, наблюдающих за ним. Конечно, ход его описан невнятно, и финальная победа Ланселота означает конец этой брачной ярмарки. Но прежде чем победить, он, сохраняя анонимность, следовал указаниям своей дамы, королевы, последовательным и противоречивым: сначала стать лучше всех, потом хуже всех (но не настолько, чтобы потерять коней и оружие) и снова лучше всех^[980]. Ради любви надо идти постоянно «дальше и дальше», до предела, в сторону, противоположную заурядности. Однако здесь герой уже не делает честь себе и даме за счет того, что публично афиширует свою любовную связь, как Эрек: он питает тайную страсть.

Эта интровертированная любовь доходит до одержимости. Рыцарь погружен в свои мысли. Он фетишист, его приводит в экстаз гребень королевы, он счастлив обладать одним ее волоском. Он думает лишь о ней и во время поединка с Мелеагантом вынужден маневрировать, чтобы не упустить ее из виду. В первой трети истории ему не предоставлено ни мига передышки! И под конец его испытаниям не будет счастливого конца. Ни брака, чтобы освятить такой конец, ни видимой угрозы отказаться от рыцарских подвигов, *изнежиться*. Финал судьбы Ланселота остается открытым, незавершенным, и графиня Мария не напрасно предложила именно этот сюжет: книга имела успех, и к ней писали продолжения. Как будто публика, не склонная морализировать, больше одобряла куртуазный адюльтер, чем феодальный брак!

Ведь Кретьен де Труа не принизил Ланселота всерьез и надолго. Он по-прежнему изображал его твердость в испытаниях, смелость в боях, и воспоминание о телеге как будто понемногу блекло. Разве не Ланселот вновь укрепил пошатнувшееся положение королевства Логр, Его рука освободила и королеву, и всех пленников.

Просто Кретьен де Труа и его аудитория с удовольствием наблюдали за невиданной игрой, устроенной здесь, за противоречием между любовью и рыцарским достоинством Ланселота, который может получить приказ опозориться, садясь в телегу или внезапно терпя поражение, и за абсолютной властью дамы. Разве она не желает, чтобы ее любовь царила, подобно тирании? Она делает из Ланселота солдата любви. Нужно, чтобы ею он дорожил больше, чем уважением других рыцарей, — даже если ее приказ или необходимость ее защитить очень быстро вновь дают ему возможность вернуть такое уважение.

Знаменует ли всё это прогресс в возвышении Женщины? Да позволят мне здесь сымпровизировать вариацию на тему Жоржа Дюби — тему дамы, приобретающей в итоге верность рыцаря за счет супруга. Не думаю, чтобы от всего этого выиграл король Артур. Но по крайней мере автор XII в. вывел на сцену абсолютно покорного рыцаря. Ведь королева обращается со своим рыцарем не как сюзерен с вассалом, требующим стоять за него и умереть, если понадобится; нет, она требует большего — бесчестия и не дает ни мига на раздумье. Она не сюзерен, а настоящий суверен. Так во Франции, во имя любви, а не морали, прижился невиданный прежде принцип слепой покорности знатного мужа; и не этим ли была неявно подготовлена та трансформация рыцарства в королевскую армию, которую во второй половине XII в. предвидели некоторые придворные клирики?

ВЕРНОСТЬ, СМЕЛОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ

Королева не дошла до того, чтобы велеть Ланселоту повести себя подло — например, по отношению к Мелеаганту, ее похитителю. И эта отвратительная телега, в конце концов, была только игрой. Рыцарь смог сразу же продолжить движение по собственному маршруту, спортивному и также символическому, поскольку его можно толковать как инициационный поиск. Вслед за Эреком и Ивейном, подобно Александру и его сыну Клижесу, Ланселот выражает систему ценностей куртуазного рыцарства, еще очень близкую к системе ценностей «жест». Разве два ее основных элемента — не верность и смелость? Хотя уместно и некоторое милосердие, как и в античных романах, и даже несмотря на то, что здесь ни один рыцарь не забывает надеть кольчугу. Благодаря этому они меньше рискуют убить друг друга. Однако бои смягчаются не до такой степени, чтобы полностью исключить гибель знатного человека.

Эниде, Лодине или Геньевре не нужно смотреть, как их рыцарь убивает других, чтобы возмечтать отдаться ему. Но зрелище убийства не слишком их и устрашает!

Конечно, эти герои Кретьена де Труа — образцы для реальных людей: они исполнены благих мыслей и соответствуют ожиданиям аудитории. Но упомянутые ожидания включают в себя также чувство мести, болезненного — в некоторых обстоятельствах — представления о чести, а также чувство милосердия.

Вернемся к Эреку. Получив низкий удар от Идерова карлика, он оспаривает у Идера, ради своей подруги, приз — ястреба. Обе девушки, Энида и подруга Идера, приходят в отчаянье от ударов, которые те наносят друг другу, но не имеют власти их разнять. Им остается лишь плакать при виде крови и возносить молитвы к Богу. Бойцы соглашаются на миг остановиться, но лишь затем, чтобы восстановить силы; вид девушек их волнует, и они вынуждены вновь разить друг друга — из любви. Бой возобновляется, и его накал удваивается. Однако Идер не знает, что Эрек вымещает на нем оскорбление, Идеру недостает ожесточения (и смелости), так что он падает, получив неглубокую трещину в черепе. Эрек срывает с него шлем, и теперь, вспомнив об оскорблении, «ему бы голову срубил, / Но враг пощады запросил». Ивпридачу: «Ты в честном победил бою, / Так сохрани мне жизнь мою. / И приз и слава — все тебе, / Внемли ж теперь моей мольбе. / Меня прикончив после боя, / Ты дело совершишь худое. / Я должен меч тебе отдать»^[981]. Но, хотя Эрек не вправе убить врага, который попросил пощады, мир он, однако, отвергает и хочет остаться смертельным врагом Идера. А последний пытается понять, в чем он виноват? чем навлек на себя месть? «Нанес удар прелестной деве / Твой карлик подлый: всем известно — / Ударить женщину — бесчестно. / Хлестнул он также и меня: / Наверно, показался я / Ему ничтожеством. А ты / Смотрел на это с высоты / Своей надменности, и, видно, / Совсем тебе не стало стыдно / За наглость твоего слуги. / Вот потому мы и враги». Волей-неволей Идер вынужден одновременно признать доблесть, подвиг своего победителя («и вот мне было суждено / Найти противника сильней»^[982]) и удовлетворить его жажду реванша: он становится пленником и предает себя на милость королевы, вместе со своим карликом и своей девицей, чтобы рассказать обо всем этом и оповестить о скором прибытии ко двору Эрека с прекраснейшей девой в мире, Энидой!

Итак, став пленником под честное слово, Идер является к королю Артуру и королеве Геньевре. Едва он объяснил причины приезда, передав свое сообщение, сам король Артур решает его судьбу: «Коль вы мне рады угодить, [— говорит он королеве, —] / Я пленника освободить / Прошу, с условием таким, / Что верным рыцарем моим / Он здесь останется, а

нет — / Ему же зло, ему же вред»^{983}. Королева как будто счастлива так и поступить, и Идер доволен не менее: оруженосцы (*отроки*) спешат снять с него доспехи, что кладет конец его статусу пленника, так как пребывание в доспехах, в которых он потерпел поражение, напротив, символизировало бы этот статус. Любопытно, что этой благожелательностью он обязан женщине, но во Франции XII в. подобное освобождение из плена не было редкостью и без женского вмешательства.

Выкуп за деньги, торг, выплата пятнали бы чистоту артуровского рыцарства. Поэтому о них полагалось умалчивать, как и о наемничестве — лишь бы у рыцарского класса не оказалось ничего общего с городской буржуазией. Зато отдельные капли благородной крови, отдельные отрубленные головы не слишком вредят его имиджу. Ведь рыцари должны иногда рисковать жизнью, — а иначе где бы проявлялась их храбрость? И они неукоснительно берегут честь. Они мстят за оскорбления, которые им нанесли, и это их роднит с героями «жест». Они также, и это их фирменный знак, ставят себе в заслугу защиту обижаемых девиц, часто бескорыстную, без мысли о плотской любви или о наследстве. Наконец, вместо того чтобы защищать церкви и бедняков, рыцари их просто не грабят — однако замечают ли?

Соблюдение некоторых правил в отношении противника тут и там оставляет открытой дорогу к последующему соглашению, — но не открывает ее автоматически. Пять рыцарей-грабителей, однажды встающих на пути Эрека, настолько любезны, что схватываются с ним лишь один на один, а ведь многие из них при этом гибнут^{984}. Тот же Эрек и Гиврет Малыш, после того как долго и весело дубасили друг друга и пускали друг другу кровь, становятся лучшими в мире друзьями, — и через тысячу стихов Гиврет, чтобы спасти Эрека и Эниду, спешит выступить против очень сильных противников.

Но Кретьен де Труа позволил Эскладосу Рыжему погибнуть от смертельной раны, нанесенной Ивейном, чтобы последний мог жениться на его супруге. Хотя Эскладос не был ни его смертельным врагом, ни особо неучтивым рыцарем. Покинул бы он даму ради турниров и «куртуазного невроза», как это вскоре сделает Ивейн?

Ланселот, желая перейти очень острый Мост Меча, должен принять вызов Спесивого рыцаря. Эта схватка могла не быть смертельной, однако она оборачивается худо, так как Спесивый насмехается над героем за то, что тот однажды поднялся на телегу... Вскоре оба изнемогают, но оскорбление придает Ланселоту новые силы: «Он сбивает у того с головы шлем и вновь опускает забрало, причиняет ему столько страданий, что тот вынужден просить пощады»^{985}. И на сей раз условие состоит не в том, чтобы отправиться прямо к самому шикарному двору Европы, как в «Эреке и Эниде», а чтобы в свою очередь подняться на телегу и тем самым искупить оскорбление. Спесивый отказывается, но тем не менее упорно просит сохранить ему жизнь. И победитель колеблется. Вдруг появляется девица, требующая головы побежденного, ибо считает его изменником. Замешательство Ланселота усиливается. В его душе происходит спор между Щедростью (по отношению к девице) и Состраданием (к рыцарю), настоящая тяжба, какая уже при виде телеги происходила между Любовью и Честью. Наконец, чтобы разрешить эту проблему, он дает Спесивому второй шанс. Бой возобновляется, и Ланселот убивает противника; тогда он дарит голову убитого юной особ^{986}. Появление женщины в том или ином эпизоде не всегда делает героев-мужчин гуманней.

Но обычно их подруги — это партнерши в игре, с которыми они часто, как уже говорилось, образуют пару конформистов, после чего не очень ценная ставка, по преимуществу в игре, позволяет им проявить хорошие манеры.

Впрочем, так ли часто у этих рыцарей есть повод дважды сразиться с одним

соперником? Нередко поединки прерываются, и враги (порой заново) становятся друзьями. Так происходит, когда Ивейн и Говен, не узнавая друг друга, бьются между собой, отстаивая интересы двух сестер де Шипороз [*Epine Noire*, терн], соперниц из-за наследства. Дело началось с перепалки между сестрами при королевском дворе и с проклятий, призывов к Богу и Закону. Не узнавая друг друга, оба защитника дерутся с жаром, не без последствий: «На их шлемах нет ни одного гиацинта, ни одного изумруда, который не оказался бы раздроблен и искрошен»... Это похоже на намеренное уничтожение всего ценного, и, несомненно, «еще бы немного, и они бы вышибли друг другу мозги», но крепкие доспехи защищают рыцарей. Возобновив бой, они проявляют еще больше ожесточения — словно бы его раньше было мало! И зрители, восклицая, что «два храбреца из храбрецов / Равны друг другу»^{987}, как будто намекают, что довольно, и побуждают обоих рыцарей заключить мир. Тщетно — по вине старшей сестры. Так что к концу дня кажется, что перед нами «жеста», такие реки крови пролиты: оба знатных мужа «обретают честь путем мученичества». Наконец боль останавливает их: «Бой продолжать не торопились, / Поскольку ночь уже близка / И проиграть наверняка / В душе побаивались оба»^{988}. Слабым голосом Ивейн признает достоинства противника: «Искусством вашим изумлен, / Впервые так я утомлен»^{989}. И Говен состязается с ним в деликатности, в великодушии, уверяя, что, напротив, больше ударов получил он. Во всяком случае на каждый комплимент бойцу следует ответный комплимент тому, кто этому бойцу долго противостоял, всем понятно, что матч закончился вничью! Назвать победителя невозможно, они оба непревзойденны. И вот тут они узнают друг друга, обнимаются, и в атмосфере излияния чувств спор между ними вспыхивает с новой силой: каждый хочет, чтобы побежденным сочли его (то есть чтобы к пальме первенства за храбрость добавилась награда за спортивное поведение). Теперь король отказывается выбирать, кто победил, и делит наследство между этими девицами, не имеющими братьев, так, что лучше не сделал бы и Соломон.

Столько ударов впустую; эта литературная сцена совершенно не соответствует «исторической» тенденции — бойцы часто отменяли поединок посредством более или менее официальных соглашений, хотя позже могли обвинить друг друга в неявке на бой. Ивейн и Говен изображены здесь более великодушными в защите дам и более отважными в сражении, чем были бы реальные бойцы — наемные и трусливые. Но их больше привлекает возможность подвига, нежели долг справедливости.

Зрелище турнира — излюбленное времяпровождение артуровского двора. Рыцарям турнир дает возможность совершать подвиги и избавляет их от бремени реальных ссор. Это честное состязание, из которого Кретьен де Труа изгоняет смерть и деньги. Поэтому его турниры — праздники, а не ярмарки. Ни пехоты, ни финансовых расчетов на них не найти. У них всего один недостаток — и потому в их течении недостает рельефности и саспенса, раз нет инцидентов, какими изобиловали турниры Балдуина V де Эно и Вильгельма Маршала. Артуровские рыцари слишком прекрасны, они мало грешат против вкуса, слишком редко жульничают и хитрят, чтобы рассказ о их турнирах мог быть по-настоящему захватывающим. У автора нет другого выхода, кроме как делать ставку на оригинальные приемы. Например, когда Клижес на турнире в Оксфорде приезжает каждый день инкогнито в доспехах другого цвета, словно бы всякий раз новый соперник, совсем свежий, брал верх над Сагремором, Ланселотом и Персевалем... прежде чем сразиться в равном бою с мессиром Говеном!^{990} Или же, когда Ланселота его дама, королева, вынуждает во время турнира в Ноозе на довольно долгое время стать «хуже всех»^{991}. В то же время на самом турнире интерес вызывают и возглас герольда, и перечень вымышленных гербов. Но это не делает подобные

игры, подобные праздники чем-то большим, чем блестящие интермедии, они никогда не становятся решительными моментами сюжета. В целом герои, на манер Энея, достаточно изысканны, чтобы не слишком интересоваться выгодным призом, конями, пленниками, за которых могут дать выкуп, и думают лишь о том, как сражаться красивее всего. Тем лучше для них и для побежденных ими, тем хуже для занимательности эпизодов...

In extremis [к концу жизни] Кретьен де Труа все-таки придумал один очень красивый турнир, богатый социальными импликациями, вставив его в «Повесть о Граале». Мессир Говен вызван на судебный поединок Генганбрезилем: он якобы подло убил сеньора последнего, эскавалонского короля, не прислав предварительно вызова. Ожидая боя, он словно находится на карантине: ему положено остерегаться любых злоключений, которые могли бы помешать сразиться, а значит, и турниров, потому что там его могут ранить или взять в плен. Но он видит проходящих рыцарей и узнаёт, что они направляются на турнир в Тинтагель. Устоит ли он, не откликнувшись ни на один призыв к оружию?

Как и турниры, устраивавшиеся графом Филиппом, которому посвящена «Повесть о Граале», этот турнир организован на основе официального вызова, как противоборство двух сеньоров, которые знакомы друг с другом и между которыми, как можно заметить, возникает еле ощутимое напряжение... Здесь речь идет о конфликте потенциальных тестя и зятя, что немного напоминает столкновение Балдуина V де Эно с шурином, сиром де Куси^{992}. Только в романе ситуация оказывается более пикантной, так как Кретьен де Труа делает ставкой в этом турнире женщину или, точнее, поводом для него — ее каприз. Мелианта де Лиса вырастил Тибальд Тинтагельский, вассал, по совету умирающего отца. Мелиант влюбился в старшую дочь Тибальда, а всего у последнего было две дочери. Он попросил ее о любви, она потребовала, чтобы он прошел посвящение в рыцари. Никаких сложностей — такое делается мигом, довольно одного восьмисложного стиха («*se fist lors [aire chevalier]*» [тогда его сделали рыцарем]^{993}), уже без описания церемонии. Мелиант де Лис возвращается к своей просьбе, но оказывается, что девице этого мало. Она хочет большего, и прежде всего, чтобы он, как она говорит, совершил «столько подвигов и выдержал столько поединков, сколько должна стоять моя любовь»^{994}. У нее есть основания набавлять сцену, разве не ясно? Действительно, первоклассное посвящение может получить любой юноша из хорошей семьи. Затем нужно доказать своей красавице, а также другим рыцарям, начиная с самых близких, чего стоит претендент. Система ценностей старшей дочери Тибальда Тинтагельского определяет все творчество Кретьена де Труа и даже Сугерия и Ордерика Виталия. Эта девица толкает на подвиги влюбленного в нее рыцаря, как Геньева, как Энида, даже рискуя, что и сама будет дрожать от страха. И вот она приказывает Мелианту выиграть ее на турнире у ее же отца.

Мелиант подступает под Тинтагель с более сильным отрядом, чем у Тибальда, и здесь можно сказать почти то же самое, что в «Истории Вильгельма Маршала» сказано, и не без прикрас, о событиях под Дренкуром в 1173 г.^{995}: «турнир» весьма похож на настоящую осаду, с блокадой и вылазками, дамы и девицы созерцают его с высоты стен, но, чтобы шансы уравнились, замку нужен очень сильный защитник. Какой рыцарь не снискал бы чести, совершив такую попытку, какую совершил, возможно, Жоффруа Плантагенет и, что более достоверно известно, Балдуин де Эно?^{996} Поэтому сторонники Тибальда обращаются с мольбой к Говену^{997}, но он объясняет свое положение, и к его неучастию относятся с пониманием^{998}.

Итак, старшая дочь Тибальда смотрит сверху на своего рыцаря Мелианта де Лиса и находит его самым красивым, лучшим из всех. Тем не менее чувствуется, что она слегка

напряжена, нервничает, тем более что рядом с ней младшая сестра, еще девочка, с короткими рукавами, испытывающая нечто вроде сестринской зависти, какая в романическом мире Кретьена де Труа встречается и в других текстах (в отсутствие всякой ненависти в отношениях между знатными братьями). Конфликты сестер встречаются часто по нескольким причинам, но, возможно, они вызваны тем, что в реальной жизни не было четких правил, как делить наследство между дочерьми, не имеющими братьев, — по принципу равенства или отдавая преимущество старшей? И сердце Кретьена расположено скорее к младшим — мы это видели в истории Шипороза^{999}.

Правда, маленькая барышня из Тинтагеля — нахалка. Она не лезет в карман за словом и, услышав, как старшая хвалит Мелианта де Лиса, тут же кричит: «Я вижу более красивого, а может быть, он и лучше!»^{1000} А заметила она Говена, вынужденного остановиться под деревом, чтобы отдохнуть. Старшая дает малышке оплеуху за дерзость, та жалуется отцу, но главное, чтобы отомстить сестре, добивается согласия Говена сразиться на стороне партии Тибальда. Так что Говен выбивает Мелианта де Лиса из седла, забирает его коня и, вероятно, ставит под угрозу его красивую любовь. Все это ради каприза девчонки (которая лишь теперь получает право носить рукава длиннее) и с риском лишиться поединка, имеющего для него огромное значение, где на кону стоит его честь!

Может быть, все несколько проще? В иные моменты кажется, что поведение мессира Говена граничит с фатовством и жестокостью. Нет бы ему оставить в покое этих голубков, которые любят друг друга с детства и которых, подобно другим куртуазным парам, разлучила только обязанность мужчины совершать подвиги, а женщины — требовать их от него! Без Говена Мелиант де Лис, конечно, выиграл бы этот турнир, потом предложил бы Тибальду Тинтагельскому пообедать и заключил бы с ним мир, как недавно, около 1080 г., сделал один бургундский сеньор — Фульк де Жу, взяв в плен шампанца, отказавшего ему в руке дочери^{1001}.

Но рыцарскому обществу, даже куртуазному во внешних проявлениях, было присуще очень жесткое, часто жестокое соперничество. И, если приглядеться, кое-что могло задеть мессира Говена за живое. После того как младшая сестра привлекла к нему внимание, некоторые дамы начали смеяться над ним, словно затем, чтобы угодить старшей. «Чего он ждет, чтобы пойти в бой?» — бросает одна. — «Он дал клятву мира», — язвит другая. — «Это купец! Это меняла! — вступают в разговор еще две прекрасных насмешницы. — И он не хочет отдавать бедным рыцарям оружие, которое привез с собой». А девочка делает им замечание: «Вы что, думаете, купец может носить такие толстые копья?»^{1002} Но это не помогает, и уже ползут слухи о торговце, который якобы выдает себя за рыцаря, чтобы не платить сеньору пошрины^{1003}. Того и гляди Говена схватят стражники Тибальда Тинтагельского и потребуют штраф. Поэтому он объясняет, в чем дело, заводится и бросается в добрую турнирную схватку, никого не убивая, но и не щадя любви, как, впрочем, и не получая удовольствия, — не столько ради того, чтобы потешить самолюбие младшей сестры, сколько для поддержания собственного статуса и даже в большей мере ради этого.

Таким образом, в удовлетворении, какое получал литературный герой-рыцарь от красивой защиты женщин, как и от красивой любви к ним, есть изрядная доля нарциссизма. А вдруг это и есть настоящая дорога к бескорыстию и самоотверженности? Можно задаться и таким вопросом.

Действительно, во многих эпизодах персонажи блестяще демонстрируют верность данному слову, соблюдение законов гостеприимства, учтивость, положенную любому рыцарю. Ради этих ценностей они жертвуют личными интересами; рыцарский кодекс

оказывается важней даже родственных связей. Мы знаем, что Говена обвинили в бесчестном убийстве, и вот он останавливается, не зная этого, в той самой башне, убийство сеньора которой ему приписали. К несчастью для себя, сын покойного догадывается об этом слишком поздно, и ему ничего не остается, кроме как учтиво соблюдать обязательные законы гостеприимства, которые защищают гостя^{1004}. Что касается девицы, его сестры, она вступает в более чем куртуазные отношения с Говеном, и дело уже вот-вот дойдет до близости, как сказали бы в позднейшие времена... Это благородное поведение достойно оттенено, по контрасту, мотивом низкого мщения. Дело в том, что по призыву некоего вальвассора коммуна Эскавалона, то есть ремесленного города, раскинувшегося у подножья башни, берется за оружие, чтобы отомстить за сеньора, — во главе с мэром и эшевенами. «Этих разъяренных мужланов, схвативших топоры и гизармы, надо было видеть». Они смехотворны: «Один держит щит, не продев руку под ремни, другой — дверь, третий — решето»^{1005}. В то же время, подобно горожанам Брюгге 1127 г., мстящим за Карла Доброго^{1006}, они страшны для высших слоев. Ведь, в конце концов, этот мэр, эшевены «и прочие зажиточные буржуа, которые не ели рыбы, но были толсты и жирны», — не такие ничтожества, как подлые земледельцы. «Звонят колокола коммуны, чтобы никто не устранился. Нет среди горожан никого столь трусливого, чтобы не размахивал вилами или цепом, пикой и палицей»^{1007}. Они осаждают башню и начинают подкоп. Напрасно девица поносит их словами, в знании которых ее трудно было заподозрить: «У! У! Канальи (*vilenaille*), бешеные псы, проклятые смерды (*pute servaille*).» — ничто не помогает, надо обороняться, и вот оба, девица и юноша, лихо бросают шахматные доски в головы мужланам, чтобы не подкапывались, и вышибают им мозги. Ах, какое приятное зрелище! Вид крови горожан радует, размазанные в лепешку сервы вызывают насмешку. И в довершение всего тот самый Генганбресиль, который и вызвал Говена, теперь спешит ему на помощь как человек чести, светоч куртуазности, и позволяет отложить поединок на год. После этого мессир Говен и отправится «на поиски Копья, наконечник которого всегда сочтется кровью»^{1008}, а вместе с тем и Грааля. Он дает обет, словно выступая в паломничество или крестовый поход.

Правду сказать, традиционные правила приличия в принципе требуют защиты и отсрочки, и не без умысла, ведь расчет делается на то, чтобы ослабить напряженность и сберечь благородную кровь, — как в случае, когда король Людовик VI спасал Гуго дю Пюизе от крестьянской мести^{1009}. Но Кретьен де Труа придает всему изысканный блеск и достаточно искусен, чтобы ярко показать и взаимное влечение двух полов, и взаимное отталкивание двух классов. И король Бодемагю под его пером в «Рыцаре Телеги» проявляет высокие нравственные качества, рыцарские в полном смысле слова.

Этот благородный отец обеспечил Ланселоту защиту от всех, кроме своего сына Мелеганта. Так что он оказывает рыцарю безупречный и учтивый прием. Когда Ланселот требует освободить королеву и всех пленников («изгнанников») из королевства Логр, находящихся в королевстве Горр, Бодемагю советует сыну любезно уступить пленницу. В самом деле, он «хорошо знал, что прошедший через мост [Меча] — лучший из всех». Поэтому лучшим выходом был бы изящный маневр: поскольку «ссорой ты ничего не добьешься, — говорит он сыну, — без колебаний выкажи мудрость и учтивость: отошли же королеву» и тем самым «заклучи с ним добрый мир»^{1010}. Достойный человек (то есть человек чести) должен «привлекать к себе» всякого другого достойного человека и «оказывать ему честь». Ибо «кто чтит другого, чтит самого себя, и знай, что будешь почтен сам, если сослужишь службу и окажешь честь этому рыцарю, бесспорно, лучшему в

мире»^{1011}. По существу это значило бы разделить с ним честь и в то же время ослабить его триумф: ведь если он добьется возвращения королевы «скорее боем, чем из великодушия, он обретет больше славы»^{1012}.

Тем не менее в других местах Кретьен де Труа замечает, что в конечном счете лучше рискнуть и потерпеть поражение от сильнейшего противника, чем воздержаться от боя. Пусть его персонажам присуща большая цельность, чем персонажам «жест», все-таки иногда их этика отличается непоследовательностью (зависит от обстоятельств).

Мелегант не поддается уговорам отца, и перспектива смертельного поединка с Ланселотом вырисовывается все ясней. Тогда Бодемагю поднимается до предельной беспристрастности. При выборе между сыном и рыцарством он выбирает последнее, давая противнику шанс: велит перевязать жестокие раны, которые Ланселот получил при переходе по мосту-мечу, и «обещает рыцарю дать необходимое оружие и коня»^{1013}. В то же время он, вступив в переговоры, пытается не допустить боя, но ничто не помогает, и мы присутствуем при настоящем судебном поединке, который молитвами всех пленников (поскольку оружие и бойцов не благословлял никакой священник) превращается в Божий суд.

Действительно, теперь на кону стоит судьба их всех, равно как и судьба королевы. Пленные женщины специально постились три дня «и ходили босыми, в шерстяных рубахах»^{1014}, чтобы Бог дал рыцарю силы для их освобождения. В то же время жители королевства Горр молились тому же Богу, прося предоставить честь победы их сеньору, Мелеганту. Теперь оба бойца пришпорили коней, сшиблись, и вся их сбруя рассыпалась в прах, включая седла и ленчики. Далее, на земле, начался бой на мечах. Ланселот, раны которого зажили плохо, терял силы, и исход для него мог бы оказаться роковым, если бы ему не дали знать, что на него смотрит королева, — и таким образом Любовь без предупреждения подменяет Бога, сначала позволив Ланселоту взять верх, а потом остановив его карающую руку. Когда Бодемагю настаивает, чтобы королева вмешалась в пользу его злого сына, как она может отказать ему, безупречному хозяину дома, спасшему ее от этого самого сына? «Могла бы я питать смертельную ненависть к вашему сыну, которого не люблю? Вы были так обходительны со мной, что, дабы сделать вам приятное, я соглашаюсь, чтобы бой прекратился»^{1015}. Поэтому она отдает приказание, которое ее рыцарь вмиг исполняет. Он даже как будто окаменел.

Противится, скорей, Мелегант, которого отец хочет утихомирить. Но соглашение достигнуто, королева и пленники освобождены на условии, что бой возобновится через год, при дворе Артура^{1016}. Однако через тысячу стихов Мелегант обвиняет королеву в адюльтере на основании кровавых следов, оставленных Ланселотом во время чудесной ночи; тем не менее он заблуждается, приписывая роль сообщника сенешалю Кею, и в этом эпизоде, где обвинитель отчасти ошибается, а защита пользуется его удачным просчетом, можно увидеть отголосок рассказа об *escond'e* [клятве] королевы Изольды из «Тристана» Беруля^[252]. Ланселот может призвать в свидетели Бога и положиться на Его силу в новом судебном поединке. Он клянется как в том, что предъявленное обвинение ложно, так и в том, что в случае победы будет беспощаден к Мелеганту. «Как только клятвы были принесены, кони тронулись с места». Всадники понеслись галопом, при сшибке на копьях «каждый сбросил другого наземь», оба поднялись «и сделали всё, чтобы ранить друг друга клинками обнаженных мечей»^{1017}. От шлемов летят искры, настолько сильны удары. Противники на редкость ожесточены и не соглашаются сделать и самой короткой паузы, чтобы перевести дыхание. Теперь нужно и достаточно, чтобы их остановили королева Геньева и король Бодемагю. Но, совершая всё более низкие подлости, в последней схватке к концу романа

Мелеагант гибнет. Годфруа де Ланьи, которому Кретьен де Труа поручил завершить историю «Рыцаря Телеги», заставляет героя отрубить Мелеаганту голову. Одного и того же противника не щадят дважды, после того как он неуклонно отягчал свою вину.

ПУТЬ ПЕРСЕВАЛЯ

В мире Эрека и Эниды, Клижеса и даже Ивейна, рыцаря со львом, в мире, преданном игре и веселью, намного более десакрализованном, чем мир «жест», и испытывающем только социальное давление, не очень заметное, но реальное, — Бога, правду сказать, не было совсем.

Но с выходом «Рыцаря Телеги» начинается возвращение Бога. Ставки здесь очень весомы — это свобода королевы и пленников, а атмосфера омрачена, поскольку ее, под внешней оболочкой интриги, тяготят отклонения от нормы, а значит, грехи — преступная любовь Ланселота и мятеж его двойника, Мелеганта, против отца. И Ланселот отнюдь не новый Тристан, его королева с ним не заодно; скорее, он приобретает мессианский или христианский облик как освободитель пленников из королевства Горр. Разве это спасительное деяние не предсказано в надписи на его будущей могиле?^{1018} Таким образом вырисовывается новая фигура — рыцаря, спасающего мир и неустанно трудящегося ради спасения собственной души.

Рыцарь телеги еще не переживает явно выраженного обращения к христианской жизни. Здесь даже не видно, чтобы он сожалел своей трансгрессивной любви к королеве и раскаивался в ней. Подобный поступок выпадает на долю Персеваля в «Повести о Граале», хотя тот не может упрекнуть себя в подобном грехе. Он хотел только расстаться с матерью, чтобы стать рыцарем, он следовал указаниям того, кто посвятил его в рыцари, сообщившего не слишком многое, а если и питал истинную и куртуазную любовь, то проявлял при этом сдержанность и скромность. Он не становится великим грешником, и все-таки поиск спасения в его истории преобладает.

Сам ли Кретьен в результате внутренней эволюции пожелал взять этот сюжет, более христианский, чем прочие? Конечно, небезразлично, что он сменил мецената. Если прежде он воспевал полное господство дамы над своим рыцарем, то делал это по приказу властной дамы, графини Марии Шампанской. Если отныне он ведет Персеваля, Говена и все рыцарство к Богу и альтруизму, то при этом он ссылается на графа Фландрии Филиппа.

Разве граф не любит истинную справедливость, верность, святую Церковь? Разве он не ненавидит всякую низость? И разве его щедрость — не подлинно христианское милосердие? Во всяком случае об этом говорится в прологе к «Повести о Граале»^{1019}. И почему бы в этом не могла содержаться доля правды, если речь идет о сорокалетнем мужчине, который, как мы смутно догадываемся, пережил личные драмы — от турнира в 1169 г., когда его вывели из строя ударом *fautre*, до недавнего отказа графини Марии (овдовевшей) в ее руке, а между этими событиями было и прелюбодеяние его жены, раскрытое в 1175 г.^{1020} Рассказывать ему об амурах Ланселота и Генъевры — это хуже чем недостаток вкуса! На сей раз в артуровском мире королева сделалась скромной.

Этот мир в целом как будто поражен более тяжелым кризисом, чем мир «Рыцаря Телеги». Здесь царит тягость, печаль, отчаяние. Можно было бы говорить о сумерках рыцарства: в начале романа оно не воспроизводит себя, оно ждет спасителя. Король Артур давно никого не посвящал, и во многих замках — об этом можно догадаться по ряду эпизодов — ждут посвятителем для целой возрастной категории юных «отроков» (*valets*, благородных оруженосцев). В поместье, близком к Девственному лесу (*Forêt en gaste*), живет мать Персеваля, воплощение скорби и страха перед будущим. Она потеряла мужа и двух сыновей-рыцарей, у нее остался только третий, подросток, и она предпочитает не допускать, чтобы он как-либо обучался владению оружием и придворным манерам. Она ему это вскоре

объяснит: «Рыцарь! Вам полагалось бы им стать»^[1021], поскольку отец отличался величайшей отвагой (*pris*), а мать происходит от лучших рыцарей. Но и достойным людям случается пасть. Ваш отец «был ранен меж бедер, оттого остался искалеченным. Его обширные земли, большие сокровища, каковыми он был обязан своей отваге, — все пошло прахом. Он впал в великую бедность. Обедневшие, обездоленные, изгнанные — такими незаслуженно стали благородные люди (*gentil home*) после смерти короля Утера Пендрагона, отца доброго короля Артура»^[1022]. Ведь земли опустели — вероятно, вследствие войны, но вдова этого не уточняет. Ее муж-инвалид велел перенести себя на носилках в усадебный дом, который у него стоял на опушке леса, — не напоминает ли это немного ситуацию, когда рыцаря замка изгоняет поднявшаяся новая элита? По его побуждению оба старших сына «поехали к двум королевским дворам [но не к Артурову], чтобы там стать рыцарями. Старший отправился к королю Эскавалона и так ему служил, что был посвящен»^[1023]. То же случилось и с младшим при другом короле. Но оба сразу же потерпели поражение в бою и погибли. То ли им не повезло, то ли они по ошибке попали в «жесту» или античный роман, ведь, в конце концов, где еще гибнет столько героев, как в романе? Во всяком случае их отец умер от горя, а мать с тех пор живет в печали и старается, чтобы младший не узнал даже о существовании рыцарства... Однако она не говорит ему о другом пути к социальному могуществу, взамен рыцарского: она не мечтает сделать из него купца или, если позволительно так сказать, рыцаря промышленности.

Другие матери, из «жест» времен Кретьена де Труа, посылали сыновей, племянников и даже внуков на бой, чтобы отомстить за погибших родичей и возродить фьеф. Именно так поступает дама Алаис со своим племянником Готье, который хочет наследовать Раулю Камбрейскому. Напротив, мать Персеваля целиком погружена в депрессию и вовсе не думает о мести. Хочет ли она допустить, чтобы промышленная буржуазия Эскавалона^[253] только одна и властвовала в мире, с согласия королей, находя в них новых клиентов? Разве она забыла, сколько уже раз знатные роды, оттесненные в глубь лесов, восстанавливали силы и возвращались во фьефы? Так поступили Тертулл и Анжёгер, прародители графов Анжуйских.

Правда, в XII в. социальная история стала такой, какой не бывала прежде. Песни о Жираре Руссильонском и о Гарене Лотарингском, каждая по-своему, неизменно говорят об экономических трудностях знати, разрозненной, оттесненной до самых опушек лесов, о том, что ее изводит своими требованиями духовенство, что князья и короли недостаточно ее дотируют, слушают, почитают. Сама «Повесть о Граале», как мы видели, выводит на сцену вооруженную коммуну и упоминает о возможной узурпации рыцарского достоинства купцами и менялами. Мир изменяется. Может быть, время рыцарства прошло? Мы знаем, что доля исторической правды в этом утверждении есть. Но в реальности XII в. короли и князья в какой-то мере (слишком мало?) компенсировали упадок знатных семейств, открывая им карьерные перспективы и гарантируя привилегии.

Впрочем, еще не всё пришло в упадок и развалилось. Оставшиеся благородные воины, даже если угрожали Бореперу принцессы Бланшефлёр, не совсем забыли о хороших манерах: этот мир не огрубел, не впал в варварство, и герои могут найти в нем партнеров. Если королевский двор вымирает, то по крайней мере в глубине Франции (или «Британии») остался крепкий *chastel* вальвассора Горнеманса из Горхаута, дяди Персеваля по матери, где из рыцарского мастерства и развитых технологий ничего не утрачено. Молодой человек, находящийся в поиске рыцарства, вскоре сможет пройти здесь ускоренные курсы.

Ведь кое-что зажгло в нем желание стать рыцарем, вопреки материнской фобии. Собственно, это и есть первый эпизод романа. Дело происходит весной, «когда цветут

деревья, леса покрываются листвой, луга зеленеют, когда птицы нежно поют по утрам на своей латыни и когда всё воспламеняется радостью»^{1024}.^{254} Сын вдовы тоже переполнен радостью, он слышит шепот девственного леса, он охотится с дротиком, острым, быстрым. И вдруг к этому концерту примешивается лязг железа — едут пять вооруженных рыцарей. Их доспехи задевают за ветки, и молодой человек готовится отразить атаку бесов. Чувствуется, что будь это даже воинство Эллекена, (он бы дожидался их не сходя с места, приготовив свои дротики. Но (его глазам, напротив, предстает то, что прекрасней всего в мире, — (рыцари. Они божественно красивы, это, можно сказать, богоявление. «Когда он увидел сверкающие кольчуги, светлые и блестящие шлемы, копья и щиты, чего не видел никогда, и когда узрел сияние зеленого и алого на ярком солнце, и золота, и лазури, и серебра, он нашел это воистину прекрасным и благородным и воскликнул: “Сладчайший Господь, Боже мой, прости! Это ангелы, вот кого я вижу! Я совершил великий грех и очень дурное дело, когда назвал их бесами”»^{1025}. В тот самый момент, когда Кретьен де Труа сочинял этот диалог, моралист Алан Лилльский уже был готов написать, что рыцари на земле выполняют ту же роль, что и ангелы в граде небесном, — простое ли это совпадение^{1026} или Кретьен забавлялся интеллектуальной игрой?

Здесь автор балансирует на грани опасной вольности в религиозной сфере, ведь в вожде, «начальнике» рыцарей Персеваль видит самого нашего Господа Бога и простирается перед ним ниц, читая свой символ веры и все молитвы, какие знает. Боготворимый рыцарь очень скоро поднимает его на ноги и выводит из заблуждения: он не Бог, он только хотел бы знать, не встречал ли юноша здесь, в ландах, еще один отряд.

И начинается «диалог», который был бы уместен в комедии. Потому что Персеваль не понимает вопроса, даже когда его задают повторно. Он с крайним любопытством рассматривает оружие: «А что это у вас?» Он вынуждает собеседника не мешкая раскрыть ему смысл рыцарской мутации одиннадцатого века: «Это мое копье. — Вы хотите сказать, что его метают^{255}, как я метаю дротики? — Да нет, отрок! Что за глупости ты говоришь! Им наносят удар с близкого расстояния»^{1027}. Та же игра — со щитом, потом с кольчугой. Какая от нее польза? «Отрок, это просто объяснить. Если бы ты захотел бросить в меня дротик или пустить стрелу, ты бы не причинил мне никакого вреда. — Сеньор рыцарь, храни Бог ланей и оленей от таких кольчуг! А то я бы не смог больше их убивать...»^{1028} И Персеваль наконец узнает: чтобы стать рыцарем, надо навестить короля Артура, который посвящает в рыцари и дает ратный доспех. Только тогда он соглашается сообщить рыцарю о тех мужчинах и женщинах, которых тот ищет.

Занимательность — и очарование — началу истории Персеваля придает столь же восторженное, сколь и наивное открытие методов действия и правил рыцарства. И если методы он осваивает без особого труда, то правила усваивает с некоторым запозданием. Итак, он] еще «отрок», стоит перед матерью, которая смирилась с мыслью, что он отправится к королю Артуру. Тем не менее она внушает ему два-три моральных принципа, коль скоро он должен быть рыцарем. «Если вы встретите в том или ином месте даму, нуждающуюся в помощи, или юную деву без поддержки, будьте готовы всемерно им помочь, если они об этом попросят. Ведь это и есть вопрос чести: кто не оказывает чести дамам, напрочь потерял свою»^{1029}.

Персеваль хорошо понял, что не должен ни бесчестить женщин, ни позволять другим бесчестить их. Пикантность в том, что он «превратно» понял нотацию матери, которая хотела бы контролировать всё, что ее сын делает с девицами. Она велит ему не быть назойливым: когда он просит любви, пусть довольствуется поцелуем или кольцом в подарок,

если девица согласится. Однако импульсивный кавалер не дослушал до конца: он бросается на первую же встречную девушку, чтобы получить от нее поцелуй и кольцо, и ставит ее под удар ревнивого «друга», от которого спасет ее намного позже. Между тем он по-настоящему полюбит девицу де Борепер, но целомудренно, потому что уроки матери не позволяют ему доходить до предела возможного.

Пока что унылая мать втолковывает ему азы веры. Она велит «идти в церкви и аббатства и молить там Господа нашего дать вам честь в сем мире и научить вести себя так, чтобы добиться успеха»^[1030]. Отныне из интриги «повести» как будто уходят мотивы страха перед гибелью героя в бою и заботы о сохранении его телесной жизни. Мать думает о его мирской репутации и советует искать общества людей чести (достойных людей, которых можно посещать), спрашивая у них имя. Но прежде всего она обеспокоена его посмертным спасением, спасением его души, согласно христианским поучениям XII в. (как в «Песни о Роланде», хотя без настоятельных призывов к мученичеству). Персеваль уточняет у нее, что такое церковь (*mostiers*), — то есть, по простительной непоследовательности автора, он знал о существовании бесов и ангелов, но не церквей! Он наверстывает упущенное, обещая часто ходить в церкви.

Оказавшись при дворе короля Артура, он узнает не слишком многое. Общаться с королем трудно, поскольку тот «сидит во главе стола, глубоко погруженный в свои мысли»^[1031]. Но это не мысли о любви, как у рыцаря Телеги, а настоящая депрессия, вызванная оскорблением: никто не откликнулся на вызовы заносчивого красного рыцаря (даже сенешаль Кей, несомненно, наученный горьким опытом). Между Артуром и Персевалем поначалу завязывается диалог глухих, поскольку один поглощен своей скорбью, а другой думает лишь о том, как стать рыцарем, пока ему, по счастью, не удаемься понять, что он сможет взять себе оружие красного рыцаря, если выступит против него и справится с ним.

А ведь Персевалю еще не знакомы все условности: мать умолчала, что он должен щадить рыцарей-противников. Вот и некуртуазный поступок: не сказав ни слова, одним броском дротика он поражает красного рыцаря насмерть. Он немедленно забирает его оружие — копьё и щит, а поскольку ему еще не хватает сноровки снять с того шлем и отцепить меч, ему требуется помощь Ивонета, то есть оруженосца, выходящего из тени исключительно для того, чтобы оказать техническую помощь кому-то из героев. И вот наш Персеваль совсем повеселел, поскольку полагает, что король его «посвятил». Надо сказать, Артур находится в состоянии такой неврастении, что даже не помнит, что велел отдать ему эти доспехи. По счастью, одна девица, разразившись смехом и словно войдя в транс у него на глазах, предрекает, что Персеваль будет «лучшим рыцарем в мире»^[1032] — еще одним...

Персеваль считает себя рыцарем, но так ли это на самом деле? Нет, его посвящение по всей форме произойдет немного позже и не при дворе. Кретьен де Труа интересно развивает этот сюжет, хотя обычно даже не упоминал о посвящении своих героев. Конечно, он начинает рассказ о них с момента, когда они уже рыцари, — но все-таки разве его Эрек не мог бы быть препоясан мечом или принять очистительное омовение прежде, чем отправляться на поиски приключений и любви?

До Персеваля в рыцари были посвящены в соответствующем произведении только Александр и его сын Клижес, но это случилось в контексте, близком к контексту эпопеи. Прежде чем вступить в войну, Александр искупался в холодном Британском море, что для него и двенадцати его греческих соратников весьма похвально! Далее король Артур дал ему свои доспехи, а королева — красивые одежды^[1033]. Что касается Клижеса, он получил свои доспехи от дяди-императора, перед самым поединком^[256]. Итак, эти посвящения произошли

при дворе и явно совершались в политических и военных целях — таким было и посвящение Жоффруа Плантагенета, но у Кретьена де Труа таких обычно не было. Как правило, рыцари двора Артура не были обязаны своим рыцарским достоинством королю, иначе они сделались бы чем-то вроде его вассалов, а ведь их так легко, так свободно, без сеньоров и сервов, носило по миру, где им были открыты все пути и где они не слишком страдали от интендантских проблем!

Возьмите Персеваля. Веля ему просить совета у достойных людей, которых он встретит, его мать хорошо знала, что в романах Кретьена де Труа приветливое жилище всегда можно найти там, где надо, и тогда, когда надо. Радость и комфорт никогда не исчезли бы из этого мира полностью, ведь его создатель умел дозировать материал, чтобы тронуть придворную публику. И вот «отрок», чья встреча с рыцарями в *девственном лесу* в начале «Повести» выявила его истинное призвание к рыцарству, готов получить «рукоположение», без всякой феодальной задней мысли^[257].

МИССИЯ РЫЦАРЕЙ

Итак, настоящим почитателем Персеваля оказался достойный муж по имени Горнеманс, его дядя, сеньор того же ранга, что и он. Персеваль, руководствуясь указаниями матери, просит у него совета.

В данном случае его доверие вполне оправдывается. Ведь Горнеманс — знаток в обращении, сложном и часто изощренном, с копьем, равно как со щитом и конем. «Он разворачивает стяг и учит, наставляет юношу, как держать щит: велит, чтобы щит свешивался чуть вперед, касаясь шеи коня, он упирает копье (*ставя в позицию fautre*) и шпорит коня»^{1034}... Все это не придумано, технические новшества и приемы накапливались не один век и имели социальную обусловленность, то есть были рассчитаны на то, чтобы рыцарь мог блеснуть их знанием, не слишком рискуя, и чтобы их не сумели легко, без подготовки, освоить простые крестьяне или купцы. Так что достойный муж может журить ученика, требовать усердия и внимания. «Чтобы заниматься любым ремеслом, нужны склонность к нему, старания и умение»^{1035}. И рыцарство — одно из таких ремесел, занятие тех, кого унаследованная сеньориальная рента избавила от необходимости возделывать землю без отдыха, надрываться в грязи на подневольной работе либо посвящать жизнь экономической и предпринимательской деятельности. Но у Персеваля рыцарство в крови: ему достаточно всего на миг сосредоточиться, он в этом ремесле — сверходаренный ученик. Едва сев на коня в подражание своему учителю Горнемансу, он выглядит так, будто «всю жизнь провел в турнирах и войнах и проехал по всем землям в поисках битв и приключений»^{1036}.

Природа в той же мере одарила его способностями рыцаря, как Эниду — девичьей прелестью.

Надо было направить его талант, дисциплинировать порывы, вдолбить ему азы правил поведения. Что вы будете делать в бою с рыцарем, — спрашивает Горнеманс, — если ваше копье сломалось? — «Брошусь на него с кулаками, ничего более. — Нет, друг мой, только не так! — Что же мне делать? — Пойдете на него с мечом и будете фехтовать»^{1037}.

Надо было также немного обтесать этого одаренного «отрока». На следующее утро Горнеманс не предлагает ему омыться — несомненно, потому, что в его замке нет придворной роскоши, но заставляет его (не без труда) отказаться от плебейской одежды, которую дала мать (грубые башмаки, кое-как скроенная туника из оленьей шкуры), и надеть рубашку и штаны из тонкого льняного полотна, шосссы, окрашенные в красный цвет (*bresil*), а поверх всего этого облачиться в шелковую фиолетовую (*inde*) тунику, сотканную в Индии^{1038}. Так добрым утром начинается посвящение в рыцари, достойное этого названия. Персеваль «одевается, более не медля, и бросает одежды, данные матерью. Тогда достойный муж нагибается и прикрепляет ему правую шпору. Ибо таков был обычай — тот, кто создает рыцаря, должен прикрепить ему шпору»^{1039}. Это показывает, что в те годы, 1180-е, обычай был гибким, коль скоро на один из жестов пришлось обращать особое внимание^[258]. Но такое надевание шпор регулярно упоминается в рассказах о посвящениях, вообще-то непохоже, чтобы этот ритуал был менее важным, чем вручение меча или удар по шее, — и, кстати, в текстах XIII в., где упоминается лишение рыцарского достоинства^[259], рыцарю в этом ритуале обрубают шпоры. Здесь в отсутствие других рыцарей, которые могли бы ассистировать главному почитателю, активную роль играют свидетели: «Несколько других отроков и все, кто мог к нему приблизиться, приняли участие в его вооружении». И вот главный жест: «Тогда достойный муж взял меч, препоясал им оно и даровал поцелуй». Значит, поцелуй, а не удар. «И сказал, что жалует ему вместе с мечом принадлежность к

самому высшему сословию, какое создал и возглавил Бог. Это сословие рыцарства, и оно не допускает низости»^{1040}.

Мне кажется, здесь впервые рыцарское достоинство дается в форме христианского рукоположения. Во всяком случае существование рыцарей входит в планы божественного Провидения. И стань рыцарство действительно «высшим сословием», оно бы могло затмить священство и монашеские ордены... Разве оно вскоре не начнет искать себе истоки совсем близко к Христу, через посредство Иосифа Аримафейского и его Грааля, рискуя посягнуть на прерогативы Церкви и спародировать Евангелие?

Однако у Кретьена де Труа до этого еще не доходит. Рукоположение осуществляет не священник, это всё, что можно сказать, — но такое было бы неслыханным. Тем не менее, разве не Бог сотворил всё? Скоро мы увидим, что Он, например, «создал друг для друга» Персеваля и Бланшефлёр: он во всем прекрасен, она во всем прекрасна^{1041}. Заключая соглашение о *druerie*, то есть о куртуазной любви наилучшего вида, они точно так же осуществят замысел Бога, как и Персеваль, блистающий в рядах рыцарства.

Передавая меч, Горнеманс предначертал ему линию поведения, даже возложил на него некое подобие миссии, отзвуки которой есть в идеалах графа Филиппа и в материнских наставлениях, а покаянные поучения отшельника позже окрасят эту миссию в цвета милосердия. Здесь можно увидеть явственный контраст с посвящением Фромондена в «Гарене Лотарингском», когда то и дело звучали призывы к феодальной суровости^{1042}.

У высшего сословия, прославляемого Горнемансом, более альтруистичная мораль, оно чуть менее приземлено. Оно не допускает убийства побежденного рыцаря, если тот просит пощады, признавая свое поражение. Оно также не велит говорить слишком много: вроде бы мудрое правило, поскольку Генрих Боклерк высоко оценил сдержанность молодого Жоффруа Плантагенета^{1043}, — но, увы, скоро эта заповедь произведет негативный эффект, замкнув уста Персеваля при виде процессии Копья и Грааля в замке короля-рыбака^{1044}.^[260] «И уверяю вас, — продолжал наставник, — если вы увидите мужчину или женщину, будь то дама или девица, оказавшихся в беспомощном состоянии [“лишенных совета”], — вы поступите хорошо, оказав им помощь, если это в ваших силах»^{1045}.^[261] Далее он повторяет предписание ходить в церковь, молиться Богу за свою душу и тело. Наконец, поскольку Персеваль восклицает, что именно это говорила ему мать, добрый Горнеманс присовокупляет требование больше не ссылаться на ее советы. Разве он отныне не мужчина среди мужчин? Его принадлежность к рыцарству показывает, что в нем нет ни детскости, ни изнеженности. Он должен обещать, что будет придерживаться максим вальвассора, прикрепившего ему шпору^{1046}.

Следует ли в дальнейшем этим правилам свежепосвященный Персеваль? В замке Борепер и перед замком — довольно неплохо. Он восприимчив к красоте девицы-наследницы, влюбляется в нее так сильно, что всю ночь они целуются. А утром он облачается в доспехи, чтобы сразиться в поединке с захватчиками ее земли — сенешалем Агенгероном, а потом с его сеньором Кламадьё Островным. Второй рассчитывал на безрассудство Персеваля, молодого посвященного, чтобы заставить его ошибиться и воспользоваться этим. Но просчитался. И когда оба побежденных рыцаря просят пощады, Персеваль их щадит. В сердце у него столько рыцарства, что он проявляет настоящее милосердие, то есть соглашается не передавать их обиженной девице или еще какому-то смертельному их врагу, который бы плохо обошелся с ними, а предпочитает отослать к Артурову двору: они станут его пленниками под честное слово, как Идер, побежденный Эреком. «Я бы не желал слишком многого, — говорит Персеваль, — если бы не помиловал его, как только взял над ним

верх»^{1047}. После этого он направляет туда самого Гордеца Ланд, а потом шесть десятков других^{1048}. Так он начинает заново пополнять двор короля Артура, двор, которому они сделают честь, найдя там себе защиту и престиж. Но подробностей этих подвигов мы не знаем: путь героя — прежде всего нравственное и духовное развитие.

К несчастью, за те пять лет, когда он ищет самых суровых испытаний, он забывает одновременно о своей подруге (как рыцарь со львом) и о Боге. Так что в замке короля-рыбака, когда нужно было задать верный вопрос, его уста сомкнуло бремя грехов, а не только нелепая, неуместная верность доброму мирскому совету Горнеманса.

Чтобы Персеваль мог говорить языком религиозных обетов, Кретъен де Труа сделал его наименее активным, самым созерцательным из своих героев. Это человек, которому три капли крови гуся, раненного соколом, на снегу вдруг напоминают о губах и щеках очаровательной подруги — и он упорно продолжает любить ее издали. Это рыцарь, который терзается чувством вины, мучится угрызениями совести оттого, что стал причиной смерти матери, и который однажды в Страстную пятницу переживает обращение — при виде процессии знатных кающихся, рыцарей и дам, которые указывают ему дорогу к отшельнику^{1049}.^[262] Однако великий ли он грешник — этот рыцарь, захваченный, как и многие другие, вихрем поединков? Жирар Руссильонский пришел к покаянию, проиграв из-за чрезмерной жестокости войну и не имея иного выхода. Тристан у Беруля, между 1164 и 1166 гг., вовсю предавался любовным утехам с королевой Изольдой в лесу, прежде чем прислушаться к спасительным советам отшельника Огрини и вернуть ее королю Марку. Персеваль же не настолько трансгрессивен, не настолько неистов, его действия не столь пагубны! Но это неважно, он должен засвидетельствовать почтение отшельнику, который оказывается его дядей — ведь в этих романах, написанных для знатных семейств, из их круга не выйти. Он получает отпущение грехов и в целях покаяния должен следовать более христианским правилам рыцарского поведения, чем внушали ему мать и посвятивший. От него требуется набожное выполнение обрядов, прежде всего ежедневное посещение мессы, чтобы заслужить рай. Однако он не становится штатным защитником церкви, как *advocati* тысячного года, потому что эта миссия уже причитается одним князьям. Он не становится ни крестоносцем, ни тамплиером. Ему надо будет только вставать при появлении священников, а значит, горделивые слова Горнеманса о рыцарстве как «высшем сословии» можно забыть. Тем не менее из уст отшельника он вновь слышит наставление помогать всем девицам, которые попросят об этом, равно как всякой даме-вдове или сироте. «Это будет милостыня, вполне достаточная»^{1050}: об утрате его юношеской невинности речи нет. Таким образом, куртуазность оборачивается милосердием, но только в отношении знати, как и щедрость графа Филиппа.

Если Персеваль защитил Бланшефлёр, то, правду сказать, до этого получил от нее нежные поцелуи, и если бы Кретъен завершил роман, то, может быть, женил бы его на ней после покаяния. Но произошло это или нет, мы не узнаем, а что касается миссии защищать слабых женщин, отныне ее выполняет, скорее, Говен. Например, он берет в плен грубияна по имени Греоррас, который силой захватил девицу, чтобы развлекаться с ней, и принуждает его «целый месяц есть вместе с собаками, связав руки за спиной». Кто-то хочет отомстить за Греорраса и ввязаться в схватку? Говен отвечает: «Ты ведь хорошо знаешь, что на землях короля Артура девицы находятся под покровительством. Король обеспечил им мир, защищает их, обороняет, и не думаю, что ты должен меня ненавидеть за этот поступок, причинять мне вред, ведь я поступаю по справедливости»^{1051}.

Но этот эпизод укладывается всего в несколько строк, поскольку задача автора состоит

не в том, чтобы долго занимать благородную публику опороченными девицами и связанными рыцарями. Мессир Говен, как мы видели, переживал более изысканные приключения и получал свою долю ласк и благодарностей — оставаясь защитником «из лучших побуждений», как сказали бы мы.

И, наконец, это он завершает роман в том виде, в каком текст дошел до нас, — на собрании двора Артура на Пятидесятницу. Его возвращение вновь разжигает огонь рыцарственности. Королева спешно велит греть чаны для омовения пятисот «отроков» в горячей воде. Их ждут новые одежды, сукна, затканые золотом, горностаевые меха. «В церкви сразу после заутрени [глубокой ночью] мужи бодрствовали стоя, не преклоняя колен. Утром мессир Говен собственноручно прикрепил каждому правую шпору и препоясал их мечами, а потом нанес удары по шее. После этого он оказался в обществе самое меньшее пятисот новых рыцарей»^[1052] и, конечно, произнес перед ними ту же речь, что и Горнеманс перед Персевалем, возложив на них миссию защиты женщин — по заветам отшельника, которые сам превосходно исполнял.

Не отражает ли этот роман новые старания христианизовать рыцарство, характерные для рубежа XII—XIII вв.?

Как раз между 1196 и 1204 гг. Ламберт Ардрский с удовольствием передавал (или придумывал) христианскую окраску в посвящениях своих сеньоров. В 1170 г. отец, Балдуин Гинский, добился, чтобы его посвятил архиепископ Кентерберийский Томас Бекет, именитый заезжий гость. «Архиепископ препоясал его мечом в знак его рыцарства, далее приладил шпоры к ногам своего рыцаря и нанес ему оплеуху, ударив по шее»^[1053]. Этот ритуальный удар (*la colee*), ни в коей мере не «германский», произошел, вероятнее всего, от епископской литургии, как и обряд конфирмации. Разве Пятидесятница не была подходящим временем для совершения этого таинства, равно как и многочисленных посвящений? Действительно, в 1181 г. Арнульф Гинский, сын, получил в то самое воскресенье рыцарское достоинство и оплеуху, но на сей раз от руки отца. Балдуин отвесил ему «рыцарскую оплеуху, из тех, на какие не отвечают», и «приготовил его для принятия рыцарских клятв как совершенного мужа»^[1054] ^[263]

А ведь как навыки, так и мораль молодого Арнульфа сформировались при дворе того самого Филиппа Фландрского, который заказал Кретьену де Труа «Повесть о Граале». И не он ли, Арнульф, через несколько лет отправился на поиски похищенной знатной дамы — графини Булонской?^[1055] Правда, мы знаем, что он имел на нее виды и что сама она была кокеткой, а не жертвой. Впрочем, и Арнульф был молодым повесой, для которого посещение церквей и верное следование советам священников, конечно, стояли не на первом месте...

В Персевале Кретьена де Труа есть нечто от святого Геральда Орильякского, потому что он принимает на себя миссию защиты слабых — и выполняет ее, хоть и не отказывая в милосердии рыцарям, угнетающих слабых. Но миссия святого Геральда явно была попыткой дать ответ на самый тяжелый социальный вопрос его времени — вопрос ущерба, который крестьянам наносила феодальная война, в сочетании с такой реальной проблемой, как воздействие этой войны на владения монастырей. Можно ли сказать, что теперь на повестку дня встала защита дам, оказавшихся в опасности? Нет, похитить себя позволяли лишь дамы, которые желали этого, и всех их защищали, надзирая за ними, их семейства, сеньоры, вассалы и стоящие над всеми ними князья. Можно ли было в реальности требовать от рыцарей, чтобы в ходе посвящений они обязывались подменять Генриха Плантагенета и Филиппа Августа, можно ли было с лучшими намерениями отбирать у них сирот-наследниц, которых они «охраняли», прикарманивая доходы с их земель, а потом женились на них в собственных

политических интересах? Где в период между двумя великими вселенскими соборами, Третьим Латеранским (1179) и Четвертым Латеранским (1215), найти декрет, в котором Церковь повелела бы защищать благородных девиц? Она стремилась пресекать только наемничество, ересь, менее активно — ростовщичество, турниры или «кровнородственные» браки и даже ради этого не планировала объединять рыцарей в христианское братство. Ведь направлять деятельность последних и контролировать их действия теперь более, чем когда-либо, полагалось королям и князьям.

Итак, миссия, какую на Персеваля возложил отшельник и какую выполнял прежде всего Говен, — химерическая. Или, скорее, отвечает требованиям, применимым к роману, где должны были описываться изящные похождения. Было хорошим тоном, чтобы в романах рыцари всегда сражались за женщин, пусть даже куртуазная любовь постепенно сменяется бескорыстным милосердием. Так вновь возникает тождество: рыцарство равно защите угнетенных, в чем оно подражает королям, — невзирая на его мутацию XI в. и усиление в нем черт нарциссического легкомыслия в XII в.

МОРАЛЬ ЭТЬЕНА ДЕ ФУЖЕРА И МОРАЛЬ КРЕТЬЕНА ДЕ ТРУА

Впрочем, чего требовали от рыцарей, озабоченных спасением души, истинные моралисты того времени? Вот маленькая «Книга Манер», созданная около 1185 г. Она написана в той же форме, что и романы, — французским восьмисложным стихом с парными рифмами. Это обзор сословий, где перечисляются грехи, которые совершают люди разного социального положения (короли и клирики, рыцари, вилланы и дамы), и формулируется мораль, которой надо следовать. Ее автор — Этьен де Фужер, епископ Реннский, часто бывавший при дворе Плантагенетов. Но в нем прежде всего чувствуется проповедник, типичный для того самого тысяча двухсотого года, который Андре Воше называет «пастырским переломом», когда проповедники с новой энергией поносили все социальные группы, однако, не закрывая им дорогу к спасению души. Вот и епископ Этьен обрушивается на рыцарей с язвительной критикой и в то же время утверждает, что они могут обрести спасение, не покидая своего сословия, и даже допускает, что, по крайней мере когда-то, «рыцарство было высоким сословием»^[1056] (но все-таки не *высшим*, как недавно заявлял Горнеманс).

Критику со стороны епископа Этьена вызвало не насилие над женщинами, а угнетение, какому рыцари в своих сеньориях подвергают крестьян. Полезное напоминание о существовании последних и об их производительном труде для клириков и рыцарей, которые при дворах привыкли считать, что, кроме них, никого в мире больше нет, и одни преподносят другим в подарок, например, перевод истории Фив или Трои... Итак, реалистичный моралист воспроизводит, исходя из этой точки зрения, схему трех сословий: он бросает реплику, что вилланы терпят самые тяжелые испытания, потому что рыцари и клирики живут их трудом^[1057]. И бичует рыцарей за дурное выполнение функции защитников, которая в принципе одна только и оправдывает их существование. В самом деле, «рыцарь должен браться за меч, чтобы восстанавливать справедливость и сражаться с теми, кто дает другим повод жаловаться, рыцарь должен пресекать насилие и грабеж. А ведь многие лишь притворяются, что поступают так: я каждый день слышу сетования»^[1058]. Зато двор короля Артура имел, надо полагать, хорошую систему звукоизоляции: до него доходило самое большее отголосок каких-то затруднений благородных вальвассоров, но о грубом обращении с крестьянами в романах нет и намека. Рыцари — это сеньоры, злоупотребляющие правом требовать подати и барщину, как и судебными правами. Они ни за что бьют виллана «кулаком и головней», потом бросают в тюрьму и забирают все его добро под видом штрафа, а практически в качестве выкупа. Во втором феодальном веке люди больше страдали от власти сеньоров, чем от междоусобных войн. И тем не менее, — говорит этот придворный епископ, — «мы должны любить своих людей, ведь вилланы несут бремя, за счет которого живем мы — рыцари, клирики и дамы»^[1059]. И еще: «Он (виллан) не ест хорошего хлеба, лучшее его зерно достается нам»^[1060]. Курица в горшке для всего доброго народа при Генрихе II Плантагенете еще не актуальна^[264]: жирный гусь, пирог — это для сеньора и дамы.

Отметим, что Этьен де Фужер без лицемерия включает и себя в число привилегированных, тем самым принимая на себя вину. Ведь на XII в. приходится великое пробуждение совести — нечистой совести христиан. Это значит, что наконец-то остался в прошлом суконный язык многочисленных прелатов и монахов каролингской и

посткаролингской эпох, утверждавших, что их так же угнетают, как и «бедных», даром что их сеньории поддерживали тесные связи с сеньорами-рыцарями.

Однако становятся ли мысли епископа Реннского подрывными? Конечно, нет. Он только считает, что те страдания, каким здесь подвергаются вилланы, зачтутся им на том свете. Поэтому, если они «ропщут на Бога»^{1061}, то они неправы. Читая это, ловишь себя на мысли: значит, они роптали! Лишь бы такая вспышка возмущения не была внесена [Богом] в список их долгов, а протест против страданий не стал поводом аннулировать предварительный взнос — это было бы слишком грустно.

Но все-таки заслуга Этьена де Фужера состоит в том, что он сорвал покров с куртуазной сказки. Настоящие притеснения XII в. — это те, от которых страдает деревня. Что же касается знатных дам, это такие стервы! Он их не щадит, начиная с графинь и королев. Разве не дамы разжигают ненависть, конфликты? А виной тому соглашения о *druerie*, в которых литература видит единственный свет в окне, но которые, видимо, нельзя считать просто фикцией. «Если дурень просит у них любви, он очень скоро получит ее свидетельство»^{1062}. И это — «семя войны», с изгнаниями и похоронами в финале, а не повод для изящных подвигов. Несомненно, наш ученый прелат вдохновлялся произведениями римлянина Ювенала, когда писал сатиру на женщин, но в нее в общем-то нетрудно поверить, когда он уверяет, что дама XII в. к мужу обращает тусклое лицо, но красится, чтобы нравиться своему *dru* [возлюбленному]. Однако не обязательно приписывать французским дворам XII в. нравы римской знати времен Тацита!^{265} Настолько ли эти дворы были развращены? *Druerie* — обычно не более чем прелюдия к браку, а за преступную любовь строго наказывали, как мы видели. С другой стороны, если из-за женщин и вспыхивали феодальные войны, то разве не потому, что этим женщинам причиталось наследство?

Этьен де Фужер становится в ряд, уже двухвековой, обличителей распутства дворов. Рыцарство, по его мнению, — высокое сословие, которое недавно сбилось с пути, ударившись в разврат (*trigalerie*), танцы и легкомысленные развлечения — в том числе турниры. И он хочет лишь поднять его дух: пусть оно постарается, во имя справедливости и следуя указаниям Церкви! Тем самым мужи, рожденные от благородных (*francs*) отца и матери и «рукоположенные в рыцари», избегнут вырождения^{1063}. То есть выдвигается извечное требование не посрамить благородных предков, но к нему добавляется новая забота — повиноваться Церкви, о чем по сути свидетельствует и «Повесть о Граале»: некоторые ключевые понятия здесь те же — хранить верность и ходить на мессу.

Но подчинить Церкви это «сословие» рыцарей Этьен де Фужер намеревается жестко. Он напоминает о мече, который рыцари берут с алтаря, «дабы защищать народ Иисуса»^{1064}, и должны возложить обратно, прежде чем умрут. Он ничего не говорит о том или тех, кто жалует им рыцарское достоинство, а только о святом месте, о церкви, где происходит обряд. И там же должно происходить — по его мнению, потому что это его собственный замысел, — лишение достоинства рыцарей, виновных в измене, то есть в неверности в широком смысле слова. В самом деле, он предлагает настоящее «распосвящение»: «в этом случае должно его лишить достоинства, взять у него меч, сурово покарать, обрубить ему шпоры и изгнать из общества рыцарей (*et d'entre chevaliers geter*)»^{1065}. Похоже, это осталось благим пожеланием: в истории (и даже в литературе!) нам не известно ни одного примера такого лишения достоинства, лишь долго существовал, претерпевая социальные модификации, обычай публичных унижений, близких к *harmiscara*. Лишь один луарский сборник кутюм предусмотрит в XIII в. обрубание шпор рыцарям, но не за разложение, а за обман: если рыцарь скрыл, что его мать была подневольной^{1066}. То есть по причинам, не имеющим никакого

отношения к религии и даже к нравственности в том смысле, в каком ее понимаем мы. Но разве обвинение в такой «измене» или «коварстве» (*engin*), в чем сам Этьен де Фужер видит главное преступление рыцаря, не относится к мирским, не опирается на традиционные принципы феодальной чести?

Тогда, в конце XII в., в паруса теории двух мечей дул попутный ветер, в частности, благодаря могучим легким святого Бернара Клервоского, и епископ Реннский упоминает эту теорию как некое общее место. Меч клирика — метафоричен: это проклятие, приговор об отлучении. Другой меч — меч рыцаря, убивающий и калечащий. И «они помогают друг другу»^[1067], таков общий принцип, практическое применение которого здесь, как и во многих случаях, остается не очень ясным: то ли имеются в виду две отдельные юрисдикции, каждая из которых имеет свои формы санкций, то ли рыцари — это «светская рука» клириков?^[266] Глубже вникать в причины недовольства бесполезно: весь вопрос состоял в сохранении системы двух элит благодаря этой новой вариации на старую тему двух «служб», двух сражений.

Могла ли подобная программа, подобный теоретический вымысел найти отражение в литературе? Не факт, что рыцари, которых осень загоняла обратно в залы замков, проявили бы интерес к историям, герои которых — простые исполнители воли клириков или блистательные помощники последних. В конце концов, рыцарь-заступник мог бы найти себе место в «жесте» или в романе: какой-нибудь воин, уцелевший в Ронсевальском ущелье и не упомянутый в «жесте, которую завершил Турольд»^[267], вдруг превратился бы в поборника справедливости на землях севернее Пиренеев. Для этого нужно, чтобы он забыл о мести каким-то людям и нашел множество епископов и монахов, дабы вернуть меч в их церковь. Но в этом случае проблемой стало бы то, что он подменит короля — если только «жеста» не обернулась бы апологией сильной королевской власти, что немислимо^[268], поскольку тогда она бы наполнилась нападками на баронов, и песня описывала бы реальность (Филиппа Августа) вместо компенсаторных грез. Что касается куртуазных романов, то симпатия к христианству в них проявляется отнюдь не в форме верной службы епископам. О Боге здесь говорят разве что отшельники и рыцари в зрелом возрасте, и мечу церковного правосудия было бы трудно найти место в атмосфере, столь далекой от клерикальной.

Тем не менее мораль Кретъена де Труа не далека и никогда не была далека от морали Этьена де Фужера. В качестве певца куртуазной любви, такой как любовь Эрека, Кретъен желал своему герою рыцарского достоинства, которое необходимо испытать, и христианского брака, предохраняющего от распутства. Рыцари в общем-то никогда не прекращали отстаивать справедливость определенного рода и на занятый манер, желая прославиться. Просто мораль епископа Реннского, который был и провозвестником всей схоластики тысяча двухсотого года, включает в себя резкую критику куртуазной мечты. В качестве бедствий мира сего она выдвигает на первый план крестьянские страдания, о которых артуровское рыцарство не имеет понятия, и довольно кстати развенчивает знатных дам: разве они, вместо того чтобы быть носительницами рыцарских ценностей, не живут лишь собственной жизнью, уже потому, что обладают недостатками?

Двух этих французских авторов не вредно читать одновременно и сравнивать, пусть даже их произведения и дарования совершенно несопоставимы.

Итак, как ни направляй к Богу юношей вроде Персеваля или Говена, между их верой и той христианской моралью, какую проповедовали во французских диоцезах в конце XII в., существовало определенное расхождение. Ничто не показывает этого лучше, чем тот странный поиск Грааля, в который начал их посылать Кретьен де Труа и идею которого его французские продолжатели или немецкий соперник разовьют дальше в разных причудливых формах. Мы боимся заблудиться там вместе с этими авторами, если станем продолжать в том же духе, — а еще больше опасаемся недооценить их смысловое и поэтическое богатство, выявленное позднейшими талантливymi толкователями^[269]. Ведь именно гений Кретьена де Труа заменил реальные поиски «рыцарства», то есть подвигов, литературными поисками смысла, и после этого его произведение, бесспорно, вышло за пределы исторического контекста. Но невозможно не упомянуть мимоходом некоторые толкования, которые давали Граалю реальные рыцари и мечтатели XII в., прежде чем перейти к совсем другим планам, какие строились в отношении рыцарей, особенно в Англии.

Грааль появляется сначала как название «повести», сюжет которой Кретьену де Труа якобы дал Филипп Фландрский^[1068]. Читатель сразу задается вопросом, что означает это название. В общем, словом *graal* называется обыкновенное блюдо, миска; слово это довольно редкое, без особого блеска. Какое отношение оно имеет к рыцарству?

Лишь в первой трети этого произведения, оставшегося незаконченным, Персеваль живет во дворце Короля-рыбака, получает великолепный меч и видит, как мимо него туда и обратно через большой зал, когда он там пирует, проходит странная процессия. Во главе ее выступает молодой человек («отрок», еще не посвященный в рыцари), несущий кровоточащее копье. За ним — очень красивая девица, держащая обеими руками «грааль», украшенный драгоценными камнями, которые сверкают ярким блеском. Замыкает процессию другая девица, с серебряным блюдом^[1069]. К сожалению, Персеваль не задает в связи с этим никакого вопроса.

Одного этого вопроса хватило бы, чтобы исцелить недуг старого короля, страдающего в своем замке, а также недуг королевства Логр. Он спас бы артуровский мир — и роман бы закончился!^[1070] Тем не менее дальше открывается еще несколько граней тайны: облатка, содержащаяся в граале, поддерживает жизнь больного короля.

Но Кретьен де Труа, заставив своего Персеваля обратиться в христианство и выслушать отшельника, не посылает его на поиски Грааля. По крайней мере не следует туда за ним. Напротив, он заранее сообщает, что «повесть» теперь станет рассказывать о Говене, а Персеваля мы увидим нескоро. Но поскольку произведение не было завершено, от автора мы о Персевале больше ничего не узнаем. Можно лишь прочесть, что Говен, попав в затруднительное положение, якобы дал обет отправиться на поиски «копья, острие которого плачет кровавыми слезами, совершенно чистыми»^[1071], — это немного напоминает давний обычай, когда феодалы уходили в паломничество, чтобы пресечь конфликты. Что не мешает Говену пережить еще несколько приключений в куртуазном духе, достойных пера и аудитории Кретьена де Труа, в то время как Персеваль как будто исчезает из виду...

Стремление к познанию словно бы сковывает последнего. Или это самого автора привел в затруднение замысел? Действительно, здесь множество религиозных аллюзий. Кровь, текущая с копья, явственно напоминает кровь Христа, которому копье Лонгина, согласно одному апокрифическому евангелию, пронзило бок. А Грааль, бесспорно, связан с евхаристией, притом что в то время таинству причастия придавали чрезвычайно большое

значение наряду с покаянием. Но эта облатка — все-таки не тело Христово. Кстати, и священника в зале нет. А почему религиозные таинства автор помещает в таинственные замки, вместо того чтобы отправить рыцарей в церкви, на настоящие мессы, смысл которых им бы объяснили в проповеди, громко и внятно, и в то же время вручили бы их мечи с наставлением приветствовать всех священников?

Очень ли добрым христианином был Кретьен де Труа? Еще чуть-чуть, и пришлось бы сказать: в этой книге загадок он обратил христианскую религию в игру, наравне с поединками и придворной жизнью. Еще шаг, и истинное христианское милосердие (поставленное в «Повести» на видное место), выразилось бы в том, чтобы обеспечить всем французам белый хлеб, кусок гуся и пирога, а не в том, чтобы отправляться на поиски таинственного копья, этой эмблемы класса рыцарей, вдруг оказавшейся в самом сердце выдуманного христианства.

Возможно, кто-то сочтет, что я рассуждаю о Граале слишком дерзко! Но Жан Фраппье в своих прекрасных очерках о нем был не более снисходителен. «Религию, — писал он в 1954 г., — почти без перерывов неизменно превозносили в интересах класса рыцарей и с явным намерением укреплять положение самого этого класса»^[1072]. Это относится и ко всевозможным продолжениям, придуманным в течение полувека после смерти Кретьена де Труа. Продолжения и «разъяснения» примыкают к его незаконченному тексту. Одно из них делает упор на роли «дев» в королевстве Логр: разве не они одни знают путь к источникам? Совершивший насилие над одной обратился к остальным в бегство и тем самым навлек на королевство беду... Вот почему рыцари Круглого стола стремятся поддерживать уважение к девицам. Впрочем, если верить «Поискам святого Грааля», рассчитывать на успех здесь может только девственный и целомудренный рыцарь. Значит, прощай Персеваль, потому что во втором продолжении он возлежал с Бланшефлёр^[270]. И дорогу Галахаду, отпрыску чрезвычайно знатного и святого рода, восходящего как минимум к Иосифу Аримафейскому, доброму еврейскому рыцарю, который похоронил Иисуса, после того как собрал его кровь в Грааль. Таким его увидел Робер де Борон в своем «Романе о Граале» около 1200 г. Местами эти тексты граничат с рыцарской ересью, но, по счастью, в миф вторгается роман «Поиски святого Грааля», сочинение цистерцианцев, сводя его к ортодоксальной аллегории. Зато в «Перлесваусе» дело доходит до священной войны^[1073]. А около 1230 г. все наследие «жесты» и куртуазного романа объединил в себе монументальный «Ланселот-Грааль» в прозе. Тут Дама Озера может наставлять юного Ланселота, что призвание рыцарей — насаждать справедливость, помогая королям^[1074], и это усложненная версия капитулярия Людовика Благочестивого (823–825)^[1075]. В этом итоговом произведении меньше таинственности, чем в других, а есть лишь довольно традиционная рыцарская идеология. Вина короля Артура — только в том, что он злоупотребил властью сюзерена. Пусть он это признает, и противник его королевства, Галеот, подпишет с ним спасительное перемирие во имя рыцарской дружбы с Ланселотом и прежде всего из любви к королеве.

И, несомненно, уже немец. Вольфрам фон Эшенбах, дальше всех зашел в превращении сюжета о Граале в социополитическую утопию — настолько, что она заставляет содрогнуться. В переложение Кретьена де Труа он вносит толику геометрии и доводит своего «Парцифалья» до конца (в первые годы XIII в.). Рыцарями Грааля здесь могут стать все, включая выходцев с сарацинского Востока. Эти рыцари соблюдают строгую дисциплину, они целомудренны и беспощадны к врагам того мира, который защищают. Их король получает власть от Бога, и только он вправе жениться, так повелел Бог. Церковь в этом теократическом рыцарском королевстве не играет почти никакой роли^[271].

Но в реальности книга Вольфрама фон Эшенбаха не объединила своих читателей в

братство Грааля. Рыцарско-монашеские ордены, от тамплиеров до тевтонцев, остались под надлежащим контролем Церкви и папы Иннокентия III. Что до рассказов самого Кретьена де Труа, то они, будучи нравоучительными играми, оказали влияние лишь на нравоучительные игры, которые устраивались на придворных праздниках.

Химеру абсолютного рыцарства, изложенную на верхненемецком языке, могло породить, как и все сказки о Граале, желание затормозить реальное историческое развитие. Ведь на рубеже тысяча двухсотого года пришел час поделиться социальным верховенством с городской буржуазной элитой, попасть в более жесткое подчинение Церкви и королю и даже приоткрыть двери для новых пришельцев. Только такой ценой рыцарство могло выжить.

Впрочем, действительно ли Вольфрам фон Эшенбах призывал рыцарей, достойных этого названия, спасти мир и властвовать над ним? Да, потому что они благородны по рождению и обладают всеми полномочиями (войны и суда). Но они настолько дисциплинированы, настолько аскетичны и профессиональны, что возникает мысль, не примешался ли сюда и замысел совсем иной направленности: воссоздать древнеримскую армию.

В самом деле, нам нужно вернуться в более раннее время, нежели период Этьена де Фужера и «Повести о Граале» Кретьена де Труа, чтобы найти исток новой темы — рыцарства как сословия, которое учреждено Богом, держит один из двух мечей и берет его обратно «с алтаря». Ее развил в своем «Поликратике» около 1159 г. английский клирик Иоанн Солсберийский, и оба этих автора обязаны ему — так же как и Ламберт Ардрский, когда упоминает о «клятвах рыцарства» (*militia*) графов Гинских со времен проезда Томаса Бекета^{1076}. «Поликратик» — большое сочинение на латыни, полное ученых цитат, но не лишенное оригинальности. Это важная веха западной политической мысли постольку, поскольку во времена ренессанса римского права и усиления администрации «Поликратик» отстаивал власть монарха как гаранта общественных интересов, сильного благодаря своему величеству, которое нельзя безнаказанно оскорблять, и ограниченного только законом Божьим, который превыше всего. Иоанн Солсберийский, клирик высокого ранга^{1077}, был секретарем архиепископа Кентерберийского, того самого, которого вскоре сменит канцлер английского короля (Генриха II Плантагенета) — не кто иной, как Томас Бекет. Известно, что последний, поначалу высокопоставленный чиновник, принял «мученическую» смерть в 1170 г., защищая от короля права Церкви, — что показывает неоднозначность его отношений с королем! На службе Церкви Иоанн Солсберийский сделал неплохую карьеру, разъезжая между Римом и родной Англией и закончив жизнь в возрасте за шестьдесят в сане епископа Шартрского (1176–1180). А ведь Рим и Англия тогда были самыми этичными монархиями, именно там и возникла первая теория церковно-государственного рыцарства, в то время как сеньориальная (хоть она и была империей) Германия могла в лице Вольфрама фон Эшенбаха воспеть братство благородных сеньоров Грааля.

«Поликратик» — не монолитное произведение. Исследователи, начиная с Сидни Пейнтера^{1078}, цитируют страницы шестой книги как описание рыцарского и христианского идеала в полном смысле слова: рыцарь должен защищать Церковь, почитать священников, искоренять несправедливость^{1079}... Однако ново ли это? Это близко к основным положениям каролингской идеологии меча. С другой стороны, куртуазный элемент, восторжествовавший в результате «рыцарской мутации» XI в., у Иоанна Солсберийского отсутствует — автор порицает роскошь и парадность (хотя откровенно не ополчается на куртуазные ценности и обычаи, от турниров до *druerie*). К тому же сочинение убеждало читателей признать *эталоном*, то рыцарство, какое описал Ордрик Виталий и какое по замыслу Кретьена де Труа должны были идеально воплощать Эрек, Ланселот или Персеваль в соответствии с ожиданиями артуровского двора, а также внушало, что эту мутацию породил социологический «германский дух», якобы присущий раннему франкскому Средневековью. Поскольку шестая книга «Поликратика» подчеркнута восхваляет римскую дисциплину в сочетании с явно этичной организацией военного дела, ее вряд ли можно считать апогеем рыцарской теории: может быть, при помощи этой книги, наоборот, был нанесен один из первых таранных ударов, какими апологеты зарождавшегося государства Нового времени желали покончить с рыцарством — феодальным, куртуазным, постгерманским? Пусть даже самые ярые сторонники означенного рыцарства позже воспроизвели некоторые страницы и идеи Иоанна Солсберийского.

Эта книга знаменита пассажем, развивающим «органицистское» метафорическое представление о государстве (легче отличимом от Церкви после григорианской реформы), где монарх служит головой, а крестьяне суть ноги, тогда как желудок представляют

финансисты, а бока — придворные; у этого политического тела две руки — это службы в духе поздней Римской империи^[1080], одна военная, другая нет. В силу самого факта мы здесь имеем дело не с тысячелетней схемой, наделявшей рыцарство взаимосвязанными полномочиями вести войну и вершить суд, — это возвращение к римскому разделению труда (ведь так оно и есть, Иоанн Солсберийский постоянно увязывает между собой «честь» и «труд», желая сделать эти понятия нераздельными). Поэтому «рыцари», если слово *milites* еще следует переводить так, — уже более не подобия, не аналоги монарха. Они больше не имеют права ни обсуждать его повеления, ни участвовать в вынесении судебных приговоров: это простые исполнители. Здесь надо говорить: «военные», «солдаты» и переводить *militia* как «армия». Разве Иоанн Солсберийский не утверждает, что они должны уметь сражаться пешими, так же как и конными?^[272] У него это люди, предназначенные для активной физической деятельности, возможно, и неграмотные, но сильные благодаря интенсивным тренировкам. И он допускает даже, что их можно набирать из разных социальных сред, выбирая самых пригодных, в том числе из людей, привычных к тяжелой работе, как кузнецы или крестьяне, трудящиеся в поте лица, не ведающие удовольствий...

Во всяком случае этот клирик, обученный в парижских школах и живущий среди книг, не упоминает о привилегиях знати и даже о ритуале посвящения. Правда, воздействие его подрывной идеи «выбора лучших» из числа привычных к труду несколько ослабляется тем, что Иоанн Солсберийский ее не конкретизировал. Как англичанин он, конечно, рассматривал многие практические вопросы. Но, поскольку он был воспитан в Латинском квартале Парижа, он испытывал пристрастие к химерам и в принципе был почти так же одурманен латинской литературой о римском солдате-гражданине, солдате-труженике, как впоследствии Дон-Кихот — рыцарскими романами! Это была его излюбленная фикция, поддерживаемая римскими авторами эпохи Империи, которые идеализировали командиров и солдат периода Республики и прежде всего Пунических войн или войн Цезаря. Поэтому в шестую книгу «Поликратика» попало очень многое из «Фарсалии» Лукана, «Стратегем» Фронтин, «Военного дела» Вегеция. Лишь отбор, соединение и некоторые вставки принадлежат клирику, современнику Кретьенаде Труа, кстати, испытавшему влияние Гальфрида Монмутского. И его постоянные ссылки на римского солдата, усердного и беспощадного, не кажутся ни безобидными, ни неактуальными, когда осознаешь, что Иоанн Солсберийский не сидел, подобно Ордерику Виталию, в первых рядах зрителей турниров перед французскими замками, в хорошем обществе. Он имел в виду более суровую войну, какую английские короли время от времени вели с «дикарями» Уэльса, — последних называли так, оправдывая подчас дикое обращение с ними.

Иоанн Солсберийский, к сожалению, не Тацит. Он не умеет признавать «добродетель» в обществе, непохожем на то, в каком живет сам, или замечать неоднозначные черты своего общества.

Впрочем, за вычетом нескольких похвал англо-норманнским королям, он видит эту добродетель только на страницах латинских книг, прежде всего античных. Он ее полностью приравнивает к дисциплине или к предельному самопожертвованию. Разве он не с удовольствием упоминает Манлия Самовластного, велевшего высечь и обезглавить собственного сына за то, что тот без его приказа организовал атаку, благодаря которой римляне выиграли сражение? Но до крайностей теории слепого повиновения этот средневековый клирик все же не доходит. Он осуждает, называя языческой, тираду Лелия в «Фарсалии»^[1081]: «Если ты мне прикажешь, — говорит тот Цезарю, — вонзить меч в грудь брату, в горло отцу, в живот беременной жене, — я, конечно, содрогнусь, но моя рука сделает все это». XII в. был непривычен к такому фанатизму, и ни одна из «жест», которые люди

нашего Нового времени находили жестокими и дикими, не требует того, что звучит в словах Лукана: разве авторы «жест» не порицали неумеренность? Даже в историю осады Фив или Трои потребовалось вставить много эпизодов, чтобы оживить повествование. Придворные клирики привнесли в них толику изящества, толику французской любви в то самое время, когда клирик Иоанн, еще школяр, старался ожесточить себе душу чтением Фронтинана и Лукана, в чем преуспел лишь наполовину.

Тем не менее для вождей (*duces*) он нашел там хорошие примеры, как обращаться к войскам, и соответствующие наставления, которые призывают к воинственной грубости и к подчинению [{1082}](#).

В принципе Иоанн Солсберийский рассчитывает на возрождающееся римское право, чтобы оно принудило армию вести себя смело и выполнять приказы монарха, который ею командует. Дезертировать, изменять, не подчиняться приказам — это, замечает он, преступления, квалифицируемые как оскорбление величества, за что виновный и его дети заслуживают смерти, а родня — разорения и лишения прав.

Ожидая, пока подобный закон введут в Англии или во Франции, Иоанн Солсберийский находит в книгах и другие источники вдохновения. Чтобы вселить боевой дух в соотечественников, которые, как ему казалось, слишком вяло борются с валлийцами, он напоминает им одну страницу из Юстина (который кратко пересказал Трога Помпея), произведшую на него сильное впечатление. Дело было в древние времена, когда персы побежали под натиском индийцев. Тогда матери и жены преградили им путь бесчестия своими телами, сбросили одежды и обнажили половые органы, требуя вернуться или найти убежище, укрывшись именно там [{1083}](#). Благодаря оскорблению персы опомнились, обернулись к преследователям и одержали победу. Вот что следовало бы сделать и перед валлийцами, — отмечает Иоанн Солсберийский с долей иронии...

Этот женский метод стимуляции храбрости ощутимо отличается от того, что предлагали куртуазные романы! Не замысловатые речи в духе средневековой культуры, которыми какая-нибудь Энида, какая-нибудь Бланшефлёр убеждают возлюбленных быть отважными, а шокирующая картинка, хлесткое предложение из грубых времен древности. Клирик Иоанн явно не желает заимствовать мотивы любви-соперничества в куртуазном варианте у (старшего) современника Гальфрида Монмутского, хотя и упоминает его в другом месте. Надо также сказать, что, рассуждая о диких валлийцах, он недалек от того, чтобы призвать к массовому избиению всех мужчин, по примеру того, как в предыдущем веке поступил доблестный Гарольд Годвинсон, прежде чем погибнуть при Гастингсе в 1066 г. [{1084}](#)

Британки, поступив так, в принципе зашли бы дальше германских женщин древности, которые обнажали только грудь либо, у Тацита, довольствовались подсчетом ран своих мужчин во время боя [{1085}](#). Может быть, доблесть предков, по которой Иоанн Солсберийский вздыхает подобно стольким почитателям минувших времен, в той же мере была германской, что и римской? Какой-нибудь Венанции Фортунат не стал бы отрицать этого. Что касается Тацита, то немного жаль, что Иоанн не обратился к нему и ни на миг не подумал разделить доблесть и дисциплину, тогда как именно этот римский автор мог противопоставить дисциплинированным римским военным — доблестных германских воинов, наделенных некоторыми проторыцарскими чертами.

Если Иоанн что и усвоил из общих мест латинской литературы, посвященных варварам, так это представление о переменчивости нрава последних: после бурного натиска они быстро устают. И, напротив, как рассказывает Флор, говоря о борьбе с цизальпинскими галлами, римляне отличаются стойкостью, которую им придает дисциплина [{1086}](#). Именно ей

они обязаны тем, что завоевали мир. И тем хуже, если у Иоанна не было ни материала, ни концепций, чтобы осмыслить причины упадка Рима. Англия еще не произвела на свет Гиббона, чей диагноз, впрочем, привел бы Иоанна в ужас^[273]. Ион, преданный своей схоластике, не слишком историчной, не ощущает разрыва между героями Римской республики и теми, кто носил *cingulum militiae* при поздней империи, то есть через пятьсот лет.

Однако древний Восток дал один пример такого размягчения нравов, грозившего и «нашим временам», который вызвал у него содрогание, — пример Сарданапала. Иоанн Солсберийский может перенять у Лукана сарказм насчет войны в пиршественных одеждах: когда наряды у бойцов слишком пышные, это побуждает врага поживиться за их счет. Сколько возможностей заклеить разукрашенных рыцарей XII в., обожавших геральдическую символику и подступавших в таком виде к границам не только французских княжеств, но и к границам Шотландии, где в 1172 г. война приобрела не очень рыцарский характер^[1087]. В этом отношении клирик Иоанн полностью солидаризируется со святым Бернаром Клервоским, высмеивавшим и поносившим мирское рыцарство, чтобы тем выше, по контрасту, превознести тамплиеров, чье отличие от мирян просто чудесно^[1088]. Иоанн Солсберийский разделяет его идеал аскетичного воина, который потому и более жесток в бою, избегает фанфаронства, а убивать его вынуждает сама суровость образа жизни. Тем не менее, поскольку ему ближе добрые языческие авторы, чем святому Бернару, то слова, чтобы высмеять гордеца и бахвала, он находит в комедии Теренция. «Больше всех хвалится при дворе» как раз тот, кто меньше всех проявляет отваги в бою. И как можно хвастаться тем, что тысячу раз избежал смерти?^[1089]

И как армия, достойная называться армией, может считать работу, тяжелый труд рабскими? Однако они вызывали ропот уже у римских солдат, как в «Анналах» рассказывает Тацит, — у солдат, которых Марк Корбулон сурово наказывал и хотел вести в Германию ради тяжелой войны^[1090].

Здесь Иоанн Солсберийский предпринимает попытку очернить всю красоту аристократической войны, всю ее несомненную искусность и в то же время всю ее умеренность, словом, все ее рыцарские достоинства, противопоставляя ей чистого и сурового, скромного и дисциплинированного римского солдата. И тем хуже для культуры нравов!

По счастью, ситуация все-таки была не столь простой, выбор никогда не был столь однозначным — между кровавой суровостью и милосердной изнеженностью. Разве французский XII в., приукрасив античную войну, сделал ее совершенно пресной? И разве Ланселоты, Персевали и Говены, которых ставили в пример другим рыцарям при пышных и (умеренно) сладострастных дворах, были кисейными барышнями, разве они жалели усилий и скупались на свою кровь? Говорить в 1160 г., что «в наше время» воины выродились, значило забывать о крестовых походах, свидетельствах Усамы ибн Мункыза, подвигах Вильгельма Маршала. Представлять в качестве образца римского солдата — это было по сути оскорблением для тех самых тамплиеров, которых живописал святой Бернар!

Но тамплиеров Иоанн Солсберийский мог и встречать, он слышал об их слабостях, они были живы и, следовательно, не оправдывали всех надежд. А вот римского солдата уже можно было поднять на пьедестал как непревзойденный эталон. Он был столь же недостижимым для критики, как граф Роланд и мессир Говен, и намного более дисциплинированным. Разве что Вивьен со своим обетом Богу, Ланселот, всецело преданный королеве, могли сравниться с ним с точки зрения покорности. Поэтому идеализированный,

отчасти выдуманный римлянин, выходец из отфильтрованного прошлого, занял видное место в представлениях клириков XII в., бывавших при дворах. Петр Блуаский в 1183 г. вслед за Иоанном Солсберийский произносит ему [римскому солдату] вдохновенный панегирик, славя его грубую простоту и скромность и вместе с тем осуждая преступления рыцарей после посвящения и высмеивая их подвиги, существующие только в виде картинок на щитах^{1091}.

Конечно, в тот момент рыцари и дамы не воспринимали античного героя как вызов рыцарскому идеалу. Они вместе читали романы, где благородных воинов Греции и Рима авторы переодевали в костюмы французов своего времени. Но «Поликратик» в конце концов будет переведен на французский — во время Столетней войны, повелением короля Карла V. В ближней перспективе этот образец, с его покорностью и величием, мог бы сыграть в развитии воинского идеала куда более важную роль, чем образы рыцарей Круглого стола, сражавшихся лишь затем, чтобы убить время и ввести читателя в заблуждение. К тому же, как мы видели, в самой литературе, вплоть до описания замка Грааля, нарастала тенденция воспевать аскезу и суровость — в тысяча двухсотом году она просто носилась в воздухе. И ее быстрое укрепление, отрицавшее рыцарские достоинства, более легкомысленные и более снисходительные — а значит, более характерные для «рыцарей», — вносило путаницу в определения «рыцарства» вплоть до Нового времени. Эти определения приобретали все более милитаризованный характер.

Если бы представления Иоанна Солсберийского об армии как о профессиональной элите, набираемой из трудящихся классов и формируемой наподобие нашего Иностранного легиона^[274], в XII в. воплотились в жизнь, произошла бы самая настоящая *военная мутация*. А значит, и определенные социальные изменения, хотя подобные административные действия меньше подорвали бы основы, чем создание народных ополчений Нового времени и чем изображаемое в наших современных мифах возвышение серва, воина «поневоле», произошедшее благодаря подвигу — в которое Иоанн Солсберийский недвусмысленно отказывался верить^{1092}.

Но в любом случае рассуждения об отборе (*delectus*) менее убедительны и окажут меньше влияния, чем страницы, посвященные присяге и верности, каковою всякий солдат обязан Церкви уже в силу того, что находится на службе. В самом деле, идея такой верности уже входит в систему взглядов на отношения Церкви и государства, разработанную близким другом Томаса Бекета: Церковь поддерживает государство, но и сдерживает его. Ведь он, как и его читатели-клирики, принимает интересы Церкви близко к сердцу. Разве он, как и каждый из них, — не потенциальный епископ? Поэтому его влияние при дворе и межеумочное положение связаны, как отмечает Сидни Пейнтер, с определенным представлением о христианском рыцарстве, представлением, которое он излагал и прежде всего формировал. Если в одном месте «Повести о Граале» можно прочесть, что рыцарство — высшее сословие, учрежденное Богом, эти слова в большей степени порождены «Поликратиком», нежели крестовым походом^[275].

Удаляясь, в духовном смысле, в римскую античность, Иоанн Солсберийский не берет с собой феодальный и сеньориальный аспект того средневекового рыцарства, которое никогда не называли словом *militia* без множества экивоков. Он, конечно, упоминает вассальную верность, но без нажима, между делом. Он цитирует слова Фульберта Шартрского об обязанностях перед сеньором, но Фульберт в тысячном году позаимствовал эти мысли у Цицерона, так что страница «Поликратика» не окрашивается в кричаще франкские тона. Впрочем, беглое упоминание о вассалитете почти не влечет за собой рассуждений о фьефе и сеньории. У военного есть только жалованье (*stipendium*), и его воинская функция никак не связана с наследственной собственностью, судебными правами, знатностью. Это освобождает *militia* от многого, и клирик Иоанн может начертить эпюру ее функции и дисциплины. Этот временный служитель англо-норманнских королей, а также их постоянный и пламенный почитатель даже не упоминает о их важной роли посвященных в рыцари.

Он славит в Генрихе Боклерке победителя при Бремюле, но не склонен особо отмечать посвящение Жоффруа Плантагенета или Галерана де Мелана, чей мятеж после этого выглядит проявлением тем большей неблагодарности^{1093}. В подобном случае римское право говорит об оскорблении величества, и этого Иоанну Солсберийскому достаточно. Его монарх — суверен в римском духе, а все тонкости и расчеты феодальных взаимоотношений недостойны внимания.

Но восхищение римским монархом, солдатом, магистратом не побуждает его отречься от христианства. Он не отрицает христианского Бога, подчеркнуто ставя Его волю выше всяких государственных соображений. И не отвергает церковной собственности, за счет которой живет. Напомним, что интерес англо-норманнских клириков к «римской дисциплине» тесно связан с тем, что она запрещала грабить земли, а ведь они владели землями^{1094}. И эта забота, на мой взгляд, в большой мере пронизывает самые актуальные

страницы книги Иоанна Солсберийского — те, где он упоминает о мече, который возлагают на алтарь, а потом берут с него.

Одно из главных положений его доктрины состоит в том, что всякого военного надо не только мобилизовать, но и привести к присяге. То есть солдат клянется Богом и величеством монарха делать всё, что повелит государь. В самом деле, он обязан так же повиноваться монарху, как и Богу, поскольку первый — как видно по восьмой книге — это «образ» второго. «Богу служат, верно любя того, кто царствует милостью Божьей»^{1095}.

Правда, верность королю уподобляли верности Богу уже Каролинги, но теперь римское величие монарха и государства объединяются, из чего следует перечень важных и грозных обязанностей: если надо, полагается умереть за *res publica*. Впрочем, чтобы потребовать такой жертвы, было бы достаточно закона о величестве, карающего за дезертирство^{1096}.^{276} Наконец, в обмен на такую присягу римляне получали «воинский пояс» (*cingulum militiae*) с соответствующими привилегиями^{1097}. После этого они могли унижать и разоружать солдат, которые взбунтовались или обесчестили себя тяжелым проступком, — пусть даже с возможностью реабилитации последних, если те проявят беспримерную доблесть^{1098}. Разве это не добрый римский принцип — больше бояться командира в случае неповиновения, чем врага, с которым ведешь бой?

Но в столь сильном государстве возникает риск, что повиновение Богу, Церкви отойдет на задний план — ив принципе, хотя Иоанн Солсберийский открыто этого не предусматривает, что монархическое государство даже двинет войска против нее. В королевстве каролингского типа с его запутанной системой сеньориальных отношений этот риск был явно меньшим, чем после григорианской реформы. Отныне светская и духовная власть посматривали друг на друга косо, и, если постараться превратить «рыцарство» в армию, оно могло бы стать менее христианским, чем когда-либо.

Чувствуется, что это подспудно тревожило Иоанна Солсберийского (и Церковь тысяча двухсотого года), коль скоро он, и даже несколько раз, подчеркивает, что присяга государству и монарху *ipso facto* предполагает уважение к Богу и Его верховенству, или же утверждает, что неуважение к святыням (сначала к языческим, потом к христианским) было главным поводом для лишения *cingulum* в римской древности^{1099}. Бороться с государством, выступая с оружием в руках против другого воинства (безоружного), вершащего суд, — значит идти против собственной службы, против военных. Но хуже всего — подрывать основы Церкви, творя святотатство; и тому государю, который не покарает святотатца собственным мечом, самому грозит меч Божий.

Всякий раз, когда Иоанн Солсберийский касается вопроса об обидах, чинимых Церкви, он забывает о своих римских образцах и видит перед собой рыцаря XII в. Он не только рассуждает о том, что со времен поздней Империи неприсягнувший солдат был подобен нерукоположенному священнику (оба занимаются своим делом незаконно). Переходя к позитиву, он сравнивает дисциплину духовенства, ее требования с дисциплиной вооруженной службы. Но есть ли ощутимые признаки того, что таковая служба подчинена Богу? Клириков рукополагают епископы. Клирики дают обет, аналога которому на «вооруженной службе» нет. Посвящение, как уже упоминалось, было прежде всего церемонией феодальной и куртуазной, для которой освящение оружия было дополнительным и даже дублирующим обрядом^{1100}, во всяком случае чем-то необязательным. Однако достаточно частым, коль скоро Иоанн Солсберийский может рассуждать о возложении меча — рыцарем, кого только что посвятили, — на алтарь, «откуда» тот впоследствии берет его обратно. «Утверждается торжественный обычай, дабы тот, кто только что получил рыцарский пояс, возложил в

церкви меч на алтарь. Тем самым он обязуется верно служить алтарю, обещает Богу выполнять свои обязанности на Его службе»^{1101}. Но ведь это приношение бессловесное. Как такое возможно? Иоанн Солсберийский пока не утруждает себя этим вопросом: он уверяет, что от неграмотных нельзя требовать письменной «долговой расписки», а ведь меч — долговая расписка рыцаря, кто этого не видит? Рыцарь дает молчаливое обещание делать много для Церкви и ничего против нее, довольствоваться своим жалованием, как требует Евангелие (Лк. 3:14)^{1102}. А кому неизвестна миссия «рукоположенного воинства»? Иоанн формулирует ее немного выше в классическом виде: защищать Церковь, бороться с изменой, почитать священство, спасать бедных от несправедливости, умиротворять страну. И за своих братьев рыцари, христианские воины, проливают кровь и даже умирают, если понадобится^{1103}. Жертвуя собой более ради общественного блага, чем из тщеславия, они становятся святыми.

Лучше бы они произносили все эти клятвы вслух, громко и внятно. Чуть дальше, внезапно отходя от книжных аналогий, Иоанн дает прорваться своей досаде. Это происходит в главе, посвященной возмутителям спокойствия Церкви, для противодействия которым он как истый постгригорианец рассчитывает скорее на государя, нежели на чудо. «Немало находится таких, кто открыто совершает злодеяние. Возлагая рыцарский пояс на алтарь ради освящения, они заявляют, что пришли сюда объявить войну алтарю, его служителям и Богу, почитаемому здесь. После этого я скорее бы поверил, что они предались злу (*malice*), чем тому, что они законно приняты в состав воинства (*milice*)»^{1104}. Здесь новы не столько каламбур и обличение, сколько картина святотатства, которая вдруг неожиданно возникает в конце этой главы «Поликратика», где знание часто мешается с пристрастием. Неужели посвящаемые в XII в. могли изрекать такие кощунственные слова? А рыцарь-посвятитель сам призывал их к грубости, как в «Гарене Лотарингском»?^{1105} И так можно было вступить в сословие, облеченное высокой христианской миссией? И публика это допускала, и никто из присутствующих рыцарей не поднимался, чтобы немедленно разоружить юного провокатора! И у монарха не находилось возражений! Каково признание, если все это правда, а не карикатурное утрирование!

Но я думаю, что это карикатура и что имеются в виду молодые рыцари, наследники сеньорий, для которых посвящение знаменовало достижение совершеннолетия и получение права ввязаться в распри из-за владений — не всегда заведомо несправедливые. В этих строках «Поликратика» *militia* перестает быть литературным вымыслом и вновь становится рыцарством, сеньорами (которых надо нейтрализовать).

Но в XII в. рыцарство также осознает само себя, стремится приобрести всеобщность и создает правила поведения, обычаи и эмблемы, расцвет которых мы видели в предыдущих главах. Снова называя рыцарство «сословием», Иоанн Солсберийский только укрепляет каролингскую — или, в Англии, альфредовскую^[277] — идею трех сословий. Он придает ей новую легитимность. Разве он не поддерживает рыцарство, хоть и желает держать его на почтительном расстоянии? Даже если вслед за ним и другие моралисты, Этьен де Фужер, Петр Блуаский, возмущаются применением, какие посвященные находят мечу, взяв его обратно с алтаря, — никто из них не ратует за отказ от этого двусмысленного поступка, от этого опасного ритуала. Таким образом, класс рыцарей, по-настоящему не оформившийся как братство, как организованное сословие, переходит в тысяча двухсотый год, образуя единство в моральном смысле. Для него это лестный, драгоценный вымысел. И он пользуется этим вымыслом, злоупотребляет им, забивая себе головы вздором о святом Граале.

Идеи Иоанна Солсберийского сопутствовали и способствовали прогрессу государства

Нового времени, государства, опирающегося на римское право, — до такой степени, что сразу же нанесли смертельный удар некоторым основам аристократической свободы, которые, как нам показалось, со времен древней Германии хранило все рыцарство, достойное этого названия. Однако это рыцарство вновь обрело более классическое отношение к верховенству Бога. И, может быть, это дает нам пищу для размышлений. Действительно, если представления клириков о *militia* отныне принимали более этапичный флик — как в одном пассаже Алана Лилльского^[278], — на практике сословие рыцарей оставалось сеньориальным, в большинстве случаев имевшим двойные полномочия — судебные и военные. Алан Лилльский был парижским магистром, автором написанной в 1184 г. «Суммы об искусстве проповедовать» разным социальным группам. В конечном счете он не слишком суров к рыцарям. В самом деле, он рекомендует им довольствоваться своими доходами, не совершать ни насилий, ни грабежей, «но быть защитниками родины, опекунами сирот и вдов» — следуя по стопам князей. «И пусть же они носят мирское оружие, внутренне облачившись в панцирь веры». Далее Алан Лилльский проводит развернутое сопоставление материального и духовного рыцаря^[1106]. Автор прозаического «Ланселота» то же самое изложит в наставлениях Дамы озера незадолго до 1230 г.^[1107] В каком-то смысле Иоанн посягает на свободу аристократии, составляя для нее подобную спецификацию требований, желая сделать из нее «сословие», которое подчинялось бы иным правилам, чем свойственные ей правила чести. Но Церковь, подчиняя, причем довольно мягко, аристократию непосредственно Богу, обеспечивает ей, согласно Иоанну Солсберийскому, некую автономию по отношению к монарху. Сам клирик Иоанн избегает призывов к слепому повиновению. Он еще раз утверждает моральную норму, которая послужит рыцарям опорой и поддержит их в борьбе с любым деспотизмом. Да хранит их Бог от превращения в настоящую армию.

Однако к Богу все чаще и чаще обращались на рубеже тысяча двухсотого года с тем, чтобы призвать к поддержке короля и христианнейших рыцарей: тому свидетельства — «История Филиппа Августа» Ригора и литургические дополнения к церемониям посвящения (или к сопровождающим их обрядам). И с тех пор было уже не редкостью, когда авторы ссылались *одновременно* на Роланда, Ланселота и на римскую дисциплину и тем самым, нагромождая лестные выдумки, приписывали «рыцарству» черты, которые противоречили одна другой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале этого эссе, около сотого года, римлянин Тацит отметил у германских варваров доблесть, и она вызвала у него невольное восхищение, хоть и не заставила закрыть глаза на ограничения и оборотные стороны не слишком статичной социальной организации, с которой была связана. И эта первая форма рыцарства мало-помалу стала господствующей, не обязательно, конечно, противясь любой дисциплине, но часто одерживая над ней верх в ходе франкской истории.

В конце эссе, напротив, англичанин Иоанн Солсберийский уже взирает с ностальгией на римскую дисциплину. Он приравнивает ее к доблести — возможно, несколько поспешно, но не то чтобы заведомо необоснованно. Близилось время, когда вместе с городской, культурной, административной мутациями государство вновь обретет некий «римский» характер, а самостоятельности рыцарей придет конец, когда на них станут возлагать строго определенную миссию либо, в качестве паллиативного средства от социального упадка, предлагать им мечтания.

Тем самым оба автора, Тацит и Иоанн Солсберийский, вполне могут, соответственно, предварить и заключить эссе о «рыцарстве», в котором даты рождения и упадка последнего несколько расходятся с обычными представлениями историков.

В самом деле, если на древнюю Германию часто ссылаются как на место, куда уходит корнями посвящение в рыцари, то видеть в ней рыцарский мир желают редко — напротив, месть и кровь, воинственные кличи придают ей брутальный облик. Однако вот уже несколько десятков лет как историческая критика обнаружила у франков и даже у германцев сотого года некое подобие аристократии. И, соединив эту идею с выводами антропологии, касающимися ограничений и норм «архаической» мести, я в самом деле сумел даже в древней Германии увидеть первые проявления у знатных воинов тенденции щадить друг друга, быть воинственными больше на словах, чем на деле. И «германская» свобода показалась мне более подходящим источником «рыцарства» в моем определении, чем римская дисциплина.

Древние германцы принадлежали к «варварскому» обществу, где, как и в других обществах с доминированием знатных воинов, можно выявить «подобие рыцарства». Там ощущается присутствие героического идеала, и порой германцы выбирали такую тактику и такие аргументы, чтобы ни в мести, ни в смертельной борьбе не доходить до крайности. Уже давало о себе знать презрение к простому крестьянину, характерное для аристократии, которая, с другой стороны, хорошо умела требовать от «герцогов» и королей соблюдать некую этику и навязывала им самые настоящие соглашения, добиваясь уважения к своей «вольности» — которую то хвалит, то обличает Тацит.

Черты этого первого рыцарства, должно быть, несколько стерлись, когда германцы, объединившись во франкский и аламаннский союзы, проникли на территорию Римской империи и в ее армию. Тем не менее упадок (или мутация, если угодно) этой империи позволил им сохранить многие из своих манер и социальных привычек, которые смогла усвоить и галло-римская аристократия. Разве аристократия Северной Галлии не сделалась франкской, после того как Хлодвиг принял христианство? И настолько, что «франкские» короли и лейды VI в., часто (но не всегда) критикуемые Григорием Турским, не обязательно отказывались от всего «германского»; к тому же христианство определенного рода, ориентированное на псалмы и на святилища с реликвиями, позволяло им оставаться умеренно-мстительными. Те гнусные поступки, о которых иногда писал епископ Григорий, не помешали им официально сохранять в рамках франкской монархии культуру чести.

В каролингском мире «вассалы» уже были всадниками с благородными манерами, и их этики было бы достаточно, чтобы мы признали в них «рыцарей», если делать акцент по преимуществу на долге верности королю, Богу, сеньорам. Собственно, не существовало такой эпохи, когда бы воплощенной этикой знати было рыцарство и только оно, и если в XII в. внимание к хорошим манерам при контактах «равных» друг с другом возрастет, это вовсе не будет означать забвения идеала вассальной верности, уравновешиваемого мстительным представлением о чести. Хорошие манеры займут более важное место, но ведь упоминания о них можно обнаружить еще во многих сборниках документов IX в. Если говорить о рыцарстве во франкском мире и в первом феодальном веке, то под этим словом надо понимать рыцарское сообщество, нормы взаимоотношений между рыцарями, а также такие обычаи, как вызов на поединок, прощение в обмен за публичное покаяние, а также заключение союзов между противниками, в частности, между тюремщиками и пленниками, непохоже, встречавшееся все чаще. Особенно часто такое случалось во время междоусобных войн — но не исключительно. Для этого периода Пьер Бурдьё уже мог бы говорить о появлении некой рыцарской манеры поведения (*habitus*), настолько тесного взаимопонимания знатные воины достигли меж собой и так решительно отгородились от своих сервов.

В то же самое время, без сомнения, возник и укоренился идеал или, скорее, идеология христианского «рыцарства» как защитников слабых и поборников справедливости, а значит, потенциальных реформаторов общества и даже врагов феодалов. Мало того, что библейское христианство могло взять на себя задачу осуществления «германской» мести (потому что она в конечном счете была не столь варварской, как судебная лютость римлян), — при Карле Великом и Людовике Благочестивом расцвело то, что Жан Флори называет идеологией меча: «верные» короля разделили с ним обязанности по защите вдов и сирот, женщин, безоружных крестьян. В какой-то мере это был обман, маска рыцарской функции как прикрытие феодального гнета, утверждение, которому противоречило реальное поведение этих «верных». Эта христианская идеология скорее оправдывала и прощала рыцарей, чем улучшала их нравы, а с другой стороны — представляла собой символическое насилие, освящавшее слабость как статусную характеристику тех, кому покровительствуют. Не отражает ли «Житие Геральда Орильякского» всю двойственность такой идеологии? И все-таки в мире, где царил настоящий социальный контроль, где пенитенциарная система исходила, по выражению Питера Брауна, из «презумпции греха» (*monde peccatise*), эта идеология могла некоторым образом цивилизовать нравы. По крайней мере тут есть что обсуждать.

Пусть в каролингских школах твердили немного наивные максимы о верности, особо не задумываясь, насколько эти формулы имеют отношение к реальной жизни, — франкский мир IX в. уже кажется нам чрезвычайно изощренным. Потому что шел технический прогресс, развилась черная металлургия, благодаря которой создавались прочные мечи и еще более прочные доспехи, так что знатым противникам при столкновениях приходилось прибегать к хитрости или к вероломству!). И потому что существовали социоюридические процедуры, от судебного поединка до обмена заложниками, организаторы которых практиковали и демонстрировали настоящее искусство обуздывать насилие и проявлять либо милосердие, либо суровость в зависимости от конкретного случая, под эгидой Права и Милости, — если можно говорить о рыцарском искусстве, то это оно и есть!

Эту изощренность (относительную) унаследовал первый феодальный век, как и всю каролингскую культуру, и произошло это еще на фоне аграрного роста. Позже тысячный год страшно оклеветали, драматизировали, извратили, и намерение разоблачить эти домыслы, как здесь, так и в других публикациях, одновременно помогало мне работать и поощряло

переосмыслять социальную историю, пытаются кое-что в ней прояснить. А ведь посткарolingский период (900–1030) во многих отношениях был веком активного взаимодействия в среде рыцарства. Наличие замков умеряло активность феодальной войны (между сеньорами), и ее участники всё больше настраивались на мирное общение и на зрелище (которое можно было видеть со стен замков). Эпические идеалы давали о себе знать, когда речь шла о предках или о походах на язычников и неверных, но французская глубинка прежде всего совершенствовала феодальную казуистику — краеугольным камнем ее морали оставалась верность сеньору. Если еще сохранялся риск соскользнуть в насилие, то в конечном счете скорей для войн князей, чем для войн между сеньорами соседних замков, ограничиваемых в том числе и «Божьим миром».

Вот главный тезис этого эссе: классическое рыцарство, состоящее из организованных, традиционных подвигов, игр, зрелищ и хороших манер в общении между рыцарями всех стран, зародилось и понемногу сформировалось в остах и при дворах региональных князей. Его черты едва брезжат на некоторых страницах Рихера Реймского, написанных в 990-х гг., но более отчетливо и явно обнаруживаются в «Истории Вильгельма Завоевателя», в том месте, где Гильом Пуатевинский в 1070-х гг. рассказывает об осаде Мулиэрна в 1048 г. Еще ярче они проявляются на многих страницах книги великолепного Ордерика Виталия. Никто лучше него не рассказал об усилиях князей выглядеть справедливыми и изысканными (на самом деле не ограничивая свою власть над знатью), о том, как рыцари во время сражения старались щадить друг друга, взаимно избегать убийства или пожизненного пленения. У обоих авторов, Гильома Пуатевинского и Ордерика Виталия, также без прикрас показано, как самые) почитаемые рыцари одновременно с заботой о чести пеклись и о материальной выгоде. В то же время тот и другой славят или по крайней мере описывают зарождение настоящего княжеского правления, опирающегося на новое богатство городов, на Церковь, отделяющую себя от мира. Князь XII в. поддерживал со знатью отношения двойственного характера: он претендовал на то, что путем торжественного посвящения вводит ее представителей в состав рыцарства, но тут же подчеркивал, что этот факт делает их его должниками, порождает вассальную зависимость.

В этот период «рыцарской мутации» как в текстах, так и в жизни реально проявляется представление о том, что принадлежность к рыцарству (не только как статус) крайне важна для знатного человека независимо от страны, от народа («франкского», «аквитанского», «нормандского»), к которому он принадлежит по рождению и наследуемым владениям. Рыцарство локализовано. Оно по-настоящему усваивает нечто вроде сеньориального универсализма, выраженного в готовности принять в свое лоно турок и сарацин, что у тех вызывает определенный отклик, и в еще более твердом намерении распространиться из французских дворов на все дворы христианской Европы.

Так что идея, что рыцарство зародилось около тысяча сорока года во Франции, сама по себе не ошибочна! Авторы XIX в. были неправы лишь в том, что усматривали антагонизм между тогдашним рыцарством и откровенным варварством — недостаточно христианским и недостаточно благородным — вассалов прежних веков. Они также переоценивали роль крестового похода в укреплении влияния Церкви на рыцарей. Ведь в крестовом походе мы могли видеть удивительное смешение священной, жестокой, войны и рыцарской войны между прагматичными противниками, уважающими друг друга. Стиль поведения рыцарей тысяча сорока года был прямым продолжением раннего франкского Средневековья и его «германского» характера (в социологическом, а не этническом смысле) и по-прежнему неоднозначно сочетался с рассуждениями о защите церквей и слабых.

Рыцари не стали к тому моменту большими христианами, чем прежде; они испрашивали

благословение оружия еще с X в., домогались этого и вне церемониала своего феодального и куртуазного посвящения. И если влияние Церкви на них обрело другой характер, то оно обрело таковой и по отношению ко всем классам общества.

По меньшей мере один из этих классов отныне составлял рыцарству некое подобие конкуренции — имеется в виду городская деловая буржуазия, смешанная с подневольными министриалами, подъем которых становится очевидным на заре XII в. Само рыцарство нуждалось в реорганизации и в создании широкомасштабной системы обмена и связей, сами его рыцарские достоинства получили свою цену, поскольку рыцари часто становились кем-то вроде наемников (*soudoyers*). Случайно ли соборы с 1130 г. трактовали их турниры как «мерзкие торжища»? Тем не менее многие из рыцарей были или называли себя «бедными», алчными до княжеских щедрот; есть ощущение, что этот класс начал утрачивать стабильность и что не всем было так уж просто получить доступ к блеску княжеских дворов.

Однако в XII в. этот блеск вылился в невиданную роскошь благодаря укреплению власти князей и финансированию, которое обеспечивал ей подъем города и деревни. И с тех пор дворы стали источниками новшеств — распространителями куртуазных любовных игр, усиливших роль благородных женщин, уже заметную и раньше, а также игровых вариаций на тему окружающего христианства, таких как поиски Грааля.

В этом смысле класс рыцарей еще ждали отдельные прекрасные дни — по милости короля, князя и даже Церкви, заведомо относившейся к этому классу более снисходительно, чем к другим. История развития государства — это в то же время история препон, какие оно ставило для социальной трансформации, и первым этапом этой истории был второй феодальный век, в течение которого знать получала щедроты и привилегии, компенсирующие ей некоторую утрату могущества (как и конец монополии на управление).

Классическое рыцарство с его турнирами и празднествами, с его литературой было в большей степени выдуманным и искусственным сословием, чем «проторыцарство» раннего Средневековья: те, кто его выдумывал, пускали пыль в глаза часто затем, чтобы скрыть неслыханные разочарования класса рыцарей или совершаемые исподволь (со времен Иоанна Солсберийского) усилия сделать их людьми *военными* в строгом смысле слова, поставить на службу государству. Однако рыцарство еще долго будет выполнять вполне реальную социальную функцию. Ведь это был стиль жизни, завораживавший семейства нуворишей, и те продлевали существование рыцарства, всеми силами стремясь войти в его состав. Это было еще и олицетворение настоящих воинов, принципы поведения которых еще долго будут (пусть наполовину, не целиком) принципами ведения войн, даже христианских и национальных. В этом смысле XII в. знаменует и возникновение отдельных длительных тенденций в военном деле — тяги, к зрелищности (с периодическими обновлениями зрелища) и в то же время неизменного стремления приукрашивать войну в эстетическое и моральном отношении. Даже рискуя сделать ее слишком привлекательной для «христианской цивилизации» Запада.

Париж, 18 декабря 2006 г.

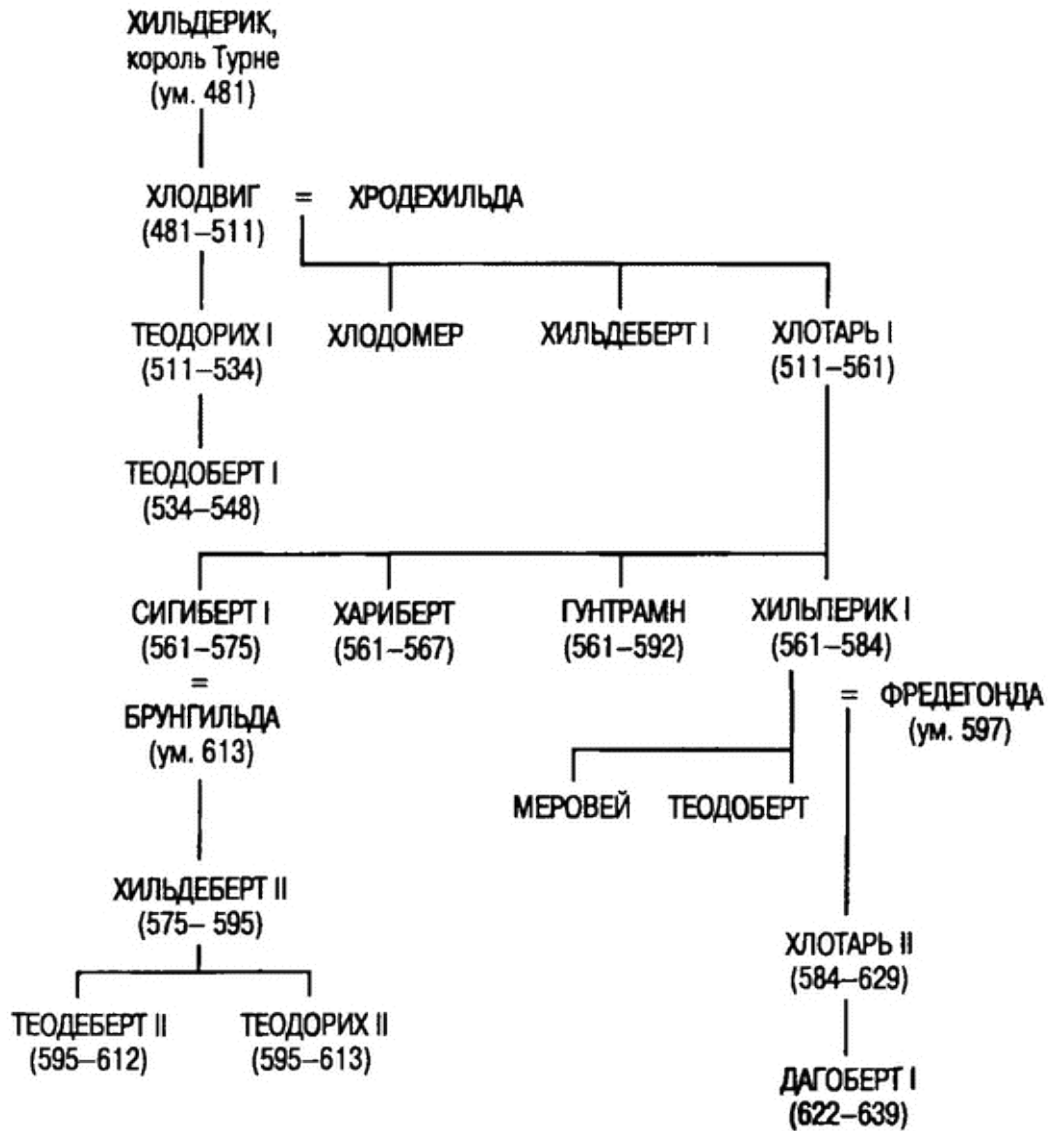
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УПОМЯНУТЫХ СРАЖЕНИЙ

- 17 — поход римлян в Германию
- 357 — Аргенторат (Страсбург)
- 451 — Каталаунские поля
- 486–487 — Суассон
- 507 — Вуйе
- 582 — осада Буржа
- 732 — Пуатье
- 778 — Ронсевальское ущелье; см. также «Песнь о Роланде» в указателе авторов и произведений
- 782 и 784 — каролингские походы в Саксонию
- 800–801 — осада Барселоны
- 24 июня 833 — Люгенфельд
- 25 июня 841 — Фонтенуа-ан-Пюизе
- 866 — Бриссарт
- 876 — Андернах
- 885–886 — осада Парижа норманнами
- Июнь 888 — Монфокон
- 15 июня 923 — Суассон
- 27 июня 992 — Конкерёй
- Между 1003 и 1013 — сражение на пуатевинском побережье
- Между 1010 и 1015 — сражение близ замка Боже в Сен-Жюньене
- 6 июля 1016 — Понлевуа
- 18 января 1038 — сражение на реке Шер
- 21 августа 1044 — Нуи в Сен-Мартен-ле-Бо
- 1047 — Валь-э-Дюн
- 1049 — осада Мулиэрна
- 1052–1053 — осада Арка
- 14 октября 1066 — Гастингс
- 1071 — Кассель
- 1 июля 1097 — Дорилей
- 1097, 1098 — осады Антиохии и сражения при ней
- 11 декабря 1098 — взятие Марры (Мааррат ан-Нуман)
- 15 июля 1099 — взятие Иерусалима
- 1099, 1100 — осады Ле-Мана
- 30 сентября 1106 — Таншбре
- Октябрь 1108 — Турбессель (Телл Башир)
- 1109 — встреча и вызов при Жизоре
- 20 августа 1119 — Бремюль
- 17 сентября 1119 — поединки при Бретёе
- 26 марта 1124 — Бургтерульд [Ружмонтье]
- Март 1127 — осада башни святого Донациана в Брюгге
- 1151 — осада Монтрёй-Белле

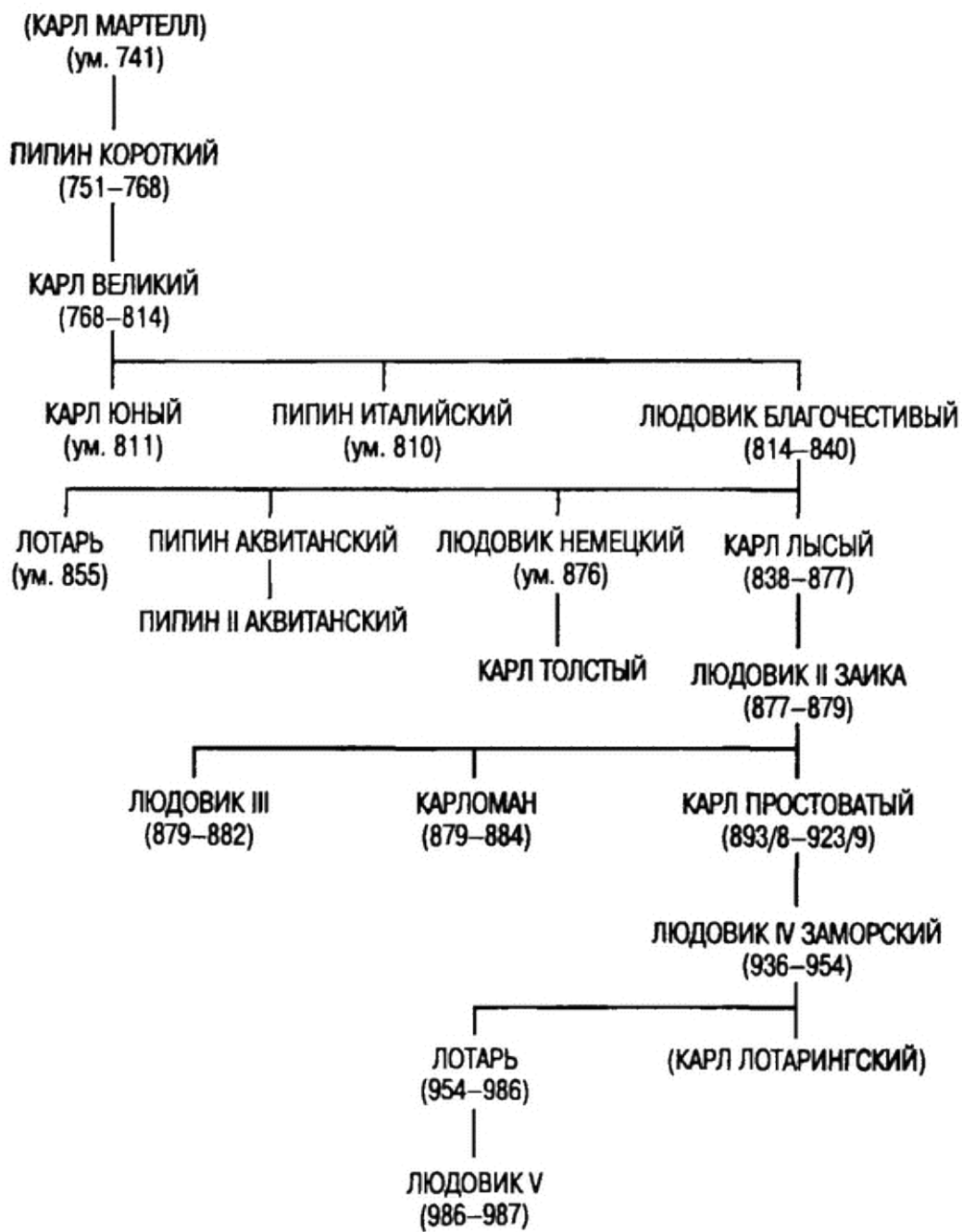
- 1168 — турниры между Гурне-сюр-Аронд и Рессон-сюр-Мац (см. также 1183)
- 1170 — турнир в Тразеньи
- 1175 — турнир между Бреном и Суассоном
- Между 1176 и 1180 — турнир в Э
- 1178 — турнир между Вандёем и Ла-Фер
- Около 1180 — турнир между Анэ и Сорелем
- 1183 — турниры между Гурне-сюр-Аронд и Рессон-сюр-Мац (см. также 1168)

УПРОЩЕННАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ

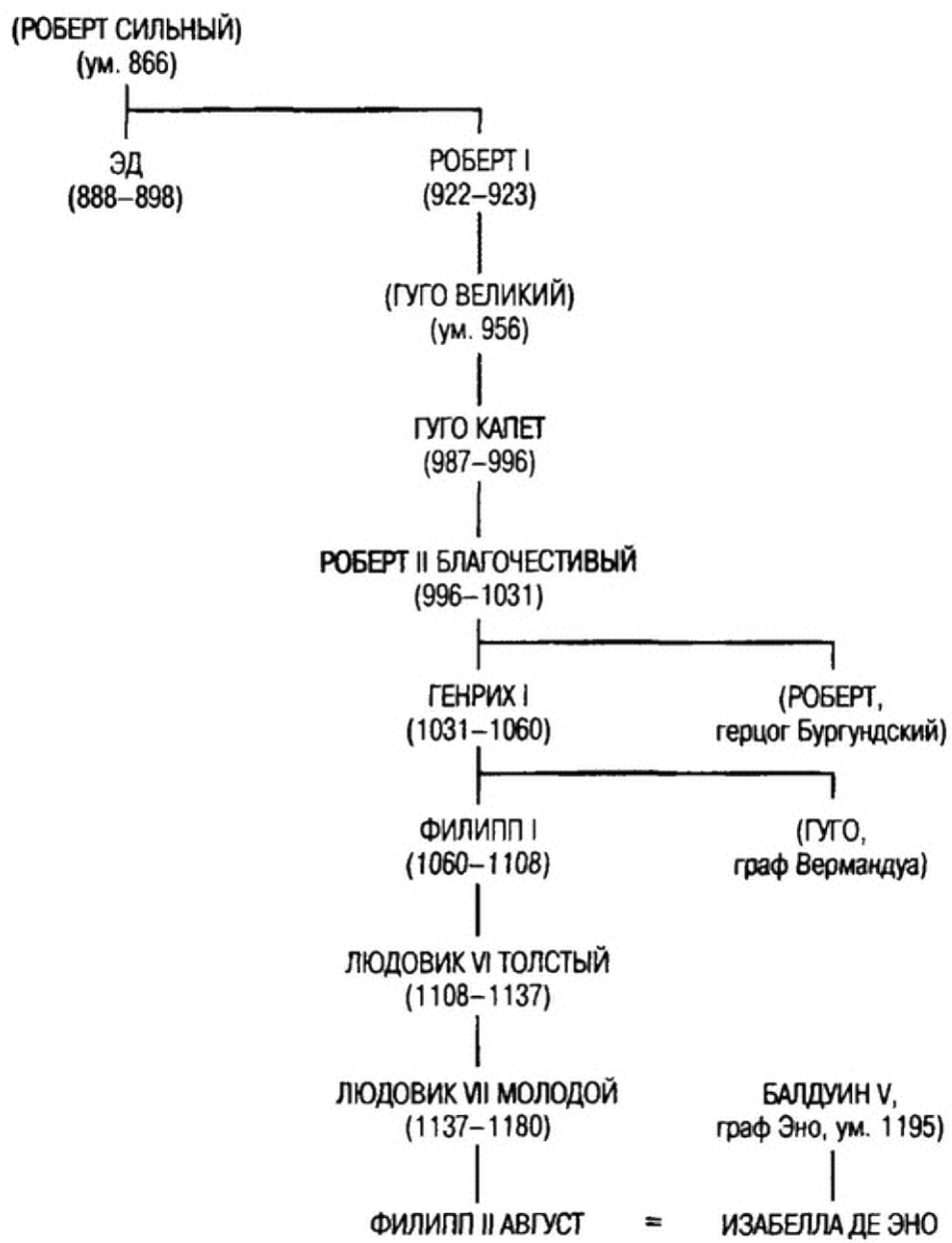
1. КОРОЛИ ИЗ РОДА МЕРОВИНГОВ



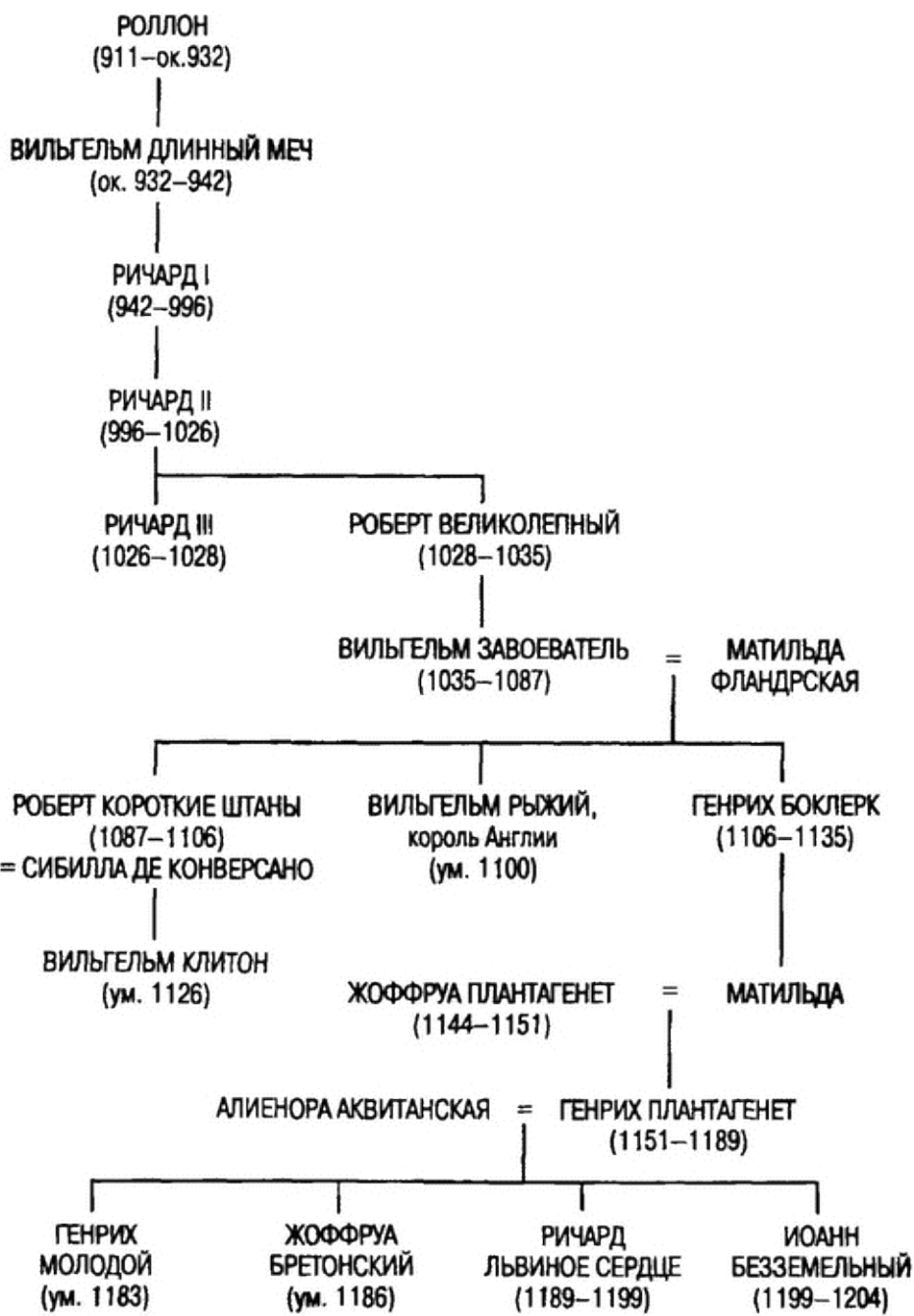
2. КОРОЛИ ИЗ РОДА КАРОЛИНГОВ



3. КОРОЛИ ИЗ РОДОВ РОБЕРТИНОВ И КАПЕТИНГОВ



4. ГЕРЦОГИ НОРМАНДИИ



ИСТОЧНИКИ

Сокращения:

AA. SS. — Acta sanctorum болландистов, третье издание

MGH — Monumenta Germaniae Historica (SS — Scriptores, Scr. rer. Merov. — Scriptores rerum merovingicarum)

PL — Migne. Patrologie latine

Abbon (de Sancto Germano). Le siege de Paris par les Normands: poeme du 9^e siècle. Ed. et trad. Henri Waquet. Paris: Belles lettres, 2^e tirage, 1964.

Abélard et Héloïse. Correspondance. Texte trad, [du latin] et présenté par Paul Zumthor. Paris: Union generale d'éditions, 1979.

Adalbéron de Laon. Poeme au roi Robert: introduction, édition et traduction par Claude Carozzi. Paris: Société d'éditions les Belles lettres, 1979.

Adimar de Chabannes. Chronique: introduction et traduction par Yves Chauvin et Georges Pon. Turnhout (Belgique): Brepols, 2003.

Albert d'Aix. Histoire des croisades. Trad, du latin avec une introd., des suppl., des notices et des notes par Guizot. Paris: J. L. J. Briere, 1825 (Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13^e siècle). Переиздание: Clermont-Ferrand: Paléo, 2004 (переводы, переизданные в этой серии, красивы, но следует обращаться к более поздним критическими изданиям, чем те, с которых переводили Гизо и его сотрудник Фужер:

Albert d'Aix. Alberti Aquisgranensis Historia hierosolymitana // Recueil des Historiens des Croisades. T. I, Historiens occidentaux. 4. Publié par l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres. Paris: Imprimerie royale [puis] Imprimerie imperiale [puis] Imprimerie nationale, 1879. P. 265–713. —

Albert of Aachen. Historia Ierosolimitana: history of the journey to Jerusalem. Edited and translated by Susan B. Edgington. Oxford: Clarendon Press, 2007).

Annales de Saint-Bertin: publiées par Felix Grat, Jeanne Vieliard et Suzanne Clemencet. Paris: C. Klincksieck, 1964. (Publications pour la Société de l'histoire de France.)

Annales de Saint-Vaast // Les annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast. Pub. par l'abbé Charles Dehaisnes. Paris: Mme Ve J. Renouard, 1871. (Publications pour la Société de l'histoire de France.) [Русский перевод: Вестаинские анналы (анналы Сен-Вааста) / Пер. М. С. Петровой // *Историки эпохи Каролингов*. М.: РОССПЭН, 1999. С. 161–188.]

Annales... qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi. Post ed. G. H. Pertzii recogn. Fridericus Kurze. Hannoverae: Hahn, 1895. (Четные страницы.)

Annales regni Francorum inde ab a. 741, usque ad a. 829. Post ed. G. H. Pertzii recogn. Fridericus Kurze. Hannoverae: Hahn, 1895. (Нечетные страницы.)

Annales royales des Francs: de l'année 741 a l'année 829. Trad, du latin par Ch. Guizot et R. Fougères. Clermont-Ferrand: Paléo, 2001 (сравнить с переводом в критическом издании: *Charlemagne*. Textes choisis par Georges Tessier... Paris: A. Michel, 1967. P. 125–191).

Anthologie des troubadours: textes choisis, présentés et traduits par Pierre Bee. Paris: Union générale d'éditions, 1979.

Asironomus. Das Leben Kaiser Ludwigs: herausgegeben und übersetzt von Ernst Tremp. (После: Thegan. Die Taten Kaiser Ludwigs). Hannover: Hahn, 1995

Baumgartner, Emmanuèle; Short, Ian (ed. et trad.). La geste du roi Arthur selon le roman de Brut de Wace et l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth. Paris: Union générale d'éditions, 1993.

Benoît de Sainte-Maure. Chronique des ducs de Normandie: publiée d'après le manuscrit de Tours avec les variantes du manuscrit de Londres par Carin Fahlin. Uppsala: Almqvist och Wiksells, boktryck, 1951–1954.

Бернар Анжерский и продолжатели. Чудеса святой Веры. Перевод на французский: *Bernard, ecolâtre d'Angers*. Sainte Foy, vierge et martyre. Trad. par Auguste Bouliet, Louis Servieres. Rodez: E. Carrere, 1900. Воспроизведено в издании: *Livre des miracles de sainte Foy: 1094–1994*. Selestat: Société des amis de la Bibliotheque humaniste, 1994 (см.: *Liber miraculorum Sancte Fidis*: edizione critica e commento a cura di Luca Robertini. Spoleto: Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1994. [Biblioteca di Medioevo latino; 10]).

Bernard de Clairvaux (saint). Les combats de Dieu; pref. de Dom Jean Leclercq; textes choisis et trad, par Henri Rochais. Paris: Stock, 1981. (Stock + plus. Série Moyen-Age.)

Bernard de Clairvaux (saint). Éloge de la nouvelle chevalerie (перевод отрывков) // Richard, Jean (ed.). L'esprit de la Croisade. Paris: les Ed. du Cerf, 1969. (Chrétiens de tous les temps.) P. 136–152.

Бертран де Борн. Произведения: *Le Seigneur-troubadour d'Hautefort*, l'oeuvre de Bertran de Born. Ed. par Gerard Gouiran. 2 ed. condensee. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1987 (первое издание: *L'Amour et la guerre*: l'oeuvre de Bertran de Born. Ed. par Gerard Gouiran. Aix-en-Provence: Publ. Université de Provence; Marseille: diffusion Laffitte, 1985.). [На русском языке: *Жизнеописания трубадуров*. М.: Наука, 1993. С. 51–89. — *Песни трубадуров*. М.: Наука, 1979. С. 76–101.]

Biographies des troubadours: Textes provenc aux des XIII et XIV siècles. Ed. par Jean Boutière et A.-H. Schutz. Paris: A.-G. Nizet, 1964. [Русский перевод: *Жизнеописания трубадуров*. М.: Наука, 1993. (Литературные памятники.)]

Boretius, Alfred см. Les Capitulaires.

Bultot-Verleysen, Anne-Marie (ed. et trad.). Des *Miracula* inédits de saint Geraud d'Aurillac (909) // *Analecta Bollandiana*. 118, 1–2, 2000. P. 47–141.

Cahen, Claude. Un episode épico-féodal franc dans une chronique arabe// *La Noblesse au Moyen âge, XIe-XVe siècles: essais à la mémoire de Robert Boutruche*. Reunis par Philippe Contamine. Paris: Presses universitaires de France, 1976. P. 129–132.

Les Capitulaires // *Charlemagne*. Textes choisis par Georges Tessier... Paris: A. Michel, 1967. P. 280–361. По изданию: *Capitularia regum Francorum*. Denuo ed. Alfredus Boretius et Victor Krause. Hannoverae: Hahn, 1883. T. 1. (MGH. Legum Sectio II; T. 1.)

Caesarius Heisterbacensis. Dialogus miraculorum. Textum ad quatuor codicum manuscriptorum éditionisque principis fidem accurate recognovit Josephus Strange. Coloniae, Bonnae [u.a.]: Heberle, 1851.

La chanson d'Antioche. Ed. par Suzanne Duparc-Quioс. Paris: Librairie orientaliste P. Geuthner, 1976–1978. Частичный перевод см.: *Croisades et pèlerinages: recits, chroniques et voyages en Terre sainte, XII-XVI siècle*. Édition établie sous la direction de Danielle Regnier-Bohler. Paris: R. Laffont, 1997. P. 27–169.

Garin le Lorrain: chanson de geste du XII^e siècle. Traduction par Bernard Guidot. Nancy: Presses universitaires de Nancy; Metz: Ed. Serpenoise, 1986.

La Chanson de Girart de Roussillon. Traduction, presentation et notes de Micheline de Combarieu du Gres et Gerard Gouiran. Paris: Librairie générale française, 1993. (Lettres gothiques.)

La chanson de Guillaume. Texte établi, trad, et annoté par Francois Suard. Paris: Bordas, 1991. (Les classiques medieviaux.) [Русский перевод: *Песнь о Гильоме / Пер. Ю. Б. Корнеева // Песни о Гильоме Оранжском*. М.: Наука, 1985. (Литературные памятники.) С. 225–312.]

La Chanson de Roland. Édition critique et traduction de Ian Short Paris: Librairie générale

française, 1990. (Lettres gothiques.) [Русский перевод: Песнь о Роланде / Пер. Ю. Корнеева // *Западноевропейский эпос*. Л.: Лениздат, 1977. С. 496–608.]

La chanson de Sainie Foi d'Agen: poeme provencal du XIe siècle. Edite d'après Je manuscrit de Leide par Antoine Thomas. Paris: H. Champion, 1925. (Les classiques français du Moyen Age.)

Chrétien de Troyes. Erec et Enide; traduction, presentation et notes de Jean-Marie Fritz. Paris: Librairie generale française, 1992. (Lettres gothiques.) [Русский перевод: Кретьен де Труа. Эрек и Энида / Пер. Н. Я. Рыковой // *Кретьен де Труа*. Эрек и Энида. Клижес. М.: Наука, 1980. (Литературные памятники.) С. 5–211.]

Chrétien de Troyes. Cliges; suivi des Chansons courtoises. Traduction et notes par Charles Mela et Olivier Collet. Paris: Librairie generale française, 1994. (Lettres gothiques.) [Русский перевод: Кретьен де Труа. Клижес / Пер. В. Б. Микушевича // *Кретьен де Труа*. Эрек и Энида. Клижес. М.: Наука, 1980. (Литературные памятники.) С. 212–414.]

Chrétien de Troyes. Le Chevalier de la Charrette: ou le roman de Lancelot: ed. critique d'après tous les manuscrits existants. Trad., presentation et notes de Charles Me'la. Paris: Librairie generale française, 1992. (Lettres gothiques.)

Chrétien de Troyes. Le Chevalier au lion ou Le roman d'Yvain. Traduction, presentation et notes de David F. Hult. Paris: Librairie generale française, 1994. (Lettres gothiques.) [Русский перевод: Кретьен де Труа. Ивэйн, или Рыцарь со львом / Пер. В. Микушевича // *Средневековый роман и повесть*. М.: Худ. лит., 1974. [БВЛ. Серия первая, т. 24.].)

Chrétien de Troyes. Le conte du Graal ou Le roman de Perceval. Traduction critique, presentation et notes de Charles Mela. Librairie generale française, 1990. (Lettres gothiques.)

Chrétien de Troyes. Romans; suivis des Chansons. Paris: Librairie generale française, 1994. (La Pochotheque. Classiques modernes.) (Пять романов, удобно объединенных, но представленных менее приятно.)

Chroniques arabes des Croisades. Textes recueillis et présentés par Francesco Gabrieli; traduit de l'italien par Viviana Pâques. Seconde édition. Aries: Sindbad-Actes Sud, 1996.

Le «Convenlum» (vers 1030): un precurseur aquitain des premières epepees. Ed. par George Beech, avec la collab. de Yves Chauvin et Georges Pon. Geneve; Paris: Droz, 1995 (см. более убедительный комментарий: *Martindale, Jane*. Status, authority and regional power: Aquitaine and France, 9th to 12th centuries. Aldershot: Ashgate Variorum, 1997. Chap. Vila, VIIb, VIII.)

Croisades et pèlerinages: recits, chroniques et voyages en Terre sainte, XII-XVI siècle. Édition établie sous la direction de Danielle Régner-Bohler. Paris: R. Laffont, 1997. (Bouquins.)

Dudon de Saint-Quentin. De moribus et actis primorum Normanniae ducum. Ed. par Jules Lair. Caen: Typ. F. Le Blanc-Hardel, 1865. (Memoires de la Société des antiquaires de Normandie; 23.) (Английский перевод: *Dudo of St Quenlin*. History of the Normans. Transl. into English by Eric Christiansen with introd. and notes. Woodbridge: the Boydell press, 1998).

Dufournet, Jean (ed.). Anthologie de la poesie lyrique française des XIIe et XIIIe siecies. Paris: Gallimard, 1989.

Eginhard. Vie de Charlemagne; editee et traduite par Louis Halphen. Paris: Les belles lettres, 1994. 6e tirage. [Русский перевод: Эйнхард. Жизнь Карла Великого / Пер. А. В. Тарасовой // *Историки эпохи Каролингов*. М.: РОССПЭН, 1999. С. 7–35.]

Étienne de Fougères. Le Livre des manieres. Edite par R. Anthony Lodge. Geneve: Droz, 1979.

Ermold Le Noir. Poeme sur Louis le Pieux et epitres au roi Pepin. Edites et traduits par Edmond Faral. Deuxieme tirage. Paris: Société d'édition les Belles lettres, 1964. 2^e tirage. [Частичный русский перевод: Эрмольд Нигелл. Из поэмы «Прославление Людовика, христианнейшего кесаря» / Пер. М. Л. Гаспарова // *Песни о Гильоме Оранжском*. М.: Наука, 1985. (Литературные

памятники.) С. 459–462.]

Eudes de Saint-Maur. Vie de Bouchard le Vénérable, comte de Vendôme, de Corbeil, de Melun et de Paris (X^e et XI^e siècles); publiée avec une introduction par Charles Bourel de la Roncière. Paris: A. Picard et fils, 1892.

Flodoard. Les annales de Flodoard: publiées d'après les manuscrits, avec une introduction et des notes par Ph. Lauer. Paris: A. Picard et fils, 1905. [Русский перевод: Флодоард. Анналы / Пер. А. В. Тарасовой // *Рухер Реймский*. История. М.: РОССПЭН, 1997.]

Foucher de Chartres. Histoire des croisades. Trad, par Guizot. Paris: J. L. J. Briere, 1825. (Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13^e siècle. XXIV.) Переиздание: Paris: Cosmopole, 2001 (см.: Foucher de Chartres. Historia Hierosolymitana // *Recueil des Historiens des Croisades*. Т. I, Historiens occidentaux. 3. Public par l'Académie des Inscriptions. Paris: Imprimerie royale [puis] Imprimerie imperiale [puis] Imprimerie nationale, 1861. P. 311–485.)

Frédégaire. Chronique des temps merovingiens: livre IV et continuations. Texte latin selon l'ed. de J.M. Wallace-Hadrill; trad., introd. et notes par Olivier Devillers et Jean Meyers. Turnhout: Brepols, 2001.

Galbert de Bruges. Le Meurtre de Charles le Bon. Trad, du latin par J. Gengoux. Anvers: Fonds Mercator, 1978 (см.: *Galbert de Bruges*. Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de Flandre (1127–1128). Publie d'après les Manuscrits avec une introduction et des notes par Henri Pirenne. Paris: A. Picard, 1891. [Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire; 10]).

Geoffroi de Monmouth. Histoire des rois de Bretagne; traduit et commenté par Laurence Mathey-Maille. Paris: les Belles lettres, 1992. [Русский перевод: Гальфрид Монмутский. История бриттов / Пер. А. С. Бобовича // *Гальфрид Монмутский*. История бриттов. Жизнь Мерлина. М.: Наука, 1984. (Литературные памятники.). С. 5–137.] (См. также: *Baumgartner, Emmanuèle*.)

Geoffroi; prieur de Vigeois. Chronique; traduite par Francois Bonnelye. Tulle: Vve Detoumelle, 1864. (См.: *Chronica // Nova; bibliothecae manuscriptorum librorum tomus secundus*. Opera ac studio Philippi Labbe. Parisiis, apud Sebastianum Cramoisy, regis & reginæ architypographum, et Gabrielem Cramoisy, 1657. Т. II. P. 279–342.)

Grégoire de Tours. Histoire des Francs; traduit du latin par Robert Latouche (1963). Paris: Belles lettres, 1995. [Русский перевод: Григорий Турский. История франков / Пер. В. Д. Савуковой. М.: Наука, 1987. (Литературные памятники.)]

Grégoire de Tours. La Gloire des martyrs // Grégoire de Tours. Le livre des miracles; et autres opuscules. Revis et collationnés sur de nouveaux manuscrits et trad, pour la société de l'histoire de France par H. L. Bordier. Т. 1, Paris: J. Renouard, 1857.

Gui d'Amiens. The Carmen de Hastingae Proelio of Guy, Bishop of Amiens. Edited by Catherine Morton and Hope Muntz. Oxford: Clarendon press, 1972.

Guibert de Nogent. Autobiographie; introduction, édition et traduction par Edmond-René Labande. Paris: Société d'édition les Belles lettres, 1981. (Les Classiques de l'histoire de France au Moyen âge; 34.)

Guibert de Nogent. Geste de Dieu par les Francs: histoire de la première croisade. Introduction, traduction et notes par Monique-Cécile Garand. Turnhout: Brepols, 1998.

Guillaume IX, duc d'Aquitaine. Les chansons de Guillaume IX, duc d'Aquitaine: 1071–1127. Éditées par Alfred Jeanroy. Paris: H. Champion, 1913. (На русском языке: Граф Пуатевинский // *Жизнеописания трубадуров*. М.: Наука, 1993. С. 8–11.)

Guillaume de Jumièges см. Van Houts, Elisabeth.

Guillaume de Poitiers. Histoire de Guillaume le Conquerant. Éditée et traduite par Raymonde Foreville. Paris: Société d'éditions les Belles lettres, 1952.

Histoire anonyme de la première croisade. Éditée et traduite par Louis Brehier. 2e tirage. Paris: Société d'éditions les Belles lettres, 1964.

Histoire auguste: les empereurs romains des II^e et III^e siècles. Traduction du latin par André et Jacqueline Chastagnol; édition établie par André Chastagnol. Paris: R. Laffont, 1994.

L'Histoire de Guillaume Le Maréchal. comte de Striguil et de Pembroke, régent d'Angleterre de 1216 à 1219: poème français. Publ. par Paul Meyer. Paris: H. Laurens, 1891–1894. 2 vol. (Société de l'histoire de France.)

Histoire des comtes d'Anjou // *Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise.* Publiées par Louis Halphen et René Poupardin. Paris: A. Picard, 1913. P. 25–73.

Histoire du roi Louis VII // *Vie de Louis le Gros par Suger.* Suivie de l'Histoire du roi Louis VII. Publiées d'après les manuscrits par Auguste Molinier. Paris: A. Picard, 1887. (Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire; 4.) P. 147–178.

Jaffé, Philipp (ed.). *Regesta pontificum romanorum.* T. I. Lipsiae: Veit, 1885.

Jean de Marmoutier. Histoire de Geoffroy Plantagenêt // *Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise.* Publiées par Louis Halphen et René Poupardin. Paris: A. Picard, 1913. P. 172–231.

Ioannes Saresberiensis. Policraticus. *Recognovit et prolegomenis, apparatu critico, commentario, indicibus instruxit Clemens C I. Webb.* Oxonii: e typographeo Clarendoniano, 1909.

Lais de Marie de France. Traduits, présentés et annotés par Laurence Harf-Lancner; texte édité par Karl Warnke. Paris: Librairie générale française, 1990. (Lettres gothiques.)

Lambert d'Ardre. Chronique de Guines et d'Ardre. Texte latin et trad. française anonyme du XV^e siècle en regard. Ed. Marquis Denis-Charles de Godefroy-Menilglaise. Paris: J. Renouard, 1855. (Société des antiquaires de la Morinie.) (См.: *MGH. SS. XXIV. Annales aevi Suevici.* Hannoverae: Hahn, 1895).

Livre de l'Histoire des Francs // *Fredegarii et aliorum chronica: Vitae sanctorum.* Ed. Bruno Krusch. Hannoverae: Hahn, 1888 (MGH, Scr. rer. Merov. T. II. P. 215–328).

Marie de France см. Lais...

Les Miracles de Notre Dame de Chartres. Texte latin inedit. Éd. Antoine Thomas // Bibliothèque de l'école des chartes. 42 (1881), 505–550.

Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour au XIII^e siècle. Avec une introd. et des notes historiques et géographiques par Edmond Albe; introd. et complément de notes par Jean Rocacher. Toulouse: le Pèlerin, 1996.

Les miracles de Saint Benoît. Écrits par Adrevald, Aimoin, André, Raoul Tortaire et Hughes de Saint-Marie, moines de Fleury; réunis et publiés pour la Société de l'histoire de France par Eugène de Certain. Paris: Vve J. Renouard, 1858.

Miracles de saint Bertin // *MGH. SS. XV*, p. 509–518.

Miracles de sainte Foy см. Бернар Анжерский и продолжатели.

Miracles de saint Geraud см. *Bultot-Verleysen, Anne-Marie.*

Miracles de saint Ouen // *Richard, Jean-Claude.* Les 'miracula' composés en Normandie aux XI^e et XII^e siècles. Thèse de l'École des chartes. 1975, t. II, p. 3–56.

Miracles de saint Philibert // *Monuments de l'histoire des abbayes de Saint-Philibert (Noirmoutier, Grandlieu, Tournus).* Publiés d'après les notes d'Arthur Giry par René Poupardin. Paris: Alphonse Picard et his, 1905.

Miracles de saint Ursmer // *Acta Sanctorum.* 3 ed. Aprilis 11. P. 555–575.

Miracles de saint Wandrille // *Acta Sanctorum.* 3 ed. Julii V. P. 281–289.

Montage Guillaume: Les Deux redactions en vers du Moniage Guillaume; Chansons de geste du

XIIe siècle; publiées d'après tous les manuscrits connus par Wilhelm Cloetta. Paris: Firmin Didot et Cie, 1906–1911. 2 vol. [Русский перевод: Монашество Гильома / Пер. Ю. Б. Корнеева // *Песни о Гильоме Оранжском*. М.: Наука, 1985. (Литературные памятники) С. 313–458.1

Nithard. Histoire des fils de Louis le Pieux. Éditée et traduite par Philippe Lauer. 2^e tirage. Paris: les Belles lettres, 1964. [Русский перевод: Нитхард. История в четырёх книгах // *Историки эпохи Каролингов* / Пер. А. И. Сидорова. М.: РОССПЭН, 1999. С. 97–142.]

Notker Balbulus. Taten Kaiser Karls des Grossen (Gesta Karoli Magni imperatoris). Hrsg. von Hans F. Haefele. Berlin: Weidmann, 1959. (MGH. SS. N.S., 12.) [Русский перевод: Ноткер Заика. Деяния Карла Великого / Пер. Т. И. Кузнецовой // *Памятники средневековой латинской литературы. VIII-IX века*. М: Наука., 2006. С. 427–441.]

Odon de Cluny. Vie de Géraud d'Aurillac // *PL* 133, col. 639–704 (d'après: Marrier, Dom Martin. Bibliotheca Cluniacensis. Paris: Cramoisy, 1614). Французский перевод: Vie de saint Géraud, comte d'Aurillac. Par saint Odon, abbé de Cluny, troisième abbé d'Aurillac / Trad, par Géraud de Venzac // *Revue de la Haute-Auvergne*. 43 (1972). P. 220–322.

Orderic Vital. Histoire de Normandie. Trad. Guizot. Paris: J.-L.J. Brière, 1825–1827. 4 vol. (Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France; 25 a 28) (см.: *The ecclesiastical history of Orderic Vitalis*. Edited by Marjorie Chibnall. Oxford: Clarendon Press, 1969–1980. 6 vol.)

Orderic Vital как интерполятор Gesta Normannorum см. Van Houts, Elisabeth.

Paul Diacre. Histoire des Lombards; texte traduit par François Bougard. Turnhout: Brepols, 1994. [Русский перевод: Павел Диакон. История лангобардов. М.: Азбука-классика, 2008.]

Raymond d'Aiguilhe. Histoire des Francs qui ont pris Jérusalem. Trad. Guizot. Paris: J.L. Briere, 1824. (Coll. des Memoires relatifs à l'Histoire de France; T. 21.) Переиздание: Clermont-Ferrand: Paléo, 2003. (См.: *Le «Liber» de Raymond d'Aguilers*. Publ. par John Hugh et Laurita L. Hill. Paris: P. Geuthner, 1969.)

Raoul de Caen. Histoire de Tancrede. Trad. Guizot. Paris: J.-L.-J. Brière, 1825. (Coll. des Memoires relatifs à l'Histoire de France; T. 23.) Переиздание: Clermont-Ferrand: Paléo, 2004 (см.: Radulfus Cadomensis. Gesta Tancredi in expéditione Hierosolymitana // *Recueil des Historiens des Croisades*. T. I, Historiens occidentaux. 3. Publie par l'Académie des Inscriptions. Paris: Imprimerie imperiale, 1866. P. 603–716).

Raoul Glaber. Histoires. Texte trad, et présenté par Mathieu Arnoux. Turnhout: Brepols, 1996. (Miroir du Moyen Age.)

Regino Prumlensis. Chronicon cum continuatione Treverensi. Recognovit Fridericus Kurze. Hannoverae: Impensis bibliopoli Hahniani, 1890.

Richer. Histoire de France (888–995). Éd. et trad. R. Latouche. Paris: Les Belles Lettres, 1930. 2 vol. (Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age; 12.) [Русский перевод. *Рихер Рейнский*. История / Пер. А. В. Тарасовой. М.: РОССПЭН, 1997.]

Rigord: Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de Philippe-Auguste. I, Chroniques de Rigord et de Guillaume le Breton. Publiées par Henri François Delaborde. Paris: Renouard, 1882. (Société de l'Histoire de France; 210.)

Robert le Moine. Histoire de la première croisade. Trad. Guizot. Paris: J. L.-J. Brière, 1825. (Coll. des Memoires relatifs à l'Histoire de France; T. 23.) Переиздание: Clermont-Ferrand: Paléo, 2004 (см.: Robertus Monachus. Roberti monachi Historia Iherosolymitana // *Recueil des Historiens des Croisades*. T. I, Historiens occidentaux. 3. Publie par l'Académie des Inscriptions. Paris: Imprimerie imperiale, 1866. P. 717–801).

Sedulius, Scotus. Sedulii Scotti carmina. Cura et studio I. Meyers. Turnholt: Brepols, 1991. (Corpus Christianorum. 117. Continuatio Mediaevalis.)

Sidoine Apollinaire. Oeuvres. Texte établi et traduit par André Loyen. Paris: les Belles lettres,

1960–1970. 3 vol.

Syrus Cluniacensis. Vita sancti Maioli (B.H.L. 5179) // *Iogna-Pral, Dominique*. Agni immaculati: recherches sur les sources hagiographiques relatives a Saint Maieul de Cluny (954–994). Paris: Cerf, 1988. P. 163–285.

Suger. Vie de Louis VI le Gros. Éditée et traduite par Henri Waquet. Paris: H. Champion, 1929. (Les Classiques de l'histoire de France au moyen age. 11.) [Русский перевод: Сугерий, аббат Сен-Дени. Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции (1108–1137) / Пер. Т. Ю. Стукаловой. М.: Старая Басманная, 2006.]

Tacite. La Germanie. Texte établi et traduit par Jacques Perret. Paris, les Belles lettres, 1949. [Русский перевод: Тацит Публий Корнелий. О происхождении германцев и местоположении Германии / Пер. А. С. Бобовича // *Тацит Публий Корнелий*. Анналы. Малые произведения. История. М: АСТ: Ладомир, 2001. С. 458–483.]

Tacite. Oeuvres completes. Textes trad., présentés et annot. par Pierre Grimal. Paris: Gallimard, 1990.

Usâma ibn Munqidh. Des enseignements de la vie (Kitâb al-l'tibâr): souvenirs d'un gentilhomme syrien du temps des Croisades. Presentes, traduits et annotés par André Miquel. Paris: Imprimerie nationale, 1983. [Русский перевод: Усама ибн Мункыз. Книга назидания / Пер. Ю. И. Крачковского. М; Издательство восточной литературы, 1958.]

Van Houts, Elisabeth Maria Cornelia (ed. and transl.). The Gesta Normannorum ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni. Oxford: Clarendon press, 1992–1995. 2 vol.

Venance Fortunat. Poèmes. Texte établi et trad, par Marc Reydellet. 3 vol. Paris: les Belles lettres, 1994–2004.

Vie de saint Arnoul. PL 174, col. 1367–1439.

Vie de saint Ermeland: Vita sancti Ermelandi. Éd. W. Levison // *MGH. Scr. rer. Merov.* 5, p. 684 sq.

Wace. La partie arthurienne du Roman de Brut. Éd. I. D. O. Arnold et M. M. Pelan. Paris: Klincksieck, 1962 (см. также: Baumgartner, Emmanuèle).

ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Althoff, Gerd. «Nunc fiant Christi milites, qui dudum extiterunt raptores». Zur Entstehung von Rittertum und Ritterethos // *Saeculum*. 32 (4, 1981). S. 317–333.

Althoff, Gerd. Ira Regis: Prolegomena to a History of Royal Anger // *Anger's past: the social uses of an emotion in the Middle Ages*. Éd. by Barbara H. Rosenwein. Ithaca (N. Y.); London: Cornell university press, 1998. P. 59–74.

Althoff, Gerd. Spielregeln der Politik im Mittelalter: Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt: Primus, 1997.

Auerbach, Erich. Mimesis, dargestellte Wirklichkeit in der abendlandischen Literatur. Bern: A. Francke, 1945. Французский перевод: Mimesis, la representation de la réalité dans la littérature occidentale / trad, de l'allemand par Cornelius Heim. Paris: Gallimard, 1968. [Русский перевод: Ауэрбах, Эрих. Мимесис: изображение действительности в западноевропейской литературе / Пер. А. В. Михайлова. М.: Прогресс, 1976.]

Aurell, Martin (dir.). Noblesses de l'espace Plantagenêt: 1154–1224. Table ronde tenue à Poitiers le 13 mai 2000. Poitiers: Université de Poitiers, Centre national de la recherche scientifique, Centre d'etudes superieures de civilisation médiévale, 2001.

Aurell, Martin. La noblesse en Occident, V^e-XV^e siècle. Paris: Armand Colin, 1996.

Aurell, Martin. L'empire des Plantagenêt: 1154–1224. Paris: Perrin, 2002.

Aurell, Martin. La deterioration du statut de la femme aristocratique en Provence (X^e-XIII^e

siècles) // *Le Moyen Age*. 91 (1985) 1, 5–32.

Bachrach, Bernard S. Merovingian military organization, 481–751. Minneapolis: University of Minnesota press, 1972.

Bachrach, Bernard S. Early Carolingian warfare: prelude to empire. Philadelphia (Pa.): University of Pennsylvania press, 2001.

Bachrach, Bernard S. Fulk Nerra, the neo-Roman consul, 987–1040: a political biography of the Angevin count. Berkeley; Los Angeles; London: University of California press, 1993.

Bachrach, Bernard S. Armies and politics in the early Medieval West. Aldershot (GB): Variorum, 1993.

Bachrach, Bernard S. Charlemagne's cavalry: myth and reality // *Military affairs*. XLVII (1983). P. 181–187. Перепечатано в: *Bachrach, Bernard S. Armies...* № XIV.

Bachrach, Bernard S. Charles Martel, Mounted Shock Combat, the Stirrup, and Feudalism // *Studies in Medieval and Renaissance History*. 7 (1970). P. 47–75. Перепечатано в: *Bachrach, Bernard S. Armies...* № XII.

Baldwin, John W. Aristocratic life in medieval France: the romances of Jean Renart and Gerbert de Montreuil, 1190–1230. Baltimore (Md.): the J. Hopkins university press, 2000.

Baldwin, John W. Philippe Auguste et son gouvernement: les fondations du pouvoir royal en France au Moyen age / trad, de l'anglais par Beatrice Bonne. Paris: Fayard, 1991.

Baldwin, John W. Jean Renart et le tournoi de Saint-Trond: une conjonction de l'histoire et de la littérature // *Annates ESC*. 3 (1990). P. 565–588.

Barber, Richard et Barker, Juliet. Les tournois / trad, de l'anglais par Jean-Robert Gerard. Paris: Cie 12, 1989.

Barbero, Alessandro. L' Aristocrazia nella societa francese del Medioevo: analisi delle fonti letterarie, secoli X—XIII. Bologna: Cappelli ed., 1987.

Barthélemy, Dominique. Les comtes, les sires et les «nobles de chateaux» dans la Touraine du XI^e siècle // *Campagnes médiévales: l'homme et son espace*. Etudes offertes a Robert Fossier. Travaux reunis par Elisabeth Mornet. Paris: Publications de la Sorbonne, 1995. P. 439–453.

Barthélemy, Dominique. L'an mil et la paix de Dieu: la France chretienne et féodale, 980–1060. Paris: Fayard, 1999.

Barthélemy, Dominique. Chevaliers et miracles: la violence et le sacre dans la société féodale. Paris: Armand Colin, 2004.

Barthélemy, Dominique. La mutation de l'an mil a-t-elle eu lieu?: servage et chevalerie dans la France des X^e et XI^e siècles. Paris: Fayard, 1997.

Barthélemy, Dominique. La société dans le comte de Vendôme: de l'an mil au XIV^e siècle. Paris: Fayard, 1993.

Barthélemy, Dominique, Bougard, François, et Le Jan, Régine (dir.). La vengeance, 400–1200: actes du colloque, Rome, 18–20 septembre 2003. Rome: École française de Rome, 2006. (Collection de l'École française de Rome; 357.)

Bartlett, Robert J. Technique militaire et pouvoir politique, 900–1300 // *Annates ESC*. 41 (1986). P. 135–1159.

Bartlett, Robert J. The making of Europe: conquest, colonization and cultural change, 950–1350. London: Penguin, 1993.

Baschet, Jerome. La civilisation féodale: de L'an mil à la colonisation de l'Amerique. Paris: Aubier, 2004.

Bates, David. The Conqueror's adolescence // *Anglo-Norman Studies*. 25 (2003). 1–18.

Bates, David. Normandy before 1066. London and New York: Longman, 1982.

Bales, David. William the Conqueror. Stroud: Tempus, 2001.

- Bezzola, Reto Raduolf.* Les Origines et la formation de la littérature courtoise en Occident, 500–1200. Paris: H. Champion, 1944–1967. 4 vol.
- Baumgartner, Emmanuèle.* Chrétien de Troyes, «Le conte du Graal». Paris: Presses universitaires de France, 1999.
- Baumgartner, Emmanuèle.* Chrétien de Troyes, Yvain, Lancelot, la charrette et le lion. Paris: Presses universitaires de France, 1992.
- Bedos-Rezak, Brigitte.* L'apparition des armoiries sur les sceaux en Orléans et en Picardie (v. 1130–1230) // *2e Colloque de L'Académie internationale d'Héraldique: L'origine des armoiries* [Bressanone, 1981], Actes. Eds. H. Pinoteau, M. Pastoureau, M. Popoff. Paris, 1983. P. 23–41. Перепечатано в: *Bedos-Rezak, Brigitte.* Form and order... № 7.
- Bedos-Rezak, Brigitte.* Form and order in Medieval France: studies in social and quantitative sigillography. Aldershot (GB): Variorum, 1993.
- Bedos-Rezak, Brigitte.* Social Implications of the art of chivalry, the sigillographic evidence (France 1050–1250) // *The medieval court in Europe.* Éd. by Edward R. Haymes. München: Fink, 1986. P. 1–31. Перепечатано в: *Bedos-Rezak, Brigitte.* Form and order... № 6.
- Block, Marc.* La société féodale (1939, 1940). 3 ed. Paris: Albin Michel, 1989. [Русский перевод: Блок, Марк. Феодалное общество / Пер. М. Ю. Кожевниковой. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2002.]
- Bonnassie, Pierre.* Les descriptions de forteresses dans le *Livre des Miracles* de Sainte Foy de Conques // *Mélanges d'archéologie et d'histoire médiévales en l'honneur du doyen Michael de Bouard.* Genève: Droz, 1982. P. 17–26. Перепечатано в: *Bonnassie, Pierre.* Les sociétés...
- Bonnassie, Pierre.* Les sociétés de L'an mil: un monde entre deux âges. Bruxelles; Paris: De Boeck université, 2001. (Bibliothèque du Moyen Âge; 18.)
- Borst, Arno* (hrsg.). *Das Rittertum im Mittelalter.* Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
- Boüard, Michel de.* Guillaume le Conquérant. Paris: Fayard, 1984.
- Bouchard, Constance Brittain.* «Strong of body, brave and noble»: chivalry and society in medieval France. Ithaca (N.Y.); London: Cornell university press, 1998.
- Bouet, Pierre, Levy, Brian et Neveux, François* (publ.). *La tapisserie de Bayeux: l'art de broder l'histoire.* Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, octobre 1999. Caen: Office universitaire d'études normandes: Presses universitaires de Caen, 2004.
- Boutet, Dominique.* La chanson de geste: forme et signification d'une écriture du Moyen âge. Paris: Presses universitaires de France, 1993.
- Boutet, Dominique.* Charlemagne et Arthur ou Le roi imaginaire. Paris: H. Champion, 1992.
- Boutet, Dominique* (ed.). «Raoul de Cambrai»: entre l'épique et le romanesque. Actes du colloque du Groupe de recherche sur l'épique, 20 novembre 1999. Nanterre: Centre des sciences de la littérature, Université Paris X-Nanterre, 2000.
- Brown, Warren C. and Gorecki, Piotr.* Conflict in medieval Europe: changing perspectives on society and culture. Aldershot; Burlington (Vt.): Ashgate, 2003.
- Brown, Peter.* L'essor du christianisme occidental: triomphe et diversité, 200–1000 / trad, de l'anglais par Paul Chemla. Paris: Éd. du Seuil, 1997.
- Brown, Peter.* La Société et le sacré dans L'Antiquité tardive / trad, de l'anglais par Aline Rousselle. Paris: Éd. du Seuil, 1985.
- Brunei-Lobrichon, Genevieve et Duhamel-Amado, Claudie.* Au temps des troubadours: XII^e-XIII^e siècles. Paris: Hachette, 1997.
- Buc, Philippe.* Dangereux rituel: de l'histoire médiévale aux sciences sociales. Paris: Presses universitaires de France, 2003.

Bumke, Joachim. Studien zum Ritterbegriff im 12. und 13. Jahrhundert. 2. Auflage. Heidelberg: C. Winter, 1977. Английский перевод: The concept of knighthood in the Middle Ages / transl. from the German by W. T. H. and Erika Jackson. New York: AMS Press, 1982.

Bur, Michel. La Formation du comte de Champagne: v. 950-v. 1150. Nancy: Université de Nancy II, 1977.

Bur, Michel. Le château. Turnhout: Brepols, 1999. (Typologie des sources du Moyen âge occidental; 79.)

Bur, Michel. Vers l'An Mil, la motte, une arme pour la révolution // *L'Information Historique* (Paris). 44 (1982). P. 101–108.

Cahen, Claude. Orient et Occident au temps des croisades. Paris: Aubier Montaigne, 1983.

Cardini, Franco. Alle radici della cavalleria medievale. Firenze: la Nuova Italia, 1982. [Русский перевод: Кардини, Франко. Истоки средневекового рыцарства / Пер. В. П. Гайдюка. М.: Прогресс, 1987]

Cardini, Franco. Quell' antica festa crudele: guerra e cultura della guerra dall' eta feudale alla grande rivoluzione. Firenze: G.C. Sansoni, 1982. Французский перевод: La culture de la guerre: X'-XVIII^e siècle / trad. de l'italien par Angelique Levi. Paris: Galimard, 1992.

Carrié, Jean-Michel et Rousselle, Aline. L'Empire romain en mutation: des Severes a Constantin, 192–337. Paris: Éd. du Seuil, 1999. (Nouvelle histoire de l'Antiquité, 8.)

Chartrou, Josèphe. L'Anjou de 1109 a 1151. Foulque de Jérusalem et Geoffroi Plantagenêt. Paris: les Presses universitaires, 1928.

Chetelain, André. Donjons romans des pays d'Ouest: etude comparative sur les donjons romans quadrangulaires de la France. Paris: A. et J. Picard, 1973.

Chauou, Amaury. L'idéologie Plantagenêt: royaume arthurien et monarchie politique dans l'espace Plantagenêt: XII^e-XIII^e siècles. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2001.

Chinerie, Marie-Luce. Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XII^e et XIII^e siècles. Geneve: Droz, 1986.

Chibnall, Marjorie. Moines & chevaliers normands: le monde d'Orderic Vital / trad. de l'anglais par M. & J. Vayssade. La Loupe: M. et J. Vayssade, 2002.

Chickering, Howell D. and Seller, Thomas H. (ed.). The Study of chivalry: resources and approaches. Kalamazoo, Mich.: Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 1988.

Cizek, Eugen. Histoire et historiens a Rome dans l'Antiquité. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1995.

Colardelle, Michel et Verdel, Éric. Chevaliers-paysans de l'an mil: au lac de Paladru. Paris: Éd. Errance; Grenoble: Musee dauphinois, 1993.

Combarieu de Gres, Micheline de. L'Idéal humain et l'expérience morale chez les héros des chansons de geste: des origines a 1250. Aix-en-Provence: Publications Université de Provence, 1979.

Le combattant au Moyen âge. 18^e Congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Montpellier, 1987. Paris: Publications de la Sorbonne, 1991.

Contamine, Philippe (pres.). Les chevaliers. Paris: Tallandier, 2006.

Contamine, Philippe. La guerre au Moyen âge. 3^e ed. mise a jour. Paris: Presses universitaires de France, 1992. [Русский перевод: Контамин, Филипп. Война в Средние века / Пер. с фр. Ю. П. Малинина, А. Ю. Карачинского, М. Ю. Некрасова. СПб.: Ювента, 2001.]

Contamine, Philippe et Corvisier, André (dir.). Histoire militaire de la France. 1, Des origines a 1715. Paris: Presses universitaires de France, 1992.

Contamine, Philippe (ed.). La Noblesse au Moyen âge, XI^e-XV siècles: essais à la mémoire de Robert Boutruche. Paris: Presses universitaires de France, 1976.

- Contamine, Philippe* (dir.). *Le Moyen âge: le roi, l'Eglise, les grands, le peuple: 481–1514*. Paris: Éd. du Seuil, 2002. (Histoire de la France politique.)
- Contamine, Philippe*. *Les tournois en France à la fin du Moyen âge // Josef Fleckenstein* (hrsg.). *Das ritterliche Turnier im Mittelalter: Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985. S. 425–449.
- Contamine, Philippe*. *Points de vue sur la chevalerie en France à la fin du Moyen Age // Francia*. *Forschungen zur westeuropäischen Geschichte*. 4 (1976). S. 255–286.
- Coupland, Simon*. *Carolingian arms and armor in the ninth century // Viator*. *Medieval and Renaissance studies*. 21 (1990). P. 29–50.
- Courcelle, Pierre*. *Histoire littéraire des grandes invasions germaniques*. Paris: Hachette, 1948.
- Cowdrey, Herbert Edward John*. *Bishop Ermenfrid of Sion and the penitential ordinance following the battle of Hastings // Journal of Ecclesiastical History*. 20 (1969). P. 225–242.
- Crouch, David*. *The birth of nobility: constructing aristocracy in England and France 900–1300*. Harlow: Pearson Longman, 2005.
- Crouch, David*. *William Marshal: court, career and chivalry in the Angevin Empire, 1147–1219*. 2nd edn. London: Longman, 2002.
- Crouch, David*. *Tournament*. London: Hambledon and London, 2005.
- Crubézy, Éric et Dieulafait, Ch*. *Le comte de l'an mil*. Talence: Fédération Aquitania, 1996. (Aquitania. Supplement; 8.)
- Dalarun, Jacques*. *Robert d'Arbrissel, fondateur de Fontevraud*. Paris: Albin Michel, 1985.
- Dauge, Yves Albert*. *Le Barbare: recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation*. Bruxelles: Latomus, 1981.
- Debord, André*. *Aristocratie et pouvoir: le rôle du château dans la France médiévale*. Paris: Picard, 2000.
- Demougeot, Émilienne*. *La Formation de l'Europe et les invasions barbares*. 3 vol. Paris: Aubier, 1969.
- Demurger, Alain*. *Chevaliers du Christ: les ordres religieux militaires au Moyen âge: XI^e-XVI^e siècle*. Paris: Éd. du Seuil, 2002. [Русский перевод: *Демурже, Алэн*. *Рыцари Христа: Военно-монашеские ордены в средние века, XI-XVI вв.* / Пер. М. Ю. Некрасова. СПб.: Евразия, 2008.]
- Demurger, Alain*. *Vie et mort de l'ordre du Temple: 1118–1314*. Paris: Éd. du Seuil, 1985. [Русский перевод: *Демурже, Алэн*. *Жизнь и смерть ордена тамплиеров, 1120–1314* / Пер. А. П. Саниной. СПб.: Евразия, 2008.]
- Depreux, Philippe*. *Prosopographie de L'entourage de Louis le Pieux (781–840)*. Sigmaringen: J. Thorbecke, 1997.
- Depreux, Philippe*. *Les sociétés occidentales du milieu du VI^e à la fin du IX^e siècle*. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2002.
- Devroey, Jean-Pierre*. *Economie rurale et société dans l'Europe franque, VI^e-IX^e siècles*. T. I. Paris: Belin, 2003.
- D'Haenens, Albert*. *Les Invasions normandes, une catastrophe?* Paris: Flammarion, 1970.
- Dissertations sur l'ancienne chevalerie*. Choies et présentées par Pierre Girard-Augry. Puiseaux: Pardes, 1990.
- Duby, Georges*. *Dames du XII^e siècle*. 3 vol. Paris: Gallimard, 1995–1996.
- Duby, Georges*. *Le chevalier, la femme et le prêtre: le mariage dans la France féodale*. Paris: France loisirs, 1981.
- Duby, Georges*. *Le dimanche de Bouvines: 27 juillet 1214*. Paris: Gallimard, 1973. [Русский перевод: *Дюби, Жорж*. *Битва при Бувине (27 июля 1214 года, воскресенье)* / Пер. с фр. Н.

Матяш. М.: Путь, 1999.]

Duby, Georges. Guerriers et paysans: VII^e—XII^e siècle, premier essor de L'économie européenne. Paris: Gallimard, 1973.

Duby, Georges. Guillaume le Marechal ou le Meilleur chevalier du monde. Paris: Fayard, 1984.

Duby, Georges. La Société aux XI^e et XII^e siècles dans la region maconnaise. Nouvelle édition. Paris: S. E. V. P. E. N.. 1971.

Duby, Georges. La Société chevaleresque (Hommes et structures du Moyen 3ge). Paris: Flammarion, 1988.

Duby, Georges. Les Trois ordres ou l'Imaginaire du féodalisme. Paris: Gallimard, 1978. [Русский перевод: Дюби, Жорж. Трехчастная модель, или представления средневекового общества о себе самом / Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург. М.: Языки русской культуры, 2000.]

Dumezil, Bruno. Les racines chretiennes de l'Europe: conversion et liberte dans les royaumes barbares, V'-VIII' siècle. Paris: Fayard, 2005.

Dunbabin, Jean. Discovering a past for the french aristocracy // Magdalino, Paul (ed.). The perception of the past in twelfth-century Europe. London; Rio Grande (Ohio): Hambledon press, 1992. P. 1–14.

Dunbabin, Jean. France in the making, 843–1180. 2nd ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000.

Dunbabin, Jean. Captivity and imprisonment in medieval Europe, 1000–1300. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.

Eggenberger, Chrisioph. Psalterium aureum Sancti Galli: mittelalterliche Psalterillustration im Kloster St Gallen. Sigmaringen: J. Thorbecke, 1987.

Erdmann, Karl. Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1935.

Favier, Jean. Les Plantagenêts: origines et destin d'un empire: XI^e-XIV^e siècles. Paris: Fayard, 2004.

Fleckenstein, Josef. Friedrich Barbarossa und das Rittertum: zur Bedeutung der großen Mainzer Hoftage von 1184 und 1188 // *Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971.* Hrsg. von den Mitarbeiter-n des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Bd. II. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972. S. 1023–1041. Перепечатано в: *Borst, Arno* (hrsg.). Das Rittertum...

Fleckenstein, Josef (hrsg.). Das ritterliche Turnier im Mittelalter: Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985.

Flori, Jean. Alienor d'Aquitaine: la reine insoumise. Paris: Payot & Rivages, 2004.

Flori, Jean. Richard Coeur de Lion: le roi-chevalier. Paris: Payot & Rivages, 1999. [Русский перевод: Флори, Жан. Ричард Львиное Сердце: король-рыцарь / Пер. с фр. А. В. Наводнюка. СПб: Евразия, 2008.1

Flori, Jean. Chevalerie et liturgie: remise des armes et vocabulaire chevaleresque dans les sources liturgiques du IX' au XIV' siècle // *Le Moyen Age* (4^e serie, 33). 84 (1978), 2. P. 247–278 et 84 (1978), 3–4. P. 409–442.

Flori, Jean. Chevaliers et chevalerie au Moyen âge. Paris: Hachette littératures, 1998. [Русский перевод: Флори, Жан. Повседневная жизнь рыцарей в средние века / Пер. с фр. Ф. Ф. Нестерова. М.: Молодая гвардия, 2006.]

Flori, Jean. Croisade et chevalerie: XI^e—XII^e siècles. Bruxelles; Paris: De Boeck Université, 1998.

Flori, Jean. L'Essor de la chevalerie: XI^e—XII^e siècles. Geneve: Droz, 1986.

Flori, Jean. L'Ideologie du glaive: prehistoire de la chevalerie. Geneve: Droz, 1983. [Русский

перевод: Флори, Жан. Идеология меча: Предыстория рыцарства / Пер. с фр. М. Ю. Некрасова. СПб.: Евразия, 1999.]

Flori, Jean. La guerre sainte: la formation de l'idée de croisade dans L'Occident chrétien. Paris: Aubier, 2001.

Flori, Jean. Pierre l'Ermite et la première croisade. Paris: Fayard, 1999.

Fossier, Robert. Enfance de l'Europe: X'-XII^e siècle. Aspects économiques et sociaux. Paris: Presses universitaires de France, 1982. 2 vol.

Fouracre, Paul. The Age of Charles Martel. London: Longman, 2000.

Fouracre, Paul (ed.). The new Cambridge medieval history. Vol. I. C. 500–700. Cambridge (GB): Cambridge university press, 2005.

Fournier, Gabriel. Le Chateau dans la France médiévale: essai de sociologie monumentale. Paris: Aubier Montaigne, 1978.

France, John. L'apport de la tapisserie de Bayeux a L'histoire de la guerre // *Bouet, Pierre et al.* (publ.) La tapisserie de Bayeux... P. 289–300.

France, John. La guerre dans la France féodale à la fin du IX^e et au X^e siècle // *Revue Beige d'histoire militaire.* 23/3 (1979). P. 177–198.

France, John. Victory in the East: a military history of the First Crusade. Cambridge: Cambridge university press, 1994.

France, John. Western warfare in the age of the Crusades, 1000–1300. London: UCL press, 1999.

Franchet d'Espèrey, Sylvie. Conflit, violence et non-violence dans la «Thébaïde» de Stace. Paris: les Belles lettres, 1999.

Les Francs, precurseurs de L'Europe. Exposition, Paris, Musee du Petit Palais, 23 avril—22 juin 1997. Avec la collab. de Patrick Pe'rin. Paris: Paris-Musees, 1997.

Frappier, Jean. Chrétien de Troyes. Nouv. ed. rev. Paris: Hatier, 1968.

Frappier, Jean. Le Graal et la chevalerie // *Romania* 75 (1954). P. 165–210. Перепечатано в издании: *Frappier, Jean.* Autour du Graal. Geneve: Droz, 1977. P. 89–128.

Fustel de Coulanges, Numa Denis. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. T. 3. La monarchie franque. Paris: Hachette et Cie, 1888. [Русский перевод: *Фюстель де Куланж, Нума Дени.* История общественного строя древней Франции. Т. 3. Франкская монархия / Пер. О. П. Захарьиной. СПб.: типо-лит. Альтшулера, 1907.]

Fustel de Coulanges, Numa Denis. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. T. 4. L'alleu et le domaine rural pendant l'epoque merovingienne. Paris: Hachette et Cie, 1889. [Русский перевод: *Фюстель де Куланж, Нума Дени.* История общественного строя древней Франции. Т. 4. Аллод и сельское поместье в меровингскую эпоху / Пер. О. П. Захарьиной. СПб.: типо-лит. Альтшулера, 1907.]

Gaier, Claude. Armes et combats dans l'univers medieval. Bruxelles: De Boeck, 1995–2004. 2 vol. (Bibliotheque du Moyen age. 5 et 22.)

Gaier, Claude. Les armes. Turnhout: Brepols, 1979. (Typologie des sources du moyen Age occidental; 34.)

Gaier, Claude. A la recherche d'une escrime decisive de la lance chevaleres-que: le “coup de fautre” selon Gislebert de Mons (1168) // *Femmes: manages, lignages: XII^e-XIV^e siècles; melanges offerts a Georges Duby.* Éd. Jean Dufournet. Bruxelles: De Boeck Univ., 1992. P. 177–196. Перепечатано в: *Gaier, Claude.* Armes et combats... Т. I. P. 57–77.

Gaier, Claude. Notes sur les origines du heaume chevaleresque // *Le musee d'armes,* 31 (1981). P. 15–22. Перепечатано в: *Gaier, Claude.* Armes et combats... Т. I. P. 105–110.

Gaier, Claude. La valeur militaire des armées de la première croisade // *Le temps des croisades: exposition,* Huy, eglise Saint-Mengold, 15 juin—29 septembre 1996. Organisee par la Ville de Huy et

IA. S. B. L. Septennales de Huy. Cat. red. par Alain Dierckens, Denis Diagre, Pauline Donceel-VoQte et al. Bruxelles: Credit communal, 1996. P. 57–84. Перепечатано в: *Gaier, Claude*. Armes et combats... T. II. P. 13–50.

Gaier, Claude. L'armement chevaleresque au Moyen Age (IX^e au XV^e siècle) // *Chdteaux-chevaliers en Hainaut au Moyen dge*: exposition, mai-septembre 1995 au Musee des beaux arts de Valenciennes. Bruxelles: Credit communal, 1995. P. 199–214. Перепечатано в: *Gaier, Claude*. Armes et combats... T. II. P. 167–179.

Gautheron, Marie, Belorgey, Jean-Michel, et al. L'Honneur: image de soi ou don de soi, un idéal equivoque. Paris: Autrement, 1991. (Morales, 3.)

Gautier, Leon. La Chevalerie. Paris: V. Palme, 1884.

Geary, Patrick J. Before France and Germany: the creation and transformation of the Merovingian world. Oxford; New York: Oxford university press, 1988. Французский перевод: *Naissance de la France: le monde merovingien* / trad. de l'anglais par Jeannie Carlier et Isabelle Detienne. Paris: Flammarion, 1993.

Gillingham, John. Richard I. New Haven: Yale University Press, 1999.

Gillingham, John. The cultivation of history, legend, and courtesy at the court of Henry 11 // *Kennedy, Ruth; Meecham-Jones, Simon*. Writers of the reign of Henry II: twelve essays. New York: Palgrave Macmillan, 2006. P. 25–52.

Gillingham, John. Richard the Lionheart. London: Book Club Associates, 1978. Французский перевод: *Richard Coeur de Lion* / trad, par Isabella Morel. Paris: Éd. Noesis, 1996.

Gillingham, John. 1066 and the introduction of chivalry into England // *Law and government in medieval England and Normandy*: essays in honor of Sir James Holt. Éd. by George Garnett and John Hudson. Cambridge: Cambridge university press, 1994. P. 31–55.

Gillingham, John. War and Chivalry in the *History of William the Marshal* // *Thirteenth century England*. Vol. 2. Proceedings of the Newcastle upon Tyne conference 1987. Edited by P. R. Coss and S. D. Lloyd. Woodbridge: Boydell, 1988. P. 1–13.

Glenn, Jason. Politics and history in the tenth century: the work and world of Richer of Reims. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Glenn, Jason. The composition of Richer's autograph manuscript // *Revue d'histoire des textes*. 27 (1997). P. 151–189.

Goffart, Walter A. Barbarians and Romans, A.D. 418–584: the techniques of accommodation. Princeton (N. Y.): Princeton university press, 1980.

Goffart, Walter A. The Narrators of Barbarian history, A. D. 550–800. Princeton (N. Y.): Princeton university press, 1988.

Gouguenheim, Sylvain. Les fausses terreurs de l'an mil: attente de la fin des temps ou approfondissement de la foi? Paris: Picard, 1999.

Grimal, Pierre. Tacite. Paris: Fayard, 1990.

Guenée, Bernard. Histoire et culture historique dans l'Occident medieval. Paris: Aubier-Montaigne, 1980.

Guilhiermoz, Paul. Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen age. Paris: A. Picard et fils, 1902. Переиздание: Geneve: Megariotis reprints, 1979.

Guizot, Frangois. Histoire de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'a la Revolution française. Nouvelle édition. Paris: Didier, 1846.

Halphen, Louis. Charlemagne et l'empire carolingien (1947). 3^e ed. Paris: Albin Michel, 1968.

Halsall, Guy (ed.). Violence and society in the early medieval West. Wood-bridge: Boydell press, 1998.

Harper-Bill, Christopher et Harvey, Ruth (ed.). The idéals and practice of medieval knighthood:

papers from the Strawberry Hill conference. I—III. Wood-bridge: Boydell press, 1986–1990.

Harper-Bill, Christopher et Harvey, Ruth (ed.). Medieval knighthood: papers from the Strawberry Hill conference. IV- Woodbridge: Boydell press, 1992.

Hélary, Xavier. La guerre vue par les clercs: genese du recit de defaite, de Mansourah (18 fevrier 1250) a Courtrai (11 juillet 1302) // *Guerre et société, IXe-XIIIe siècle*. Actes de la journee d'etudes organisee par L'Equipe de recherches d'histoire médiévale. Éd. par Barthélemy, Dominique, et Cheynet, Jean-Claude. A paraître.

Héliot, Pierre. Les origines du donjon résidentiel et les donjons-palais romans de France et d'Angleterre // *Cahiers de civilisation médiévale*. XVII (1974). P. 217–234.

Hillenbrand, Carole. Crusades: Islamic perspectives. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

Iogna-Prat, Dominique. Le «baptême» du schema des trois ordres fonctionnels. L'apport de l'École d'Auxerre dans la seconde moitié du IX^e siècle // *Annates*. 41 (1986). 1. P. 101–126.

Iogna-Prat, Dominique. Etudes clunisiennes. Paris: Picard, 2002.

Iogna-Prat, Dominique. Agni immaculati: recherches sur les sources hagio-graphiques relatives a Saint Maieul de Cluny (954–994). Paris: Cerf, 1988.

Iogna-Prat, Dominique. Evrard de Breteuil et son double. Morphologie de la conversion en milieu aristocratique (v. 1070–1120) // *Lauwers, Michel* (ed.). Guerriers et moines... P. 537–557.

Jaeger, C Stephen (ed.). The Origins of courtliness: civilizing trends and the formation of courtly idéals, 939–1210. Philadelphia: University of Pennsylvania press, 1985.

James, Edward. The Franks. Oxford: B. Blackwell, 1991.

Johrendt, Johann. «Milites» und «Militia» im 11. Jahrhundert; Untersuchung zur Fruhgeschichte des Rittertums in Frankreich und Deutschland. Erlangen-Nürnberg, Univ., Philos. Fak., Diss. 1971.

Kay, Sarah. Le caractere des personnages dans les chansons de geste // «*L'orgueil a desmesure*»: etudes sur «*Raoul de Cambrah*. Textes reunis par Denis Hue. Orleans: Paradigme, 1999. P. 79–105.

Keen, Maurice Hugh. Chivalry. New Haven, Conn.; London: Yale university press, 1984. [Русский перевод: *Кун, Морис*. Рыцарство / Пер. с англ. И. А. Тогоевой. М.: Науч. мир, 2000.]

Kaeuper, Richard W. Chivalry and violence in Medieval Europe. Oxford: Oxford university press, 1999.

Köhler, Erich. L'Aventure chevaleresque: idéal et réalité dans le roman courtois, etudes sur la forme des plus anciens poemes d'Arthur et du Graal / trad, par Eliane Kaufholz. Paris: Gallimard, 1974.

Köhler, Erich. Observations historiques et sociologiques sur la poesie des troubadours // *Cahiers de civilisation mudiuverte*. 7(1964). P. 27–51.

Kortum, Hans-Henning (hrsg.). Krieg im Mittelalter. Berlin: Akademie, 2001.

La Curne de Sainte-Palaye, Jean-Baptiste de. Memoires sur l'ancienne chevalerie, consideree comme un etablissement politique et militaire. Paris: N.-B. Duchesne, 1759–1781. 3 vol.

Latouche, Robert. Histoire du comte du Maine pendant le X^e et le XI^e siècle. Paris: H. Champion, 1910. Переиздание: Geneve: Slatkine; Paris: H. Champion, 1977.

Laugier, Jean-Louis. Tacite. Paris: Seuil, 1969. (Ecrivains de toujours; 85.)

Lauwers, Michel. Du pacte seigneurial a l'idéal de conversion: Les légendes hagiographiques de Simon de Crépy (1081–82) // *Lauwers, Michel* (ed.). Guerriers et moines... P. 559–588.

Lauwers, Michel (ed.). Guerriers et moines: conversion et sainteté aristocratiques dans L'Occident medieval, IX^e-XII^e siècle. Antibes: APDCA, 2002.

Lauwers, Michel. La mémoire des ancêtres, le soucis des morts: morts, rites et société au Moyen âge. Diocese de Liege, XI^e—XIII^e siècles. Paris: Beauchesne, 1997.

Lazar, Moshe. Amour courtois et fin'amors: dans la littérature du XII^e siècle. Paris: C Klincksieck, 1964.

Lebecq, Stéphane. Les origines franques, V^e-IX^e siècle. Paris: Éd. du Seuil, 1990. (Nouvelle histoire de la France médiévale; 1. Collection Points. 201. Serie Histoire.) [Русский перевод: *Лебек, Стефан.* Происхождение франков: V-IX века / Пер. В. А. Павловой. М.: Скарабей, 1993.]

Lebedynsky, Iaroslav. Armes et guerriers barbares au temps des Grandes invasions: IV^e au VI^e siècle apr. J.-C. Paris: Errance, 2001.

Leclant, Jean (dir.). Dictionnaire de l'Antiquité. Paris: PUF, 2005.

Lefebvre des Noittes, Commandant. La Tapisserie de Bayeux datée par le harnachement des chevaux et l'équipement des cavaliers // *Bulletin monumental.* 76 (1912). P. 213–242.

Le Goff, Jacques. Les gestes symboliques dans la vie sociale. Les gestes de la vassalite // *Simboli e simbologia nell'alto Medio Evo.* Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, XXIII. Spoleto, 3–9 aprile 1976. Spoleto, 1976. P. 679–788. Перепечатано под названием: Le rituel symbolique de la vassalite // *Le Goff, Jacques.* Pour un autre Moyen âge: temps, travail et culture en Occident. 18 essais. Paris: Gallimard, 1977. P. 349–420. [Русский перевод: Ле Гофф, Жак. Символический ритуал вассалитета // *Ле Гофф, Жак.* Другое средневековье / Пер. С. Чистяковой, Н. Шевченко. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000. С. 211–262.]

Le Jan, Régine. La société du haut Moyen âge: VI^e-IX^e siècle. Paris: Armand Colin, 2003.

Le Jan, Régine. Famille et pouvoir dans le monde franc, VII^e-X^e siècle: essai d'anthropologie sociale. Paris: Publications de la Sorbonne, 1995.

Le Jan, Régine (ed.). La royauté et les élites dans L'Europe carolingienne: début IX^e siècle aux environs de 920, colloque. Villeneuve-d'Ascq: Centre d'histoire de L'Europe du Nord-Ouest, 1998.

Lemesle, Bruno. La société aristocratique dans le Haut-Maine: XI^e-XII^e siècles. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 1999.

Lemesle, Bruno. Chevalier, culvert et assassin: Raïlle de Sarce // *Mondes de L'Ouest et villes du monde: regards sur les sociétés médiévales.* Mélanges en l'honneur d'André Chedeville. Textes réunis par Catherine Laurent, Bernard Merdrignac et Daniel Pichot. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 1998. P. 375–385.

Lemesle, Bruno. Le comte d'Anjou face aux rébellions (1129–1151) // *Barthélemy, Dominique, Bougard, François, et Le Jan, Régine* (An.). La vengeance... P. 199–236.

Le Rider, Paule. Le Chevalier dans le «Conte du Graal» de Chrétien de Troyes. Paris: Société d'édition d'enseignement supérieur, 1978.

Le Roux, Patrick. Le Haut-Empire romain en Occident: d'Auguste aux Sévères, 31 av. J.-C.-235 ap. J.-C. Paris: Éd. du Seuil, 1998. (Nouvelle histoire de l'Antiquité; 8.)

Lestringant, Frank et Link, Michel (ed.). Histoire de la France littéraire. Publiée sous la direction de Michel Prigent. Tome 1, Naissances, Renaissances: Moyen Âge — XVI^e siècle. Paris: Presses universitaires de France, 2006.

Levé, Albert. La Tapisserie de la Reine Mathilde dite La Tapisserie de Bayeux: ouvrage illustré de planches hors texte. Reproduction intégrée de la Tapisserie d'après les photographies prises directement. Paris: H. Laurens, 1919.

Levi, Giovanni et Schmitl, Jean-Claude (An.). Histoire des jeunes en Occident. 1, De l'Antiquité à l'époque moderne. Paris: Seuil, 1996.

Leyser, Karl. Early medieval Canon Law and the beginning of knighthood // *Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter.* Festschrift für Josef Fleckenstein zu seinem 65. Geburtstag. Hrsg. von Fenske, Lutz, Rosener, Werner, und Zotz, Thomas L. Sigmaringen: Thorbecke, 1984. S. 549–566.

Lot, Ferdinand. L'Art militaire et les armées au Moyen-Âge en Europe et dans le Proche Orient.

Paris: Payot, 1947. 2 vol.

Luchaire, Achille. Les Premiers Capetiens (987–1137) // *Lavissee, Ernest* (dir.). Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu'à la Révolution. T. I, 2-ème partie. Paris: Hachette, 1911.

Luchaire, Achille. La Société française au temps de Philippe-Auguste. Paris: Hachette, 1909. Переиздание: Bruxelles: Culture et civilisation, 1964. [Русский перевод: Люшер, Ашиль. Французское общество времен Филиппа-Августа / Пер. Г. Ф. Цыбулько. СПб.: Евразия, 1999.]

Maddox, Donald. The Arthurian romances of Chrétien de Troyes: once and future fictions. Cambridge: Cambridge university press, 1991.

Martindale, Jane. Peace and war in early eleventh-century Aquitaine // *Harper-Bill, Christopher et Harvey, Ruth* (ed.). Medieval knighthood... IV-Woodbridge: Boydell press, 1992. P. 147–176. Перепечатано в: *Martindale, Jane*. Status, authority... VI.

Martindale, Jane. Status, authority and regional power: Aquitaine and France, 9th to 12th centuries. Aldershot (GB): Variorum, 1997.

Mayeur, Jean-Marie, Pietri, Charles et Luce, Vauchez, André Set Venard, Marc (dir.). Histoire du christianisme des origines à nos jours. T. III, IV et V. Paris: Desclee: Fayard, 1993–1996.

McKitterick, Rosamond (ed.). The new Cambridge medieval history. Vol. II, C.700-C.900. Cambridge [GB]: Cambridge university press, 1995.

Méla, Charles. Blanchefleur et le saint homme ou la Semblance des reliques: étude comparée de littérature médiévale. Paris: Éd. du Seuil, 1979.

Méla, Charles. La Reine et le Graal: la conjointure dans les romans du Graal de Chrétien de Troyes au «Livre de Lancelot». Paris: Éd. du Seuil, 1984.

Ménard, Philippe. Le rire et le sourire dans le roman courtois en France au moyen âge: 1150–1250. Genève: Droz, 1969.

Michel, Alain. Tacite et le destin de L'empire... Paris: Arthaud, 1966.

Michelet, Jules. Histoire de France. Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1881–1884. 19 v.

Minois, Georges. L'Eglise et la guerre: de la Bible à l'ère atomique. Paris: Fayard, 1994.

Miramon, Charles de. Embrasser l'état monastique à l'âge adulte (1050–1200). Étude de la conversion tardive // *Annates. Histoire, Sciences sociales*. 4 (1999). P. 825–849.

Miramon, Charles de. La guerre des récits: autour des moniages du XII^e siècle // *Lauwers, Michel* (ed.). Guerriers et moines... P. 589–636.

Mora-Lebrun, Francine. L'«Eneide» médiévale et la chanson de geste. Paris: H. Champion, 1994.

Morsel, Joseph. L'aristocratie médiévale: la domination sociale en Occident, V-XV^e siècle. Paris: Armand Colin, 2004.

Morrissey, Robert John. L'empereur à la barbe fleurie: Charlemagne dans la mythologie et l'histoire de France. Paris: Gallimard, 1997.

Mussel, Lucien. Les invasions. [1], Les vagues germaniques. Paris: Presses universitaires de France, 1965. (Nouvelle Clio; 12.) (Русский перевод: Мюссе, Люсьен. Варварские нашествия на Европу: германский натиск / Пер. с фр. А. П. Саниной. СПб.: Евразия, 2006.)

Musset, Lucien. Les invasions. [2], Le second assaut contre l'Europe chrétienne (VII^e—XI^e siècles). Paris: Presses universitaires de France, 1965. (Nouvelle Clio; 12bis.) (Русский перевод: Мюссе, Люсьен. Варварские нашествия на Европу: вторая волна / Пер. с фр. А. П. Саниной. СПб.: Евразия, 2001.)

Musset, Lucien. Nordica et Normannica: recueil d'études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la fondation de la Normandie. Paris: Société des études nordiques, 1997.

Nelson, Janet Laughland. Charles le Chauve / trad, de l'anglais par Denis-Armand Canal. Paris:

Aubier, 1994.

Nelson, Janet Laughland. The Frankish world, 750–900. London; Rio Grande (Ohio): the Hambleton press, 1996.

Nelson, Janet Laughland. Ninth-century knighthood: the evidence of Nithard // *Studies in medieval history*: présenté to R. Allen Brown. Éd. by Christopher Harper-Bill, Christopher J. Holdsworth, Janet L. Nelson. Woodbridge (GB): Boydell press, 1989. P. 255–266.

Nelson, Janet Laughland. Violence in the Carolingian world and the ritual-ization of ninth-century Frankish warfare // *Halsall, Guy* (ed.). *Violence and society...* P. 90–107.

Nicholas, David. Medieval Flanders. London; New York: Longman, 1992.

Nieus, Jean-François. Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000–1300. Bruxelles; Paris: De Boeck, 2005. (Bibliothèque du Moyen âge; 23.)

Nieus, Jean-François. Du donjon au tribunal. Les deux âges de la pairie chatelaine en France du Nord, Flandre et Lotharingie (fin XI^e—XIII^e s.) // *Moyen âge.* 112 (2006). P. 9–41, 307–336.

Ordinamenti militari in occidente nell' Alto Medioevo: relazioni. XV Settimane di studio Centro italiano di studi sull' Alto Medioevo, Spoleto, 30 marzo - 5 aprile 1967. Spoleto: Centro italiano di studi sull' Alto Medioevo, 1968. 2 vol.

Pacai, Marcel. Les moines blancs: histoire de l'ordre de Cîteaux. Paris: Fayard, 1993.

Pacaut, Marcel. L'Ordre de Cluny: 909–1789. Paris: Fayard, 1986.

Painter, Sidney. French chivalry, chivalric ideas and practices in mediaeval France. Baltimore: the Johns Hopkins press, 1940.

Pancer, Nira. Sans peur et sans vergogne: de l'honneur et des femmes aux premiers temps mérovingiens, VI^e—VII^e siècles. Paris: Albin Michel, 2001.

Parisse, Michel. Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale: les familles nobles du XI^e au XIII^e siècle. Nancy: Service des publications de l'Université de Nancy II, 1982.

Parisse, Michel. La Tapisserie de Bayeux. Paris: 1983.

Parisse, Michel. Le tournoi en France, des origines à la fin du XII^e siècle // *Fleckenstein, Josef* (hrsg.). *Das ritterliche Turnier...* S. 175–211.

Pastoureau, Michel. Les armoiries. Turnhout: Brepols, 1976–1985. (Typologie des sources du Moyen Age occidental; 20.)

Pastoureau, Michel. Traité d'héraldique (1979). 2 ed. rev. et augm. Paris: Picard, 1993.

Pastoureau, Michel. La vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la Table ronde. Paris: Hachette, 1991. [Русский перевод: *Пастуро, Мишель.* Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола / Пер. М. О. Гончар. М.: Молодая гвардия, 2001.]

Périn, Patrick et Feffer, Laure-Charlotte. Les Francs. Paris: Armand Colin, 1987.

Petit, Aime. L'anachronisme dans les romans antiques du XII^e siècle: le «Roman de Thebes», le «Roman d'Énéas», le «Roman de Troie», le «Roman d'Alexandre». Paris: H. Champion, 2002.

Platelle, Henri. Terre et ciel aux anciens Pays-Bas. Lille: Faculté libre des Lettres et Sciences humaines, 1991.

Platelle, Henri. Le problème du scandale: les nouvelles modes masculines aux XI^e et XII^e siècles // *Revue belge de philologie et d'histoire.* 53 (1975). P. 1071–1096. Перепечатано в: *Platelle, Henri.* Terre et ciel... P. 303–328.

Pohl, Walter et Reimitz, Helmut (ed.). *Strategies of distinction: the construction of ethnic communities, 300–800.* Leiden; Boston; Köln: Brill, 1998.

Renoux, Annie. Fecamp, du palais ducal au palais de Dieu: bilan historique et archéologique des recherches menées sur le site du château des ducs de Normandie: II^e siècle A.C.-XVIII^e siècle P.C.

Paris: Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1991.

Renoux, Annie (dir.). Palais medievaux, France-Belgique: 25 ans d'arche-ologie. Le Mans: Publications de L'Université du Maine, 1994.

Le reglement des conflits au Moyen dge. XXXI^e Congrès de la SHMES, Angers, juin 2000. Paris: Publications de la Sorbonne, 2001.

Reuter, Timothy (ed. and transl). The Medieval nobility: studies on the ruling classes of France and Germany from the 6th to the 12th century. Amsterdam; New York; Oxford: North-Holland, 1979.

Rey-Flaud, Henri. La Nevrose courtoise. Paris: Navarin, 1983.

Richard, Jean. Chateaux, chatelains, et vassaux en Bourgogne aux XI^e et XII^e siècle // *Cahiers de civilisation mtdivale*. 3 (1960). P. 433–447.

Richard, Jean (ed.). L'Esprit de la Croisade. Paris: Éd. du Cerf, 1969.

Richard, Jean. Histoire des Croisades. Paris: Fayard, 1996.

Rosenwein, Barbara H. (ed.). Anger's past: the social uses of an emotion in the Middle Ages. Ithaca; London: Cornell University Press, 1998.

Rosenwein, Barbara H., Head, Thomas, and Farmer, Sharon. Monks and their enemies: A comparative approach // *Speculum*. 66 (1991). P. 764–796.

Ross, D. J. A. L'originalite de «Turolodus»: Le maniemment de la lance // *Cahiers de civilisation médiévale*. 6 (1963). P. 127–138.

Rouche, Michel. Clovis: suivi de vingt-et-un documents traduits et commentes. Paris: Fayard, 1996.

Rousset, Paul. Les Origines et les caracteres de la première croisade. Neuchate): la Baconniere, 1945.

Saint-Denis, Alain. Laon et le Laonnois aux XII^e et XIII^e siècles: apogee d'une cite. Nancy: Presses universitaires de Nancy, 1994.

Sassier, Yves. Hugues Capet: naissance d'une dynastie. Paris: Fayard, 1987.

Sassier, Yves. Louis VII. Paris: Fayard, 1991.

Sassier, Yves. Royaume et idéologie au Moyen age: Bas-Empire, monde franc, France, IV^e-XII^e siècle. Paris: Armand Colin, 2002.

Schmitt, Jean-Claude. Les revenants: les vivants et les morts dans la société médiévale. Paris: Gallimard, 1994.

Senac, Philippe. Les Carolingiens et al-Andalus (VIII^e—IX^e siècles). Paris: Maisonneuve et Larose, 2002.

Sigal, Pierre André. Les coups et blessures recus par le combattant a cheval au XII et XIII siècle // *Le combattant au Moyen dge...* P. 171–183.

Sigal, Pierre André. L'Homme et le miracle dans la France médiévale: XI^e-XII^e siècle. Paris: Éd. du Cerf, 1985.

Sot, Michel (dir.). Histoire culturelle de la France. I, Le Moyen age. Paris: Éd. du Seuil, 1997.

Strickland, Matthew. War and chivalry: the conduct and perception of war in England and Normandy, 1066–1217. Cambridge: Cambridge university press, 1996.

Strickland, Matthew. Killing or clemency? Ransom, chivalry and changing attitudes to defeated opponents in Britain and Northern France, 7—12th centuries // *Kortum, Hans-Henning* (hrsg.). *Krieg im Mittelalter...* S. 93–122.

Strickland, Matthew. Provoking or avoiding battle? Challenge, judicial duel, and single combat in eleventh- and twelfth-century warfare // *Strickland, Matthew* (ed.). *Armies, chivalry and warfare in Medieval Britain and France: proceedings of the 1995 Harlaxton symposium*. Stamford (GB): Paul Watkins, 1998. (Harlaxton medieval studies; 7) P. 317–343.

Syme, Ronald. Tacitus. Oxford: Clarendon press, 1958. 2 vol.

Todd, Malcolm. Les Germains: aux frontieres de l'Empire romain: 100 av. J.-C.-300 ap. J.-C. / trad. Claire Sorel. Paris: Armand Colin, 1990.

Tolan, John Victor. Les Sarrasins: l'islam dans L'imagination europeenne au Moyen âge / traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat. Paris: Aubier, 2003.

Toubert, Pierre. Le moment carolingien (VIII^e—X^e siècle) // *Burquiere, André et al.* (dir.) Histoire de la famille. Paris: Armand Colin, 1986. T. 1. P. 333–359, 618–620.

Vallet, Françoise et Kazanski, Michel (ed.). L'armee romaine et les Bar-bares: du III^e au VII^e siècle. Colloque international de Saint-Germain-en-Laye, 24–28 fevrier 1990; organise par le Musee des antiquites nationales et L'URA 880 du CNRS. Rouen: AFAM: Société des amis du Musee des antiquites nationales, 1993.

Vauchez, André. Le christianisme roman et gothique // *Histoire de la France religieuse: sous la dir. de Jacques Le Goff et Rene Remond. Tome 1, Des dieux de la Gaule à la papauté d'Avignon: des origines au XIV^e siècle. Vol. dir. par Jacques Le Goff. Paris: Seuil, 1988. P. 283–415.*

Verbruggen, Jan Frans. L'art militaire dans l'empire carolingien // *Revue beige d'histoire militaire. 23/4 (1979). P. 289–310, 393–411.*

Verbruggen, Jan Frans. De krijgskunst in West-Europa in de Middeleeuwen (IX^e tot begin XIV^e eeuw). Brussel: Paleis der Académien, 1954. Английский перевод: The Art of warfare in Western Europe during the Middle Ages from the eighth century to 1340 / transl. by Sumner Willard and S.C.M. Southern. Amsterdam; New York; Oxford: North-Holland, 1977.

Wallace-Hadriil, John Michael. The long-haired kings. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto press: Medieval academy of America, 1989.

Ward, Benedicta. Miracles and the medieval mind: theory, record and event, 1000–1215. Philadelphia: University of Pennsylvania press; London: Scholar press, 1982.

Webb, Clement Charles Julian. John of Salisbury. London: Methuen, 1932.

Werner, Karl Ferdinand. Formation et carrière des jeunes aristocrates jusqu'au X^e siècle // *Georges Duby: L'écriture de l'histoire. Sous la responsabilité de Claudie Duhamel-Amado et Guy Lobrichon. Bruxelles; Paris: De Boeck Université, 1996. P. 295–306.*

Werner, Karl Ferdinand. Les principautés périphériques dans le monde franc du VIII^e siècle // *Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, XX. Spoleto, 1972. P. 483–514, 525–535. Перепечатано в: Werner, Karl Ferdinand. Structures politiques...*

Werner, Karl Ferdinand. Structures politiques du monde franc (VI^e-XII^e siècles): études sur les origines de la France et de l'Allemagne. London: Variorum reprints, 1979.

Werner, Karl Ferdinand. Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs: Ursprünge-Strukturen-Beziehungen. Ausgewählte Beiträge: Festgabe zu seinem sechzigsten Geburtstag. Sigmaringen: J. Thorbecke, 1984.

Werner, Karl Ferdinand. Les origines: avant l'an mil // *Histoire de France: sous la dir. de Jean Favier. T. 1. Paris: Fayard, 1984.*

Werner, Karl Ferdinand. Naissance de la noblesse: l'essor des élites politiques en Europe. Paris: Fayard, 1998.

White, Stephen D. Re-thinking kinship and feudalism in early medieval Europe. Aldershot: Ashgate Variorum, 2005.

White, Stephen D. Feuding and peace-making in eleventh-century France. Aldershot; Burlington (Vt): Ashgate, 2005.

White, Stephen D. Feuding and peace-making in the Touraine around the year 1000 // *Traditio. 42 (1986). P. 195–263. Перепечатано в: White, Stephen D. Feuding... Chap. 1.*

Wilks, Michael (ed.). *The World of John of Salisbury*. Oxford: B. Blackwell, 1984. (Studies in church history. Subsidia; 3.)

Williams, Derek. *Romans and Barbarians: four views from the empire's edge, 1st century AD*. New York: St. Martin's press, 1999.

Wood, Ian N. *The merovingian kingdoms: 450–751*. London; New York: Longman, 1994.

Zink, Michel. *Litterature française du Moyen âge*. Paris: PUF, 2001.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

I

Фрагменты Гобелена из Байё, сотканного в XI в



Нападение на Доль в Бретани (замок, изображенный в виде деревянной башни на холме), затем на город Ренн



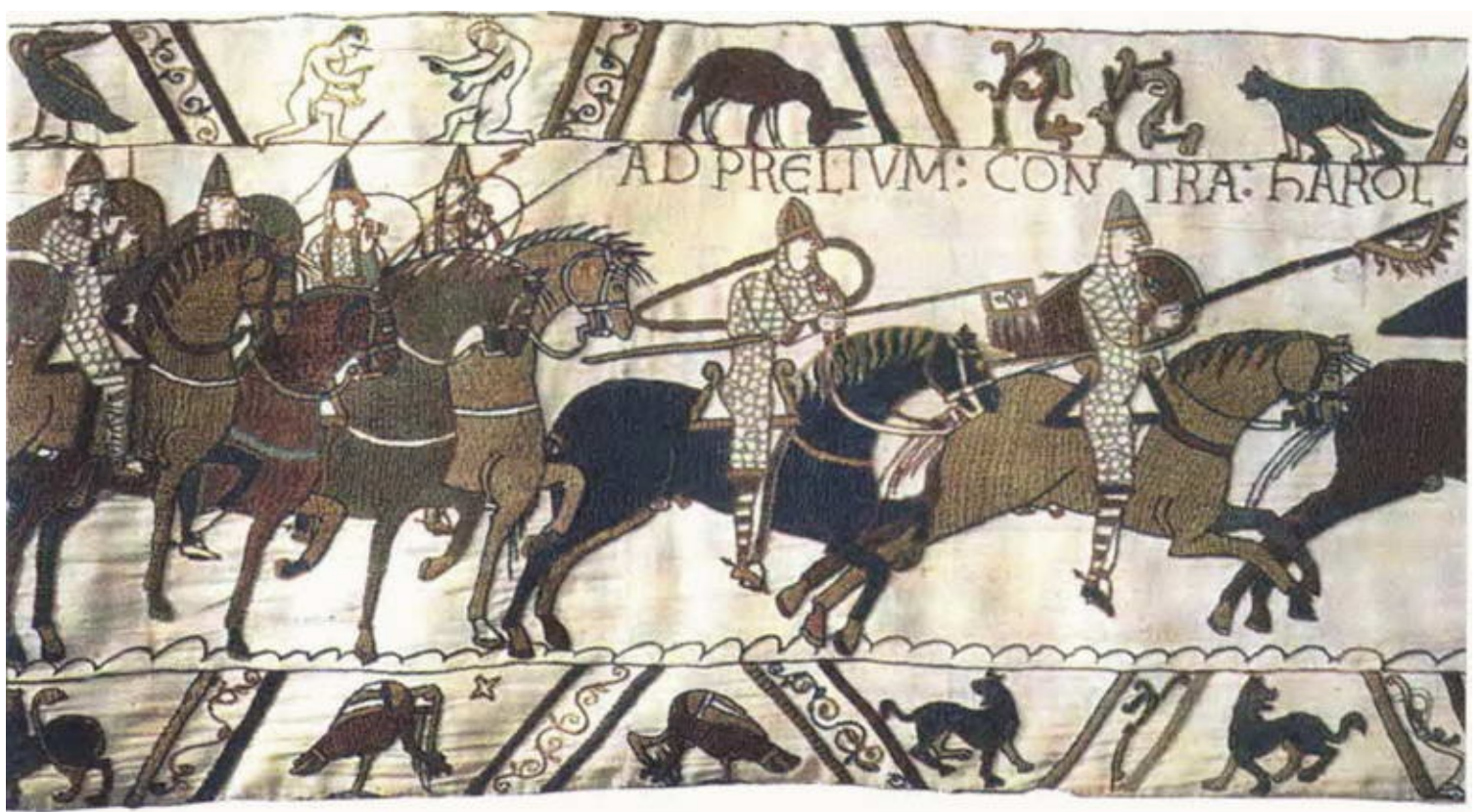
Вильгельм проводит «посвящение» Гарольда



Гарольд приносит клятву Вильгельму и возвращается в Англию



Вильгельм снимает свой шлем и Евстахий указывает на него войскам



Нормандская конница в битве при Гастингсе



Герцог Вильгельм и его город Руан



Гарольд сдается Ги де Понтье



И рыцари смешат... грабить



Смерть Гирта, брата Гарольда



Англичане и французы гибнут вперемешку



Нога в стремени, сокол на руке



Герцог во главе своих рыцарей





Погрузка оружия на корабли



Битва в самом разгаре



Гарольд приходит на помощь рыцарям, завязшим в песке при переправе через реку Куэнон

Эта книга является итоговым трудом ученого с мировым именем, ведущего французского медиевиста, профессора средневековой истории в университете Сорбонна, руководителя исследований в Практической школе высших наук, известного своими научными разработками в области исторической антропологии. Предпринятые им изыскания позволили по-новому взглянуть на механизмы, управляющие средневековым обществом, выделить его специфические черты, ускользавшие от внимания историков, занимавшихся этой проблематикой ранее. Не случайно во французской прессе результаты исследований Доминика Бартелеми сравниваются с прорывом, совершенным в середине XX века Марком Блоком. Книга о рыцарстве Доминика Бартелеми мало похожа на традиционные исследования этого феномена средневековой Европы и охватывает период, далеко выходящий за рамки возникновения и дальнейшего существования рыцарского сословия. Французский историк рассматривает рыцарство не только как специфическую военную касту, появившуюся в условиях политических изменений в X–XI веках, но как явление культуры, оказавшее определяющее воздействие на становление цивилизации западноевропейского средневековья. Доминик Бартелеми полагает, что рыцарство было своего рода «столпом» средневекового общества, впитав в себя основные ценности и установки той эпохи. На базе аутентичных источников он подвергает всестороннему анализу разные стороны жизни этого сословия. Ученый обращает внимание как на культурные завоевания рыцарства, так и на безнравственные и безобразные стороны его жизни: среди которых настроенность на военные конфликты, или презрение к труду. Особое место в книге занимает глава о так называемой «рыцарственной» культуре и литературе, ставшими своего рода мостом к литературе Нового времени. Книга будет хорошим подарком для всех изучающих французскую историю и литературу, а также для всех интересующихся рыцарями и рыцарством как культурным феноменом.

ISBN 978-5-91852-022-2



notes

Поскольку во времена борьбы с Цезарем их конница превосходила его конницу, ему пришлось набирать германских всадников (52 г. до н. э., *Записки Юлия Цезаря...* VII, 65).

По-французски и рыцари, и римские всадники называются *chevaliers* [Прим. пер.).

Plaid (лат. *placitum*) — у франков военный смотр и одновременно народное собрание, решавшее политические, законодательные и судебные вопросы. Впоследствии трансформировалось в собрание франкской знати. Также слово *placitum* стало означать тяжбу, судебное собрание или встречу между воюющими аристократами, на которой стороны пытались прийти к мировому соглашению [Прим. ред.].

Ост (*лат. hostis*) — термин, обозначающий армию или крупный отряд. Часто словом *hostis* называли своего рода ополчение (племенное или феодальное), собираемое из всех боеспособных мужчин для крупномасштабного похода или отражения вражеского вторжения [*Прим. ред.*].

Но если так рассуждать, у греков тоже была «Илиада», у евреев — Библия (с Псалтырем или Книгой Иосифа Навина), у Индии — «Махабхарата»...

Однако не все: многих нанимал сам Цезарь во время галльской войны и гражданской войны с Помпеем.

Хищничество и отказ от земледелия критикуются в разделе III, 17.

Фрамея — вид копья.

В «феодальном обществе» если и есть звания, они связаны с размером владений (то есть честь имеет очень материальный характер).

Несмотря на нюанс, указанный в главе 7 (с. 461): «Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных».

Там действительно обсуждаются «значительные дела».

Далее мы увидим, что даже для Средних веков противоречие между «частным» вассалитетом и «общественными» институтами историческая схоластика преувеличила.

Записки Юлия Цезаря... VI, 23: «principes regionum aut pagorum» (старейшины областей и пагов); *Германия*, 12 (с. 464): «per pagos vicisque» (в округах и селениях). [Переводчик Цезаря слово *pagus* перевел как «паг», переводчик Тацита — как «округ»; у Д. Бартелеми это *paus* (страна) — *Прим. перев.*)]

После этого можно обсудить главу 12 [у Тацита] о суде народного собрания. Тацит в ней ссылается на «наказания», а не композиции. Но так же ли строго он разделяет оба этих термина, как мы? Он упоминает казни за бесчестие, к которым приговаривают предателей и перебежчиков, с социальной коннотацией. А за мелкие проступки берут только штрафы, что предвосхищает римско-варварские законы.

Воспроизведено в издании: *Clastres, Pierre. Recherches d'anthropologie politique. Paris: Seuil, 1980. P. 209-248 (особенно р. 217, 225, 237: «это надменное рыцарство Чако»; «цвет этого дикарского рыцарства»).*

«Анналы», напротив, объясняют их ослабление скорее междоусобными войнами.

Воинские игры сильно отличаются от средневековых: *Германия*. 24. С. 470-471.

Пусть даже они изображены таковыми в *Германии*, 33 (с. 475). Похоже, римляне были несколько склонны принимать желаемое за действительное.

Может быть, он тайно завидовал германцам?

Батавы — племя, родственное хаттам, которое было изгнано в результате внутренних усобиц.

История, IV, 15. С. 697. [В русском переводе здесь речь идет о племени каннинефатов и вожде Бринноне. — Прим. пер.]

Германия. 31 (с. 474): если «у остальных народов Германии [такое] встречается редко и всегда исходит из личного побуждения», то все хатты, достигнув возраста зрелого мужчины, отращивают волосы и бороду, пока не убьют врага (всего одного, в конце-то концов!).

Он напишет «Историю» после «Германии».

Обращение к тунграм, соседям с левого берега Рейна. [В русском переводе такой реплики нет. — *Прим. пер.*]

Германия. 31 (с. 474-475): некоторые носят не только длинные волосы, но даже кольцо бесчестия, так как они не убили врага, — но они успевают дожить с этим кольцом до седины!

Ей все еще, по самые времена Каролингов, будет не хватать Септимании, или «Готии» (нашего «Лангедока-Руссильона»).

Что наш фортунат любил и умел, так это говорить о женщинах; он не создал ничего лучше стихов, посвященных Радегунде, королеве, отрекшейся от престола и удалившейся в монастырь Святого Креста в Пуатье, или аббатисе Агнессе, даже если он скорей их поверенный и друг, чем настоящий трубадур.

Последними это сделали Филипп Депрэ и Патрик Гири в издании: *La vengeance, 400-1200: actes du colloque tenu a Rome, les 18, 19 et 20 septembre 2003*. Sous la direction de Dominique Barthelemy, Francois Bougard et Regine Le Jan. Rome: Ecole française de Rome, 2006. P. 65-99.

Перед Австразией он как будто ни в чем не провинился, но, как отмечают, его смерть была выгодна его мачехе Фредегонде, которая имела *deal* [дела (англ.)¹ с Гунтрамном Бозоном...

Агафий уточняет представление о франкской храбрости. Таким образом, взгляд византийцев — довольно тацитовский, они обращают особое внимание на черту «сговорчивы во время усобиц» и на превосходство франков в пехоте.

Те же слова он использует, говоря о Тольбиаке.

Голосование фрамеями искать тут было бы бесполезно (*Германия*, 11. С. 464).

В отличие от двух служб в поздней Римской империи.

Еще встречались вооруженные епископы, как Салоний и Сагиттарий, два брата, епископы Гапа и Амбрёна, которых Григорий, как положено, критикует, совершенно не скрывая, что они защищали свою землю от лангобардов (*Григорий Турский. IV, 42. С. 107*).

Согласно нашим современным категориям...

Законный возраст которого, позволявший царствовать (но какой?), упомянут *там же*. VI, 4 (с. 160). Хильдеберт родился около 570 г.

Разве самые действенные ритуалы — не те, что позволяют разом убить двух зайцев? Во всяком случае, этот обряд претендует не на единственную интерпретацию...

Женившись на Брунгильде: Григорий Турский. V, 3. С. 118.

Благодаря как доблестям, о которых она повествовала, так и рассказу о проходе через Германию на пути из Трои в Галлию.

Даже если в тацитовской Германии ничего подобного не было, **кроме** поединка с пленным для предсказания будущего: *Германия*, 10. С. 463.

В южных регионах эта смена тенденции, похоже, произошла несколько позже, к середине IX в.

Во всяком случае эти потребности очень заметно проявятся в феодальную эпоху, приводя к установлению протекционистских пошлин — «спасения овса» (*sauvements en avoine*).

Harmiscara — наказание в форме бесчестящего унижения, которому приговаривал король или сеньор (например, виновного могли заставить обойти площадь перед королевским дворцом с собакой на руках) [Прим. ред.].

Но нельзя и переоценивать, см. *Bachrach, Bernard S. Merovingian...*

Miracles de saint Wandrille. I, 4-5. P. 282. Сигенанд — вассал аббатства Фонтенель, где покоится тело святого Вандрилла; сакса зовут Аббон, его позже передали в заложники Карлу Великому, обошлись с ним милостиво, и он пришел в Фонтенель, чтобы поведать о чуде.

Nelson, Janet. Charles le Chauve... P. 188-189: «Как некогда Ронсевальское ущелье, болота долины Вилена были одним из кладбищ франкской доблести» (по меньшей мере доблести графа, не короля, который бежал).

Эйнхард сообщает, что Карл Великий, велел переписать и исправить законы франков, также приказал «записать и увековечить и старинные варварские песни, которые воспевали деяния и войны прежних королей» (Vie de Charlemagne. 29. P. 82. [Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М.: РОССПЭН, 1999. С. 29.]). До нас дошло только две эпопеи IX в. на германском языке, сочиненные несколько позже: «Песнь о Гильдебранде» (Hildebrandslied), записанная в Фульде около 840 г., и «Песнь о Людовике» (Ludwigslied), посвященная недолговечному Каролингу Людовику 111 (879-882).

В отечественном литературоведении обычно называется «Прославление Людовика»
[Прим. пер.]

См. историю Дата, приведенную ниже, с. 91.

Ее могущество и устойчивость удалось лучше оценить после появления работ Карла Фердинанда Вернера: *Werner, Karl Ferdinand. Naissance de la noblesse...* и Режи́н Ле Жан: *Le Jan, Regine. La Royaute et les elites...*

Знаменитое исключение — архиепископ Эббон Реймский.

В VII в. Византийская империя была разделена на ряд военно-административных округов — фем — во главе с командирами находившихся там войск. Эти командиры сосредоточили в своих руках не только обязанности военного руководства, но также судебную и налоговую власть /Прим. ред/.

Там же. III, 5. С. 128. Нитхард особо выделяет всё, что говорит в пользу Карла или против Лотаря, который, конечно, тоже делал примирительные жесты.

Однако Людовик Младший высказал порицание Карлу Лысому именем Иисуса Христа, упирая на родство, право и клятвы Карла. Ост последнего был обращен в бегство (и один граф убит), и христианского ритуала, как при Фонтенуа, никто не совершил — один только Карл, бежавший, чтобы спасти себе жизнь, осознал свою ошибку. Regino abbas Prumiensis. P. 111-112.

Молодой человек, его крестник, оставшийся в 826 г. на стажировку для знакомства с военным делом и культурой.

«Солдат удачи» набирали в рядах самих норманнов. Как пишет Джанет Нельсон, «в реальности не существовало единого "норманнского фактора", вмешивающегося в дела королевства как внешняя сила»; действительно, «в ткань франкской политики проникали разные военные отряды, они то сотрудничали, то соперничали с франками, а при случае нанимались к военным вождям Франкии» (Ibid. P. 216).

Вся его карьера не зависела от Эда, и он не рассчитывал вернуться в милость, чего ожидал Эрмольд Нигелл от Людовика Благочестивого в благодарность за свою поэму.

Принадлежащим норманнам, которые вернулись из Нейстрии.

Но эту «жесту» можно также связать с убийством Рауля — сына Рауля де Гуи в 943 г. (*Flodoard. Annates...* P. 87 [Русский перевод: *Флодоард. Анналы // Рихер Реймский. История. М.: РОССПЭН. 1997. С. 199*]).

Королевские министерялы и церковный прелат использовали один и тот же лексикон.

Существует два недавних издания этого текста. Одно, комментарии к которому иногда вызывают сомнение, но где удобно пронумерованы строки и дан французский перевод, — *Beech, George; avec la collab. de Yves Chauvin et Georges Pon. Le «Conventum» (vers 1030): un precurseur aquitain des premieres epopées. Geneve; Paris: Droz, 1995.* Другое, с более убедительными комментариями и английским переводом: *Martindale, Jane. Conventum inter Guillelmurn Aquitanorum comitem et Hugonem Chiliarchum // Status, authority, and regional power: Aquitaine and France, 9th—12th centuries. London: Variorum Collected Studies, 1997. Ch. VII, VIII.*

Кроме случаев, когда это были пленники самого короля: *Рихер. IV, 78. С . 170.*

Во всяком случае, судя по тому, как ее воспроизводит Рихер Реймский.

Слова *vassus* на латыни и *vassal* на французском использовались как в абсолютном смысле (*vaillani* — доблестный, обладающий свойством *vasselage*), так и в относительном (вассал сеньора, *en vasselage*). Слово *miles* в первом феодальном веке имело такое же двойное значение, что мешает переводить его как «рыцарь» — или тогда уж как «рыцарь» надо передавать и *vassus*, и *miles*, но лишь когда они используются в абсолютном смысле (то есть в смысле статуса и нравственных качеств).

Позже это слово означало «галантный кавалер» [*Прим. пер.*].

Eudes de Saint-Maur. Vie de Bouchard le Venerable... (хороший пример вассала в двойном смысле слова — доблестного и верного).

Сравните с Анжэгером для Анжу, см. ниже, с. 301.

К этому позже добавится позорный поступок графа Стефана — его бегство из Антиохии в 1098 г., см. ниже, с. 297.

На самом деле маркграфом — герцогом был сделан его сын Гуго Великий после 936 г.

На крыше Ахенского дворца [*Прим. ред.*]

Эта просьба о награде, похоже, предвещает стремление к чести и одновременно к выгоде у рыцарей-наемников, см. ниже, с. 236.

Важнее было то, что Гуго Великий играл роль оруженосца.

Это подтверждается здесь (*ibid.* I, 36): вассалы графа Пуатевинского захватили один из замков Геральда, и тот их осадил; но их сеньор не сумел прийти им на помощь, они, естественно, капитулировали и сохранили себе жизнь, как и полагалось.

Bandit d'honneur означает по-французски «разбойник-мститель» (на Корсике) [Прим. пер.].

Advocati (букв. «защитники») — миряне, официально представлявшие интересы монастырей-иммунистов в суде и защищавшие монастырское имущество от посягательств [Прим. ред.].

Оно полагалось епископам, но у аббата Кюни был шанс его получить.

Flori, Jean. Chevalerie et liturgie... (формула на с. 26; с другой стороны, формула на с. 23 указывает на благословение юноши).

У Адемара есть лишь один краткий намек (III, 30) на некую кровавую битву, в которой аквитанцы победили франков Гуго Капета, но этой битвы на самом деле не было, и в его «Хронике», где две первых книги и начало третьей посвящены пересказу азов франкской и каролингской истории, кроме этого, почти не ощущается враждебных чувств по отношению к «франкам».

Есть сборник их наставлений ему, очень христианских, времен Божьего мира...

Согласно Рихеру (IV, 84. [С. 173]), вторая цепь анжуйцев бежала, но первая была перебита. См. ниже, с. 165.

Ibid. III, 44 — благодаря чему, впрочем, эти ценные предметы попали в обращение.

Le Conventum. 1. 64-67: «Он захватил сорок три человека из числа лучших рыцарей Туара; он мог бы добиться мира, обеспечить безопасность своих владений и получить воздаяние за ту несправедливость, какую претерпел; и если бы он захотел взять выкуп, ему могло бы достаться сорок тысяч су».

Мобилизованный путем «мирного договора», наподобие Буржского 1038 г.?В конце концов, нельзя сказать, что это невозможно.

Соборы, которые мы называем «соборами Божьего мира» (и которые в Аквитании начались с 989 г.), не выразили тревоги по этому поводу.

В отношении бегства Гобера Мальморского это было не столь явным, но разве тот, став впоследствии паломником, не приписал это Ему? *Ademar de Chabannes*. III. 48.

Святая Вера ему более или менее восстановит зрение.

Ibid. I, 33 и IV, 7 (где упоминается выкуп — дата около 1050 г.). В их случае дело бы не уладилось полюбовно, если бы не случилось описываемое чудо; они вернулись в плен, и потом святая их освободила...

Такое же причащение упоминается у Дудона, во времена норманнских походов: *Dudon de Saint-Quentin*. II, 14.

Который современники называли не так — были только «Божьи *plaid'bxo* и «мирные договоры»; «Божье перемирие» (*treve de Dieu*), зародившееся в 1030-х гг. в Каталонии, распространившееся к 1040-м гг. в Бургундии и, может быть, раньше 1060 г. во Франции, тоже называют «Божьим миром».

Собор во Вьенне: *ibid.* P. 439.

Как ее воспроизвел тогда епископ Адальберон Ланский: *Adalberon de Laon. Poeme au roi Robert...* V. 275-305.

Martel — на старофранцузском «молот» \Прим. пер.\.

Автор здесь и далее использует слово «вышивка» (*broderie*). Мы пишем: «гобелен из Байё» [Прим. ред.].

Французский историк Марк Блок, основатель школы «Анналов», выделял в социально-политической истории средневековой Европы два периода: «первый феодальный век» (900-1050 гг.) и «второй феодальный век» (1050 гг.). Для первого были характерны бедность, низкий порог народонаселения, преобладание натурального обмена и личные, двусторонние связи между людьми — вассалитет в среде знати, серваж — в среде простолюдинов; второй век отличался от первого экономической революцией, изготовлением продукции на экспорт (например, сукна), подъемом городов и зарождением класса зажиточных горожан (своего рода альтернативы феодализму), повышением демографического уровня, переходом к денежной экономике [Прим. ред.]

Только это и стремится показать Гильом Пуатевинский.

Видимо, имеется в виду «в виде постановлений Палаты шахматной доски» — финансового учреждения, известного с конца XI в. как в Англии, так и в Нормандии (*Прим. пер.*).

См., например, рассказ Ордерика Виталия: Orderic Vital. IV. Т. II. Р. 282: нормандец Гильом Фиц-Осберн пришел туда «как на игру», всего с десятью рыцарями, но нашел смерть, тогда как оба противника, Филипп I и Роберт Фриз, немедленно помирились.

Orderic Vital. VIII, 1. T. IV. P. 120: это была церемония «в защиту королевства», — пишет он, чтобы оправдать ее религиозный аспект и представить ее как наделение Генриха полномочиями короля и князя. Согласно другим авторам, рыцарем его сделал Вильгельм, его отец.

То же самое происходило под Лондоном, накануне боя при Гастингсе в 1066 г.: II, 29. P. 220.

Он говорит только правду, тогда как «поэтам дозволено создавать подвиги в воображении и приукрашивать события».

В том числе и в Нормандии во времена смут. *Miracles de Saint-Ouen*. I, 6. P. 25-29.

Чуть раньше раньше он убил своего брата Тостига в сражении при Стамфорд-Бридже, так же как и норвежского короля Харальда Сурового.

Ереси Беренгария Турского.

Если эта часть (835 первых стихов) действительно написана им.

Длинные волосы, которые произвели на него сильное впечатление в Фекане (на Пасху 1067 г.), Гильом Пуатевинский упоминает с намеком на гомосексуализм (II, 44). Однако см. Рауля Глабера: *Raoul Glaber. Histoires*. III, 40, который так же критикует короткие волосы.

Эти историки не учитывают идеологической деформации рассказов и высказываний средневековых авторов в пользу знатного воина.

Она вернулась форсированным маршем из Стамфорд-Бриджа.

О котором Вас позже скажет, что тот воспевал подвиги убитых в Ронсевальском ущелье: *Roman de Rou.* V. 8045. См. также загадочного «Турольда» с гобелена (то же самое имя носит «рассказчик» из «Песни о Роланде»: «Вот жесте и конец, Турольд умолкнул», стих 4002 [Пер. Ю. Корнеева]).

Надо отметить, что в аналогичной ситуации граф Конан, побеждая при Конкерее, в конце дня был убит, почему победа и оказалась на стороне его противника!

Gui d'Amiens. Poeme. V. 385-388: английский народ дерется, как вепрь, которого травят собаки.

Bouet, Pierre (ed.). *La Tapisserie de Bayeux...*

Так поступит лишь в 1128 г. маленький отряд при Акспуле: *France, John. L'apport de la tapisserie... P. 299.*

Orderic Vital. VIII, 17. Т. IV. Р. 248, о воинстве Элекена: будут ли после смерти наказывать не только за человекоубийство, но даже за кровь лошадей?

Но самый старинный из тех, что датированы абсолютно точно (*Pastoureau, Michel. Traite d'heraldique... P. 31*), — это щит Рауля I, графа Вермандуа, от 1140 г.

Равно как в Библии из Сито, датируемой 1109 г.

Был еще Ричард, погибший от несчастного случая на охоте «прежде, чем получил пояс рыцарства»: *Orderic Vital.* V, 11. Т. III. Р. 114.

В то время как Ордрик Виталий утверждает, что Генриха посвятил Ланфранк, два других источника приписывают посвящение отцу: см. примечание Марджори Чибналл (прим. 4) на с. 121 ее издания Ордрика Виталия.

Надо мимоходом отметить, что в такой ситуации абсолютно не приходится удивляться, если в старину во многих обществах женщину за прелюбодеяние карали намного более сурово, чем мужчину...

Монастырь которого граничил с его землями и конфликтовал с ним...

Эли предавал себя в их руки; но ведь мало ли было случаев, что пленник содержался в почете и строго разговаривал со своим «тюремщиком», а они могли опасаться, что он возьмет башню.

Башелье (лат. *baccalarius*) — рыцарь, не имеющий фьефа и живущий при дворе сеньора за счет его щедрот. Нередко словом *башелье* называли молодых рыцарей, либо не получивших наследства, либо младших в семье, а также тех, кто прибывал в войско по зову сеньора без вооруженной свиты и не имел право поднимать собственное знамя [*Прим. ред.*].

Бывшим тюремщиком Гарольда Годвинсона.

Это, правда, было в 1107 г., то есть до его миропомазания: *ibid.* 12. P. 81.

Согласно Ордерику, он заблудился в лесу, и его вывел оттуда крестьянин.

А значит, и отменили, см. выше. С. 229.

Suger. 26. P. 199-201 — или, точнее, чтобы он распорядился прекратить поджоги.

См. историю Годрика Ланского у Гвиберта Ножанского: *Guibert de Nogent. Autobiographie*. III, 4, 8, 9, пусть даже для епископа она закончилась плохо.

Разрыв в которой тем более ощутим, что она могла бы распространяться и на другие страны. Жан Флори нашел для них два примера литургического посвящения XII в., которые не совсем убедительны: из Англии (S. 28), относящееся, на мой взгляд, к «мужу, каковой идет сражаться» *на судебном поединке*, и из Южной Италии (S. 29), датируемое, возможно, уже XIII в. (*Flori, Jean. L'Essor... P. 382-384*).

Согласно удачному неологизму Мишеля Лоуэрс: *Lauwers, Michel. La Memoire des ancêtres...* (см. также: *logna-Prat, Dominique. Etudes clu-nisiens...*). [М. Лоуэрс предложил слово *commemoraison* (поминовение) как объединение слов *mémoire* (память) и *oraison* (молитва) (*memoria in oratio-nibus*) — Прим. перев.]

Это движение, эту тенденцию трудно охарактеризовать цифрами, но в любом случае, даже если они сами по себе не были чем-то совершенно неслыханным, такие обращения взрослых рыцарей имели беспрецедентный резонанс и преследовали беспрецедентные цели.

Кризис взаимодействия? Признак меняющегося, дестабилизированного общества?

Вследствие странного случая, согласно Гвиберту: на опушке леса Эввар встретился с самозванцем в красивых одеждах, выдающим себя за него, за того кающегося, каким он стал теперь, «терпящего по собственной воле наказание за свои грехи».

Один из самых старинных из сохранившихся текстов на французском языке — песнь о святом Алексии, написанная в XI в.; она, воспроизводя «Житие» восточного происхождения, рассказывает, как этот знатный римлянин оставил состояние, семью и рыцарский сан, чтобы последовать за Христом, как он покинул родину, как его след был потерян и как он вернулся неузнанным и бедным, чтобы жить и умереть под лестницей собственного дома. Storey, Christopher (ed.). *La Vie de saint Alexis*. Geneve: Droz, 1968.

Автор «Чудес» в этом вопросе, похоже, принимает версию обвинения: удары, нанесенные случайно, недоброжелатели нередко трактовали как проявление хитрости или измены.

Гвиберт уверяет, что первый муж был молод и красив, а возраст и тучность второго побуждали Сибиллу брать себе любовников, что вызывало дополнительные войны: III, 5. P. 297 и III, 11. P. 367.

В некоторых хартиях этого региона в XII в. писали еще «господский манс» (*manse dominical*), на каролингский манер.

Он был родом из Вьеннской области, которая входила в состав империи, но где говорили по-французски: григорианцы называли эти земли вместе с капетингской Францией словом «Галлия», которым довольно часто пользовались.

Я указываю на это различие, полностью разделяя мнение Карла Эрдмана: *Erdmann, Carl. Die Entstehung...* и Жана Флори: *Flori, Jean. La Guerre sainte...*

«Отнял» скорее некий народ или несколько народов, чем другая религия. Папа 1095 г. не объявлял войну исламу, который был ему едва знаком и о котором крестоносцы не знали ничего. Он изображал себя защитником прав христиан, чтобы вернее потеснить, если это еще было возможно, патриарха Константинопольского, который только что (в 1054 г.) отделился от него вследствие раскола церкви. Для этого папа предложил помощь Западу императору Алексею Комнину.

Кстати, хроника с помощью приема, достойного эпоса, вскоре вводит вымышленный эпизод, происходящий во вражеском стане: Корбаран Алеппский выступает на помощь туркам, уверенный в своей непобедимой доблести. А мать пытается его удержать, убеждая даже не в том, что франки способны выстоять против него, а в том, что их Бог каждый день сражается за них (Р. 121). Поэтому она предсказывает их победу: Боэмунд и Танкред (его племянник и правая рука) — смертные, как и все прочие, но их Бог предпочитает их всем остальным и дает им силу, чтобы лучше сражаться (Р. 125).

Связанное с ветхозаветным представлением о скорбях, которые суть кара Бога своему избранному народу и предостережения ему...

На следующее утро после взятия Иерусалима некоторые крестоносцы тайком проникли на крышу мечети аль-Акса и перебили скрывавшихся там мусульман. Танкред, накануне пообещавший спасти этим людям жизнь, не успел помешать резне. Подробнее см.: Заборов М. А. История крестовых походов в документах и материалах. М.: Высшая школа, 1977. С. 132.

Когда Сугерий (*Suger*. 28, p. 223) приписывает некоторым французским баронам в 1124 г. намерение убивать немцев «безжалостно, как поступают с сарацинами», он осуждает их замыслы, кстати, не обязательно при этом оправдывая то, «как поступают» с сарацинами.

Имеются в виду мусульмане.

Та же проблема возникала и в отношении турниров, см. выше. С. 145.

Chroniques arabes. Р. 38. Эти хроники упоминают также дань с населения и грабежи.

Балдуин его не интересуется.

Это бы означало в некотором роде возвращение в прежнюю веру, потому что эмиры Шейзара были мусульманами только в третьем или четвертом поколении: они происходили от солдата из армии греческого императора Иоанна Цимисхия.

Эта книга середины XIII в. включена в издание: *Dissertations...* P. 217-234. Но она описывает не столько совокупность правил поведения при дворе, на турнире или на войне между людьми из хорошего общества, сколько аллегорический смысл рыцарского герба (как и «Ланселот-Грааль»).

Разительный контраст с нападением, которое устроил Эбль Комборнский: см. выше. С. 177.

Арнульф якобы умолчал о своих подвигах, желая угодить только Богу; он также якобы отказал пару шарлаховых башмаков, последний крик моды, одному жонглеру..

Эшеваны — чиновники, появившиеся в городах с давних пор в результате реформы Карла Великого. Они образовали публичный суд, зависимый от сеньора и связанный с ним, но все-таки пользующийся определенной автономией, как все суды того времени.

И в каком-то смысле даже церковь (отныне сильней порицавшая ростовщичество, чем грабеж).

Прямым потомком которого был Балдуин V, патрон Гислеберта Монского.

Выше, на с. 174, дано их определение: это служащие сеньоров, исполняющие службу, которая связана с трудом (руководящим), что отличает их от рыцарей и часто вынуждает быть сервами.

Как ни парадоксально, в сельской местности министерялы монастырей, управляющие сельскими сеньориями, входили в состав мелкой знати (с X в.: см. выше, с. 174).

2 марта римская церковь с 1882 г. отмечает день святого Карла Доброго.

Налог с продажи.

После смерти Филиппа Эльзасского.

Французское слово *cour* может означать как «двор» (в разных смыслах), так и «суд»
[Прим. пер.]

Это слово имеет долгую историю: оно встречается в «Поучении» Дуо-ды и стало очень популярным после «рыцарской мутации» середины XI в.

В княжеских историях персонажи нередко чередуются подобным образом (олицетворяя либо добро и зло, либо разные добродетели, как храбрость и мудрость: см., например, «Историю графов Анжуйских»).

Французский историк Робер Фоссье назвал «объячеиванием» процесс собирания крестьянского населения, ранее разбросанного по хуторам, сельских ремесленников вокруг центров притяжения — церквей, кладбищ и замков. «Объячеивание» происходило под заинтересованным давлением знати, наращивающей свои сеньориальные права. Так на рубеже X-XII вв. возникла «средневековая деревня», объединенная коллективными «общинными» интересами и сплоченная в рамках сеньории [Прим. ред.].

Другим можно было бы счесть Жоффруа из Вижуа, но он жил в местах, где не было ни турниров, ни такого взаимопонимания с феодалами.

В его землях осуществлялись даже юридические репрессии — косвенные, сводившиеся к тому, что всех жителей Энена и Слэйса, селившихся в Ардре, причисляли к сервам.

См. ниже. С. 363 — о вызове Вильгельма Маршала, оставшемся без ответа (и не избавившем его от необходимости покинуть двор).

Впрочем, по крайней мере Арнульф I якобы вкладывал в свою землю средства, получаемые извне! Вместо того чтобы угнетать ее и расточать деньги в дальних краях...

Рыцарь, который служит сеньору за фьеф, наследуемый женщиной, а также поначалу управляет сеньорией, составляющей данный фьеф.

Героиня комедии Мольера «Мизантроп», которая кокетничала с несколькими влюбленными в нее кавалерами [*Прим. пер.*].

Чье имя было дано одному из персонажей «Рауля Камбрейского», мстителю; см. ниже. С. 407-412.

Рыцарская история германских княжеств довольно похожа на историю княжеств французских, хотя на нее больше влияния оказали министриалы — см., например, наблюдения, сделанные по обе стороны языковой границы Мишелем Париссом: *Parisse, Michel. Noblesse et chevalerie de Lorraine...* См. также: *Bumke, Joachim. Studien...*

Однако не факт, что он датируется 1128 г., как утверждает Жан из Мармутье: *Pastoureau, Michel. Traite d'heraldique... P. 29.*

Конец второй книги утрачен.

Составленная и несколько раз переработанная в XII в.: *Histoire des comtes d'Anjou*. Р. 38. В этом произведении отважные князья чередуются с мудрыми, графы-воины — с графами-судьями (как Морис после Жоффруа Серого Плаща: *ibid.* Р. 45), в соответствии с системой, уже отмеченной у Ламберта Ардрского.

Не то чтобы этот монах в своем сочинении совсем забыл о Священном писании и христианских добродетелях, но они упоминаются лишь кое-где мимоходом, не бросаясь в глаза.

Сравните с королем Людовиком VII, который при Тальмоне, в отношении, правда, мятежных вассалов, выказал крайнюю жестокость и бестактность: *Histoire du glorieux roi Louis. 7.*

Кстати, не всегда доволен бывал и Жан из Мармутье. Граф Жоффруа помиловал Ги де Лавалья, «хотя легкое прощение поощряет проступки» (Р. 202)... Все дело в дозировке, не так ли?

Те же права (и злоупотребления ими) распространялись на вакантные епископства.

Его размах хвалит «История Вильгельма Маршала»: *Histoire de Guillaume le Marechal*. Р. 73.

Мишель Парисе: *Parisse, Michel. Le tournoi en France...* более всерьез воспринимает кандидатуру Турени, но с ним не согласны Ричард Барбер и Джульет Баркер: *Barber, Richard et Barker, Juliet. Les toumois...* P. 26.

Joute — это слово Ордера Виталия; я использую его, говоря об этой практике времен рыцарской мутации, но их не надо путать с поединками XIII в. как институтом, в то время представлявшими собой альтернативу турнирам как таковым, коллективным и жестоким.

Кроме того, похоже, он поддался соблазну связать *турниры* с областью Турне [*Lambert d'Ardres*, 123]!

Как «имитация боя», упомянутая Гвибертом Ножанским: *Guibert de Nogent. Autobiographie. III, 9. P. 354.* (Переведя это слово как «турнир», Эдмон-Рене Лабанд, возможно, слишком сузил его смысл: *ibid. P. 355*).

Galbert de Bruges. 116 (см. выше, с. 313). То же замечание относительно «*tyrosinium, quod vulgo vocant turnoimentum*» (ристаний, каковые на народном языке называют турниром), приводится в издании: *Otto von Freising und Rahewin. Die Taten Friedrichs oder richtiger Chronica (Gesta Frederici seu rectius Cronica)*. Obersetzt von Adolf Schmidt. Hrsg. von Franz-Josef Schmale. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974. S. 158 — для 1127 г. и окрестностей Вюрцбурга.

Возможно, это представление о бое насмерть и сбило с толку Жана из Мармутье. См. выше. С. 331-332.

А разве до сих пор не преувеличивают «зверства» феодальной войны и кровной мести?

На самом деле — Гуго III (1162-1192).

Гислеберт приписывает ему пленение одного графа и нескольких сеньоров замков — в том числе сеньора де Кузи — в 1178 и 1179 гг. (Ibid. 85 и 92.)

Но не всем: см. *Flori, Jean*. Richard Coeur de Lion... P. 259-368.

Триста пехотинцев: *ibid.* Р. 39.

У автора — игра слов с использованием глаголов *tournoyer* — сражаться на турнире и *tourner* — вертеться [Прим. пер.].

Автор «Истории Вильгельма Маршала» платит ему взаимностью, восхваляя его.

В союзе с Рожером де Гожи все-таки есть нечто от торговой *компани*.

В случае с Рено Неверским отказ в возвращении свидетельствовал об озлобленности и стал оскорблением и подобием вызова (*ibid.* P. 46), разумеется, принятого Вильгельмом.

Которые могли здесь оказать сильное влияние на автора «Истории».

Тем не менее Генрих Молодой организовал конные скачки в Мартеле (*Geoffroi de Vigeois*, 11, 16), а рыцари-трубадуры посещали турниры на Севере, мимоходом упоминаемые в стихах Бертрана де Борна.

Рутьеры (от лат. *rutta*, отряд) — воины-наемники, профессиональные бойцы, часто скромного происхождения, с XII в. нанимавшиеся на службу к королям и крупным сеньорам [Прим. ред.].

Жоффруа из Вижуа вспоминает об этом, поскольку именно в том году он сам стал монахом.

Критическое издание Жоффруа из Вижуа еще не вышло. Я на свой страх и риск даю здесь свое прочтение одного малопонятного отрывка: *ibid.*

Les Biographies... P. 7. [Русский перевод: *Жизнеописания трубадуров...* С. 8. В этом издании: «превеликого обманщика женщин».) Эти *vidas* XIII в. посвящены творчеству отдельных трубадуров, задуманы для прославления их и не представляют собой результат исторического исследования.

Пер. А. Г. Наймана.

Пер. А. Г. Наймана.

Это в косвенной форме дает понять Жоффруа из Вижуа (*Geoffroi de Vigeois*. I, 74): около 1180 г. он с тревогой отмечает, что все братья-рыцари хотят жениться, а из-за этого дробятся наследства ... Значит, раньше, в эпоху герцога-трубадура, многие так и не женились.

В плаче по Генриху (№ 13) он жалуется именно им на утрату последнего.

Он, в свою очередь, умер в 1186 г.

Значит, он любит охоту, хотя в другом месте (№ 8) ее порицает.

В песне, которая, возможно, принадлежит не ему (№ 14), говорится о «куртуазных наемниках».

Она также позволяла сохранять полумонашеский статус.

Говоря это, я не игнорирую разнообразие тональностей и сюжетов, которое присуще этой поэзии и позволяет филологам и историкам осуществлять очень яркий анализ — намного превышающий возможности и рамки настоящего эссе.

Отмеченное Жоффруа из Вижуа: *Geoffroi de Vigeois*. I, 74; он связывает это явление с тем, что младшие сыновья чаще стали жениться, и с дроблением сеньорий, которое стало следствием.

Ibid. II, 22 и намеки на наемников, «басков» или «пайеров» (Paillers), разбросанные по всей второй книге.

Поэзия труверов (на языке «ойль»), отчасти вдохновленная поэзией трубадуров (на языке «ок»), имеет тоже игровой характер и немного менее изощрена. Она выглядит менее пылкой, ее более «цивилизовали» большие дворы: см. выше. С. 371.

Но храм большой собственности не имел. Он принимал скорее ренты.

Оно часто упоминается в более классической форме (рыцари с седлом на спине) как публичное покаяние перед церковью после совершенных насилий: *Люшер, Ашиль. Французское общество... С. 276.*

Кстати, Божий гнев его не настигает, как случилось бы с богохульником в тысячном году.

Песнь о Роланде. Ст. 1137-1138 (89): «Турпен крестом благословил бойцов, / Эпитимью назначил — бить врагов» [Пер. Ю. Корнеева].

Gormont et Isembart: fragment de chanson de geste du XII^e siècle. Edite par Alphonse Bayot. 3^e ed. rev. Paris: H. Champion, 1969. Фрагмент датируется приблизительно 1130 г., но ссылается на легенду 1088 г., содержание которой известно по позднейшим намекам.

В том же смысле рассказ Рауля Глабера о сражении при Нуи (см. выше, с. 165-169) отчасти спасает лицо бойцам из оста графов Блуаских.

Это имя, похоже, произошло от имени одного архиепископа Санского («Венилона»), в 858 г. «предавшего» Карла Лысого и перешедшего на сторону Людовика Немецкого.

Которое тогда связывали с одержимостью бесом, и это выражение использует Карл Великий, пытаясь уязвить Ганелона: Песнь о Роланде, 58. Ст. 746-747.

Там же. Ст. 2088: «Живым не сдастся в плен вассал честной» [*Пер. Ю. Корнеева*]. См. также ст. 1886-1887.

Это сарацинский рыцарь, пользующийся успехом у дам, возможно — христианин-рenegат, судя по его имени.

Дальше, в знаменитой сцене, она не желает его узнавать, когда он возвращается один и побежденный: ему надо вновь зарекомендовать себя, внезапно атаковав язычников (СХL-а).

В начале «Нимской телеги» (написанной между 1135 и 1165 гг.) раздосадованный Гильом в беседе с королем принимает сожалеть, что он «сразил немало юных храбрецов, / И этот грех на мне теперь по гроб: / Кто б ни были они, их создал Бог. / С меня он взыщет за своих сынов» (Нимская телега. I. Ст. 69-72).

Аллюзия на более ранний подвиг из «Песни о Роланде».

Герри Рыжий, подстрекатель, похоже, имеет свой расчет, мигом разоблаченный дамой Алаис (L): он надеется, что его племянника Рауля убьют — и он вместе с сыновьями получит право на его наследство.

Другая версия того же эпизода далее (СХН. V. 2096-2099): Рауль якобы предлагал отдать сотни коней и предметов вооружения.

Как мы видели, скорей наоборот.

Перед посвящением этот обычай впервые отмечен Элианом де Фруадмоном около 1200 г. как «свойственный для некоторых мест»: PL 212, col. 743.

Унизительные формально, а не по сути, поскольку унижение добровольное.

Отец которого вырастил и посвятил Жирара: *ibid.*, 467.

Некоторые еще и рискуют оказаться в ситуации, когда обязательство сохранить им жизнь не будет выполнено (347): «Это мои самые заклятые враги», — говорит король, в то время как один пленник Жирара, для видимости к нему примкнувший, его предает (479).

Каликст II с рождения звался «Ги Вьенским», а Жирара «Вьенско-го» отчасти смешивают с Жираром «Русильонским».

Ibid. P. 37: «Ост сарацин растянулся на семь лье. Верь они в Бога, умершего на Кресте, никто не узрел бы более прекрасного племени».

За исключением Леона Готье, воинствующего милитариста с расистским душком, особо выделявшего отдельные страницы отдельных «жест».

Некоторое представление об этом может дать «роман» между Александром и Сордамор, описанный в первой трети «Клижеса» Кретьена де Труа.

Она ценит победителя, а в крайнем случае побежденный скорей станет ее охранять ради последнего!

Мария Французская, Chaitivel (Несчастный) (лэ X): дама любит четырех рыцарей и предъявляет чрезмерно высокие требования в отношении их подвигов.

В 1151 г. он стал епископом.

Чего в «Роланде», насколько мне известно, почти нет.

Титул «пэра» распространился в замках Северной Франции еще до 1155 г.

По крайней мере в первое время, у Кретьена де Труа, потому что в XIII в., в прозаическом «Ланселоте» и в «Смерти Артура», такие конфликты появляются вновь.

Но не прекраснейшего, не сложенного лучше всех: Гектор здесь, как у Дарета, маловат ростом и имеет проблемы с дикцией. Кроме того, с Андромахой он обращается грубо, как настоящий мачо.

«Белая вдова» (*veuve blanche*) — девушка, жених которой погиб в сражении и которая носит по нему траур [*Прим. перев.*].

Ibid. V. 4789; та же реакция была у Саламандры, подруги Этеокла: v. 10884-10886.

В принципе Этеокл и он должны были царствовать в Фивах по очереди, каждый по году.
Thebes. V. 6435-6470.

Медиевисты, специалисты по литературе и истории, до сих пор открывают или придумывают множество заключенных там смыслов.

Во всяком случае, он выводил ее в простой рубашке, демонстрируя ее красоту и свою любезность, пока королева не сделала ей подарки.

С риском обернуться леопардом, как на гербе Плантагенетов.

Хотя он задумывал «Рыцаря со львом», чтобы вывести из него ту же мораль, что из «Эрека и Эниды».

Откроем его имя раньше срока.

Изольда поклялась, что никто не держал ее в объятиях, кроме короля и того паломника, который только что перенес ее через реку, — а этим паломником был переодетый Тристан [Примеч. пер.].

Работой которой восхищается Говен из башни: *ibid.*, v. 5684-5708.

Это напоминает «весеннюю песнь».

Во французском языке слова «копье» (*lance*) и «метать» (*lancer*) — однокоренные [Прим. перев.].

«Император милостиво дал ему доспехи, и тот их взял», потом он «поспешил вооружиться», потому что его сердце рвалось в битву — после чего император препоясал его мечом (там же, ст. 3966-3975).

Сравните со случаем Арнульфа Гинского, избежавшего ситуации, когда бы его посвятил граф Филипп: см. выше. С. 324.

Понтификат Вильгельма Дуранда (1293-1295) упоминает, после вручения меча епископом и символического удара по шее, о шпорах, которые прикрепляют присутствующие знатные мужи, «там, где это в обычае»: Flori, Jean. *L'Essor...* P. 386 (S. 31, 12).

Кстати, не за дурное поведение, а за незнатное происхождение, которое он скрыл. *Les Etablissements de Saint-Louis accompagnes des textes primitifs et de textes derives...* V. II. Texte des établissements. Ed. par Paul Viollet. Paris: Renouard, 1881. P. 252-253.

Таким образом, верность тому, чему тебя учили, — дело очень хорошее, но и в ней надо знать меру!

О мужчине сразу же забывают, это правило относится к женщинам.

Этот эпизод вскоре воспроизведет немец Вольфрам фон Эшенбах («Парцифаль»), а позже его положит на музыку Вагнер («Парсифаль»).

Эта *militaris alapa* [воинская оплеуха (*лат.*)], от которой Персеваля избавили, — жест ключевой важности для Ламберта Ардрского.

«Курица в горшке по воскресеньям у каждого крестьянина» — так звучал лозунг царствования Генриха IV Бурбона [*Примеч. пер.*].

Кстати, Поль Вейн полагает, что распущенность римской знати была относительной:
Veyne, Paul. La société romaine. Paris: Seuil, 1991.

На практике на рассмотрение церковного суда передавались лишь отдельные дела, прежде всего те, в которых были замешаны клирики, или связанные с ересью, браком, ростовщичеством; в остальных случаях вопрос компетенции церкви в XII и XIII вв. был спорным.

Имеется в виду «Песнь о Роланде»: это ссылка на ее последнюю строку [*Прим. перев.*].

Зато «История Филиппа Августа» Ригора — именно такая апология.

В частности, Шарлем Мела: *Mela, Charles. La Reine et le Graal...*

Тем лучше для него! Лучше там, чем между матерью и химерой...

Для тысяча двухсотого года типичны мечтания о новой эре — к ним относятся и идеи Иоахима Флорского о царстве Духа. Это было куда более милленаристское время, чем тысячный год.

Более того: «Тот, кто умеет сражаться только верхом, не очень пригоден для *militia*» (IV, 9)!

Напомним, что, по мнению Эдуарда Гиббона (1776), Рим погубило христианство!

У него, отметим мимоходом, есть своя «Песнь о Роланде» — рассказ о Камероне (эпизоде из войны в Мексике 1868 г.), который там зачитывают по праздникам.

Пусть даже последний сыграл свою роль в процессе усиления князей и королей в XII в.

Он не был неведом французским авторам тысячного года, но терялся среди феодальных норм.

Выдвинутую при Альфреде Великом (871-899).

Одной из страниц книги «Против еретиков» (написанной до 1202 г.) Алан Лилльский внес свой вклад в снятие запрета на некоторые виды «человекоубийства». Он опровергает представление, что права убивать не должен иметь никто и никогда. Если рыцарь (*miles*), или скорее боец, теперь почти что можно сказать — ополченец (*milicien*), «убивает, подчиняясь власти, для которой он — законный подданный, он не считается виновным в человекоубийстве согласно закону общины» (своей страны). Наоборот, если он отказывается убивать, он виновен в отступничестве и пренебрежении к власти, а значит, она вправе его наказать.

comments

Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о галльской войне / Пер. М. М. Покровского. М.: День. 1991 (VI, 24). Воспроизведено у Тацита: Жизнеописание Юлия Агриколы. (XI, 5) // *Тацит, Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История.* М.: Ладомир. 2001. С. 431, и в трактате «О происхождении германцев и местоположении Германии», XXVIII, 5 // Там же. С. 472.

Страбон. География / Пер. Г. А. Стратановского. М.: «Ладомир», 1994. IV, 9, 2. С. 195.

Там же. С. 196.

Страбон. География. IV, 4, 2. С. 196.

Там же. IV, 4, 3. С. 197.

Там же. IV, 4, 5. С. 198.

Там же. IV, 4, 2. С. 195.

Записки Юлия Цезаря... II, 1.

Там же. II, 6.

Там же. I, 2.

Там же. VII, 21.

Там же. VI, 14 и 15.

Там же. VI, 13.

Записки Юлия Цезаря... VI, 18.

Германия. 13. С. 465. См. ниже, с. 24 и 39-30.

Записки Юлия Цезаря... VI, 23.

Там же. VI, 21.

Записки Юлия Цезаря... VI, 23.

Там же. VII, 4 и 5.

История // *Тацит, Публий Корнелий*. *Анналы. Малые произведения*. История. М.: Ладомир. 2001.

Германия. 33. С. 475.

Там же. 5. С. 460.

Там же. 36. С. 476.

Там же. 28. С. 473.

Там же. 4. С. 459.

Там же. 4. С. 460.

Там же. 20 и 21. С. 469-470.

Там же. 14. С. 466.

Там же. 25. С. 471.

Там же. 14 и 25. С. 466, 471.

Там же. 15. С. 466.

Там же. 20. С. 469.

Там же. 23. С. 470.

Там же. 22. С. 470.

Там же. 3. С. 459.

Там же. 7 и 8. С. 462.

Там же. 7. С. 462.

Там же. 14. С. 465.

«Рауль Камбрейский». Лесса 237. См. ниже. С. 411.

Германия. 18. С. 467-468.

Там же. 13. С. 465.

Там же. 6. С. 461.

Жак Перре предлагает двойкий перевод: Germanic P. 79. N. 1.

Германия. 14. С. 465-466.

Германия. 13. С. 465.

Тацит сам проводит такое различие: *Германия*,. 30. С. 474.

Германия. 14. С. 465.

Там же. 14. С. 465-466.

Там же. 6. С. 460-461.

Там же.

Там же. 14. С. 466.

См. выше. С. 19.

Demougeot, Emmenne. La Formation de l'Europe... P. 293.

Германия. 14. С. 465.

Там же. 13. С. 465.

Там же. 11. С. 464.

Германия. 7. С 461.

Там же. 7. С. 461-462.

Германия. 12. С. 464-465.

Германия. 12. С. 464-465.

См. выше. С. 19.

Германия. 11. С. 464.

Там же. 21. С. 469.

Германия. 22. С. 470.

Там же. 21. С. 469-470.

Германия. 13. С. 465.

Там же. 14. С. 465.

Там же. 35. С. 476.

Там же. 31. С. 475.

Там же. 30. С. 474.

Германия, 36. С. 477.

Там же. 38. С. 478.

Там же. 40. С. 479.

Там же. 10. С. 463.

Там же.

См. ниже. С. 69-71.

Германия. 7. С. 461.

Там же. 13. С. 465.

Анналы. II, 15 // *Тацит, Публий Корнелий*. Анналы. Малые произведения. История. М.: Ладомир. 2001. С. 61.

Там же. II, 17. С. 63.

Там же. II, 44. С. 79.

Там же. II, 45. С. 80.

Там же. XI, 16. С. 238.

Анналы. XI, 17. С. 239.

Там же. XI, 19. С. 241.

Анналы. XI, 23. С. 243.

Там же. XI, 20. С. 241.

Григорий Турский. История франков. М.: Наука, 1987. II, 40. С. 59.

История. IV, 61. С. 730.

Германия, 38. С. 478.

История. IV, 64. С. 732.

История. IV, 73. С. 739.

См. выше. С. 40.

История. IV, 17. С. 698.

Там же. IV, 66. С. 733.

Там же. IV, 73. С. 739.

Там же. IV, 23. С. 703.

Там же. IV, 77 (с. 742) и 34 (с. 710-711).

Там же. IV, 78. С. 743.

Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни. СПб: Алетейя, 1996. XVI, 22. С. 106.

Там же. XIV, 43. С. 109. См. выше. С. 23-24.

Zosime. Histoire nouvelle. III, 9.

Ibid. III, 7.

Les Francs, precurseurs de l' Europe: exposition, Paris, Musee du Petit Palais, 23 avril-22 juin 1997. Paris: Paris-Musees, 1997. P. 46.

Sidoine Apollinaire. Carmina. V. Vers 245-250.

Sidoine Apollinaire. Poemes. IV, 20.

Ibid. IV, 20.

Григорий Турский. II, 30. С. 51.

См. *Rouche, Michel*. Clovis. — *Dumezil, Bruno*. Les Racines chretiennes...

Проконий Кесарийский. Война с готами. О постройках. Арктос: Москва, 1996. I, 12. С. 61.

Григорий Турский. II, 37. С. 57.

Venance Fortunai. Poemes, VII, 7.

Ibid. XI, 1.

Ibid. XI, 1.

Григорий Турский. VI, 46. С. 189.

См. *Григорий Турский*. V, 3. С. 118-119 (жестокость герцога Раухинга).

Там же. III, 15. С. 70-72.

Там же. III, 7. С. 66.

Там же. III, 18. С. 74.

Там же. V, 5. С. 120-122.

Там же. VII, 47. С. 217.

Там же. VII, 38. С. 214.

Ср. историю Рокколена. *Григорий Турский*. V, 4 (с. 118-119).

The Bloodfeud of the Franks. Перепечатано в издании: *Wallace-Hadrill, John Michael. The Long-haired kings...* P. 121-149.

Григорий Турский. VII, 47. С. 217-218 и IX, 19. С. 258.

Записки Юлия Цезаря... VI, 34.

Григорий Турский. V, 25. С. 137-138.

Там же. X, 21. С. 306. Потом IX, 35 (с. 271), о смерти их отца.

Там же. V, 25.C. 138.

Там же. IX, 9. С. 252-253.

Там же. V, предисловие. С. 116.

Там же. V, предисловие. С. 116-117.

Там же. III, 7. С. 66.

Там же. IV, 23. С. 95.

Там же. IV, 29. С. 98.

Там же.

Там же. IV, 23. С. 95.

Григорий Турский. IV, 49. С. 112.

Там же. IV, 50. С. 112.

Цит. по: *Лебек, Стефан*. Происхождение франков... С. 68.

Григорий Турский. VI, 31. С. 178.

Duby, Georges. Guerriers et paysans... P. 60-69.

Германия, 13. С. 465.

Григорий Турский. V, 17. С. 129.

«Фредегар». IV, 90.

Григорий Турский. V, 17. С. 129.

Там же. VII, 33. С. 210.

Там же. VIII, 4. С. 222.

Там же. VIII, 5. С. 222-223.

Там же. VII, 14. С. 199-200.

Там же. X, 3 и X, 10.

«Фредегар». IV, 24.

Там же. IV, 25.

См. *Werner, Karl Ferdinand*. Les principautes periphériques...

Boretius, Nr. 9.

Devroey, Jean-Pierre. Economie rurale et société dans l'Europe franque (VI^e-IX^e siècles). Tome 1. Fondements matériels, échanges et lien social. Paris: Belin, 2003.

Bachrach, Bernard S. Charles Martel... — Bachrach, Bernard S. Charlemagne's Cavalry...

Contamine, Philippe. La guerre au Moyen age... P. 215-220. [Русский перевод: Контамин, Филипп. Война в средние века...]

Livre de l'Histoire des Francs. 17. P. 271..

Devroey, Jean-Pierre. Economie rurale... P. 97.

Regino abbas Prumiensis. P. 92-93 (ошибочно датировано 867 г.).

См. прекрасное исследование Саймона Коупленда: *Coupland, Simon. Carolingian Arms and Armours...*

Contamine, Philippe. La guerre au Moyen age... P. 324. [Контамин... С. 205.]

Notker le Begue. II, 16. P. 83-84. [Русский перевод: *Ноткер Заика*. Деяния Карла Великого // Памятники средневековой латинской литературы. VIII—IX века. М: Наука., 2006. С. 439.]

Ibid.

См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. La mutation... P. 197.

France, John. La guerre... P. 196 passim.

Boretius, Nr. 22 и 44.

Annates regni Francorum. P. 80-82.

Ibid. P. 38-40.

CM.: *Senac, Philippe*. Les Carolingiens et al-Andalus...

Annates dites d'Eginhard. P. 51.

Annales dites d'Eginhard. P. 61-63.

Annales regni Francorum. P. 100-102.

Поете. V. 144-210. P. 16-20.

Ibid. V. 390-394. P. 34.

Ibid. V. 402-403. P. 34.

Ibid. V. 407. P. 34.

Поете. V. 527. P. 42.

Ibid. V. 574-575. P. 46.

Ibid. V. 586. P. 46.

Ibid. V. 270-275. P. 24.

Annales regni Francorum. P. 152 (Hrsg. von Kurze. Hannover, 1895).

Histoire Auguste. P. 651-665.

Notker le Begue. II, 4. P. 52.

Paul Diaconus. Histoire des Lombards. I, 12 [Русский перевод: Павел Диакон. История лангобардов. М.: Азбука-классика, 2008.] В этом произведении есть и другие рассказы о подвигах, характеризующих королей (I, 15; I, 23).

Vie de saint Ermeland. 1 (p. 684). См. Werner K. F. Formation...

Poeme. V. 2410-2411. P. 184.

Эйнхард. Жизнь Карла Великого. 22, 23. С. 26-27.

Ноткер Заика. Деяния Карла Великого. I, 34. С. 378-379. См.: *Morrissey, Robert. L'Empereur...*
P. 42-65.

Sedulius Scotus, NoNo 12, 25, 28, 30, 38, 39, 53, 59.

Астроном. Жизнь императора Людовика // *Историки эпохи Каролингов*. М.: РОССПЭН, 1999. Гл. 4. С. 41. См.: *Le Jan, Regine*. Remises d'arme...

Там же. 6. С. 42.

Там же. 59. С. 89.

См. *Le Jan, Regine*. Famille et pouvoir... и *Femmes, pouvoir et so-ciete...*

Флори, Жан. Идеология меча. СПб.: Евразия, 1999. С. 133-139.

Boretius, Nr. 150.

Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au IXe siècle // *Le Jan, Regine*.
Femmes, pouvoir et société... P. 149-170.

Boretius, Nr. 138.

2 Тим. 2: 4.

Флори, Жан. Идеология меча... С. 87-88.

Там же. С. 89.

См. Moeglin, Jean-Marie. Penitence publique et amende honorable au Moyen Age // *Revue Historique*. T. 298, fasc. 604 (1997). P. 225-270.

Boretius, Nr. 197. Cm. *Leyser, Karl*. Early Medieval Canon Law...

См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. La mutation... P. 263 -264.

Флори, Жан. Идеология меча... С. 93.

Boretius, Nr. 150.

Ermold le Noir. Poeme. V. 2486.

Boretius, Nr. 136.

Miracles de saint Benott... I, 7.

Annates de saint Berlin. P. 13 (834).

Halphen, Louis. Charlemagne... P. 243.

Boretius, Nr. 197.

Нитхард. История в четырех книгах // *Историки эпохи Каролингов*. М.: РОССПЭН, 1999. II, 9. С. 118.

Там же. III, 1, 2. С. 122-123.

Там же. III, 6. С. 130-131. См. Nelson, Janet. Ninth-Century Knighthood...

См. выше. С. 95-96.

Аббон. I. V. 197. Ближе к окраинам так же себя вели сарацины и венгры.

Miracles de saint Philibert... P. 60.

Nelson, Janet. Charles le Chauve... P. 174-175.

Ibid. P. 229.

Цит. по: *Iogna-Prat, Dominique*. Le «baptême»... P. 106.

Miracles de saint Bertin. P. 512-513. См. Дюби, Жорж. Трехчастная модель... С. 95-96.

Рихер Реймский. История. М.: РОССПЭН, 1997. 9-11. С. 14-16.

Histoire des comtes d'Anjou. P. 26-27.

Regino abbas Prumiensis. P. 105 (намек: 873).

Ведастинские анналы // *Историки эпохи Каролингов*. М.: РОССПЭН, 1999. С. 172.

Abbon de Saint-Germain. II. V. 30.

Ibid. II. V. 416-419. P. 96.

Ibid. II. V. 440. P. 96.

См. «Песнь о Роланде», ниже, с. 395.

Abbon de Saint-Germain. II. V. 256.

Ibid. II. V. 529-533.

Regino abbas Prumiensis. P. 567 (896).

Abbon de Saint-Germain. II. V. 573-574.

Ibid. II. V. 576.

Ibid. II. V. 584-587.

Abbon de Saint-Germain. II. V. 585-591.

Ibid. II. V. 615-616.

Ведастинские анналы... С. 172.

Там же. С. 180-181.

Там же. С. 182.

Там же. С. 183.

Le Conventum. 1. 98-100.

Ademar de Chabannes. III. 41.

Puxep. IV, 91. C . 175.

Puxep. IV, 80. C. 171.

Glenn, Jason. The composition...

Рухер. I, 3. С 10-11.

France, John. La guerre...

Regino abbas Prumiensis. P. 112 (876).

Puxep. I, 11. C 15-16.

Например: *Dudon de Saint-Quenlin. De moribus et gestis... I, 5-7.*

Ademar de Chabannes. III. 20.

Puxep. I, 11. C 16.

Raoul Glaber. Histoires. III, 39.

Рихер. II, 2-32. С. 44-59. См. также: *Dudon de Saint-Quentin*. III, 52-64, который делает из своего героя образец доблести и справедливости.

Puxep. III, 71. C. 114.

Там же. III, 73. С. 116.

Dudon de Saint-Quentin. IV, 127.

Puxep. III, 76. C. 117.

См. рассказ Адемара Шабаннского о Гильоме Тайефере: *Ademar de Chabannes*. III. 28.

Puxep. IV, 11. C. 138-139.

Там же. II, 4. С. 46.

Рухер. II, 88-90. С. 83-85.

Там же. III, 9-10. С. 94-95.

Там же. 11,21. С. 53.

Там же. II, 83-84. С. 82-83.

Там же. II, 11. С. 49-50.

Там же. IV, 75-78. С. 168-170.

Odon de Cluny. I, 32.

Ademar de Chabannes. III. 48.

См. мои замечания в издании: *Barthelemy, Dominique. Chevaliers et miracles...* P. 48-67.

Odon de Cluny. I, 8.

Ibid. I, 4.

См. выше. С. 128-129.

Odon de Cluny. 1, 40.

Flodoard. Annales... P. 25, 68-69, 136, 159 (924, 938, 953, 965 гг.).

Odon de Cluny. I, 33.

Ibid. I, 35-36.

Odon de Cluny. I, 20.

Ibid. I, 38-39.

Odon de Cluny. I, 37.

Miracles de saint Geraud. 4.

Odon de Cluny. I, 98.

Miracles de sainte Foy. I, 26.

См. также эпизод со Стабилисом из «Чудес святого Бенедикта» в моей книге: *Barthelemy, Dominique. Chevaliers et miracles... P. 162-166.*

См. ниже. С. 247-248.

Miracles de saint Benoit. II, 16. См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. *L'An mil et la paix de Dieu...* P. 110-113.

Miracles de sainte Foy. III, 18 и IV, 9. См. мою книгу: *Barthelemy, Dominique. Chevaliers et miracles...* P. 108-113.

Ademar de Chabannes. III. 49.

Ibid. III, 53.

Ibid. III, 49.

Ademar de Chabannes. III. 28.

Ibid.

Ibid. III, 53.

Ademar de Chabannes. III. 53.

Ademar de Chabannes. III. 42.

Bonnassie, Pierre. Les descriptions de forteresses...

Ademar de Chabannes. III. 60.

См. ниже. С. 177.

Это только вымысел, согласно изданию: *Bachrach, Bernard S. Fulk Nerra...* P. 173.

Ademar de Chabannes. III. 64.

Ibid. III, 25.

Ibid.

Ibid.

См. мою книгу: *Barthelemy, Dominique. Chevaliers et miracles...* P. 85-89.

Miracles de sainte Foy. II, 6; см. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. *L'An mi! et la paix de Dieu...* P. 13 и 133.

Miracles de sainte Foy. I. 2.

Ibid. III, 52.

Ibid. III, 47.

Ibid. III, 55.

См.: *link, Michel*. Litterature... P. 89-95.

См. выше. С. 85-86.

Ademar de Chabannes. III. 68.

Miracles de sainte Foy. IV, 8.

Ibid. IV, 10.

Контрапункт истории графа Эрменголя у Адемара: *Ademar de Chabannes*. III. 18.

Miracles de saint Benoit... IV, 10.

Raoul Glaber. Histoires. III. 9 (18-20).

Jaffe, n° 2642 и 3195. См.: *Erdmann, Carl*. Die Entstehung... S. 26-27.

См. ниже. С. 412.

Miracles de sainte Foy. H, 2.

Ibid. I, 26 и III, 7. См.: *Barthelemy, Dominique*. Chevaliers et miracles... P. 103-106.

Ibid. I, 28.

Gregoire de Tours. La Gloire des martyrs. II, 30.

См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique. L'An mil et la paix de Dieu...* P. 285.

Это особо подчеркивает Джейн Мартиндейл: *Martindale, Jane. Peace and War...*

Barthelemy, Dominique. L'An mil et la paix de Dieu... P. 422.

Ademar de Chabannes. III. 35.

Ibid.

Ibid. III, 42. См. выше. С. 147-148.

Miracles de saint Benoit... V, 3; см. мое исследование: Barthelemy, Dominique. L'An mil et la paix de Dieu... P. 404-405.

См. ниже. С. 214-215.

Прежде всего в издании: *Histoire militaire de la France...* P. 52. Прежде всего в издании: *Histoire militaire de la France...* P. 52.

Barthelemy, Dominique. L'An mil et la paix de Dieu... P. 431.

Великолепный пример которых дал Фульк Нерра, о чем рассказывает Рихер (*Рихер. IV, 91-92. С. 175-176*).

Contamine, Philippe. La guerre au Moyen age... P. 430 [Контамин... С. 286] (с цитатой из постановления, после красноречивой цитаты из Рабана Мавра).

Ibid. P. 429-430.

Puxep. I, 46. C. 32. Ademar de Chabannes. III, 22.

Puxep. IV, 82-86. C. 172-173. Raoul Glaber. Histoires. II, 3. Histoire des comtes d'Anjou. P. 13.

См. выше. С. 149.

Latouche, Robert (1937), в его издании Рихера: *Richer*. Т. II. Р. 285, note 2.

Helary, Xavier. La guerre vue par les clercs...

По прекрасному выражению Моны Озуф: *Ozouf, Mona. Les aveux du roman: le XIX^e siècle entre Ancien Regime et Revolution. Paris: Gallimard, 2004.*

Flodoard. Annales... P. 13.

Raoul Glaber. Histoires. II, 3.

Puxep. IV, 84. C 173.

Raoul Glaber. Histoires. V, 19.

Histoire des comtes d'Anjou. P. 56-58.

Ibid. P. 52.

См. мои критические соображения в издании: *Barthelemy, Dominique. La mutation...* P. 222-300.

См. мою работу: *Barthelemy, Dominique. Chevaliers et miracles...* P. 161-164.

Этот акт опубликован Шарлем Мете: *Cartulaire de l'abbaye cardinal de la Trinite de Vendome*. 2, Tome deuxieme [1081-1201]. Publ. sous les auspices de la Société archeologique du Vendomois par l'abbe Ch. Metais. Paris: A. Picardet fils; Vendome [Loir-et-Cher]: C Ripe; puis: Chartres: l'auteur; Vannes: Lafolye, 1894. № 359. См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. Les comtes, les sires...

Geoffroi de Vigeois. I, 25. P. 291.

Le Goff, Jacques. Le rituel symbolique... P. 389.

Orderic Vital. III. T. II. P. 40.

Ibid. IV. T. II. P. 306.

Ibid. V. 10, 12. T. III. P. 112.

Ордерик Виталий как продолжатель «Gesta» Гильома Жюмьежского: VII, 23. P. 137.

В документе, цитируемом Морисом Пру: *Prou, Maurice* (ed.). *Recueil des actes de Philippe Ier, roi de France: 1059-1108*. Paris: Impr. national: C Klincksieck, 1908. P. XXXII, note 5.

PL 162. Col. 664.

Suger. Vie de Louis le Gros. 14.

Dudon de Saint-Quentin. III, 38; IV, 67-68. *Raoul Glaber*. *Histoires*. IV, 20 [*militaribus sacramenti*].

Guillaume de Poitiers. I, 6.

Ibid.

Ibid.

Ibid. I, 7.

Ibid. I, 42.

Luchaire, Achille. Les premiers Capetiens... P. 287.

См.: *Contamine, Philippe*. *La guerre au Moyen ...* P. 134 (*Контамин... С. 59*); о расследовании как о форме морального давления, с тем чтобы увеличить бремя, см. замечания в издании: *Dunbabin, Jean*. *France in the Making...* P. 359-360.

Orderic Vital. XII, 15. T. VI. P. 350.

Guillaume de Poitiers. I, 25. P. 57.

Ibid. I, 23. P. 53.

Ibid. 1,9.

Orderic Vital. Histoire. VII, 8.

Guillaume de Poitiers. I, 27. P. 63.

См. выше. С. 100-101.

Ibid. XII, 2. T. VI. P. 190; см. ниже, 235-236, случай Галерана де Мёлана.

См. ниже. С. 237.

Guillaume de Poitiers. I, 14. P. 30.

Ibid. I, 19. P. 41: *hostis*, потом *aemulus*.

Ibid. P. 43.

Ibid.

Ibid. I, 27. P. 61.

Ibid. I, 17. P. 39.

Ibid. I, 26. P. 61.

Ibid. I, 20. P. 45.

Ibid. I, 16. P. 37.

Ibid.

Ibid. I, 12. P. 27.

Ibid. I, 11. P. 25.

Ibid. I, 13. P. 27.

Ibid. I, 18. P. 41.

Ibid. I, 32. P. 77.

Ibid. I, 31. P. 73.

Ibid. I, 46. См. также Ордерика Виталия как продолжателя Гильома Жюмьежского: VII, 31.

Guillaume de Poitiers. I, 41. P. 103.

Ibid.

Gillingham, John. 1066 and the introduction of chivalry... См. также: *Strickland, Matthew.* War and chivalry...

Guillaume de Poitiers. I, 45. P. 113.

Ibid. II, 21. P. 151.

Ibid. II, 33. P. 233.

Ibid. Говоря о грабежах, и Ордрик Виталий сожалеет о римской дисциплине: *Orderic Vital.* XIII, 25. Т. VI. Р. 472.

Guillaume de Poitiers. II, 27. P. 210.

Ibid. II, 33. P. 232.

Ibid. II, 35. P. 236.

Ibid. II, 38. P. 245.

Gui d'Amiens. Poeme. V. 325-326.

Gui d'Amiens. Poeme. V. 369.

Ibid. V. 371.

Guillaume de Poitiers. 11, 24. P. 203.

Ibid. II, 21. P. 151.

Ibid. II, 12. P. 179.

Puxep. I, 7-8. C 13-14.

France, John. La guerre... P. 194.

Guillaume de Poitiers. II, 24. P. 203.

Ibid. II, 23. P. 209.

Gui d'Amiens. Poeme. V. 391.

Ibid. V. 515-518.

Guillaume de Poitiers. II, 24. P. 203.

См. выше. С. 197.

Cowdrey, H. E. J. Bishop Ermenfrid...

Orderic Vital. IV. T. II. P. 280.

Guillaume de Poitiers. II, 37. P. 243.

Lefebvre de Noatte, Commandant. La tapisserie de Bayeux datee par la harnachement...; см. также Ross, D. J. A. L'originalite de «Tuoldus» et le maniemment de la lance...

Ibid. P. 300.

См. выше. С. 146-147.

См. выше. С. 192.

Pastoureau, Michel. Traite d'heraldique... P. 21-25, 298-341.

См. ниже. С. 235 и 330.

См. ниже. С. 325.

Orderic Vital. V, 10. T. III. P. 108.

Ibid. VIII, 10. T. IV. P. 188. Переведено и откомментировано Анри Плателлем: *Platelle, Henri*.
Le problème du scandale... P. 310.

Raoul Glaber. Histoires. III, 40.

Orderic Vital. VIII, 14. T. IV. P. 216.

Ibid. VIII, 27. T. IV, P. 328.

См. ниже. С. 255.

Orderic Vital. V, 13. T. III. P. 140.

Ibid. IV. T. II. P. 220.

Orderic Vital. VIII, 20. T. IV. P. 260.

Ibid. VIII, 14. T. IV. P. 212.

См. ниже. С. 421-427.

См.: *Lemesle, Bruno*. La Société... P. 35.

Ibid. P. 38-45.

Orderic Vital. X, 8. T. V. P. 230.

Ibid. P. 232.

Ibid. P. 234.

Ibid. P. 238.

Ibid. P. 240.

Ibid. P. 244.

Ibid. X, 10. T. V. P. 260.

Ibid. X, 18. T. V. P. 302.

Orderic Vital. X, 18. T. V. P. 306.

Suger. Vie de Louis VI..., 1.

См. выше. С. 180.

Orderic Vital. X, 5. T. V. P. 218.

Suger. I. P. 9.

Orderic Vital. X, 5. T. V. P. 216.

Ibid. X, 4. T. V. P. 210. О его жестокости по отношению к Люку де ла Барру см.: *ibid.* XII, 39. T. VI. P. 354).

См. ниже. С. 165-169.

Orderic Vital. XI, 11. T. VI. P. 64.

Ibid. XI, 17. T. VI. P. 84.

Ibid. P. 80.

Suger. 14. P. 86.

Ibid. 21. P. 161.

Ibid. 11. P. 76.

Ibid. 19. P. 131 и 133.

См. выше. С. 129-130.

Strickland, Matthew. Provoking... P. 340.

Suger. 15. P. 89.

Ibid. P. 97.

См. выше. С. 101.

Orderic Vital. XI. T. VI. P. 182.

Suger. 24. P. 177.

Ibid. P. 179.

Guibert de Nogent. Autobiographie. III, 14. P. 413.

Suger. 19. P. 140 и 21. P. 152.

Ibid. 16. P. 100.

Ibid. 16. P. 104.

См. ниже.С. 413-418.

Suger. 16. P. 108.

Ibid. 16. P. 110.

Ibid. 19. P. 142.

Strickland, Matthew. Provoking...

Suger. 26. P. 187.

Ibid. 26. P. 195.

Ibid. 26. P. 197.

Orderic Vital. XII, 18. T. VI. P. 240.

Ibid. XII, 18. T. VI. P. 242.

Ibid. XII, 18. T. VI, P. 240.

Suger. 4. P. 24.

Suger. 26. P. 198.

Orderic Vital. XI, 19. T. VI. P. 246.

Orderic Vital. XII, 20. T. VI. P. 250.

Ibid. XII, 23 T. VI. P. 262.

Ibid. XII, 34. T. VI. P. 332.

Ibid. XII, 39. T. VI. P. 348.

Ibid. XII, 39. T. VI. P. 348-350.

Ibid. XII, 39. T. VI. P. 350.

Ibid. XII, 39. T. VI. P. 352.

Ibid. XII, 39. T. VI. P. 354.

См. *Vaucher, Andre*. Le christianisme... P. 304-317; *Baschet, Jerdme*. La civilisation feodale... P. 165-178, а также: *Mayeur, Jean-Marie et al.* (dir.). Histoire de christianisme.

См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. L'An mil et la paix de Dieu... P. 404-416 и 515-516.

См. выше. С. 178.

CM.: *Flori, Jean. L'Essor... P. 386. S. 31, 12.*

Flori, Jean. Chevalerie et liturgie...

См. выше. С. 98-99.

Flori, Jean. L'Essor... P. 379-382. S. 26.

См. ниже. С. 268.

См. выше. С. 210.

См. ниже. С. 472

См. выше. С . 226.

Orderic Vital. VIII, 17. См.: Schmitt, Jean-Claude. Les Revenants... P. 115-122.

См. ниже. С. 308, 419, 471-472.

Contamine, Philippe. Points de vue... P. 275. Note 81.

Воспроизведено в издании: *Flori, Jean. L'Essor... P. 384-386. S. 31.*

См. выше. С. 91.

Guibert de Nogent. Autobiographic I, 6. P. 40. Эту книгу скорей следовало бы назвать «Монодиями».

См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. La mutation... P. 264. См. также: *Miramon, Charles de*. Embrasser l'etat monastique...

См. *Miramon, Charles de*. La guerre des recits...

Orderic Vital. VI, 2. T. III. P. 216.

См. выше. С. 89-91.

Orderic Vital. VI, 3. T. III. P. 218.

Moniage Guillaume: Les Deux redactions en vers du Moniage Guillaume...

Guibert de Nogent. Autobiographic I, 9. P. 55. См.: logna-Prat, Dominique. Evrard de Breteuil et son double...

О скандальных модах см. выше. С. 212-213.

Guibert de Nogent. Autobiographie. I, 10. P. 57-59.

Abelard et Heloise. Correspondence... P. 42.

Guibert de Nogent. Autobiographie. I, 10. P. 62. А также: Vie de saint Arnoul, I, 25. См. также: Lauwers, Michel. Du pacte seigneurial a l'idee de conversion...

Vie de saint Arnoul. I, 29. См. мою работу: *Barthelemy, Dominique*. Chevaliers et miracles... P. 188-224. См. также ниже. С. 424-425.

Vie de saint Arnoul. 1, 21.

Orderic Vital. IV, 15. T. II. P. 326.

Ibid. V, 15. T. III. P. 144.

См.: *Pacaut, Marcel*. Les Moines blancs...

Bernard de Clairvaux. Les Combats de Dieu. P. 125 (притча I).

Еф. 6:17.

Bernard de Clairvaux. Les Combats de Dieu. P. 135-136.

Ibid. P. 137-138.

См. выше. С. 177-178.

См. ниже. С. 287.

Григорий Турский. V, предисловие. С. 116.

См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. L'An mil et la paix de Dieu... P. 499-521.

Ibid. P. 547.

Ibid. P. 507.

Miracles de saint Ursmer. P. 571; см. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. L'An mil et la paix de Dieu... P. 536-546.

См. мою книгу: *Barthelemy, Dominique. Chevaliers et miracles...* P. 205-222.

Miracles de saint Ursmer. C. 6. P. 571-572.

Vie de saint Arnoul. I, 29.

Ibid. I, 23.

Да, бесов: см. мою работу: *Barthelemy, Dominique. Chevaliers et miracles...* P. 201-203.

White, Stephen. Feuding and peace-making in the Touraine...

См. выше. С. 215.

Guibert de Nogent. Autobiographie. III, 3. P. 279.

Vie de saint Arnoul. I, 32.

См. выше. С. 82.

См. ниже. С. 473-476 и 487.

Suger. 9, P. 44.

Ibid. 19. P. 142.

Histoire anonyme... P. IV (Louis Brehier).

Histoire anonyme. 1. P. 5.

Цит. по: *Fucnardi Jean. L'Ésprit de la croisade... P. 64. Note 5.*

Histoire anonyme. 21. P. 110.

Ibid. 8. P. 43.

Orderic Vital. IX, 2, T. V. P. 16.

О политике Урбана II см.: *Cahen, Claude. Orient et Occident...* P. 53-59.

Цит. по: *Richard, Jean. L'Ésprit de la croisade... P. 63.*

Robert le Maine. P. 11.

Цит. по: *Richard, Jean. L'Ésprit de la croisade... P. 67.*

Подробности см. в издании: *Flori, Jean. Pierre l'Ermite...*

Gaier, Claude. La valeur militaire... См. также: France, John. Victory in the East...

См. ниже. С. 395-396.

Histoire anonyme. 9. P. 47 и 49.

Прежде всего: *Tolan, John. Les Sarrasins...*

Histoire anonyme. 9.

Histoire anonyme. 30. P. 167.

Ibid. 15. P. 79.

Ibid. 28. P. 150.

Hillenbrandt, Carole. Les Croisades. Perspectives musulmanes...

Histoire anonyme. 33. P. 175.

Ibid. 39. P. 207.

Ибн аль-Асир цитируется в издании: *Chroniques arabes...* P. 35-37.

Histoire anonyme. 38. P. 205.

Ibid. 38. P. 203.

Ibid. 38. P. 205.

См. *Демурже, Ален. Жизнь и смерть... и Рыцари Христа.*

См. выше. С. 155-156.

Richard, Jean. L'Ésprit de la croisade... P. 141.

Richard, Jean. L'Ésprit de la croisade... P. 141.

Ibid. P. 141.

Richard, Jean. L'Ésprit de la croisade... P. 146.

Ibid. P. 147.

Ibid. P. 149.

Usama. Les Enseignements... V. P. 297. (*Усама ибн Мункыз. Книга назидания. М.: Изд-во вост. лит., 1958. С. 212-213.*)

Guillaume de Tyr. X, 10 // *Croisades et pèlerinages...* P. 529.

Ibn al-Athtr. X, 321 // *Chroniques arabes*. P. 44. *pèlerinages*

Cahen, Claude. Un episode épico-feodal franc dans une chronique arabe // *La Noblesse au Moyen age (XIV-XV siècles)*: essais à la mémoire de Robert Boutruche. Réunis par Philippe Contamine. Paris: PUF, 1976. P. 132. Эта страница известна нам потому, что ее цитирует Ибн аль-Фурат.

См. ниже. С. 403.

Усама ибн Мункыз. Книга назидания. М.: Изд-во вост. лит., 1958. С. 124.

Усама... С. 127.

Guillaume de Tyr. XIV, 1 // *Croisades et pèlerinages...* P. 582.

Усама... С. 231-232.

Усама... С. 205-206.

См. рассказ о пленении Боэмунда у Ордерика Виталия: *Orderic Vital.* X, 24. Т. V. P. 354-360.

См. ниже. С. 401.

Усама... С. 209.

Mlchelet, Jules. Le Moyen Ages. Rééd. Paris, 1981. P. 272.

Chanson d'Antioche. III, 7-9.

Ibid. VI, 9.

Dunbabin, Jean. Discovering a Past...

Histoire des comtes... P. 29. Он только что был посвящен королем.

Geoffroi de Vigeois. I, 23.

Ibid. I, 27.

Lambert d'Ardres, 130.

Ibid. 123.

См. выше. С. 297.

Gislebert de Mons. 32.

Ibid.

Lambert d'Ardres, 109-110.

Guibert de Nogent. Autobiographie. III, 7.

Platelle, Henri. La conversion du marchand cambrésien Werimbold... (1979) // Platelle, Henri. Terre et Ciel... P. 329-357.

CM.: *Platelle, Henri*. Le mouvement communal de Cambrai de 1077 et ses destinees ulterieures (1982)) // *Platelle, Henri*. Terre et Ciel... P. 243-263.

Guibert de Nogent. Autobiographie. III, 7-11.

См. выше. С. 242-243.

Saint-Denis, Alain. Apogee d'une cité... P. 224-225.

Richard, Jean. Château, chatelains et vassaux...

См. мое исследование: *Barthelemy, Dominique*. La Société dans le comte de Vendôme... P. 749-469.

См. из последнего: *Nicholas, David*. Medieval Flanders... — *Dunbabin, Jean*. France in the Making... P. 318-323.

Gislebert de Mons. 6 (однако он писал в 1196 г.).

Galberi de Bruges. 71.

Galbert de Bruges. 31.

Ibid. 45.

Ibid. 59.

Galbert de Bruges. 55.

Ibid. 93.

Ibid. 88.

Ibid. 67, 109, 116.

Ibid. 116.

Chretien de Troyes. Le Conte de Graal. V. 5680-5708.

Galbert de Bruges. 3.

Ibid. 4.

Об аристократии и границах см.: *Parisse, Michel*. Noblesse et che-valerie...

Об этом см. прекрасные изыскания Жана-Франсуа Нье: *Nieus, Jean-Francois. Du donjon au tribunal...* и *Un pouvoir central...*

Gislebert de Mons. 55.

Lambert d'Ardres. 18.

Ibid. 19.

Ibid. 20.

Ibid. 134.

Ibid. 135.

Ibid. 76, 127 и 252; см.: *Héliot, Pierre*. Les origines...

Fossier, Robert. Enfance de l'Europe...

Le Conventum. 1. 99-106.

Lambert d'Ardres. 126.

Ibid. 12.

Ibid. 126.

Ademar de Chabannes. III. 41.

См. Конон Бетюнский, ниже. С. 381.

Lambert d'Ardres. 60.

См. выше. С. 116-117.

Lambert d'Ardres. 126.

Ibid. 121 и 122.

Lambert d'Ardres. 131.

Ibid. 108.

См. выше. С. 301.

См. выше. С. 129. А о графах Гинских см. замечания Жоржа Дюби: *Duby, Georges. Le Chevalier, la femme et le pretre...* P. 269-300.

См. ниже. С. 424-430.

См. выше. С. 307-308.

Lambert d'Ardres. 86.

Ibid. 91.

Ibid. 93.

См. ниже. С. 388-473.

Lambert d'Ardres. 159.

См. главу VI из моей работы: *Barthelemy, Dominique. Chevaliers et miracles...*

Suger. Vie de Louis le Gros. 19. См. выше. С. 220-221 и 224-231, о рыцарских аспектах войн Людовика VI.

Gislebert de Mons. 21 и 43.

Gislebert de Mons. 57.

Ibid. 67.

Althoff, Gerd. Prolegomena... S. 70.

См.: *Fleckenstein, Joseph*. Friedrich Barbarossa...

Lambert d'Ardres. 91. См. ниже другие источники о посвящениях конца XII в. С. 471-472.

Histoire de Geoffroi... P. 173.

Ibid. P. 177.

Ibid. P. 179.

См. выше. С. 287-288.

Histoire de Geoffroi... P. 180.

См. выше. С. 133.

Прежде всего Иоанна Солсберийского, см. ниже, с. 481-493. О целом см.: *Chauou, Amaury. L'ideologie Plantagenet... — Aurell, Martin (dir.). Noblesses...*

Histoire des comtes d'Anjou. P. 59-60.

Histoire de Geoffroi... P. 194.

Ibid. P. 195.

Ibid. P. 196.

Histoire de Geoffroi... P. 197.

Ibid. P. 199.

В этом направлении см. *Aurell, Martin. La deterioration...*

Dunbabin, Jean. France in the Making... P. 333-340.

Lemesle, Bruno. Le comte d'Anjou face aux rebellions...

Histoire de Geoffroi... P. 210.

См. ниже. С. 413.

Histoire de Geoffroi... P. 201.

Ibid. P. 216.

Ibid. P. 202.

Ibid. P. 219.

Suger. Vie de Louis le Gros. 19.

Histoire de Geoffroi... P. 203.

Ibid. P. 202.

Ibid. P. 207.

См. *Debord, Andre*. Aristocratie et pouvoir... P. 167-194; *Chatelain, Andre*. Donjons romans...

Ibid. P. 207.

Histoire de Geoffroi... P. 226.

Strickland, Matthew. War and chivalry... P. 204-229.

Из последних работ об этом см.: *Aurell, Martin. L'Empire Plantagenet...*

Gislebert de Mons. 48.

Ibid. P. 33.

Histoire de Geoffroi... P. 183.

Galbert de Bruges. 4.

Salmon, Andre (ed.). Recueil de chroniques de Touraine. Tours: Lade-veze, 1854. P. 125 и 189.

См. выше. С. 191-192, 223, 232.

Напечатана Луи Альфаном и Рене Пупарденом в издании: *Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise*. Publiees par Louis Halphen et Rene Poupardin. Paris: A. Picard, 1913. P. 74-132.

См. выше. С. 317.

Galbert de Bruges. 4 (см. выше, с. 314).

Foreville, Raymonde (ed.). Latran 1, II, III et Latran IV. Paris: Orante, 1965. P. 191. Переиздание: Paris: Fayard, 2007.

Цит. по: *Duby, Georges. Le Dimanche de Bouvines... P. 112.*

См. ниже. С. 443-444, 447-449, 454-456.

Gislebert de Mons. 57.

Ibid. 77.

Ibid. 62. P. 111.

Gislebert de Mons. 69.

Ibid. 77.

Ibid. 57.

Gaier, Claude. A la recherche d'une escrime decisive...

Gislebert de Mons. 57.

Ibid. 115.

Ibid. 101.

Ibid. 48.

Histoire de Guillaume le Marechal. P. 75 (1183).

Duby, Georges. Guillaume le Marechal...

Gillingham, John. War end Chivalry... — Crouch, David. William Marshall...

Histoire de Guillaume le Marechal. V. 822-825.

Ibid. V. 2495 sq. P. 36-37.

Ibid.

Ibid. P. 38-39.

См. выше. С. 348.

Histoire de Guillaume le Marechal. P. 74.

Ibid. P. 41.

Ibid. P. 47-48.

См. выше. С. 351.

Histoire de Guillaume le Marechal. P. 66.

См. ниже. С. 363.

Histoire de Guillaume le Marechal. V. 3489.

Ibid. T. III. P. XLV.

Ibid. P. 41. V. 3061.

Ibid. P. 75.

Ibid. V. 3557-3562.

См. выше. С. 235-236, бой при Бургтерульде.

Histoire de Guillaume le Marechal. P. 42.

Ibid. P. 43.

Ibid. P. 47.

Ibid. P. 49.

Ibid. P. 80.

См. выше. С. 322-323.

Histoire de Guillaume le Marechal. P. 25.

Об этом дворе, который когда-то высоко оценил Рето Беццола: *Bezzola, Reio. Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident (500-1200)*. Paris: É. Champion, 1944-1967. 3 vol. V. III. P. 247-291, см. недавние дискуссии, подытоженные Жаном Флори: *Flori, Jean. Alienor...* P. 400-413, из последнего — *Gillingham, John. The cultivation of history...*

Histoire de Guillaume le Marechal. P. 75. См. также: *Gillingham, John*. Richard I... P. 52-75. — *Flori, Jean*. Richard Coeur de Lion... P. 49-66.

См. выше. С. 300.

Geoffroi de Vigeois. I, Prologue.

Ibid. I, 65.

Ibid. I, 72.

Ibid. I, 58.

Ibid.

См. выше. С. 213 и *Gislebert de Mons*. 35.

Geoffroi de Vigeois. I, 25. См. выше. С. 177.

Ibid. I, 70.

Ibid. I, 63.

Ibid. 1, 67.

Ibid. I, 44.

Ibid. I, 63.

Ibid. I, 69.

Ibid. I, 70.

Contamine, Philippe. La guerre au Moyen age... P. 192-207. [*Контамин...* С. 105-116.]

Miracles de Notre-Dame. III, 4 (см. также III, 15-17).

См. Дюби, Жорж. Трехчастная модель... С. 293-299.

Хроники Анонима Ланского: *MGH. SS. XXVI. P. 443.*

Geoff roi de Vigeois. I, 69.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

См. выше. С. 218.

Guillaume d'Aquitaine, № 5.

link, Michel. Litterature... P. 106-118. См. также: Brunel-Lobrichon, Genevieve et Duhamel-Amado, Claudie. Au temps des troubadours...

Geoffroi de Vigeois. I, 32.

Guillaume d'Aquitaine, № 11. *I*

Ibid., № 10.

Guillaume d'Aquitaine, № 8.

Ibid.

Guillaume d'Aquitaine, № 6.

Anthologie... P. 82-85.

Kohler, Erich. Observations...

Anthologie... P. 86-97.

Ibid. P. 130-146.

Bertran de Bom. I, 2. [Пер. А. Г. Наймана.]

Bertran de Born, № 37. [Пер. В. Дынник.]

Ibid., № 29. См. ниже. С. 407.

Bertran de Born, № 13. [Пер. А. Г. Наймана.]

См. выше. С. 333-334.

Bertran de Born, № 1. [Пер. А. Г. Наймана.]

Bertran de Born, № 6. [Пер. А. Г. Наймана.]

Ibid, № 8.

Ibid.

Ibid.

Ibid., № 36.

Ibid., № 13.

Guillaume IX d'Aquitaine. P. 26.

Geoffroi de Vigeois. I, 74.

См. выше. С. 211-213.

Geoffroi de Vigeois. I, 74.

Geoffroi de Vigeois. I, 74. См. также I, 72.

См. выше. С. 247.

Les gestes des eveques d'Auxerre. Texte etabli par Guy Lobrichon. Paris: Les Belles Lettres, 2002-2006. III, 178-182. Эти материалы прокомментировал Жорж Дюби: *Дюби, Жорж.* Трехчастная модель... С. 293-299.

Лютер, Ашиль. Французское общество... С. 284.

Dufournet, Jean. L'Anthologie... P. 127.

Les Miracles de Notre-Dame de Chartres... 15 (сборник составлен около 1210 г.).

Caesarius Heisterbacensis. VII, 38, 2.

Как хорошо показывает Бенедикта Уорд: *Ward, Benedicta. Miracles and the medieval mind...*
P. 132-165.

Les Miracles de Notre-Dame de Chartres... 14.

См. выше. С. 144.

Les Miracles de Notre-Dame de Rocamadour... II, 24.

См. выше. С. 100-101 и 188.

Люшер, Ашиль. Французское общество... С. 246-278.

Histoire de Guillaume le Marechal. V. 18481-18496.

См. выше. С. 197.

Bezzola, Reto. Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident (500-1200). Paris: É. Champion, 1944-1967. 3 vol. V. III. 1. P. 91.

См. выше. С. 326.

См. Boutet, Dominique... // *Lestringant, Franck et Zink, Michel* (dir.). *Histoire littéraire...* V. I. P. 445.

См. выше. С. 287-288.

Raoul Glaber. Histoires. I, 19.

См. выше историю Раймона дю Буске. С. 156-157.

Miracles de saint Benoit... VIII, 38.

См. выше. С. 128-131, 146 и 153-154.

Chanson de sainte Foi... V. 341. См. мою работу: *Barthelemy, Dominique*. *Chevaliers et miracles...* P. 88-89.

См. недавний перевод Бернара Жиккеля: *Gicquel, Bernard. La legende de Compostelle: Le Livre de Saint Jacques. Paris: Tallandier, 2003. P. 525-590.*

Там же. Ст. 1008-1011.

Там же. Ст. 1012.

Там же. Ст. 1015.

Там же. Ст. 1047-1048.

Там же. Ст. 1101-1102.

См. выше. С. 114.

См. выше. С. 87.

Там же. Ст. 1288.

Там же. Лесса 103.

Там же. Ст. 1339.

Ross, D. J. A. L'originalite... P. 136.

Песнь о Роланде. 141. Ст. 1876-1882.

Там же. Ст. 1121-1123.

Там же. Ст. 2136. См. также ст. 1669 и по всему тексту.

См. выше. С. 128-130.

Hlitolre des comtes d'Anjou. P. 29-31 и 135-139.

Песнь о Роланде. 79. Ст. 994-1003.

Там же. 28. Ст. 3164.

Там же. 28. Ст. 3145-3146.

Там же. 229. Ст. 3174.

Там же. 229. Ст. 3176-3182.

Так происходит в третьей части «Рауля Камбрейского», 320-328.

См. выше. С. 156-157.

См. выше. С. 296.

Песнь о Роланде. 187. Ст. 2580-2591.

Miracles de salnte Foy. I, 26.

Например, в «Жираре Руссильонском», см. ниже. С. 413.

Песнь о Роланде. 265-266. Ст. 3660-3675.

Там же. Лессы 278-287.

См. выше. С. 215-216.

См. выше. С. 88-92.

См. выше. С. 109.

Песнь о Гильоме. XLVII. Ст. 587-588.

Там же. XXVI.

Там же. СIII-а. Ст. 1430-1432.

Там же. CLXVII, CLXVIII. Ст. 2938-2948.

Там же. СXXXVI. Ст. 2134-2135.

Там же, СXXXV. Ст. 2107-2110.

См. ниже. С. 483.

См. выше. С. 30-31 (о примирениях).

Raoul de Cambrai. XXIII. V. 296-298.

Ibid. XXV. V. 340-341.

См. выше. С. 173-184.

Raoul de Cambrai. XXX. V. 416-417.

Raoul de Cambrai. LXXXV. V. 1555-1559.

Ibid. LXXXVI. V. 1582-1601.

Ibid. CLII. V. 2842 и 2865.

Ibid. LXXIII. V. 1360-1362.

Raoul de Cambrai, CLXXXIV. V. 1555-1559.

Ibid. CLXXXV. V. 3624-3636.

Ibid. CC. V. 4076-4077.

См. выше. С. 267-269.

Raoul de Cambrai. CCLII.

Girart de Roussillon. Эпилог рукописи. V. 43-47.

Girart de Roussillon. 60-61.

Ibid. 91.

Ibid. 108.

Ibid. 132.

Ibid. 147 и 171.

Ibid. 152.

Ibid. 157.

Ibid. 175.

Ibid. 177.

Ibid. 457.

Ibid. 475.

Ibid. 476.

Ibid. 495.

Ibid. 516.

Ibid. 204.

Ibid. 619.

Girart de Roussillon, 624.

Ibid. 671.

Ibid. 14.

Ibid. 638.

Ibid. 672.

Garin. P. 147.

Ibid. P. 156.

Ibid. P. 106.

См. выше. С. 252.

Garin. P. 159.

Ibid.

Песнь о Роланде. Лесса 103.

См. выше. С. 214-215.

Roger de Hoveden. I. P. 99.

См. выше. С. 213.

См. выше. С. 258-259.

См. выше. С. 271, пример Сибиллы де Порсиан.

См. выше. С. 214-215.

См. выше. С. 363.

Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М.: Наука, 1984. (Литературные памятники.) С. 102.

Там же. С. 106.

Там же. С. 99.

Там же. С. 107.

Wace. V. 1207-1216.

См. выше. С. 315-316 и 321.

Гальфрид Монмутский... С. 107.

Wace. V. 2216.

Ibid. V. 2217-2224.

Thebes. V. 167-168.

Ibid. V. 372.

Eneas. V. 4607.

Troie. P. 125.

Thebes. V. 4470-4475.

Ibid. V. 7167-7168.

Eneus. V. 930-934.

Thebes. V. 5886-5888.

Ibid. V. 5922-5923.

Ibid. V. 5946-5947.

Ibid. V. 6666-6669.

Thebes. V. 6757-6760.

Ibid.V. 7070-7077.

Ibid.V. 11039.

X. Ст. 841-907.

Thebes. V. 11236-11237.

Ibid. V. 11074-11076.

Ibid. V. 6500-6504.

Ibid. V. 6519-6520.

Ibid. V. 6406.

Ibid. V. 6407-6409.

См. выше. С. 236-237.

Ibid. V. 10303.

Ibid.V. 10329-10336.

Мимесис... С. 116.

См. выше. С. 324.

Эрек и Энида. Ст. 613-624.

См. выше. С. 307-308.

Эрек и Энида. Ст. 1825-1826.

Там же. Ст. 2138 и 2140-2141.

Там же. Ст. 2478-2482.

Там же. Ст. 2452.

Там же. Ст. 2548 и 2559-2560.

Ивэйн, или Рыцарь со львом. С. 85.

Там же.

Ивэйн, или Рыцарь со львом. С. 88.

См. выше. С. 381.

Ивэйн, или Рыцарь со львом. С. 91.

См. выше. С. 300.

Le Chevalier à la Charette. V. 3798-3800.

Le Chevalier à la Charette. V. 3497-3599.

Ibid. V. 5362-6056.

Эрек и Энида. Ст. 991-992 и 993-999.

Там же. Ст. 1016-1026 и 1050-1051.

Там же. Ст. 1227-1232.

Там же. Ст. 3011-3074.

Le Chevalier à la Charette. V. 2740-2743.

Ibid. V. 2916-2928.

Ивэйн, или Рыцарь со львом. С. 137.

Там же. С. 138.

Там же. С. 139.

Клижес. Ст. 4590-4976.

Le Chevalier à la Charette. V. 5652-5888.

См. выше. С. 346.

Le Conte du Graal. V. 4784.

Ibid. V. 4789-4790.

См. выше. С. 351.

См. выше. С. 331-332 и 345.

Le Conte du Graai. V. 4766-4767.

Ibid. V. 5118-5129.

Ивэйн, или Рыцарь со львом. С. 114-117.

Le Conte du Graal. V. 4966-4967.

Hermann de Laon. Miracles de Notre-Dame de Laon. I, 2 (PL 156, col. 966).

Le Conte du Graal. V. 4984-4994 и 5000-5001.

Ibid. V. 5154-5156.

Ibid. V. 6004-6006.

Ibid. V. 5862-5866.

См. выше, с. 311-312.

Le Conte du Graal. V. 5835-5837 и 5868-5871.

Ibid. V. 6049-6050.

См. выше. С. 327.

Le *Chevalier à la Cliarette*. V. 3198, 3196.

Ibid. V. 3212, 3215-3219.

Ibid. V. 3241-3242.

Ibid. V. 3261-3263.

Ibid. V. 3525-3526.

Ibid. V. 3790-3794.

Ibid. V. 3887.

Ibid. V. 4987-4988, 5000-5001.

Ibid. V. 1972-1980.

Conte de Graal. V. 23-54.

См. выше. С. 348 и 425.

Conte de Graal. V. 384.

Ibid. V. 407-418.

Ibid. V. 433-437.

Conte de Graal. V. 67-71.

Ibid. V. 125-I35.

Как полагает Жан Флори, обративший на это внимание в книге: *Flori, Jean. L'Essor... P. 291, note 5.*

Conte de Graal. V. 191-195.

Ibid. V. 263-270.

Ibid. V. 497-504.

Ibid. V. 532-536.

Ibid. V. 865-866.

Ibid. V. 999.

Клижес. Ст. 1114-1206.

Conte de Graal. V. 1385-1391.

Ibid. V. 1414-1415.

Ibid. V. 1428-1429.

Ibid. V. 1472-1477.

Ibid. V. 1372-1373 и 1559-1562.

Ibid. V. 1580-1586.

Conte de Graal.V. 1587-1596.

Ibid. V. 1831.

См. выше. С. 419.

См. выше. С. 329-330.

Conte de Graal. V. 3228-3247.

Ibid. V. 1615-1620.

Ibid. V. 1644-1645.

Ibid. V. 2288-2290.

Ibid. V. 6159.

Ibid. V. 6164-6242.

Ibid. V. 6394.

Ibid. V. 7027-7029 и 7035-7043.

Ibid. V. 9012-9020.

Lambert d'Ardres, 87.

Ibid. 91. См. также *ibid.* 12 («рыцарские клятвы», спроецированные в прошлое, на тысячный год, по примеру турниров).

См. выше. С. 324-325.

Etienne de Fougères. Le Livre des manieres. V. 585. 673-680. 537-542. 577-580. 689-690.

Ibid. V. 673-680.

Ibid. V. 537-542.

Ibid. V. 577-580.

Ibid. V. 689-690.

Etienne de Fougères. Le Livre des manieres. V. 714-716.

Ibid. V. 981-982.

Etienne de Fougères. V. 585-592.

Ibid. V. 617.

Ibid. V. 625-628.

См. выше. С. 468, прим. 1258.

Etienne de Fougères. V. 665.

Conte de Graal. V. 64.

Ibid. V. 3129-3231.

Ibid. V. 3521-3544.

Ibid. V. 6092-6093.

Frappier, Jean. Le Graal et la chevalerie... P. 89.

CM. Scenes de Graal...

Lancelot du Lac. P. 398-404.

См. выше. С. 98.

См. выше. С. 472.

См. *Webb, Clemens*. John of Salisbury... и *Wilks, Michael* (ed.). The World of John...

Painter, Sidney. French Chivalry... P. 68-72.

Policraticus... VI, 8.

См. выше. С. 52.

Лукан. Фарсалия. Ст. 377-379.

См. нюансы, которые он вносит в эту материю: Policraticus... VI.

Ibid. VI. 16 (по: Юстин, I, 6, 13-14).

Ibid. VI, 6.

См. выше. С. 23.

Policraticus... VI, 16.

Strickland, Matthew. War and chivalry...

См. выше. С. 287-288.

Policraticus... VI, 3.

См. выше. С. 40-41.

Перевод Ашиля Люшера в издании: *Люшер, Ашиль*. Французское общество... С. 249-250.

Policraticus... VI, 5.

См. выше. С. 329 и 235.

См. выше. С. 197.

Policraticus... VI, 7.

Ibid. VI, 13.

Ibid. VI, 7.

Ibid. VI, 13.

Ibid. VI, 13.

См. выше. С. 246-253.

Policraticus... VI, 10.

Ibid. VI, 10.

Ibid. VI, 8.

Ibid. VI, 13.

См. выше. С. 419.

PL, 210, col. 397.

Lancelot du Lac. P. 396-404.